



Виталий Диксон
*Длинная
пушка*





Настоящее издание
выпущено ограниченным тиражом
70 (семьдесят) экземпляров.
Каждый экземпляр пронумерован
и подписан автором.

Экз. №







Избранная
проза



Иркутск
2014

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)7-4
Д45

Диксон В.А.

Д 45 **Длинная пулька:** Избранная проза. –
Иркутск, Репроцентр А1, 2014. – 664 с., илл., фото.
ISBN 978-5-91344-658-9

В новую книгу прозаика Виталия Диксона включены повести и рассказы разных лет, а также первое крупное произведение писателя, фарс-роман «Пятый туз» (первое издание – в 1994 году).

ББК 84(2=Рус)7-4

© Диксон В., текст, 2014
© Дунаева В., фотоколлажи, 2014
© Хан А., обложка, 2014
© Игнатенко С., фото, 2012

ISBN 978-5-91344-658-9

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

КОЛОДА

КАЛАНЧА:

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ПЯТЫЙ ТУЗ:

ФАРС-РОМАН

POST FACTUM:

К ФАРС-РОМАНУ

«ПЯТЫЙ ТУЗ»

ОТ КАЛАНЧИ ДО КАЛАНЧИ:

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

КАЛАНЧА

В некотором царстве, в некотором государстве...Вообще-то, иногда упоминаются и конкретности, уточняющие географию: тридевятое, тридесятое...

Это – про Россию.

Сказочно сказанное – почти патовая ситуация, путь в бесконечность, который являет собою не спортивно-шахматную «ничью», но скорее всего – «ничьё», нечто вневременное и бесполо-неопределённое...

Однако неопределённость места расположения России совсем не исключает присутствия существенных констант, лишь одной ей присущих постоянных величин. Лошадиная сила, птичий полёт, еврейский вопрос, традиционный SOS, обрывающийся на слёзно-кровавом выверте, на матерной духовности, на духовной матерщине: сосите наши души...

Да вот ещё – был бы былинная: «...без руля и без ветрил». Но это уже совершенная неправда! Есть ветрила. И руль есть. Правда, последний носит несколько иное название, игривое, уменьшительно-ласкательное: рулетка. Русская рулетка. Её даже в Париже знают, от российских эмигрантов. Наугад, на случай, на везенье, на авось, небось и накое-выкуси: одна пуля в барабане семизарядного нагана.

Это значит: «Была – не была!» Что, в свою очередь, является русским вариантом западноевропейской рефлексии «Быть или не быть?»

Давно уж покоится в папочке рукопись романа «Длинная пулька».

Название затейливое, картёжное, из лексикона преферансистов. А сюжет простенький. Стержнем повествования, на который шампурно нанизаны судьбы, имена, события и факты, служит вот что.

В 1855 году жители забайкальского деревянного городка Читы, регулярно страдавшие от пожаров, пожелали выстроить каланчу. Собрали по подписке деньги немалые. Заложили фундамент... Однако же местное начальство придержало прытких строителей за рукав: а смета где?

Что ж, составили смету, повезли к иркутскому генерал-губернатору на утверждение. Но, оказалось, тот не был уполномочен решать такие финансово-строительные дела: амурский вопрос решать мог, а вот смету – упаси бог, это уж компетенция столичная.

И потащился курьер в Санкт-Петербург – смету утверждать в высоких канцеляриях.

Через два года утверждённый документ вернулся в Читу. К тому времени, однако, цены в юном развивающемся городке неизмеримо с прошлым подскочили. И потому пришлось трудиться над новой документацией, после утверждения которой оказалось, что от заложенного фундамента каланчи даже следа не осталось, растащили по кусочку, по кирпичику...

Начали всё сначала.

Этаким «стакановским» методом строительство тянулось аж целых 25 лет, до тех пор, покуда читинское начальство не сообразило выставить в смете сумму расходов, наперёд превышающую реальные расходы в несколько раз. После чего документ в торжественной обстановке подписали в столице нашей родины, а в Чите за неделку соорудили пожарную каланчу. Случилось это в 1880 году.

Князь-анархист Пётр Кропоткин, хорошо знакомый с Восточной Сибирью и Забайкальем, выставил в «Записках революционера» замечательную фразу: «История маленькой Читы была историей всей России».

Между прочим, Василий Васильевич Розанов однажды вывел свою историко-философскую мысль прогуляться на свежем воздухе в «Апокалипсисе нашего времени»:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.

- Представление окончилось.

Публика встала.

- Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Вообще-то, от Василия Васильевича, великого провокатора и парадоксалиста, можно было ожидать всего: от совершенной чертовщины до совершенной святости. Кличку имел – Иудушка Головлёв, писательский псевдоним – В.Варварин. Написал немного, смутил многих. А меня заносила одна его фраза из «Уединённого»: «...русская история вообще ещё почти не начиналась. Жили «день за днём – сутки прочь»...»

Странная фраза, тёмная фраза... Когда же она начнётся, наша история?

Вопрос растворяется во всемирном времени: не по-Гринвичу, а по существу.

Австрийскому министру Меттерниху принадлежит высказывание, которое я вспоминаю по великому множеству поводов. Получив известие о смерти российского императора Александра Первого, министра сказал так: *«История России начнётся там, где окончится роман».*

Странная фраза, тёмная фраза... Что имел в виду министр, говоря о романе? Что он понимал под историей? Полосу здравомыслия, период реалистической политики, времена порядка и права?

Исторический трёхлистник – Русь, Россия, Советский Союз – ни святостью, ни божьей благодатью, ни бесовскими рожками, ни иной сверхъестественной особенностью не отмечен. В массе своей российский люд инстинктивно сопротивляется подобной оценке, не имея юродивого желания беречь свои раны; между тем, Европа давно бы рехнулась в поисках непреходящих очистительных страданий, если бы трёхлистник прекратил излучать в мир былинную боль; когда миру нездоровится, он болеет Россией. Значит, страна – рана? Странно? Но рано или поздно, эта странность перестаёт быть таковой и воспринимается как хроника событий.

Мы плохо знаем самих себя. Меттерних знал нас ещё хуже. После него Европа вообще перестала что-либо понимать в «русском вопросе», полагаясь на одну только интуицию: не трожь!

А всё фокусное дело, по моему разумению, в том, что российский роман бесконечен. Россия всегда заводила и заводит будет роман с историей.

В четвертьвековой читинской «каланчовой» истории многое великодержавно-имперское вместились.

Путятин подписал первый русско-японский договор о мире и дружбе. Умер император Николай Первый. Французы оккупировали Севастополь. Герцен издавал «Полярную Звезду» и «Колокол». Заключён Парижский мир. Декабристам разрешили вернуться из сибирской ссылки. Обосновали на Дальнем Востоке Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Третьяков открыл в Москве художественную галерею. Освободили крестьян от крепостничества. Заключили с Китаем Айгунский договор и подписали Тяньцзиньский трактат... А каланчу всё строили...

К России силой присоединили Чечню, а пленённого имама Шамиля отправили на перевоспитание в Калугу. Учредили Государственный банк. Открыли Мариинский театр. Расстреляли национально-освободительное восстание в Польше. Учредили Совет министров. Провели реформу военного управления. Впервые в истории России опубликовали государственный бюджет... На это достославное 25-летие выпадают начало и конец деятельности тайной революционной организации «Земля и воля», принятие «Временных правил о печати» и «Положения о поселении казаков на землях кавказских горцев», открытие в Петербурге первой российской консерватории, выход в свет романов Тургенева «Отцы и дети» и Чернышевского «Что делать?», гражданская казнь и ссылка последнего в Якутию.... А каланчу всё строили...

Даль издал «Толковый словарь живого великорусского языка». Полковники Черняев и Верёвкин силой оружия присоединяли Среднюю Азию к России. В Вашингтоне подписан русско-американский договор о покупке Соединёнными Штатами у России Аляски и Алеутских островов за 7 200 000 долларов. Изданы на русском языке «Манифест коммунистической партии», первый том «Капитала» и гениальный труд Менделеева «Основы химии». Миклухо-Маклай и Пржевальский путешествовали. Лодыгин изобрёл электрическую лампочку. Карательные отряды Скобелева усмиряли Среднюю Азию... А каланчу нашу строили...

Началась и закончилась Андрианопольским перемирием русско-турецкая война. Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова. Народник Соловьёв с револьвером

гонял по Дворцовой площади императора Александра Второго. Халтурин адской машиной подорвал столовую в Зимнем дворце. Гриневицкий примерял к руке самодельную бомбу... А каланчу всё строили!..

Так что же это за проклятие такое во веки веков?

А такое вот. Сякое.

«В наш век, - утверждал декабрист Александр Евгеньевич Розен, - все заразились наживанием денег, от министра до подёнщика, от полководца до фурлейта, от писателя до писаря».

Чуть позже Розен кое-что уточнил, дабы уж совершенно не терять светлой надежды: «Даже если Сибирь не доставит никакой особенной выгоды для России, то страна (*имеется в виду Сибирь – В.Д.*), с увеличением населения, с посеянными в ней семенами, обещает отдельно самой себе счастливую и славную будущность».

Когда-то писатель Станислав Лем категорически отверг идею машины, способной управлять государством. При всём своём безграничном воображении знаменитый фантаст был не в состоянии представить себе такое чудище-юдище.

Сегодня такая идея вовсе не кажется нам бессмысленной. Машина, должным образом защищённая от претензий жаждущих власти людей, управляла бы государством куда как более беспристрастно и, следовательно, честнее любого политика. Тем более, что политики-то нынче пошли... в лоб твою мать! - всё какие-то гидропонные, искусственно оплодотворённые, накачанные более водой, чем идеями, и скорее амбициями, чем умом...

Вот, спрашивается, с какой стати власть имущие так цепко держатся за статус депутатской неприкосновенности? Ответ очевиден любому, самому неполитизированному пациенту нашего государства: в представительную власть рвутся люди, конфликтующие с законом, и депутатский мандат должен оберечь их от наказания за уголовные дела и делишки, за коррупцию, взяточничество, финансовые афёры, откровенное воровство... Но есть одно «но»! В принципе, никакая власть не должна воровать, не обязана воровать. Зачем ей воровать? Ей не нужны деньги как таковые. Ну, ей-богу, смешно же представить

секретаря ЦК КПСС или председателя N-ского облисполкома, озабоченных количеством монет в кошельке: хлопнет в ладоши – и всё у него есть, как в сказке, и всё будет исполнено аккуратно и незамедлительно. Машина у подъезда, билет в театр, путёвка в санаторий, самолёт в готовности к вылету, дефицитнейшее лекарство, навроде электронных «кремлёвских» таблеток... Власть в трамваях не ездит, в очередях не стоит, подпискою на популярные издания не озабочена. Она ничего не просит и не требует, ибо всё, что ей потребно, ей принесут. Власть не ворует. Ворует челядь, содержащая себя вокруг власти. Так всегда было везде, в том числе и в России.

Но – опять это несносное, невыносимое «но»! Нынче, на изломе российской истории челядь уже не вокруг, не около власти. Челядь уже сама есть власть. Вчерашняя челядь выпрыгнула «из грязи в князи», и именно она у власти, во власти, в первую очередь, в законодательной, представительной, но ни за что не отвечающей. Привычек холопских она не изменила и ворует уже как бы по инерции, причём ворует не так, как раньше, то есть с оглядкой, с расстановкою, беря, так сказать, по чину. Нет, нынче властная челядь берёт уже помногу, охापисто, беззастенчиво и, что очень важно, сразу, немедленно, без проволочек, поскольку она, нынешняя власть, лишена партийно-номенклатурной наследственности и существует от выборов до выборов, «от каланчи до каланчи», а посему очень неуверенна в продолжительности своих полномочий, и оргвывод властью делается соответственный: вот покуда сижу у кормушки – надо успеть, надо! – во имя отца, и сына, и внука, и правнука...

Так власть в государстве стала властью ворующей.

Так – в совершенном согласии с кратким курсом российской истории по-Карамзину: «Воруют...»

Некоторые книжные полки в моём кабинете по содержанию своему напоминают кунсткамеру.

Вот один из раритетов. Название «История ВКП(б). Краткий курс». Ниже следует: «Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год». Сопутствующая издательская атрибутика: Госполитиздат, 1952. Тираж 2 млн экземпляров. Цена 4 р. 50 коп.

Книжное нутро – как в метро: за пяточок – монументальная помпезность, скоростное одностороннее движение и никаких утомлённых солнц.

Последний абзац выписываю целиком: «Таковы основные уроки исторического пути, пройденного большевистской партией».

Ниже абзаца – слово, выделенное вразрядку:

« К о н е ц ».

Не дремлет дух Фрейда!

Однако наибдительнейшая сталинская цензура, натасканная на каждой букве текста, не усмотрела в слове «конец» ни фатального приговора режиму, ни диагноза ему же, ни летального исхода! По сути дела, словом «конец» уже заранее, чуть ли не рукой самого вождя, был обречён период советского коммунизма. Мина, которая неминуемо взорвётся.

... И сколь же призрачны твои колокольни, Россия...

И рубежи твои – миражи.

И что есть святые мощи твои, если не булыжники мостовые?

И стены твои – тени.

И что за шальные стервоточинки в твоих синих очах?

Из книги: **Ковчег обречённых. Роман-пасьянс. 1999**

ПЯТЫЙ ТУЗ

ФАРС-РОМАН
Издание второе

...Не сегодняшняя эпоха должна
объяснить вчерашнюю — что нам
до нее за дело — а вчерашняя пускай
послужит сегодняшней, послужит не за
страх, а за совесть. А в случае чего —
пускай и за страх, если совесть у тебя хлипкая...

Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН

...Многие вопросы, которые на первый
взгляд кажутся очень трудными, в сущности,
разрешаются самым свободным образом.
Итак, не завидуй, читатель, успеху соломенных
голов и будь доволен тем, что у тебя на плечах
голова обыкновенная! *Suum cuique...**

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

* Каждому своё (*лат.*).

Пролог. ПОСОШОК НА ДОРОЖКУ

Часть первая. ТРЫН ТРЫНИЛ НА РУСИ...

1. Интересы и интересанты
2. Дело прошлое. Страсти по убиенному соболю
3. «Ивангелие от Ивана», или Один день в канцелярии
4. Дело прошлое. Чистые мои голуби!
5. «Живём тут как свиньи, ёлки зелёные!»
6. Когда мы были пожилыми...
7. «Дракончик, ты мне ндравишься!»
8. Дело прошлое. Не скоро сказка сказывается...
9. Дело прошлое. Укрощение «косой сажени»
10. Стол на четыре куверта
11. Утро вечера мудренее
12. Дело прошлое. Шалун Ея Величества
13. Смотрины на скорую руку
14. Располагаясь к отдохновению...
15. Дело прошлое. Как «Три Ивана» ваньку валял?
16. Дело прошлое. Спотыкачка на спотыкачке
17. Уроки игры по-крупному
18. Дело прошлое. Защемил капкан охотника

Часть вторая. ОРЛЫ И РЕШКИ

1. Красная линия, или Медитация на судебные темы
2. Большое дело – постучать по дереву!
3. Акциденции минувшего дня
4. «И в этот день мы больше не читали...»
5. «Вывози, Никола-угодник!»
6. Мартовские иды 1788 года
7. Реквием на два голоса
8. Катилось колесо...
9. Вокруг да около, или Хроника времён губернского секретаря
Ивана Почекушина
10. Бузина нашей жизни
11. Мурза уже не сердится, или Черновик одописца
12. Этот странный тип без царя в голове
13. Прогулки по Большой перспективе
14. Коллаж. «На поприще сей жизни склизком...»
15. «И оставиша останки детям своим...»
16. И никаких гвоздей!
17. Последний клопштосс
18. Без кавычек, или Балаган венценосцев
19. Post scriptum. С точки зрения вечности

**Вместо эпилога. ТРЕУГОЛЬНИК ПОГРЕШНОСТЕЙ, или
ТРИ СЮЖЕТА ИЗ 1826 ГОДА**

Сюжет первый. Когда догорает свеча...

Сюжет второй. В доме верёвки

Сюжет третий. Требуется английский рожок!

ПОСОШОК НА ДОРОЖКУ

...И жутко, и таинственно, и магнетически приманчиво заглянуть в завораживающую глубину старого колодца — туда, куда взор скользит с опаскою, мало-помалу погружаясь в холодную воду подобно упрямому купальщику; сначала стенки сруба знакомы до щербинки, до занозы и обыкновенно сырые, точно свежeweымытые половицы деревенского дома; потом они постепенно темнеют, набравшись мокрети, что называется, «от доски до доски», и от вечного непросыхания покрываются зеленым ознобом, начинают чернеть, а у самой кромки воды, покачивающей дневные, невидимые в небе звезды, обрастают льдом. Черная дыра. Зеркальная калиточка в какой-то вывороченный наизнанку, наоборotный космос. И холодно тогда становится главному хрусталику, колючим он становится, и зубы ломит, и губы бессильны «тпру!» выговорить; да и все телесное существо, закаленное в материализме, очень даже вольно покрывается «гусиной кожей» от такового прикосновения к вечности.

Кому — как, а мне при этом думается вот о чем: хронологию можно отщелкивать двояко — от питекантропа к Ивану Ивановичу и — наоборот. Во втором варианте юное человечество, едва поднявшееся с четверенек, представляется мне старым, древним, как мир, который фактически был моложе нынешнего; старыми мы называем газеты двухсотлетней давности и пожелтевшие фотографии, на которых мы, теперешние, чмокаем соски и выдуваем из соплюшек перламутровые пузырьки. С этой, несколько парадоксальной точки отсчета («когда мы были пожилыми!»), наверное, более всего удобно мысленное погружение в прошлое, поскольку с высот эволюции и прочих «-ций» видно дальше и больше, оглядней, и нет в этом случае границы между прошлым и настоящим, кроме той, единственной, что проходит внутри сегодняшнего человека.

...Погружение в век восемнадцатый — чему подобно?

Чем глубже — тем гуще темень. От светлостей курляндских и сиятельств доморощенных мрачно тогда было на Руси.

Мрак и блеск.

За место близ трона резались люто.

В охачочку сошлись интрига и политика. И различились они только тем, что, по мнению власть предержащих, заплетать интриги являлось делом злокозненных низов, а уж политика — то дело головки миропомазанной, венценосной и иже с ней.

Политика же есть дело до чрезвычайности тонкое: кулак полезен, да розги — более того; сечь хорошо, но рубить лучше; плаха с топором хороши, да ведь можно и петлю к делу приспособить; вешать сподручно, не худо и топить людишек — в крови, в водке — все едино, однако же водка — всего оглушительней.

Ну, и взвыла, и пошла из кармана мошна!

И забава — за нею, вприсядочку. Ибо дал бог денежку, а черт дырочку в кармане, и вот покатила та денежка к чертовой бабушке...

Потом проспались — глядь, в одном кармане пусто, в другом — и совсем ничего. Босы аки гуси. По две вши на щепоть да два пузыря в ложке — вот и весь опохмельный достаток. Эх-эх, вот она, явилась, курвица родимая — беда с победушками!

— Дожили, ножки съежили... Похмелиться ба, соколики...

— Дак айдате!

— А... на што?

— Да шапка-то у тебя нашто?

Подтянули порты, перекрестились меленько — и подались в кружало — царев кабак. Гуськом потопали.

Ну, и я за ними...

Кружало — инструмент плотницкий, циркуль. Кто дал сие название домам пьянственным — неизвестно, но смысл в нем таится зловещий: круг заповедный, как вступил в него, за черту, — так и сгинул вошедший беспамятно.

— Горе горькое, где ты хоронишься, где скрываешься?

— Да вот же я, у тебя под бочком, за бочкою. Протри зенки, аль не зришь с перепоею?

...Раз в году, когда масляная неделя начинается весной дышать, слюнки пускать по теплу — сосульками, — в это самое

время гуляют соболятники, мужики хожалые, во всех былях бывалые. Что ж тут шапку жалеть? Шапка соболья, верх бархатный красный, ценою та шапка двенадцать рублёв тянет — на всех, однако, хватит.

— Эхма, — отмахивались соболятники, — без одёжи, да не кусошничаем! Ишо будет платье на нашей братье, коли Фартуну за цыцки ухватим! Аминь, робятки!

Целовальник, окрестив грудь руками, молча взирает на беспортошное это великолепиие и самым натуральным образом соединяет в позе, в выражении глаз, в извилинке губ одновременно и борзую собаку и травимого зайчишку. «А доколе же сим питухам капиталу достанет? — думает. — Уж больно обношены нонче соболятники Ея Величества! А стародедовская мудрость глаголет: встречаются по одёжке...»

Хитер целовальник: привечает не любого-каждого, а того лишь, у кого в кармане звенькает.

— Налей-ка мне Христа радючи, — канючит оборванец обтрепанный, бедней самой бедности, последняя рубаха коломянковая на плечах истлела, трут трутом — огня присеки, так и вспыхнет вся. — Денег-то нетути, родимой, дак я тебе спасибо скажу... А?

— Эхе-хе, — шумно вздыхает целовальник выгадливый, неуступчивый. — И до чего ж это нонче народ дошлый пошел... Хужей прошлогоднего! А ты не из соболятников ли будешь, ландуш лесной?

«Ландуш» расцвел было, да тут же и увял обреченно:

— Бывал, бывал, родимой... А теперя мы по другой части будем... Вот по этой самой, — и ткнул пальцем в направлении четвертной бутылки на дощатой стойке.— Нацедил ба, а? Поправлюсь, дак зарок дам на всею жизнью...

— Охо-хо, знаем мы вашу жизнью! С воскресенья до поднесенья...

Отмерил-таки.

Хряпнул босяк, рукавом губы промокнул, помахал в пасть ладошкой, понюхал бесплатную луковку, подвешенную над прилавком для всеобщего пользования.

— Ух ты, матушка-заступница... до самого нутра достала... до самого дондышка, чертовка, проскваживает...

А тут и компания соболятников голоса подала, щей с говядиной потребовала, квасу, чаю, водки — всего по ведру.

— Эй, — спрашивают босяка, — паря, почто в одиночку скелетничаешь? Присаживайся, коли не брезгуешь.

— Пьющего напоить — что за дело? — отвечает босяк. — Вы вот, робя, малопьющего накачайте!

— Это кто ж такой будет малопьющий?

— А я самый и есть.

— Рази?

— Так точно. Сколь ни подадут — все мало! — осклабился босяк гнилыми зубами.

— Га-а-а! Ну, вали, друг, до нашего корыту.

— Да чего уж... мы так... мы пешком постоим...

— Сидай! За постой деньги плотют, а посиделки даром!

— Благодарствуйте вам. Тока вить я, братцы, и опить вас могу, — попугал босяк честную компанию.

— Сидай, тебе говорят! Ну, мужики, помянем знатного соболятника Андрияна Никитова. Уж нонче сорок дён, как помер. Дай ему Бог мягко в земле лежать, в очи Христа видать.

— Уж так, так... Да пушай не ноют евоные косточки во сырой земле.

— Ага... Земля еси и в землю отыдеши.

— Ага... Аминь.

Выпили, ложки из-за голенищ выудили, щец знойных похлебали и начали плести-полоскать разную чепушину: почто жизнь у человека отымают всякая гадина, когда дается она одним Богом? И почто купец-скупец, живодерное сословие, чего не хочет — того не слышит своими личными ушми? И почто алтынного вора вешают, а полтинного уважают?

— А вот по то самое, мужики! Что ворам с рук сходит, за то воришку бьют.

— Это так... Оно верно...

— А Андрияна ой как жалко!

— Жалко Андрияна... А себя-то ишо жальчее.

— Себя-то да, конешное дело. Помереть седни страховито, а када-нибудь... оно и ничего.

— От старости, ли чо ли?

— Глупый ты! Помирает не старый, а поспелый. А поспеешь, дак и помирать не страшно. Ляг на лавку под образа, гляделки закрыл — и все дела с концом. Чего здесь хитрого?

— Када бы так, дядя... А вот Андрияна жалко.

— Упокой, Господи, душу раба твоего... Што ж поделатъ, братцы? Люди мрут, нам дорожку трут. Передний заднему — мост на погост. Кабы до нас не мерли, так и мы бы на тот свет дороги не нашли...

— Да будя вам, мужики, о загробности гутарить! Антипий, глянь-ко, у тебя уж капелюшки с носу свисают.

— Ладно... Мы умолчим, так камни возопиют...

— Возопиют, возопиют, не сумлевайся. А счас я вам лутче про фарт промысловый слово скажу...

На губах старого соболятника то баинка, то балагурка поскакивает, и нет уже удержу охмелевшему языку.

— Фарт, робята, это, правильной сказать, фигуральная Фартуна*. Баба божественная. В фартучке ходит промеж людей...

— Ну, ну... И чего ж сия баба выфартуначиват с нашим братом?

— А вот слухай...

А целовальник — уши топориком. Эх, князь кабацкий, черт бы тебя побрал! Вот уж и впрямь племя неистребимое! Босяки да соболятники стареют и мрут косяками в свой черед, а ему, целовальнику, все нипочем, как будто бы само время у него в должниках ходит.

— Охо-хо, — вздыхает он. — И долгонький же нонче день выдался... Не день — днище.

— Уж верно, — поддакивает босяк, «ландуш лесной». — А день да ночь — сутки прочь, все к смерти ближе.

— Ты это зачем мне тут про смерть турухтишь?

— Да вот, говорю... времи жалко...

— А нашто его жалеть? Оно текётъ. Как вода. А тебе воду жалко?

— Не.

— То-то и оно. Себя пожалей.

* Здесь и далее — авторская орфография.

— Я жалею. Дак и ты подсобляй, дядя.

— Ладно. Жалую, — сказал целовальник, над босяком натешившись, и шлепнул перед ним на прилавочек оловянный стакашек. — Не бренчи попусту, христовенький. Давай гунди по порядку.

— А по порядку моя жизнь будет такая...

Босяк вытер губы и набрал воздуха. И пришла к нему, опохмеленному, освобожденность, раскованность, даже, можно сказать, нечаянная грация, которая у русского мужика, обложенного матом, налогами и воинской повинностью, окромя кабака бывает только во сне. И в беседе задушевной замелькали наперегонки беды, победы да обиды с завирулинами, замелькали, точно спицы в колесе истории; а история-то никого не минует, всех держит на своем поводке — и босяка, и целовальника, и самого что ни на есть распрознатного соболятника... Всех вместе и каждого в отдельности — вот это и есть история.

...Пора и нам в путь!

И вот свистнули, гикнули ямщички-разбойнички, вздыбились со ржаньем нетерпеливые добрые кони, ударили оземь копытами — и рванули... по дорогам-дороженькам, по распутице, по тонкому льду, по желтым сердчишкам отшумевших дерев, по многим летам, кои всем даются одинаково, но проживаются по-разному: один изнашивает их как свой собственный человеческий век, другой же, окончив летам счет, обозначает всему человечеству дорожку в предбудущие века, и нет в этом чуда, ибо каждый год такой жизни обыкновенно бывал не простой сменой времен года, но — временем.

Ну, уносите, залетные!

И несут они, залетные, уносят, уносят...

И — только вёрсты полосаты попадаютя одне...

Символические оне.

ТРЫН ТРЫНИЛ НА РУСИ...

*Увы! Еще ты не внимаешь,
О Счастье! моей судьбе,
Мои обеты презираешь;
Знать, неугоден я тебе.
Но на софах ли ты пуховых,
В тенях ли миртовых, лавровых
Иль в золотой живешь стране,
Внемли, — шепни своим любимцам,
Вельможам, королям и принцам:
Спокойствие мое во мне!*

*Г. Р. Державин,
На Счастье, 1789 г.*

1. ИНТЕРЕСЫ И ИНТЕРЕСАНТЫ

Из главнейших событий текущего лета 1787-го от Рождества Христова иркутская публика, склонная к умственным наблюдениям, выделила наиглавнейшие.

В первый день нового года открылась городская дума.

— А пуццай думают! — переглядывались одни. — Авось, чего и выдумают.

— Да рази мы немчины какие, штобы думать? — чесались другие.

— Надо, надо! — уверяли третьи. — Нонче по столичным слухам, а также из газет нюанец выскочил: мол, надобно мозгой раскинуть для получения удовольствия и всеобщего счастья.

— Ну, ну! Раскидывайте... Да не шибко! Мозги-то... оне, брат, тогда мозгами называются, когда в кучке содёржатся, в одном, стало быть, упомещении, под черепушкою...

— О, божечки, да как жить, штобы святу быть?

В конце марта иркутяне узрели вокруг солнца четыре радужных кольца.

— К чему бы сие знамение? — гадали.

Порешили, что к скорой войне.

Вот, кажется, и все новации.

А между тем купец Григорий Шелихов закончил составление записок с проектом освоения «американского уезда Иркутской губернии» — русских поселений на Аляске. Оную бумагу он направил на рассмотрение генерал-губернатору Иркутскому и Колыванскому Ивану Варфоломеевичу Якобию с надеждой на скорое и положительное решение. Однако, поразмыслив, Шелихов в два дня собрался — и ринулся на перекладных в столицу, на берега Невы, вослед солнышку и отправленному ранее прошению на высочайшее имя. Причиной столь спешного отъезда послужила озабоченность Шелихова бесцеремонными нахальствами в Сибири британца Джона Ледьярда, юрким живчиком просочившегося в Россию после безуспешного местоискательства в экспедиции Лаперуза. Впрочем, о последнем Шелихов не знал. Зато догадывался о цели, приведшей английского вояжера в Иркутск: интерес британской короны к российским планам в «русской Америке». Требовалось поспешать... Перед выездом в Петербург купец снесся по поводу своих подозрений с генерал-губернатором Якобием, хотя и не шибко-то верил в его распорядительность.

Покуда Шелихов мчался в столицу по важному государственному делу, императрица Екатерина Секунда, натужно подбирая русский перевод немецким мыслям, диктовала резолюцию на прошение иркутского торгового человека:

— Многое распространение в Тихое море не принесет России твердых польз...

Иван Варфоломеевич Якобий в это же самое время тоже надиктовывал на кончик пера канцелярскому стрекулисту Ваньке Почекушину доношение графу Безбородке, статс-секретарю Министерства иностранных дел:

— Не распространяясь дальнейшим образом изъяснять вашему (с большой буквицы!) сиятельству о протчих мелких замыслах сего чужестранца Джона Ледьярда... осмеливаюсь всепокорнейше просить милостивого вашего (с большой буквицы!) рассмотрения... ибо... ибо неединообразное расположение слов и мыслей сего путешественника были довольно сильным поводом к заключению моего о нем сомнения... Записал? Весьма нетрудно статья может, что он

послан сюда со стороны Англинской державы для разведывания здешних мест...

Диктя, Иван Варфоломеевич часто задумывался и подбрасывал на ладони жетончик — тринку, старую медную монетку достоинством в три копейки — и навораживал при этом: «Орел — решка, нечет-чет... А ежели на ребро станет — тогда какво?»

Вообще говоря, в последнее время множество мыслей наваливалось на Ивана Варфоломеевича — без доклада, без особого на то приглашения, плевать им на то, что Иван Варфоломеевич устает от дум, к тому же — строг, любому-каждому недоступен, пропечатан орденами, да медалями, да звездами — как небо, как тульский самовар.

Уж пятый год сидел Якобий на иркутском генерал-губернаторстве, правил казенную службу. Сидел — и который уж раз поминал греческого героя Тесея, коего Плутон за какие-то прегрешения осудил к вечному наказанию — пребывать всю жизнь в сидячем положении.

«Незавидное, — думал Якобий, — сие занятие, штанами по стулу ъзгаться. Но, ежели с иной стороны рассудить, так выходит, что креслы высокие не токмо для одних начальственных тягот приспособлены, но также и для наслаждений и иного прочего. Опять же — подношения! С казенного харча сыт не будешь... Греку — что? В ихних грециях, чай, по теплу без штанов вальяжничают, нектары вкушают. А в наших эмпиреях, сиречь в империях — не шибко-то! И об говядинке подумать надобно, и о шубейке из бобрей, ну и соболюшки... какие-никакие, на черный день. Вот и озабочивайся, милостивый государь: вас ду хойте кёнст безорген, дас фершибе нихт фюр морген!¹ Но слава Богу — богата Сибирь! Конешно, не Греция, не Италия, но мясopotамия добрая...»

Думает Иван Варфоломеевич, сидючи за письменным столом. А стол тот зеленым суконцем обтянут — точно лужайка раскинулась перед Иваном Варфоломеевичем. И думки его пасутся на этом лужку.

«Поберегись бы надо, ох, надо! И так плохо, и этак нехорошо. А где хорошо? А там, где нас нету. А где мы есть —

¹ Что можешь сделать сегодня, не откладывая на завтра (нем.).

почто худо?»

Совсем запутался в размышлениях Иван Варфоломеевич, ибо выходило в итоге нечто несурзное: где бы он ни появился, везде становилось худо всем и боязно ему самому...

«Поостеречься надо! А как, Господи? Патент бы какой выправить мздоимственный — оно бы и полегчало... А? Слышь меня, Господи? Присоветуй рабу твоему! Бумажка силу имеет, зловредные языки разом перешибает, а ежели с печатью сургучной — так и вовсе нет резону от пужливости в креслах елозить...»

При таком рассуждении генерал-губернатор впал в завистливое расстройство, припомнив, как один из его давних предшественников выпросил у государя в награду за многопотные труды свои хрустящий патент с печатью и росписью в том, что оному подателю в буднишные дни дозволяется выпивать столько, сколько душе и брюху угодно — и таково до самой смерти.

Грех сладок, человек падок. Вот и Иван Варфоломеевич тоже... не очень-то рассуждал, больше падал, однако при сем побаивался. И правильно делал.

Известно, что Петр Великий своих администраторов делил на хороших и плохих, причем последних не гнушался делить на головы и туловища — топором. Первый сибирский губернатор князь Матвей Гагарин в 1721 году кончил живот свой на плахе по указу государеву — «за воровство». Почти одновременно с ним казнили иркутского воеводу Лаврентия Ракитина, ограбившего казенный караван. Чрез четверть века вытянули из Иркутска в Санкт-Питербурх и определили на пытошную дыбу вице-губернатора Жолобова, дравшего плетьюми промышленных и торговых людей за несдачу «подарков». То же случилось и с преемником его, Андреем Плещеевым; не поделил Плещеев власти с епископом — и встала у него обида, и выкатил он пару гарнизонных пушек на правый берег Ангары, да как жахнет! А с левого-то бережка ему отвечал монастырской пушчонкой епископ Иннокентий, в миру Кульчицкий; бас его, обкатанный на семинарских псалмопениях, легко достигал ушей обидчика: «Сатано-о-о!» ...Нехорошо жизнь кончил и губернатор Немцев. Призрев разбойника Гандюкина, он получал от него жирный кус за покровительство, потом и сам во вкус вошел, завел «глухую

команду», чинившую разбои да грабежи в губернии под личиной административного надзора...

Было слово, было и дело: хрустели позвонки, коптились пятки, члены подвергались усекновению, языки и ноздри рвали с наслаждением.

— За што-о-о, лю-ю-ди? — неслоь из пытошных подклетей.

— Во, кокотка! — ухмылялись люди казенные. — А сам, поди, не ведаешь за што? Небось, не мы твою бабу за волосья драли и орали при сем в полный голос: де, недолог бабий век!

— Дак вигь то ж у моей бабы... волос долог, ум короток!

— Э, голубок, знаем, на кого намякивашь! На верховную власть намякивашь! Ну, Бог в помочь, тащи, Ефимка, клещи...

И во всей этой кровавой и копченой катавасии, во времени зыбком, хрупком, переменчивом — единственно неизблемой оставалась стародедовская, освященная православием традиция — «государевы поминки», сиречь подарки царю мягкой рухлядью: помним, дескать, тебя, государь наш батюшка, прими за ради Христа наших соболюшек да лисичек-крестовок, от нашего сибирского богатства убытку не учинится, зато казне — вспомоществование, мы ж понимаем, сколь тяжко тебе несть шапку Мономахову... Тянулись те «поминки» издалека — с дедины, с отчины, и палками да кнутами повыбибли из людской памяти, что вводились «подарки» жесточью и насильством, что собирали их ой как даже принудительно, с царева ведома, а присасывались к сей традиции и крупный паразит, и мелкая вошка. Каким манером присасывались — это уже другой вопрос, всяк по-своему, тут думать надобно...

Покуда Иван Варфоломеевич умственной тягомотиной страдал, супруга его Катерина Андреевна изволила принимать гильдейского купца Карягина.

Про таких, как она, стареющих женщин нередко говорят, что в молодости они были красавицами. Говорят уверенно, без опаски: поди-ка, проверь! Катерина Андреевна раскинулась в креслах вольно, с непринужденностью, однако головку свою держала уж слишком высоко, отчего казалась надменною, хоть и не была таковой. Вообще, увядающие дамы довольно часто вскидывают голову, чтобы подтянуть кожу на шее и на подбородке — там, откуда начинается телесное увядание... Была

лилейная шейка — как свеча стройная, и вот уже потекла сия свечечка, вся в складках и морщинах, и вот уже настал черед оплывать плечам парафиновой белизны, и тает, тает женщина — как свеча, от собственного света, и вот уже начинает дольше обычного строить гримаски перед зеркалом, примеряя на себя ежедневно сменяемые маски, и при этом влажно краснеет веками... лета улетучились, ранняя осень осенила лицо, и ногу в самой модной туфельке уже никто не назовет ножкою... потом женщина пудрит лицо, накладывает румяна, дымит пышнее прическу — и с леопардовой грацией выходит в окружающий мир для страшного и безжалостного поединка с натурой.

Купец Карягин был с жизнью на «ты», и посему ухватил в приватном тет-а-тете безошибочно нужное направление. Подумал: «Генеральную дирекцию на личико еёное держать надобно» — и сказал с учтивостью, с любезным участием:

— Пудра с помадками нонче того... в цене кусаются. А?

— Ох, кусаются, Нил Гаврилыч, — вздохнула генерал-губернаторша.

— Ай, не беда! Тебе-то, моя голубушка, парфумы сии не надобны, потому как молоденька ишо. Хошь и народила восьмерых дочек, а всё — гладка, бела да сладка, так бы и облизал всю, ей-богу.

Засмеялась Катерина Андреевна — благодарная:

— Ах, какой пассаж! Вы надо мною конфузию делаете, Нил Гаврилыч! Ажно взопрела вся... — И пальчиком погрозила: — У-ух, озорник!

— Хе-хе, — заклохтал озорной купец, — думаешь, мне не конфузно? Ишо как! Покеда говоришь с тобою, голубушка моя, так полфунта слюней потеряешь, а сие для возраста моего убытошно...

Таково-то и комплиментничали, галантом тешились.

О, этот галантный XVIII век! Вилки изобрели, гавоты сочинили, белые подштанники придумали, сморкание в платочки... Вчерашние растрёпки принялись именовать куриное яйцо фруктажом диковинным, а грубое слово «мужик», произнесенное на пикантном языке Дени Дидро (Дениса Дидерота, по-провинциальному), зазвучало почти музыкально: «мюзик»... Одинаково гениально составлялись краски живописные и яды; одинаково высверкивали алмазные подвески

и топоры палаческие; и некий подчиненный чиновника, подчиненного сановному дураку, подчиненному царственной потаскухе, — поучал вдохновенного Радищева; а на самой вершине российской иерархической лестницы власти залегли крепкие, двужильные мужики с пудовыми кулаками и кличками, коими в наши времена нарекают скаковых племенных жеребцов; ну, и слабый пол, куда ж без него? — в шероховатых робронах, тугих, как капустные кочаны, щекастые, с обилием молока, едучего пота, рисовой муки на взбитых кудерьках, французской одеколони и отечественной грязи под острыми ногтями, кою в бане выгребали зубочистками соответствующие табели чины... Утверждаю за известным романистом вослед: век восемнадцатый — бабий век, не по существу — по характеру.

Ну, ладно! Карягин и Катерина Андреевна между тем закругляли беседу и, благополучно миновав неизбежные «цирлих-манирлих», приступили к своим интересам.

Речь пошла о партии брюссельских кружев, до коих генерал-губернаторша была великой охотницей. Уж, казалось, какой только благодати редкостной не понатыкано в уголках ее апартаментов: фарфор — гордость первой в Европе порцелановой мануфактуры саксонского короля, серебряные вещицы мастеров из Нюрнберга, пышная резная мебель магдебургской работы... ан, нет! Обрисовался иной интерес — кружавчатый, и закружилась гордая головка Катерины Андреевны от узорчатых названий: блонды, алансоны...

— Галанское круживо, — подзуживал Карягин, — есть мануфактур галантерейный, зело удивительный, слов нетути. Посуди сама, дырка на дырке, не кроет, не греет, а денюжки огромнющие требует. Забавно сие, однако же и не убытошно для купецкого дела.

— О-о-ох, — стонала Катерина Андреевна. — Не могу...

— Ты погоди ишо, не стонай, — продолжал купчина. — В ихних бруссеях капустака водится знаменитая. Так того товару не знаю, не пробовал, врать не буду. А вот что касаемо кружива, это дело до тонкостей могу обсказать: чистая паутинка, наскрозь все видно, человек будто растелешенный. Тебе, однако, к лицу будет.

— Ах, — обмерла Катерина Андреевна, — счас помру! Жить не могу теперича без галантерейного интересу!

Разговор погорячел, убыстрился.

«Чего тута вытанцовывать?»

— Сколь? — спросил купец.

— Да уж и не знаю сколь...

— Можно цельную коробочку.

— Тогда... коробку.

— Значит, короб!

— Да где ж капиталу взять? — вдруг всхлипнула Катерина Андреевна. — У-у-у! Таковая охота припала до кружива! Кажись, ничего бы не пожалела! Вот, разве что, последнюю соболюшку... продать тебе могу... по нужде своей... А? Почто молчишь-то, родной? — И всплеснула горестно ладошками-оладушками в нитяных митенках — парижских перчатках с обрезанными пальцами (последний крик моды).

Нил Гаврилыч вытянул из рукава пачку хрустящих ассигнаций и жестом восточного факира развернул ее в радужный букет:

— Купляю!

Стрекозой вспорхнула Катерина Андреевна, затрещала юбками. И в единый миг из-под пуфика на турецкой оттоманке соболюшку выдернула.

Но вот и купцу Карягину приспела пора вздохнуть горько.

— Сколь живешь, — сказал, — столь и маешься. А доколе терпеть сие мытарство, господи ты Боже мой?

— В чем нужда приключилась, Нил Гаврилыч?

— Пустяки-с. Пошлины с товару не взяты, потому как товар... утопши.

— И сколь же разов утопнутый был?

— Да не единожды, — отвечал Карягин. — Таково Бог велел.

— А убыток?

— Покеда не наблюдается.

— В таком разе — пущай топнет! Только тебе, Нил Гаврилыч, надобно нужную бумагу выправить. Беспременно!

— Кто-о-о? Кто выправит?

Катерина Андреевна помедлила чуток, а потом выдохнула со свистом, со страстию, точно кусок от себя отрывала:

— Есть такой... В канцелярии чиновником сидит. Ванечка Почекушин. В ревизском повытье числится. Вот к нему и командируйтесь, Нил Гаврилыч, навроде моего черезвычайного посланника.

— Да? А каков сей чиновник? Строг? Ласков?

— Ласков, ласков! Уж такой аполлончик кучерявенький! У Ивана Варфоломеича в большом фаворе пребывает. Спросите в присутствии: где, мол, тута Ванечка сидят? Вам сразу покажут. Его там все знают, как меченый грош. А уж учен! А галантен! А по-латынскому цицеронит — ну, прямо как этот... как Буцефал, ей-богу, так от зубьев и отскакивает!

— А я вить, голубушка Катерина Андреевна, по-евоному, по-латынскому-то ни гугушеньки, не сподобился таковой ученой благодати, — печально заметил купец.

— Да нашто гукать? Того не надобно. Вы ему на пальцах... Пять рублей изобразите — и все гугу!

— Бегу, бегу! — подхватился Карягин. — Прямо чичас и загну ему хошь на пальцах, хошь на чем. И тебя не забуду, сударышня моя, заступница...

И ринулся купец в ревизское повытье — отдел канцелярский, ведавший казенными делами, в том числе сбором подушных, процентных и прочих налогов.

Скакал купец во весь опор. И мысли — впристяжку.

«Бич Божий завсегда в руке человечесей. Так пущай уж будет в Ванечкиной. А в купецком промысле своя рука потребна. Вот мы и соединим купца да пищика, стрекулиста канцелярского. И ладненько будет, и бравенько, и не убытошно. Только вот каков сей господин Ваня? Может, голь гольянская? С такового — что укусить? Ну, ладно. Поглядим, чо почем. Денюжка дорожку проторит, а тамо видно будет. Не след заглазно судить. Заглазно токмо архиерея бранят. А мы в деле поглядим, каков таков пищик Ванечка. Ибо сказано в святом писании: от дел твоих сужу ты...»

Карягин нащупал за пазушкой соболя, шерстку погладил.

«Ах ты ж, денюжка моя, неразменная! Вот и свиделись мы с тобой сызнова...»

2. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. СТРАСТИ ПО УБИЕННОМУ СОБОЛЮ

Египет богат пшеном, Италия вином, Астрахань славна осетрами, Сибирь соболями: там соболей бабы коромыслами бьют...

Так говорили. А промеж слов и дел, бывает, и мизинчика не просунешь — до того близки.

Редкостный зверь с соболем в пасти впервые появился на иркутской градской печати в 1696 году. Надпись на оттиске поясняла невеждам, что зверь сей есть б а б р ь.

«...И есть зверь бабр величеством больше льва, а шерстью глинист, а шерсть ниска, а по нем полосы поперег, а губа что у кота и прыск котовый, а сам червист, ноги коротки, а длиною долог, а голосом велик и страшен, ногти что у льва...»

Тигр ему прозвание.

В те далекие лета царственные мурлыки еще хаживали по Сибири, гуляли — сами по себе...

Сургучная блямбочка на казенной бумаге — точно сгусток кровяной.

— И что трактует сия зверская аллегория? — любопытствовал государь Петр Алексеевич, прочитав доношение Афанасия Савелова, сменившего на иркутском воеводстве князя Гагарина (а писал Савелов о бунташных делишках новоприсланных казаков да стрельцов).

Знатоки геральдики рапортовали без промедления:

— Сей зверь прозванием бабр долженствует силу и мочь империи Российской означать, а соболю — ея богатства нескудные.

— Так, — сказал государь и пыхнул богомерзкой трубочкой. — Врите дальше.

— И вот скакает сей бабр, скакает по серебряному полю, мягкую рухлядь тащит...

— Дураки! — гневно перебил царь. — Куды же он тащит? И куды скакает, господа академики?

— Встречь солнышку, на восток, сиречь, «нах остен», поучёному.

— А пошто не на запад? Пошто не в Питербурх?

Икнули академики, осознали, что сейчас их бить будут.

— Эх, дураки, — повторил Петр Великий, — паскудство творите по слепости своей. Али очи в очешниках отсидели? — И табакеркой тюкнул в глаз почтенному обер-герольдмейстеру для пущей убедительности. — Ведомо ли вам, сучьи детки, что, кто силен да богат, тому воевать легко? Так вот! Пушай сила скакает нах остен, кой для пользы и гонору всему отечеству потребен. А богачество, сиречь соболюшку сего, повелеваю немедля завернуть в обратную сторону, с дирекцией на норд-вест, в столицу государства нашего. Уразумели?

«А как этак изловчиться, чтобы бабра — туды, а соболя — сюды, ежели один у другого в пасти содержится?»—хотели спросить знатоки геральдики, но смолчали, только слюнку сглотнули нервически.

«Как хотите!» — хотел присовокупить к сказанному государь, но тоже смолчал, сплюнул на пол и выразительно расшаркал плевком ботфортом: понятно, дескать?

Понять-то поняли — шей, да вот руки вмиг обвисли у академиков, да так и не приспели до дела — внести корректуру в Иркутский градской герб.

Так и скакал сургучный бабр с соболем в зубах встреч солнцу и доскакал до наших дней — тут его и завернули новые академики на обратный румб, и ныне стремится парочка гербовых зверей на вест. А тогда... тогда нескоро государев плевков докатился до иркутских властей. А когда докатился — поди попробуй, завори соболя! Эвон, как разбежался по землице неверстаной! А кругом — тайга дремучая, снега зыбучие.

Ах, снега, снега! Белые снега, тугие облака на земли — и кто же вас, таких, выдумал?

Кому — в отраду выдумал, кому — в беду, а соболятнику Его Императорского Величества — в подневольный промысел, в хлеб-соль насыщенный.

То ли указ государев был, то ли бояре — заворуи и мздоимцы — что сочинили, но дело было таково: когда в семьях потомственных промысловиков мальчонке исполнялось десять лет, он должен был поставить в этот свой первый охотничий сезон пару соболишек в казну; на вторую зиму — три, на третью — четыре, и так каждый год — на одну шкурку больше — до

двадцатилетнего возраста охотника, когда общий счет добычи доходил до дюжины; и таковое-то количество оставалось надолго, до пятидесяти годов, после коих соболина дюжина постепенно, в соответствии с приростом человеческих лет, убавлялась в обратном порядке.

И так велось нескончаемо. Неписаное куда как крепче писаного бывает.

Времена, в кои погружено наше повествование, были для знатного иркутского соболятника Кири-шатуна шестьдесят вторым годочком от собственного рождения, и где-то по заснеженным распадкам блукал его последний соболек.

3. «ИВАНГЕЛИЕ ОТ ИВАНА», ИЛИ ОДИН ДЕНЬ В КАНЦЕЛЯРИИ

В канцелярии искусу много, да вот одно хорошо и преславно: мздоимство есть, воровство тож имеется, а воров и мздоимцев — нету и не предвидится.

Сидит за столом господин пищик, гусиным перышком реквизиции и артикулы высвистывает, а искушение — вот оно! — в атмосфере под самым носом витает, на грех наводит, прельщает житейскими сладостями: изведаю-де человечка на деньгах, на сочном подношении, неужто не хочется ему пожить сыто и мордовито?

Вот и думается пищику: грешно сие, ибо бог хоть и дремлет, старенький, но правду видит... Однако же и не скоро вслух выскажет тую правду! А покеда бог дремлет — кого черт рогами под бока не шпыняет?

Вот и думается пищику: да, дело сие нехорошее... А дай-кось попробуем, авось и вытянет на нашу пользу!

И вот от таких искушений станутся в голове раздумные почесушки, а в теле бесово ребро взыграет, начинает поскрипывать: все, мол, Адамовы детки, все на грехи падки, а грехи сладки...

Вот и Ванечка того-с... Падал, стало быть.

Топчется в дверях мужичонка.

— Чем поклонисься? — спрашивает пищик Ванечка строго и бровь хмурит.

— Спинкою, барин, — отвечает челобитчик.

— Ну и поди ко святым угодникам! Они тебе пущай и помогают, богомольному... Ходют тута, грязь носят... А оно мне надо?

«Эх, эх, — морщится мужик с виноватостью, — тяжелы поклоны с легким даром». А Ванечку меж тем лютая обида разбирает.

Но тут уж второй проситель у порога торчком торчит, мнется.

— Чем поклонисься?

— Рубликом.

— Так, так... Уже, слышь, скрипит перышко-то.

— Можно и два рубли! Серебряны! — провозгласил мужик, выгребая монету.

— Ишо пуще скрипит...

— А вот и три! — И ассигнация поплыла, двадцатипяти-рублевая.

— Сего довольно для колеса немазаного, — говорит Ванечка. — Давай, дядя. А почто бумажка шибко мятая?

— Дак я ишо надбавлю, барин.

Вздыхнул пищик, почесался, губами пошлепал раздумчиво.

— Ну, ладно уж, я приму. Давай.

Вывернул челобитчик остатний рублишко из кармана, шлепнул перед пищиком с радостью, а подумал с досадою: «Ах, господин Ваня! Бог ему судья. А у Вани, кажись, четыре полы на кафтане да восемь карманов, покулева наполнишь — испостишься в нитку, уж лутче сразу дать в лапку, коли дело уже на живульку прихвачено».

А к Ване уже и третий пожаловал с прошением.

— Сию челобитную, — сказал Ваня возвышенно, — подале погребсти надоть, потому как покеда разберешь твою абракадабрию — намудохаешься...

«Вона как! — думает челобитчик. — Ну, Никола-угодник, выноси по кочкам!» И — гусенок из-под полы будто сам собой явился, горготнул придушенно.

— ...а намудохаешься, — заключил Ванечка, — так и разберешь мигом, как древние латынцы учили.

Потом на гусенка опрокинул проволочную корзинку для мусорных бумаг: сиди, дескать, тегушка, не гугукай покуда, не в гусятнике, кажись, находишься — в присутствии, в казенном учреждении, а сие чувствовать надо!

Такие дела. А между дел — мысли, мысли, все мысли разные под паричком вихляются, сквознячком порхают, каллиграфией упражняться мешают... Однако же — сладостно то мешание.

Скрипит перышко, а кажется, что с кончика пера блестящий карьер капает, весь в завитушках затейливых.

«Кап — и дача в руку гусенком али ...коровой! Кап-кап — авось и золотишком, серебришком звончатым... Ишо кап — и слюней уж полон рот, хоть язык выжимай... Чего можешь дать мне, Господи? Потребы мои невеликие... Скажем, сапоги аглицкие, черные, с желтыми заворотками. Али штаны новомодные. Никак невозможно пицику без штанов, слышь, Господи? Хошь худенькие штанишонки, да чтоб с пуговкой. А ишо лутче — в облипочку, лосиные, как у гусар, да чтоб колером были розовые, самые авантажные, до того приманчивы да аппетитны на ляжках — так бы, кажись, и впился зубами, будто в лососинку! А? Дай, Господи, чего тебе стоит! Тебе, старому, уж ничего самому не надобно, а мне, вьюноше и кавалеру, самое то и будет... Свечку тебе пудовую выставлю, Господи, самолично ивангелье сочиню и тебя, благодетеля, восславлю не хужей апостолов Матфея да Иоанна...»

Почесался Ванечка: вот ведь какая мыслишка прискочила усладительная! Да только в почесушках не мыслишку нашарил, а вошку знакомую, породистую, что вознамерилась Ванечкину думку щекотаньем перешибить. Ухватил ее пищик из-под паричка. «Никак, отощала, коллегия?» — и давай ее кончиком пера под бока тыркать, в чернильные кляксы окунать, да чтоб не потопла, а только нахлебалась.

А тут и прочие канцеляристы от писчего обморока очнулись, носы от столов в атмосферу воздели, стали Ванечке присоветывать да пенять:

— Почто, Ванька, животную мучить? Давить дави, да ногтем по ногтю, да чтоб мокренько стало. Но изгиляться над божьей тварью не мочно, грех еси...

«У, оглоеды! — подумал Ванечка. — Родом не немчины, а указывать горазды!» — Потом возвратил «коллегию» под паричок, гуляй, дескать, до завтрава, поправляйся, — и произнес с презрением:

— Почто така ажиотация, господа пищики?

— А не умничай, — отвечали ему. — Умнее тебя есть, да в тюрьме киснут. А ежели чего про себя думаешь, так думай этак, чтоб сразу выдумать. При народе. Навроде немчинов.

— Дались вам эти немчины... Что оне вам, немчины-то?

— О, немчин хитер! — щелкнул языком один из пищиков.

— Хитер, хитер, — подхватили остальные. — Обезьяну выдумал!

— Каку хреновнику ни смастерит — все гут, все гут...

— Зато гутарит не по-нашенски... Гыр-гыр-гыр! Тыфу!

— Верно. Русский-то индивидум гутее немчина будет!

— Право слово, гутее...

«Ну вас всех к лешему, — подумал Ванечка, — возмечтать мешаете, окаянные. Невдомек вам, что думу думают без шуму, от коего голова посторонним треском трещит».

И — заскучал. А от тоски душевной принялся перышком на дельной гербовой бумаге постыдные символы изображать, подзаборные. А вокруг сих символов — фейерверки, и вензеля, и гирлянды с бантиками, и пушечную салютацию в честь естества человеческого...

И представился пищику недавний бал по случаю открытия Иркутской городской думы, на коем он, соплюшка канцелярская, с распорядительным бантиком носился... Дума — это дело такое: кому — пушай думают, а кому — поплясать можно, потешиться. Градским главою дружно избрали Михайлу Сибирякова, первогильдейского купца, и тот по такому торжественному событию заломил обед на весь свет, потом — бал с машкерадом и рявканьем гарнизонных пушек. Ванечка весь вечер метался в распорядителях танцевальных: «Кавалеры — сюды, мадамы — туды! Па-а-шли!» Первой парой контрданса поплыли сами, генерал-губернатор Якобий с супругою Катериной Андреевной, и

та два раза интересно прищуривалась на Ванечку. А Ванечка... ого! Ванечка отличался! Чиркал сапогами по полу, да все мелким почерком, да все мелким бесом, мелким бисером — точно по воздуху летал. А на машкераде опять же выделился звонкими песнопениями: и канты амурные запускал, и вирши поносные — кому что понравится, а то и все пополам, вперемежку, да все благим матом. Уж так-то ему хотелось, чтобы под паяцкой маскою его опознали и отличили за веселость природы. Опознали Ванечку.

— Нашто благим-то? — спрашивали. — Гнусность одна. Эх, Ванька! Жердьяй жердяем, а ума ишо ни на один параграф! И как же ты, Ванька, опосля гнусных песнопений будешь тем же поганым ротом провиант вкушать, невинных девиц в шшочки лобызать? Одно слово — дурак. Уж ты, коли невмоготу, поболтай языком да и клади его вовремя на место... Понял?

...Развоспоминался пищик да и не сразу услышал, как ему в самое ухо начальственное неодобрение влетело:

— Што тако-о-е, господин Почекушин?

Вздогнул Ванечка, выпав из сладких грез: кто тут шумствует? А это с а м и стоят пред ним, господин столоначальник собственной персоной: перо за ухом, пузо оником, ножки хером. «Тьфу, и впрямь как сущий обезьян, коего немчины выдумали! Нашто выдумали? До чего мудреный народ, а... пакостный!»

Столоначальник административный рык в зобу перекатил, указал перстом в пищикову бумажку с похабными рисунками:

— Что сии фигуры означают?

— Символы, — покраснел Почекушин, — мужеска и женска образа...

— Ах, в рот те дышло! Да чтоб с другого краю вышло!

Ванечка в ответ на ругательство немедля изобразил на лбу двумя морщинками великое внимание и потужение умственное.

— Неучи! — орал столоначальник. — Титькайся тут с имя, с сопляками...

И второй рык перекатил. А перышко-то и выпало из-за столоначальникова уха от сотрясения головы по причине рыка. Ванечка живо вывернулся:

— Перышко вашей милости упасть изволили-с.

— Дак подыми, скотина.

— Это мы чичас, это мы мигом-с!

Склонился пищик в нижайшем поклоне, поднял перышко и вложил его — снизу вверх — в потный столоначальников кулак, а вместе с перышком — «барашка в бумажке», синюху, сиречь ассигнацию лазоревую.

— Так вот, сынок, — сказал «обезьян», — ты уж помни завсегда, что у тебя есть только один начальник. Это я. Остальные начальники уже не твои, а мои.

— Всегда помню-с!

— А сей гусенок... кому?

— Для писчих надобностей подношение поимел. Перыш-ки-то при нашем бесподобном усердии в службе скоро изнашиваются! Вот и держу запасаец.

— Охохонюшки, — вздохнул столоначальник. — Никакого к чинам уважения не стало! Кажись, у меня перышки тоже не железные...

После чего ухватил корзину с гусенком и быстренько вышел, приговаривая: «Тега-тега-тега, чичас я тебе орешка дам, соблазнителью... А с яблочком ты ишо вкуснее будешь выглядеть, мой миленький...»

Тихий ангел пролетел по комнате канцелярской.

«Ну, вот и разошлись: агнцы налево, козлищи направо», — подумалось всем враз. А Почекушину не подумалось. Ему было очень жаль рубчиков. И гусенка — тож.

Помянем же, к слову благодарному, поставщиков Ея Величества — Рукописной Строки! Разве только один Рим спасли гуси? Не все ли человечество спасло душу свою, протезируя с помощью гусяного пера свою вечно дырявую, такую ненадежную память?

Что же касается до столоначальников — тут во все времена разговор особый.

Неисповедимы прихоти командирского сердца!

Пищик Восадулин, к примеру, — неисправимо, безнадежно туп.

— Ну и что? Сие не беда, — благодует столоначальник. — Все мы тут малость подзатупленные. Зато из таковых самые прилежные чиновники образуются.

Восадулин особым прилежанием, кстати, не отличается.

— И то не великий грех! — утверждает командир чиновничьей рати. — Значит, должен быть сей канцелярист негнусен и бесхитростен до всего, что службы касаемо.

Да нет же, и бесхитростным Восадулин не был, сам по себе на уме.

— Ну и пуцай! — не сдается столоначальник. — Зато уж в кумпанстве таким экземплярам цены нет, наверняка, первейший питух.

Что верно, то верно: тупой, нерадивый и хитрый Восадулин из минимума средств и компаньонов умел составлять лихое застолье в любое время дня и года и совершал это с великим знанием всех наитрезвейших подробностей пьянственного дела.

Другой коленкор — пищик Вогородин! Этот все больше книги читает, толстые и без картинок, умницей слывет.

— Подумаешь, умен! — сомневается начальник. — Эти умные все сплошь филозофы и лодыри.

Нет, Вогородин, напротив, проявлял себя старательным, аккуратным и до крайних степеней исполнительным пищиком.

— Э, — усмехается начальник, — знаем мы таких аккуратистов! Небось внутри держит непотребство разное, бабство и пьянствие. Это уж как пить дать!

Нет, нет и нет. Ничего такого пищик не держал ни внутри, ни снаружи. Пить не пил и другим не давал.

— Тады все ясно! — резюмирует начальник. — Фармазон! Видали мы таких волтерьянцев в гробу в белых тапках!

Вот так умный, старательный и высоконравственный Вогородин и оставался для начальства козлом отпущения в царстве-канцелярстве. И сия репутация не претерпела ровно никаких перемен даже тогда, когда, наконец и совершенно случайно, выяснялось, что двух пищиков не существует, а имеется в наличии всего лишь один — дальний потомок казанской жидкобородой аристократии с двойной фамилией Восадулин-Вогородин.

...После ухода «обезьяна» долго бы пришлось Ванечке пребывать в мрачной задумчивости, если бы не заявился по казенной надобности купец Карягин — улыбчивый и уважи-

тельный. Зыркнул пищик глазом на посетителя: «Эге, рожа — хоть репу сей, хоть моркву сажай, до того щедровитая. Кажись, и мои рублики нонче возвернуть сподобится!»

А купец посмотрел на Ванечку снизу вверх, но подумал свысока: «Экой же ты малявка латынская, голубь голубеевич! И добра-то в тебе всего — один нос, да и тот больно долог, не по чину. Уж я тебя ухвачу, не покочевряжишься!»

И принялся Нил Гаврилыч сети плести: о послаблениях с налога да о своем исконном почтении к пищикам генерал-губернаторской канцелярии, а особливо — к нему, к господину Ване, да еще о том, какво славно будет, неубытошно, ежели чиновничество с купечеством миром-согласием поладят.

— Ибо сказано по-печатному, — говорил Карягин, — «и купечества в ничтожность повергать не надобно: понеже без купечества ни какое не токмо великое, но и малое царство стояти не может. Купечество и воинству товарищ: воинство воюет, а купечество помогает, и всякие потребности ему уготовляет...»

Быстро столковались. Купец Ванечку к себе в гости зазвал — о деле сговориться да заодно и женихом примерить к дочке Лизавете; посулился учинить трактамент изрядный, проще говоря, угощение знатное.

Пищик важно кивал.

«Этак-то пойдет дело как по-писаному! — рассудил купец. — Ишь ты, коллегия! Что ему в титуле, коли нету в шкатуле? А ни хрена! Опосля Бога — деньги первые. И тот мудрён, у кого карман ядрён. Стоит нам крякнуть да денюжкой звякнуть — всё сбудется! А будет, дай Бог, таково: и мое — мое, и твое — тож мое еси...»

4. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. ЧИСТЫЕ МОИ ГОЛУБИ!

Дорогие мои дороги!

Когда я пролетаю над Сибирью — со «взлетной» карамелькой за щекой, в покойном кресле, а в ближайших окрестностях — мне подобные пассажиры с портфелями и без оных; а в руках моих — географическая карта, по которой оказывается, что от Иркутска до Читы всего лишь жалкий отрезок

в два сантиметра; за иллюминатором — нереальный, какой-то сюрреалистический вечер в духе Сальвадора Дали; а изящная стюардесса, словно сошедшая с лакированных проспектов Аэрофлота, уже разносит минеральную водичку «Аршан» в фирменных синих кукольных чашечках...

когда я еду по Сибири — и спальный вагон постукивает колесами по стрелкам, пересчитывает шпалы, меридианы, часовые пояса; мимо старых и новых городов, мимо крохотных полустанков, где не бывает входящих и исходящих, мимо водонапорных башен Великой Транссибирской магистрали, напоминающих европейские рыцарские замки, мимо островов могучего леса, мимо мшистых пеньков, торчащих в снегу, как самоходом разбежавшиеся валенки, мимо... мимо, а сосед на верхней полке все ворчит, и его кадык сотрясается от неизъяснимой ностальгии по паровозам; и попутчица моя любезная — дама в полном объеме этого слова — при виде падающей за окном звезды успевает загадать кило мохера и японский магнитный браслет-антигипертоник...

когда я плыву по Сибири в лодочке с подвесным «Вихрем» или на верхней палубе современного озерного теплохода; и из груди очарованных путешественников рефлекторно, без вмешательства штатного культзатейника, вымахивает раздольная, соответствующая текущему (по акватории!) моменту, песня о некоем бродяге, бежавшем с Сахалина; почти мифическая личность, почти легенда — этот бродяга, о котором мы мало чего знаем, как и полагается в легенде, но которому, уверены, мог бы позавидовать сам Диоген с его знаменитой бочкой, фонарем и философией; что — бочка? в ней, между прочим, можно, уподобясь Диогену, всю жизнь просидеть и свету белого не увидеть, но можно и «славное море» переплыть, поднатужиться немножко и... да мало ли что может свершить вольный человек? Ну, хотя бы для почину дать по сопатке какому-нибудь сукиному сыну, рассуждающему о России как о большой деревне, где до сих пор молятся на лапоты и чуть ли не ежедневно топят в речках персиянских княжон;

короче говоря, когда я пролетаю, проезжаю, проплываю сибирскими путями-дорогами — я очень даже вольно думаю о том, каким было далекое прошлое этого края, откуда «есть

пошла Иркутская земля», в те поры неверстанная, но уже давно ожидавшая доброго пахаря и гораздого рудознатца.

Я пытаюсь представить, каким он был — тот первый ходок, проторивший путь вокруг Байкала, на север, на восток, на юг.

В народе говорят: передний — заднему дорога. И пусть дорога эта поначалу — всего в два ичижонка шириною! Ничего, со временем поправится, наладится в кое-что путное. И пролягут по тому первому следку визжащие колеи, и чиновные люди, едущие по казенной надобности с подорожными, на коих размахнутся черные державные орлы, будут пересчитывать версты и зубы станционных смотрителей, и гнать, гнать лошадей — в хвост и в гриву, не жалеючи. И лихие ямщики с нашитыми на зипунах наградными серебряными рублями, что нашлепаны точно лепешки на Монетном дворе, будут высвистывать нескончаемое:

— Эге-гей, соколики, выноси!

Но все это — еще нескоро, еще будет.

А тогда — первый, шагавший впереди ватаги, выходил из зеленой густыни — лешак лешаком! — выщипывал из бороды рыжие хвоинки и паутину, щурился на солнышко и приветливо махал рукою оробевшим, но внешне невозмутимым темноликим аборигенам:

- Эй, товаришши, братцы мунгалы косоглазеньки! И где у вас тут в Китай поворачивать?

Молчали мунгалы, трубочками медными раздумчиво пыхали. А первоходец — дипломат самородковый! — лошадь свою пеганькую подсупонил, под седелкою посмотрел (не нажгло ли холку?) да и приступил к общепонятному интернационально-мужицкому интересу:

— Слышь-ка, земля! Овес-то у вас почему?

Вечно молодой, обронзовевший буддийский бог сидел на кукарках и лукаво грозил пришельцу пальчиком; и такое горькое одиночество сквозило из его смеющихся глаз — не приведи того Господь православный да и пособи духовному собрату, коли уж не верой своей, так правдою.

А кобыла — хребет да жила — скосила фиолетовый глаз на гаоляновые заросли и губой, усмехнувшись, дернула: «И это вы, люди, овсом называете?»

Эх, дай тебе Бог, лошадка, шелковистого резвого жеребенка, спокойной и сытной старости. Да и хозяину твоему — доброго пути.

— Па-а-шла-а, миляга!

...Киря-шатун был из первоходцев, из славного и горемычного сибирского племени соболятников Его (и Ея) Императорского Величества. Отец промыслял дивного пушного зверушку, дед промыслял, прадед. И хоть не ведал Киря достоверно и поименно о более давних предках своих, однако и на мизинчик не сомневался в том, что и у них не было иной жизни, как вострить лыжи на долгую дорожку, топтать тайгу, обшаривать глухменные, богом и чертом позабытые, берендеевы уголки, коих в здешних местах припасено на бесчисленное число поколений, а уж первоходцы — в каждом поколении сыщутся.

С тайгой Кирюшка породнился годков с десяти. В те поры ходить далеко от Иркутска нужды не было: отмахай на камусных лыжах десяток верст в любую из четырех сторон — тут тебе и вся знатная охотничья утешка: щеголь-соболь, кокетливая белочка, хитромудрая лиса-крестовка, барственно-вальяжный лось с ветвистой генеалогией на башке и потусторонними расколничьими глазами. Однако с течением времени тропы и дороги все гуще, все настырнее опутывали окрестные леса, точно сеть промысловая — загнанного соболя; и зверь просачивался в ячейки бездорожья, уходил все дальше и дальше от города — и сохатый, и лиса, и белочка, и соболь — все шли туда, куда, кажется, не хаживал даже сам хозяин тайги — царственный бабр; тот (мудрец!) покинул здешние места раньше всех; от чоканья топоров, от бряканья поддужных позвонков, от жиканья пил, от сует чересчур громких и дурно пахнущих отправился он буреломным путем туда, где в подобающей царю тишине, в молчаливом почитании еще оставалась возможность сыто, спокойно, безмятежно прикрыть глаза на вселенские безобразия и примерять на себя буддийскую вечность... А первоходцы тянулись вослед. Так что, свой личный счет «государевым поминкам» Киря распочал уже в двух суточных переходах от Иркутска.

...В отрочестве у Кирюшки поперед соболиного промысла иная забава была — маленькая, с гулькин носок, но и таковой для души доставало: голубиный гон.

Папанька бурчал:

— В голубятниках, ёшкин кот, спокон веку толку не бывало. Севодни гули, назавтре гули... Смотри, паря, штоб ты в лапти не обули такие вот забавушки! И почто ты у меня такой парнишка куролеший, Киря? Под носом, гляжу, взошло у тебя, а в черепушке ишо и не засеяно...

Маманька за сына вступалась:

— Отец, да вить гулюшки с ластовицами — божи пташки, библейские, евангельские. Под которой крышей голуби водятся — та, чай, и не горит. Уж пущай наш младшенький с имя тешится. И вовсе-то он не глупой у нас, дом от огня берегёт.

— Ага, — басил отец, суча корявыми пальцами суровые конопляные нитки для промысловой соболиной сетки, — у тебя все на языке ладно выходит: первый сын Богу, второй царю, третий нам самим на пропитание в старости. А вышло што? Один — не годится, второй — оторви да брось, да и третий — маленько поплоче обоих будет, божиих птичек гоняет, палкой-махалкой небеса подметает. Эх, помощнички...

А голуби, что и говорить, были добрые: сизари, дутыши, чистяки, трубачи, козырные, плюмажные и даже непокорливые, но лаской и кормом одомашненные лесные вяхири и витютени с пером в искорку.

Хороводил в стае знатный турман — Кирюшкина любовь и гордость; с ладони зернышки склевывал, с языка слюной поился, совсем ручной был, и уж такие карусели под облаками вытворяживал, такие немислимые петли накручивал, что сердце Кирюшкино в те минутки срывалось с насиженного привычного ребрышка и пускалось по всем жилкам кувыркатся, подпевать голубиному лёту и творить в теле веселую щекотку: «Эй, не робей, воробей! Даст Бог, и ты полетишь когда-нибудь вверх тормашками!»

От тех птиц сам голубятник крылато жил.

С крыши, где Кирюшка сочинил голубятню, открывался иной мир — удивительный. Руки разведешь, распахнешься, крутанешься на пятке — и вот он, как миленький, весь перед тобою, на все четыре стороны. А голову запрокинешь — кажется,

что душа на цыпочках приподнимается, вытягивается выше головы, и тогда открывается уже не пятая сторона света, а сам свет — необъятный, «вона какущий!», и оттого страшный маленько и вместе с тем приманчивый, но до краешка которого даже мыслию не моги дотянуться, не только что руками грязными шиньгаться; понятное дело — там рай, там проживают припеваючи ангелы, архангелы и иные прочие безгрешные существа, там навалом яблок, овса и мягкого хлебца, там падучие звезды подметают хвостами дорожки пред Божьим престолом, на коем Господь сидит, купно страждет за всех и крошит на звездочки старые, износившиеся месяцы...

Далеко видится с Кирюшкиной голубятни!

К самой Ангаре притулился «малый город» — старый острог с вековыми сырыми погребками, амбарами, вице-губернаторским домом, каменной воеводской канцелярией и каменной же Спасской церковью, которая, как казалось, не землей держится, но белой лебедушкой покачивается на воде. От Ангары до Иды² топорщится деревянная городьба, вдоль которой еще казаки-первоходцы вырыли глубокий ров, рогаток понатыкали согласно фортификационным артикулам. Здесь же — Солдатская слободка, десяток редутов и проезжие ворота: Монастырские (к Знаменскому девичьему монастырю, где при императрице Анне Иоанновне томила дочка казненного Артемия Волынского), Мельничные и Заморские, открывавшие торный путь к Байкалу. Посередке «малого города», у Спасской церкви воняет помирающее, тинное озеро; путная рыба там уж давно не водилась, однако же всегда имелись рыбари-малолетки, лягухи распевали и прохлаждались домашние утки. Речные берега шибко заболочены, лесисты кедром, бронзовыми соснами, чащарником-кустыней непролазной; эти места совсем не напрасно называют Потеряхой; забредет туда коровенка — и сгинет, ровно ее и не было: то ли обманчивый бархатный кочкарник засосет бедную, то ли зверь какой задерет и слоает, то ли бедовые люди за милую душу используют, опять же на прожор.

В посаде, или «большом городе», — средоточие купечества и мещанского люда. Здесь — еще три каменных строения:

² Старое название р. Ушаковки.

Богоявленский собор, пороховой амбар и казенная пивоварня. До граничной городской черты— Прешпективной улицы³ — уместились четыре приходских храма, ратуша, гостиный двор, таможня, винный подвал, торговые лавки с товарными складами, мясной и молочный ряды, полковая казачья изба, полицмейстерская контора, кабаки и девять сотен обывательских изб, среди которых и Кирюшкина — серая старенькая черепашка. У тех, что побогаче, — срубы лиственничные, на подклети, с четырехскатными крышами, полы из «топорного» кедрового теса настланы, но таких домов не так уж и много, большинство срублены из сосняка, под двускатными «горбатыми» кровлями, в окнах слюда или пузыри животные, а вокруг да около — всеобщая (для богатых и для бедных) грязьца — зловонная, на лошадиной моче и коровьих лепехах замешенная.

Далеко видится с голубятни!

«Вона, — отмечал Кирюшка, — у купца Карягина опять пороса зарезали, кишки моют, колбасу, стало быть, коптить будут на соломе... Скусное ето дело, колбаса!»

Проглотил Кирюшка аппетитную слюнку и язык показал карягинскому подворью: там, совсем недалече, всего-то с десяток крыш от Кирюшкиной голубятни, проживает и колбасой обжирается извечный супротивник— сын купцовый Нилка, глаза вертучие, прокудливые, весь в батьку своего — захапущий захапужина. Жили огольцы, считай, по соседству, были ровесниками и помнили друг друга столько, сколько вообще могли что-либо помнить. А помнилось все больше обидное. Летось Нилка выманил у Кирюшки за колбасные обрезки двух отменных сизарей. Колбаса была съедена, а голубей Нилка затравил забавы ради сибирскими котами. Прослышав об этом неслыханном злодействе, Кирюшка ворвался на карягинский двор для скорого и справедливого суда, но был кровяно покусан цепными псами, от злости готовыми загрызть самих себя, не только что парнишку горластого. А вдовесок Кирюшку выдрал за вихры сам купец. Маманька тогда шибко ревела, примачивая снадобьями собачьи покусы, а папанька молчал-молчал, потом скрипнул зубами, сдвинув челюсть точно щеколду, и явился к гильдейцу прямо в горницу. И даже шапки у порога не сдернул.

³ Ныне ул. К. Маркса.

— Языком молотить—молоти, — сказал он Карягину-отцу, — но рукам воли не давай. Ишо тронешь мальчика — убью.

И убил бы, точно. Что для папаньки гильдейский купчина с его псами, капиталами, колбасой и медалью на ленточке? Тьфу. У папаньки своя горделивость: его тщанием и промысловым фартом государева казна полнится, так-то! Что же касается до самого Кирюшки, то его вражда к карягинскому племени простиралась не далее того, чтобы турман из-под небес однажды накакал на новый Нилкин картуз, всего и делов-то.

Купецкий же сынок придумал против первого голубятника куда более страшную пагубу. Как-то раз Кирюшка поднял над городом свою белокрылую стаю. И тут же с карягинского двора стрелой метнулся ввысь сокол-голубятник, врезался в поднебесный хоровод, сбил пару дутышей. Вожак-турман принял на себя разбойничий гон, запутал, закрутил хищника в своих петлях и благополучно увел собратьев домой. С того времени и началась необычная воздушная баталия. Весь город следил за птичьим поединком — сокола и Кирюшкиного турмана. Ну, может, не весь город, так весь околоток, вся слободка. Чья возьмет? Знали, что не птицы соперничают — люди: босота с кряжами, с домовитыми хозяевами кровный вековечный спор ведет. Прикрывая глаза козырьками ладоней, радовались и злобились, смотря по тому, под какой крышей обитали: двух- или четырехскатной.

— Э,— говорили одни, — голубь-вертун насмерть бьется, а от обычая не отстаёт. Держися, птичка божия, на тебя люди смотрят.

— Э, — говорили другие, — пуцай турман бьется, а все ж не миновать ему рылом хрен копать.

...Сбил-таки стервятник турмана.

Кровавый комочек наискось прочертил небо и упал на знакомую крышу, с которой голубенком отправлялся в первый, дрожащий полет; тогда, в начальный раз, встречный ветер еще не обдувал со свистом крылья, не оттягивал их назад, тогда и смелости особой не было, силенок — тоже, и птенец летел даже не на энтузиазме, а на одном сплошном удивлении, — что на заре жизни зачастую случается и с людьми.

Кирюшка сорвался с крыши, не помня себя, потом вновь на ней очутился с батюшкиным промысловым нарезным штуцером,

щелкнул кремневым замком, обернул просаленной тряпкой круглую пулю, загнал ее шомполом в ствол, пристукнул деревянной колотушкой, прицелился — и единым выстрелом снял сокола-разбойника с пиратского торжественно-победного круга. А стрелок он был отменный.

С тех пор Кирюшка никогда не держал голубей. Тех, что остались, выпустил на волю, а новых не заводил: знал, что Нилка придумает новую каверзу, поплоше. Однако же до конца лета, до самых осенних холодов каждый день забирался по привычке на крышу, растягивался на зеленоватых мшистых досках и туманно-туманно всматривался в пятую сторону света — в небо, где еще недавно потрескивали слюдяными крыльшками стремительные стрекозы и стрижи стригли пространство от земли до самой бесконечности.

Кончилось лето.

..Жили два парнишки — можно так сказать.

А можно иначе.

Летели два гуся: один — серый, другой — на север.

5. «ЖИВЕМ ТУТА, КАК СВИНЫ, ЕЛКИ ЗЕЛЕНЬЕ!»

Говорят: счастливо живет человек, который поутру с душевной радостью покидает свой дом и спешит к месту работы или службы, а к концу дня с подобным же чувством торопится обратно, домой.

У пищика Почекушина — все наоборот, хотя и считает он себя в известной мере не обделенным счастьем: его отличили в суконной когорте канцелярских юношей и, кажется, всерьез говорили: о! Ванечка скорохват! хоть и русский, да на манир французский, только еще погишпанистее будет! — и это льстило.

В ревизское повытье Ванечка шел, будто на каторгу, а возвращался домой — точно с пудовыми гирями на ногах. Такие вот чувства...

Родительский домик в одной из многочисленных Солдатских улиц — халабуда, завалюшка. Пузырящиеся краше-

ные ставенки. Здоровенная пожарная бочка под окнами. У заплота — лопухи, крапива и обязательные ромахи. Визгливое крылечко... Все. Ну, еще сараюшка. В сараюшке чушка, прочая свинота.

Однако все это добро Ванечка отдал бы не глядя и без всякого сожаления за один только уголок в прихожей комнате генерал-губернаторского дома, в котором побывал однажды и ненароком, — рядом с медвежьим чучелом, державшим в лапах литые бронзовые канделябры; вот так бы и пристроился жить здесь, в прихожей, прямо на полу из паркетных шашечек; и ничего с ним, с этим паркетом, не станется от Ванечкиного присутствия, коли выдерживает такую тяжесть, как огромный, в два пальца толщиной коврище с китайскими чайными розами по синему полю и зелеными диковинными птицами; Ванечку и подавно выдержит...

А в родительской халабуде — все серо. Бедненько. До противности. Скажем, матушкин коврик, пошитый из разноцветных лоскутов — Господи, убогость какая, не коврик — коврижка постная, такую мануфактуру ни одна порядочная моль жрать не станет, побрезгует.

«И почто так все устроено на белом свете, что одному — и дом как дом, и паркеты блестящие, и чучело, а другому — не то чтоб чучело, а даже канделябру завалыщенькую купить не на что?»

Одним словом, не любил Ванечка свой домишко, жить в нем не жил — проживал.

Папенька нараспев читал «Московские ведомости» четырехлетней давности. Матушка сидела напротив, вязала варежку, искоса поглядывала в «божий угол» и одними глазами — грустными — с иконкой разговаривала: «Пресвятая богородица, почто муж мой дерется, а? Снизойди с небеси, дева Мария, сделай такую божецкую милость, попеняй Савелию Петровичу, попугай, да не опаливай шибко-то, не до смерти... Мужик он ничего. Ну, охлип малость, не без этого, рюматизмы, говорит, в голове завелись. Так это ишо с военной кампании у него такое. Потому и зашибает водочку... и меня заодно, бедную... А живу я коло самой Ангары, домишко будет крайним в проулочке, тут тебе всякий укажет...» Молчала дева Мария, скорбящая матерью-

заступница. Да и что могла сказать богородица, коли русский мужик в европах ошивался?

Савелий Петрович почти три десятка лет назад взял на штык прусский город Берлин. То было в пору викторий преславной Елисавет Петровны... Тогда иркутский рекрут Савка, по правде говоря, к тотлебеновским штыкам касательства не имел, ибо состоял при верблюдах русского войска провиантским писарем; от тех астраханских горбунов имел Савка сытный приварок и к концу кампании возлюбил благодарной душой надменных животных, кои с брезгливою гримасой презрительно оплевывали ухоженные берлинские штрассе.

Пришел срок, вышел Савелий Петрович из военной службы. Пенсион получил. Табакурил, домоседничал, старые газетки мусолил, по случаю запивал крепчайше и при этом женку свою ученым глаголаньем пугал.

— А што, — говорил, — мадам твою мать, изба-то наша неужто хуже царева кабака? Не хуже! Запьем — дак избу запрем, затащим в красный угол кадь соленых огурчиков из сеней и — парле вам франсе! — закатимся, милушка моя, к мудрене фене, сиречь душою в рай, рогами в землю. А?

Так и жил себе — пропиваючи. Порой бахвалился не без кокетства солдатского:

— Ране, бывалоче, штофик в один присест выдаивал, а теперя пару едва осиливаю. Кажись, слабый стал.

Ванечку Савелий Петрович любил, хотя, случалось, и лупцевал под горячую руку.

— Сынок мой, — говорил приятелям, — точь-в-точь копия с отца. А отец евоный был в молодечестве чистый брильянт в золотой оправе.

Жена, как всегда, помалкивала, однако думала при этом: «Сидел бы уж тишком, брильянт, трёкало нещасное... А ты, пресвятая богородица, коли уж сама пособить не можешь, так попроси Николу-угодника, пуцай он Боженьке все как есть перескажет на ушко, по всей небесной форме докладёт...»

Молчала богородица.

А папанька распевал, шурша газетой, выуживая из нее замечательные известия — «из веста», стало быть.

— Пишут из Лондона, что Некто показывает тамо за деньги свинью, которая есть чудо остроумия и учености. Знатны особы и низкого состояния люди толпятся, дабы за один шиллинг иметь удовольствие побеседовать с сею удивительною свиньею...

— Ужась, ужась какая! — не выдержала маменька. — А шилинг-то чего такое будет?

— Хрен его знает, — ласково отвечал папенька. — Фигуральность такая.

— А-а-а... Тады понятно.

— Ну, вот. Да ты не встревай, мать! Так, так, так... С сею удивительною свиньею... Ага! Хотя мы много слышали и читали об ученых свиньях, но с сею четвероногою ни одна не может сравниться. Она дает прорицательные ответы и отгадывает загадки...

— Ужась, ужась!

— Некоторые прорицательные головы подозревают, что, может быть, душа Пифагора, по столь многим переменам чрез столь многие столетия, превратилась в сие животное, но точного о сем по сие время не мочно еще ничего сказать. Сказывают, что свинья приглашена в Оксфорд, дабы там решить некоторые важные вопросы, о коих Ученые Мужы доселе согласиться еще не могут. — Савелий Петрович отложил газету и прошептал философически: — Эх, мадам твою мать...

— Ты што, Савелий Петрович? — насторожилась матушка.

— Ништо! Думаю вот... каковы чушки почтенные бывают.

— И... што?

— А то, што ты меня свинством попрекаешь в поносном смысле! И от сего ругательства я расстроиваюсь. Не совестно тебе, моя миленькая? Вот и чичас заболело... Вот тута. — Савелий Петрович при сем указал на брюшное местоположение.

— Кваску принесть? — вскочила матушка.

— Поздно уже. Не надобно.

— Или чайку?

— Не поможет...

— А можа, стопочку?

— Да бог ее знает, стопочку-то? Рази што попробовать?

Выпил перцовки, осушил усы ладонью, корочкой закусил и ударился в рассуждения, до которых был большой любитель:

— Вот думаю, может, и в меня какая-нибудь холера переселилась. Почему — нет? И очень даже просто. Што получается? А то, што мне самоличному стопочка даже на дух не потребна. Но внутри, вот отседа (ткнул пальцем в пуп) каждый день, в основном с утречка, голос мне является, и зудит, и зудит: мол, употреби, Савелий Петрович, да не единожды и неоднократно, да ишо женке своей скажи, чтоб не вякала жалостно, не серчала на мужа своего брильянтового, покорителя Берлина. И кто бы мог таково учено уговаривать? Точно — Пифагор! Больше некому. Сижу вот, говорю, а он скребется, скребется... Ежели бы меня тоже в европах на публике показывали, так тебе, мать, огромные капиталы стали бы отваливать...

«Пресвятая богородица, почто мужу моему скребется?» — всхлипнула маменька, и спицы в ее руках замелькали с быстротой фехтовальной.

Молчала дева Мария.

А папенька уже Ванечку спрашивает:

— Почто, сынок, губыньки распустил?

Сын Ваня до губ мизинчиком коснулся, поправил:

— В томностях пребываю, папаша.

— Игде?

— В томностях пиитических, сиречь нервических.

— А ну-кась, дыхни!

— Дых тута ни при чем, папаша. Потому как возжелал я свой карьер на галанский манир устроить. Мамадя, пожрать-то есть чего?

— Ты погоди, — ответил за маменьку Савелий Петрович, — натрескаться успеешь. А вот касательно томностей твоих я тебе счас скажу прорицательно: ты, Ванька, в этом плане — не то чтоб дурак, но полдурака есть. Понял? — Сидит Савелий Петрович, сердится и медную деньгу, трынку, в пальцах мнет — то трубочкой скатает, то в лепешку выправит, волнуется, стало быть; монетка бог весть как закатилась в карман Почекушина-старшего, ходу ей в теперешние времена нет, а выбрасывать жалко: как-никак, а денежкой была.

— Удивляюсь я на вас, папаша, и вашим куражом пренебрегаю, — продолжал сынок. — А перво-наперво я замыслил осилить все языки европейские: шпанский, свейский,

аглицкий. Зачну галант блюсти, разные куртуазности вытворять. Вот, к примерности, с дома примусь: чего нам тут не хватает? Канделябров, папаша! До последних крайностей мы с домашним сиянием отощали. И вобще, живем тут, как всякие... как свиньи, елки зеленые!

— Вот и опять дурак! — вскричал папенька.—Да нашто нам твои канделябрии? Мышей под горячую руку калечить? Ах, Ваня, Ваня, теля ты глупая! Тебе с таким слабым карахтером тока што святцы канючить. Нету в тебе моей стойкости, ох нету...

Ванечка скривился:

— Обидное говорите, папаша. Канделябра для галанту приспособлена, галант — для деликатесу, деликатес — для кордияльных чувствий, а без чувствий... без чувствий, папаня, хоть ложись да помирай заживо. А оно мне надо, помирать-то? Нет уж, вы живите как хотите, а мне без галанту никак невозможно: ни реляции отписать, ни пройтись, ни станцовать. Я сие чувство унюхал до последней косточки, потому как однуё распрекрасную женчину спознал...

Савелий Петрович очешник на лоб подбросил:

— Да ну! И глыбоко?

— Чево глыбоко?

— Глыбоко спознал, спрашиваю?

Ванечка фыркнул:

— До дамского полу, папаня, мы касаемся токмо метафизикою, по-другому сказать, умственно. А чтоб как по-иному прочему натуральному — ни-ни, упаси Бог от такого крестьянства серого.

— Вот и зря, — осердился Савелий Петрович, настроившийся было на солдатский разговор. — Святые угодники, Ваня, это дело ушлое, нонче дамские угодники у всех на виду. Вот ты и засучай рукава да ухватывайся за живое, глядишь — от того ухвату и дочки купецкие наперегонки брюхатеть зачнут да к тебе же, дураку, на шею вешаться. Таково-то, судырь мой, службу знать надобно, на солдатский манир, без разных тому подобных менуветов, танцев-обжиманцев, А ты, гляжу, заладил: томности, канделябрии. Вона, цидулка тебе тут пришла с нарочным от купца Карягина. С него и делай почин...

Ванечка захрустел бумажкою — в нетерпении.

«В понедельник али в четверг мы с супругою Фелицитатой Даниловной и дочерью Лизаветой милости просим пожаловать на блины с икоркой под неподобную водочку анисовую, которая тройного перегону. А также — настойка на зверобое и иных невинных травах. Да ишо пельмени из медвежатины предвидятся, и что иное протчее Бог пошлет. Лети с приветом, вернись с ответом. Ауфвидерзеен. Ферштеен».

Ванечка затрепетел. «Вона какой нюанец выскочил! Хлипкий пузырик, не шибко надежный, а того-с... радужный. Ажно авантажно, елочки зеленые!»

Впрочем, Ванечка виду особого не подал, от ужина отказался, нырнул в свой домашний закуток, за ширмочку — переобмундировываться к немедленной визитации. А чего ката за хвост тянуть? Ясное дело, ферштеен.

Наряжаться Ванечка умел и любил. Сначала — всенепременные штаны в обтяжку, да чтоб не морщили, упаси бог. Сапоги а ля Суворов — без отворотов, с вырезом впереди в форме сердечка и с кисточками поверху голяшек. Желтый жилет. В жилетный кармашек вложил уголком платочек чистый, несморканный; сие не для носовых надобностей — для форсу и еще дам отмахивать, из обмороков вызволять. Синий аглицкий фрак—двубортный, с высоким воротником и короткими фалдами... Ну, кажись, и все.

— Ажно, ажно! — мурлыкал Ванечка. — Ажно авантажно!

Потом выбил о коленку пыльный паричок, за ним — второй, и оба вместе, один на другой, приладил на голову: и пышно, и тепло, и не столь чувствительно будет, ежели, не дай бог, по пьяному делу примутся палкой по голове бить; таковое случалось.

— Ну, пойду, однако, — сказал Ванечка, охорашиваясь.

— Ступай, сынок. Размножайся, — напутствовал его Савелий Петрович, катая трынку в трубочку меж ладоней и прислушиваясь к внутренним голосам.

А маменька всхлипнула — и ничего не сказала, метнула взор на иконку, но богородица по-прежнему оставалась немой.

6. КОГДА МЫ БЫЛИ ПОЖИЛЫМИ...

Кто с косушки к делу приступает, кто с бани, кто с понедельника, а Ванечка Почекушин, как видим, с одежды своей. И в этом есть свой неслучайный резон,

...В том вывихнутом, подпрыгивающем столетии многие идеи надевались подчас, как маски, или прицеплялись, точно шпаги. Люди, следовательно, либо прятались, либо дрались. Но был вопрос одинаково насущный для тех и других: как притереться к веку, как приноровиться к его шипам?

— Эхма, — говорили те, кто моментум ухватил за кончик, — лутче кусошничать, да зато в парчовом камзоле променады проминать. Авось, где и встретят с любезностью, с политесом галантным, за стол посадят, а тама, небось, можно и налупитья провянтю от дырки до дырки, сиречь от роту до ануса...

Появилась на Руси капризная, переменчивая и своенравная дамочка — мода, которой и в помине не было раньше, когда костюм определялся традицией и служил выражением достатка, а не личного вкуса, Бояре трепали одежды, унаследованные от отцов, но пошитые еще дедами; носили бы и правнуки, да ткань не выдерживала таких сроков. И в пир, и в мир — одна одёжа.

Конечно, знавали бояре и «немецкое» платье, но — истово отплевывались от оного как от срамного; богомазы малевали чертей не иначе как в чужеземных кафтанах.

Петр Великий ухватил за бороды и бояр, н чертей. При нем «господа дворянство» облачилось на западный фасон. Многие, переобмундировываясь, истощно выли; дурной слезный рев стоял на пол-России, чтобы через двести лет вызывать улыбку у людей, уже привыкших моду сопровождать веселым смехом — по крайней мере, дважды: когда она приходит и когда уходит. А тогда русскую одежду оставили только святым угодникам на иконах; да еще дворян, содеявших дурной поступок, палач обряжал в посконные рубахи — в наказание.

Лицом в грязь не желая ударять, дворяне вытягивались в ниточку, дабы отличиться заморской диковинной тканью, тончайшим кружевом, шитьем золотым и серебряным. Что и говорить, непрестанные капризы моды приводили нередко к разорению; то, что батюшка лопаткой нахально сгребал, то сынок французской тросточкой нахально расшвыривал.

Часто случалось: на брюхе шёлк, а в брюхе-то щёлк!

И тогда арбитром выступило государство. С середины XVIII века царские указы законодательно определили, кто должен носить кафтан из бархата в три, а кто в пять рублей за аршин; кому полагается шитый кант по борту серебром, а кому — золотом...

И пошло тут дело — как по бархату. И повел кафтан человека.

Мода-законодательница стала определять всё: от манеры говорить и кланяться — до количества слуг и способа выезжать из дому: парой лошадей, четвернёй, «бригадирской» шестёркою или восьмериком цугом, с ливрейными лакеями на запятках или без лакеев, а если с лакеями, то в строго определенных ливреях... Как в картежной игре: у всех вроде бы равные карты, но тузы да козыри на всех не поделишь!

К концу века дворянская Россия зачитывалась английскими «романами со слезой»: о близости человека к природе, о лужайках, птичках, овечках и прочих атрибутах сельской идиллии. И вот уж крепостной столяр вытесывает топориком спинки кресел «по аглицкому образцу» — в изгиб тела, для удобного чтения; кресла из сидений почета превращались в сиденья покоя — того требовала мода. И если барин, который из фауны признавал только породистых рысаков, а из флоры... э, было бы из чего розги надрать! — если этот барин самолично не рвал ноздри крепостному, не сажал на цепь того же столяра, испортившего кусок «красного дерева», — то сего было вполне достаточно, чтобы ему считать себя гуманистом на манер британских сентиментальных джентльменов.

В XVIII веке пришло из Франции в русский язык галантное обращение на «вы». Тыканье, впрочем, не исчезло, с ним обращались к тем, кто не дотянулся до модного «моментума», а таковых в российской империи было большинство: крестьянство — тело государево, душа Божова, спина барская, языка и вовсе нету — основа нации, сгорбленная над землей, словно извечный вопросительный знак: доколе же терпеть нужно, Господи? Не блистало оно дорогими кокошниками в стиле хора имени Пятницкого. Не было и натур для идеализированных полотен Венецианова. Были два полюса, два конца непримиримых, и свести те концы с концами без хруста, без гибели одного из

них — невозможно, немыслимо. На одном полюсе — опрятная холстяная бедность, на другом — атласно-жемчужовое довольство в горжетках собольих; середину представить трудно; и это не единственная гримаса того времени.

Но уже была написана мудрая книга о скудости и богатстве. Не на прожор запечным мышкам — для людей.

«...На немец нам смотреть нечего: они нас обманывают, да денги у нас выманивают, а самые правды никогда нам не скажут. Толко предлагают нам всякие фигуры, на чем бы им излишние у нас денги выманити, и привозят к нам дудки, да робячие игрушки, да всякие напитки, чтоб мы купя да высосали...

Тщитесь детям своим одежды чинить не от высоких цен; елико себя ради, паче же — ради царственного пополнения, дабы наше Российское царство от излишняго наряду не отончевало. И той же ради царственной прибыли детям своим обшивных пугвиц — ни шелковых, ни шерстяных, ни самых золотных — не покупай, понеже обшивные пугвицы — перевод денгам, потому что они в скорых числах пропадают и возврату от них на медную монету не будет. А немцы велми похваляют тыя часовые пугвицы. А ты, сыне мой, на их немецкие басни не смотри, делай детям своим пугвицы либо серебряные, либо медные...»

Да, как видно, и медная пуговка не медной денежки стоит и может далеко увести человека, когда встречают — по одёжке. Но провожают-то по уму! А как обстояло дело с сей материей — возвышенной?

В конце восемнадцатого столетия понемногу распрощались с петровскими прожеками, согласно которым каждый дворянин обязан был знать начала арифметики и артиллерии. Спустя всего лишь четверть века после смерти преобразователя России менее половины дворян умели читать и лишь одна треть могла с грехом пополам нацарапать свои фамилии на бумажке. Умение расписаться — умение наиглавнейшее.

Образованность понималась так: коллежский регистратор обязан все знать и уметь; чином повыше — провинциальный секретарь — должен во всем разбираться; еще выше — титулярный советник — мог быть уже только в курсе дела; ассессор обязан уметь расписаться и знать где именно; ну, а надворному советнику оставалось только уметь небрежно, не

читая бумаги, оказать ей уважение своей подписью, а где оную черкнуть — покажет коллежский регистратор, который обязан все знать и уметь, или иные чины низших классов Петровской табели о рангах.

Важнее всякой грамоты считалось знать «позитуру», кою следовало принимать при встрече с дамой или девицею, и на какой благородной дистанции, кому и как отвешивать поклоны.

Язык разговорный мог быть по-туземному бедным, но язык аллегорий обязан был понимать каждый. И, похерив четыре правила арифметики, азы фортификации и 96-фунтовые единороги конструкции генерал фельдцейхмейстера графа Петра Шувалова, недоросли с нежного соплячества учились составлять конверсации — разговоры усладительные при помощи статуэток мейссенского фарфора: дама с гвоздем в руке означала «необходимость», а мужик с петухом за пазухой — «гнев», и что бы сие значило вкупе? Дамы налепливали на лице мушки из тафты — со значением: на виске — «страстность», на носу — «наглость», на верхней губке — «кокетливость», на щеке — «согласна на все...»

О, этот язык аллегорий! Просчитаешься — сам без натурального языка останешься, под самый корешок отчекрывают.

Но уже написана мудрая книга. Не на прожор запечным мышкам — для людей.

«...Не безумное ли сие есть дело, яко еще младенец не научится, как и ясти просить, а родители задают ему первую науку сквернословную и греху подлежащую. Чем было в начале учить младенца, как Бога знать и указывать на небо, что тамо Бог, — ажно вместо такового учения отец учит мать бранить: кака мама бя бя; а мать учит подобие отца бранить: тятя бя бя; и как младенец станет блякать, то отец и мать тому бляканью радуются и понуждают младенца, дабы он непрестанно их и посторонних людей блякал. И отец учит по щекам матку бить, а мать учит отца бить и за бороду драть, а иные отцы и сами себя поущают бить и за бороду драть, и нарочно протягают голову с своею бородою, дабы младенец хотя и не нарочно за бороду примется, тому отец радуется и в том утеху себе имеет. А когда мало повозмужает младенец и говорить станет яснее, то уже учат его и совершенному сквернословию и всякому неистовству. И естли кто, зря. неистовящегося младенца, речет отцу или матери,

чтоб ево от таково безумия унимали, — и они отрицают и глаголют, что-де на него теперь смотреть, он-де еще мал и егда-де возмужает, тогда-де и сам он того творить не станет. И тако родители токмо смертную плоть рождает, а бессмертную душу погубляют и за самую свою малую и безумную утеху детей своих вечной смерти предают, понеже егда отрочата из младенчества своего в чем обыкнут, то с тем нравом и до смерти пребудут... Яко младое древцо куды нахилишь, туды и во старости криво будет,—так и младенцу: что во сердце воглубится или куды нахилится — под старость трудно его исправляти...»

По одёжке встречают, по уму провожают. Подобного откровения нет в иных языках, да и не будет: для его появления нужен российский восемнадцатый век.

7. «ДРАКОНЧИК, ТЫ МНЕ НДРАВИШЬСЯ!»

Давно уж и кошка умылась, а гостей все нет и нет.

«Эх ты, пустомойка!»

У купецкой жены Фелицитаты Даниловны пальчики не сгибались от многих колец с каменьями, так и держала пясть в растопырку, точно царапаться надумала; диковинно, конечно, зато чаёк с лимонью из блюдечка чвыркать — дело самое сподручное.

«Ох-ох, — думает Фелицитата Даниловна, — коли правый глаз чешется — значит, на милого глядеть, а левый — к слезам. А тута оба враз засвербили! К чему бы это?»

Пышная душенька в столичных туалетах, изящно выточенная от щиколоток до мочек, нервная, знобко-горячая, как породистая кобылка, — это и есть Фелицитата Даниловна. Чертовка! Дважды вдовая, бездетная, бывая на четыре десятка лет моложе третьего, нынешнего супруга своего Нила Гаврилыча, она скучала в дому, шалила, тешила ретивое в обмороках и скандальчиках, — и всему этому находила единую сердечную причину: муж долго не мрет, а пора бы уж, нынче стар, и год назад, когда женился, тоже староватенький был.

— Одне жилы да щетины, — кривилась тогда вдова Фелицитата на уговоры репейчатых сводниц.

— А што, деушка,—отвечали сводницы, — тебе из старого мужчины суп варить, ли что ли? Што же касаемо до жилы да щетины, так оне, миленькая, в мужике и есть самое што ни на есть усладительное вещество.

Уговорили. К тому же и карты на туза показали, а ТУЗ — это и есть по-ихнему, но-сводницкому: Торопись Устроиться Замуж.

Увеселений в жизни Фелицитаты Даниловны было маловато. Зимой — коньки да санки, катанье на лошадях по ангарскому зимнику. В святую неделю случались качели на площади. Потеплу, в день Троицы и в Духов день — гуляния в саду, вдоль берега Ушаковки. А еще — гадания: лила олово, воск, гляделась в зеркало, в сочельник ходила слушать собачьи перебрехи к амбару, к проруби, на перекресток, а лай псиный выпадал все толстый да хриплый, старика означавший, и Фелицитата Даниловна шибко сердилась на такие кобелиные пророчества, причитывала в слезах, и тогда не радовала ее даже такая европейская диковинная штука, как клавикорды, кои внапрасне сохли, раскорячась в углу у изразчатой печи с вычурами. И в такие вот минуты места себе не находила купецкая жена, и взор свой тоскливый отводила от лампадных светляков, сквозь которые ее жалили два безжалостных глаза, от коих никуда не скроешься; ни милосердия в тех глазах, ни участия, ни словечка, ни полсловечка,.. У-у-у, такой на костер бестрепетно взойдет во очищение от скверны, но прежде себя — другого на огонь пошлет! «Ну ее, сию парсуну!» — подумала однажды Фелицитата Даниловна — и присела от такого решительного и неприкрытого святотатства. Потом как-то решила еще разок испытать волю и долготерпение Господнее: «Боженька еси старый дурачок,» — сказала ласково, как будто бы дитю малому. И язык прикусила, ожидаючи: в каком месте дорога в ад обозначится? Однако же не разверзлась земля и не потянуло серной одурью из преисподней. Вот и славно! И неча такому Богу маливаться, который глух, слеп и не милует! И сразу Фелицитате Даниловне легче дышать стало. А то ведь всё наблюдал сверху, подглядывал, грешные мысли раздевал да ощупывал, точно куру-несушку; ни днем, ни особливо ночью покоя не было от того догляда...

Приемная дочь Лизынька — карягинское семя, шестнадцати годов, на выданье девка — заглазно называла Фелицитату

Даниловну «дурой» и «кошкой», завидовала, видать, мачехиной девичьей стати и живости, потому как сама от своего девичества разбухла, а может, и не от девичества, а от огородных произрастаний — репы, гороха, капусты, кои употребляла с молодым аппетитом вне всякой меры; грудь пышная ходуном так и ходит у девки, пуговочки на кофтенках обрывает... Фелицитата Даниловна мечтала поскорее выдать Лизавету хоть за самого завалыщенького кавалера, лишь бы самой себе руки развязать.

...Полегонечку уговорили ведерный самовар — ярко-медный, жаркий, сияющий и голосистый, как петушище.

Фелицитата Даниловна с ногами устроилась в покойных креслах вышивать шелком картинку занимательную, коей название придумала весьма романическое: «Невинность на распутье промеж Мудрости и Любви». Название Фелицитате Даниловне очень нравилось. Иголочкой сноровисто — ширк, шорк! — и вот уже дева Невинность зарделась нежными ягодицами, кои самому сказочнику Кирше Данилову и не снились — таковые сладкие, чисто ягодные; а по нынешним временам сии ягодицы то щеками именуют, то ланитами, и такое многоглаголанье, путаница словесная очень огорчали и в стыд вводили купецкую жену: виданое ли дело, чтобы срамные щеки — да на лицо перенести, а ягодицы сладостные — на зад?

И так вот — точно бусинку за бусинкой — нанизывала Фелицитата Даниловна свои рассуждения, покуда взгляд ее не наткнулся в рассеянности на китайскую фарфоровую вазу с красными драконами, которую Нил Гаврилыч приспособил под ночную посудину. Драконы языки свои поганые казали — и на скандал вызывали.

— Уберите отсюда сию вонючую невозможность, — сказала она супругу с дрожанием в голосе. — Не могу больше, боюсь.

— Почто боишься, рыбанька моя? — спросил Карягин.

— А по то самое!.. Сидишь — и думаешь, как бы теи змеюки не впились... в ланиты, прости Господи.

На что муж отвечал с медовой нежностью:

— Экие вы у меня деликатные! Да в европах из таких горшков шти хлебать не брезгают, а вы понятное дело справить

смущается. — И после таких слов решительно подумал: «Так я вас и послушал! Сказано: был Соломон мудрым, покуда женам своим не внимал».

— Дудки вам! — возразила супруга запальчиво.— В европейских краях штей нету, сами говорили, тамо одне парижанские вустрицы и анчоусы италианские трескают. А вы, Нил Гаврилыч, медведь нечуткий, валенок сибирский и даже ишо тупее будете. Вот вам!

«Ну, все! — вновь подумал купец. — Бабий кадык ни пирогом не заткнешь, ни рукавицею. Пушай фуфырится как хочет, теперя ей перечить без толку».

— А в сей горшок, — заключила Фелицитата Даниловна, — я букеты дивные помещать вознамерилась. Не могу жить без нежной вонности — и все тут!

— И с чего это вас на вонность потянуло, кысанька?

— Да вот и потянуло! Я нонче вся собой, любезный друг, уж така томная-претомная... Любовности полнешенька. — И вздохнула.

— Неужто, матушка? Не лопнешь?

— Истинно, батюшка. Не лопну. Амуры так и прут, так и прут...

— Глядите, сударыня, амуры-то... робятишки проказливые, на прелесть наводят, — сказал Карягин и почесался: «Ох-ох, права ладонь зудится — к корысти, лева — к ущербу. А тута обе вкупе засвербили. К чему бы сие?»

...Вот и совсем не «валенок» был купец Карягин! Он свет видывал. Он снаряжал торговые поезды в несколько десятков саней, гонял по зимнику до Тобольска, до белокаменной и даже до берегов Невы — туда, где град «Сам-Питербурх» каменным чиреем, пузырем кирпичным вылупился из болотной сыри, из клюквенного кочкарника, из разной чухни, из косточек солдатских... Побывал в кунсткаморе, где, согласно научному уставу, любому посетителю подавалось дармовое угощение в стопочке — лишь бы приважить народ к учености, к наукам редкостным и, между прочим, вонючим: сотни чучел диковинных благоухали несносно. Однако Нил Гаврилыч не пожалел потраченного времени, поскольку был мужиком раз-

думчивым, со своей особенкой, со своим любопытным интересом. Как пришел в удивление от той каморы — так и не выходил на улицу три дня, вел ученые разговоры со сторожем из бывших тотлебеновских гренадеров. Из ученых же сткляниц посасывали спиритус ректификатус через трубочки завитые, медные; а в тех сткляницах пребывали монструмы людские и гадские; а вокруг задушевного застолья побрякивали на сквознячке всевозможные шкилеты, из коих только два наособицу поразили внимание Нила Гаврилыча: преогромнейшнй и прекрохотный, принадлежавшие, как понял Карягин помутившимся разумом, одному и тому же натуральному арапу Карле — первый в молодых годах, а второй в мужалом возрасте; и возжелал купец купить арапины косточки, дабы в Иркутске почудить перед своим приятельством, перед кумпанством торговым, да сторож не позволил; а на третий день, с похмелья, оба мужика горько заплакали: «Эх, ректификатус еси... царствие тебе небесное, монструм Карла... летай себе на небеси спокойненько, не сумлевайся, здесь твои шкилеты во блаженствии винном купаются... и мы того блаженства маленько вкусили, уж ты не серчай...» — и Карягин согласился на новое предложение каморного гренадера: дабы доброго товарищества не порушать, завещал свой шкилет в сию камору, на вечное сохранение — когда помрет, но при этом денежную уплату наперед потребовал, а такого капитала у сторожа не оказалось...

На Москве святости было куда как поменее. Знаменитый собор Покрова, «что на рву», — только почешешься, да и отыдешь: богомольному люду там делать нечего, строгости нет, страху тож не наблюдается, только в прятушки игратья гоже в соборных притененных закутах; а поверху, на макушках храма, — все эти колокола-бубенчики, купола-луковки затейливые, и весь-то храм Божий — как развеселый пучок пестреньких ребячьих погремушек; одно слово — забава, игрушка для всея Руси и Васьки-блаженного, слюнявого московского дурачка, околевшего, как сказывают, на паперти — без роду, без племени, без царя в голове... Да, святости тут поменее, чем в северной столице, но погулять-потешиться все же имелось где. И Нил Гаврилыч оглушительно шлепал ладошками, наблюдая балетных фигуранток в Каменном театре, потом увозил их в санях под медвежьей полостью, сочную жизнь обещал, наворачивал на

тощих девок всякую галантерею с мануфактурой, одаривал от щедровой своей сибирской натуры, покуда не влип однажды в скверную историю с сумскими красноштаннами гусарами, кои изрядно выколотили пыль из бобровой купеческой шубы, а то, что внутри шубы жалось и пытело, бросили на мороз прохлаждаться; подобрали Карягина «архаровцы» — так называли здесь и бродяжек подзаборных, и полицейских чинов по имени наиглавнейшего обера Архарова; Нил Гаврилыч дал взятку в лапку самому — чтобы излишнего шумства не производить, а ежели даже произведется, так чтобы до родных иркутских палестин не докатилось...

В последнюю, прошлогоднюю, поездку Карягин возил на Москву пушной товар: соболей, бобров, лисиц чернобурых да красных, песцов, белочек. Знатный товар — что говорить, да уж больно налоги кусчие: словно крещенский морозец — так и пощипывают капитал купеческий, эти налоги.

Обратно купец вез иную рухлядь: суздальскою крашенину, брюссельские кружева, платы персиянские, московские иглы, павловские ножи и ножницы, перец немецкий, вина виноградные, посуду серебряную... И — клавикорды. Долго торговался по поводу сего предмета, намучался — как бы в убыток не войти с таковой трехтонной⁴ музыкою.

- Почему, — спрашивал, — за пуд берешь, уважаемый?
- На пуды эту музыку не меряли-с, — отвечал сиделец.
- Худо сие. Товар меру любит, а мера — цену.

Купил-таки — для услаждения души Фелицитаты Даниловны, дабы не сучилась лишней раз молодая женка, не дралась, в обмороки не выпадала; и потом случалось вечерами, что в купеческом доме составлялось представление: Лизавета бренькала пальчиками на лакированном ящике, Нил Гаврилыч деревянными ложками подсоблял, постукивал, а Фелицитата Даниловна тоненьким дишкантом выводила: «Стонет сизый голубо-о-чек...»

Нет, что там напраслину городить — умен Карягин. Нос флюгерком по ветру держал и одевался не в пример раскольникам, а во фрачную пару, бороду брил, тянулся к галанту, да и дела его капиталистые до сих пор в совершенном

⁴ Музыкальный инструмент на три тона.

порядке пребывают; только бы и жить, а жить-то... хрен его знает, сколько еще осталось?

Из Москвы Нил Гаврилыч вернулся чуть жив, попростыл, отощал шибко, при этом потерянные в дороге фунты считал самым наилучшим, самым полноценным весом в теле, — и от такого невосполнимого убытка кидало его то в печаль, то в злобность. К тому же и супружница в последнее время — точно взбесилась. То к окошку прилипнет, сиськи свесит наружу, на улицу — и вздыхает. А то — как из прорвы сыпет словами бранными. Вот как сейчас: «валенок, валенок»... Сама-то еще та привереда! Двух мужей износила, третьего донашивает, а куда доносит — и себе, и публике все останные жилы повытянет... Эх-хе-хе, чем больше гладишь кошку, тем она, дура, выше хвост дерет. И на каждый день побранки не напасешься...

Нил Гаврилыч вздохнул, покосился на супругу и принялся дочь вразумлять; а та на диванчике расплылась, подмышки чесала, растрепала.

— Пудры парижанской — вона сколь! Поди похлопайся.

— Пыльно, фатер, чихаю...

— А ты переносицу скреби, так не будет чихаться.

— Сами попробуйте...

— Мне, Лизавета, пробовать неча! Пудрятся токмо бабы. А мужчины должны морду простой водой мыть.

— Скушно всё говорите...

— А на клавикордах постучи! — вышел из терпения Карягин. — Нашто куплял-то? Кавалеры любят, когда девицы на музыке бренькают. Учись складно играть... А то на улку выдь, погуляй. Не тот свет, что в окне, а тот, что за окном. Выдешь на улку — узришь более. Кавалеры ходют...

— Не надо мне кавалеров.

— Как это не надо?

— Боюсь. Оне, фатер, вона каки охальники! Да здоровуци все. Вчерась на улочке насилу от четверых отбилася. Куды уж мне с кавалерами...

— Куды, куды? — передразнил Карягин. — Взамуж, вот куды!

— А конопушки? — серьезно спросила дочь и сморщила носик. — Вона каки...

— Не печалуйся. И бородавка телу прибавка. А што конопушек касаемо, так я тебе скажу: на том свете кажная твоя конопатинка в золотой рупь оборотится — во какой. — И пальцами, в кольцо сведенными, изобразил круглое и дорогое.

— Ах, фатер, — вздохнула Лизынька, — это ишо когда будет... А на этом свете — што?

— А на этом свете не сиди сидьмя! Фигурность блюди. Минуветы пляши. Да слезу перед кавалерией выпускай, как в романах. Вот и будет тебе счастье.

— Да слезу-то нашто?

— Глупенькая! Слезки девичьи, Лизавета, сие не вода, но, фигурально сказать, невода, сирень бредни и сети, в кои нашего брата, мужчину, ваша сестра, женского полу то есть, заманывает. — Карягин стрелнул глазом на жену и продолжал доверительно и с отважной решительностью. — Чем больше слез, тем и глыбже заманывают. Козырь у них такой. А опосля ухватывают мужеский пол за жабры — кто тута рыба? кто рыбак? — пиши пропало, вся фартуна у мужчины сикось-накось поворачивается. Вот так и погубляют сынов Отечества! На женские слезки... Да ты вон у Фелицитаты Даниловны спреси! Вонности ей нынче захотелось, то, се...

Фелицитата Даниловна хмыкнула: «Ах, дракончик, ну ты мне ндрависься! Кажись, пора и к делу приступать!» Она отложила в сторону вышитые румяные ягодицы девы Невинности, потянулась, зевнула, рот перекрестила (сидючи-то!): «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость евоную», — и медленной стопою направилась к Нилу Гаврилычу.

Купец засуетился, заулыбался торопливо, с игривостью:

— Утю-тю... утю-тю... Рыбанька моя!

Напрасно. Да и поздно уже. Супруга коротко сунула кулачком в левый мужнин глаз.

— Сдурела! — завопил Карягин и подхватился бежать. — Скаженная! Архаровец! Как денюжки считать буду? Вить вдвое просчитаюсь!

Фелицитата Даниловна распалилась:

— Вот я тебе чичас утютюкну! Вот я тебе чичас...

В руках у нее оказалась ваза с драконами.

— Зашибу, пенек чертов!

— Не нада, — быстрым шепотом произнес Карягин. — Бог накажет...

Но драконы уже парили... В кусочки разлетелся ночной горшок, только брызги полетели.

Лизынька икнула и спать легла на диванчике.

Нил Гаврилыч спрятался за портьерой.

Фелицитата Даниловна примеряла к руке остывший самовар, глазом прицеливалась.

Но тут в сенях брякнуло дверное кольцо. Не по-здешнему брякнуло, а как-то этак... по-латынски.

8. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. НЕ СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ...

Так вот: летели два гуся. Один — серый, другой — на север...

Надо ли напоминать, что сие про Кирюшку и Нилку Карягина сказано?

Кирюшка, пережив с полным горем голубиную беду, и в позднем отрочестве остался жалостливым и задумчивым.

Дивное то было времечко: каждый денек с удивления начинался и удивлением же заканчивался.

Потрескивала березовая лучинка, падали в плошку с водой шипящие уголья да черные тараканы с потолка,

А баушка Зулиха ребятишкам сказки рассказывает.

У людей издавна водится: чего одного убудет, так другого почти вдвое прибавится. Вот и у ней, у баушки Зулихи, так: слепым-слепа старая, глаза давно умерли, а голос словно помолодел, и руки понятно разговаривают, речам помогают. Старуха передохнёт, кваску изопьет и заводит на новый лад старую байку, которую еще от своей мамушки слышала, а та — от своей...

Жил-де был Фомушка-вор. Што ему в огороде колупаться? Волю любил. Где дожжичком его простегает до косточки, где солнышко обогреет — сладка ему воля вольная. Жил ровно как

прутышек: где согнется, там и расправится, и такой же был одиноконыйкий. И не случалось у него такого, шток какой евоный антирес неуносимый был! Мог стибрить все, што плохо лежит, а также и хорошо. Ловким, буйвым да удачливым молодцем слыл. Сам царь-государь как ни бился, как ни жилился изловить Фомушку на лихом промысле, а признал-таки щастливую Фомушкину фартуну и велегласно на весь белый свет указал:

— Кто етого вора на воровстве пымает да на чепь посодит — тому умельцу полцарствия своего выделю!

А тем временем Фомушка в столичный град причапал. Генерал-губернатор тамошний прознал о государевой воле и порешил на молодецкой головушке себе богачество стяжать, на половину царствия сясти. Жадный был тот генерал-губернатор и от жадности своей безумно страдал. И вот принялся он вору всяки бяки учинять, шток на воровстве изловить.

— Украдь, — говорит Фомушке, — барануху из моего стада.

— Ланно,— отвечает тот.— Ето нам рупь делов, ваше высокое сиятельство.

Идет на луг, видит: ё-моё! Тышша баранов молочай-траву хрустают, а коло каждого стражник с ружжом торчит. Подумал Фомушка и придумал, как рукомесло свое справить, а што придумал — об том никому не сказывал, и потому нам неведомо. Свел-таки овечку!

А генерал-губернатор уже дожидается, шшочки свои, ровно кот, оглаживает:

— Што, Фомушка, выкрал ли барануху?

— Так точно, ваше сиятельство! — долаживается вор.

— И куды же дел?

— Так точно, пропил, ваше сиятельство.

— Ну, ланно... Коли стал ты меня зорить, так зори до конца. Скради-ка из моего стойла жеребца.

— Ето нам, — отвечает Фомушка, — сёрамно што по ветру побрызгать.

Скрал жеребца, опосля — шкатуль с деньгами, скрын с земчугами и златой перстенечек с руки губернаторихи. И ни разочку не словили Фомушку караульщики с фонарями да с ружжами.

Тогда говорит ихнее сиятельство:

— Ну, хорошо. Это тебе, вор, ишо не вся служба. А вот украдь-ка ты мое самоличное сиятельство, да штоб самому тебе нипочем не попастьись!

— Это мы, — отвечает Фомушка, — завсегда радые стараться, не можем отказать хорошему человеку.

На ту пору у генерал-губернатора батянька помер от старости. Схоронили батяньку. А Фомушка выкопал из могилки упокойника, в евоную одёжу оболокся, а свою — на мертвяка надел. Вроде бы как на самого себя чучелу сотворил. Идет вор ко дворцу и пихает ету чучелу в окошко генерал-губернатору. Тот видит: ё-моё! щастье-то како привалило! сам Фомушка припожаловал! Берет со стола законное зеркало — да как хватит чучелу по косице! Видит: готов Фомушка, полцарствия в кармане. Шибко возликовал:

— Што я Фомку искоренил вусмерть, дак мне за это дело корону выдадут!

Вобчим, зарадовался, будто бы ему в зад перышко от жарптицы вторнули. Собрал он своих домочадцев и прихлебателей — должности в будущем полцарствии делить. Водки, конечно, наладились до опупенства и спать легли.

А Фомушка тихими стопами к окошку подловчился с кулем рогожным:

— Эй, — говорит, — ваше сиятельство, просыпайся. Ты седни вору жизнь прекратил, и за это богоугодное дело Николаугодник послал меня посланником уташить твое сиятельство в царствие небесное.

Генерал-губернатору поблазнилось спросонку да с перепою, што дух святой заявился. Вот он и думает себе на уме: «Слава Богу, всеконешно пойду в олухи царя небесного, сёрамно должность высокая!» И в куль залез. Фомушка взвалил мешок на загорбок, поташил. Идет, попярдывает от натуги. Дошел до церквы, взобрался на звонницу, подвязал куль под язык большого колокола.

А назавтре случилась воскресная служба. Звонарь глядит: што такое? Испужался, хоть и кулаки пудовые были к рукам привешаны. Созвал людей, все на звонницу полезли, куль отвязали, а оттэль генерал-губернатор вывалился.

— Как это ты, ваше сиятельство, сюды достигли? — спрашивают.

— Меня, — отвечает, — дух святой в эту местность доставил. Я вечер Фомку на лихом промысле прекратил. Вот за это удостоился я в царствие небесное.

Тут весь народ в ладушки захопал:

— Эх, дурак ты дурак, ваше сиятельство! Это тебя не дух на звонницу вознес. Это тебя снова Фомушка-вор оманул!

Шлют всем миром гонца к царю: так, мол, и так, батюшка, вор кругом обыграл генерал-губернатора. Царь тут же прислал куль ефимков⁵ вору в награду и гумагу с орлами: произвести Фомку в губернаторы, а губернатора произвести в вора.

Так и сделалось. Поменялись оне местами. А и ничего такого шибкого будто и не случилось, не переменялось. Што вор, што губернатор — одна пакость! Как будто и ране так было, и до теперя.

Вот оно как бывает, детушки...

9. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. УКРОЩЕНИЕ «КОСОЙ САЖЕНИ»

Пришел срок — Киря себе невесту приглядел. Девка как девка — румяная, глупая, попастая.

Обзадорился парень:

— Изнутрия весь — а своего достигну, покорю Любавушку без пощады.

К тому времени Киря вымахал — будь здоров. В собольем промысле был горазд не хуже старых добытчиков, собой виден, в плечах сажень косая, веселый, на посиделках девичьим частушкам ложками деревянными в такт мастерски подмахивал, на балалайке тренькал лихо, слыл языкастым парнем, но малость «трёхнутым».

⁵ Серебряные деньги в России изготовлялись из иностранных монет. Чаще всего из иоахимталеров, то есть из монет, отчеканенных в чешском городе Иоахимстале. В народе их называли ефимками.

— Э, — говорили, — Кирюшка языком пашет, словами сеет, матом приборанивает. Востер больно. И где ты выучился, Киря, такой христаматии непотребной?

— А нигде, — отмахивался парень. — Дар Божий.

— Ну, тада мы без претензий... Вобщим, человек ты хороший: бесхитрый, простодырый, весь, можно сказать, наружу оборудованный, ладно, складно, и Господь Бог тут, кажись, совсем ни при чем, весь ты в отца пошел.

Папаня спросил как-то:

— Што, сынок, небось девка сердце зазнобила?

— Небось, — отвечал сын, краснея и переминаясь.

— Ладно. Люди для штей женятся. А любовь дело второе.

Может, и сложилось бы все так, как хотелось, да только Нилка Карягин встрял в Кирюшкино жениховство, на чужое позарился, то ли по страсти пламенной, то ли по противности натуры своей зловредной, из-за дурного соперничества. Одаривал девку печатными пряниками, головными платочками, гребешками роговыми из отцовской лавки, и при этом на Кирю наговаривал:

— Ну, что тебе с евоной зверской охоты, Любавушка? Одно расстройство. Цена ушкану две деньги, а бежать-то на сто рублей приходится. Дурак он, этот Киря, шатун вонючий. Сапоги не чистит, ногти то же самое и вобщем не стоит отпечатка вашего мизинчика.

— А Кирюша мне хвостик подарил заячий, — отвечала Любава. — Уж такой мякенький!

— Зато я вам чулочки иноземные подносил, — наступал ухажер. — Не жмут ли?

— Не лапай! — хлопала девка парня по рукам.

А тот круто обижался, без напуска:

— Уж вы со мной больно тонко прохаживаться изволите, барышня. Смотрите, как бы вам чулочки не отморозить с такой холодной натурою.

— А ты не шути дороже рубля!

Любава, как и все девушки, случалось, гадала на жениха. В Васильев день лила воск сквозь колечко, башмак бросала через воротца: куда обуток носком ляжет, оттуда и суженый-ряженный нагрнет в урочный час.

— Богатый, бедный, вдовец, холостец... — идя по улице, считала Любава колья в тыну или доски в заплоте.

И все выходило — Кирюша: и бедный он, и холостец, и живет в той стороне, куда башмачок указал. Маменька с папенькой да тетушки — в один голос:

— Ох, не пара Любавушке соболятников сын! Для щей люди женятся, а взамуж-то идут за ради мяса во щях. А Кирюшка — что? Чистая голь. К тому ж, сказывают, чертознай, лешак таежный... Вот Карягина сынок — дело другое. И умен, и при достатке. А сам собою чистехонький, а сам-то ухоженный, как котенок родителями облизанный... От того облизу и тебе, деушка, сполна достанется. Уж ты не сумлевайся.

Слушала Любава, на кончик косы соображения наматывала. Хоть и знала, что крестом любви не свяжешь, — умом к Нилке тянулась. А сердцем льнула к Кирюшке. И все потому, что нет для девки лучше сердечной игры, как в тайные переглядушки.

Серчали маменька с папенькой да тетушки — в один голос:

— Што такое? Страм один. Ей-бо, ну как теляты: где ни сойдутся, тама и лижутя. Гляди, девка, сии куры да амурь, да глазки на салазках — как бы плакать опосля не пришлось!

...Пришлось плакать. Просватали девушку за Нила Карягина, заручили невесту, охмурили, охапили своим богатством. Плакала Любава непонарошке, когда повели ее тетеньки в баню — смывать прохладушки, девьи гульбы, Кирюшкины горячие почеломки. И в храме Божьем плакала, когда по обычаю грызла замок при входе к венцу и нечаянно зубик надломила. А маменька с папенькой да тетушки — в один голос:

— Жить вам да богатеть, да спереди горбатеть!

Разом задули венчальные свечи, чтобы молодые долго жили вместе и померли не врозь.

Кирюха, которому велено было в окна карягинские не заглядывать, а в двери и подавно не соваться, прислал к свадебному столу с соседским огольцом аховую соболю шкурку и цидулку с корявыми буквицами: «Подарю тебя моя миленькая сим соболюшкой носи и помню кирю хрен с тобой». А сам надолго в тайгу ушел — шастать, кличку свою отрабатывать.

...С вечера девка, со полуночи молодка, по заре хозяйюшка — сталося Любавушке житье, как губернаторше: хочет — смеется, хочет плачет...

Поначалу все больше смеялась. Стала зубы чернить, как у сибирских именитых купчих издавна заведено было. Щеголяла в платьях аксамитовых, бровки антимонью⁶ наводила. А Нил Карягин ухмылялся с тоскливой мрачностью:

— Знаем, знаем, сударыня, для кого-с вы рожу малюете. — И щипал супругу с вывертом, до синяков.

...Встретились Киря-шатун с Любовой через год — тишком.

— Сиднем сижу да все взаперти, — жаловалась она, прижимаясь к парню под нагольный тулупчик. — Свету не вижу. Одно освешшение... Забери ты меня отседова, лапушка!

«Эх, Любавушка, — думал Кирюха, — поперёшница, спроть любви пошла, вот и кукуй теперя в своем бабстве, неча было перед Нилкой шепериться, чики-брики рассусоливать, пряники евоные исьти! Скусно, небось, теперя? То-то. И хоть жалко тебя, глупую, да што поделать? Поздно уже, поздно, Любавушка-забавушка! И почто стряслось такое наше чувство, столь лютое одно до другого? А то, што по закоулкам замужние бабы с полюбовниками жулькаются, — гак за ето дело волосья дерут. Аль не слыхала?»

И казалось парню: странное дело, эта самая любовь, рассудку тверёзому неподвластное, своевольное, не крестом и не кольцом слаженное, и ежели до него без кобелячьего интересу достучаться — так оно и вовсе будет... поперёшное. Вить вот она, женка чужая, недругом-соперником распочатая, коса по-бабьи закручена, журавлик в небе, ломоть отрезанный, сластена этакая, прянишная, дура-дурой и сбоку бантик, — а получается, что умней да краше уж и не встретится никто более, не народится на этом горьком свете подобная девка, потому как в Кирюшкином сердце именно эта, украденная любовь, загвоздилась до таких степеней, что дальше некуда и больно.

...Дело молодое, поперёшное. И черт с ними, с этими пряниками! Были бы присно и во веки веков эти губы тугие, поцелуйные, тающие в дыхании, как морозцем прихваченная брусника.

⁶ Сурьма.

И случилось то, что должно было случиться.

— Хе-хе, знаем-с, все знаем-с, кто ваши румяны слизывает, сударыня, — ласково выговаривал супружнице Нил Карягин и, вздыхая, брался за безмен, за вожжи, за прутик из голика, смотря по степеням жениного убытка. — Этак на вас никаких парфумов не напасешься...

На дворе конюх с лавочным сидельцем в балалайки наяривали: Любавины вопли через заплот, на людскую улицу не допускали.

А через пяток лет Нил придумал отместку и Кире-шату.ну.

Был у соболятника самолично смастеренный «снеговой» очешник: два серебряных рублевика скреплены сыромятным ремешком да по краю вязочки такие же, чтоб на шапку приспособлять; посреди монет — узкие продольные прорезы, как раз против зрачков приходящиеся; нацепишь этот очешник — и каждый глаз будто положен в уютное гнездышко: и солнце лучом не режет, и снежная слепота — бич зимней охоты — не грозит. Да только обе прорезы самодержице-матушке Екатерине Второй точно поперек шеи приходились, голову от тулова аккуратно отсекали!

Дознался о крамольном очешнике Нил Карягин.

— Откупись, лапушка! — предупреждала Кирюху Любава.

— Э, пустое, — отмахивался тот, — на каждый поклёп деньги не наготовишься. Да и где их стоко взять?

И пошел извет — донос благочинный, раболепный, восторженный.

— Откеда такое злодейство, пес шелудивый? — спрашивали Кирюху сыскные люди, мундирные.

— От ума пыткого, — отвечал соболятник.

— Ну, бог с тобой, человек. Пытка так пытка. У нас вить тоже какие-никакие мозгишки имеются. Счас вот и спытаем, каково будешь подлинную правду сказывать.

Вздогнул барабан телячьей кожей, горохом рассыпалась мрачная дробь веселых кленовых палочек, и заходили по распятому на «кобыле» Кирюшкиному телу по д л и н н и к и — палки экзекуторские, правдоискательские.

— Ну? — спрашивали участливо.

— Хрен гну, — отвечал Кирюха.

— Ладно. Не скажешь подлинной, так небось подноготную выложишь.

И погна́ли п о д н о г т и соболятнику листовничные занозы: пытка — зело борзо кончаемая, ибо щепка паршивая, игла деревянная, всегда крепче мяса человеческого бывает.

Мордастые молодцы в красных рубахах и кожаных фартуках трижды отливали Кирюху студеной водой из шайки.

— Ты живой ишо, паря?

Мычал паря, пузыри кровяные раздувал на прокушенных губах, уж и материться не мог.

— Ну, потерпи маненько. Скоро, даст Бог, представишься. Чичас мы шшипчики накалим, тепленько тебе будет...

На улице, под окнами пытошного подклета, в кругу любопытной публики топтался Нил Карягин, почесываясь от порки на скорую руку (доносчику — первый кнут полагался).

— Власть рассудют, — шумел Нилка. — Власть знают: кого, куды и на сколько! А к этому прохиндею Кирюшке наш любезный сыскной приказ давно уже чуткость проявляет, глаз, стало быть, не сводит по причине Кирюшкиного злоумыслия. Лазутчик он! Из Турции. На государыню императрицу нашу покусился, а опосля и к моей супружнице приступал. Восемь разов! Ну, ничо! Куслив был пес, да на цепь попал. Бравенько сие — и слава Богу! И ишо слава нашему дорогому господину полицеймейстеру. Ур-ря-я!

Думал Кирюха, что уже не выбраться ему из неминуемой гибели, что из пытошной каморы уготована ему одна-единственная и прямая дорожка: сначала родители потащутся на Сенной базар, в похоронную лавку под вывеской «Мертвое дело Пупина. Гробы, кресты и протчая смертельная маиуфактурия», а потом и самого Кирюху поволокнут на Иерусалимскую гору, где покойники питают собой буйную ядовито жирную зелень. Что с того, что у парня — косая сажень в плечах? У костлявой старухи небось тоже — коса саженная: махнет — хрена с два увернешься.

Однако выжил соболятник. Видно, не смерть к нему приходила тогда, а простые помирушки, коих в те годы в великой

Российской Империи было более чем предостаточно на душу населения — как маленькую, так и большую.

А с настоящей смертью Кира будет несколько позже в поддавки играть — на Нерчинских заводах, куда его погнали за окаянный очешник в ножных и ручных железах. Там он пробыл долго, два десятка лет. Ох и времечко!..

10. СТОЛ НА ЧЕТЫРЕ КУВЕРТА

Ванечка Почекушин вступил в купеческий дом, словно в тур-менуэта: носками сапог осторожно порожек исследовал, оттолкнулся — и поплыл, кланяясь, выворачиваясь, выкручиваясь, точно выжимал себя, как мокрую постирушку; при этом капельки влаги и взаправду на лицо высыпали.

«Каково-то оценят?»

Оценили таково: купчиха, прижав самовар к груди, глядела на гостя во все глаза, то есть в оба; Нил Гаврилыч из-за бархатной портьеры высматривал — одним, а Лизавета... та еще не проморгалась.

— О! — воскликнула Фелицитата Даниловна. — Нил Гаврилыч! Лизынька! Кака депутация к нам пожаловала! А мы ещё с утречка всё ждали, ждали... Вот и самоварчик наготове содѣржим! Правда вить, Нил Гаврилыч, сокол мой?

Ванечка всё понял. Да и «сокол» сообразил, что Ванечка понял, и потому, бочком выбираясь из-за портьеры и путаясь в складках тяжелой и скользкой материи, поспешил сразу же внести некоторую ясность в диспозицию.

— Вот, супружница моя того-с... разыгралась! Амуры у ей попѣрли, у рыбаньки...

Купчиха крутнулась на каблучках, зарделась, такой хорошенькой сделалась — и к пицику подступила, уже без самовара.

— Почто это вы, Иван Савельич, такие интересные коварные мужчины будете? — спросила кокетливо, наблюдая Ванечкины приветственные попрыгушки. — Такие кавалеры, кажись, в нашей Палестине впервой появились.

— Не впервой, — встрял Карягин, ощупывая подглазье. — Их в нашей местности каждая собака знает.

— Так точно, милостивая государыня, — учтиво отвечал Ванечка. — Однако же мы не тока в Палестине, но и во всей канцелярии первым числимся. Кого хошь спросите — вам сразу скажут!

— Вот уж неправда ваша, — снова вмешался купец. — Таких кавалеров, как Иваны Савельичи, во всем Иркутске нету, а, может, и в целой губернии. Что уж там — канцелярия! Выше берите!

— Не шутите, почтеннейший Нил Гаврилыч, — строго заметил пищик. — Думаю, что таковые копии с экземпляра имеются... ишо где-нибудь. — Немного подумал и присовокупил: — В столицах, например.

— Рази что пара? Ну, две, три, — согласился Карягин, выразительно глянул на дочь, и та мигом исчезла — уточкой, вперевалочку.

— От силы четыре, — сказал Ванечка и скромно потупился.

— А почто же вы такие... роковые будете? — не унималась Фелицитата Даниловна, и ноздри ее страстью затрепетали, и лицо занялось алыми пятнышками. — М-м-м?

— Меланхолия-с.

— Понимаю! Ах, как я вас понимаю! У меня у самой каждый божий день тое самое словечко... из косточки в косточку... так и переливается!

— То ж самое, — грустно ответил гость. — Переливается. Ажно в кишках урчит. Можно подумать, будто исьти просит.

— Ах, бедненькой! — всплеснула ручками хозяйка дома. — Сколь изрядно вы в жизни претерпели!

— Да, сударыня, известное дело-с. Меланхолия!

«Врет. Жрать хочет», — смекнул Карягин и деликатно жене воркотнул, разулыбился:

— А вот мы чичас закусим, оне и кончатся, сии малахольные чувства, а?

— Закусим, закусим, — нежно прощепетала супруга, подхватила самовар и задком выплыла из комнаты, ретировалась непобежденной, не отрывая от гостя горящего зрака, в коем Джоконда с анакондой высчитывали свои шансы на успех. А через минуту раздался ее звонкий голос, сзывавший прислугу, —

голос четкий, ровный, как у хладнокровного фельдмаршала в середине сражения.

Ванечка перевел дух, смахнул пот со лба и — Карягину с усмешечкой, по-свойски:

— Кажись, баталия приключилась? — И на купцовый левый глаз показал.

— Та-а-а, — протянул Нил Гаврилыч, сапогом попинывая в уголок фарфоровые осколки, останки жениной ярости. — Пуцай не лезет!

И развеселились оба — пищик и купец: ах, мол, этакая шалунья, Фелицитата Даниловна, чистое дитё, ей-богу!

Ванечке понравилось тут, в доме Карягина, погляделось: совсем не то, что в родительской замурзанной халупе, где тараканы артелями ходят по стенам, обклеенным для форсу цветными бумажками от конфетов; или — в домишках приятельской собутыльной братии, где в пьянственном ликовании сюртуки друг на дружке в ленты распускали, мебелью дрались вусмерть... А тут — на тебе: красота распрелестная, канарейки тишину покоя архирайским пением разбавляют, из куфни дух сладостный наносит, прямо с порога, можно сказать, попадаешь в галантное обхождение и всяческое прохладение душеприятственное! А что батальничают в таком-то парадизе, так сие происходит не абы как, но с деликатностью, опять же — с тонкостью европейской, и не глиняные горшки бьют — фарфоры!..

А между прочим гость все на Лизавету поглядывал, уже принаряженную и взиравшую на клавикорды плачущими глазами. «Кондиции добрые, — размышлял. — Чистый бык в оборочках. Тока куды мне с имя, с этими кондициями? Одного корму сколь изведешь! Вкушать, небось, горазда. Вона, какую корпуленцию распёрло с мамынькиных разносолов... Нет уж, как хотите, а с таковой бычихой не стану махаться! Латынцы правильно писали: нельзя обнять необъятное. Точно. И не уговаривайте, почтенные хозяева, не на таковского напали. Поисъти — это ишо туды-сюды, это мы можем, выпить то ж самое, но чувства уладительные в данном конкретном случае будут совершенный нонсенс!»

Наконец засели за стол, накрытый на четыре куверта.

— Вкусим, что Бог послал, — суетился Карягин.

Бог послал то, что в цидулке было извещено, а помимо того знатные напитки, наедки... Ветчина под красным хлебным уксусом; белорыбка с огурчиками пупырчатыми, в погребушке прозябшими; балычок, истекающий янтарной медовостью; в середине стола — серебряный умывальный таз с малосольной омулевой икрой; дымящийся провесной окорок, прозрачно-розовый; жареный поросенок с гречневой кашей и хреном...

— Сей поросенок, Иван Савельич, ишо вчерась по травке бегали, шустренький такой были, а чичас... Извольте все-непременно выкушать сию дичинку с начинкой! Таково хрумтит, Иван Савельич, таково хрумтит, ей-право, манность небесная!

Скуповат был Карягин. Купец — он и есть купец, с дерьма дерьмового — и то пенку снимет. И рассуждал измладенчества так: «Селедки поешь — чаю захочется, а чай пить — для того сахарок потребен, а сахарцу-то вдруг и нетути в кладовке, за ним в лавку бечь надобно, а в лавке — расход, а коли расход — так это убыток... И вобче! Человечек изнутри — нужник еси. И чем менее на тот нужник человечек смахивает — тем и лутче!» Да, скуповат. А вот надо ж тебе — расстарался на сей раз купец, блеснул гастрономией!

— Возблагодарим Бахуса, дорогой гостенёчек! — вострубил Карягин и потянулся к тяжелому штофу — потненькому, только что из погребушки принесенному, зеленому.

— А сие зачем? — строго спросил Ванечка, засосав слюнку с губы.

— Зелье-с... по случаю такого важного случая...

— Не могу! Никак непотребно. Сие поимейте на первое, — изрек пищик сурово и загнул указательный палец. — Вторым пунктом будет иной параграф: праздников нонче нету, а в буднишние дни заповедный товар потреблять не мочно. — Загнул третий палец. — Вот! А на третье... (загнул не безымянный, кой по очереди напрашивался, а мизинчик)... на третье, я уже седни сподобился благодати и с нашим душевным удовольствием был выкушавши цельный шкалик-с парижанского вина. Само собой, с заедкою.

— Не помешает, — бодро успокоил гостя Карягин.

— Рази? — деловито осведомился Ванечка. — Не знал. Тады попробуем, што ли?

— Попробуем, попробуем, — обрадовался Нил Гаврилыч, — потом ишо раз попробуем да и выпьем, наконец, как следовает иркуцкой кавалерии. Ну, шаркни, Господи, по душе, по телу, по жене, по детям, по моему здоровью!

Ухнули — да так складно, будто и не в первый раз вдвоем за столом сиживали.

Хозяйка вилками, ножами зафехтовала, лучшие кусочки — ему, Ванечке. А дочь Лизавета (розовая-перерозовая, но со слезой, притаившейся под веками, натертыми луком для фасону, для томности) фыркнула:

— Фуй, каки невоспитанны эти мужчины, что просят Боженьку по своим единоутробным детям шаркнуть! — Потом пискнула, как мышка, но стопку осушила по-солдатски, в один глоток, и вытерла губы ладошечкой. — Нашто Господу Богу шаркать, фатер?

Карягин снисходительно улыбнулся:

— Таково, Лизынька, глаголют при отдержке завесы царских врат в храме Божиим. Для души глаголют! А ежели сию пропозицию помянуть в застолье, так внутри то ж самое будет: благостно, и никаких тебе в кишках меланхолиев, сладко да приятно, будто бы сам Боженька али дух святой по душе твоей босичком прошлепает — таково шшекотно! Ешь, Лизынька, закусывай. И вы, Иван Савельич, не стесняйтесь.

— Извольте выкушать... Ванечка! — ласкалась, словно себя самоё съест предлагала, Фелицитата Даниловна, ноздри раздувала, как флибустьер или Синдбад-мореход. — Чего угодно, Ванечка?

— Изволю вон тую... красную...

— Ах, сделайте такое ваше одолжение!

Пищик наворачивал красную рыбку и пельмени из медвежатины и думал о Карягине: «Хосподи, какой мужик хороший! Благолепие из него так и прет! Вить это вообразить надо, сколь святости в едином человеке пребывает! Уж я тебе, Нил Гаврилыч, не токмо что нонешней нужной бумажкой подмогну, я и в предбудущем футуруме соответствую тебе всей нашей душой. Ибо сказано: чье вино, того и заздравьице. Хорошо. Окромья того, что пельмени соком брызгаются... хоть штаны сымай».

Карягин тоже наворачивал и тоже думал — о пищике: «Вить што такое получается? Дурак дураком сей пищик, сопля зеленая, а как в этакую галантерейность проникнул — уму непостижимо! Ну, ешь, ешь. Счас мы тебя, как косача, стеребливать зачнем. Тока посудинки переменить надобно. Глотки-то у нас с ним — во каки! А стопочки — во каки, махоньки. Несуразно сие, хоть и убытошно. Опять же — плепорция».

Ласково к жене оборотился купец:

— Фелицитата Даниловна, а гдей-то у нас новые стаканья были, что я на Москве дайче куплял?

Девка прислужная мигом спроворила стаканы — тонкие, звонкие, с граненой жилкой по морозному, дымчатому стеклу.

Купец затарахтел без умолку, гостя занимал; Ванечка жевал и важно головой соглашался; Фелицитата Даниловна бледнеть начала; Лизынька брезгливо вилок кашу выковыривала из поросячьего поджарка.

— Почто вяло вкушаешь, милая? — спросил Карягин у дочки.

— Ах, да какой же вы несносный, фатер! — расшеперилась Лизавета, слезу выдавила и сделала позитуру, коя выражала следующее: «Вот, сидите тута, едрена вошь, столь низменным занятиям предаетесь, сиречь поросюшку убиенного трескаете, да ишо и мне, девице нежной, предлагаете! Душа, понимаешь, полна эмпиреев, галанту, аглицких романов, вобчим, не душа — одеколонь сплошная, — а приходится сидеть тута с вами, пельмени лопать. Нет уж, пойду я от вас, однако!»

Встала Лизавета, пошла на куфню, где можно было без политесу покушать, сгребла миску пельмешков, огладилась, передохнула — и вышла в столовую: «Ну, вот теперича и поисьти можно, ежели фатер настаивает».

От стола отвалились затемно.

Явились кофе, сигарки.

— Мне какавы! — потребовал пищик. — Вечером я тока сию пойлу потребляю, привычка такая заведена: как затемнеет, так уж извини-подвинься, а какаву подавай! — И руками развел: — Карахтер у меня такой... заграничный.

Принесли дивное индийское пойло.

Ванечка отличался. С трепетом, с затаенным нетерпением подрагивая ляжкой, ожидал момента сладостного, чтобы в самом соку показать себя. И вот — подкатило.

— Иваны Савельичи, — объявил Карягин, — будут шибко большие мастаки по пиитической части. Сделайте милость!

— Просим, просим, — поддержала мужа Фелицитата Даниловна и добавила чуть слышно дрожащим голосом: — Про амурность. Оросите ученостью, Ванечка.

И Ванечка — оросил, не мешкая, кантом из Василья ТрEDIAKовского:

Перестань противляться сугубому жару:
Две девы в твоём сердце вместятся без свару...

По-нес-ло молодца! Сапогами такт отбивает, пружинками локонов потряхивает, жестами в воздухе завитушки накручивает, канты любовные читает:

Не печалься, что будешь столько любви иметь,
Ибо можно с услугой к той и другой поспеть...

Дамы враз как-то странно примолкли, слушая декламатора, глаза потупили; Карягин тоже заметно насупился, брыли зачесал, заерзал в креслах:

— Хе, хе, хе...

— Что это вы смеетесь, Нил Гаврилыч? — нашлась супруга.

— Это я кашляю, — печально ответил муж.

— Кашляйте про себя. Ванечке мешаете.

А пищик тем временем без передыху пересел на Сумарокова:

Богатство хорошо иметь,
Но должно ль им кому гордиться сметь?
В собольей дурака я шубе видел,
Который всех людей, гордяся, ненавидел.
В ком много гордости, известно то, что тот,
Конечно, скот.
И титла этого в народе сам он просит.

Носил ту шубу скот,
И скот и ныне носит...

— Хе, хе, хе...

— Перестаньте кашлять, Нил Гаврилыч! — вновь вскинулась Фелицитата Даниловна.

— Это я смеюся, — тоскливо отвечал Карягин.

— Смех у вас какой-то несерьезный.

И гость из вежливости хозяйке поддакнул:

— Смех — он вить што такое в нашей натуре? Он должен из человека слезу вышибать...

И за сим «орошенная» публика пересела к ломберному столику — к расшлепанным картам.

Ванечке карта попёрла. Это уж так бывает: ежели повезет — так на рысах, и не надобно при этом ни ума, ни умения; знай себе, следи за мастью да игроцкие заповеди блюди: «Дыми больше — партнер дуреет» или «Валет не хвигура — бей дамой». А уж если, упаси Бог, случается наоборот, то есть не повезет, — так уж тут плачь-не плачь, хоть разорвись, — поможет, как прошлогодний снег. Везуха-невезуха, чет-нечет... Окаянное времечко! «А коли повезло, так лови сей шанец», — учили старые ошипанные канцеляристы. — Вся надёжа на случай! А коли привалит он, родимый, так тут уж не теряйся, беспременно надобно тряхнуть кому мошной, кому мошонкой, всяк по-своему свой карьер устраивает».

А Нила Гаврилыча между тем азарт корежил.

— Не искушайте вы меня, Христа радючи, — говорил он жалостно. — Не вводите в убыток!

— А теперя ставьте соболюшку на банк, тады играть продолжу! — веселился Ванечка. — Без красного товару мы несогласные!

— Нету, убей Бог, нету в наличностях сего товару, — отмахивался купец. — Могу денежками...

— А оно мне надо? Нет-с. Тока соболя! — отрезал партнер.

— Нету...

Тут вдруг вскинулась со стульчика легконогая Фелицитата Даниловна, скрылась на миг, столь же стремительно вернулась

и... на стол бесшумно пролилась волна соболиного меха — пушинка к пушинке, соболь — всем соболям соболь, тот самый редкостный красавец, «государев поминонок», что был добыт Кирей-шатуном в молодые годы, потом неоднократно был дарен Карягиным генеральше Якобихе и неоднократно выкуплен у нее же ввиду острой дамской нужды в наличном капитале.

Нил Гаврилыч ахнуть не успел, а Ванечка уже подвернул канифасовые обшлага... «Ну, держися, купец! Счас я тебе забубеню по соплям!»

...Купецкая жена глядела в карты — а видела в них один марьяж червовый, короля и даму одной масти: себя, значит, и Ванечку. Рядышком... «И на что Лизавете этакий красавчик? — думала. — Нет уж, сама слопаю. Наблюдать за ним буду хорошенько, часто мясом кормить, даже в пост великий. Мухам сясти на него не дам, на Ванечку. А старую простокишу Карягина начисто изведу!»

Грех сладок, человек падок, вот и Фелицитата Даниловна тоже...

«Кажись, зевнул Ванечка? Дак и я зевну. Зевок пополам — быть в родне, говорят старики... Ох-ох, дама пикей вылезла, к измене, значит... Да вот и семерка пикей — разлуку сулит! А вот и туз, удар означающий! Ах, случится-таки удар!»

Карты не соврали: удар случился — гость соболя выиграл, у Карягина в тоске губы блином обвисли, рожа вытянулась по шестую пуговицу.

— Хе, хе, хе...

— Что сие означает, Нил Гаврилыч? — спросила супруга радостно.

— Водочки бы нам... али бражчонки.

Сдвинули стаканы: один с горя, другой с везенья великого. Потом пили за здоровье живых, всех перебрали, принялись за упокой усопших. Надрались крепенько, у обоих губа за губу заплетаться стала. А пищик к тому же в кураж пустился.

— Не ж-ж-жалаю, — стучит кулаком, — за чужо вино свое похмелье наутре принимать!

— Не забижай, Ваня! — упрашивал старик. — Выпей ишо, а я соболюшку твою давай покараулю.

— А вот и обижу! Мы кого обидим, так того зла не помним, — отвечал гость, привередливый.

— Ну, в таком разе уважь купечество!

— Ежли из уважения, сиречь из решпекту, тады... давай ишо, наливай, дядя. Мы такие! Мы куды хошь придем — нам везде поднесут! Нам не поднести никак невозможно, потому как мы люди важнецкие...

— Виват иркуцкой кавалерии! — кричал Карягин и, расплескивая водку, тащил соболя к себе. Но Почекушин держался крепко.

Потом Фелицитата Даниловна весело испытывала мужчин: кто из них более другого нагрузился? Так в том испытании ни один не смог выговорить пристойную случаю скороговорку «Сыворотка из-под простокваши». Пospели, голуби!

Ай, ей-богу, и в самом деле, все-то было распрекрасно: поели, попили без драки и разошлись, страшно довольные друг другом. Только Нил Гаврилыч всю ночь потом дергался. Фелицитата Даниловна лягала его ногою и решительно вывела в уме, что такие кавалеры, как Ванечка, на дороге не валяются.

А Ванечка домой добирался четверней, сиречь на карачках. Долгонько правил, а как — не упомянул. Думал, что к дому своему прямехонько, вдоль заплота, за доски держась, шлепает. Оказалось, это он вокруг бочки пожарной круги выписывал — путь в огорчительную бесконечность; кружил, кружил, покуда на удивленного папеньку не напоролся.

Вокруг — грязища поколенная, для пищика — так и вовсе по самые локти, а за пазухой у него — соболек дивный черным пламенем искрил...

11. УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

Страшный сон явился к Нилу Гаврилычу. Будто бы купил он дом с домовым: дом — за деньги, а домового — за так, впридачу.

— Ты кто? — спрашивает домовый.

— А это я... извиняюсь за выражение, Карягин, — отвечает Нил Гаврилыч.

— Ну, живи, Карягин, пользуйся фактом жизни и нового жилища, — говорит домовой. — Вместе жить будем. Я вить в тебя, Карягин, весь влюбился. Ажно амурь поперли. — И руки свои волосатые о платье вытер; а платье табашного цвета, а по нем — такие лапочки зелененькие, а вокруг воланчики, рюшечки, брюссельские кружева.

Смутился купец, а домовой пристаёт:

— Поцелуй-ка меня в уста медовые.

— Ай, грешно!

— Ничо, я оботруся. А по имени меня звать Маруся.

Почеломкались для знакомства — и пошли дом осматривать. Крыша у дома из колбасы сделанная. Вот залез наверх Карягин, принялся крышу кушать, а домовой — тут как тут.

— Давай, — говорит, — сообща тую колбасу исьти.

Двое — не один, так что зараз и слопали весь дом.

Домовой не насытился, загрустил.

— Эх,— говорит,— игде теперь тая колбаса? Игде теперь тое щастие? Нетути. Да Бог с имя! Лутче вот давай я тебя счас исьти буду. Страсть как обожаю капиталистых муштин. Косточки ихние хрумтят, как макаронья италианские...

Купец окрестился — и тотчас сгинул домовой, ровно его и не было. Остался Карягин один-одинешенек, как синь-порох в глазу, как перст, как верста в поле. Вместо дома — цыганское становище: три кола да головня посередке. Пусто и голо. Ни удавиться от таких итогов, ни зарезаться нечем: ни седла, ни уздицы, ни той самой штуки, на кою седло наздёвывают. Как без всего этого жить?

Хватился купец за карманы — и там сквознячок гуляет. Где денежку взять — на свечку богу, на рукавицы, на соль, на деготь, на ков, на привар, на штофик винца венгерского? Туды-сюды рупь надобен, так сяк два, да на коровенку полтора...

— Хе-хе, — вздыхает купец.

— Хехекай помалу, дядя. А то, боюсь, не достанется хеку на весь твой век! — Это домовой подал голос напоследки.

И побрел Нил Гаврилыч в слезах по колено. Видит: на поляне два лешая дерутся.

— Эй, лешаи, — кричит купец, — почто дерете друг дружку? В драке, известно, умолоту доброго не бывает и не предвидится. Нешто вы такие неграмотные?

— А тебе чего надобно, суконка такая? — спрашивают лешаи.

— Да вот, — отвечает, — ищу, где жить полегше, где налоги с оборота будут поменее, а обороты — поболее.

— Ну, ищи, ищи. Где нищий не бывал, там завсегда по две милостыни дают. — И принялись лешаи купца под микитки сучить да приговаривать: — Ставь соболя в казну, сучий потрох. Да не в картежную казну, а в государеву! Не то живым тебя отседа не выпустим, паразита и шпиёна турецкого!

Присмотрелся Карягин — а это и не лешаи вовсе, а чета генерал-губернаторская: Иван Варфоломеевич и Катерина Андреевна — собственными персонами. С а м и сердитые будут, брови насупленные — что два медведя залегли, густые да колючие.

— Нашто вам соболюшка, господа государевы лешаи? — спросил Нил Гаврилыч. — Небось сами при казне состоите и казной кормитесь. Почто же сирую сиротинку забираете?

— Э, — ответили лешаи в один голос, — казна — что общая овечка, а общая овечка — волку корысть. И это мы без тебя знаем. Но ты нам, купец, наказанный решпект выкажи! Уважь «государевым поминком» — вот и останешься вживе.

Заплакал Карягин от такого натиска без пардонства. А лешаи регочут, песню дикую зверскими голосами распевают:

Едет чижик в лодочке
в ахвицерском чине.
Надоть выпить водочки
По такой причине...

— Сие грех великий, чижик, — строжатся лешаи на Нила Гаврилыча, — грех великий винцо водой разбавлять! Почто меньшого Почекушина разбавленным пойлом паивал? Почто российскому Бахусу такой неподобный укорот свершил? Што же Европа скажет? А игде у нас топор острый?

Ухватили Карягина за бока и на плаху потащили. А над той щербатой плахой уже драконы китайские кружат, ужина дожидаются, зубами щелкают...

Проснулся Карягин — мокрый, холодный, зеленый весь, как лягушка. И заметался по дому, зашлепал босыми ногами, ладошками, губами: «Ох, быть беде! Быть убытку! То ли, сё ли, а уж коли случилось во сне знамение — что-то такое будет. А не будет... так что-то да и будет...»

Пока остужал нутро огуречным рассолом, пока одевался, обувался — все думал лихорадочно Нил Гаврилыч и не мог придумать: каким образом вызволить назад «государев поминок», по жениной дурости выставленный в картежный банк и проигранный в мгновение ока, в два счета. И еще думал Карягин, что без того неразменного соболя, к которому так обвыкла Катерина Андреевна, худо будет жить на свете не только одному купцу, но и всему иркутскому гильдейству, и оное сословие, от имени которого делались подношения генерал-губернаторше, прознав о случившемся конфузе, не простит Карягину неаккуратности в выказывании Якобихе подобающего респекта; как пить дать, не простит да еще и ножку подставит в делах коммерческих... Проигранного соболя другим подменить? Заметит Катерина Андреевна. Соболю тот — покуда единственный... А ведь как славно обычай был отлажен! После кончины первой жены своей, Любавы, Нил Гаврилыч использовал ее свадебный гостинец по своему хотению — чего ж добру пылиться! Вот и подносил дивную шкурку губернаторихе, а та ему же и продавала чуть погодя сей подарок «по нужде своей», и так-то по кругу ходил соболек и пышным хвостом заметал неизбежный мусорок сомнительных купеческих негодий...

«Эх, эх, уж как ссыкотно-боязно стало жить на свете при большом капитале! Страшно! Тени своей шарахаешься, не токмо чужой, всего боишься... А вот взять бы веревку покруче да и тово-с... задавить Ванечку? Ах, шулер паршивый! О-о-о, куды бежать за помочами?»

И решил наконец Нил Гаврилыч довериться в этом деликатном предприятии с а м о м у — Ивану Варфоломеевичу. «Мудрость ихняя — генеральская, к тому же ишо и губерна-торская, а простирается оная столь обширно, что узреть ее

отсель, с наших лавок просиженных, никому не мочно. Авось, подсобит. Небось, и присоветует дельное в сей немислимой невозможности».

— Эй, Фомка, — крикнул кучеру. — Рви кочки, ровняй бугры, держи хвост козырем!

— Куды изволите, Нил Гаврилыч?

— Гони к Якобию!

У парадного подъезда генерал-губернаторского дома Карягин расстался с пролеткой, с сонным кучером Фомкой. Чем дальше в дом, тем все меньше оставалось от Нила Гаврилыча: шляпа, трость, перчатки... потом паричок сдернул нервически, вытер им взопревшее лицо и сунул в подмышку медвежьему чучелу, встречавшему гостей в прихожей. Но менее всего оставалось в купце его первоначальной уверенности — и это был самый страшный убыток.

Генерал-губернатор Якобий на жалобу купца по поводу злокозненно спущенного в карты «государевого поминка» отвечал нежно, с государственным выражением:

— А нашто у тебя руки-то привешаны, милостивый мой государь? Тюкни сего Ивана Савельева сына Почекушина по сусалу, по-сродственному, и дело в шляпе!

— Дак вить он мне ишо не сродственник, — пролепетал Карягин и хрустнул карманами, в коих до нужной поры томились радостные бумажки, радужные ассигнации.

— Тем лутче для общества, — успокоил гостя Якобий философическими словами. — Волтузь его в таком разе по мордасам, покеда не сомлеет. За свое богачество, сударь мой, постоять надо!

— А ежли не возвернет соболушку? — всхлипнул купец. — А ежли сей подлец Почекушин хвостом вилять примется?

— А ежли вилять хвостом начнет, — отчеканил Иван Варфоломеевич, — так руби хвост, прохвосту! По саму шею. Градская дума заступится за тебя. Сибирякову скажу. Кумекаешь ли, дорогой мой Нил Гаврилыч? Не пора ли тебе, любезный мой, начинать ваньку валять в таком бесценном предприятии?

— Ваньку? — переспросил купец. — Понял. Кончу. Завалю.

...В обратном порядке возвратились к Нилу Гаврилычу уверенность, перчатки, трость, шляпа.

И так расчудесно выпевалось изнутри: «Слава тебе, Господи! Свечу тебе закачу пудовую! По ими-отчеству меня назвали! И барашка! В гужажке! Принять изволили! Ихнее высокое превосходительство! Ах, хорошо, лутче и не бывает! Свой своя не поедаша! Рука руку моет, и обе белы живут!»

Тыркнул кучера тростью в спину:

— Фомка, никак ты заснул... любезный мой?

— Здеся мы, Нил Гаврилыч. Кудыть теперича править?

— Не твое дело. Дуй прямо, каналья! Эх-ха-ха! И давненько же я людишек не лупливал!

На полпути к дому Карягин вспомнил о паричке, забытом под мышкой генерал губернаторского медведя, однако возвращаться не стал: «Фомку отправлю. За свое добрецо-богачество... тово-с, постоять надобно. Ну, держись, пищик!»

12. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. ШАЛУН ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА

Летели, летели два гуся: один — серый, другой — на север...

В семидесятые годы в Чалдони, на Нерчинских заводах, куда Кирюха-шатун попал по Нилкиному слову, хозяйничал его сиятельство Василий Васильевич князь Нарышкин. Какие права имел этот горный начальник — никто знать не знал, ведать не ведал. И кто он таков на самом деле: казенный чиновник или полномочный наместник императрицын?

— Оно бы и очень возможно, наместником-то, да никак нельзя! — говорили одни. — Уж больно страшно.

— А что, — говорили другие, — казенные люди разве смиреннее? Кожаные человеки-с, прости Господи за выраженьеце...

И вот тут, читатель, перед нашим мысленным взором нередко возникает некий стереотип, составленный из романов о далекой и не очень далекой старине: образ коллежского регистратора или провинциального секретаря, то есть не бог весть какой сошки в Петровской табели о рангах. Скажем прямо, мелкой сошки. Этакий задрюга с застиранным серым личиком,

носишко пипочкой, уши отмороженные, пунцовые, как гусиные лапы. Соответствующие атрибуты — как-то: фиксатуар на прили-
занных височках, жестокие романсы под гитару с бантом на
грифе, орешковые чернила по три копейки за флакончик,
перышки гусиные, нарукавнички, жужжание мух в любое время
года и кляксы, кляксы... Сам же чиновник — то бледен до про-
зрачности, тих, робок, то изображает ужасную занятость, вдох-
новенно топает, суетится, производит невероятно деловой шум, а
вместе с оным и иллюзию постоянного присутствия и вечной
готовности к немедленному произнесению «извольте-с»; утвер-
ждают, что это шумство тоже происходит от излишней застен-
чивости, по крайней мере, чаще, чем от нахальства.

Однако же подобное представление о чиновнике великой
Российской Империи (восприемнике крапивного семени стряп-
чих да подьячих) — решительно не вяжется с личностью Василия
Васильевича Нарышкина уже только по одному тому, что на
Петровскую табель ему наплевать, поскольку сей князьинька с
Петром Великим в кровном родстве пребывал.

— Никого надо мною нету! — шумел, бывало, Нарышкин
спьяну. — А все подо мною будут! Вот вам! — И кукиш казал.

— Ладно, это нам. Мы возьмём. А вам чего? — спрашивали
робко, располагаясь перед князем, подобно двойке перед тузом.

— А нам немного надо. Табак да баня, кабак да баба. Да
ишо Царствие Сибирское впридачу.

Так и жил чалдонский государь: слева — гураны⁷ и
пистоны, справа — гурманы да фестоны; выбирай, что любее;
князь же Василий околачивался посередке — хапал и то, и
другое.

Кто поддакивал ему в голос, кто не соглашался тишком —
всяко было. Особо же строптивых противников князь не жаловал:
тотчас снаряжал войско, выступал в поход и силой оружия
вразумлял непокорливых.

Правда, вразумления не всегда удавались. Затейная им
нешуточная военная кампания против Иркутска — под стрекот
барабанов, при пушках и расчехленных знаменах — кончилась
полной конфузней: город не пал, да к тому же тамошнее

⁷ Дикие козлы (*зайбайк.*).

начальство (будь оно трижды неладно!) отписало кляззу императрице. Князь Василий был слегка обескуражен этим предприятием, пока не ведая того, что при получении жалобной эпистолы из Сибири самодержица Екатерина Секунда, его крестная матушка, улыбнется истинно по-матерински: «Ах, шалун этакий, Васинька!», а канцлер, шут гороховый, тоненькой фистулою подмахнет государыне в такт: «Баловни-и-ик!» — и икнет напоследок, прикрывая рот ладошечкой.

А дело было такое.

...В поход на Иркутск собирались спешно.

— Опеть туземцев зорить? — любопытствовал Федька Сундук, один из пяти бывших с е к р е т н ы х арестантов, определенный по князьему хотенью на казенную службу с затейливым чином «с е к р е т а р ь Василь Василича»; Федька умел шевелить ушами, глотку имел луженую и, помимо прочих достоинств, самоукой дотянулся до грамоты.

— Опеть! — передразнил Сундука князь Василий. — Лапоты провинциальный, сундук сундукович, а ишо в секлетарях у меня сидишь. Ай не совестно? До скольких разов тебе втолковывать, что секлетарю не годится «опеть» говорить, но — «сызнава»?

— Ну, сызнава, — соглашался виноватый Сундук.

— Не нукай, Федька, не то полетишь у меня из секлетарства чистить афедроны, сиречь места отхожие. Я те обтешу вухито, и язык тоже...

Федька чесал пятерней вшивицу и умилялся: «Ну и князинька! Сколь же несчетно в евоной башке грецких слов напихано!» А потом просил учтиво:

— Уж ты ссуди меня стаканом водки, ваше сиятельство, а то мне и впрямь шибко стыдно сделалось.

На сей раз Василий Васильевич шел войною не на туземцев. На губернаторов! Были особые причины держать на них обиды — и на иркутского в том числе: вельми строптивы стали, несговорчивы, супротив князя ревизоров подушвивают да скупаются на вспомоществование из казны для многих княжеских затей, не принимая в рассуждение того, что частые гулева, как

считал Нарышкин, устраивались по причине его безразмерного народолюбства,

— Об вас, людишки, пекусь, — говаривал князь, — пекусь денно и ночью об веселии вашем, ибо желаю служебный свой карьер, весь без остатку, отдать публике. А поэтому — гуляем, православные и любезные мои драбанты! Однова живем! Поливай в глотку, как на каменку, поддавай жару, робяты! Ох, и нету же питья лутче воды, ежели перегонишь ее на хлебе!

Вот и пенилось на Нерчинских серебряных заводах разливанное море винное, в коем Нарышкин чувствовал себя как рыба в воде.

До поры до времени терпело сибирское губернаторство разные сумасбродства нерчинского мотовщика государевой казны. Наконец лопнуло терпение — скоро, споро и натурально, так, как лопается дождевой пузырь в лывке, и, точно так, как круги по воде, пошли вокруг имени горного начальника зловредные слухи и слушки.

И тогда Нарышкин, словно коронованный монарх, объявил в горной округе великий рекрутский набор.

— Полно вам, робяты, на печах лежать, мясы надрачивать! Айдите в атаку на притеснителей!

Ну, и пошли. Шли ходко, споро. Впереди — авангард, гусарский полк из тунгусов. Посередке пылила инфантерия с пушками и колоколами; известное дело, пехота — сажень да сажень, восемь верст в час, А позади, в арьергардии, скрипели обозы с порохом и диковинными в те лета самоварами⁸; всю иную потребу войско находило в пути.

Губернаторские лазутчики зорко доглядывали за нарышкинской армией, доносили начальству, после чего в канцеляриях кудревато высвистывали перышки по гербовой бумаге с водяными знаками: «Князь Нарышкин по дороге останавливает купецкие поезды, отымает товары, выдавая расписки. В степи на отдыхах кипят преогромные казаны с водой, куды сваливают пудами чай да сахар. А вино стоит цельными бочками. А сукно, китайку и холст берут даром, без всякого счета. И едучи в направлении Иркутца, князь сзывает народ разными средствами,

⁸ Первую самоварную фабрику основал в Туле Иван Лисицын в 1778 году.

как например, в селах — звоном в церковные колоколы, а тамо, где церковей нету, пушечной пальбой и барабанным боем. И собранный таковой народ поит вином, усиленно захваченным в питейных лавках, и бросает в толпы казенные деньги...»

Где-то посредине Братской степи сидел князь на полковом барабане и думал военную думу. Перед ним расположились: ландкарта на земле, компас на карте и тунгус на кукарках (тот тунгус авангардом командовал и с утра был произведен Нарышкиным в чин полковника).

— Ну, Бадма, што скажешь? Куды идтить теперича?

Тунгус (в вельможном пудреном парике и с эполетом на левом плече замызганного, отслужившего срок нарышкинского шлафрока) потянул носом воздух и махнул плеткой, указывая дальнейшее направление пути.

— Што ты махаешь, дурак? — осерчал Нарышкин и сунул компас Бадме под нос. — Ты сюды гляди, немытая твоя личность! Вишь, стрелка. Сия стрелка магнитом помазана, на «полунощь» кажет. А ты мне тута носом вертишь. Ну? Што теперь скажешь?

Бадма, робко покосившись на Василия Васильевича, повторил прежний жест.

— Анахтема! — взвизгнул князь и хлестнул полковника по зубам. — Каково скусно? Сымай эполету, дурак немаканный, сиречь некрещеный! Хотел тебя в генералы произвесть — чичас сумлеваюсь. Тащите его в баню, робяты, пушай спроведает, каково блаженство есть русская мыльня!

Баня была для Бадмы страшным наказанием. Мигом соорудили нарышкинские драбанты баню с каменкой, по-черному. В три веника выпороли визжащего полковника и выбросили на порожек прохладяться. Бадма тоненько выл, поскуливал, а его тунгусое войско с ужасом взирало на полководца:

— Вай, вай! Кожа, однако, слезла. Белый стал.

А Василий Васильевич между тем подумал о том, что ученых людей, ему подобных, незазря именуют парнасскими жителями, сел на коня и... попер в обратную сторону. Обратную той, которую Бадма указывал.

Войско заскрипело вослед. Опять шли споро и ходко. И через несколько переходов впереди замаячили... рудные отвалы Нерчинских заводов. Вернулись туда, откуда вышли. Тем кампания и кончилась.

...На другой день Василий Васильевич едва одыбался, оклемался, да и то лишь к полудню — к Петровскому «адмиральскому часу», когда водку пить пора приспела. Сполоснул зубы перцовочной гигиеной — и кликнул в опочивальню своих драбантов, а когда те сошлись, то приказал им немедля учинить суд над дурным петухом, мешавшим князю нежиться на утренней зорьке. Драбанты быстро отыскали нахала, сняли его за шкирку с работы по производству потомства и уволокли На кузню, где и заковали в кандалы. Потом вернулись к Нарышкину. Расселись на ленивочке-лавке вдоль печи. Смурные, точно филины. Похмельные.

— Слышь-ка, Бадма, ты у меня кем будешь севодни? — кисло спросил князь и листовой табачок за губу поместил.

— Снова полковником, господин Вася сиятельство. Такое дело...

— Хорошо, я радый. Служи. А ты, Ивашка?

— Уж не гневайся, Василь Василич, ежели чево...

— Говори, не боись.

— В генеральство я выбился.

— Да ну! Неужто на меня этакая дурь вчерась накатила?

— Почто же дурь, Василь Василич? Мне такое дело даже глянется.

— Цыц, пащенок! Сымаю тебя с генеральства. Недостоин ишо.

— Ладно, — буркнул Ивашка. — Так хучь женку-то свою мне оставь! Сам вить вечер меня оженивал, рази не помнишь свадьбичку? Горько, говорил, будь щасливый, молодой человек, а опосля самолично сгреб меня за шшочки и вза-сос целовал. Али запомятовал?

Нарышкин взвыл тоненько, по-щенячьи.

— Харош у тебя баба был, толстый. Такое дело! — поцокав языком, высказал князю сочувствие полковник Бадма. — Зачем Ивашке дарил, господин Вася сиятельство?

— Бабу назад возвертаю! — отрубил князь.

— Етакого закону нету, — заупряился было Ивашка.

— Есть! — Василий Васильевич бабахнул кулаком по столу. — Закон, парнишка, верит мужику на пять рублей, не более. А сия баба на пять с полтиною тянет. Чуть-чуть, да не княгиня, все ж таки в моей постеле проживала. Поимей, дурень, соображение.

— А сколь же ты сам стоишь рублей, Василь Василич?

— Смекай, балда. Исуса Христа нашего в тридцать рублей Июда оценил и продал. Царь земной алн царица на рупь меньше тянут. А моя цена ишо подешевше будет, итого двадцать восемь целковеньких. Сообразил?

Ивашка охмурел, насупился, сплюнул на пол.

— В таком разе, Василь Василич, стопкой уважь. Шибко в роте скушно от твоего ко мне огорчения.

— Вот и мне... то же самое, — вздохнул горный начальник и хлопнул в ладоши: — Эй, Федька! Явись сюды, варначья харя!

Явился Сундук, впавший в немилость на вчерашнем гульбище, — грустный, потерянный.

— Ты ишо не закованный? — спросил Нарышкин у секретаря.

— Покаместь Бог миловал.

— Ссыкотно, небось?Ну, потерпи до завтрава. Я подумаю.

— Слушаюсь. Чего приказать желаешь, ваше сиятельство? Шти с солонинкой али кувшинец кваску из погребца?

— Мы штями не нуждаемся. Мечи похмелье на стол, июда! Шинкарствовать будем.

Федька вышел.

— Как есть июда, — полетел ему вдогонку Ивашкин шип. — Гони ты его из секлетарей, Василь Василич.

— Уж не ты ли на тое место наметился? — ухмыльнулся князь.

— А хучь бы и я! У меня, кажись, глотка-то поширше евоной образованная...

Вчерашние гулебщики не могли простить Федьке его неожиданного отступничества от святого бражного кумпанства. Еще в походе секретарь (изрядный гулеван и баешник) ежедень кричал виват Нарышкину, дабы тот жив и здрав был на погубление всем сибирским притеснителям. И вот вчера вдруг заявил с надменностию, что у Василия Васильевича одно только

питие да табак на уме, то ж самое — и бабство. И хулил Нарышкина всепублично. А потом притащил из чулана покусанную мышами книжку, сочиненную, как сказал, неким Ивашкой Посошковым еще в Петровские времена, и, ухватив господский палец, нудливо тыкал им, точно указкой, в строчки витиеватого полуустава. Ого, напрасно князька часто сетовал на свою дырявую память! Хотя и пьян был, да крепко запомнил, что в тех строчках назидалось: «Худая судьям похвала, что колодников много держат, но то самая честная похвала, чтоб ни одного не было. То судье прямая честь, еже бы не токмо колодников, но и челобитчиков в канцеляриях немного шаталось...» Ах, Федька-расфедька, сукин ты сын, а не секлетарь! Окаянство творишь, июдские ковы строишь хозяину? Всюё вечерку испаскудил своей ученостью! Ну, ладно, об этом можно подумать опосля. А нонче иная забота: откуда денег истребовать для народного гуляния?

— Поширше, говоришь? — встrepенулcя Нарышкин. — Ну, тада, Ивашка, учиню тебе экзамен на офицерский аттестат. Значит, так. Видишь, в углу шкафчик стоит?

— Вижу.

— В шкафчике на полке бонба лежит. Бери тую бонбу, валяй до купца Сибирякова и тама пужани его на тыщу рублей, ибо наша касса казенная чиста, аки слеза младенца, Скажи Сибирякову, что строго приказано сделать добровольное пожертвование в казну государеву. Понял? Да ишо к солдатке Евдокее заверни, передай ей, курве, что я свататься еду. С Богом, сынок!

Ивашка обернулся мигом.

— Пужанул купчишку?

— Эге.

— Тада клади бонбу на место и садись шинкарить.

— Нету бонбы. Спользовал, — отрапортовал Ивашка.

— Ну и што? — спросил князь.

— Што — што?

— Дали тыщу?

— Фигу мне дали.

— Ах, подлец купчина! — вскинулся князь. — Некультурный какой! А вить небось обхождению обучался, галанту, то-сё, по московским плитуарам с бабами под ручку шлялся, а теперя вот и

в долг государству дать не желает и об ином протчем не пекётся, фулюган! Вить это што такое? Это — хужей иги татарской, и мы, господа, в этой иге жить не согласные. Верно говорю?

— Уж как верно! Верней некуда! — вскричали драбанты и на дыбочки скокнули: дело затевается стратегическое.

— Спасибо на добром слове и на душевном сочувствии, — сказал князь Василий и смахнул слезу. — Мне такая жизнь никак не глянется. Но, видит Бог, не хотел я баталии. Не хотел. Да, видно, не миновать оной. Купца сего прекратить надобно. — И к Ивашке обратился: — Что есть гаубица, голубчик ты мой?

— Сие короткая пушка, в дупле широка, в затраве узка, бонбами и дробью пуляет, Василь Василич.

— Так! Хорошо! — воскликнул Нарышкин. — Будешь ты, Ивашка, севодни бонбардирским капитаном конной артиллерии. Запрягай пушку, почнём Сибирякова воевать. Эх-ха!

Вывалили за ворота — и пошли на приступ.

Полковник Бадма развернул конную лаву по фронту и ждал сигнала к решительному штурму. Ивашка выкатил гаубицу, угнездил ее против крыльца Сибиряковского дома и, деловито покрякивая на пушкарей и крутившихся под ногами парнишек, набивал ствол картузами пороха.

Взмолился с резного крылечка купец Сибиряков:

— Ваше сиятельство Василий Васильевич, ведь я вам уже бессчетно давал! Вспомните же ради Христа! И в долг давал, и навроде контрибуции, и просто так, по хорошему знакомству...

— Э, нет! Ефимками не откупишься! — кричал распаленный Нарышкин. — Давай три тыщи по хорошему знакомству, а не то — вот как бог свят! — в упокойники определяю!

«И очень просто определит», — тоскливо подумал Сибиряков, и в пупе у него заурчал леденящий сквознячок. Купец, имевший к тому же горный чин обер-гешворена, держал на аренде несколько заводов в рудниках, частенько наведывался сюда из Иркутска, подолгу жил в собственном доме — и потому отлично хорошо знал, что князь шутить не любит, слов на ветер не бросает и, творя кривды налево-направо, не только со светской властью в контрах пребывает, но и церковную не шибко жалует. По приезде на начальствование в Нерчинские заводы князь около года высидел в доме за наглухо зачекушенными

ставнями, никуда и носа не казал. А потом... Потом вышел на свет божий в Светлое Воскресенье и повелел вместо заутрени на Пасху служить обедню, а заместо обедни — заутреню; всю эту несурязицу несусветную князь затеял единственно потому, что поздние его обеды — эпиталамы Бахусу — заканчивались, как правило, под утро, переходя в ранние завтраки, и Нарышкин, не мудрствуя лукаво, решил приспособить церковные службы к своему образу жизни и режиму питания. А потом бил попа батожьем за дерзкое неповиновение, и пономаря бил, а за что — не сказывал. А на следующий день учредил диковинный праздник — Открытие Новой Благодати: приказал всем поголовно каяться во грехах, после чего с новой силою продолжать блуд и прочие непотребства — и вновь класть поклоны. И так — циркулярно. Василий Васильевич самолично подавал пример непристойного маскарада, не боялся грешить, потому что умел так каяться, так откалывать лбом об пол покаянные эпитимьи, что зеленели от зависти наинатуральнейшие, без подмеса христардные кликуши.

Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно, когда бы не вызывало душевную сумятицу и беззубый протест у сотен людей — как похожих на купца Сибирякова и Федьку-секретаря, так и решительно непохожих.

Протест зрел — как зреют торфяные пожарища.

Судили-рядили все: в мундирах, кафтанах, халатах, однорядках, зипунах. Судили-рядили соседи по Сибири: губернаторы, купцы, кабатчики, попы, рудознатцы, бергаеры⁹, полковник Бадма и вольные искатели хабара.

Послушаем!

...В залитой светом гостиной, при вскрытых карточных колодах:

— Воля ваша, господа, а я того мнения, что наш князь — просто-напросто того-с! — И указательный палец выразительно вкручивался в висок.

— О, мои ами, ежели бы только так! Дураки властительные еще не означают полной беды. Им закон не писан. Просто — больные люди, которым многое можно простить, не правда ли? А ежели Нарышкин здравый, в своем уме? Что подумает

⁹ Искаж. бергбауэр (нем.) — горнорабочий.

просвещенная Европа о нашей бедной стране, в которой здоровый человек — хуже дурака?

— Тсс! Чтой-то вы нынче разволновались, сударь мой, и козырную даму, извините за выражение, кроете не тем королем!

— Пардон, пардон, это и с нормальными людьми случается.

...В залитой формалинной вонью гошпитальной прозекторской, среди вскрытых трупов:

— Не удивляйтесь, коллега, сей закономерности. Ведь еще Плутарх вывел — дай Бог памяти! — «эбрии эброис гигнунт».

— Пьяницы рождают пьяниц?

— Истинно так. Уж поверьте старикам. Мне и Плутарху... Подайте скальпель... Благодарю.

— Да, доктор, очень метко выражались предки. А нам что выразать?

— Можете, коллега, вслух выражать сногшибательные русско-татарские идиомы. А можно и так: положите вот на этот хирургический стол живого Нарышкина и отсеците у сего монструма соответствующую говядинку, — оно и добро будет.

— Простите, не внял.

— Сейчас поясню. И начну, как говорили латиняне, аб ово, от яйца, сиречь с самого начала. Вы удостоверились: где пьянь, там и дрянь с мягким темечком, с разжиженным мозгом. Однако еще Петр Великий, издавая указ об освидетельствовании дураков в Сенате, мотивировал свое решение тем, что — дай Бог памяти! — от браков с дураками на доброе наследие к государственной пользе надеяться не мочно. Теперь понимаете, коллега? Подайте лигатуру...

— Понимаю. Исключение из правил?

— Не совсем так. У Нарышкина есть правило. Одно правило... Подержите зажим... Так вот, одно правило. А именно: плевать на все правила. Вот так-то!

...В залитой грунтовыми водами штольне, среди вскрытых кирками серебряных рудных жил:

— Моченьки нету... Ты уж не бросай меня здесь, дядя! Вынесешь ли на ветерок?

— Ничо, паря, хужей бывает. Держися, — отвечал напарнику наш знакомец Киря-шатун.

— Хужей не бывает. И пожалобиться некому.

...В залитом блевотиною кабаке, при вскрытых штофах и сулеях:

— Он, ёк-макарёк, всё-ё-ё может, наш князинька!

— Я это знаю, братка. Тока ты мне обскажи по чистой со-
вести, каково мне энто твое «всё» понимать? Как хорошее али
как дурноватенькое?

— А как хошь, так и разумей.

— Ну, братка!

— Ладно, ставь полведра, босяк, все обскажу как есть,
и даже ишо больше. Обчим так: лутче с ём не касаться, с
князем-то. Уразумел?

...И в юрте, прикрывающей кусочек степи подобно
огромной, богатырской теплой рукавице:

— Ай, ёкарганай! Опять эполет снял Вася сиятельство.
Такое дело.

...И в храме Божиим — со стоном болезным:

— О, сатано! Пес алкающий! Анафема тебе, анафема!

...После того как бабахнула гаубица, разорвав собственное
зевало и попутно разнеся в щепы резные балясины
Сибиряковского крыльца, купец восстал в окоёме дверей. На
вытянутых руках он держал серебряный поднос с чаркой.

Нарышкин прищурился на посудинку: «Кажись, позлащена.
На сорок золотников с четвертью потянет, ценою девять рублей.
А где же контрибуция?»

— Вот вам! — указал Сибиряков на подводу, выползавшую
со двора. — Пять тыщ, ваше сиятельство, до копеечки. Только не
подавитесь.

— Ни хрена! — ласково успокоил купца Василий Василь-
евич. — Не подавлюся. Я вить твои медяшки ясти не думаю.
А вот ежели до тебя аппетит припал, так мы счас набьем твою
пузу до самого основания. Каково скусно будет — шибко
интересуюсь! — И мигнул драбантам, после чего купец,
ослабев духом, рухнул наземь.

Плюнул князь с досады:

— Эх, чикотки испугался, сердешный друг! А вить я по-
хорошему покалякать желал, сиречь по-соседски.— И пово-

ротился лицом к ревушей от восторга толпе: — Любезное мое народство! Сей купчишка от непомерного ликовства пал в этот... как его? в оморок. Счас ею оттудова вынут, в живность обернут, не сумлевайтесь. И почапает наш купчина до дому. А дома у него имеются всяки хрукты, всяки пишши, и самовар есть, из кранту чай сам собой бегит. Оклемается! А мы, робяты, айдате Бахуса славить. Ох, и попущусь я севодни до разврату — на полный разворот! Да пропою-то я вас, да прокормлю-то я вас! Капитал-то у меня огромный! А завтра каяться будем, не позабудьте...

— Не, не позабудем! — рявкнула толпа.

Драбанты уши закрыли — открыли огонь свежие пушки. Звонарь иа колокольне замельтешил середь веревок подобно мухе в паутине, а может, и пауку сродни... И по этим привычным для слуха сигналам, предвещавшим презельное гулево, в один миг, словно грибы в мочливые утренники, выросли вокруг нарышкинской компании людишки не людишки, а так, сброд, неработные гуляки, толпыги разные, праздные, гораздые лишь на закоулошное блуканье и дармовое угощение. Все кричали виват. Один Ивашка помалкивал, соколиным оком выглядывая в человечьем скопище возможные непорядки. Вот он метнулся в сторону, выдернул из толпы плюгавого мужичонку.

— Ты што ж ето, собака, тока рот разеваешь, а голосу не слышать? — И перекрестил притворщика плетью пониже спины.

— За што, господин... Иваша благородия?

Ивашка приосанился пуще прежнего и — покровительственно, по чину капитана конной артиллерии:

— Да так вот, вобще. Сиречь для знакомству. Накось, босота, пять рублей, приложи ко заднице да выпей за мое благородие. Вить я теперича не какой-нибудь иной прочий, сиречь не любой кажный...

Мужичонка клюнул щепогью золотой пятирублевик и хлопнулся в пыль коленями:

— Спаси тя Христос, благодетель...

А среди всего этого бурлящего, орущего, зловонно пышущего великолепия шествовал горный начальник — в соболиной мантии, по красной ковровой дорожке к питейному дому. Под локотки его ухватили две озорные толстые бабенки — солдатка Евдокея да вдовушка, тоже бой-баба; тянут князеньку каждая к своему горячему боку.

Ивашка на ухо князю Василию набубнивает:

— Эта вдовушка, Василь Василич, тебе изо всех силов пондравится, ей-богу. Ужасная красавица. Невозможные прелести. И ишо нигде не опубликована. А Евдокея... кудла такая, ну ее!

— Да я привыкши к имя, к красавицам-то, — отвечал Нарышкин и к новой подружке склонился галантно: — Не желаете ли вы со мною любовь произвести, душа моя?

— Вася! — бойко вскрикнула вдовушка. — Я единая твоя судьба-фартуна! И на ето дело мы согласные, чтобы с тобой такой брак на душу принять. Деньги вперед — и я твоя навеки!

— Зачем навеки? — посерьезнел князь — Навеки не надо.

А солдатка Евдокея — губы в жемок собрала, чтоб не заплакать:

— Вася! Да ты погляди на ету вдову! У ей же зубов нету! Не то што чо — вобче ничо! Ни галанту, ни антиресу, ни военного обхождения. И вся собой, как лук, зеленая, старуха старая...

— Цыть! — обрезал старую фаворитку князь. — Опять ты какую-то гнусу придумала? А у самой дите семибатепшое и ни одной репутации. Пошла, стерва, к своей маме!

Позади князя маршировали песельники из конторских чиновников, и самый трезвый из них высоко над головой вздымал «нарышкинскую хоругвь» — деревянную раму, обтянутую телячьей кожей с выписью из давнего петровского указа: «Питухов от кабаков не отзывати, не гоняти — ни жене мужа, ни отцу сына, ни родне иной, доидеже оный питух до креста не пропъется. И тот вор и пес, кто сим убытчит казну государеву»... А на хоругви разместился арестованный петух в миньютюрных кандалах.

Нарышкину ненадолго хватило чинности. Хлопнул париком оземь — пустился вприпляс, напевая любимое:

— Эх, батюшка богат, черевички купил...

Взвизгнули бабёшки, и хор песельников грянул в подхват. И, как манна небесная, посыпались на толпу разбрасываемые монеты, медно застучали по башкам, по зубам, по согбенным спинам. Что есть одна денежка? Малость, полкопейки всего-то. Зато сколько их, этих денежек, только успевай оборачиваться. И успевали!

...Оставим, читатель, этот «пир во время чумы», ибо далее последуют одни сплошные непотребства. Ну их!

Впрочем, горному начальнику, властелину Нерчинских рудников, уж недолгое время оставалось пировать... Однажды заманили его в Иркутск — и повязали. И так велик был у экзекуторов соблазн огрузить булыжником увесистым шею императрицыного крестника и — концы в воду, в конце-то концов! — бултыхнуть в сивушный чан! Об этом двусмысленно намекнули князю Нарышкину. Однако в отличие от английского герцога Георга Кларенса, приговоренного более трех веков назад к смерти с правом выбора вида казни и самолично пожелавшего утопнуть в бочке с мальвазией,— в отличие от него Нарышкин решительно возражал подобному предприятю, впервые в жизни отказавшись от такого «посошка» на долгую дорожку. Этот отказ был воспринят как лишенный здравого смысла. Нелогично жил, паразит! Однако сие было вполне возможным во времена, когда в великорусском языке словом «кровь» именовали руду, что в свою пору отметил в «Лексиконе Российском» тайный советник Василий Никитич Татищев, взыскательный историк, не допуская в строгую науку пиитических вольных сравнений.

Киря-шатун на серебряной руде двадцать лет отмантулил, государеву казну пополнял. Кровяное это дело...

13. СМОТРИНЫ НА СКОРУЮ РУКУ

Карягин не спешил наносить ответную визитацию Ванечке Почекушину, чтобы правдами-неправдами, но вернуть-таки назад проигранного соболя: пищик сам заявится, и дня не пройдет.

Так и случилось.

Едва успел Ванечка отмахать на пороге фигурные поклоны, как Нил Гаврилыч выставил вон из горницы супругу с дочерью, запер их на крючок в спальне и объявил визитеру о том, что вчерашние итоги похерить надобно, ибо они образовались в изрядном подпитии, на дурную голову, а Иван Савельич ко всему прочему еще и мухлевать изволил.

— Так што, Ваня, вертайся домой, волоки сюды неправедный выигрыш, а потом уж и разговаривать будем по-муштински.

Ванечка попервости глаза вылупил от такового приема, но быстро оправился и отмахнулся вальяжно:

— Не ведал я, Нил Гаврилыч, что вы в натуре такие вруши будете, а то бы ни в жизнь не сял с вами в карты играть. И ишо: не возьму в толк, к чему и нашто и по какому такому фуруру наблюдается этакая ваша зверская марциальность.

— Чаво? — не понял купец.

— Драчливость воинственная, дражайший Нил Гаврилыч, вот чаво! На хрена такой ваш бычий обычай — прямо с порога на хорошего человека кидаться? А что касасемо до карт, скажу как на страшном суде: ей-Богу, по правде играл — и всё тут! У меня вить на картишки просто-напросто рука набитая, рази не знали?

— Осталось тебе морду набить, Ванька, и будешь ты у нас со всех сторон в плепорции, — ответил Карягин, помаленьку свирепея. — Нехорошо старика в убыток вводить. И божиться, сударь, не след. Честному человеку в долг верят. Так что, внапрасне божиться — все равно что черта лизать.

— Почто тако безверие? Святая истинная правда! — завопил пищик, перекрестился и для пущей убедительности поклялся страшною клятвой: — Что севодня ето-пито — так пушай и наскрозь не пройдет, коли правдою небрегаю! Ферштеен?

Купец подступился поближе и молвил — уже ласково:

— Верю, верю. И твоя правда, и моя правда, и везде тая правда. Токмо не пощупаешь ее, не узришь, яко эфирность божецкую. А посему — сымай штаны, миллок, да ложись покладисто, а я, благословясь, поддам тебе умишка с заднего дворика.

— Ах, — вспыхнул пищик, — оставьте сию глупую фарсу!

— Никаких фарсов, зятёк.

— Я вам не зятёк! И вобще не желаю ожениться на вашей необъятной бычихе...

— Ну, ето дело мы чичас на скору руку решим, — сказал купец и свистнул по-ямщицки, два пальца в рот — колечком.

Разом навалились на Ванечку откуда ни возьмись вынырнувшие приспешники купецкие — сидельцы да челядинцы дворовые, скрутили, растелешили с нижней половины, на лавку приспособили; в пищиков рот пихали— кто свой кулак, кто пищикову шляпу, в ком сбитуя, — чтоб не вопил.

«Ну, всё. Счас бить зачнут», — грустно подумал Ванечка, выплюнул шляпу и сказал строгим голосом:

— Тока не безменом! — И зажмурился.

— Да рази ж мы супостаты какие? — нежно ворковал Нил Гаврилыч. — Мы понимаем. У нас какое-никакое, а тож разумение разумеется. И палочка — вона! На сей урок припасенная. Глянь-ка сюды, милоч!

Пищик открыл один глаз, скосил его в сторону, откуда эскеция намечалась, и произнес тоненько:

— Почто занозиста, палочка-то? Можно было и постружить, не отсохли бы руки...

— Ништо, в самый раз будет. Как раз по твоему чину, тютелька в тютельку.

Выпростал Карягин ноздри в полу кафтана и к делу приступил воспитательному.

— Чини учтивство, зятёк! — приговаривал. — Бесчинства не допускай! Выказывай привет-почтение. Да Лизавету Ниловну возлюби, яко голубицу. Да бери по чину, не скачи выше задницы. Да ишо соболюшку не забудь возвратить...

— Клиент! — вопил Ванечка. — Я об тем соболюшке уже и помнить забыл... Возверну!

— Стариков в карты не обыгрывай, совесть имей, — продолжал отсчитывать Нил Гаврилыч.

— Да нету на мне вин, окромя чарочных! Голову на отруб даю, што не мухлевал!—А голосишко уже влажный и глаза мокрые и выпуклые.

— Мухлевал не мухлевал, но и мух не ловил, — утешал Карягин пищика, дрючком шлепая аккуратно, размеренно, точно знаки препинания в купчей крепости расставлял. — А плахи тебе не избежать. Не избегнешь, говорю, кары, ежли мудрых стариков слухать не будешь. А покеда голову-то свою побереги, не суй выю под топор... На отруб ему, понимаешь... Смелый какой!

— О-о-о! — стонал пищик. — Я и батькой дратый, я и кобелем рватый, и быком в запрошлом годе забоданный! А тута ишо... от любезного сродственника буду ранетый в саму душу... Тиранство творите, папаша! Сатрапы! Инквизиторы!

Нет, не разжалобить купчину.

— Будет тебе языком-то брякать, забоданный! — говорил Нил Гаврилыч с одышкою. — Все равно ж я по-латынскому ни бельмеса. — И палкой по задним щекам: шлеп! шлеп! — Вот уж страмник ты, Ванька, каковое место для души сыскал...

Отмахал шесть «горячих», присел передохнуть, кваску испил и спросил Ванечку участливо:

— Што, познабливат душа-то? Сиречь гузно?

Ванечка горделиво головой дернул:

— Уже... нет-с!

— Тады повторить надо.

— А оно мне надо?

— Надо, мой миленький. Надо. Ферштеен?

— Не нада-а-а! — И Ванечкиным глазам вдруг сделалось тесно на лице от острых ощущений, от карягинской ласковой лютости.

— Как же не надо? Розга да пушка при салютации любят нечет. А у меня как раз четно вышло.

— Не надо, — повторил пищик категорическим шепотом и купца припугнул: — Грех вам будет!

— Э-э, какой это грех? Сей грех ничего не стоит. Отмолюся. Подумаешь, всего-то три пятницы молока не хлебать! Рази это грех?

— Сказал, не надо!

— Ну, не надо так не надо, — согласился Нил Гаврилыч. — Я уж и сам ломотьё в плече восчувствовал... Так будем, Иван Савельич, ожениваться али какая другая воля имеется?

— Счас, папаша... вот тока штаны натяну и подумаю...

— Не хитри, Ваня! Думать об этом деле можно и без штанов. Ну, сказывай, какая твоя добровольная воля намечается?

— Воленс али неволенс — один хрен-с, как выражались древние латышцы! — сказал Ванечка с надменностью, застегивая штаны и швыряя покрасневшим носом, однако тут же и добавил

с понятной поспешностью: — Я, однако же, не отказываюсь, Нил Гаврилыч. Отнюдь, отнюдь, отнюдь!

— От... чаво? — переспросил Нил Гаврилыч.

— Отнюдь. Тока вот што, предупреждаю: насморк у меня, спасу нет. Куды мне с таким носом?

Карягин крякнул, ладошками пошаркал:

— Правильно выражались... которые латынцы! На все одна воля, Божья. А свою являй токмо во щак, да в бане, да в жене, да в своих кровных соплях, — сказал купец и подумал про пищика: «Эхма, велик жердьяй, да уж больно жидок. Меня бы на дранье не сломили бы, не словили бы».

Сели за стол. Почекушин под седалище паричок пристроил.

— Ну, — сказал Карягин, — давай теперича мириться на пиве с отрыжкой. А опосля смотрины устроим.

— За показ деньги плотют, — буркнул Ванечка. — Сколь дадите?

— Да не твои смотрины, невестины. Нашто мне тебя смотреть? Успел наглядеться, игде у тебя душа содёржится, тое самое место.

— Премного вам благодарные, — сказал пищик и пивко присолил.

— Не серчай, голубь! Не по злобе сие — по привычке. А батожье — древо Божье. Терпеть надо. Давай-ка ишо подолью маненько...

Пенился напиток хмельной, мартовский, стучали кружки друг о дружку. Гость раскраснелся, хвалиться начал:

— А спорим, что ведро венгерской шипучки высосу!

— Эва, Иван Савельич, да рази ты лошадь, чтобы с таковою меркою к благородному пойлу отношение иметь? Опять же — игде плепорция?

— Запросто, — перебил Ванечка. — Нормальная порция, У меня с крупной посудой отношения полюбовные. Можно сказать, большому стакану и рот радуется, не тока душа.

И принялся заливать-рассказывать о том, как летось на именинах у крестного попалась ему удивительная бутыль — бездонная: наливали из той бутыли в кружку, в другую, в третью — все бутыль не кончается, потом тарели в ход пошли — а пена

шипучая так и прет, тазик подставили — и тазик полон, потом ведро, второе...

«Ух, и врет же, шельмец, — что редьку стружит, и не поморщится!» — восхитился Карягин, и бутылка она, нескончаемая, натуральным образом напомнила ему о неразменном соболе.

Пищик наконец сообразил, что пузыристого винца ему на сей раз не подадут, и принялся пугать хозяина:

— Вот чичас как встану да и того-с... домой пойду! Э?

— Пора, пора, милоч. Наверно, заждались дома-то? Родители, хозяйство разное...

Ванечка тоскливо повел очами и язвительно заметил:

— Вы бы, папаша, лутче за своим добром догляд вели, нежели в чужое мешаться. Каково, скажем, лакеев своих содержите? В совершенном небрежении. Не вышколены, да-с! Гляньте, каки синячищи мне на боках наставили!

— Да, уж политесу челядь не ведает, все больше по старинке обходимся, — согласился купец. — А самому мне поучить недосужно. Вот ты бы и взялся за наших лакеев, поучил бы их европейским тонкостям. Ась?

— Ладно, — сказал Ванечка и брови сдвинул. — Но у меня строго! Уж я нашим лакеям спуску не дам!

— Поучи, поучи...

— А перво-наперво, — продолжал пищик, — перестаньте, папаша, лакеев называть лакеями. Сие именование в простолюдстве обычно, а вить мы с вами, кажись, персоны важные, вы по коммерции будете, я — по ученой части.

— Как же ихнее сословие называть? — усмехнулся Карягин.

— Камардины.

— Ка... чаво?

— Камардины, говорю. Так в цивилизациях принято. А самым главным камардином у нас станет мундшенк...

«Во, поперло строку приказную, — подумал Карягин с беспокойством, ибо стеснялся непонятных ученых слов. — Камардинов выдумал! А теперя ишо... Был мужик — стал мундшиком. Нет, братец ты мой, мы не заморяне какие, не немчины!»

— А мундшенк по-нашему будет заведывающий напитками, вроде как столоначальник. И вобщем, папаша, кто-то должен состоять всенепременно при надзирании за штофами, за стаканьями, вовремя открыть, в самую пору закрыть, каку-нибудь заедку деликатную поднести. А то вона што... уж и налить стало некому! — Поморщился Ванечка, косясь на пустую кружку с остатками кружевной пенки по ободку.

— Хватит, — решительно оборвал Карягин. — На севодни хватит. А теперича, Ваня, наше дело — в шляпе!

Встали разом из-за стола — и подались в лавку выбирать пищичку новый головной убор взамен попорченного, изжеванного, послужившего кляпом для усмирения недавнего Ванечкиного благого мата.

Тем временем в закрытые двери опочивальни внапрасне ломилась безутешная Фелицитата Даниловна. А невеста Лизавета сладко спала на стульчике, отдыхала от утренних экзерсаций с несносным учителем музыки, который на все Лизынькины колоратурные («Около роту которые», — так объяснял) «соль-фар-е-ми-ми» отвечал с горячностью: «Да ради же Бога, Лизавета Ниловна, ми-ми! Гляньте, сии головастики на нижней линеечке и есть оные ми-ми! А у вас выдувается ни бе, ни ме, ни ми-ми, а эти... му-у-у», — и двумя пальцами рожки на лбу изображал, такие забавные, что Лизавета и в самом деле взмыкивала жизнерадостной телочкой, давилась от смеха, позабыв обидеться на учителю совершенную двоясмысленность...

14. РАСПОЛАГАЯСЬ К ОТДОХНОВЕНИЮ...

Ближе к полуночи в хрустящих простынях располагаясь к отдохновению от трудов дневных и вечернего моциона, его высокопревосходительство Иван Варфоломеевич Якобий говорил супруге своей, по головке поглаживая:

— Лобок-то у вас вон какой миньютюрный, зато умности в ём ну прямо как в коне, ей-богу.

— Ах, сударь! — изумлялась Катерина Андреевна. — Как можно женскую породу скотской уподоблять? Вы меня удивляете своей невозможной насекомостью!

Якобий с хрустом потянулся, зевнул и ласково потрепал супругу по щечке.

— Лошадь, — сказал он поучительно, — никогда не называют скотиной. Лошадь есть лошадь. Сие постарайтесь запомнить, дражайшая моя и незабвенная. Что есть скот? Скот есть коровы, быки и тому подобные рогатые. И человек бывает скотиною. Но чтобы лошадь — никогда-с! Да-с!

— Вот странно, — протянула супруга, капризные губки вытянула, точно флейтистка, и подумала: «Опля-ля! Сами-то вы и есть скот с рогами, каковыми я вас обеспечу с божьей помощью».

— Ничего странного, — рассудил Иван Варфоломеевич. — Добрый конь иного человечка стоит. Вот вы у меня... Ах, какая вы у меня лошадка прыткая! Слов нету, лихо везете, да к тому же еще ездока погоняете!

«Никак, про соболя прознал?—сообразила губернаторша и руки на грудях скрестила жертвенно, обреченно. — Никак, про «государев поминок» намекает?»

Иван Варфоломеевич, словно угадав мысли супругины, оповестил Катерину Андреевну:

— Всё знаю. И после одного дознания...

— Ну что, что?

— После одного дознания я вас еще пуще обожаю, лапочка!

— А я уже сплю...

— Ну и спите на здоровье. Будет гутен морген — будет и еще чего придумать, позатейливей. Лобок-то у вас —эва какой экономический...

И чета Карягиных тоже ко сну отходила.

Кровать широченная, места много, а притулиться супругу вроде бы как и негде; словно на площади городской ощущал себя купец на брачной лежанке, алтаре семейственном.

Наконец, уберложился Нил Гаврилыч, зарылся в простыни с крайчика, засопел, подтыкая под бока постельное полотно чистой голландской выделки, и при этом пенял Фелицитате Даниловне противным голосом:

— Я же вам ишо не в графьях хожу, чтобы спать таково...

— Каково, господи ты боже мой? — раздражилась жена.

— А таково, — вразумлял ее Карягин, — что с одной стороны простынь, и с обратной стороны тоже простынь! Этак-то... и простынешь, матушка моя, от убытку. Можно и одной обойтись!

— Не сквалыжничайте, Нил Гаврилыч. Сие для супружеской благодати Богом назначено, — начала гневаться молодая жена.

— Благо дати? — передразнил муж. — Ну, и нате! — И сердитую фигу под одеялом смастерил.

Фелицитата Даниловна усмехнулась:

— Почто остервенились, Нил Гаврилыч?

— По то самое. Вона, сосед вечером самолично скотину во двор загонял...

— И што же?

— А то, што суседка от той самой благодати снова у бабки Зулихи дите вытравляла, — продемонстрировал купец свою завидную наблюдательность.

— Ох-ох, горе какое! — прошипела Фелицитата Даниловна. — Да мне от вас такого горя в жизнь не предвидится. Премного вам благодарная.

А Карягин — озабоченно:

— Зятёк-то, говорю, нам попался покладистый...

— Правда? — подскочила жена. — Неужто и всам-деле такое счастье привалило? И всё одной Лизыньке?

— Кому же ишо.

Задумалась Фелицитата Даниловна, носик наморщила:

— Покладистый, говорите?

— Ага. Как, значит, покладёшь на лавку, так и лежит себе, посапливает да трещит по-латынскому. Боюсь вот только, как бы капиталы наши не процацаронил. А так — ничего...

— Вот не знала! И вы отмолчались на мои вопросы!

— Ишо узнаете...

Фелицитата Даниловна снова помолчала, поерзала беспокойно, потом спросила робко:

— Не шибко ли Ванечку попортили, Нил Гаврилыч?

— В самый аккуратный раз. Тютелька в тютельку. Главно дело, соболька возвернул. А то вить и не знал уже, с чем к Якобихе идтить на уединенцию, с каковым подарком? Иного прочего подношения она, думаю, и не примет... А теперя дело за

вами осталось, Фелицитата Даниловна, чтобы Лизыньку к свадьбе снарядить, на Успенье и сгрохаем.

— Да што снаряжать-то? Сундуки полны. А вот иному подучить бы не мешало... обхождениям, танцам разным, менуветам...

— Да нашто имьям друг перед дружкой вытанцовывать? Кажись, не журавли какие. Дело простое: по рукам — да в баню.

Фелицитата Даниловна пригубила какое-то тайное словечко (то ли застенчивое, то ли озорное), однако промолчала. «Ну и пущай, — подумала. — Пущай тока Ванечка в дом взойдет. А тама поглядим, чего выйдет».

Толкнула захрапевшего мужа ногою («У, колодина! Лежит тут... бревным бревно!»), потом накинула на плечи розово-пенный пеньюар, пошла на кувшину, охолонулась изюмным кваском из хрустального богемского лафитничка, но от сего только пуще прежнего распалилась ягодицами, сиречь ланитами по нынешним грамматикам, и от того жару толчками сердечными сами собой начали складываться усладительные канты: «Кого, кого я сполюбила, кому я сердце отдала? Через тебя, дружок Ваня, лишилась матери-отца! Пойду я к речке утоплюся, пущай несет меня волна. А деньги — дело наживное, о них и нечего тужить. А любовь-то, Ваня, дело другое, об ней и нужно дорожить...» Лились стишки. Слезы капали.

Долго сидела Фелицитата Даниловна у окошечка — точно сгусток темноты, и никто не знал, как светилась она изнутри...

Так бывает. Ведь сердце без тайности, без стиха — пустая грамота.

15. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. КАК «ТРИ ИВАНА» ВАНЬКУ ВАЛЯЛ

Двадцать Кирюхиных зим в Чалдони отсвистело.

— И што это за месяц такой, а? Када светит, када нет... — тоскливо ронял Кирюха, глядя в крошечное решетчатое оконце рудничной казармы.

— Так, так, — отзывался Северьянка, Кирюхин напарник. — А на кой ляд тебе месяц сдался, дядя? Чего такое умудрил?

Лежали на нарах — выжатые без остатку дневной нормой горной проходки.

— Потемну утечь сподручней, — отвечал Киря.

— Так, так...

— Не такой, паря. Я сурьезно говорю. Сколь терпеть-то? Уж на што собака терпелива, а и та, терпя, нет-нет да и вавкнет. А мы, чай, вовсе не собачьего роду-племени.

— А куды побегиишь, дядя? — придвинулся ближе Северьянка.

— В город соваться неча, тамо каждого утеклого колокольным звоном встречают, — усмехнулся Киря. — А пойду я, Северьянка, вобче по всему белу свету страмствовать. Страдать, стало быть. Главно дело — воля! Мужицкий царь Пугач таково говорил: жалую, мол, вас старым крестом, бородой и волей вечной. Борода у меня имеется — во кака! Крестик под рубахою. Осталось што? Осталось волю добыть. — Прикрыл Кирюха веки, и выдавились из-под них две соленые капелюшки: — В тайгу хочу, Северьян, мочи нет! Тамо меня ни конному, ни пешему не нагнать, ни царевым указом заворотить... В кажное лето утечь собираюсь, да все сумление берет: отработал ли в казну виноватость свою пред государыней императрицей?

Навалилась на Кирюху тоска по былому вольному колобродству, мохнатыми щекочущими лапами сдавила горло. Нет уж, во веки вечные, на сто лет в оба конца жизни не позабыть ему, видно, кедрового царства, напоенного густыми зелеными воздухами; сугревные елани, гожие под добрую пашню; полынные поляны, где на ветру каждая былинка балалайкой притворяется; березовый девешник, невзначай выпорхнувший на светлую лужайку; чернильные пузырьки сладкой таежной ягоды; легкое облачко над головою — одуванчик небесный на незримой ножке, кою жаворонок вытянул под небеса; а в таежные вечера, когда звезды крупные, желтые, пушистые, как цыплятки, когда шкворчит костер и булькает немудрящая похлебка в котелке — в такие вот вечера шибко думается, легкость и светлота ложатся на душу, и человек тогда как бы со всей землей в родстве пребывает, и хочется обогреть и накормить первого встречного или сотворить небывалое чудачество: на луне, скажем, бантик завязать — за красоту её; благолепны зорьки июльские — вечерняя да утренняя, а между ними — и трубочки с табаком-

зеленухой не искурить, до того коротки; еще лунины дочки — звездочки зоревые — не проморгаются, а охотник уже на ногах, сполоснулся, кипяточку похлебал с пропастинкой — вяленным по-тунгусски мясом, глядь — а на сопках уже овальный ломтик ясного солнца возлежит, значит, новый день человечеству губку верхнюю кажет, улыбается: живи, дескать, человек, люби, радуйся такой вольной жизни — против неба на земле; и думается тогда таежнику: придти-то пришел сюды, а зачем — забыл, и вспоминать не буду, нешто я ополчитель какой супротив такой мирности и покоя? Тайга, звездочки, ручей речистый, и ничего не болит, и собака лежит в ногах, улыбается... Что еще надо для ясности душевной и сердечного удовольствия? Господи, да ничего и не надо более, кроме как пожить на земле лето, осень да зиму с весною, а потом можно и помереть радостно и без остатка — как умирают времена года.

...С Северьянкой вскорости приключилась беда: то ли зазевался парень, то ли от усталости голова кругом пошла — качнулся в сторону и левой рукой угодил в барабан подъемника, который пустую породу на-гора выгробал, а зубчатое колесо вмиг смолотило пальцы под самый корешок.

Обер-бергпробирен¹⁰ Ковадло (белый от ярости) допытывался от работника (тоже белого): что да как?

— Кажы, собака, куды кочерыжку свою ликвидировал? — кричал в сердцах Ковадло. — А то не поверю! Запытаю за порчу членов до самой вусмерти!

Северьян показал... О божечки, лучше бы не делал сего! Подъемник продолжал работать, колесо вращалось и охотно прихватило зубьями правую кисть... И стал Северьян куксой, беспалым, значит, на обе руки враз скусился.

— Теперя все понятно, — сказал обер-бергпробирен. — Мотай отседа на-гора. И из казармы то же самое.

До вечера отлеживался Северьянка-Кукса, раны, как собака, зализывал, стенал, лакал, опять же по-собачьи, водку из медного котелка, коей ссудили бедолагу жалостливые казарменные доброты.

А спелой ночью, при полной луне, вышли из казармы и подались «страмствовать» горнозаводские каторжане: Кирюха-

¹⁰ Горный чин IX класса Табели о рангах.

шатун, Васька Пропадуший, Родивон-барыня, Шишига, Кутырка и Кукса. Бережно опекали Куксу товарищи, кои враз сбились до кучи, сватажились без долгого говорения перед лицом наглядного несчастья.

Перед самой околицей напоролись на караульного солдата из инвалидной команды.

— Стой! — кричит. — Кто идет?

— Не дури, — зашипел Кирюха. — Одурел, ли чо ли, гарниза пузатая?

— Не шевелись! Стрелять буду!

— Ну, стреляй!

Солдат почесал затылок:

— А вы того... погодьте малость, господа разбойнички, не разбегитесь... Я счас за ружжом сбегая на квартиру...

— Я те сбегая, крыса магазейная! Видал смертушку? — Кирюха поднес к носу караульщика черный кулак.

С тем и разошлись.

...Ох, нерадивы караульщики на Руси!

Бывало, напутствует государыня императрица фельдмаршалу знаменитому:

— Ты уж гляди там, Гришенька, за интересами росскими, блюди их... пуще глаза.

Потемкин, трезво и решительно блистая единственным оком, наказывал носатому Дерибасу, потомку драчливых испанских гидальго:

— Бди, Осип Михалыч! Кажись, война на носу.

— Ежели на моем носу, значит, долго еще ждать придется!

— отвечал адмирал шутливо, однако устроил форменную штудию спешно вызванному полковнику:

— Бди! В оба!

Полковник, почтительно выслушав «дери беса», в свою очередь порутчику выговаривал, порутчик — капралу, капрал перед солдатским носом кулачищем посемафорил, тюкнул в глаз для пущего внимания:

— Гляди у меня в оба, скотина! Не то шкуру сыму. Понял?

— Точно так, понял! — отвечал солдат и пошел... спать, глубокомысленно рассуждая, что понял — чем мужик бабу донял...

А когда война пинком вышибала нерадивого караульщика из объятий Морфея, — он, не в пример муштрованному пруссаку, закрученному до последнего винтика, еще долгое время глаза продираал, зевал, чесался, пятился, ожидая капральского скорострельного правосудия, потом в оба глаза узревал перед собой чужие мундиры, основательно размахивался — и выигрывал баталию...

Вольному воля, ходячему путь!

Родивон-барыня с Шишигой ударились в варначество, откололись от товарищей наособицу. Кукса с лихоманкой, в беспамятстве, остался в избе одной старой ведьмы-травницы. Кутырка по деревнюшкам промышлял, коней с подворья сводил, чушек да курей подворовывал.

— В чей двор ни приду, — балагурил, — тама три года куры нестись не будут!

А когда краденую корову в валенки обул, чтобы копытами след не показала, тут его и прибили мужики оглоблями за невиданное доселе нахальство.

Кирюха с Васькой Пропадающим еще изрядное время блукали по распадкам и топям, сторонились нахоженных дорог и только глубокой осенью пристали к караулу порубежного бережения, стоявшего на Амуре.

— Кто таков? — спросили Кирюху строгие служилые люди.

— Человек хожалый, куды хошь пожалуй...

— Ну, правь сюды и новости сказывай.

Рады были свежемю человеку караульщики из засечной стражи. А тут сразу — двое! Налили пришлецам братину медовухи-самосидки с чаркой двойного вина, хлеба дали, одеяло на двоих. А на следующее утро — не выгнали взащей. Так и остались Кирюха с Васькой в казачьем станке, каждый получил саблю, пищаль, зелейный припас да харчи казенные. Стужу и нужу, хлеб да соль — всё делили поровну со служилыми людьми, сами себя человеками ощутили, при деле находясь. А дел имелось невпроворот. Казаки-бородачи домовитые, хозяйст-

венные, избы добротные рубили, ловили рыбу, зверя били, скот содержали, барашков разводили на шерсть и мясо, государеву службу исправно несли на закраешке империи; и при этом не шибко лютовали сабли казацкие, приучая туземных князцов к покорству, к почтению российских интересов; впрочем, протокола дипломатического знать не знали.

Доставил как-то нарочный из губернии бумагу с повелением проведать раскольничьи скиты, отвезти туда десяток кулей «немецкава овоща»¹¹, колобками раскатившегося по России со стола всесильного и всеядного Бирона, — и строго проследить, чтобы кержаки, не зрящие из-за бород своих свету Божьего, натыкали сего фруктажа по огородам таежным, вырастили, собрали урожай и трижды в день лопали.

— Кержак ест особо, — чесал затылок атаман. — Из чужой чашки не станет даже райское лакомство вкушать.

Казак, знавшие не понаслышке обычаи раскольников, кои молятся щепотью и живут беспопенно, соглашались: да, хлопотное сие дело — приучать истовых староверов к грешным «мандрагоровым яблокам», скорее удавятся раскольники, пожгут себя с чадами, нежели станут жрать поганый овощ, поскольку ихние дедки, бабки, внучки, жучки да кошки с мышками веками знали что делали, тягая из грядок репку — первейшее на Руси пропитание...

Строптивых кержаков пришлось пороть...

— Ничо, братья-славяне задним умом крепки, — отшучивался атаман после экзекуции и заперся в бане, что с ним бывало в часы недоумения и недуга.

День парился, другой парился, на третий день послы припожаловали — аглицкий и брацкий¹².

— Голова наш нонче в роздыхе пребывает, — поясняли казаки важным гостям. — Ступайте в мыльню, господа хорошие, во-о-на, коло самой реки, по-над бережочком.

¹¹ Так называли в России картофель, к которому администрация Екатерины II силком приобщала население. Княгиня Е. Голицына, кстати, активно боролась против этого новшества, полагая, что распространение картофеля «подрывает русское национальное достоинство».

¹² В XVIII веке «брацкими людьми» называли бурят, приписанных к казачьему сословию еще при Петре 1.

Бурят (безбородый, безусый, с жирной кисточкой, в нарядном халате, обликом — весь баба, возрастом непонятная) первым двинулся к двери банной, поскребся осторожно.

— Кого там ишо несет? — плеснул атаман с полка расслабленным голосом и подивился языку своему разваренному, кой третий день служил хозяину, как собаке в жару, уж и во рту не помещался, а тут, вишь, и говорить еще не отвык.

— Это мы, — тоненько отвечал брацкий посол.

— Кто вы?

— Брацкие, однако.

— А много ли вас?

— Одна.

Распахнулась дверь, на пороге вырос атаман, шайкой срам прикрывая. Пристально посмотрел на бурята и спросил:

— Ето сколь же тебе годов будет, деушка?

— Сколь дашь, дарга!

Атаман фыркнул:

— Ну, ты ето брось жеманство! На скоко ты глянешься, милая, так до стольких годов люди не доживают.

Посол поклонился, учтиво прижав руки к печени:

— Мы жеребец, однако. Пять десятка лет прошел, ума назад пошел. Такое дело. А ты, дарга, маладца. Широка лица, нос пятка. Давай водку пить, однако. Такое дело.

Атаман хлопнул себя по ляжкам, расхохотался:

— Ну, коли вы жеребцы, так милости прошу в помещение, господа депутация, разболокайтесь живенько, без стеснения, веник в бане всем господин.

Полковник Бадма (это был он самый, нерчинский, Кирюха его сразу признал, хотя раньше всё скуластое брацкое воинство казалось на одно лицо) без робости шагнул за порог. Второй посол — жилистый, длинноногий, в лице ни унции жира — помедлил, пошаркал сапогами, набрал в легкие побольше воздуха, зажмурил глаза — и ринулся следом, в белые тугие пары. Вот куда занесло недавнего иркутского визитера, шпиона британской короны Джона Ледьярда!

...Атамана своего казаки заглазно называли «Три Ивана», и он именованию тому не противился, оно от дедов пришло, уважительное имя-отчество.

— Иван Иванов сын и по прозвищу Иванов, — назвался он послам и пристукнул на солдатский манер пяткой по полу, точно копытом припечатал.

Бадма отрапортовался уже с полка, куда угнездился не мешкая и с удовольствием. А англичанин еще долгое время худенькими мосологами вавилоны выписывал, этикетно кланялся, баннным венником, точно шляпой, половицы перед собой подметал, а левой рукой по привычке нашаривал за спиною отсутствующий хвостик обшарпанной тощей шпажонки Адмиралтейского ведомства. «О, — думал при этом, — один Иван должно, два Ивана — можно, но три Ивана вместе — никак невозможно! Скудна натура скифская на выбор даже собственных имен».

Ошибался Джон. Атаман Иванов был мужиком покроя широкого, толковым, сметливым, и фантазию имел подобающую трем поколениям сибирских первоходцев. Ватага, как известно, атаманом крепка, закоперщиком, человеком сильным душою и телом, и ежели Иван Иванович Иванов уже десятое лето верховодил в казацком станке — значит, был из тех, кого не проведут на мякине ни убойное выражение глаз, ни сладкая елейность языка; все разберет, рассудит до тонкостей и по совести, а если надо — вынет безнатурно чужую душу и тотчас определит: то ли прихлопнуть ее, то ли на ладони, побаюкивая, успокоить.

— Ладно, деушки, почнём париться. И ты, Джня, и ты, Бадма... А для почину пригубить надобно. Оно завсегда так: хлопнешь плепорцию, запыхуешь огуречиком — всё! к сражению готовый!

Казаки стороной обходили мыльню, головами качали:

— Сурьезное дело, братцы... Не иначе, война намечается.

— Не, — говорили другие, — «Три Ивана» миром поладит...

День мыслишь, два мыслишь, на третий — похмеляться стали, песни орать, частушки чесать на трех языках народов.

Эх, раз,

да ишо раз,

да расподмахивать горазд!

Кабы чарочка винца...

— О, йес! Винса, винса...

...да два стаканчика пивца,
да на закуску пирожка,
да на потешку деушка...

— О, уэлл! — ревел Джон Ледъярд. — Девка хочу!

Полковник Бадма сидел в кади с водой — только черная голова поплавром снаружи торчала — и икал, закрыв глаза.

— Ваша брацкая милость, — хлопал его по темечку атаман, — хватит раскупываться! Давай орай песню, покеда не осипнешь!

Бадма отвечал — розовый, благодушный:

— Дай наш бох... вашему боху... долго жить... дак и все мы тохда... живы будем, однохо... Такое дело!

— Будем, будем, господин полковник. А чичас мне штой-то грустно сделалось взирать на вас, деушки. — Атаман плеснул ковшик пива на каменку, охнул, потом ухватил под мышки Джоню и, натужась, подпихнул на самый верх полка. — А не вороти носопырку, паря! Шибче вноздряй дух сибирский, не околеешь...

Ледъярд понял: всё! It's end! это конец! С гибкой дипломатией покончено, словесные выкрутасы паром повисли в воздухе, запанибратские же попытки к развязыванию языка, к налаживанию болтливой откровенности и особой забутыльной доверительности не вызвали и уже вряд ли вызовут со стороны «Трех Иванов» какое бы то ни было понимание. Джоню стало предельно ясно: сиволапого «рыцаря» не прошибешь ни тонкостью европейского обращения, ни участием в хоровом козлодрании, ни альбионской стойкостью к винопитию; к тому же, последнее качество, присущее истинным «пенителям морей», на третий день пребывания в русской баньке «почерному» сильно поубавилось и от него оставалась только жалкая, похмельная пугливая отрыжка.

...Еще в первый день, когда вояжир аглицкой масти распутывал с шеи засаленный кружевной воротник и щелкал ногтем по чешуйчатому атамановскому панцирю, громоздившемуся на лавке в предбаннике, — еще тогда Иван сын Иванов подумал: «Щелкай, щелкай...Хоть ты, по всему видать, есть чистоплюй и гогочка, и бабскую жабу на грудях расфуфырил, однако же, думаю, отчаянный ты паря, и не без корысти занесло

твое заморское благородие за тридевять земель. Ну, поглядим, каково ты здесь кожилиться станешь...» Подумал так, а сказал этак:

— Што, глянется сбруя казацкая?

— О, шибко вери гуд! — поднял палец вверх посол в знак особого восхищения.

— Сам знаю, што шибко вери... Это у нас само собой. С такую покрышкою из любой сечи непорубленным высклизнуть мочно, яко рыбка. Одно токмо неудобствие наблюдается.

— Что есть?

— Под доспехом ни хрена не почешешься, паря...

А потом парились зверски березовыми да можжевельными вениками. А потом пили. А потом пели:

Ты ж не плачь, Маруся,

Еду я в Китай...

И «закадычный друг Джоня» пристал к атаману, как тот банный лист: каково судоходство по Амуру, да имеются ли по реке пороги и прочие опасности, да где проложены пешие пути в Китай, на Камчатку, в Индию, да сколь часты купеческие поезды в те края и оттуда? Все-то ему знать потребно.

«А вот шиш тебе!» — подумал казачий начальник и принялся языком лаптить — с немецкой стати да на дурацкий лад, а с оного ладу на свой салтык демонстрировать перед заморянином «скифскую» фантазию:

— Судоходство у нас отменное! Позади баньки как раз тропиночка имеется, в еёном конце — портомойня, а на портомойне — мосточек. Мырай, паря, с етого мосточка — и вымырнешь...

— Китай? — округлял глаза британский гость.

— Не, то будет Турция. Тамо чичас наши казачки турчанам хвосты накручивают. И скажу я тебе, Джоня: до чего же слабый народ, сии султанцы! Под кажинной вшивой пушчонкой оные турки валяются, как чурки. А наши станишники и безголовые — стоят, во как! Да... А Китай, господин посол, в обратной стороне будет. Вымырнешь — разворачивай и гони саженками, саженками, тута тебе и будет...

— Китай?

— Не-е! Я ж говорю, тут тебе будет сплошная Индия. И живут в этой Индии сплошные индейцы, лимоны жрут и на прохиндейском наречии балачки балакают: блюм, блюм, блюм. Точно индюки. Понятно?

— Ноу, ноу.

— А сие означает, любезный мой паря: здорово ли ночь ночевали, казаки? Хотите ли закусить лимоньев? У нас-де ентово товару завались, а што касасемо выпить — так и вовсе не чаркой, но с колен, вприпадочку, потому как речечки у нас такие бурлычут, презельно бражные... И тамо казачки наши не бьются с басурманами, не дерутся, а кто больше съест да выпьет, тот и молодец. В запрошлом годе сотоварищи мои Артамоннй да Онфим состязались с визирями индейскими и умололи по сотне пирогов, и все с творогом. Артамоний бы ишо покушал, да штойто лопнуло на ём. Испужался, не брюхо ли? Ощупался, видит — то ремень с пряжкой треснул...

Потащило атамана по кочкам завиральным!

— Врешь, однако? — шепотом спросил полковник Бадма, вытягивая голову над кадушкою.

— Ага.

— Складно врешь. Молодца. А вот я скажу такое дело...

— Стоппинг! — решительно возразил Джон Ледьярд, и, ощущая за своей спиной всю мощь и надежность британского королевского флота, притопил в воду голову своего коллеги по дипломатической миссии. Уплавил — только пузыри пошли. Приблизительно на десятом пузыре Бадме даровали жизнь и автономию с запретом встречать в диалог двух великих морских держав. Что поделать Бадме? Двое — одному рать. Не много, что двое, а много, что на одного...

— Што касасемо Китая, — продолжал атаман, — чичас отрепортую за милую душу. Допрежь, однако, свою жизнь поведаю. — Иван Иванович растянулся на мокром полу, венчик под голову устроил. — А родился я, братцы мои, под Иркутцом, вырос до сознательных годов, потом несколько времени утекло — и што бы вы подумали? Все с радостью — кого там! — накинулись надо мною любоваться. И откеда только что взялось? И умный я, и пригожества навалом. И была одна дочка генеральская — не девка, одно загляденье! И влюбилась тая дочка в меня, што я такой красавец. Завела в свое генеральское помешшение,

угощает чем мне хочется. А я думаю себе на уме: о-ё-ёй! это дело мне шибко глянется, а што же дальше будет? А тута мне срок поспел в рекруты определяться. Вот и рассуждаю таково: дай, Господи, килу али ишо каку-нибудь хреновину, чтобы в солдаты не взяли. А моя ухажерка услыхала сию божбу и от великого женского сочувствия одним махом брак навела, сиречь уполовником зубы все как есть привела в убыток. И вот начальник воинский приказывает мне: предъяви, дескать, наличность свою на комиссию! Я и предъявил рожу свою. А она изнахрачена до полных невозможностей. Какой из меня солдат? Морду разбили, балалайку поломали, убыток кругом. Покумекал я — и подался...

— В Китай? — перебил Джон, замирая в легавой стойке.

— Не-е, подался я в примаки. И стал я, зачуха, заведывать чужим хозяйством и от той генеральской дочки население умножать. А ихний царь, сиречь батька еёный, отдал мне свою корону, а сам определился в дедушки. И вот на етом сказке конец.

— Какой сарь? — подал голос Бадма; щелочки глаз — из поперек лица вдоль вытянулись, от изумлени.

— Само собой, китайский, — отвечал атаман невозмутимо.

От таковой сентенции голова у Джона Ледьярда пошла кругом. Впрочем, на каком-то одном запредельном вираже пришла мыслишка занятая в голову, однако там ей было очень одиноко, скушно, и она, бедная, покинула «помешшение». Джон, покачиваясь, двинулся к двери, дошел благополучно до ручки — и упал. И только здесь, у прохладного порожка, поймал бегунью за кончик золоченого перышка: «Ничто лучше не говорит о мыслях человека, чем его поступки. Но это неприложимо к хитромудрому тройному Ивану, кой привычен, как русские говорят, ваньку валять и перед своими царями, и перед иноземными. Так что не суйся ты в это дело, Джон Ледьярд, пожалей себя».

«Три Ивана» посочувствовал, помогая послу встать на ноги:

— Ах ты, беда какая, прости Господи! Пьяный, право слово, что мокрый: как высох — так и готов.

— А я ишо не высох. Такое дело, — констатировал Бадма из бочки.

— Молодец. Сиди покеда, отмачивай натуральность, — отвечал атаман брацкому человеку, одновременно усаживая

британца на лавку: — На воде, Джоня, ноги жидки, а на вине, как видишь, и того жижее. Будет лакать-то. Пора нам с тобой, паря, конвенцию сочинять.

По вызову явился в предбанник Прошка Могила, первый грамотей казачьего станка. Устроился на коленях перед лавкой, припасы разложил: справа — сткляница с чернилами, махонькая, слева — фляжка с анисовкой зверской крепости, посередке — чистая бумажка. Заточил перышко, дерябнул стаканчик, промокнул усишки рукавом — порядок, можно начинать.

— Изображай, Могила, чего говорить буду, — приказал атаман.

Казачок поморщился, и тому была весьма основательная причина...

Худо человеку с дрянным прозвищем на людях жить, грустно. От сей тошнотности нередко в озлобину кидает — на сотоварищей, на собак, на доброго мерина, на весь белый свет. Вот, к примеру, Прошка — развеселый парнюга, охочий до песен, до драки, до гулянки, так ведь и до учения — тоже! И рассказчик-баешник великий, искусный врун, коих не так уж и много водится в этом подлунном мире: как станет языком молотить, так его в два обхвата не объять, до того могуч; семерых перед ним посади — всех переверет. А прозвище? Мрачное, холодное, лягушками склизкими шибает... одно слово, Могила.

Или взять Ваську Пропадушего, с кем Кирюха-шатун горнозаводскую каторгу два десятка годов отбрыкал. У того еще хуже: от дурного прозвища у парня, можно сказать, с самого начала жизнь наперекосяк поперла. Задумал Васька жениться, а невеста мялась, мялась да и лягнула, вся в слезах намоченная:

— Вышла б я за тебя, Вася, тока вот... фамильи твоей боюся!

С тем и поставил Васька Пропадуший жирнющий крест на своей яростной любви, махнул на нее рукой, потом, выражаясь высокопарным языком ученых амурских путешественников, «перешел речку Рябоконь» и подался в негодяйство, от коего один шаг до кандалов, два — до плахи, три — до петли.

Прошка Могила, правда, пытался объяснить прозвище урожденной могучестью своей:

— Вот как дам по сусалу одной левой, так и будет могила любому-каждому!

— И я такой же, — присоединился Пропадуший.

Только мало кто верил парням, и это было до слез обидное отношение.

Прошка наконец надумал кое-что изменить, добавить в свое прозвище всего лишь одну буквочку — и мрачность исчезнет, и новое именование заиграет в любых устах — как флюгарка на мачте Магеллановой каравеллы (Прошка написал бы: «коровелы», ибо, не имев возможности лицезреть гульвивые парусники, все же брюхом, сиречь природной гениальностью, ощущал их медлительную, чуть ли не коровью перевалочку на холмах океанских стихий)...

...И вот опять атаман, не подозревая, уколол казачка в самое больное место, да еще при заграничных посланниках!

— ...Сим предписываю, — диктовал Три Ивана, — аглицкому высокому послу Джоне... возврататься обратно, и неча тута лазутничать на вред державе нашей. И поскольку сей Джоня в рассуждении ума зело смыслен, постольку и пущай бегит от опасностей, коих на евоном путе в китайскую страну да на Камчатку не токмо что великое множество имеется, а прямо сказать — до хрена... Пospel, Прошка?

— Пospel, — буркнул казачок.

— Ну, тады крепи гумагу росписью и протчим, што полагается в таких делах.

Чернила и анисовка у Прошки кончились почти одновременно, когда он дописывал последние строчки: «Истребитель женского полу Прошка Могилян к сей гумаге рукоприкладство свершил. Засим писавый кланяюсь».

Провожать Ледьярда до Иркутска вызвался Киря-шатун.

Перед отъездом атаман свершил широкий жест, дабы гость — уж какой ни есть! — уехал с миром, без особой обиды: вынес на крыльцо волчью шубу и, показывая на британские бакенбарды, сказал заботливо:

— Бурды, конешно, косматы, а все ж без шубы в дороге никак невозможно.

Да еще «мандрагоровых яблок» в карман гостю насовал, напутствуя:

— Поезжай, паря, ничо я на ето дело не имею. А царю китайскому я заместо тебя откланяюсь по-средственному, уж возьму такой грех на душу православную.

— Гуд бай! — помахал британец из коляски.

— Бай так бай, можно и вздремнуть, покеда доберешься...

В пути Ледьярд достал из внутреннего кармана камзола дорожный потаенный дневник, перелистал его и отметил с сожалением: если исключить записанные наскоро некоторые труднопереводимые идиоматические выражения, которыми казаки обменивались между собой как тайным паролем, и утилитарное словосочетание «Slavo, Tibe gospodi», — записная книжка оставалась девственно чистой, целомудренной, а за это в Лондоне не похвалят...

Второй же посол, полковник Бадма, в тот день никуда не поехал. Он напился чаю с прошлогодней клюквой, высморкался обильно в рукав, свернулся калачиком на лавке и уснул. И приснилась ему новая жена — четвертая: сидит, шайтанка этакая, на карачках посреди юрты, красивая, толстая, козой пахнущая, — и помешивает черпаком варево в медном казане. Такое дело...

16. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. СПОТЫКАЧКА НА СПОТЫКАЧКЕ

Явился Кирюха в Иркутск — доверчивый, безмятежный, восторженный, как молодой дурачок. На городской заставе он распрощался с послом британским Джоном Ледьярдом, разошлись они в разные стороны.

Англичанин всю дорогу держал зубы на крепком замочке, дабы язык поиметь в сбережении от непредсказуемых путевых ухабов. И прежде чем пускаться в предстоящие словесные поединки с великими, средними и малыми величинами иркутского правительства, Ледьярд отправился размяться в обществе молоденькой вдовой купчихи, с коей имел удовольствие быть накоротке знакомым накануне амурского вояжа. О, женщина! Зяблик. Пичужка. Голубица. Она могла

ворковать лишь до той минуты, покуда страсть не поборала вдовью рассудительность, после чего она всем иным гулькающим словам предпочитала только одно категорическое «again»¹³, добросовестно преподанное британским любовником; она произносила это заморское словечко по-ямщицки зазвонисто: «Эгей!» При сем, правда, не свистела, но тем не менее приводила своего хладнокровного партнера в состояние немалого испуга, смущения, любовного охлаждения — всего помаленьку. О, женщина! Как говорят русские — продувная Бетси! Гриф. Кондор. Дракон. Однако же выбора более не было, иркутский живорыбный рынок — не лондонская Пикадилли, и посему — жизнь продолжалась, джентльмены! Want is the whetstone of wit¹⁴. Так утверждают умные головы за Ла-Маншем.

...Киря-шатун пристроил лошадь у коновязи, потоптался и двинул в ближайшее заведение — чайком брюхо пополоскать, малость размяться с дороги, ибо сиднем насиделся в пути, наширкался задом до горения, хоть прикурувай от того гузна.

Шлепал самотопом по грязным улицам, всем встречным-поперечным кланялся, головой вертухал по сторонам, руками придерживая шапчонку-темягрейку. Многое узнавал Киря в городе, но многому и дивился — двадцать же годов миновало, как покинул его не по своей воле, по злоумыслию Нилки Карягина. Дивился — а все же попервости худо ему показалось в городе: хоть и толкотно, и людно, и гомону много — да человека не видать, все бегут куда-то в заполошности, не поздоровкаются ладом друг с дружкой; ору и гаму предостаточно, а вот никто же не спросил, дескать, ну как ты там, паря, перемогаешься и откудава ты такой взялся? Впрочем, оно и лучше, что не спрашивают. Значит, не признали своего, тутошнего — и слава Богу. Беглому всего опасаться надо... Эх, город. Кнутовища путёвого — и того негде вырезать... Истинно, в лесу Бог деревья не уравнил, в городском народстве — людей, все разные, точно пальцы на руках, поди разберись — кто тут добрый, кто злой, коли у каждого встречного своя забота, свое занятие, и нету единого на всех дела.

¹³ Снова, опять (англ.)

¹⁴ Необходимость — оселок настойчивости (англ.)

—Кажная курица и та фуфырится, — бурчал Кирюха в сердцах, как та старуха из притчи, что тридцать лет на мир сердилась, а мир того и не узнал. — Одно утешеньце — Ангара, речка важная, донышко серебряное. Признает ли во мне своего, да штобы не утопленника, а живого?

В чадном кружале, пропахшем сивухой и луком, Кирю облапили оборванцы, и разминка кончилась тем, что таежный выходец загулял во всю ивановскую на два беспросветных дня, угасивая уйму добрых и милых людей, а очнулся где-то на мрачных задворках: морда побита, в бороде кислая капуста, сапог нету, рубаха в ленточки распластана, лишь печальный кипарисовый крестик, матушкин подарок, чудом уцелел...

Кинулся Кирюха к заставе — и лошади нет! Охнул, взвыл бедняга. Как возвращаться? Чем оправдать себя перед суровыми друзьями-товарищами? Сел Киря на кукарки у коновязи, обхватил отрезвевшую голову руками и заплакал — не горлом, а так, как плачут умирающие кони: одними глазами. Потом встал, выжал усы и бороду от кислой мокроты и решил: «Покеда лошадь не сдобуду — нету мне назад вороту!»

Так и застрял в Иркутске.

Поначалу все осторожничал: а ну как признают в нем беглого каторжника? Однако страхи оказались напрасными, никто в нем Кирю-шатуна, соболятника, соболятникова сына даже и не угадывал. Оно и понятно: уж больно переменился обликом Киря, заматерел, возрастом пять десятков лет отмахал, не шутка, тут кого хочешь вывернет к непризнанию, да к тому же закосмател Киря, забородател не хуже апостола Моисея, пуще раскольников-беспоповцев, а в городе почти все мужики скоблеными до зубов ходят.

Как выведал Киря, батьку с маткой уж давно Бог прибрал, крестный тоже помер, братьев лет двадцать назад вершками измерили, записали в лейб-гвардию и угнали с пруссаками батальничать, живы ли они сейчас, сханули — неведомо.

Родительский домишко — пустой, холодный — медленно и скрипуче умирал. Все, что еще могло согдиться в хозяйстве, прибрали к рукам соседушки, красть в дому было и вовсе нечего — так они печь по кирпичику вынесли, о б е с п е ч л и, стало быть, проживание, мать иху за ногу!

Обосновался Киря за Солдатскую слободкой, на берегу Ангары. Признала, милая, бродягу! Там и сторожка немудрящая сыскалась, в которой когда-то паромщик ютился, — крохотная, слепенькая, с серой соломенной взъерошенной чёлкой; какой-никакой, а все ж таки приют для бездомника.

Обустроился мужик, обзавелся рыбацкой снастью, стал таскать хариусов, ленков да таймешков на продажу. А еще вызнал подходящее и ставшее с тех пор заветным местечко для промысла: омут как омут, тихий, и ни черта в нем не водилось, окромя пудовых сомов, кои нарасхват шли на живорыбном рынке, удобопроходимом в летнюю жару только для тех, кто напрочь нюх потерял, да еще для местного палача. Ходил в ту пору по торжищу тюремный кат — заплечных дел великий мастер. Ходил и попрошайничал, дань с воза собирал — себе и семейству своему на жизнь. А от него шарахались. И таковое поведение было убыточно для его живота и печально для сердца.

— И куды же вы все бегите? — взывал он к разуму торгашей. — Эх, товаришши... И у меня, чай, работенка чижолая... Всё на воздухе, да всё с людьми...

— Тамбовский волк тебе товарищ, — отвечали ему и крестились. — Пропади ты пропадом, державного порядку подвизатель!

— А што? Я подвяжу. К дыбе-то, а? — щурился кат и облизывал прокисшие губы. — Ладно, живите, покудова на цугундер¹⁵ не попали. А попадете — не пеняйте, уж тамочки я сполна вам отблагодарствую. — И взмахивал рукой, точно кнутиком подгонял свою страшную фразу и глаз убойное выражение.

Рыбалке Киря отдавал все свое время, всего себя без остатка, удивляя тем даже самых прожженных рыбащей.

— Женится — охолонется, — усмехались они.

— Не, мужики, — отвечал Киря. — Ни за какие коврижки. Доброго хариуса на жену менять? Да вы што? Никада! Баба вить што такое? Хоть и завлекательное вещество, и склизкое, и вихлястое, а того... плавать не может, клевать — тем паче. Не, уж лутче я в вечном муштинстве пребывать буду.

¹⁵ От нем. zu hundert! — к сотне ударов. В просторечии: на расправу.

— Не турухти, Киря. Клевать-то оне, курвищи, как раз и гораздые на любую наживу. Уж мы-то знаем...

— Так об чем спор? — ухмылялся Кирюха-шатун.

За времечко светлое, между двух зорь, Киря успевал наворочать гору дел рыбацких, торговых, да по домашности в срок оборачивался — то постирушки какие, то постряпушки нехитрые. Круть, верть — а к вечеру, глядишь, и впрямь делов управлено, что гора Синайская. Дни мелькали, будто само время поднатужилось, чтобы приблизить мужика к тому заповедному часу, когда заседлает он и поведет в поводу купленного на свои кровные денежки красавца-коня. Скажем, Чалого. Или Игреньку — светло-рыжего, стало быть, коника. В коротких снах являлись к Кирюхе попеременно и Буланки, и Звездочки — лошадки любезные, ухоженные, с бархатистыми чуткими губами, с глазами добрыми, понимающими. И все, конечно, с именами. Понятное дело: корова без клички — не корова, просто говядина. А уж лошадь без имени и подавно.

Силенок у Кири хватало, хоть и вступил он в последнюю жизненную пору, в возраст осени человеческой. Чем держался? А породой своей, наверняка! А еще — вот чем.

Двести лет назад, читатель, спорта в том виде, в каком он существует сейчас, не было. Правда, было другое: бились на кулачках, стенка на стенку; джигитовали на незаседланных норовистых жеребцах; из ружей и луков стреляли — целкость глаза, твердость руки на спор выверяли; зимой по жизненной нужде становились на лыжи; летом тягали сети, плоты сплавляли, на лодках-дощаниках весельшками помахивали, парусными веревками мозоли волдыристые натирали; крепко парились в баньке, чередуя огнедышащий поток с ледяной прорубью, с пышным сугробом; да игрища всевозможные ненастоящие — лапта, городки, непрременные «бабки» на пасхальной неделе; а спорта... нет, такового не было.

Летними вечерами, ухайдакавшись за день, любил Киря на бережку распоясаться. Место для такого отдохновения с костерком облюбовал поблизости от своего домика — там, где Ида с Ангарой сливалась, и сторонние берега стягивал канат, по которому скользил, будто пряжка на ремешке, вертлявый

паромчик. Дымились угольки, булькало варево в казанке, из каждого пузырька вкусный парок вылетучивался, норки носовые щекотал; ах, славно! — и душа воспаряла. Наповадилса к тому огоньку паромщиков сынок бегать — Сёмушка, босой, вихрястый, в каламянковых штанишонках-поддергушках. Умостится заднююхой на расположенный Кирюхин зипун, замрет сусликом, глазенки выкатит — и не мигнет, слушая мужиковские завирулины и побаски.

— Вот стоит деревище, — сказывал Киря страшным сказочным голосом. — А в том деревище и сусло, и масло, и смерть недалечко. Что за деревище этакое?

— Ей-божечки, не знаю, дяденька, — шептал оголец.

— Сие кабак, — вздыхал Киря. — Чертово заведение! И не надобно тебе, сынок, с таковыми деревищами знаться. Маленький ишо. Да и наперед — то ж самое. А вот послухай другую загадаюку. Внушай! Взят от земли, якоже Адам...

— Адам, — одними губами вторил Семушка.

— Ввержен в пещь огненную, яко три отрока. Взят от пещи и возложен на колесницу, яко пророк Илия...

— Илия...

— Везен бысть на торжище, якоже Иосиф. Ставлен на лобное место и биен по башке, якоже Иисус... Соображаешь, сынок?

Семушка икнул и помотал головенкой, дескать, давай дальше, дяденька, покеда ишо не дотумкал.

— Ну, дальше... Возопи от того биения велиим гласом, и на глас евоный прииде некая женка, якоже Марья Магдалина, и, купивши его за медну денежку, притартала домой. Но сей предмет в одночасье расплакался по своей матке, умре, а косточки евоные и доньине лежат непогребены. Что еси?

Семушка заикал пуще прежнего — и вдруг ударился в жалостливый и безутешный плач по сему непогребенному предмету.

— Да не реви ты, дурашка, — спохватился Киря.— Сие горшок был глиняный. А ты по нём вона каку панихиду закатил!

— То не я закатил, — икнул мальчонка, размазывая соплюшки по щекам. — То вы сами, дяденька. Нашто было столь долго про обнаковенный горшок гүторить? Илия, Ёсиф, Марья, Мандалина... Кто такая, ничо не знаю...

— А то была девка блудная, грешница, — отвечал Киря с виноватостью, чувствуя, будто сам наблудить удосужился. — Опосля рождества Христова в святые определилась и покаялась за то, што бабьему хвосту не давала посту.

— Ето как? — насторожился Семушка.

— Не какай, сынок. Тебе и сего знать непотребно. Опять ты ишо маленький выходишь...

...Через год Киря скопил денег на покупку лошади; тугой кожаный мешочек с серебром и медью да свернутый в толстый свиток «длинный рупь», склеенный в ленту из ассигнаций, краешек к краешку, для пущей сохранности; коли понадобится бумажная денежка — отстригни ровненько и — на, пожалуйста, господин купец, за красный товарец!

Торговались долго, поначалу все ласково, потом нехорошо ругались, расходились и, покружив, встречались будто незнакомые и начинали базарить по новому кругу, «со свежих серцов».

— Видно, нерысисто лошадка, — говорил Киря, ощупывая лошацьи пахи.

— Да зато без спотыкачки, — отвечал продавец.

— С ленцою...

— Да зато с тягою!

— Кляча пеганька... — притворно хмурился Киря. — Одно возмутительство.

— Зато чистый иноходец, — не уступал торгаш.

— Ладно. Виноходец так Виноходец. Видать, судьба моя, — согласился наконец Киря.

Кабацкое имечко вызвало в нем сострадание, порешившее исход дела. Распочали косушку, обмыли куплю-продажу, как полагается по базарному обыкновению. И закружилась у Кири голова — то ли водочная отвычка сказалась, то ли еще какая слабость на него накатила.

— Ну, — сказал он во всеуслышание, прилаживаясь к молодецкому прыжку на лошадиную спину, — помогай, святые угодники! — И таким несоразмерно лихим манером взлетел, что перекинулся через Виноходца на другую сторону и хопнулся наземь.

Конь смолчал, базар заржал.

— Хо-о-ох! Каково помогли святые угоднички!

— Да уж, подмогли... Тьфу, помощнички! — сплюнул Киря, почесывая пришибленный зад и ругая при этом небесных заступников. — Помогать-то помогайте, да уж не все разом! А то вить вона какая конфузил приключается...

В этот же день сторговал Киря легкую повозочку, седёлку, недоуздок, два хомута купил, манерку дегтя, сбрую наборную, фасонистую; не квас дорог, как говорят в народе, дорога изюминка в квасу; так и сбруя к коню. Но и это было еще не все.

Задумал Киря держать извоз, чтобы заколотить приличную деньгу на обратную зимнюю дорогу, на надежные раскатистые сани, на припасы, на подарки товарищам из казачьего станка. А для держания извоза в городе требовалось ни много ни мало: патент.

Долгонько Киря обшелушивал бы пороги по иркутским царствам-канцелярствам, если бы одна толковая головушка не присоветовала с пониманием жизни:

— Вишь, сиволапый, вон тама стрекулист сидит, гумаги пишет? Вот и сунь ему в лапу денежку. За гуманизм.

(О, *humanitas*! Ты ли это, с легкой руки Салютати — друга Боккаччо и Петрарки — произведенный от слова «человек», вошедший в науку и литературу, давший имя целой эпохе? И надо бы еще посомневаться, кто пустил неологизм раньше: немецкий профессор Георг Фогт, оставивший в корне латинского слова человеческое начало, или российская чернильная пиявка, соединившая гуманизм с гербовой «гумагой»...)

Послушался Киря совета — и уже через пару дней принял как коневладелец за легковой извоз.

Медные позвонки-колокольцы под расписной дугой брякали весело, мирно, сытно и беззаботно — точно чайные ложечки в стакане. «Хорошо! — думал извозчик. — А что медь, так то всем известная цена. Медь дороже серебра, особливо нерчинского. Серебро — чертово ребро, а медь Богу служит, царю честь воздает, и простому люду то же самое... Вези, брат Виноходец! Передние колесья вывози, а задние, чай, сами покотятся. Не буду тебя, конек, напонуживать. Всё сам понимаешь».

...Хоть и пообтёрхался Киря в городе, принял, обывк, приладился как мог к его суматошному норову, к дурной

беспечальности, что воровства хуже, — а все равно жил крадучись, с постоянной оглядкой: «А ну, как признают каторжного, с рудников утекло, да на правез потянут?» Такие мысли заставляли его держаться в тенечке, шибко не высовываться. Чуюло ретивое: что-то должно случиться, а что именно — не сказывало.

Так оно и вышло.

17. УРОКИ ИГРЫ ПО-КРУПНОМУ

Когда Ванечка Почекушин на свет появился, его запеленали по обычаю в отцову чистую рубаху (чтоб родитель признал да возлюбил) и на косматый тулуп поклали (чтоб богат был и удачлив парнишка в будущей жизни).

— Вот так бы наш Ванюшка подпрыгивал! — кричали на крестинах, плеская вино в потолок.

А матушка прижимала младенчика к левой груди — и всего боялась: грубых мужниных ладоней, пьяного шумства, от коего молоко пропадало; но пуще всего боялась времени — настоящего и будущего, в котором станет жить ее долгожданное дитяtko, в муках рожаемое.

Мать — она и есть мать во всех ее тридцати трех ипостасях, а может, и того поболее. Всем она была для Ванечки: и родильницей, и кормилицей, и защитницей первой, самой надежной, и нянькой-встанькой полуночной и даже баушкой-забавушкой. Матушка зыбку колыбала, песни баюльные выпевала, придумки плела да сказки сказывала... «Вот, мол, очухался Иванушко от зелья питого, сял на жопку, сердешный, и таково молвит: ох, грит, долго я почивал, да и проспал тую лебедушку, что махала мне крылышком...» Слушал мальчонка — и надолго поверил, что во всех сказках со счастливым и не очень счастливым концом о нем самом речь шла...

И вот теперь Иван Савельич Почекушин, пищик ревизского повытья при Иркутском городском магистрате и генерал-губернаторский любимчик уткнулся лицом в материн подол, пахнувший мятой и богородичной травкой, ревел, точно маленький, и слова утешные выслушивал.

— А не водись ты с имя, с купцами-то, — говорила маменька. — Злющие оне, недобрые. Вон, люди кабацкие, уж на

что шмоль-голь перекатная, а и те до чужого горя отзывчивы, своими бедами под само горлышко полны, потому и к сторонней беде сердцем поворачиваются. А эти, которые толстосумные, без никакой жали проживают. Ни стыдобушки, ни совести имя господь Бог не довесил от рождения. А жить-то рази можно так скудно — без стыда и без совести? Не, Ванечка, не можно. Без них лица своо и в два века не износишь — что тут хорошего?

Поскуливал пищик щенком обиженным:

— Вот и я говорю: бьют да ишо реветь не дают. Каково перенести оное измывательство, мутер?

И такая горькая обида вдруг накатила — за нечаянную конфузию в карягинском доме, что в пору самому у себя язык перекусить.

«Всё! — думал Ванечка. — Хрустнул мой чиновный карьер на полном ходу! Обсмеют сослуживцы, заклюют начальники, не дадут пути к олимпам по причине столь поносной... У-у-у! Вот взять бы... колун! Да оглоушить Карягина! Пущай знает! Пущай не творит малосмысленной аттестации над казенным человеком! А опосля и самолично в Ангаре потопну... и шляпу евоную новую тоже утоплю... А лучше всего — так это дуэль! Вот как достану дуельный «лепаж», да как отойду на десять шагов, да как разбегуся...»

А что за сим последует — пищик не стал додумывать, пожалел маменьку, вообразив, как она будет убиваться над его холодным телом. Например, так: лежит себе Ванечка в гробу с глазетовыми кистями ко пятнадцати копеек штука; лежит — навроде как притворившись, и одним глазом прищуренным подсматривает за похоронным великолепием: вон плетется за горестной подводой исключительно в полном составе всё ревизское повытье, колонной марширует, со строгими грустными мордами, и столоначальник-обезьян с ними, и... Фелицитата, между протчим, Даниловна с генерал-губернаторихой тут же, промокают глаза и носики кружевными брюссельскими платочками... А он, Ванечка, Иван Савельевич незабвенный, все лежит себе, знай поглядывает (вроде как не до конца помер, а понарошке) и ухмыляется не без торжества посюстороннего, ишо земного: «Ага, дождалися! Эх, люди, люди, немыслимые вы персоны и сволочи! Какого первостатейного кавалера угробили! Ну, так, значит, нам всем и надо! Почто утеснения Почекушину

строили? Почто гусенка аннулировали? Почто палкой неструганой драньё учиняли? Почто на пиве жадничали? Ага! То-то. Теперя хныкайте не хныкайте — все равно не встану!»

Взвыл в полный голос пищик от такой фантазии, себя жалеючи. А мать погладила его по мальчишески застенчивому ежику натуральных волос — и чай пить позвала:

— Айда, сынок. Не реви. Я тебе на лавке подушку поклала. Чай, заднюю-то познабливат? Дак я счас маслицем помажу, оно и полегшает, а?

— Ничо, мутер, оттерплюся. А маслице нонсенс будет... Потому как сперва занозы надо выколупывать...

В крохотной горнице, обставленной с опрятной бедностью, папенька на сон грядущий листал самоновейшую книжицу с занятным названием «Нравоучительная философия, содержащая естественное право, этику, политику, экономию и другие вещи, для знания нужные и полезные». Находился он в легком подпитии, точнее в недопитии, и был посему со смеркающим лицом, небрит и нечесан.

Взглянул на сына поверх очешника и спросил хмуро:

— Почто губы-то распустил, Ванька?

— В печалях великих пребываю, папаша. А все из-за вас, из-за той нещасной цидулки.

— А ну-кась, дыхни!

— Дых тут ни при чем.

— Ну и ладно. Слухай тада, чего на Москве сочинители сочиняют... Невоздержания вид есть пьянствие, кое со справедливостию можно назвать невоздержанием в употреблении такого пития, от коего в голове делается замешательство, и человек становится неспособным для исправления должности... Внимай, Ванька, сей велемудрости философической...

— А оно мне надо? Меня таковые регламенты не касаемы, — перебил отца Ванечка, умащиваясь за столом и примеряясь к разварной картохе — фруктажу редкостному¹⁶, кой матушка по весне в огороδικе натыкала, поколдовала,

¹⁶ Среди нововведений второй половины XVIII века — прежде неведомые в российских домах самовары, первые на наших полях подсолнухи и картофель.

поколупалась с тяткою, и вот они, в чашке дымятся, молоденькие, гладкие, как воробьиные яички.

— Ты слухай, — продолжал отец, — наперед пригодится, в возмужалости... Пьянствие человека разума лишает и в скота обращает. Да и самих скотов пречасто пьяный человек бывает хуже и беднее, потому что чувства лишается... — Папенька воздел указательный палец и губами причмокнул: — Ишь ты, дело-то какое! Будто про меня, говорю, написано! Кажись, на самой Москве обо мне дозналися. А откеда?

— Ужась, ужась какая, — заплакала маменька. — Я ли вас, Савелий Петрович, от напастей, от сору не хоронила?

— Не реви, дура. Поздно уже реветь. Лутче сготовь мне каку-нето закусь на зубок, покуда я вас дале просвещать буду, да живенько.

Жена скользнула в сенцы, огурчиков малосольных вынесла в миске, на столешник метнула. А Савелий Петрович тянул свое дрожащим голосом:

— Пьяный человек, лишившись правого разума, по слепому устремлению бежит на всякие непристойные, беззаконные и ненавистные дела. Кроме того, когда он вытверёзывается, душа от стыда и раскаивания таково смущается, что едва надеется паки придти от отчаяния в надежду, от смутного состояния — в спокойствие... — Отец большим пальцем смахнул с усов набежавшую из глаз мокроту. — Все верно, мадам твою мать! Все! Кажись, и мне переселяться срок подкатил... Хана мне, Ваня!

— На кого спокладаешь, кормилец?! — взвыла матушка.

Савелий Петрович в подхват всхлипнул и продолжил дребезжаще:

— Покуда я ишо не в Оксфорде, слухайте... Сколь худого пьянствие делает душе, телу, славе и пожиткам, столь пользы и выгоды можно получить от трезвости, коя есть ничто иное, как добродетель... О-о-ох, не могу-у-у! Душа вылазит... Игде у нас тама... а, мать? Поскреби-ка по сусекам. На посошок.

— Потерпели бы, — заикнулась было испуганная маменька.

— Невозможное дело. Ты вить знаешь: для меня каждый раз винное искушение перетерпливать — все одно что с медведем бороться... Нет, не могу-с! И прости гы меня, мадам

твою мать, за ушлое, да и напредки то же самое... Неси запасной фондик, женчина!

Когда папенька выдул полштофика, отсморкался, откашлялся, тогда, как обычно водилось, принялся Ванечку вразумлять.

— Одного мы с тобой замесу, сынка, — говорил Савелий Петрович. — Токмо ты попрыжее меня, половчее будешь.

— Не, папаша, невезучий я, — уныло отвечал Ванечка, а сердце так и захлюпало, на последнем остатнем нерве закачалось.

— Повезет ишо, не хлюзди, Ваня! Не трусись!

— Ну, пущай повезет, А куды ж вывезет?

— Куды надо. Эх, сынок! Умный бы ты был парнишка, кабы не дурак. Ето ж надо придумать: куды вывезет? Не от образованности ли головку свою нарушил?

— Опять забираете! — Ванечка даже картоху не стал есть от такой папенькиной манифестации,

— Да ты ешь. Ешь и не ерепенься. Не один ты такой. На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено, косяк непочатый, тока раскиданный по окраинам, в одном месте не содержится. А вот для пользы дела взясьи бы этих всех дураков да в одно поголовье и сбить, да ишо пастуха к имя приспособить, с кнута-вищем...

— И что же будет? — Ванечка перестал нажевывать.

—Тое самое, сынок, што в тесноте-то люди умнее делаются, дружнее живут. А на простор выйдут — волками оборачиваются, — сказал Савелий Петрович, а сам трынку пальцами в трубочку закатывает, ясное дело, опять в расстройство погрузился. — И вот подумкиваю, сынок: ну, ладно, я переселюся из сей местности с глупым населением, а каково станется тебе и матушке? Оглодышами околеете? Али прогорюете маненько да на бесхлебицу и пойдете по миру?

— Я, папенька, опосля вас добытчиком буду, не сумлевайтесь.

— Э, Ванька, я есть последняя букваца в азбуке.

— Зато аз первая, — возразил Ванечка в запальчивости.

— Вот и говори: се аз, многогрешный, худой, недостойный...

А говоря сие, поспешай на добычливую тропку попервей других выскочить. Поспешать, Ваня, завсегда надобно! Покуда молодо

— ишо жидко, када старо — уже круто тесто, а середовая пора всего-то одним днем стоит - держится, оглянуться не успеешь — переселяться надо. Вот как мне...

— Да вы ишо в наших местностях поживите, папенька! Тока выпивать помене да не драться...

— Выпивать — оно, конечно, трипогибельное дело, об душе пещись не дозволяет. А душа единственна. И покеда она ишо не переселилась, желательно употребить ее на тое дело, кое не меньше самой души ценится, не разбазарить, значит, по суетам, в трактирах не прображничать. Однако же и такого параграфу нету — штоб совсем себя не удовольствовать! В солдатстве таково говорят: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Ешь солоно, пей кисло, помрешь — не сгниешь...

Савелий Петрович облизнул пересохшие губы, плеснул себе полный стакан, а сыну — на донышко.

— Глотни, не бойсь... Ты-то молод ишо, в Саксониях не бывал, у заморян не гащивал. А мне довелось. Я в твои лета уже маливался оным образам — косушкам да полуштофикам. В солдатчине приучился, када ходили прусского Фридриха и принца Голощинского¹⁷ догубливать. Бывалоче, состроим в тайности четверть под полой, и стоит тая четверть — будто церквя, а коло нее — полурота стаканчиков малиновую звень вызвенивает. Жахнешь от устатку, от окаянства — ажно в потягушки кидает сладостные! А опосля оных потягушек — сызнава начинается: не пыли, пехота, знай службу, солдат, в две шинки становись, ать-два, шагом арш, равняй ранжиру да в дуло поплевай... И таково-то душу изнахратишь под казенной ляжкой, Ваня! И жисть не в радость, и пришибить тебя некому. А тут в самый секунд капрал возникают, чуткость к тебе проявляют: давай, грит, пришибить подмогну! — и примериваются, в како бы ухо посурьезней вдарить. Вот и скажешь ему за науку, за тую оплеушину: спасибочки, мол. А капрал этак важнецки: спасибо-то, служивый, в стакан не нальешь, да и многовато твою спасибо будет, не по-нашенскому чину, а вот ежели стопочку- другую — дак ето дело в самый раз. Ну, понятно,

¹⁷ Принц Голштинский, союзник Фридриха II в Семилетней войне 1756—1762 годов

утащиваются господин капрал, солдатскую личность в цельности оставляют, для прусацкого штыка и пули сохраняют в наличии. А кака цельность могёт быть, сынок, коли вся душа трещинами пошла? И ночьюми европейскими голос блазнится с иркуцкой стороны, от родителей: милой, родный ты наш Савушка, ворочайся назад с немецкава окияну, на хрена он тебе сдался? у нас, мол, нонче крыша без тебя вся завалилась, а ржаную муку базарят по восемь копейчек за пуд, а пшенишную дак и вовсе по двадцати, а игде их взятьси, теи копейчки? возвертайся, Савка, за ради Христа, нашто тебе окияны да окаянство заморское...

Савелий Петрович прослезился. В последнее время его частенько закидывало в воспоминания, а воспоминания без слезы — разве это память?.. Докончил Савелий Петрович свою зеленую «церкву», раскис, однако мысли не потерял. А мысль его порхала все в том же далеке — в прошлой молодости, и оттуда весточку подавала, легким крылом помахивала.

— А состоял я, Ванька, пищиком при полевой куфне. Тая куфня удовольствовала жратвою полковых верблидей, кои таскали на загорбках наши пушки и протчую амуницию. И заведывал я сметами да реестрами на прожор тех уродин астраханских, составлял ежедень, складно говоря, блюда для верблюда. Дело не шибко хлопотное, чиркай себе: сено, солома да веники, до которых горбуны были особливо охочие. Тут главный фокус вот в чем состоял, Ваня: все эти веники да солома лишь на провиантских бумагах изображались, а всамделе — што? А всамделе тащили из армейских магазинов иное едово: вустрицы и говяжинку парную, окорока провесные, сыры галанские «со слезой», разные финики и прочие антуражности. Даже венгерское вино — ящичками! Поглядишь этак — едва омороком не шибанет: и до чего ж лакомки, оные вышеупомянутые насекомые, — спасу нет! Но мы, Ваня, в оморок не выпадали, нет! Деликатных закусок те горбуны и нюхом своим зверским не нюхали, потому как харчились от верблидиного корыта не токмо што мелкая сошка, навроде меня, но и те, кто чином погуще, ихние благородия и высокие превосходительства. Так и велось: финики—людям, веники—верблюдям, и от такого живописного навару у многих служивых людишек морды лоснились, и шшоки выступали навроде коленок. У меня тож. Ну, ладно. Опять же, в прусской канпании дело было, с середины на

четверток, как помню. Прискакало на позиции начальство с такими титлами, што и не выговоришь. А надобно сказать, сынок, што генеральство первым делом любит пробы сымать из солдатского котла. Да и не тока генеральство. Кашевары тащут пробу ундерам, ундера — ротному командеру, ротный — баталионному, а оттеда котелок пошагал дальше, к полковому, дивизионному, а то и к корпусному начальству. И вот покедова, значит, марширует каша по таковой дистанции — так до того обрстет маслицем, разными тому подобными вилками, маринатами, соусами, — што на высокий-то стол явится уже каша не каша, а сплошной щеколат с мармелатусом и протчая манность небесная. А тую манность, понятное дело, на верблидей отписывали. А верблидям сей фокус и невдомек! Смекаешь ли, Ванька, какое корыто скуснейшее для военных чинов?

Смекал ли младший Почекушин? Наивный вопрос. Еще как смекал! Не хуже матушкиных сказок помнил Ванечка стародавние отцовские истории времен прусской войны.

...Итак, приспичило фельдмаршалскому флигель-адъютанту, посетившему войско, поинтересоваться позиционной кормежкой, пробу котлового довольствия сиять.

Корпусной генерал мигнул дивизионному, тот — полковому, и пошло-поехало мигание по дистанции, покуда до кашевара не докатилось; а обратным путем двинулся судок серебряный.

— Дюжину устриц, пожалуйста! — склонился к высокому гостю корпусной генерал, а дивизионный тотчас пукнул пробочкой французского шипучего вина.

— Я привык к вегетарианскому столу, — печально сказал по-французски флигель-адъютант и лукавым пальчиком погрозил корпусному: — Гурман, гурман!!

Корпусной приосанился: что, дескать, удивительного? у меня в корпусе каждая вошь обозная сии деликатесы лопает и Бога возблагодаряет за здравие отцов-командиров.

Явили кашевара полкового.

— Молодец! — сказал флигель-адъютант. — Хвалю!

Солдат истуканно молчал, глаза безумные тарасил, усы тож.

— Молодец, говорю,— повторил высокий гость.— Ты что, язык проглотил?

Кашевар онемел окончательно, безнадежно, и только зубы привычно выстукивали: та-та-та, та-та-та...

— Я тебе говорю, скотина: мо-ло-дец, — озлился фельд-маршальский наперсник, сиятельный милостник. — Что же ты обязан отвечать по уставу?

«Та-та-та...»

Взвился флигель-адъютант, да все по-русски:

— Недотепа, колоброд, баламут, куролес, плутень, бузотер, оглоед, шушера, вольтерьянец! Устава не знаешь! Я т-тебе покажу, как шельмовство творить! Под арест его, собаку! Goujat! Gredin!¹⁸

Едва успокоился, а потом затараторил не по-русски, да так стрекотно, что армейское начальство едва успевало смысл сказанного понимать, только и разобрали: мол, хлебом его не корми, а дай только отведать корму вегетарьянского, да попроще, без аристократических излишеств, поскромнее — чем «серая скотинка» питается.

Охмурили генералы («Шабаш, соколики, доигрались! Никак, ревизия до верблюжьего корыта нагрязнула!»), заперемигивались генералы («На что намекает флигель-адъютант? На что намекает? Вегетарианец, твою мать...»), сызнава засемафорили своими бровями, подбородками и другими мигалками («Что подать? Что подать-то? Как людям? Или как верблюдам?»).

И вот уж серебряное ведерко с крышкой плывет обратным порядком, из рук в руки.

— Позвольте рекомендовать, — произнес корпусной, крышечку откинул. — Bon appetit!¹⁹— И обомлел: в ведерке покоился сухой березовый веник, реквизированный из скотского пайка.

Что тут случилось!

¹⁸ Хам! Негодяй! (франц.)

¹⁹ Приятного аппетита! (франц.)

Притащили провиантского пищика Почекушина. Выпрямился он — да и застыл дуриком, на деревянных ногах. А флигель-адъютант тычет ему в рыло веником и аттестует:

— Gate-sauce... gargote... gadoue...²⁰

Осмелел вдруг Почекушин, подобрался пружинистой и ляпнул по уставу — громко, четко, решительно, с великой радостью пожирая глазами высокое начальство:

— Виноват, ваш-при-вос-тво! К людскому языку приучен! А штоб по-вашему — не разумею!

Словно из ведра холодной водой окатило разбушевавшегося флигель-адъютанта: затих и, точно окунь на песке, губами начал кругляши строить — то ли воздуху ему мало, то ли воды много. А корпусной генерал тут как тут.

— Позвольте, — говорит, — ваше сиятельство, я этой серой скотине вашу речь перетолмачу, а заодно и растолкую, что такое есть сымание котловой пробы и что такое есть gadoue?

Блестящий гость лишь махнул рукою в перчатке.

— Скажи-ка, солдатик, — спрашивает корпусной, — вот ты в сортир ходишь, так сымает ли штаны?

— Иногда сымает.

Застонали генералы:

— Ты что, служивый, спятил?

— А што? Рази заметно? — изумился Почекушин.

— О господи! Скотина какая...

Потом ундера выхлестали пищику зубы, а высокие начальники между тем изволили по позициям прогуливаться.

Да на ту пору обозники вывели и верблюдов промять...

—...а карахтер, Ванька, у тех верблидей препаршивый и ужасно дерганый, как у девиц на выданье, — заканчивал старший Почекушин свое печальное повествование. — Чуть што им не по нутру, сразу без предупреждений фыркают и плюются. И вот, значит, одна самая нервная верблидина по причине, што еёные веники покрали, али по причине иной реквизиции, али ишо што выиграло, — только она возьми да и фукни шматок слюней в самую середку золоченой толпы. Так и залепила плевком весь

²⁰ Плохой повар... харчевня... навоз... (франц.)

фасад тому флигелю! Тут надо бы от смеху давиться, а все, наоборот, от страха давятся. Да! Флигель пясткой вытрал сопатку, палец с харкотиной выставил попереди себя на вытянутой руке и пошел, и пошел, как Христос по воде, и понес сей оконфуженный палец, точно свечку, а сам глядит на него, глаз не отрывает, в лице ни кровинки, и шепчет таково: я, грит, шибко тронутый вашим таким приемом, шибко тронутый... Спятил, стало быть. А может, и не до конца тронулся, так то не наша печаль-забота, не след и рассусоливать. И ежли опосля кто спрашивал меня: кого ето, мол, верблидина таково угостила? — я достойно присяге и уставу отвечивал: кого надо, того и оплевали, а ты, мил-человек, не совай нос, куда не следует...

Странное дело: сколько раз Ванечка слышал от отца эту баечку из времен прусской кампании — всегда хохотал до икоты и приговаривал: «Не совай! Не совай!»; а вот на сей раз смолчал, выудив из рассказа иной смысл, иную изюмину...

— Почто ж вы, папенька, дальше пищика в службе не продвинулись? — спросил Ванечка.

— А дурак был, — просто ответил Савелий Петрович, — навроде тебя нонешнего. Сидел при деле, а дачу покласть в нужный карман — не сообразил. Опять же, в молодые лета мы всё больше одним деньком жили, наперед ни хрена не видели, водочкой баловались, а водочка... сия злодейка, Ваня, ни ума, ни веселости не дает, остатний разум и здравие отымает. То ж самое и в книгах написано.

— Руси есть веселие пити, не мочно без него быти, — возразил Ванечка. — Таково ишо великий князь Владимир Красно Солнышко наставлял соотчичей, а сие было попервее нонешних книжек.

— Вранье. Затмение на тое солнышко накатило. Не иначе, как на похмельной лавке тья слова были сказаны, и веры им нетути, вздор один, обманство для публики и поганство для души. То ж самое — и картишки, коими ты, Ванька, балуешься. Дрянцо не лутче винца, пропади они пропадом...

— Вона как, — пробубнил Ванечка. — Это вы, папаша, чичас раздухарились, а в запрошлом-то годе таково не говорили.

— Не говорил, дак значит думал, слова подбирал. А вот теперя сказываю: коли натура твоя игроцкая — играй, Бог с тобой. Но — в иной картёж. В пять тузов! Понял?

— Это как, папенька?

— Не гоношись, чичас всё растолкую. А допрежь всего повторю; кто в пять тузыриков играет — проиграть не проиграет, но фарт беспременный привалит, будь ты хошь самый распоследний дурак, прирожденный, самородковый.

— Не разумею, папаня! Наставьте, как понимать речи ваши странные и уму непостижимые?

Савелий Петрович хмыкнул и щелкнул Ванечку по лбу.

— Зарубляй на носу, поскокиш! Первый туз — дом. Без дома человека нетути, а ежели и есть, так, значит, зряшный, бросовый, непривеченный. Над бездомным-то кажная собака из своей конуры хохочет... Второй туз будет жена добрая.

— Почто жена? Почто не сам хозяин?

— Цыть! Са-а-ам! Сам-то иной раз случается таким обалдуем, коих белый свет не видывал. А умная жена и дом потянет, и сего обалдуя в люди вывезет. По себе знаю. Опять же, человек не для себя одного родится, должен корешок на земле оставить. Значит — што? Значит, следоват рстить обществу отборный молодняк, а для себя сынов-дочек: в молодости на потеху, в старости на подмогу, а по смерти на помин души. С этим делом, Ванька, лутче жены-матери никто не справится... А берут в жены девку не мазилку, но чтоб расторопна была да ласкова, на волосную управу не злобилась, да чтоб передними и задними статьяи гожая была. Знамо дело, дедами проверено: дом без бабы и кошки — вовсе не дом. Ну, а мужику с собакой на дворе быть пристало. Вот теперь и будет третий туз — сам, хозяин.

— А четвертый, папаня?

— Мошна. Капитал, стало быть. Добрецо-богачество. Да штоб не фукнуть его по ветру, да не спустить на рысях, ежели в кой-веки выпадет разбогатеть! Золото веско, а кверху ой как тянет, сынок!

— Господи, — воскликнул Ванечка, — да кажись, боле ничего и не надобно!

— Э-э-эх, — насмешливо протянул Савелий Петрович, — вот и есть ты не мужик, а одне штаны-самоходы и полный

губошлёп! Четыре туза на руках — играть, конечно, приятно. Да в неровен час и посколизнуться можно! А чтоб сего не приключилось, пятый туз гуляет по миру меж людей. Сдогадайся, што такое?

— Не ведаю, папанечка...

— То-то и не ведаешь? Не могёт того быть. Многие тем тузиком чужую карту бьют мало-помалу, да однако не до конца евоюну силу распознали.

— Не томите вы меня, папанька! Что ж сие? — прошелестел Ванечка одними губами.

— Барашек в бумажке. Дача! — ответил папенька и, заметив, как сынок медленно заливался алостью, подумал: «Уже берет, подлец, не иначе! Ежли краснеть разучится — далеко пойдёт, посकोиш!»

— Рази? — притворился Ванечка.

— Истинно. К сильному да властному с пустом не ходи. Сперва купи его, человекча-то. Богачество завсегда силу покупало, а с купленной силой от любой доуки отбояришься, отмажешься за милую душу. Сия стратагема до нас ишо с досюльных времен пришла, с «государевых поминок» докатилась...

— Уж больно мудрёно сказываєте, папаша, — прошептал восхищенный Ванечка.

— Как могу. И ишо заметь: нету лутчей мази для втиранья в доверенность к сильным мира сего, чем оный пятый туз!

— Страховито сие, да и совестно маленько... играть по-крупному...

— Ништо! Совесть нонче в рукавичках ходит. Время такое. Не обмарашься. Зато — али грудь в крестах, али голова в кустах к едрене матери, а сей маневр — это тебе не над латынскими глаголами балдеть, тута думать, сынок, надобно...

Савелий Петрович заметно притомился, выдохся.

— Уже и спать пора приспела, — сказал, зевая. — Ты уж, Ваня, разбуди меня, када я похмелиться шибко захочу. А переселяться... ладно, погожу малость...

С тем и разошлись по своим углам.

18. ДЕЛО ПРОШЛОЕ. ЗАЩЕМИЛ КАПКАН ОХОТНИКА

На Пасху Кирия-шатун с веселой душой отправился на хитрушку — дюжину ленков пробазарить по сходной цене. Середь шума, гама, запахов конского пота, рыбьей тухлости, дегтя, середь торгашеских унылостей, ликования, невозмутимого счетоводства и прочих страстей — недолго шлялся Кирия, всех ленков прибыльно сторговал, одна рыбина осталась. Ну, куда с ней?

— Эй, паря, — окликнул Кирия босяка — худящего, грязнющего, чистого ханурика, только что не таврёного. — Куплай чудуюду на ушицу али на жарёху!

— Да у меня всего-то копеечка,—с готовностью отозвался ханурик и хлопнул себя по щеке, — Вот здесь!

— Я добавлю, — нашелся Кирия. — До гривенничка. — Отсчитал медяки, сунул в карман ханурикова зипунишки и таковым-то диковинным манером покончил с негоцией, чем немало удивил покупателя,

— Ну што, босота, радый небось?

— Радый, — сказал бродяжка, прищурился и принялся глазами столь бестолкового торгаша ощупывать.

— Тада в церкву почапаем, што ли?

— По грязишше-то?

— А в кружало?

— Да рази што под заборчиком пройтиться, где посуше... Айда!

По пути в кабак Кирия не удержался, хвастанул:

— У меня вить и лошадка имеется! Сушяя молонья, ей-богу!

— А што же ты свою молонью в питейное кумпанство не допускаешь? — спросил ханурик.

— К шампанеям лошадка покуда не привыкшая,— строго отвечал гордый коневладелец, — А уж к венгерским мальвазиям и подавно. Глупая ишо, молодая.

В питейном заведении, как в мыльне, с потолка срывались тяжелые капли, пропитанные табаком и винными парами, и с

размаху устремлялись вниз, шлепались на шапки, на лысины, на кучерявые темечки, на столы, в стаканы и кружки.

Босяк поймал взгляд своего неожиданного благодетеля и вдруг ошарашил:

— Эх, Кирия! Святая ты душа на костыликах! Я вить тебя давно признал, ишо на толкучке. — И выложил на стол беспальные руки.

— Кукса? — ахнул Кирия.

— Мы самые и есть.

Охнул Кирия: сыскалась-таки родственная душа! А в собственной душе тут же и страх червячком зашевелился: сколь лет миновало и вот — опознали, ладно что Кукса, а ежели — кто другой?

Мужики хлопали друг дружку по спинам, пыль выбивали, целовались, чокались, а вспомнив Нерчинск и рудокопство окаянное, плакали до тех пор, покуда слезы не кончились, а потом, когда высохли, у одного открылась безудержная икота, а у другого — просто речевое недержание.

— Шишигу словили, — рассказывал Кукса, губами обирая с культи лохмотки кислой капусты. — Вусмерть нашего товаришша захлестали. А Васька Пропадающий так и вовсе утоп. Помнишь Ваську-то? С тобой был ушедши в казаки-разбойники...

Кирия кивнул, икая.

— В пролуби, говорят, воду черпал, так его русалки зашшекотали, сердешного...

— Ты ешь, Северьян, набивайся досыта, — ласкался Кирия к старому товарищу. — Хошь исьти-то, милой?

— Я ж не хворый, чего спрашивать!

Из пивнушки двинулись по дальнейшим собутыльным делам. Шли обнявшись, просветленные и распянющие, как весенние воробьи. А Кукса все говорил, говорил, и все грозил кому-то, пугал:

— Ох, нету на вас Пугача, сучки такие! И пальчиков нетути! Одне сплошные кулаки на руках остались! А куды применить сей струмент, я вас спрашиваю?

— Применим, Кукса, дай Бог времечка, со всеми посчитаемся, — отвечал Кирия, одной рукой поддерживая дружка, а другой прижимая к боку пасхального жареного поросенка,

купленного возле кабака и неподалеку освященного, в храме Божьем.

Шествовали посереде улицы, и хоть утопали по колено в грязных колдобинах, однако дошли бы до Кирюхиного жилища благополучно, если бы вдруг из-за поворота не вывернула бешеная тройка, впряженная в хрустящую коляску. Мужики шарахнулись в одну сторону, лошади, всхрапливая, сунулись в другую, а пасхальный поросенок остался на месте, в глубокой луже.

— Ах ты, курва, свиненыш этакий, — выругался Киря. — Хошь его святи-рассвяти, а он, паразит такой, все в грязь норовит...

А из пролетки между тем нарядная барынька рукой помахала — и:

— Кирю-у-ша! Подь сюды сей же момент!

Остолбенел Киря: «Все! Вот теперя попался тетеря! Верно говорят, што одним днем по две радости не бывает...»

Седоками в пролетке оказались Нил Карягин и супруга его Любава.

Купец раздобрел, брылы жирны и мясисты, хоть студень вари, не лицо — сплошная масленица, ноги толсты, в голяшках будто по дюжине фунтов осетриной икры вбито... Тьфу, соперничек! Как увидел Киря в таком обличье своего извечного супротивника, так сразу же и потерял всякий мужской интерес даже к бывшей ухажерке и полубовнице Любавушке.

— А мне седни икалось! — протянула она радостно. — На легкий помин оказывается, Кирюшенька! — И на мужа своего покосилась.

— Мне тоже, — выдавил Киря.

Нил Карягин покачивался на сиденье, усмехался:

— Бонжур комарам, Кирила! Как поживаешь? Почто порося в луже выкупываешь? С кем нонче любовь-дружбу водишь?

— Да вот, — отвечал Киря растерянно, — встренул... Друг сердешный, а как по ими звать, ей-богу, не знаю... — Хмель разом из головы улетучился.

— Ты вот што, Кирила, — сказал Карягин, — забеживай-ка в гости по случаю светлого праздника Христоваго, не побрезгуй, землячок.

— Уж не знаю, — поежился Киря, — делов много, да за день шибко умариваюсь...

— Ништо! — возразил купец. Он уже смекнул, от какой такой страсти сжался старый недруг, и мигом порешил зазвать его к себе на угощение. Решение это вызрело не от доброты душевной, а так, на случай, чтобы прикормить человечка, привязать к себе.

«Непривязанный медведь не пляшет! — думал Карягин. — А опосля видно будет, что с ним, с беглым-то, делать и к какому выгодному делу приспособить».

... К купеческим воротам Киря подвернул с шиком, с гиком — в с о б с т в е н н о м выезде. Не было у мужика нарядной рубахи с перламутровыми пуговчиками и плисовых штанов (денежки понапрасну не тратил, на возвращение в казачий станок капитал сколачивал), не было жены, не было того, другого, третьего. Зато были Виноходец, таратайка, и сам он, Киря-шатун, ещё жив-здоров на этом свете белом в чёрную крапинку. Чего нет — того нет, так хоть того, что есть, вдосталь. А ещё — воля! Волю ни за какие деньги не купишь, так-то!

Сдержанно ответил Киря на хозяйские приветствия, независимо прошёл в горницу и нахально уселся в красном углу, под образами — чинный, самостоятельный, домовитый.

— Обзаботься лошаdkою, Нил Гаврилыч, — сказал купцу с небрежностью. — Да смотри не перекармливай. Мой конёк энтова не уважает. С карахтером попался.

Карягин вышел из комнаты, усмехнувшись тишком и кривенько, отдал приказание дворовому человеку и вернулся.

— Вот так и проживаю, Кирила. Молитвой подпираюся, точно клюкой... А ты што? Не забыл ли Бога?

— Мы-то? — Киря спрятал под лавку ноги в разлапистых ичижонках. — А мы, Нил Гаврилыч, твоими молитвами живы да своими грехами. Всё согрешаем поманеньку, от сего не отрекаемся. Зато на чужих тройках не катаемся, свой единоличный выезд имеем. Да и луковка во шти завсегда имеется и иное протчее для жизни.

— Многонько ли нагрешил?

— Да всё наше.

— И того... из Нерчинска-то... утёк?

— Само собо. От тебя рази скроешь...

— Да нашто ж рыск такой рыскучий, родимец ты мой? Мог бы и тама какой-нить карьер сообразить да хлебушек добыть. Мужик-то ты головатый, и руки у тебя золотые. Вон, гляжу, и зубья в роте считай што все целые. Видать, исправно работал.

— Не о хлебе едином жив будеши...

— Ох, не скажи! Царь Кусман надо всем миром стоит, в каждый рот заглядывает. А ты, небось, руднишным серебришком обжился, коли тебе и хлебец наш горький нипочём?

— Нет, Нил Гаврилыч. Ничем я не обжился. Да и нашто нам капитал, коли мы сами – золото? Тянем работёнку, с горки на горку, «тпру» да «ну» – вот и даст барин на водку.

— Пьянствуешь, однако?

— Кого там! Лакаю.

— Тута я тебе не указ, Кирила. Всяк на свою ногу храмлет.

— И правильно, што не указ. Пущай указчик сперва сам свою болячку наживёт, а уж опосля и вякает.

— А всёжки, Кирила! Кабы не дырка в роте, дак люди под самые пахи в золоте ходили бы! А? Кабак-то лутче всякой метлы дом подметает, рази не так?

— Оно так, конешное дело, — согласился Кирия. — Да сие не нашенская виноватость. На нас, которые коневладельцы, уж больно угодливы святые угодники: что ни день – то и праздник. Скоко дней у Бога в году, стоко же и святых в раю, а мы, грешные, которые коневладельцы, всем имьям празднуем. Забота такая. И работа такая. А я, знаешь, такого роду, што на полный стакан не могу глядеть, чичас же и выпью без остатку...

Карягин смотрел на гостя пристально и думал: «Дурного ты роду! Уродился кровь с молоком, да чёрт водочкой разбавил. А может и того... Придуряешься предо мной? И вовсе-то не пьянствуешь?»

— Да ну! – вслух выразился Нил Гаврилыч.

— Хрен гну, - отвечал Кирия ласково и уважительно.

— В таком разе, дражайший гостенёчек, распояшься да усаживайся поприлипчивей. Супружница моя Любавушка нонче пирог с капустою спроворила.

— Энто можно. Капуста лутче пуста. В брюхе не порожнее будет... Тока без поливу и капуста сохнет! Понимаешь ли?

— Хе-хе, - оживился купец. — Была бы честь да место, а за пивом дело не станет, чичас же пошлём! И пей на здравие, покедова стакан через губу перенести сможёшь! Так-то!

За накрытым к трапезе столом Кирию пуще прежнего потянуло к бесшабашному дуракавалянию: покапризить, опить богатея, покочевряжиться. От запаха вкусной непривычной еды живот сердито бурчал, а язык, дай ему волю, любую тарель пролизал бы насквозь. Ан, нет! Язык гримаски корчил и разные неуважительные словечки на губу подсаживал:

— Штой-то кисло... штой-то пресно... а сей мануфактур дак и вовсе пересоленный...

Карягин терпеливо отмалчивался, но не выдержал:

— Смирение побораёт гордыню, аки Давид Голиафа, А ты, Кирила, гляжу, горделивец стал! Сам-то, небось, дня три толком не жрамши, а в зубах ковыряешься. Почто так?

— Смирен пень, да што в нем? — весело отвечал Кирия, а сам этаким фертом восседал, руки в боки, очи в потолочки, ноги азом прописным.

Нил Гаврилыч не отступался:

— Знаю, живешь в гнилой амбарушке, а кашляешь по-горнишному, ладошку к роту несешь с культурностью. Почто такое притворство сочиняешь?

— Ето я намякиваю, — не смущаясь, отвечал Кирия.— Дескать, што за едьба у тебя такая барская — два грибка на тарелочке! Ето што ж такое? Разговоры у нас с тобой, Нил Гаврилыч, намечаются агромадные, так почто же хлеб-соль такие махонькие? Али капиталу недостает, штоб поисъти, как следоват мущинам-производителям?

Карягин заколыхался: от смешка:

— Есть, все есть, Кириюша. Тока всем досыта исьти — так и хлебушка не хватит. Желай, говорят старики, по силам, тянись по достатку. Такова мудрость дедовская!

Кирия покатал за щекой соленый рыжик, выплюнул его на стол и неожиданно рывкнул:

— Давай мясу!

Нил Гаврилыч вскочил испуганно:

— Чичас...

— Поспешай, дядя,— гремел гость по-кучерски.— Не то буду мясать, покуда все иркуцкие кошки сюды не сбегутся. Оне тебе, жмоту, враз убыток наведут!

— Все шутки-баламутки шутишь, Кирила..,

— Какие шутки? — перебил хозяина Киря. — Шутки в шубках ходют. А ты, чаю, меня сюды не на шутейное дело зазвал. Али не так?

Карягин вскинул руки, заперевирал ногами, точно молодая пристяжная в тройке:

— Погоди, погоди... Не всё сразу! Ишь, какие мы борзостные, какие мы торопкие — спасу нет, ей-богу! А того не сознаём, што по-давидски согрешая, не по-давидски каемся...

Принесли седло баранухи с луковой подливкой, чистый хлеб, пирог с капустой, медовуху, серебряные ложки, вилки, на которые гость воззрился с собачьей тоской: «И какой же скус с железяками колупаться? Милое дело — взясьти мяско в обои руки, да штоб мозговая косточка оказалась, да обсосать ее, да зубом обточить... Какой дурак вилки выдумал?»

Испили по чарке медовухи, перекрестившись.

— Ну как, забористо? — спросил хозяин.

Гость перевел дух и не спеша отвечивал с оценкою:

— Слава Богу. Ковш поднести да ишо впридачу поленом перелобанить — в самый раз и будет твоя медовуха... А коня моего Виноходца неужто забудешь овсецом побаловать, Нил Гаврилыч?

— А как же! — с немедленной готовностью откликнулся купец. — Сей же момент спворим, это дело у нас завсегда в обычае. Фомка, игде ты тама?

В горницу косолапо ввалился купцовый человек, склонился в поклоне. Карягин махнул рукою, приказывая:

— Давай, Фомка, справляй свою задачу!

— Будет сполнено, Нил Гаврилыч, — мрачно ответил человек и отковылял восворяси.

Эх, не дано было знать Кире, на какую убийственную пакость пустился Карягин, на какое злодейство благословил купчина своего маломысленного приспешника! Сего даже до

фантазии не способен был допустить Киря — десятки раз битый-перебитый, ломаный-переломанный, однако же доверчивый, равно как молочный телок-сосунец. И никакой душевный звоночек в ту минуту не брякнул тревожно, не предупредил о злоумыслии — ни тогда, когда явился Фомка-душегубец, ни позже, когда Киря языком трепался, нахваливая Виноходца и не забывая при этом хаять поданный в фарфоровых чашках кяхтинский запашистый чай, что называется, «с поплавком и позолотою», сиречь с лимончиком и ромом...

— Хэть, — усмехался, — куды нашим суконным рылом сии невозможности вноздрять! Давай уж, Нил Гаврилыч, лутче без лимониев. И без чаю. — Подцепил брезгливо желтый кружочек на фигурную вилку и перекинул через плечо, куражился, стало быть.

— А вить у меня, Кирюша, до тебя и всамделе ба-а-льшой антирес образовался, — заметил Карягин, придвигаясь поближе, на расстояние доверительного шепота.

— На сколь рублей антирес-то?

— Не в денюжках загвоздка.

— А в чем?

— В тебе самом, мил человек.

— Да ну!

— Не понужай покеда. Послухай. — Карягин облизал зажившие пальцы и рыгнул. — В нынешний случай, Кирила, шибко скучать не приходится. А почто? А по то, што времечко переходчиво.

— Кому переходчиво, кому и не, — буркнул Киря, настораживаясь.

— Погодь, не спеши. Оттерпишься — и ты в люди выйдешь, заходить ко мне будешь запросто, чай пить и душевные разговоры разговаривать. А попервости от моей милости, Кирила, посидел бы ты на моих товарных поездках — за старшого, для надзорного глазу. Мужик ты тертый, а в пути всяко бывает: то волки, то Нарышкин-князь, то сами поезжане товарищ разворуют. Догляд нужен. Однако же и бремениться шибко не будешь от сего занятия! А уж опосля к иному делу приспособишься, дай Бог. Ты же, Кирила, знатным соболятником бывал!

— А все-то ты помнишь, Нил Карягин!

— Да как же иначе? Наше дело купецкое. И голова ишо не прохудилась.

Кирия в задумчивости катал в пальцах хлебный мякишек, долго молчал, а потом заговорил печально, строго, медленно тянул-вытягивал вертлявую мысль, откусывая от нее по словечку, не более:

— Не пойду я на твои хлеба, Нил! И вот почто. Дорогим токо свой хлебушек бывает, свой собственный. Своего ломтя, от ковриги ломанного, хоть и немного укусишь, зато полон рот нажуеть. Скусно сие и при совести. И руками за ту ковригу не зазорно подержаться, и в зубах помолоть. Своему куску, Нил, рот завсегда радый, так-то! А вот ты мой хлеб да в свою солонку макнуть норовишь. Грех это. Юдин грех. За такое прегрешение, смотри, в адство попадешь, землячок, к чертям, а оне, слышь, робятишки шустрые, с огоньком работают...

— Изгиляешься, Кирила! — скривился Карягин.

— Да не изгиляюсь я, господи ты боже ж мой! Говорю. Небось, забывать ты стал былое. Нил Гаврилыч?

— Старею, — вздохнул купец. — Память и взаправду изменяет.

— Не ври. Память людям никогда не изменяет. Это сами люди-человеки, случается, ее предают, память-то. Рази не так?

Карягин понурился, прикрыл глаза ладонью, но при этом одним зраком промеж пальцев уцелился в, собеседника и в ту щелочку слезу выпустил:

— Ты уж прости меня, Кирила, за прошлое, не поминай былого иудства, кое от великой ревности приключилось...

— Бог простит. Тока вперед не каверзи, — помягчел было Кирия-шатун.

— Дак ты меня уж и напредки прости, чего тебе стоит! Вить у меня, Кирыша, жена понос понесла, дите скоро народится. Сколь ждали — и вот такое дело! Так за ради Любавы не терзай мою душеньку грешную, иудством не попрекай. А?

— Зла не помню, — махнул рукой Кирия. — Помнят — это когда далеко от зла пребывают. А твое зло, Нил Гаврилыч, во мне самом, внутри болью сидит, жить радостно не дает. Было у меня попервости такое хотенне: дать тебе промеж рогов, да штоб тебе

тута же на месте и приключился упокой. А потом посумневался и охладел: хошь и свинья ты, а все ж в человеческом обличье по земле ходишь. Все мы люди, все челевеки, и што ни человек — всё я. Ну и живи покеда, подлец.

Нил Гаврилыч полез целоваться, но Кирюхиных губов в бороде не сыскал.

— И нашто ты веник такой отпустил, а? — спросил весело.

— Стаканья кабацкие в ней скрадываю да зимой воробушков согреваю.

— Охо-хо, все шуткуешь! И, значит, не желательно тебе для меня торговое кумпанство составить?

— Не. Не желаю...

— Ладно, Кирила, хочешь — как хочешь, А не хочешь — опять, же воля твоя. Тока вить я, родимой, сразу тебя опознал, как ты на базаре объявился.

— Я не покойник. Почто таково гуторишь: опознал?

Карягин налил медовушки в свой стакан. Руки у него дрожали, как у балалаечника, пенное пойло через край плеснуло.

— Ох! Непорядок...

— Охни-ка и мне, Нил Гаврилыч, на посошок.

— Да куды ты торопишься? Поговорим ишо!

— Уже поговорили. Ранетых нету — ну, и слава Богу!

Карягин проводил Кирю как положено: пешего гостя — до ворот, конного — до лошади.

Гость вежливо распрощался спросил напоследок:

— А ну, в каком у меня вухе звенит, Нил Гаврилыч?

— В левом, — игриво отвечал хоаяин.

— Угадал. Быть тебе вскорости помёртому.

— Да ну тебя, Кирила! Почто так вызвериваешься?

— А не залупайся! — хмуро рявкнул гость. — Вилки, понимаешь... то, сё... На, плачу тебе за угощение! — Киря выдернул из-под сидельного тулупа вчерашнего поросенка, подал в руки Карягину, подтянул пестрядиные сопля²¹ и свистнул: — Давай, Виноходец, трогай до нашей квартиры!

²¹ Штанины портов в те времена называли соплями или калошами.

Дребезжал по колдобинам Киря, думал паки и паки, и всё-то пакостно выходило, стыдно. «Нашто хозяину нагрубатил? Нашто надсмеялся над ём? Ай, стыдобушка! Нашто чванился, ровно холоп на воеводском стуле? Нашто всё к недоброй сваре вёл: и ложкой стучал в край посуды, и, соль подавая, не смеялся, да ишо и вострым ножиком хотел одарить за обильный стол²². Со сердцов ли такое случилось? Али ишо какая причина занутрела? Да, ранее маливался, мол, Господи, Господи, изведи того до смерти, кто лутче нашего живёт, у кого денег много, квартера справная да жена хорошая... Это было. И сплыло. А теперя нашто на брань распоясался? Ну, виноват Карягин, сучий потрох. Дак вить по дважды и Бог за одну вину не карает! А Нил вот и занятие сытное мне посулил... Али просто отыгрывался, как лиса хвостом?»

Трудно Кире самому себе ответить: так сразу и не сообразишь... Вот, скажем, вздыхает человек, икает, ахает, охает или еще в каких иных междометийных состояниях пребывает — это ясно. Икает, к примеру, с отрыжкой — всё понятно: от сытости тела душа пузырьки пускает. Так ведь не о сытости речь! Сытый в руки себя не возьмет, побрезгует, не станет душу кожемячить. Людей сытых никогда не терзает счастливая тоска по вопросам, обращенным к самим себе — внутрь. Наверное, у Кири было по-иному: сказал — и облегчил свою душу. Так бывает. «*Dixi et animam levavi*», — шпарил по-латыни библейский пророк Иезикииль, о котором люди в здешнем берендеевом уголке знать, конечно, знали, однако словам, в особенности нерусской масти, не очень верили, и потому иногда сомневались — как в чужих пророках, так и в своих, да и в самих себе — тоже.

Наутро Виноходец не поднялся.

Киря сидел перед ним — на одних дрожащих поджилках. Сидел и гладил лошадиную морду, заглядывал в слезящиеся глаза, полные смертной тоски.

— На-кось, похрумкай, — совал Киря в мягкие губы сухую корочку с солью. — Гляди, миленькой, каково скусно. — И сам, сманивая на еду, жевал, причмокивал, поглощая хлебные крошки, колючие овсяные зерна, траву, морковку.

²² Народные приметы предстоящей ссоры.

К полудню конь вытянул ноги, вздрогнул и помер.

Уложить Виноходца в таратайку, прикрыть дерюжкой рыбаки знакомые пособили, спасибо им.

Впрягся Киря в упряжь, закусил губу — и потащил печальную колесницу за Иду, в прибрежный лесок около тюремного замка.

А позади, на подобающем расстоянии, шел подлец Фомка, пьяненький. Шел и гугнявился:

— Сыми грех с моёй души, мужик... Сыми груз свинешный! Рази ж ето по-божецки — душу не разгрузать? Сымай, Христа-Бога-душу! А не то и тебя самого зельем опою...

Свежий холмик жирной болотной земли Киря долго оглаживал лопатой, потом воткнул тынинку, а к ней дощечку прикрутил с надписью: «Конь мой родной Виноходец здесь упокоился».

«Эх ты, Виноходец, дурачок! — страдал Киря. — Тока-тока мы с тобой жить наладились, а ты вот взял да и помер. Нешто можно так?» И чуял извозчик нутром, что не коня схоронил, а будто самого себя. Первую свою шкуру он в Нерчинске на рудниках потерял, нынче вот до второй шкуры очередь приспела, осталась последняя, третья, а больше у простолюдина не бывает, ибо на такую жизнь больше трех шкур не напасешься...

А из кустов жалобный голос доносился — хриплый уже:

— Эй, мужи-и-ик!

— Чего тебе? — поворачивался Киря.

— Сыми грех, сволочь такая! Сыми-и-и! А не то сам отравлюся...

Поминки по Виноходцу справляли вдвоем — Киря и Кукса: день, ночь и еще один день без просыпу.

Киря опух от слез, едва шевелился на лавке. Кукса скрипел зубами и грыз до крови свои культяшки беспальные. Подлец Фомка самолично наложил на себя винное покаяние, жрал одно сено и с хомутом на шее кругами таскал дребезжащую таратайку.

— Слышь, мужи-и-ик! — хрипел. — Сыми грех! А не то я до нового смертоубивства попуцусь... Из хозяина свово, Нила Гаврилыча, конскую колбасу изделаю!

Карягин на второй день поминок прислал с сидельцем фунта три муки-крупчатки, ластиковую рубаху и дров осиновых полсаженок.

«А на осине иуда повесился, — подумал Кирия. — Вот, значит, Нил и вырубает под корешок сию древесность... Взять дрова али нет?»

Взял. Дающего рука не оскудеет, а у Карягина всякая копечка рублёвым гвоздем к делу прибита-приколочена.

После похорон Виноходца Кирия еще целую неделю потерянно слонялся по городу, носил на плече уздечку, волосяное путо — коневладельцем притворялся. Да кого обманешь? Никого не обманешь. И некого.

Что делать? На Амур путь отрезан... Коня нет... Кнута в оглоблю не заложить...

Оставалось одно: идти к Карягину, соглашаться на его шкурный интерес: соболю купцу нужен — не Кирия.

Купец на сей раз в горницу не зазвал, на крылечке приветил:

— Ладно, благодетельствую. Тока ты вот што поимей на уме, Кирия: не тягайся более со мною, ибо поперед сам удавишься. Не чини помешательства ни мне, ни жене моей Любаве, ни делу моему. Я вить ишо никому не сказывал, што ты с рудников убежный...

Из конюшни неслись вопли связанного Фомки.

Вот так и сработал капкан. Час честился Кирия у Карягина — да год чесался: ходил с обозами, конюшню убирал, ворочал любую работу — занемело, безропотно.

К Рождеству Христову Любава дочку родила, но при тех родинах сама, бедная, Богу душу отдала. Хоть и разом задували свечи венчальные, чтобы парочке, Нилу и Любаве, помереть не врозь, — не вышло, а как вышло — так и случилось.

В крещенские морозы купец благословил Кирию на соболий промысел:

— Я вить покеда ишо никому не рапортовал, што ты у меня бегунец... Так што поимей благодарствие, Кирюшка!

«Худо, ох худо! Горьким быть — расплюют, сладким — так и вовсе проглонут...»

И решил Киря быть никаким: в тайге человек сам себе и бог, и царь, и воинский начальник.

...Летели два гуся: один — серый, другой — на север...

Снег сверху, снег снизу, снег со всех четырех сторон. А в самой середине снеговя Кирюхина зимовьюшка колечки выкуривает — единственное теплое местечко на этом белом завьюженном свете.

Сюда привел соболятник хроменькую девку, дурочку убоженькую, немую, да и не девку к тому ж. Вспомнив ненароком батькино наставление о том, что дом надо покупать крытый, кафтан — шитый, а в жены брать девку непочатую, Киря махнул рукой:

— Э, на безлюбье и эта любя. Жить-то надо. А жить-то — не с кем...

И обжегился. Сели, черемши пожевали да и окрутились, не мешкая.

А к вечеру Киря забыл, что женился, и пошел в тайгу ставить хитромудрые капканы.

ОРЛЫ И РЕШКИ

6 июля 1816 года, за три дня до кончины, Гаврила Романович Державин, глядя на висевшую в его кабинете историческую картину «Река времен» (или «Эмблематическое изображение всемирной истории»), начал стихотворение «На тленность» и успел написать восемь строк — не на бумаге, а на аспидной доске, как он и всегда писывал начерно... Грифельная эта доска ныне хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Вот эти строки:

*Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы...*

1. КРАСНАЯ ЛИНИЯ, ИЛИ МЕДИТАЦИЯ НА СУДЕБНЫЕ ТЕМЫ

Каждому - своё.

Марк Туллий Цицерон

... Сохраняют благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени.

Никколо Макиавелли

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил.
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Николай Заболоцкий

...Своё счастье, свои мыши, своя судьба...

Иосиф Уткин

Во дни торжеств или сокрушений коллективного разума, во дни великих переломов или вселенских праздников нет человечеству особой нужды до видений, до теней прошлого. Чур их, чур! А ну как из-за того допотопного флёра — да нанесет искусительным миражом, и какой-нибудь исторический дьяволенок выкажет свои бодливые рожки и лакированное кокетливое копытце. Избави нас, Боже, от лукавого!

Однако стоит лишь надломиться или восторжествовать душе е д н о й — как тут же она ищет соучастия и сомнения, и если не находит сего в современности, то с надеждою аукает в прошлое, и оно, безотказное, подает знак и без потрясающих салютаций входит, возрождаясь с усталостью, в новую память; так входят в открытую бухту утомленные корабли, потрепанные в штормах и сражениях. Глядишь — и ворохнулась душа, и ожила, и напомнила человеку о том, что он сотворен если не Богом, то уж никак не шестью (примерно) тысячами завтраков, обедов и ужинов...

— Тебя сколь разов били?
— Раз десять... А что?
— Мало. Я думала — больше...
— Что ж делать-то...
— Да ты не расстраивайся. Ишо побьют.
— Спасибо, душа моя, утешила... Сучка такая!
— Не психуй.
— От непсихуя слышу!
— Ты ко мне нынче что-то не расположен?
— Не раз! И не два положен! В том и дело. А толку? Раз положен — так, значит, судьба такая мне с тобой всю жизнь маяться. И ты мне тут не разлагайся попусту и зубы не заговаривай, а оказывай всевозможное равновесие. Понятно?

Вот и поговорили. Поняли друг друга, не поняли — а все легче... Может статься, то была и не душа вовсе, а какое-то иное (высшее, что ли?) образование, поскольку никаким умственным определениям не поддавалось, территориально не прощупывалось, а так зависло, будто на волоске, на тонюсенькой ниточке — на единственном любопытстве к жизни, к этому каверзному способу существования белковых тел: а что же будет дальше, после, потом? Господи ты Боже мой, вот вопрос вопросов! Отвечайте же, прошлые времена, вечная душа человечества!

И они отвечают. И тогда магически смещаются календари и годы; и лопаются, как мыльные пузыри, целые государства, радужные до поры; рушится апокалиптическая перепутаница наземных и прочих границ, выдуманных человеком для внутреннего употребления и глобального пользования; меняются местами тронные речи и исповеди перед казнями, кознями и казенными декларациями; смешенье лиц, языков и атрибутики власти приводит к взаимному их обесцвечиванию, нейтрализации, исчезновению, после чего остаются в мире лишь идеи и люди — те, что обречены на жизнь во все времена. Вечна и живительна их проекция на день сегодняшний и предстоящий — проекция, необходимая обитателям планеты не так, как воздух, вода и хлеб, а так, как, скажем, сетка параллелей и меридианов на географической карте: мы не спотыкаемся на этих линиях,

напротив, они, незримые, помогают человеку надежно определиться в пространстве.

Как же не воспользоваться возможностью прямой речи наедине с собственной душой и памятью всего человечества?! В любом мертвом языке всегда сыщется живое слово, которое вытащит за уши на свет Божий даже арестованное, остановившееся, замороженное, казалось бы, беспробудно, время. Говорю — и вот оно, такое время, уже оттаивает, потрескивает, и от него, полена бездушного, отлетают секунды, минуты, часы... и римскими цифрами располагаются вокруг тебя, подобно светлым лучинкам, нащепленным тобой и предназначенным для света и тепла...

Вспомнилось: при императоре Николае I на дворцовой гауптвахте содержались старинные английские часы — звонкого хода и удивительнейшей работы; они могли отсчитывать секунды, минуты, часы, месяцы, годы, отмечали фазы луны и даже солнечные затмения. Часы были редкостью мировой. А на гауптвахту они загремели так. Долгое время часы пребывали в Инженерном замке, в собственной спальне Павла I. Однажды государь опоздал на вахтпарад, взбеленился, обвинил английский хронометр в своей собственной промашке и отправил его под арест. Вскоре императора пристукнули табакеркой, а для пущей безнадёжности придушили гвардейским шарфом в той же самой опочивальне. Об опальных часах забыли: до их ли гамлетовского тик-таканья в пору, когда бурлят тронные страсти?! Так и остался дивный счетовод времени в бессрочном заточении... Наверное, подумалось мне, царей тоже как-то нужно понимать; ведь будучи неуверенными в том, что они и в самом деле есть цари и помазанники, государи иногда подобно простолюдинам кусают пальцы от досады и сомнений; всего-то и отличия, что не свои пальцы кусают, а чужие; но тут уж ничего не поделаешь, на то они и цари. А часы — что же? Сменялись цари, караулы и времена года, а этот справный механизм даже под арестом не юлил, не рефлексировал, но беспристрастно продолжал наматывать на оси секунды, минуты, часы, сутки, месяцы и годы, и фазы луны отсчитывал, и солнечные затмения регистрировал. Одного он, бездушный, не умел замечать: затмений человеческой памяти. Однако в этом не виноваты ни хронометр, ни быстро-текущее время. На суд же времени уповать — вообще неразумно,

ибо он уже состоялся... и без нашего участия вынес свой приговор...

В одном из положений римского права сказано — словно бы гвоздь вколочен: *Suum cuique*. Каждому свое.

Отчеканено давно, где-то за чертой нашей эры. А ты вот, по сию сторону черты, сиди и мучайся: а каждому ли — свое? А так ли уж непременно свое — каждому? А не подбавить ли для ясности в это лукаво«, без логических ударений, мудрствование хотя бы малую толику нынешней роковизны?

Молчит душа, не ее это дело — в судебных установлениях колупаться.

— А в судьбах?

— Каким образом?

— *Sum specie aeternitatis* . С точки зрения вечности.

— Стесняюсь.

— Что так? Слов не хватает?

—Хватает. Только все они нецензурные. Люди-то судьбу клянут, как правило...

— Но и хвалу возносят!

— Судьбу проклинаят...

— Но и благодарят!

— И вообще... метафизика какая-то.

— А ты, душа моя, из каких сфер будешь?

Вот и снова поговорили. Поняли друг друга, не поняли — а все легче.. Потому как явился еще один вопрос вопросов, для верного решения которого не жалеют порой ни смертного тела, ни бессмертной души. Ну же, отвечайте, прошлые времена, пыльные скрижали, вечная память человечества!

И они отвечают. Они говорят о том, что историю творят люди и они же вытворяют с нею черт-те что. Но в то же самое время люди и зависят от истории. Где кончаются границы свободы и начинается власть судьбы? Случай ли возносится на пьедестал рока, или же судьба низводится до рокового случая? Кто он, в конце концов, тот «личный демон», которого Сократ (согласно обвинению суда) противопоставил вечным богам Олимпа? Которому Демокрит показывал кукиш? Которого Макиавелли щипал, уподобив распутной бабёнке? Судьба, доля, участь, случай, жребий, планида, фортуна, фатум, предопределение, удача,

рок, срок, время, возраст, провидение, рука Божья... У немцев, итальянцев, англичан, французов, поляков, русских...

В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля «судьба» находится в гнезде слов, производных от слова «суд»: судилище, судбище, расправа; Даль добавляет к этому: пути провидения, неминуемое в быту.

«Академический словарь современного русского литературного языка» определяет судьбу так: 1) стечение обстоятельств, стихийный, не зависящий от воли человека ход событий, удача, неожиданные удары, предназначение; 2) доля, участь, жизненный путь; 3) история существования чего-нибудь, будущее данного объекта...

«Слушай... Слу-у-шай...» — как вечные часовые, переключаются времена...

Четыре данности являются к человеку с рождения: отец, мать, он сам, сын человеческий, и отечество. Сие не выбирают. Но существует и пятая категория — выбор, красная линия человеческой жизни. Человек может считаться с предначертаниями всё знающих олимпийских богов, а может и не считаться, и в последнем случае он становится равным богам, самостоятельно выбирая свою судьбу, как это делали герои Гомера и скандинавских саг, князь Игорь... Будем как боги? Выбирай: голова или брюхо? дух или тело? Тиль Уленшпигель или Ламме Гудзак? Дон-Кихот или Санчо Панса? чеховские Толстый или Тонкий? Примеряй к башке медные тазики, к брюху — кожаные пояса. А если ты не очень везучий и, как всякий взнузданный, лишен права выбрать свою собственную дорогу, — то можно и седло примерить к хребтине — ослиное или Росинантово; и такое возможно, и нет в этом кощунства; в конце концов, все мы — немножко лошади, как заметил поэт...

Всегда есть время сделать свой выбор. Мир-то вон уже сколько стоит и не меняется, в пороках ворочается. А почему? Да потому, что покуда не сделал решительного выбора и кровно не осознал: прежде чем изменять окружающий мир, надо изменить тот мир, который внутри самого человека. Ставки ценою в жизнь, но игра эта стоит свеч!

— А сколько стоит свеча для игры?

— Неважно. Важно то, что лучше зажечь одну маленькую свечу, чем всю жизнь проклинать темноту. Так сказал Конфуций.

- И это всё?
- А разве этого мало?
- Я не китаец какой-нибудь...
- Ну что ж, обратимся к Пушкину!
- Это другое дело. И что же он говорил?
- Он говорил: «Девиз России: Suum cuique».
- Да ну! Это ж... древнеримские греки или что-то вроде

этого...

- Тем не менее — каждому свое!
- Свое счастье?
- И свои мышцы...
- Своя судьба?
- Свой выбор. Так выбирай!

...Летели два гуся: один — серый, другой — на север.

Уже поспела осень. Благотворная пора рождения яблоков и Ньютонов. Кисло сладкими капельками вызрела бузина нашей жизни. Заседают возжигатели судебных лампад. Появляются на свет новые братья и сестры, сыны и дочери человеческие. И покуда еще не заржавела сталь — усталая, остывшая, постылая. Однако и у нее имеется свой выбор: или взлететь гимном человечеству к самому солнцу и выше, или разом покончить с одним из известных способов существования белковых тел...

2. ВЕЛИКОЕ ДЕЛО — ПОСТУЧАТЬ ПО ДЕРЕВУ!

Нет, не хрустнул карьер Ванечки Почекушина!

Свадьбу закатали на все четыре стола, и все четыре купец Карягин правил: первый, «красный», — от имени жениха держал в доме купеческом, Нил Гаврилыч настоял, чем нанес обиду немалую чете Почекушиных-старших, хотя и избавил их от изрядного расхода на выпивку и угощение; второй стол, «гарны», — для гостей прочих, не очень нужных и не очень серьезных; третий стол — «выводной», невестин; четвертый — почетный, родителей, и хоть этим, последним, столом малость заглажена была ущербинка в самолюбии Савелия Петровича, но все равно с тех пор он в дом Карягиных — ни ногой.

— Пренебрегаю, — говорил.

Приняли Ванечку «влазнем» в купеческий дом, зажили семейственно, богоугодно, по средам и пятницам пост блюли, по остальным дням — политес правили.

Пищик вскоре чучело медвежье откуда-то приволок, в сенях устроил, в лапы приспособил пару свечей, покуда без канделябров; бывший хозяин тайги — мохнатый, вонючий, с глазами осовевшими, точь-в-точь как у думного боярина, — гостей пугал, а одного — так и вовсе до смерти.

Решился как-то старший Почекушин в первый раз сына с невесткой попроведать, а перед этим предприятием водочкой причастился. Дверь в сени распахнул с шумом:

— Эй, влазень, игде ты тама? Встречай родного папашу! Али пренебрегёшь? Дак я вам всем тута стекла расколошматю!

Глядь — а на него из угла медведь таращится, пасть желтыми клыками ощерил, в лапах — свечечки поминальные.

«Вот оно, искушеньине винное! Самолично явилось. Вот и встренулись один на один... мадам твою мать!»

Перекрестился Савелий Петрович, ухнул да как шархнет своего извечного соблазнителя кулачищем по морде! Тот покачался раздумчиво и рухнул, подмяв под себя Почекушина. С медведем-то бороться Савелию Петровичу — все равно что с искусом похмельным, сам таковое признавал. Оставалось ему только изумиться: «В таку-то тварь душу переселяю, хосподи?!» — и очень просто помереть от сердечного отказа: пришла костлявая с косою, вдохнула в старого солдата жизнь загробную, а приходящим на небо, как известно, препонов не бывает...

«И оставиша останки младенцем своим»... Пук гусиных перьев, дом-развалюху и медную трынку, свернутую трубочкой во дни отцовских тревог и пьянственных сомнений.

Вот так и случилось, что после свадьбы — да похороны.

Но Карягин рассуждал философически:

— Покуда жив — все жив, а как помер — так и не стало.

— Не стало, — соглашался печально Ванечка. — Погиб геройски в борьбе с пьянством...

— Не тужи, — успокаивал тесть. — Жизнь приедается, а и к смерти не привыкнешь, Иван Савельич. А посему жить надо надвое: как до веку, так и до вечера ближайшего. Так вот, зятёк.

Ванечка по-прежнему в присутственное место ходил, должность исправно высиживал. Лизавета оставалась дома, слоны слоняла по комнатам, била мух, зевала в ладошку и натужно, по складам одолевала танцевальный регламент, что молодой муж для науки подсунул.

— Голову, — читала Лизавета, — надо не слишком подымать вверх, что могло бы показать гордого, не хотящего смотреть на другого человека, не опускать вниз, что показывает унижение самого себя и нерешимость смотреть на людей. Притом голову надлежит держать прямо и равномерно. Глаза, служащие зеркалом души, должны быть скромно открыты, бросая приятную веселость, рот не должен быть открыт, что показывает характер сатирический или дурной норов... Охо-хонюшки!

Зевает Лизынька, испуганно рот ладонью прикрывает, в створчатое зеркало глядится: «Эля как разнесло! Вскорости, однако, и в трюме не помещуся... Ах, Фелицитата Даниловна, мать-мачеха, хорошо тебе за папенькой жить, а вот пожила бы ты за чужим мужиком, как мне, бедной, приходится... Менуветы ему подавай, Ваньке-то! Э-эх...»

В карягинском доме Ванечка освоился быстро. Дворовую челядь обрядил в пудренные парики, в живописные галунные кафтаны елизаветинских бригадиров, ленты атласные (на манер кавалерских, орденских, через плечо) навесил. До сапог, правда, дело не приспело, так и ходили купецкие приспешники, именуемые на новый лад «камардинами», при полной парадности, но босиком; выступали также по-новому, походку переменили, ужимки освоили, обзавелись кто тросточкой, кто лорнеткой, кто трубочкой курительной, и на любое приказание хозяев отвечали с неперменной надменностью: «Пардоньте!»

Мундшенк особенную силу заимел, пребывал в фаворе у молодого хозяина и плевал с сей высоты на остатнюю публику, за что пищик не раз бил его по зубам и наставлял ласково:

— Никогда, мои шер, не плюй на правый бок. Некультурно сие. Потому как ангел-хранитель твой завсегда при правом боку содержится, а дьявол — при левом. Харкайся на леву сторону, скажи аминь и пяткой расшаркай. Понял ли, шер ами?

— Как не понять? Понял, шер аминь. Тока ето будет не жизнь, а сплошной роман-с.

— Что такое?

— Роман-с, говорю, будет при такой манере жизни.

— Роман или романс? Сиречь, петь али читать?

— Крутить-с.

— Пошел вон, дурак, — махнул рукой пищик, но тут же вернул мундшенка. — С тобой, братец, не соскучишься. — Потом сплюнул через левое плечо, сапогом припечатал плевков и потребовал рюмку подогретой мадеры...

Не все складывалось так славно, как с мундшенком. Сбежал, например, один из камардинов — бывший краснодеревщик, бывший мойщик трупов в городской прозектории, бывший бродяжка, бог весть как попавший в услужение к купцу Карягину. От Ванечки он получил невысказанное задание: все имеющиеся в доме лавки, табуретки и стулья переделать в течение недели в «рококовую мебель».

— Как сие понимать, Иван Савельич? — не понимал камардин — бывший краснодеревщик и т. д.

— А вот так-с! — отвечал пищик и дымящейся пахитоской выписал петушиный гребешок с замысловатыми кренделями. — Барокко! Рококо-с! Понял, дубина?

Вторично изумился камардин: «Страхи-то каки, Божечка! Сперва камардином обозвали, теперя вот мебелью куриную придумали... Не-е-е, вот раньше бывало: ругань не ругань — одна христаматия и все понятно. А теперя? Ну, ладно, горшком назовут — сие перенести можно. А ну, как тот горшок да в печь посодют? Неладно сие... Эх, барин, кукарекало ты нещасное, ну тебя к бесу!» Почесал камардин вшивицу — и подался в утеклые, в «бывшие», чьи интересы охраняла благословенная молитва: «Хосподи, прости, в чужу клеть пусти, помоги нагрести да вынести». С тем и сгинул бывший камардин.

Нил Гаврилыч Карягин, конечно, противился как мог новым порядкам, панибратству и прочим европейским тутти-фрутти.

— Холоп должен оставаться холопом, — выговаривал он зятю. — Ты сударь, и я сударь, а вить кто-то и присударивать обязан. Ежли все в машерах да в сударях ходить примемся, так некому будет и шапки перед нами сымать.

— Ты, папаша, сперва прожуй словечко, а уж потом сказывай, — сурово отвечал Ванечка. — И вобче, не суйся не в

свое дело. Скоро ишо не тое будет. Я вам тута всем такой машкерад устрою — Европа глаза выпучит!

— Сурьезно? Европа выпучит?

— Выпучит. Сурьезней некуда. А именно так: коло дома ранжирую устроим с арбузами. А промеж арбузов чучелы мраморовые поставим, статуй венус али венерус прозываемые.

— А медведя ж куды?

— Медведь нонсенс. Его пробазарим. А статуй венус намногожды изячней. Это девки такие, папаша, божественные, с невозможными прелестями, а также ихние сродственники небесные, как-то — папашки, мамашки, братовья, и все поголовно без штанов, в натуральном оголтелом обозрении. Называется — ревью. Мрамору ежели не сыщем, так можно из нашего бутового камня высекчи...

«Хе, хе, — покряхтывал Карягин, — и до чего ж язык человекий не договорится! Чучелы венерические. О языке, супостате! Однако же Иваны-то Савельичи хваты сурьезные будут! Хоть и живут поперек, зато глядят вдоль. Ихний бы язык, конешно, на подметки использовать—ввек обутики не сносить. А с обратной стороны што имеется? Евоные завирулины с завирушками опять же. Так то дело молодое, преходящее. Поживут свое — обещутся. А сии перемены? Хе-хе! Ишо Петр Великий говаривал, што по нужде даже самолутчему уставу бывает перемена. Но каково их терпеть-то в собственном дому, хосподи? Ох, ревью, ревью... от такового страму! Под собственной крышей — и ревью!»

— И крыша в дому худая! — продолжал Ванечка, расплясь. — Ето ж невозможное дело! Как господь Бог раздражится атмосферически, так и будет вам с потолка такая протекция, што хоть всех святых из дому выноси, а лодку — затаскивай...

Нил Гаврилыч в молодечестве на кулачках бился с соболятниками, с бедовым народом дела водил, слыл в общем-то не робкого десятка, а тут — скис, бедолага, потому что уж больно возрос пищик, на тестя стал покрикивать, пугать старика какимито рогатыми, поносными словами; короче говоря, поменялись мужчины местами в доме, ролями своими, а Фелицитата Даниловна к тому же всегда Ванечкину сторону держала, пособляла всем, чем могла, — словом и делом, душою и телом.

...В скором времени подступило и то, о чем пищик купцу намекал. Миг вождеденный, миг сладостный! Уложил Ванечка «государев поминок» в шляпную коробку, свистнул форейтора Фомку, личного купцова кучера, — и лихо заковыляла колымага в направлении к генерал-губернаторскому дому, увязая в несусветной грязи пополам с отходами гужевого транспорта, кои вкпе страстно обсасывали колеса и ступицы,

В роскошной прихожей (и медведь — вот он!) Ванечка удостоился приложения почтительного к ручке Катерины Андреевны.

— Нонче машкерад забавный затевается, — сказала Якобиха и неотразимо прищурилась. — Добро к нам пожаловать, Иван Савельич. С супругою.

— С которой? — растерялся пищик, покуда не свыкшийся с новым своим положением, статусом семейственным.

— Можно с обоими... шалунишка!

«Нет уж, — подумал Ванечка, — подале от тебя держаться буду, Катерина Андреевна. Все-то ты знаешь...» И направился к самому, к Якобию.

Иван Варфоломеевич вышел в гостиную в мягком шлафроке, в мягкой шапочке на темени, в мягких же туфлях с турецкими носками. Жестом выпроводил вон камердинера, сопровождавшего гостя, и вопросительно взглянул: «Чего, мол, надо? Докладай поживей, ничтожество!»

Ванечка бухнулся на колени:

— Ваше высокопревосходительство! Желаю решпект выказать вашей милости от лица благодарного чиновничества и купеческого сословия, кои в слезах умиления...

— Кажи, — перебил Якобий.

Тонким голосом взвыл пищик:

— Два решпекту! Один — тута (хлопнул себя в грудь кулаком, в сердечное месторасположение, а потом лбом об пол кокнул), а второй... в коидорчике...

— Ну!

— Токмо ради вашей высокой любезности... не для чего другого протчего иного, как для единственной любви и совершенного кумпанства... отец ты наш родный!

— Кумпанство это хорошо, — сообразил Якобий. — Я ведь и сам это сообщение уважаю, и ежели народ об чем просит, всегда приму. Так что давай... который в коридорчике.

Из рук в руки пошел Кирюхин соболек — по новому кругу.

— Ты уж заходи ко мне без стеснения, — сказал Иван Варфоломеевич, с Ванечкой прощаясь. — Забеживай запросто.

...Ванечка сидел в будуаре Фелицитаты Даниловны и взахлеб повествовал о том, какой подвиг он отмочил в генерал-губернаторском доме.

— Якобий мне прямо так и сказал: вы, говорит, Иван Савельич, нашему высокопревосходительству ужасно симпатичные будете, ко всему протчему тезкой доводитесь, так я, говорит, из вас второго человека в губернии после себя сделаю, к отличной медали скоропостижно представлю...

Пищик расположился по-родственному, в одном исподнем, босыми ногами по полу пошлепывал, Фелицитату Даниловну за ушком щекотал, а из-под кровати ее туфельки острые мордочки казали.

Купецкая жена качала головой, как китайский болванчик, со всем сказанным соглашалась и тут же спрашивала с любовной логикой:

— А не боишься ли, что наши услады старый хрыч пресекёт да тебе же напрягай устроит, как бывалоче?

— А оно мне надо? Уж нет.

— А всёжки, небось, потрусиваешь?

— Я потрусиваю? — презрительно фыркнул Ванечка. — Я, Фелица, чичас никого не боюсь! Всех куплю. А етот хрыч... Пуццай сперва догонит да пымает!

— Скажи, любишь ли меня? — допытывалась Фелицитата Даниловна.

Ванечка построжал.

— Милостивая государыня, — молвил, — я ваших намеков не понимаю. Кажись, оное дело, которое с амурами, у нас в шляпе. Так почто ишо спрашивать?

— Да вить ты все чегой-то думаешь, думаешь... Рази так любят? Када любят — не думают.

— Ах, Фелицитата Даниловна, некомпетентная ты женчина! С вами говорить надо, гороху накушавшись! Теперь самое время коммерцию подымать, негоцию разворачивать, мануфактуру налаживать — а вы все: любишь, не любишь... Што я вам, ромашка какая али другое чо?

— Дурак ты, — вспыхнула Фелицитата Даниловна и пальчиком по дереву постучала: вот, дескать, ты каков, изменшик!

Ванечка, услышав стук, подскочил:

— Прётся кто-то, а?

— Сиди уж, чувырла бестолковая, — ответила купчиха. — Сама открою...

Удивительное совпадение: именно в эту минуту в дверь и постучали — Карягин заявился, ногами чуть шоркая, на каждом шагу болезненно придыхая. Увидел любезных родственников, за сердце схватился, душою взвыл пиитически: «О, крокодилица! О, реву оголтелая! О, курва еси с котелком! Вот тебе, вот тебе!» — и кукиш в кармане сюртука сочинил. А на узких губах, кривящихся рваным розовым шрамом, какое-то хульное словечко в потугах корчилось, корчилось, да так и померло, нерожденное.

Пищик бочком к сапогам своим пробирался, хотел улизнуть без скандала, однако Нил Гаврилыч перехватил его у порога и шепотком поприветствовал:

— Эх, и надавал бы я тебе, шенок! Штобы тебя тута не то што чо, а вобче... даже не сидело. Да вот Бога боюся!

— И я бы надавал! — снахальничал зятек. — Да то же самое в Бога верую.

«Ну и слава тебе, Господи! Хоть один раз да пособил всамделе!» — подумала Фелицитата Даниловна, поначалу несколько оробевшая, и сказала громко и весело:

— Садитесь-ка вечерять... дуельщики!

Во время поздней мирной трапезы Ванечка поведал Карягину о своей визитации к Якобию в ещё более возвышенном и живописном изложении.

— Так вот прямо и абсолютно сказали мне ихнее высокопревосходительство: покеда, мол, ты, тезка, при моей единоличной особе состоять будешь — до тех пор я за сибирские дела и канцелярию буду спокойный и даже очень радый, и тебя,

дескать, никому в обиды не дам. Орден святыя Анны обещались выхлопотать...

Жвачное равнодушие вдруг одолело Нила Гаврилыча. И следа вдруг не осталось от недавних обид на жену, на зятя.

«Ну и пушай! — подумал бесстрастно, как кладбищенский сторож. — Дело ихнее молодое. А смычок да скрипица — складный дуплет будет. Убытку, кажись, не предвидится. Все мое тут! Вот оно как обернулось... Ну-ну, авось чего и выйдет из сего случая. Коли выйдет — будет пиво, а не выйдет — квас. А и квасок капиталу прибиток... Э-хе-хе, жизнь наша малиновая! Хоть кадиллом, хоть долбиллом — один хрен, хлебушко насучный добывать надобно...»

Оставшись наедине с супругою, Карягин посморкался в камковую ширинку, прочистил дых и выбрал свирепую позытуру.

— Как ты этак могёшь, Фелицитата Даниловна?

— Замолчи, пенек! — с места в карьер понесло купчиху. — Али не ведаешь, кто у нас в дому теперя самый главный и насущный мущина будет?

— Я говорю, как ты могёшь...

— Ишо раз замолчи! В чьих руках теперя дело купецкое, а?

— Не шумствуй, Фелицитата Даниловна, вопрос сурьезный. Я вить тебя пытаю што? Как ты могёшь такое небрежение допускать и благодетеля нашего Ивана Савельича босиком на холодном полу содержать? Зазябнет вить, сокол-то наш!

— Так бы и допрежь спрашивал... привереда, — помягчала жена и крутнулась на пятке — розовая, веселая, душистая.

Китайские драконы на новой вазе с цветами казали жалкие языки. Дразнились, что ли?

И еще один день свернул лавочку.

А за ним — неделя, месяц, год.

— Эхе-хе, — чесались в кабаках целовальники в первый день нового, 1788 года. — И што же это за народ нонче пошел? Хужей прошлогоднего...

Кабацкому философу пристало заливать — и не впервой!

Но вот, читатель и письменное свидетельство современника:

«...Не могу я не удивиться, в коль краткое время повредились повсюдно нравы в России. Воистину могу я сказать, что естли, вступя позже других народов в путь просвещения, и нам ничего не оставалось более, как благоразумно последовать стезям прежде просвещенных народов; мы подлинно в людскости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей, но тогда же гораздо с вящей скоростью бежали к повреждению наших нравов и достигли даже до того, что вера и божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в презрение впали. Гражданские узаконения презираемы стали. Судии во всяких делах нетоль стали стараться, объясняя дело, учинить свои заключения на основании узаконеней, как о том, чтобы лихоимственно продавая правосудие, получить себе прибыль или, угождая какому вельможе, стараются проникать, какое есть его хотение; другие же, не зная и не стараяся познавать узаконении, в суждениях своих, как безумные, бредят, и ни жизнь, ни честь, ни имения гражданския не суть безопасны от таковых правосудей. Несть ни почтения от чад к родителям, которые не стыдятся открыто их воли противуборствовать и осмеивать их старого века поступок. Несть ни родительской любви к их исчадию, которые, яко иго с плеч слагая, с радостью отдадут воспитывать чуждым детей своих: часто жертвуют их своим прибытком, и многие учинились для честолюбия и пышности продавцами чести дочерей своих. Несть искренней любви между супругов, которые часто друг другу, хладно терпя взаимственныя прелюбодеяния, или другия за малое что разрушают собою церковью заключенный брак, и не токмо стыдятся, но паче яко хвалятся сим поступком. Несть родственнические связи, ибо имя родов своих ни за что почитают, но каждый живет для себя. Несть дружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своя; несть верности к государю, ибо главное стремление почти всех обманывать своего государя, дабы от него получать чины и прибыточные награждения; несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей, нежели для пользы отечества; и наконец, несть твердости духу, дабы не токмо истину пред монархом сказать, но ниже временщику в беззаконном и зловердном его намерении попротивиться».

Строки сии принадлежат перу официального историографа двора Ея Императорского Величества, почетному члену Российской Академии наук, князю — Рюриковичу, Михаилу Михайловичу Щербатову. Интересно, что в издании лондонской Вольной типографии Герцен объединил под одной обложкой сочинение Щербатова «О повреждении нравов в России» с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву»; в понимании Искандера, это были «два крайних воззрения на Россию», однако их объединяло честное, следовательно, резко отрицательное отношение к делам и дням «Спасительницы Отечества»...

3. АКЦИДЕНЦИИ МИНУВШЕГО ДНЯ

Швейцары в генерал-губернаторском доме — все как на подбор здоровущие, из самых мордатых солдат гарнизонной команды: любому из них ровно ничего не стоило, например, ухватить посетителя за шкирку и вместе с шубой безнатурно поместить на вешалкин крючок; такое дело для них, как говорится, раз плюнуть, ну, два — в крайнем случае.

При разъезде танцевальных, картежных или иных прочих гостей швейцары распевали вышколенными басами и баритонами каждый свою партию:

- Карета его превосходительства подана!
- Коляска ихнего преосвященства!
- Тарантас евоного благородия!
- Галоши Ивана Савельича Почекушина!

На последний призыв пищик Ванечка реагирует как на явный афронт: запредельно жутким шепотом ругается «сволочью», но тут же сует возгласителю денежку и пеняет ласково:

— Што ж это вы, господин Будкин, себе позволяете? Я попросил бы вас...

— А попросите, — благосклонно ответил господин Будкин.
— Отчего же не попросить.

— Впредь — никаких галош! Ферштеен?

— Воля ваша, — охотно согласился швейцар. — В таком разе поспешайте до дому без галошков.

— Однако, в экипаже! — многозначительно добавил пищик. И монетку тоже добавил. — Понял ли, служивый?

— Так точно-с! Беспременно в ём, в экипаже, стало быть. В самолутчем. Покорно благодарим, вашбродь!

Ванечка презрительно сощурился и лизнул взглядом скобленный, мощный, кулаком выпирающий солдатский подборонок; и взгляд сей означал: «Эх, дядя! Чуть-чуть, да не сял я в галошу по твоей лакейской милости... Соображай, чего кричать надобно! А за тое соображение получишь ишо рублик. Плюс к тому — извечный кордияльный решпект²³. Што же касаемо до галош, так оными я не шибко нуждаюсь, потому как дома ишо имеются три штуки-с! Уяснил, дурак?»

«Уяснил, — ответил красноречивым молчанием дядя Будкин. — За гостинчик премного бла-а-дарствуем, перешлем его на деревню к Дуньке нашей, пуцай бабенка в энтих мокроступах развлекается. Машкерадов у них, правда, нету, так пуцай в коровнике назьмо давит. Али на божничку поставит для форсу, блеску и воссияния — заместо вербной веточки. И за монетку спасибочки! Солдату, слышь-ка, што малым ребятам — даже барабан в потеху, а уж еслив три деньги на день — так и лутче вовсе некуда: куды хошь — туды и день оные денежки! Служба-то нашенская какова? Коленей не подгибай да брюха не выставляй, не осаживайся и в середке не мотайся. Не служба — лакействие. От сего не отрекаюсь, што лакействие. По-иному не назовусь. Нашто? Вить я — не Пугач, и даже хоть царем скажусь, а все равно никто не поверит. Вот и есть я лакей, чужие милости лакающий, лишней копеечки алкающий... Да вить и ты, Иван Савельев, тоже чином не велик, видывал я такую мелочь пузатую! Кто ты есть у господ по табели? Не знаю. Но вот што думаю: кто бы ты ни был у господ — двери ли перед ними отворяешь али гумаги пишете — все единое лакействие. И так, и этак — входящие, исходящие... Тьфу!»

Не одним словом — но объяснились.

Ванечка выдернул из подмышки дяди Будкина свои галоши и выкатился в резные, огромные, на два раствора, двери, открывавшиеся грозно и весомо, точно Библия; возле таких дверей человек обычно съживается, маленьким делается,

²³ От лат. — сердечное уважение.

незаметным, незначительным, червем навозным; да что человек? даже исполинское медвежье чучело при таких дверях — уже не бывший Михайло Потапыч, не генерал Топтыгин, не властелин буреломный, но — бородатый дьячок или суслик, приподнявшийся на дыбки; двери — символ, аллегория, вход в биографию, равно как и вынос из нее...

Иван Савельич Почекушин, двадцати одного года от роду, вероисповедания православного, новый секретарь, тезка и конфидент давний генерал-губернатора Якобия, первый мазурист танцевальных вечеров («Мазурик», — называла его генерал-губернаторша, щурясь кошкою), — так вот, этот самый Ванька отныне полагал, что в своей биографии он уже не помещается, навроде того — как жена Лизавета в зеркалах. И таковых дверей — символических и прочее, и прочее! — Иван Савельич не пугались. Отнюдь, отнюдь!

В одно прекрасное утро канцелярский чижик (в чернилах крещенный, в гербовой бумаге повитый, с кончика пера вскормленный — сургучная душа, стрекулист, строганы голяшки!) щелкнул по носу свой вчерашний день, а вместе с ним и все недавнее, еще непереваренное прошлое: «Адье покедова! Сиречь прощевай!»

В то же прекрасное утро распарулся Ванечкин фатум, а попроче — судьба, а еще проще — жизнь-житуха. И не просто жизнь, но — малинник, воссияние райское, в коем по порядочку, по ранжиру выстроились «в одну ширинку» все возможные и невозможные, но одинаково шикарные и шинкарственные услаждения и утехи. Ну, конечно, и змей имелся, без сих пернатых тварей раёв не бывает. Впрочем, змей с Ванечкиным появлением как-то деликатно, без шума, лязга и с аккуратностью все более погружался в ничтожество, в червяка, в божью коровку, заметно сгорбился, понурился, стал бродить по комнатам неприкаянно, согнувшись и петляя, точно грибник или денежку потерял, и все думает, думает, все шипит по-змеиному о том, какой, дескать, передок разболтанный у его супружницы-резвушки Фелицитаты Даниловны, кунка-де разбойница еси, и Ванька-де кунак еси, почти однополчанин, и Господь, иже еси на небеси, воздаст по грешным заслугам каждому... Нет, Иван Савельич решительно не опасался генерал-губернаторских дверей!

Вот только солдата Будкина с дурацким именем Варахисий Ванечка, скажем так, немножко побаивался: язык у Будкина дорогой, не копеечный, и сей язык улаживать надо по одной немаловажной причине — вот какой. Уже и галошки пищиковы швейцары стали примечать, и самого пищика по имени-отчеству навеличивают, и Якобий под секретарским руководством твердит прописи танцевального искусства с прилежностью первого ученика, — а все ж нет полного счастья в душе Почекушина, поскольку не имелось своего собственного выезда. Обидно до слез, и душа от сего страдает; ведь и за светлой канцелярской пуговичкой какая-никакая, а живая душа околачивается...

Приходилось на лукавство идти — выкручиваться. Из дому Ванечка топал через весь город до избы мещанина Пупыкина, откуда до царства-канцелярства (но чаще — до места жительства Ивана Варфоломеевича) — рукой подать, всего лишь за угол поворотить. Топал ходко, юрко, сапожишки хоть и на фасонистом «рыбьем меху», но все ж не такое драньё, как у иного мальчишки-повытчика: сам в сапогах, а след — босиком, и след сей суть следствие, так сказать, причинности наличия отсутствия присутствия... короче, подошвы отлетевши к чертовой матери! Да-с. У ворот мещанина Пупыкина Ванечка, таясь посторонних взоров, некоторое время поджидал пустого извозчика, забирался в коляску с тем, чтобы через минуту вывернуть из-за угла, с шиком осадиться и, небрежно бросив слова с монеткою: «Кажись, приехали? Финита ля комедия!»²⁴ Возьми-ка за скорое умельство, голубчик», — покоситься по сторонам, на окружающие окна: а замечен ли кем его приезд? Когда же явных наблюдателей секретарского приезда не обнаруживалось, Ванечка дожидался оных свидетелей, упорно сидя в коляске, тянул время, торговался и свалыжничал из-за каждой копейки, за что был уже не единожды перекрещен кучерским матом и кучерским же кнутом; и от таковых конфузий Почекушин приходил в неистовство, лез в драку, а когда вылезал с Божьей и прочей помощью, то хвалился:

— Представляете себе, я этому хаму всю наличную видимость попортил, так что счас и не разберешь — где у него

²⁴ Комедия окончена! (*итал.*)

морда, а где физиогномия. А пушай не лезет под мою горячую руку! Смотрите, у меня весь кулак в кровянице...

— То не хамские кровя, — заметила однажды Катерина Андреевна Якобиха, промокая Ванечкин нос платочком с кружевными брюссельскими оборочками.

— Чьи же?

— Господи! Да ваша же, бедненькой мой!

— Да? — изумился Ванечка. — Тады ой! — И хлопнулся в обморок, поскольку доподлинно знал, что Катерина Андреевна обожает не столько марциальных мужчин, сколько «апаллончиков», и для сверхчувствительных персон мужеска пола двери ее покоев всегда открывались, урча смазанно и благодушно.

...О, эти двери! Вход и выход, вдох и выдох! И наисладчайшей одой дверям может послужить выписка из правил, высочайше утвержденных, по которым велено в шутку и всерьез поступать всем проходящим:

1. *Оставить все чины вне дверей равномерно, как и шляпы, а наипаче шпаги.*
2. *Местничество и спесь, или тому что-либо подобное, когда бы то случилось, оставить у дверей.*
3. *Быть веселым, однако ничего не портить и не ломать и ничего не грызть.*
4. *Садиться, стоять, ходить, как кто заблагорассудит, не смотря ни на кого.*
5. *Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих, тамо находящихся уши или голова не заболели.*
6. *Спорить без сердца и без горячности.*
7. *Не вздыхать, и не зевать, и никому скуки или тягости не наносить.*
8. *Во всяких невинных затеях, что один вздумает, другим к тому приставать.*
9. *Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги, выходя изо дверей.*
10. *Ссоры из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступят изо дверей.*

А если кто противу вышесказанного проступится, то по доказательству двух свидетелей за всякое преступление каждый проступившийся должен выпить стакан холодной воды, не исключая из того и дам, и прочесть страницу «Тилемахиды» громко.

А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен выучить шесть строк из «Тилемахиды» наизусть. А есть кто против десятой статьи проступится, того больше не допускать.

Веселенькие артикулы!

...Семейство вечеряло.

Молодая жена Лизынька сонно стыла за столом с мозговой косточкой в руках, так и не донесенной до рта.

Тесть Нил Гаврилыч, аппетитно чавкая, дохлебывал щи, то и дело прикладываясь к пузатой рюмочке с водкой.

Фелицитата Даниловна услужливо наполняла ту рюмочку и была говорлива, весела, румяна наподобие вышитой шелком «Девы Невинности», в новом демикотоновом платье с траурными нашивками-плерезами, которые пристрочила в знак скорби по Ванечкиному родителю, и вот уж сороковины прошли, а она не спарывала плерезы, поскольку была в них совершенная чаровница: чувствовала нутром и кожей, а также — посторонними взглядами.

Ванечка — в центре стола и внимания.

— Сделайте, папаша, декларасьон²⁵: каково нонче с торговлишки воротились? Со щитом али на щиту?

Нил Гаврилыч шумно ложку облизал и ответил достойно:

— А на щету у купечества мы известные! Токмо со щётом нонче не шибко зазвонисто вышло. Завозно было чужого товару, вот и не весь свой разбазарили. Какой, стало быть, щёт? Грош да деньга, рази ето прибыток?

Лизавета открыла один глазок и спросила строго:

— Почто так громко чавкаете, фатер?

— А што? — перешел на шепот Карягин. — Ктой-то спит уже?

²⁵ Объявление, признание (франц.).

Оказалось — никто не спал, просто придираются домо-
чадцы, ковы и издевки строят! Нил Гаврилыч и сам, без сопли-
вых, отлично хорошо понимает, что при почивающих шибко
чавкать некультурно; а эти — всё умничают, европейские манеры
выказывают, философы, а на деле — што еси? Ревю оголтелые!
Карягин попервости-то считал, что философы мало едят, много
думают, да все о потустороннем, не имеющем касательства до
жратвы. ан нет! У зятка чертова всё наоборотно получается:
молотит, подлец, — ажио за ушми трещит, монастырскую коври-
гу враз за щеку мечет. И откеда у вьюноши такой жор нена-
сытный? У Лизаветы, небось, слизал. Эх, эх, паразиты! Старому
человеку обиды чините... Чем чавкать-то? В зубьях полный
убыток наблюдается. А што нащёт брашна²⁶... Так рази это еда,
шти-то? Так себе, мокрая чашка, а не шти... Раньше, бывало,
завернешь ломоть хлебца в блин, а вокруг обеих рук — мясо,
мясо... Вот это был щёт так щёт! Тогда мы и у Фелицитаты
Даниловны на хорошем щету слыли...

— Вот што, — сказал Нил Гаврилыч, — ты мне, Иван Савель-
ич, когда деньги возворишь?

— Какие деньги?

— Рази не помнишь, как я у тебя наемни в карты
беленькую²⁷ выиграл?

— Как же-с, помню, — ответил зять. — Всё правильно.
Токмо не сто рублёв, а красненькую десятку. И не выиграла вы,
папаша, а проиграли-с. Ремиз у вас случился.

Не успел Карягин удивиться Ванечкиному нахальству, как
уж Фелицитата Даниловна вступила:

— Как чичас помню, был у вас, Нил Гаврилыч, взятко недо-
бор.

— Угу, — буркнула Лизавета, — ма-а-ленький такой реми-
зец. — Показала кончик мизинца и покраснела с непривычки,
врушка этакая.

«Ах ты, господи Иусе, — мысленно возопил Карягин, —
опять невпопад! Ну, сродственнички! Ну, философы! Да штоб ты
разорвало, сопливца, пополам да в черепья, Иван Савельич! Да

²⁶ Еда (устар.).

²⁷ Сторублевая ассигнация

штоб те, Фелицитата Даниловна, ежа супротив шерсти родить! Да штоб те, Лизынька, в публичном собрании опрудиться! У кого ремиз? У меня ремиз?! Нет, довольно, хватит с меня! Растерзаю полюбовника жениного, а жене своей прикажу бочку слез наплакать, тогда, дескать, прощу и от всех кладовушек ключи подарю на вечное пользование... Ре-ми-и-из!»

— Не огорчайтесь, папаша, — успокоил Ванечка тестя и присовокупил с нежностью: — Известное дело, чем человек старше, тем и дурее, и память прохужается. Плюньте на тот ремиз! И про должок забудьте. Я вить про теи деньги-то и помнить забыл. Зато нонче я вас в иную игру выучу, наимодную. Вист-руаяль называется, сиречь королевский вист. Пятьдесят две карты на четырех игроков...

«Ага, как же! — подумал Карягин. — Тороплюся! Пряма-таки разбежался поиграться с вами, мошенниками! Вис-труляля... Хрена вам, бессовестные вы люди!»

Ванечка, разъясняя правила новой игры, подмигнул Фелицитате Даниловне: угащивай, дескать, старого хрыча, расстарывайся.

А та и рада стараться — спаивать обезволевшего старика губительной рюмочкой до положения риз и даже ниже того; уж совсем терпеть не могла она супруга своего, залег он валуном на ее дорожке, ни пройти, ни проехать, разве что — отвалить на обочину; и так ужо зажился Нил Гаврилыч, пора и совесть поиметь; а на том свете для него давно уж и провиант припасен крылатыми фуражирами, так что — давай, дедушка, с Богом!

Карягин с кряком осушил посудинку, все как есть понимая умом купеческим, практическим: отчего к жене такая щедровитость навалилась, — и желал теперь плевать на все убытки, чихать на домашнее расточительство, наоборот, взалкал решительно все сожрать: щи, амбары, Фелицитату Даниловну, медвежье чучело, клавикорды, всё, решительно ничего не оставлять после своего неминуемого ухода в те края, откуда не возвращаются. Махнул рукой и — вылился за порог с тем, чтобы до третьих петухов шариться, ширкаться, шоркаться, шингаться по вздыхающим и всхлипывающим половицам этого чужого, беспамятного дома, отрекшегося от своего хозяина..

....Лизынька чмокнула финифтяную иконку работы мастеров из Ростова-Великого, перекрестилась и уже в постели выдохнула — стельно, с тягучим дыхом:

— Дитеночек у нас будет...

— Да? — изумился Ванечка. — А оно мне надо?

— Што это вы, Иван Савельич? Кажись, нерадые?

— Ништо. Забавно сие, — сказал пищик и продолжил про себя: «Истинный крест, забавно по два раза на день от двух баб одинаковые лексикки выслушивать. А и то забавней будет, ежели по учреждениям слухи зазудятея: родился-де у секретаря Почекушина сынок, правда, евоная жена (какая?) об этом факте ишо не знает... Фарса! А оно мне надо?» — ...Забавно сие. А што делать? Пушай будет дитеночек, — закончил вслух.

— Правда? — оживилась Лизынька.

— Истинная. Даст Бог, ишо настрогаем. Семерых. И всех до единого по лавкам рассадим. По торговым. А?

— Вот и славно, вот и бравенько получится, — согласилась жена, счастливая, и уже деловито-озабоченно продолжила: — Тока вот што, Иван Савельич: в постеле обращение на «вы» нам совсем неуместное. Када вы... выкаете, мне чудится, што окромя меня ишо одна дама возлежит.

— Где тебе чудится? — зашипел Ванечка.

— Вот тут, с. крайчика.

— Тьфу, дура! Напужала. Перекрестись, коли чудится. И спи давай. А мне идтить надо. Деньги считать.

В угловой комнатушечке у пищика имелся кабинет, где по вечерам он подсчитывал и заносил в особый реестрик выручку — акциденции минувшего дня. Рублик к рублику, копеечка к копеечке — и все свои, кровные, взятошные, и отчитываться за них надобно только перед самим собой да еще пред господом Богом, а что касасемо до жены... Лизавета, кажись, уже третья — стало быть, лишняя. Все верно: нельзя обнять необъятное.

Почекушин вдруг вспомнил столоначальника «обезьяна», который, как всем известно, крепко пьет, посему частенько перекаливает семейный очаг, однако же прославился не тем, что пил, а тем, что супруга его — пила: уж такая пила зубастая и такая неадекватная столоначальниковой должности, что ни в какие ворота не лезет.

— Считаю, — пилила пила, размахивая веретешечком, — до десяти разов. Выбери, вырод этакий: или ты с первого разу выдашь мне все свое жалованье до копейки, или я тебя девять разов вот этой самой... по башке удовольствую!

Понятно, при такой ревизии до собственного экипажа — все равно что отседа до Китайской стены.

А экипаж Ванечке—ой, как надобен, именно собственный выезд, поскольку тесть еще не помер, а куда жив — своего не выделит, скорее зарежется.

Почекушин ласкал, разглаживал ассигнации, столбиком монеты громоздил на лавке — и мерещились ему гордая слава и почет, и лакированная коляска, и собственные заведения {«Почекушин и семеро сыновей») с различными вывесками... «Продажа разных мук, а также немолотой пшеницы»... «Трактир для приезжих и проходящих с обеденным и ужиным расположением»... «Мужественный портной, он же для медам-с»... Господи, господа, что можно сочинить, капитал имеючи? Все! И для медовой службы, и для медовых медам, и для домашности. Вот, к примеру, мебель. Делал дурак-столяр барокко, сбежал, осталась работа половинная, сиречь рококо. И дотянуть сии постройки нужно до полной кондиции — как в Якобиевой танцевальной зале. Вот уж где рококовость! Вот уж где грациозно приседают не только что кавалеры с дамами, но даже мебель такая танцующая, с гнутыми лапками, рококовой самых что ни на есть роковых баб! О, эта сияющая зала! Там раззолоченные городские фазаны неотделимы от «куриных» стульев, яко стультусы — от болванов²⁸... Ну, поехали далее. Дом. В дому — обманства много. Взять тот же камин в углу — художество, на старой простынке рисованное. В другом углу — ширма, на коей намалевана жардиньерка²⁹ с чайными розами, и ни хрена те цветы не пахнут ни чаем, ни розами. Опять же — одно окно в зальце досками заколотили, по доскам щекатурку наложили, а уже по щекатурке изображен вид в Европу: венецейские каналы с гондольерами, свейские пушки с ядрами и французские Людовики с восьмого нумера по четырнадцатый...

²⁸ Игра слов: стультус (*лат.*) означает «болван».

²⁹ Подставка для цветов

Все это потребно вымести и заменить натуральностью, чтоб камин горел, розы воняли, и без всяких там Людовигов, ибо в наших палестинах своих людоедов хватает под завязочку, от Иркутска до Санкт-Петербурга раком ставь — не переставишь...

Иной вопрос: а где капиталу для сего предприятия изыскать?

Единственный способ — акциденции, барашки в бумажке. С накоплением же надобно поспешать, покуда карта по масти прет, покуда пятый туз в большой игре безотказен. Времена переменчивы, не зря папенька покойный сказывал о том, что середовая пора одним днем держится...

Пару дней назад Иван Савельич краем уха слушок зацепил: ходит-де промеж людей странничек беспальный, Куксой кличется, народ баламутит, пошугивает, поущает, скалозубится и пересмешничает:

— Я, дескать, смешной, да не с мошной. А кто с мошной — тот и есть сущий мошенник. Ибо плут из Плутоса вышел, яко богатство — из кумира иноземного. Одумайтесь, православные, што с вами сталось и куды идете? Камо грядеши? Истинно витийствую: трын трынит на святой Руси, да протрынится еси! Так раздадим же поскорее, братья, всем богам по сапогам, пушай от нас убираются в поганых европствах людям головы морочить, удами груши околачивать. А нам, хрестьянам, денежка не родня! Кабы была родня — так все бы кумились. А вы — кумитесь ли, православные? Нету сего. Златому тельцу души свои бесценные продаете. Могилы дедовские паскудите, люди! И боком вам выйдет оная катавасия. Опомнитесь! Ишо Сенека говорил: кому выгодно?

— Во дает! — почесывались люди. — Кота Васю помянул... Японца какого-то Сенеку... Да ты понятно скажи: што ж такое душа, мил человек?

— Сострадание, — отвечал Кукса. — Человечность супротив зверства в человеке. Когда оне единоборствуют — человеку больно становится, и называется сие: душа болит. А другой вопрос: неужли оно такое вечное в человеке — зверство-то? Неужли надо сначала в огне оплавиться, кровью перемешаться с ближними своими, слезами горячими изойтись, — чтобы возлюбить после этого человека в человеке? Неужли нельзя просто — жить по-людски, солнцу радоваться, глотку воды, ка-

равайчику хлеба, робить на земле и детишек растить? А? Так вы почешитесь, люди, почешитесь, не за ради бога — за ради себя! Почешитесь-ка в душе своей, а не в том месте, где обретаются воспоминанья о ваших батожных наказаниях. Эх вы-и-и...

Выл волком одиноким странничек.

...Иркутский полицеймейстер дал честное благородное слово генерал-губернатору сыскать баламутного странника и пришить ему язык ниже пяток.

Ванечка Почекушин не сомневался, что так оно и случится: экзекуторское и сыскное искусство стражей порядка, натасканных на традициях «слова и дела государева», оставались весьма похвальными и при императрице Екатерине Секунде. Нет, не сомневался. Иное глодало Ванечкино нутро: и верхи, и низы, растаскивая казну, вдруг одновременно и резво заговорили осудительно о мздоимстве как о первейшем из российских пороков; и в оной пасмурной погоде Ванечка страшился потерять ту наивную подъяческую невинность, которая была поощрена получением в лапку первой взятки.

На всякий цветок пчелка садится, да не со всякого поноску берет. А кто из людей знает, где та граница, за которой — уже нельзя? Легко нельзякать, а вот поди угадай: где кончается кордияльный решпект и начинается преступление державных законов? Деньги — они как пьянствие: втянулся — засосало, только подавай, чем больше дуешь — тем пуще хочется, и в два счета человек сковыривается с круга жизненного; водочка — она хоть и называется по-латыни «водой жизни», аква вита, — однако же касательство ближе к смерти имеет; вон, папенька; вон, Нил Гаврилыч спекся, чуня нанайская: пиво, водку, медовуху, бражку недобродившую — все подряд глотает, полиглот чертой! Нет, в зельном ублажении ни выбора, ни выхода не сыщешь, это точно. Так где же он, этот выход?

Ванечка считал: в чувстве меры. И при этом не раз вспоминал историю одного иркутского охотника, приятеля покойного батюшки. По таежной примете, на сороковом медведе ждет промысловика неминуемая беда. А тот охотник уже тридцать девятого завалил! Но посулили ему жирный куш — он и пошел, не поостерегся. Меру свою, видать, испытать хотел, да только с тем испытанием и сгинул — по жадности своей,

...В доме было тихо-тихо. Ни сверчка, ни мышки. Лишь похрустывали половицы и где-то в сенях слышалось жалостное монотонное мычание: это в совершенной дистракции³⁰ шарахался на полу пьяненький Нил Гаврилыч и выводил чуть задушенным, однако задушевым тенорком:

*Уж как веет ветеро-о-ок
Из трактира в погребо-о-ок...*

«Значит, так, — рассудил Ванечка. — Перво-наперво — беру. И буду брать. По слабости своей. Вить слаб человек? Слаб и ничтожен. Ударь его разок палкой неструганой по кумполу — он и тю-тю, сиречь готовый. Но через тую слабость можно силу набрать великую. А набрав — сам давай в лапку кому следует. И при этом не виляй, клиент, хвостом! Тогда и наступать не будут! Иначе нельзя. Иначе — сожрут. Иначе — будешь подобен вороне в царевых хоромах: почету много, а полету нет... Артикул второй: бери, давай — и не забывай на высокого начальника катить свою бочку с медом. Сия метода — соединение манеры с маневрами, кои папенька покойный до самой своей гибели не отличал, спутывал. Бочка и мед. Сии компоненты могут и раздельно, сами по себе, весьма дельными и полезными быть: мед усладит, бочка придавит... Вот она, бочка-то, тута, своего часа дожидается!»

Ванечка вынул из внутреннего кармана сюртучка свернутый в тугую трубку александрийский лист³¹, на котором своеручно составил подробный реестр акциденциям, поднесенным генерал-губернатору Якобию от многих военных и гражданских чиновников, а также от лиц подлого звания; все тут записано аккуратно, с великим тщанием, по состоянию на нынешнее число — января 10 дня в лето 1788 от Рождества Христова. Списочек помогла составить, сама того не подозревая, Катерина Андреевна, кошка влюбчивая. Не простая бумаженция — документ, который при случае позволит самого Якобия к ногтю прижать, на поводок посадить. Стоит лишь намекнуть: имею, мол, государственный интерес до вашего капиталу, ваше высокопревосходительство! Или — при нечаянной обиде — втай

³⁰ Растерянность (франц.).

³¹ Плотная белая бумага большого формата.

препроводить сию бумагу в Санкт-Петербург. Что будет? А будет то, что на цыпочки скакнет Иван Варфоломеевич да так и будет ходить, мягким образом, на цирлах; авось тогда и с Почекушиным делиться барышами начнет. Что же относится до предательства, коим Якобий попытается заклеить своего конфидента, — так у конфидента зигзаг наготове, перед высоким Сенатом, матушкой императрицей и самим вседержителем небесным: ревностное рачение о пользе Отечеству.

...Рассуждая таким манером, Иван Савельич Почекушин уже не краснел, как бывало ранее. Он бледнел, ибо сознавал, что задумка его хоть и новаторская, но зело страховитая. И уж совсем не думал о возможных потерях, убытках. Он думал о приобретениях, только о них.

Что ж, не обязательно угроза больших потерь заставляет человека идти на предательство. Чаше всего бывает как раз наоборот.

4. «И В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЧИТАЛИ!..»

Что было — то было... Санкт-петербургский цензор Гедеонов запретил постановку двух пьесок: «Госпожа Вестникова с семьею» и «Именины госпожи Ворчалкиной». Отзыв Гедеонова на рукописи был уничтожающим: «Все сии пьесы замечательны пошlostью своего содержания, незнанием русского языка и частым употреблением ругательных слов».

Бедный цензор! Он и не подозревал, что наводил критику на сочинения императрицы Екатерины Секунды.

— Запрет наложил? — нахмурилась Екатерина Алексеевна. — Ладно. Завтра он у меня в штаны наложит, фитюк³² этакий!

...В последнее время государыня не без спотыкачки, но с удовольствием душевным занималась переложением немецкого сочинения на язык российских осин. Понимала государыня: дубово получается, нескладно, но ведь по-русски и слов таких не сыщешь, коими обыкновенно щеголяет просвещенная Европа! И еще она понимала: с ломоносовскими грамматическими премуд-

³² Ругательство, произведенное от буквы, напоминающей женский половой орган, Ф (фита) и считавшееся особенно унижительным для мужчин.

ростями ей, российской императрице, ни в жизнь не совладать, как ни тужься. Вот хотя бы словечко взять — «еще»! Три буквы всего — а мороки на три дня досталось, покуда отвыкала от своего прежнего, столь привычного для руки написания — «исчо», вызывавшего нескромные академические улыбки.

В переводимой немецкой книге Екатерина Алексеевна наткнулась на одну неожиданную фразу, поразившую своей откровенной русскостью; и в оригинале, и в переводе она понималась просто и понятно: «Сам живи и другим дай пожить». Дивно сказано! Записала, перечла — и замерла в известной портретной монументальности, мудрствуя: «Да неужто российские невтоны и плутоны до сего абсолютного константа с а м и домыслиться не смогли?»

Размышления не покидали императрицу и в утро следующего дня, когда ей доставили для ознакомления и собственноручного наложения высочайшей резолюции сафьяновую папку с судными бумагами относительно генерал-губернатора Иркутского и Кольванского, первого наместника Ея Императорского Величества и кавалера орденов святого Георгия III класса, святой Анны I степени и святого Александра Невского, генерал-поручика Ивана Варфоломеевича Якобия.

Екатерина Алексеевна погладила юного невыспавшегося фаворита по щеке с неразгладившимся рубчиком от подушки — и воспламенилась на государственные дела:

— Читайте, друг мой Платошенька. Я вся — ухо...

Граф Платон Александрович Зубов поморщился, зевнул («Вот уж где мне ваша платоническая страсть, матушка!») и раскрыл папку судебную: там и суд, там и судьба.

...Отец Якобия — Варфоломей Валентинович в 1747 году исправлял должность коменданта в Селенгинске, когда к нему заявился из столицы сын-прапорщик, молодой человек двадцати одного года, выпускник Сухопутного кадетского корпуса. Под отцовым крылом ему стало уютно и сытно, войны не наблюдалось и покуда не предвиделось — чего же еще желать? Солдат спит, служба идет. И хоть говорилось: курица — не птица, прапорщик — не офицер, — Иван Якобий не озабочивался будущей карьерой, дай Бог, все образуется со временем, а покуда служба не обременяла, прапорщик покучивал, волочил за гарни-

зонными мессалинами, в караулах картишками время убивал. Правда, несколько раз довелось и серьезные поручения исполнить — доставить в китайскую столицу важные государственные бумаги. В 1759 году Иван Якобий был уже маиором, через девять лет — полковником.

После кончины отца Якобий ринулся в Россию из провинциальной глухомани. Отчетливо сознавая, что полковник, не нюхавший пороху, есть нуль без палочки, Иван Варфоломеевич в спешном порядке определился под знамена фельдмаршала Румянцева, громившего в ту пору турецких янычар-нехристей, участвовал в нескольких крупных баталиях, а по заключении мира с Блистательной Портою в 1774 году высочайше благодетельствован пятью сотнями душ в Белоруссии.

Последующие два года Якобий губернаторствовал в Астрахани, еще помнившей смутные времена Артемия Петровича Волынского, проклинаемого и равно жалеемого. В 1779 году Якобий получил чин генерал-поручика, через два года открыл Саратовское наместничество, а потом был перемещен для исправления должности Уфимского и Симбирского генерал-губернатора с одновременным командованием Оренбургским полевым корпусом. В 1783 году Ивана Варфоломеевича посадили на Иркутское наместничество... Вот такой послужной список.

Доносные листы из сафьяновой папки утверждали, что, будучи императрицыным наместником и как бы представляя в сибирском обществе ея портрет, Якобий дозволяет себе и царское самовластие, что противно его чину и обличию; а живет роскошно и открыто, потрачивая в год несметную сумму в 35 тысяч рублей; а одной прислуги имеет количеством 75 душ мужеского и женского рода; и содержит четыре десятка человек музыкантов, громогласно заявляя, что оным обзаведением заткнет за пояс и переплюнет почтенного оберегермейстера великодержавного Двора Дмитрия Львовича Нарышкина, содержащего рожечников и прочих дудошников для законного увеселения царицыной охоты; и ту команду музыкантов Якобий называет всепублично нотенными значками «фа-ми-ля», что противно и недостойно, а также поносно для высочайшей фамилии; и хоть росту Якобий высокого, с красивою и куртуазной наружностью и наличностью, и довольно изъясняется по-

иноземному, однако же при оных несомненных достоинствах берет непомерные акциденции, и все больше — соболями, сиречь «государевыми поминками»; а еще Якобий и дочь евоная Анна, известная придумщица, придумали феатр и ставят удивиль за удивилем, набрали фигуранток неподобного телосложения, дабы оные девки-ревью бесстыдно и голо крутились перед публикой на одном токмо ножечном пальце, что естеству и натуре опять же противно и нелепо; а еще набрали гарнизонных солдат в швейцары, а из швейцарства определили прямо в хоровые певчие, а их петь не могут, потому как слов не знают, только мычат и усы раздувают; а на том феатре когда скрипка пиликает — сие означает, что ангелы вздыхают, и правительствующий Сенат должен разобраться и сего блядословия не допускать, потому как ангелов изображают малые ребятишки обоего пола, кои подвешены на веревках к потолку, и сии детишки отнюдь не по-ангельскому вздыхают, а наоборотно сказать — верещат, а один так и вовсе помер, повиснув вниз головою по причине дуновения зефира; а всенижайшего вашего провинциального секретаря Ивана Савельева сына Почекушина, верноподданнейшего раба и овечку Божию, однажды для феатра обнажили до кожной натуре и покрасили белою краскою, и при сем декларацию сделали: ты, дескать, отныне будешь дикаряция и быть тебе таковой на два позорища³³, не умываясь; посылаю тебе, матушка государыня, наиподробный реестр акциденциям воровским генерал-губернатора Якобия и к учиненной мне красочной обиде нижайше присовокупляю, что Иван Варфоломеевич выписал из Европы континентальную легавую суку, коей Анна Якобиха придумала аглицкое имя Леди, и посему я шибко опасюсь, как бы не вышла война с британскою короною из-за сего сучинога маневра; в сумме суммарум, государыня, — погибаю за идею; но мы за ето дело всегда готовы с радостию сложить голову; фигурально и пиитически выражаясь возвышенным слогом, погибаю не просто за хрен собачий, а за евоную сучность, сиречь идею и умственный смысл — ето другое дело; тока ты нам, Ваше Императорское Величество, под зад направление дай, а уж мы в губерниях расстараемся, всё тебе

³³ Представление, зрелище (*устар.*).

докладём и докажем: что было, что есть, что будет в жизни, а что выбудет...

«Ах, трапезнички мои, трапезнички, — подумала Екатерина Алексеевна, — все-то вы толкаетесь возле казенного корыта, все-то вам не хватает», — и вздохнула пышными грудными мехами.

— Довольно, друг мой Платошенька. Много ли еще бумаг собрано по делу сему?

— Преизрядно, — зевнул граф Платон Александрович. — Только не пойму я: нашто столь великое множество? И половины довольно, чтобы осудить вора. А не лазь в казну! А не хапай! Почто берешь... чужое?

Императрица ласково глядела на фаворита («Майн киндер, зубик мой последний!») — и пеняла ему, сюсюкая и строя дурашливые гримаски, точно мать — детенышу, пытаясь этим притворством приблизиться к его очаровательной несмысленности и тем самым сократить почти сорокалетнюю разницу в годах.

— Уж больно горяч ты, любезный Платошенька, сил моих нет!

— Да, я горяч! — соглашался Зубов. — И я ему покажу, прохвосту!

— Остынь, мой друг, — урезонивала его Екатерина Алексеевна. — Горячность токмо в альковных делах потребна, но не в государственных. И на скорый суд нет моего согласия. Помнишь ли, Платошенька, что древние греки сказывали по сему поводу? «Платон мне друг, но истина дороже». Каково? Будто бы промеж нас с тобою разъяснение вышло.

— А что же мне с ним делать, матушка? — надулся граф Платон, озабоченный. — И как пресекчи злодея?

Императрица улыбнулась:

— Судить Якобия судом Сената и... помиловать. А сподручнее, наоборот, сначала помиловать, а уж потом судить. Разве мы варвары какие? Сами живем, а другим жить не дадим? Нет уж. Якобия надобно в столицу нашу отозвать, а секретаря-доносителя позволительно будет к властям иркуцким приблизить, яко пекущегося о благе Отечества нашего и просвещения... Бери перо, друг мой, пиши указ...

Зубов придвинул кожаный бювар с коронными вензелями, макнул перо в чернильницу из горного хрусталя и застрочил под диктовку государыни:

— Читано перед нами несколько тысяч листов... пиши тысяч, Платошенька, не смущайся, в государственных делах великие объемы нужны... несколько тысяч листов под названием «Иркуцкие дела», в коих мы ничего не нашли, кроме гнусной ябеды и сплетен и прочее, и прочее...

«В самом деле, — думал Зубов, — сколь страшно бывает казенное: поддержишь — да невзначай за пазуху! А за сие не милуют! Ах, подлец Якобий! Наших соболей — да в свои амбары скрадывает! И ведь как легко отделается, вор! Уже, почитай, отделался...»

Екатерина Алексеевна размеренно диктовала указ, ногу на ногу вальяжно покачивала, а в руках вертела томик «Творения велемудрого Платона», напечатанный три года назад в переводе господина Сидоровскою. Диктовала, покачивала, вертела и тоже думала — не об указе, пропади он пропадом, — а все о них, о Платонах. По мнению «велемудрого», в колесницу человеческой души запряжены два коня — конь мужественности и конь вождения, а в самой колеснице восседает Разум. Так вот, велемудрый, уясняй: когда увядающая, но еще не увядшая женщина видит перед собой этого красивого, капризного и глупенького мальчишку, графа и кавалера высших российских орденов, — тогда оба коня ее любвеобильной души самовольно забираются в колесницу, запрягают вместо себя Разум и начинают его нахлестывать... «Ох, граф-графеньш, графинчик, сосуд скудельный, мука ты моя... Всего-то и добра в тебе, што — сосуд да нежная младость, а так... дурак дураком и уши холодные... А не навесить ли тебе, мин херц, еще один орденок? Скажем, за нежность...» Императрица мысленно перебрала статусы кавалерственных отличий и остановилась как на подходящем к случаю ордене «Освобождение», коим еще в петровские времена награждались придворные дамы; имелось, впрочем, одно исключение: тринадцатилетний Сашка, сын светлейшего князя Меншикова, получил сей орденский знак за «женский характер и застенчивость»; не дать ли сию кавалерию графу Платону? Не осерчает ли?

— И в этот день мы больше не читали, — вслух вспомнила Екатерина Алексеевна строчку из Петраркова сонета.

Зубов аккуратно дописал: «не читали» — и поставил кляксу, потому как государыня потянула его за полу ускользавшего из ее пальцев атласного камзола...

Вот имена! Екатерина Вторая, два Платона, Петрарка и Петр Великий, чья тень виновато витала над будничными деяниями «Спасительницы Отечества».

...Язва, разъедавшая систему российского управленческого механизма, в особенности судопроизводство, имела точное наименование: взяточничество.

Распространение этой общественной пагубы в известной мере было связано с процессами перестройки деятельности административного аппарата, вызванной реформами первой четверти XVIII столетия.

В 1722 году Петр I издал «Табель о рангах». Это нововведение не только упорядочивало чертову чиновничью свистопляску в более-менее стройную иерархическую систему, открывавшую путь к дворянству талантливым выходцам из иных сословий. Появление «Табели» было продиктовано самой жизнью — образованием коллегий и департаментов, быстрым возникновением огромного числа бюрократических учреждений, ведавших управлением и делопроизводством в центре империи и на периферии. Вместо прежних «приказов» Петр I создал 12 коллегий, главными из которых считались военная, морская и иностранных дел. Финансовыми делами государства занимались три учреждения: доходами — камер-коллегия, расходами — штатс-коллегия, контролем — ревизион-коллегия. Делами торговли и промышленности ведали коммерц-, мануфактур- и берг-коллегии. Ряд завершали юстиц-коллегия, духовная коллегия (Синод) и главный магистрат, управлявший городскими делами.

(Нетрудно убедиться, какое колоссальное развитие получили за последние 250 лет техника и промышленность: делами, коими в петровские времена ворочали всего лишь два учреждения, в наши дни управляют около 50 министерств!)

Резко возросшему чиновничьему аппарату государство обязано было оплачивать исполняемую, работу. Однако содер-

жание новой, регулярной армии, создание флота и осуществление множества крупнейших строительных проектов отсасывали средства из казны, и денег на оплату труда низшего чиновничества попросту не хватало. Где изыскать эти средства?

Петр I решил вопрос путем введения практики акциденций: установив постоянное жалование канцелярской верхушке, он официально разрешил низшим служащим коллегий и судов пользоваться доходами от добровольных подношений со стороны челобитчиков. Джинн из бутылки был выпущен — и вскоре подобная форма оплаты превратилась в источник вымогательства и коррупции. Тогда и сложилась в народе присказка: дерет коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа приказный, а приказного — аж сам черт! Буйно расцвело древо сие!

Практика акциденций сохранялась вплоть до восшествия на престол Екатерины II, которая предприняла целый ряд отчаянных мер для искоренения мздоимства. 15 декабря 1763 года последовал манифест с длиннейшим, как рубль, названием: «О наполнении судебных мест достойными честными людьми; о мерах к прекращению лихоимства и взяток; о взимании с 1 января 1764 года по приложенному реестру положенных по новым штатам на жалование разных сборов и об отсылке оных в Штатс-Кантору». Этот замечательный документ определял источники средств, которые отныне правительство выделяло в виде постоянного, твердо установленного жалования для чиновников коллегий, канцелярий и провинциальных присутственных мест.

Оказалось — пустые хлопоты. Тщетно! Взятничество пустило столь глубокие корни в низы и в верхи, что его невозможно было выкорчевать никакими манифестами. Во всяком случае — одним.

И продолжалась жизнь. Не жизнь — болото. Пузырились на поверхности чиновные душонки, черт бы их подрал, лопались, зловонничали. А над бархатной ряскою по-прокурорски ухали филины, коим болотное сообщество доверило всего лишь право на зловещее уханье и незначительную, непарельную информацию...

5. «ВЫВОЗИ, НИКОЛА-УГОДНИК!»

Имя свое всяк помнит, а вот в лицо, как бы со стороны, знает себя не каждый. Именно поэтому нужен человеку добрый и честный товарищ.

Но такого товарища у Кири-шатуна не имелось, и тому была особая причина: царю, нищему да таежному охотнику суждена незавидная доля — жить без товарищей. Охотничий промысел — дело одинокое. Это только в кабаках соболятники табунятся, кучкой держатся, горло дерут, бахвалятся, цену себе сообщая и наособицу задают, зато в тайге — не до ора, не до шумства: там человек мало-помалу привыкает сам с собою разговаривать.

И все же к концу жизни промысловнику шибко не хватает людехода — пусть бестолкового, пусть дурного, корыстного. Тоска от безлюдности сушит глаза, и выжимает одинокое сердце, не щадя, как мокрую тряпку. Эх, да что там говорить...

В зимовьюшке у Кири из живности водились три кота да кобель Борзя. Жмурик, Мурза и Мурло — коты ободранные, нахальные и постоянно орущие.

— По причине нетути сметанки, — смекает Киря.

Зато Борзя — умница, каких поискать: понапрасну не гавкает, много и продолжительно размышляет, все понимает, друг сердешный, разве что только водку еще пить не насобачился, сукин сын.

— Да нешто пес соображает пятницу, баню али што иное в щастии? — притворно сердится Киря. — Накось, Борзя, косточку.

Кобель косится на хозяина, вздыхает и думает: «Ладно уж, давай сюда свою косточку. Да не подлизывайся. Знаю я тебя».

Вот и поговорили!

...Когда у убогонькой немой сожительницы родился сынок, Киря шатался в тайге, соболюшек гонял. А вернулся — к неутешной потере: в одночасье прибрали ангелы малыша-несмышлениша.

Говорят: лучший соболик тот, который от охотника ушел.

Говорят: лучшая рыбина та, которая с уды сорвалась.

Говорят: самая желанная девка та, которая не за тебя — за другого замуж вышла.

Но убежавший соболь — не твой, и рыбина — не твоя, и девка — тем более. Но сын-то твой! Ты его сам зачинал весело и беззаботно. Вот отчего Киря так горько страдал, потеряв мальчонку, ни разу не виденного, не слышанного. Вот отчего почитал бессознательного, безымянного и бездумного мальчика за лучшее творение земное. И хоть женка невенчаная — сама чуть живая — жалела сожителя, пекла шаньги с молотой черемухой, ластилась, — все равно не мог утешить Киря своего враз поверженного сердца, которое, казалось, уже в никуда, в пустоту кровь сосало, качало и всхлипывало. А когда чуток отошел душой, то понял, что можно, конечно, и нового ребятеночка завести, дело нехитрое и греха в том нет, и любить его можно не меньше первого, но того, потерянного, повторить уже никак невозможно.

Все же выдюжил Киря: какой-никакой, седой да ломаный, однако мужик. Зато немка слегла — намертво.

— Чем нездорова женка твоя? — спрашивала бабушка-знахарка, приманенная Кирей дорогим подарком из ближайшей — аж за двадцать верст—деревнюшки.

Бедняжка мычала, глазами кричала, в набухшие груди себя вялыми руками торкала.

— Да вот, матушка, чем ты скажешь — тем, значит, и мается, мы с тобой завсегда согласные, — подсказывал Киря. — Пособи только.

Ничем тогда не пособила бабушка, разве что на следующий день подала Кире, как нищему, два тяжелых медных пятака — на веки положить усопшей навеки, ни жене, ни матери, к которой Киря толком и попривыкнуть не успел, и за доброе, почти собачье, сердце не сумел отблагодарить, и хоть приласкивал порой, да все как-то вполруки.

...Вот и вздыхает нынче Киря, уснуть не может, ворочается на топчане близ печурки, лысиной «зайчиков» пускает на закопченные стены. «Едреный корень,— думает, — во как укатали сивку круты горки. И в зубах убыток. И ссачки не дёржатся, нутрянной пузырь, видать, прохудился... И ноги худы! Раньше пеши ходил — две ляжки в пристяжке, сам в корню — пёр, как черт, как лошадка ломовая, сам за собой не поспевал. Бывало, ноги до пахов оттопаешь, а того и не заметишь. А теперя што? Измочалишься, покеда до зимовья обернешься. И то вить — кандыбаешь, абы нога ногу миновала... Несмоготно стало. Оттого

и охота стала пуще неволи. Верно старики балакают: смолоду промысел охотой, под старость перхотой... Плкнуть бы на все эти дела, податься на люди, да живоглот Карягин не позволит. Старайся, грит, Киря, я, мол, добро твое помню, добром и отвечу, а помрешь, дак с музыкой схороню, в ногах крест поставлю. Тока, грит, не спеши ишо помирать, потому как за тобой последний «государев поминок» числится, поднатужься ишо, но последнего соболя во что бы то ни стало добыть надоть. Ах, кровопивец Нилка! Ни смолоду молодец, ни под старость старик — вечный июда, без возрасту... И нашто меня, такового нескладного, маманька рожала-жилилась? Штоб вот эдак древность свою переживать-пережевывать?»

Вспомнил тут Киря деда своего — немощного, с очами бессмысленными и страшно голубыми настолько, что, казалось, сквозь глазницы небо просвечивало.

— Давно бы рассыпался наш дедушка, кабы его бабушка не подпоясывала, — говорила Кирюшке мамка, усаживая сына за стол. — Бедный наш дедушка-то, ни отца у ево, ни матки...

— А бабанька нашто? — спрашивал мальчонка.

— Бабанька не в счет. Слышь, как ругаются старички на печи?

— Чего им ругаться-то?

— А печь на зиму межуют... Да ты ешь, Кирюшка, не вороти нос от кашки, не капризь, а то вот возьму да и покличу бабу-ягу.

Кирюшка подумал и усмехнулся:

— Зови, маманя. Она тоже ету кашу, которая без масла, исьти не станет.

Зато через день-другой от кашки той, что без маслица, оставался лишь сладкий помин.

— Маманька, — хныкал Кирюшка, — рази ты не хочешь хлебца?

— Не хочу, сынок.

— А теперя ты меня спроби. Авось я захочу, почем ты знаешь...

Мать, вздыхая, доставала с полочки последнюю краюху, обернутую чистой тряпочкой, и, трижды примериваясь, отхватывала изрядный кусманчик.

— На, сынок, пожуй. Да пирог ядучи, завсегда поминай эту сухую корочку.

Кирюшка жевал, жевал, жевал — и уставал от сытости, зажимая недоеденный ломтик в кулаке.

— Разбуди, мамушка, завтра поране... кусок доем... а теперя уж не могу-у-у...

Киря перевернулся на другой бок и стрельнул глазом в угол, где на закоптелой иконке предполагался Никола-угодник.

«Ну што, старый козел, допрыгались мы с тобой? Допрыгались... Устал я, Никола, до смерточки притомился, а тебе и подмогчи ленно! А? Молчишь! Нет, паря, ты уж давай подсобляй, коли на таком высоком божественном промысле состоишь.. Хрена ли тебе висеть без работы? В людях верующих таково болтают: ежели, мол, ты, Никола, в хорошем своем святом духе пребываешь, дак с тобой обо всем договориться можно, и для нас, земляков, все путем сладится, то ись ни войны нам, ни хрена, и зубы не болят...»

И как-то незаметно у Кири глаз с глазом сошелся: навалилась темнота, заделело-таки тяжелое соньё...

Видит охотник: за его дощатым неприбранным столом сидит седенький, большелобый с залысынами старичок. Сидит и щербатится, прищуривается.

— Почто лыбишься, старичок? — спросил Киря. — И как достигнул до меня?

— А ты звал? — спрашивает седенький.

— Может, и звал, уж не помню...

—Ну, вот я и пришел узнать: чо да как? Зов— оно дело великое. Взывая, и царя дозовешься, не токмо что Господа Бога. Ибо ишо до татарского ига было сказано: толцые и отверзнется... Пожрать-то есть чего?

По таковым святым словам догадался Киря, что это сам Никола-угодник к нему в зимовьюшку припожаловал. Поднялся хозяин с топчана, пошарил в сусеке, выставил на стол обливную крынку с квасом, ковригу, две луковицы и оставшуюся с полдника мучную затируху. А сам искоса за седеньким наблюдает: «Тоже остарел, бедный. Делов, видать, невпроворот. Каждому угодить

— это ж не шутка в деле! Вон как ликом потемнел, паутиной обметался, от жара лампадошного весь зашелушился, скукожился, ровно печеное яблоко. Лешак — да и только. И мухотой обсиженный...»

— Хошь сказать, что я назьмо? — ухмыльнулся старичок.

— Не, — смутился Киря столь завидной прозорливостью. — Тока подумал...

— Ладно, не трусись. Муха сама знает, на што ей надо садиться. Да и ты подсаживайся к столу, развлекай гостя.

— Да уж мы того...

— Чего того?

— Есть, понимаешь, чем сясти, да не на что, — зарделся Киря, умялся на топчане и приступил к Николе с чинным разговором: — Ну и как там у вас на небеси, во облацах? Вёдрышно али што ино?

— Дурак ты, — ответил угодник, шелуша в пальцах луковицу. — Я по углам уж почитай сколь годов сижу почихиваю. И здесь, и в паромщиковой избушке, и в твоём родительском упомешшении, кое ты соблюсти как следоват не смог. Я, стало быть, всю твою родословлю наблюдал, сопляк ты етакий, а ты мне дурацкие вопросы кидаеть!

— Да ты не бранись, Никола! В роте нечисто будет. Почто дураком аттестуешь?

— Дурак не ругня, — ответил седенький, макая лук в солонку. — У нас, у святых, промежду прочим вся надёжа на дураков. А дураки-то нонче вроде как бы и поумнели. А?

— Да уж как сказать, — растерялся Киря. — Где нам, сиволапым, ума набраться? Своим пророкам не верим, а чужие к нам не шибко жалуют, в такую-то глухмень. Откеда ум поступит?

— Нет пророка без порока! — выкрикнул старичок и стукнул луковкой по столу. — А вы, земляки, больно уж сурьезные стали. И соврать святому человеку не даете, и шуток не понимаете!

— Живем шутя, помираем взаправду, — сказал Киря.

А Никола рукой на это махнул:

— Э, не хошь слушать, как угодники врут, так ври сам. Почто в убогости живешь?

— Да вот, — отвечает Киря, — баба померла, догляда не стало в домашности...

— Баба — она, конешно, натура усладительная, спору нет, — перебил гость. — Однако же не в одной бабе причинность помещается. Вон, у царя Соломония семь соток жен имелось да триста полюбовниц, всего, стало быть... (Никола прикинул на пальцах) всего ровно тыща! И для каждой кунки Соломоний, стало быть, кунак, по-расейски значит сродственник и кавалер. И што же? А то, што от тех мясистых удовольствиив в царевой душе никакого истинного покою не наблюдалось. Об душе попекчись не успевал царь Соломоний! А ты — баба... В Бога-то веруешь, Киря-шатун?

— А как же! Маливаюсь. В городе жил — люди в церкву собираются, так и я с имя помолюсь, задарма...

— И што же ты просишь у Господа нашего?

— Значит, так. Крещусь и гуторю: Боже мой, Боже! каждый день одно и то же! полдень приходит, исьти надобно, а где тую едьбу взястн? Да вот и пятак припас на свечку... Што, неправильно?

— Погоди, Киря, не тарихти. Чую, нет в тебе истинной веры. Стыд тебе и сором, што опираешься на Господа Бога в таковых низменных делах. Господь тебе што— тросточка али клюка?

Взвыл соболятник:

— Паря, а чо же ишо делать? Вера — она внутри, а жизня-то снаружи, да все задевает! Тута и черту свечу поставишь, потому как не ведаешь, куды после смерти угодишь!

Седенький испил кваску — с укоризною:

— Опять же стыд и сором тебе, Божьей овечке, с чертяками яшкаться.

— Да черт меня не омманет! Я про него особую молитву знаю.

— Нет, нет и нет, — уперся Никола.— Уж ты веруй изо всех сил, со всего своего духу! А не то, смотри, паравич али кондратий хватит от святотатства, и придет тебе перевод на тот свет.

— Того и жду, ажно руки отвисли, дожидаячись...

Угодник, не слушая, продолжал поущать:

— В толстый колокол звонят — значит, праздник. Первый звон — чертям разгон, второй звон — перекрестись, а третий звон — оболокайся в чистую одежду да и ступай в храм Божий...

— Ё-моё,— завопил Киря.— Старый ты, а того... с глупиной! Это вить тока тебе достаточно рожу свою помыть — и вот ты уже весь святой, как яичко. А нам, смертным, до святости — это все равно, што отседа до Турции. Грехов много. К примеру, взалкал я недавно башку проломить своему ближнему. Каково сие?

— Докладывай персонально: кому? — построжал Никола-угодник. — Приму меру. Говори.

— Купцу Карягину, Нилу Гаврилычу. Окрутил меня, леший...

— Понятно. Дело сие житейское, земное. Прощай врага своего, Киря, до трех разов, а на четвертый хворости по чем попало. Дозволяю. Ибо сказано ишо до татарского ига: комуждо воздастся по делу его. И неча с сим распроподлецом хороводиться. Понял?

Киря заволновался, с топчана соскочил, руками задергал:

— Карягин, слышь-ка, самому сатане в дядья годится! Копейка евоная и нищему руку прожгёт, ей-право! В три пота на него, супостата, горбатуюсь! Два отдал, третий, однако, задолжал...

— Да, — сказал угодник, выколупывая из бороденки хлебные крошки, — чужа душа потёмки еси.

— Неправда твоя! — вскричал соболятник. - Ты, Никола, по должности своей должен за душевностью денный и ночный догляд вести, а заладил, ровно слепой: потемки, потемки! Чужа душа потемки, когда в собственной свету нету. Без своего огонька ни в чужу душу, ни в чужо упомешшение неча и соваться.

— Ишь ты! А у тебя-то есть сей свет в душе? — скривился святой, и Кире показалось, что гость его мало-помалу начинает терять в себе присутствие святого духа.

— Не знаю, есть ли, нет ли. Сие до вашего, Никола, небесного департамента касательства не имеет. Сам говоришь, земное дело. И вот стало мне жалко тебя, паря! Потому как все мое — со мной, а у тебя и етого нету. Так, ли чо ли? Што жмуришься? Познабливат? Дак айда в баню. Сколь уж времени-веков ты не банился, ась? Дух в тебе, конешно, святой, но уж больно тово... чижолый.

— Не, не, — заторопился Никола. — Некогда. К начальству с рапортом идтить надо, а опосля мыслию возноситься надобно в земли ханаанские и египетские.

— Ну што ж, бывай... Жалко мне тебя, паря.

— Бывай и ты, Киря! Врал ты много, а, чай, больше того осталось?

— Не без етого. Да ты оставайся, а? Самовар сгоношим, мыльню затопим, художества твои смоем, пригожества намоем... Вишь, какой ты весь от лампадного огонька сальный да рыжий. А рыжих, паря, во святых не бывает!

— Бывает, — ответил Никола и, кряхтя, приставил табуретку в красный угол. — Всякие святые бывают, Киря. И рыжие, и пыжие, и конопатые, и каждой твари по паре. Бывай! — Пустил угодник пыльное облачко — и отпечатался ликом в дешевом медном окладе иконки старого, еще дониконианского письма...

Незаметно подкрался рассвет, лизнул слюдяное окошечко.

Руки у Кири-шатуна просыпались раньше глаз; еще скользили под смеженными веками дремотные видения, и грудь дышала отдохновенной тихой сапою — а пальцы уже ворочались, просили привычной работы.

К утру подморозило. Печурка выстыла. Рождество, как видно, закручивало холодрыгу не на шутку: вороны каркали стаей, на лучине нагар явился чрез меру, и дрова с треском горят, а дым из трубы — точно хвост осерженной кошки, стоячком; сороки под застреху лезут, кукушка-вековушка взрыдывает на сухом дереве, и волки, воя, жмутся к людскому жилью, и луна ясная, круторогая — все приметы к тому, что быть великому морозу или войне.

В такие знаки соболятник веровал. В сенцах, не дожидаясь рождества, он с вечера заморозил воду в ложке. Есть и такая ворожбинка: коли вода пузырем выпучится и этак застынет — то к долгим летам, а ежели затвердеет с ямкою посредине — значит, вскорости рыть могилу не миновать. Глянул Киря на ложку, а в ней ледок ровнехонький — ни то ни се. «Ну и ладно! Покудова, значит, дело наше бравенькое!»

Обычно Киря уходил за соболем в крещенские дни, во второй сочельник, когда бабы белят холсты на снегу и тем же

снегом набивают туески да корчаги — про запас, как стародедовское снадобье от всевозможных больших и маленьких недугов. Если в Крещение собаки брешут, значит, предвидится добрая добыча! Это дело проверенное — и Киря подавался на промысел с легкой душой, зная: чем снег белей — тем соболь темней и глянцеветей, тем и дороже, а если к тому же добыт посередке зимы, то есть в крещенские холода, так ему и вовсе цены нет. И совсем не думалось в таком случае, что у сибирского морозца — мертвая хватка, ежовы рукавицы, что все знакомые воробьи и собственные собаки попростужались на злом продуве, а кашлять-то, бедные, не умеют; настоящему соболятнику до студености дела нет: подпояшется потуже, матюгнется для сугрева горячительным словечком, дескать, ах ты, елочкина мать! да в гробу бы я видал сию фартуну! — и пошел, и пошел вперевалочку прошивать снежную холстину, белый саван земли, размеренными лыжными стежками-стежками.

В эту зиму Нил Карягин поторапливал Кирию на промысел. То ли страсти коммерческие подвигали купца к таковой спешке, то ли старая неприязнь, то ли опасение потерять очередного дармового соболя, последний «государев поминок» из-за какой-нибудь досадной случайности, связанной с преклонными Кириными летами, с тающими его силами и естественно убывающим фартом, то ли еще какая мысль проскваживала Нила Гаврилыча — но думать тут Кире ничего не оставалось: как хочешь, так и ладься! Пришлось старому таежному шатуну снаряжаться пораньше, в Рождество. Известное дело, с Карягиным шутки плохи: купец — как топор, не обрежет, так зашибет. И не посудишься! Все вон говорят, что по суду один будет всегда виноватым, а кто именно — тоже нет сомнений: тот, у кого в кисе денежка не брякает. У Кири не брякала, значит, и рыпаться с гильдейцем резону не было и отнекиваться тоже не пристало.

Охотничья сбруйка — сеть, ружьишко, нож, натруска с дробью — с вечера в аккурате дожидались Кириной утренней побудки. Закружил хозяин по зимовьюшке, затопал в неспешных сборах: пора! в дорогу уходить во вторник или в субботу полагается, на легкую ногу; нынче как раз суббота выпала, значит, айда.

А под рубахой у Кири — точно мехи дырявые, шипит что-то, свистит, разве что не выводит гнусным голосом кант о «прекрас-

ной Катерине», как та городская шарманка³⁴, что поразила охотника год назад в Иркутске. Третьего дня накинута было горячка, подпала, свалила мужика. Отпаиваясь кипятком с сушеной смородой и душицей (первое средство от простуды), охотник гладил по голове беспокойно скулящую собаку и приговаривал:

— Не орай, Борзинька. Все будет ладом. Хворь-то... вить она и у нашего брата, и у вашего... как пить дать, приключается. Што поделать? Так живем. Сверху небушко, снизу земля, а с боков-то у нас и нетути ни хрена. Вот оно и продуват маненько... Переможемся, паря! Ишо встанем, на соболя двинемся в поход... А потом оженивать тебя буду, штоб не скучал шибко. Каку сучку хошь, Борзя? Чёреньку али беленьку?

Умный пес сочувственно ловил мутный взгляд хозяина, а в Кириной голове тогда неожиданная мыслишка слепилась: да, брат, тяжело болеть, спору нет, только еще тяжелее здоровому над чужой болью сидеть с бессильным, с беспомощным переживанием.

Перед дальней дорогой Киря плотно закусил.

Много ли надо, одному-то? Не до сладкой шаньги. Присолил луковку — и в пасть. Однако без горячей каши забьется в пути, так что выходить в тайгу на пустое брюхо было совсем негоже.

Вчерашние щи хоть кнутом хлещи — и пузырь не вскочит, гуща выхлебана, да и что за дичь во вчерашних щах? — всё тараканы, да и те худенькие... Киря заварил грешневую кашу, умело настружил сохатиной строганинки, имеющей сладкое обыкновение таять на полпути ко рту. Вздуд медальный самоварище; с тихой гордостью, с покойным довольством оглядывал свое пыхтящее сокровище — знак благополучия даже в самой что ни на есть убогенькой избе. Достаток в зимовьюшке имелся. И еды навалом: пропастинка в погребушке, мороженая рыба, корчаги с брусникой и диким медом. И, конечно, редька. Уж этот фрукт — всем фруктам фрукт. Верно говорят, что пять яств в нем: редечка-триха, редечка-ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так, всухомятку, с сольцой. До последней

³⁴ Музыкальный инструмент, название которого представляет собой начало немецкой песни того времени «Scharmante Katherine»

заедки был Киря превеликий охотник, и жена-покойница (царствие ей небесное!) понимала сей гастрономический каприз, хотя и была от бога умностью обделена, бедная...

Вздохнул Киря: «Эхма... Семейная кашка и кипит гуще, право слово... Домашняя думка, однако же, в дорогу не годится, но куды от нее денешься, неотвязной?»

Продолжая вздыхать, старик рассовывал по холодным сусекам остатки еды и жалел, что всю эту погребную вкуснятину в путь с собой не потащишь. Жалел не по скаредности, не от жадности, не от привычки к обжорству. В тайге для знающего промысловика прокорму даже в самую лютую зиму вволю достанет, а ежели, упаси Бог, завьюжит непогодь и загонит на неделю в пустое медвежачье логовище — так и это не беда: сиди себе благодно, о жизни раздумывай, не суетись, коли нет еды — так набивай нос табаком и утешайся тем, что от крепкой понюшки в голове ни моль не заведется, ни дурной помысел не угнездится.

Случалось, голод скручивал таежника во время многодневного соболиного гона, когда недосужно было остановиться на минутный роздых, на кратенький перекус из-за боязни потерять след. Тогда охотник обычно поступает так: берет две тонкие, гладкоструганые дощечки, одну из них прикладывает на пузо, к подложечной ямке, другую — на спину; концы дощечек перехватывает крепким ремешком, и когда вконец одолеет нестерпимый голод, человек на ходу постепенно стягивает ремешки все туже и туже, плющит живот; таковая закрутка, перенятая от «брацких» добытчиков, не позволяла болезненно ощущать прихоти ворчащей утробы....

— Ну, вот и все! Пахарь ждет дождя, путник — сухой погоды, соболятник — фарта. Каждому свое.

Киря забросил ружье за спину, подмигнул Николе-угоднику, дескать, прощевай покеда, старый хрыч! — и шагнул через порожек.

И оглушило Кирю-шатуна белое безмолвие.

«Ах, снега, снега! Тугие белые снега — вона какие!»

Изо рта выкатились три легких морозных облачка, а в каждом из них пряталось выдохнутое словечко: в первом — «ох»,

во втором — «бох», в третьем, особенно кудреватом,— поминанье чьей-то матушки.

— Айда, Борзя, — сказал Кирия, прилаживая лыжи.

Свистнул — и пошел. Шел не наугад: на южном склоне ближней сопки брусничник из-под снежного покрова должен вытаять и там уж всенепременно окажется соболишка — глупенький, последний...

Соболя добывают иначе, чем другого зверя.

Предоставим, читатель, слово английскому путешественнику Джону Беллу Антермонскому, чиновнику Российской коллегии иностранных дел, побывавшему в здешних местах по пути к китайскому «булдыхану»³⁵ в составе посольской миссии лейб-гвардейского капитана Льва Васильевича Измайлова. Вот что пишет британец в своем богатом наблюдениями дневнике: «Мех соболя так нежен, что малейшая отметина от стрелы, малейшее нарушение ворса снижает стоимость шкурки. Охотники берут с собой только маленькую собаку и сеть. Когда охотник нашел след соболя на снегу, он идет за ним порой два или три дня, пока несчастный зверек, совсем утомившись, не ищет убежища на высоком дереве, ибо умеет он лазать как кошка; тогда охотник раскладывает вокруг дерева сеть и разводит огонь; соболю, не способный выносить дым, немедленно спускается и попадает в сеть».

...Уже третий день Кирия-шатун безостановочно чиркал лыжами, шел за маячившим впереди колечком Борзино хвоста. Жажда допекла соболятника, язык от сухости шелестел, однако и жажда опытному промысловнику не помеха: клади за щеку свинцовую пулю, посасывай, во рту кисленько станет — вот и кончится водяной голод.

Неправда, что добытчик, идя по следу, ни о чем, кроме этого следа, не думает. Думает! О том, что было, что есть, что будет. И еще о многом ином, вневременно философичном — о, так сказать, вечных вопросах, кои на самом-то деле являются не

³⁵ Искаж. «богдыхан» — титул, которым в старых русских грамотах именовали императоров Китая.

«так сказать», а действительно вечными: небо, земля, а посередке, между ними — человек, разумный и не очень.

Кирия представлял себе мысленно, как закатится в Иркутск: цыкнув на привязных свирепых кобелей-волкодавов, взойдет не спеша на высокое карягинское крыльцо и вместо приветствия швырнет в лицо Нилу Гаврилычу последнюю дань. «На,— скажет,— паскудник этакий! Теперича я слободный, яко ветерок во чистом поле, потому как договор наш с тобою, Нилка, дороже денег стоит. Хошь и измочалил ты меня на своей привязке, как дворового пса, а вот видишь — жив я. И долго ишо жить вознамерился. А кады помру, слова не скажу, но за меня с тебя строго спросится и на этом, и на том свете. Никола-угодник не возражает и пособит чертякам с тебя, паразита, шкуру тулупом снять³⁶... Да и ты не вечен, Нилка. Тоже, придет срок, скукуручишься. И хоть задернеет земля на могиле, но славы твоей худой ни хрена не прикроет...» И тут (дай Бог!) купец заартачится: нету, мол, на то моего согласия, чтобы государевы поминки прекратить, шалишь, мол, Кирюшка, не выйдет, вить я ишо никому про твою утечку с каторги не сказывал, а вот чичас могу отрепортовать кому следоват по полной законной форме... Сладостный миг для Кири-шатунa! Он сведет воедино пять задубелых пальцев и, не примеряясь (промазать по Нилкиной широкой харе — дело невозможное), без крику, без шуму шархнет по благодистой масленой роже: «Вот тебе, Нилка, за всю мою поломатую жизнь! Скусно ли?» Спросит тихо, спокойно, нечего голосом надрыватьсья, не самовар, кажись, в коем чем меньше воды, тем шибче шумит; нет, не самовар Кирия, и не водой полон...

Не драчлив, не бранчлив был Кирия-шатун, а вот ведь вспомнил новомодное, расхожее присловье кабацких картежников: «Нет козыря — так бей кулаком». Наслушался Кирия... При ежегодных визитациях в Иркутск к Карягину с очередной данью, да к тому же нестерпимо наскучавшись по людской толчее, по толпыжникам, — поневоле не минуешь развалистой компании забубённых головушек с ихними марьяжными дамами в известных городских заведениях, где горячило всё: воздух, азарт, напитки и «принцессы»; где в причудливом сочетании уживались

³⁶ То есть, не разрезая, целиком (*охотн.*).

позор и честь, фарты и инфаркты; где столом попеременно правили сытое обжорство и ненасытный голод, и позеленевшая медная старорусская трынка (три копейки!) оплачивала, не оплакивая, манерное европейское тринканье³⁷.

Всяк обедал на свой вкус в тех заведениях!

А Кирия бочком-бочком, души не обдирая, проскальзывал промеж соблазнов и все же нет-нет да примерял на себя, к своей жизни игроцкие забавушки. Только в той примерке все было иначе, и на место четырех карточных тузов соболятник ставил себя самого, тайгу-кормилицу, собаку Борзю и зловредную, своенравную и привередливую бабу, Фартуной прозываемую. Не было для Кири фигур крупнее, чем эти, четыре... Превыше всего на земле — понятное дело, сам человек, трудяга вечный: превыше Николы-угодника, превыше самого Господа Бога и других небожителей хотя бы только потому, что все они вышли из головы тугодумного мужика. С тайгой тоже все ясно: своя земля и в горсти мила; до камушка и хвоинки близкая, знаемая малая родина, начало всех начал, дающее жизнь и работу всему сущему под небом и не требующее взамен ничего, кроме ответной любви, сыновней привязанности и верности; и если эти чувства не назывались Кирей — широко и трубно! — патриотизмом, то только потому, что по природе своей были, да и поныне остаются застенчивыми, к тому же Кирия и не знал таковых слов... Два других «жизненных туза» — собаку и промысловый фарт — Кирия принимал как явную очевидность, не требовавшую доказательств. Итак — четыре небитых, неловленных карты.

Да вот только на старости лет откуда ни возьмись пятый туз вылез. И был сей туз — кулак. Кулак для справедливости, для расчета верного, по совести. К чему, с какой стати обозначилась эта карта — на закате жизни, когда стали забываться старые обиды, когда вот-вот сгинут в тартарары обиды нынешние, а новых, свеженьких, кажется, уже не будет? Для чего он, этот кулак сейчас? Кирия покуда не мог точно сообразить и потому мучался. Ведь говорят: после драки кулаками не машут, а если уж приспичило помахать — тресни оным кулаком самого себя по башке. Но Кирия-шатуну все чаще, все настойчивей вспоминался

³⁷ От искаж. нем. trinken — пить.

каторжный товарищ Кукса — беспалый, пьяненький, грозящий небесам; правда, за давностью лет такая угроза казалась Кире смешной и грустной, потому что небу безразлично, чем в него людишки тычут, пусть хоть и в самую середку, — кулаком или пальцем.

И еще размышлял Киря: вот-де, покажешь один пальчик мужику или бабе, все равно, — и любой из них со смеху закатится, зальется, уписается, а ежели пять пальцев ему преподнесешь, да все в кулаке, — так он не хохочет в пять раз больше, а совсем наоборот, в десять раз меньше; так что, в таком кулачном деле совсем нету никакой плепорции; а ежели с другой стороны посмотреть, то получается вот что: говоришь, говоришь человеку и так, и сяк, убедительно говоришь и уважительно, а все как об стенку горох; однако же стоит сунуть ему под нос крепкую дулю — и всё враз сообразит... Нет, не простое мясо с косточками, непостижное это дело — кулак. Пусть даже такой, как Куксина страшная культа. Вровень с головой кулак весит, особенно если размером с голову. И кто разберет их первенства, когда за кулачные шалости голову с плеч сымают, а, случается, и наоборот. Вот только жаль, что Куксе уже не выпадет в жизни такого великого счастья — рассмешить человека. Куксе иное суждено: грозить... Такие вот дела.

...Когда соболь обреченно забился, заметался в сети, только тогда Киря и разглядел таежного щеголя, что называется, целиком и полностью: зверек от ушей до кончика хвоста стоил того, чтобы окончательный расчет с Карягиным был справедливым, по совести. Можно, наконец, и кулаком пристукнуть перед купцом, потому что изо всех добытых соболей этот был самолучшим.

Киря вышел на след в первый же день, как и загадывал. По правде сказать, не очень-то спешил прищучить последнюю в своей промысловой жизни добычу; в кошки-мышки захотелось поиграть с соболишкою, насладиться гоном, надышаться морозным воздухом, пропотеть как следует, распотешить себя и — проститься с подневольным промыслом, стать вольным охотником. На второй день, ближе к полудню, Киря соболя попросту отпустил, жалеючи: «Такого-то красавца — да на шапку?! Нет уж, не бывать тому, шток пушного зверя — да на хищного, на Каря-

гина наздёвывать! Ступай отседа, дурачок, гуляй себе!» А соболек и впрямь дурачком оказался — не смог уйти, не сумел объегорить матерого охотника и вновь след выказал. Видно, и ему не судьба. Да и Киря к тому времени, на исходе третьего дня, уже изрядно запарился, и как ни жаль ему было загнанного зверушку, а себя стало еще жальчее. Борзя тоже, как ни странно, притомился: все гавкал, гавкал, удачу праздновал, а тут что-то притих, друг сердешный...

Ккря затоптал горящие уголья костра, разложенного вокруг сосны, и принялся неспешно прибирать в узел сеть с добычей — как вдруг спиною ощутил взгляд.

Замер охотник: резкое движение в тайге подчас губительно не только для зверя, но и для ловца... Потом замороженно повернул голову, глянул чуть ли не из-под бороды — и окостенел: в десяти шагах от него скалился изготовившийся к прыжку бабр, и усы его — толстые, жесткие и седые, как у петровского гренадера — сочились кровавыми парящими каплями.

Екнуло сердце: «Конец Борзеньке...» А рука, крадучись, потянулась к ножу: ружьишко уже за спину пристроено, не успеть его под руку вывернуть, не даст, не позволит свершить сего царь лесной, бабрище, не допустит, как пить дать... Она как напружился... И не совестно тебе, батюшка, бабский реверанец мне, старику, выказывать? Ну, вывози, Никола-угодник...

Киря знал, что если бабр приседает — это не значит, что он таким манером с охотником здоровается. И потому сжал намертво роговую рукоятку ножа и попытался выпрямиться в полный человеческий рост — крестом...

6. МАРТОВСКИЕ ИДЫ 1788 ГОДА

Знаю доподлинно: во многих книжных собраниях, выстроившихся на полках, всегда имеется заветная книга, за которой спрятана бутылка вина.

У Ивана Варфоломеевича Якобия, например, — за сводом законов Российской Империи, где черным по белому напечатано очень, очень многое, и недурным штилем... Так вот, когда человек, обладатель библиотеки, пребывает в подходящем настроении, он уверенно знает: там, за толстым томом, притаился и

дожидается кондиционного срока свой штофик, собственный, не из домашнего, семейного буфета, — бери стакан, сколько желаешь — пей, прислушиваясь к своему внутреннему голосу.

А внутренний голос нынче говорил Ивану Варфоломеевичу, что одним стаканом не обойтись, надо четыре. Ну и ладно. Не до книжных занятий сегодня, право слово. Когда при нервическом расстройстве книжки читаешь, то чувствуешь себя распоследним дураком — безнадежным, фатальным, круглым, а может быть, и хуже — как будто бы ширинка расстегнута в присутствии блистательного общества. И хочется поскорее захлопнуть книжный переплет, точно крышку гроба, в коем складены первейшие твои враги, и будь под рукою гвоздь — вбил бы непременно, вколотил бы со вкусом по самую шляпку.

А что враги имеются, и шепчутся, и ковы строят — в этом Якобий не сомневался, зная их всех поименно наперечет, как свои двадцать пальцев.

Три года служили бок о бок два Ивана, два Варфоломеевича: Якобий и Ламб. Первый — генерал-губернатором, второй — «вице». И второму Ивану от той «вицы» не по себе было, противно естеству, тягостно, розгу напоминало и воротило с души, а коли воротило, значит, так и жили — душа в душу плевали, не откровенно, конечно, но с деликатностью, разве что не благодаря за те плевки; понимали Иваны Варфоломеевичи: два медведя в одной берлоге не уживаются.

Камень преткновения двух «медвежьих» амбиций натурально играл алмазными гранями. Публично вздирая на судилище мелкотравчатых мздоимцев, оба — Якобий и Ламб — брали по-крупному, мелочью, впрочем, тоже не брезговали, и при этом зорко доглядывали друг за другом: кто больше хапнул? Справедливо говорят: волк — по утробе своей вор, а человек — по зависти.

А хапать имелось что! Из Нерчинских рудников течет серебряный ручеек — как не зачерпнуть? У золотопромышленников попадают диковинные самородки, с кулак и поболее, и сие тоже приманчиво и прилипчиво из одного только любопытства пощупать да и за пазуху. Купец, к примеру, товару отпустит на семь рублей и с десятирублевой ассигнации сдачу даст — ровно сорок три целковеньких, хочешь — считай, хочешь — так бери, не считая, но купчишки не зазря о ш и б а ю т с я: с

умыслом. Соболя, песцы, лисы-крестовки, горностаи — это уже иная статья: «мягкая рухлядь», красный товар, пушное золото, рухлядишка, рухлядюшечка, рухлядюшенька, неоценимость мякенькая, сколь ни утаптывай ее в сундуки, а все свободное место остается. Ну и акциденции, конечно. Иваны Варфоломеевичи, впрочем, чтили указы государыни и не принимали акциденции за чистую монету; чистая монета — само собой.

Одним словом, воевали Иваны Варфоломеевичи — тихо, вежливо, галантно, по-крупному, однако страсти по убиенному соболю или золотому кулаку были, пожалуй, ничуть не прохладней, чем война, скажем, за австрийское наследство. Как таежное зверье метит свои заповедные владения, не допуская в них чужаков, так генерал-губернатор и губернатор гражданский разметили губернию и дрались за каждый, еще свободный от поборов, кусок территории.

Первым, естественно, не выдержал драки Ламб, нервы подвели, а известное дело: когда в схватке сдают нервы — сдавай дела, милостивый государь, и укатывай подалее! К тому же «вице» почуял, что хвост у него паленостью завонял, обжегся, и Якобий к тому огоньку руку и старание приложил.

И вот уже два года, как нет Ламба, и руки у Якобия развязаны, потому как новый гражданский губернатор Михайла Михайлович Арсеньев конкуренции не составляет. Какой из него конкурентчик, ежели без году неделя в губернии? Вот только почувствовал Якобий, что для него самого с уходом Ламба вдруг какой-то тормозок исчез, этакий поводок, намордничек, что ли; почувствовал — и испугался, и чаще прежнего стал запираяться в уединении, подбрасывать на ладони медную трынку и гадать: «Чет... нечет... А коли на ребро выпадет? Ох, неладно сие. Поберегчись надобно, а то ведь как бы чего не вышло! А Ламбия и совсем жалко. Хоть и жили, как улитки, и дружили, как улитки, только домами, однако же свой был человек, понимающий. Не то что эти... академики, черт бы их всех побрал со всеми ихними образованными маневрами. На рожон прут! Прут, яко Брут на Цезаря! Ах, академики, академики... И тот Брут, и этот Брут... Да сколь же вас, братьев Брутьев на мою единственную голову? Страм какой, Господи ты Боже ж мой... И почто ты не дал мне всемогучести? Да будь у меня оная всемогучесть — закопал бы сиих академиков в раскопки к италианским собрутьям...»

Академиком Якобий обругивал фактического организатора Иркутской публичной библиотеки Александра Матвеича Карамышева, который действительно состоял в Российской Академии наук членом-корреспондентом, являлся по тому времени крупным натуралистом, славнейшим знатоком сибирской флоры, собирателем раритетов и «куриозитетов» музейного достоинства и, кроме того, не боялся ни Бога, ни самого черта, а посему, склонный к явному материализму и атеизму, замахивался на заместителя Ея Императорского Величества. Карамышев в свое время сменил шалуна Нарышкина, князя Василья Васильевича, несостоявшегося «Сибирского государя», — на посту начальника Нерчинских горнорудных заводов, ревностно расчистил эти «авгиевы конюшни», столь талантливо загаженные, запакощенные донельзя сиятельным родственником августейшей фамилии.

В 1788 году Карамышеву стукнуло сорок четыре года.

Да вот и он сам — собственной персоной...

— Честь имею, ваше превосходительство!

Якобий поморщился: «Вот, пожалуйста, первый брат Брут! Все-то у них навыворот, у образованных: только вошел — и сразу же прощальный этикет изображает, собака!»

Иван Варфоломеевич поджидал этого визитера и был к встрече готов: встретил его за столом, аккуратно уставленным тяжелыми стопочками; новиковские журналы «Кошелек», «Живописец», «Московское ежемесячное издание», академические «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», «Санкт-Петербургские ведомости»... и книги. Много книг, весом не менее фунта каждая, в кожаных переплетах, с золотым тиснением. Энциклопедии. И хоть энциклопедисты порой представлялись Якобию циклопами, этакими одноглазыми вольтерьянцами, непременными безобразниками, — не уважать энциклопедии в век Екатерининского просвещенного абсолютизма было никак невозможно; дело личное — читать, не читать; главное — почитать, желательно всепублично; и потому на столе возлежала книга Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки», раскрытая и заложная изящным разрезальным кинжальчиком восточной работы, коим врачеватели вскрывают вены и вспарывают животы.

— Где же вы затерялись, друг мой?— печально спросил Якобий и полуобнял Карамышева.— А мы с Катериной Андреевной так ждали вас на вчерашний бал, так ждали! Супруга моя все лорнеты проглядела: где же наш обожаемый Александр Матвеич? куда он запропастился? Отвечайте, негодный! И, ради Бога, не чинитесь, будемте просто на «вы», без превосходительных степеней.

— Слушаюсь, Иван Варфоломеевич,— ответил Карамышев, отстраняясь от объятий вежливо, но решительно.— Следовательно, иду на вы!

Якобий поиграл бровями:

— Экой вы... ершистый, Александр Матвеевич! А мне сказывали, что вы особенной пикантностью отличаетесь. Не ошибка ли?

— Не ошибка. Пикантный — он и есть укалывающий³⁸. Да ведь с вами мне и невозможно быть иначе, ваше превосходительство.

— Ну, Бог с вами, с образованными,— махнул рукой Якобий и покосился выразительно на загроможденный стол.— Однако же и не грех иной раз отвлечь разум от мудрствований, от разных прожектов и прочего попечительства изящной словесности. Ей-право, Александр Матвеич, худо, что вас на машкераде не состоялось! Уж так авантажно времечко угробили! Все было: и шумный гротфатер, и кадрили со всеми онерами, ригодонами, падебасками и антрашами! Представьте, помощник мой по канцелярской части провинциальный секретарь Иван Савельич Почекушин явился в совершенном упоении, винищем так и перло от негодника, молод еще, чувырла этакая, но способен, способен, подлец! Такую штуку умудрил, от каковой и ста чертям осточертеет! Вокруг, представьте, фигурный котильон, а Иван Савельич шутейности ради рассыпал на полу... Что б вы думали? А?

— Кости, — буркнул Карамышев.

—А вот и не угадали, милостивый государь мой! Не угадали! Не угадали! А Почекушин рассыпал... нюхательный табачок-с! Дамы и кавалерия уж так развеселились! Представьте,

³⁸ Франц. «piquant» от «piquer» (*колоть*).

юбки — фыр! фыр! Табачок и того-с... за-кру-жил-си-и-и... Да все под подошвы, под подошвы! Черезвычайно... м-м-м... пикантно! А?

Карамышев фыркнул:

— Ваше превосходительство, сколько же раз прикажете мне ваши пороги обтирать с челобитьем? Ведь я не юноша. И не своего интереса домогаюсь, но пользы общественной. Верните же немедля хрустальные друзья, также и самородки в натуральный музей — и положите конец моим хождениям! Нижайше требую сего возврата вкупе с Академией наук корреспондентом господином Лаксманом³⁹. В случае же неудовлетворения оного призыва я вынужден буду оставить дела публичной библиотеки и удалиться отседа... к чертовой матери!

— Куда, куда?

— В Петербург, ваше превосходительство.

Такого поворота событий Якобий не ожидал. Год назад он позаимствовал из музея редкостную коллекцию горного хрусталя и золотых самородков — для показа и удивления иноземных гостей, как было объяснено Карамышеву и Лаксману; те, помнится, недовольно поджимали губёшки, однако перечить не осмелились — для показа так для показа, на то она и заведена, коллекция, чтобы показывать. Редкости осели в сундучке Якобия (как? — Бог его знает, уму непостижно...), и расставаться с ними «хозяин» не хотел. И не будь Карамышева, Иван Варфоломеевич давно бы уже поверил в то, что сии дорогие вещицы перешли к нему в наследство по завещанию покойной бабушки или прабабушки, да вот же — подлый книжный жук, стручок, мышь подвальная не позволяет сей вере намертво укрепиться...

Карамышев действительно за последние полгода многожды напоминал генерал-губернатору о невозвращенных экспонатах. Он болел собирательством сибирских редкостей. В основание своего милого детища — публичной библиотеки и музея — Александр Матвеевич «положил живот с кошельком» — так, несколько иронически, он сам говорил о крупных денежных пожертвованиях, внесенных без явной слезы, без тайного сожаления на общее благо. При каждом удобном и неудобном случае

³⁹ Эрик Г. Лаксман (1737—1796), финн родом, жил в России с 1762. В 1781 служил горным советником в Нерчинске. Долгое время жил в Иркутске, основал естественно-исторический музей при публичной библиотеке.

Карамышев подкалывал Якобия лестным, преднамеренно восторженным отзывом о бескорыстии и щедрости, о попечительской честности «мужа благонамеренного» — не Якобия, нет! — но гражданского губернатора Клички, достопочтенного Франца Николаевича, которому по сути, по заслугам иркутское общество обязано появлением «книгохранительницы» — второй в России (после тульской) публичной провинциальной библиотеки, открытой ровно за полвека до появления официального указа об основании подобного рода заведений в губернских городах империи. Якобий намёки Карамышева не принимал, ибо сравнение с Кличкой было явно не в пользу Ивана Варфоломеевича.

...Франц Николаевич — из нерусей, имя настоящее — Франтишек Миколаш Кличка. В Сибири уроженцу южной Чехии имя с отчеством малость укоротили, Кличку — оставили, по вкусу пришлась.

Крестьянский сын Франек постигал науки у иезуитов в Клатовской гимназии, потом в Праге. Подрабатывая на жизнь репетиторством в домах, обильных харчами и великовозрастными оболтусами, он в конце сороковых годов сделался домашним учителем в русской дворянской семье и через короткое время выехал в Россию, где закончил курс в Артиллерийском корпусе и в 1750 году вышел прапорщиком в армейский полк, о гвардии даже и не мечталось.

Знающие люди утверждают: пьяница во флоте, щеголь в пехоте, дурак в кавалерии, умница в артиллерии. В части артиллерии — всё правильно: цвет войска, тупицы сюда допускались только на пушечный выстрел, офицеры — сплошные грамотеи, особенно в науках математических, многие — в очочках, не для форсу, но от усердного чтения... Правда, полковой командир в оценке своих молодых офицеров (и Клички — тоже) имел оригинальную позицию.

— Нам,— утверждал он в собрании, покручивая вислый малороссийский ус,— особливых мудрителей не надобно. Наука — это дело темное, зараз и не сообразишь в этой науке: чи ура кричать, чи шо? У нас же пропозиция ясная. Шо есть самое главное в военном деле? Шоб к утречку усе було готово! Вот так вот, господа! Нехай цивильные штафирки во фрачишках математикаются, мать иху за ухо, это дело ихнее, гражданское, а наша

наука будет такая.— Полковник набычивался, как трубач, кровью наливался и вдруг рявкал запредельно жутким голосом, от которого обычно приседали могучие артиллерийские кони и который нередко встречался у полуоглохших петровских бомбардиров:— Пер-rrr-ва бат-тар-rrr-рея... кар-rrr-течью... пли!— Потом полковник вытирал ширинкой взопревший лоб и смотрел на потрясенный молодняк:— Оно, конечно, можно трошки и подюжее! Оце гарное резюме, господа прапорщики, хлопчики вы мои...

С 1756 года началась полоса баталий: Семилетняя война, потом первая турецкая кампания. Будучи подполковником Ярославского полка, Кличка за отличия в боях под Хотинном, Килией, на реке Ларге был пожалован в полковники и Георгием IV класса. В 1775 году подоспел первый генеральский чин. А еще через пару лет вышло екатерининское «Учреждение о губерниях» (за сей труд императрица возложила на себя орден святого Владимира— «из черно-огненного виссона висел на левую бедру», как писал Державин,— и объявила себя гофмейстером сего ордена). В этот год Кличка высочайшим повелением был определен к исправлению должности Новгородского губернатора, а в сентябре следующего года — Иркутского. Перед отъездом из Петербурга Кличку приняла императрица, перед которой он изложил свое намерение начать службу в столь диком, отдаленном от подлинного просвещения крае с основания библиотеки.

Екатерина Секунда удивилась:

— Странно слышать сие, Франц Николаевич. Генерал — и такое... этакое... Многие спервоначалу все больше с гонорария служение Отечеству начинают.

— Можно и с гонорария, матушка! — вытянулся Кличка.

— Таково бы и говорил о сем предмете, — раздражилась государыня. — А то потянуло тебя... Ох, знаю я вас, этих военных! Баловники! И ведь вижу зраком и чувствием, что у многих из вас — ни ума, ни талану, ни искры Божией. И книги не читают!

— Да вить что, матушка, в нашем-то военно-артиллерийском деле суть наиглавнейшее? Чтоб к утру усе було готово! — отрапортовал Кличка и скромно добавил: — Покудова справляюсь, не жалуясь.

Императрица нахмурилась: «Фу, кобель, какой!» — и ручку для прощального приложения не подала.

— Ступайте, — сказала, — с Богом. А гонорарий от меня получите соответственный.

Вслед Кличке полетел указ с повелением «отпустить из казны в Императорскую Академию наук 3000 рублей с тем, чтобы из оной на сию сумму отправлены были в Иркутск как на российском, так и на других языках книги».

— Однако же и это еще не усё! — восклицал Кличка.

Целых два года сооружали здание на Амурской улице, и только в декабре 1782 года под медные восторги гарнизонных музыкантов и при небывалом стечении публики иркутский епископ Иннокентий Нерунович освятил порог парадного входа в двухэтажное каменное здание с подвалом. На фронте, украшенном еловыми гирляндами и лентами, было выписано: «Матерью Отечества дарованных книг хранилище, сооруженное попечением начальства и иждивением граждан». Кричали ура.

Через полгода Кличка возглавил курское и смоленское генерал-губернаторство. На место гражданского губернатора в Иркутске заступил Ламб, поначалу следовавший манерам предшественника и сложившимся просветительским начинаниям; при Ламбе в библиотеку поступило свыше шестисот томов и солидное собрание географических карт. Позже Ламб пообнюхался, пообтерся: дай-ка, подумал однажды, попробую! — и попробовал, и получилось, что с той «книгохранильницей» можно в п о т я г у ш к и играть. Всадил Ламб в подвал и верхний этаж библиотеки купеческие склады — и начал игру, покудова ему по рукам не дал генерал-губернатор Якобий, при-бывший в том же 1783 году, за год до того, как иркутская ратуша преобразовалась в городской магистрат с разделением на повывья... И библиотека з а ш е л е с т е л а...

...Карамышев разгорячился.

— Их превосходительство Кличка вашему превосходительству то же самое сказал бы! И, клянусь честью, после вашего очередного отказа вернуть экспонаты ноги моей здесь больше не будет!

Ощущение горчайшей обиды витало в прямой речи Карамышева, точно хор — в античной трагедии.

— Хорошо, Александр Матвеич,— отрубил Якобий.— Распоряжусь. Не смею вас долее задерживать. Книги вот... жертвую. Как Кличка. Презабавнейшие есть картинки...— И указал на свой стол.

Карамышев вышел из кабинета Якобия в полной уверенности, что уже никогда не перешагнет этого порога. Перлы российской отборной ругани корчились на губах члена-корреспондента Академии наук, и он пожалел их: слова не виноваты в том, что их люди породили, а уж коли порождены на белый свет — так пусть живут и маются вместе с людьми, и пусть к месту произносятся без стыда и смущения, поскольку каждый миг нашей жизни обозначен своим, только ему одному присущим словом, в том числе и не очень чистым...

Якобий в развалистой задумчивости подошел к столу, пыльно захлопнул «Описание земли Камчатки», не принятое Карамышевым в подарок.

«Вот книга,— подумал Иван Варфоломеевич.— Но забивать гвоздя в нее я не стану. Пусть в оном сочинении нету блеска, треска и лоска, как в презабавнейших журнальчиках, однако же имеется важная жизнесмысленная любопытность!»

Якобий вдруг вспомнил монолог из комедии господина Сумарокова «Опекун», которую недавно представляли при участии дочери Аннушки и жены чиновника Троепольского. Вот где мысль обличительная! «А честного-то человека детки пришли милостыню просить, которых отец ездил до Китайчетова царства и был в Камчатном государстве...»— Ну, здесь намек еще склизкий, относительно тканей китайки и камчи, так можно понять, но дальше-то, дальше!— «...и об этом государстве написал повесть, однако сказку его читают, а детки-то его ходят по миру... А у дочек-то его крашенинные бастроки, да и те в заплятьях,— даром то, что отец их был в Камчатом государстве, и для того, что они в к р а ш е н и н н о м толкаются платье, называют их Крашенинкиными...»⁴⁰ Ах, славно подкусил

⁴⁰ Крашенинный бастрок — короткая женская кофта из крашеного холста. Игра слов строится на созвучиях: китайский — китайчатый (китайка — сорт ткани, ввозимой из Китая); камчатский — камчатый (камка — дорогая шелковая ткань с разводами).

господин Сумароков честного Академии наук профессора Крашенинникова! Ах славно! Знаем мы таких честных, в дырявых портках... Нет уж! Мои наследницы не пойдут в бастроках христарадничать. Не пойдут! Все восемь дочек! Хотя восемь...— это не фунт изюму, разор один для родителя. Одной Жаннетте, попрыгуще Анечке сколько средствиев для жизни надобно. Ужас. Затейница, феатр придумала, а нынче так и вовсе оранжереи разводит... Это сколько же капиталов потребно на восьмерых?»

Размышляя, Иван Варфоломеевич подошел к книжной полке, где за томом Свода Российской империи дожидался подходящего срока несемейный заветный штофик для успокоения от государственных и семейных забот.

7. РЕКВИЕМ НА ДВА ГОЛОСА

Живет на свете неприхотливый цветок из семейства амариллисовых. Называют его по-разному: ургуй, прострел, ветреница, анемон, галантус. В Сибири же этот галантус именуют неизысканно, но точно: подснежник. Окраскою он нежно-синенький, в цвет мартовского снега на живописной картине Грабаря; впрочем, такой колер можно увидеть и обыденным, нехудожническим взором — будь только поприглядистей, подбробнее и не гнушайся поклониться земле, погладить рукою первую проталину — веселую, озорную и любопытную, словно солнечный зайчик, словно удивленный зрачок; земля продышала сию проталину, как мальчуган своим гриппозным дыханием вытаивает пятачок в оледеневшем окне, за которым вместо сплошного стерильно-белого до поры притаилось красное, желтое, зеленое и голубое... Живителен тающий мартовский снег! Он окрашивает земной цветок во все небесные оттенки — от темного розового до блекло-застиранного, в цвет бабушкиной старенькой косынки.

Но есть и еще один оттенок у подснежника: мрачный. В Сибири «подснежниками» называли вытаявшие по весне трупы без вести сгинувших таежных ходоков.

И се восплачися со мною, о всекрасный граде...

Кирю-шатуна нашли скоро.

Есть такой обычай у промысловиков (он и доселе жив): в назначенный срок встречаются охотники в известных местах, друг на дружку поглядят — живы ли, здоровы ли? — обнюхаются, чайком побрызгают, зададут работенку закоснелым языкам, все новости перескажут, все болячки свои выложат, как на исповеди, обтолмачут последние сны и задумки на предбудущие времена, а то и просто помолчат, полные доброты и грубоватой нежности; доброе молчание да еще вдвоем — чем не сердечная беседа? И нет того любее, когда вот так люди людям любы, и душа душу знает, сердце сердцу добрую весточку шлет, голос подает. И тогда, обалдев от одиночества, человек человека начинает любить так, будто в этом мире не только что любви, а и самой жизни в обрез осталось, на один только вдох без выдоха... А потом в охачку распрощаются и — покеда!.. Коли охотник не вышел на встречу в урочное время — значит, беда; значит, откладывайте, мужики, долгоговорение, кончайте ночевать да чаек рассусоливать и всем скопом ищите собрата своего, мертвого ли, живого—неважно; закон — тайга, медведь — хозяин, однако и человек в тайге — не последнее дело, а если двое — так тут еще поглядеть надо, кто здесь гость, а кто хозяин, и по чьим законам должно жить и хозяйствовать.

Киря-шатун пролежал недолго, даже снежком не припорошился.

— Ну... вот и встренулись. Мы его видим... Он нас — нет...

Слева распростерся царственный бабр (мощь державы!) с ножом, загнанным в горло по рукоятку.

Справа — дивный соболь (богатство державы!) бился в сетке, еще живой, незаморенный.

Посредине — человек (сын державы!) с нутром, вывернутым наружу. Лежал — как упрёк, как последнее откровение — от крови своей: «Што, дескать, уставились, мужики? Рази по-божецки вот этак-то: наизнанку раскровянитесь — штобы тебя все-таки заметили и пожалели?»

Соболятники шапки стянули. Все было ясно им: сошлись на крохотном клочке земли три стихии — сила, богатство и раб божий; и ежели первые—неподсудные, непостижимые, беспредельные, как слоны, то что же человек еси, как не крест ходячий, не тля, не комар? А слоны трутся — меж себя комарей давят...

И се восплачися со мною, о всекрасный граде, и воспомяни славу свою и праздницы...

Сволокли Кирию на старое кладбище, поклали в чернозем этажом выше дедов-прадедов; все не в одиночку лежать соболятнику, шибко в жизни наскучался, а что мертвяки со всех боков подпирают — так ведь и они были когда-то на нас, тутошних, похожими.

Что остается, когда даже след стирается? Память. А для памяти не всегда памятник нужен.

И по теплу высадили на Кирину могилу обычные незабудки. Что — дерево? Что — камень? Дерево гниет. Камень вода точит, ветер в пыль обращает. А эти луполазенькие цветы — вечны: топчи их, плюй на них ядовитой слюной, овечкам отдавай на потраву, а они каждую весну проклевываются из праха, любопытные, и голубеют неистребимо.

И еще поминки справили. Помянули соболятника добрым словом и чаркой водки; водка-то — она, курвища, и при жизни, и за гробом достаёт человека всего оглушительней, не позволяет живущему осмотреться вокруг и задуматься, и вздохнуть философически:

— Едрить твою за ногу! И до сколька же такие нелады тянуться будут: што имеем — не храним, потерявши — плачем?

И се восплачися со мною, о всекрасный граде, и воспомяни славу свою и праздницы, и торжества своя...

Читатель мой! Не уповаю на многолюдье, на тотальное народонаселение! Знаю: хоть и затяну голосом вовсю ивановскую, да сердцем не вынесу. Давай уж вдвоем — оглянемся и помянем, а потом и другим расскажем, о чем же мы всплакнули светло и чисто. Ты да я — нас еще мало. Но, может статья, отзовется в ком-то из нас н наших близких родственная кровь далеких сибирских бродяг — кровь, не пресеченная войнами и предательствами, зазубренными ошметками фирменной крупповской стали и самоубийствами, энцефалитным клещом и

мизерными тиражами...— и вдруг окажется, что мы с тобой — братья. И вот — нас уже много. Славно сие.

И се восплачися со мною, о всекрасный граде, и воспомяни славу свою и праздницы, и торжества своя, и пиршества, и веселия всегдашня! Аминь.

8. КАТИЛОСЬ КОЛЕСО...

Дочь Жанетта одновременно и радовала Якобия, и пугала.

«Што умная, да сметливая, да припасливая,— думалось Ивану Варфоломеевичу,— так это все в меня. И хватка у нее моя, львиная, даром што девицею уродилась. Касательно фигурности и мордашки — сие от матери. Стрекотливый язычок — от мусьи, учителя. Таланты от Бога, само собой. А фантазии... черт знает, от кого такие фантазии! Это ж надо додуматься: Почекушина для феатра краскою вымазала, придумщица, римский статуй из Ваньки изобразила! Бедный секретарь после публичного показа три дня ходил на прямых ногах, коленки не сгибались, волосья колтуном слиплись, и рот склеился, и все молчал Ванька, гордый не гордый, а будто бы цезаря с брутом в одном корыте разболтали да все на одного провинциального секретаришку и вылили... В наши-то годы попроще было, без сего комедианства, без нынешней дурости. Теперешним феатры подавай, философию и дё шоколя⁴¹... По пивной кружке того щеколату за щеку мечут, это ж надо такие обширные щеки иметь! Или взять овощи иноземные, кои Жаннетта растит. «Авэ ву дэ пример?»⁴² И девок-сборщиц за каждый пример по соплям хлещет, чертовка неукротимая, вылитая Жанна Дарка!»

— Ах, *mon cher* папенька,— обычно поправляла отца Жаннетта,— овощи — это когда просто животу полезно. А когда вкусно и в папир завернуто — это уже фруктаж. Померанец али персимон.

От «персимона» у Якобия во рту кисленько сделалось.

⁴¹ Шоколад (франц.).

⁴² Скажите, у вас есть ранние овощи? (франц.)

— Ну, гляди,— наставлял он дочь.— Только помене кулаками на прислугу махай! Не дай бог, случится с которой-нибудь девкой этот самый... помиранец или еще какой пример. А мы, чай, не на войне, в мирности покуда живем.

Жаннетта хохотала: хохотали пружинки кудряшек на височках, хохотали плечи, грудки, пальчики, пуговички, застежечки, туфельки и новое платье цвета «тела испуганной нимфы».

...Что и говорить, хорошо жилось у Жаннетты Якобий тому, кто был померанцем или персимоном: снимут с деревца, кое растет в огромной кадке, бережно оботрут тряпочкой и обернут мягкой бумажкой для сохранения от сырости! Уродились нынче в оранжерее первые желтенькие фигульки, кликнула Жаннетта прислужных девок урожаем собирать, а чтобы девки редкостный фрукт не пожрали — Жаннетта девичьи глотки веселою музыкою заняла: каждой сборщице приказала петь непрерывно. И шибко. А с персимоном-то за щекой не шибко напоешь! Одна попробовала — сразу и поперхнулась, закашлялась, и зоркая Жаннетта самолично отмордовала девку по щекам и прочим округлостям. К концу сбора плодов девки хрипели, будто простуженные... И — странное дело! — где-то внутри у Ивана Варфоломеевича зашевелился червячок жалости к тем сереньким безответным певуньям. Да вот и Ламба, сохапщика своего, нынче вспомнил и пожалел. Откуда она, жалость? Стареть начал, что ли? Странно сие, диковинно. Видать, и вправду годы дают себя знать, коли по каждой пустяшной безделице сердце начинает хлюпать, как худой водосток или низменная калоша... Да, конечно, со старостью шутки плохи: она, безжалостная, враз напоминает людям о том, что все они проживают не в доме, но во времени...

К вечеру в дом Якобия ввалился курьер из Петербурга со срочным предписанием.

— Присядьте, любезный. Как живете?

—Служим-с,— хрипато ответил курьер, синий, продроженный, однако уже преуспевший выжить из нутра четверть мартовского дорожного озноба с помощью стаканчика водки в попутном кабаке.

В предписании черным по белому значилось: немедля выехать в столицу. Впрочем, белого цвета и белого света для Якобия

с этой минуты как бы уже и не существовало, все стало черным-черно.

«И курьер подлец еси! И все подлецы! Все Брутья! Ох, беда, беда!» — причитывал про себя Иван Варфоломеевич, перечитывая казенную бумагу и хватаясь то за голову, то за сердце в смятении и тревоге.

Утром следующего дня — последнего дня марта 1788 года — генерал-поручик Якобий, кавалер и прочая и прочая... — на лучших лошадях рванул навстречу судьбе.

Мчался... Сердце ныло, голова потрескивала от ситуационного анализа. И затеяли они, сердце и голова, промеж себя удивительный водевиль:

«Господи, ведь посодют!» — булькало сердце.

«Непременно посодют. Авэ ву дэ пример?» — трещала голова.

«Господи, да не лайся ты! Куды посодют?»

«Куды надо. И в папир не обернут».

«А куды надо-то, а?»

«Меня — в департамент, тебя — в крепость».

«Эва, да рази такое бывает, что две телесные принадлежности — и поврозь?»

«Еще как бывает! Сплошь и рядом...»

«А как бы этак изловчиться, чтоб с тобою вместе восседать... в департаментах, а? Ты уж давай думай, голова, гляди зорче, сверху-то всегда виднее как и чего, а также и сколько. И полномочности у тебя поширше моих, и язык в подчиненности висит».

«Ладно, попробую. Да и ты, мин херц, качай, не подкачай, не притамливайся...»

Мчался Иван Варфоломеевич, еще не зная того, что в столице уже заготовлен указ: должность наместника Иркутского и Колыванского похерить, вместо оной ввести пост генерал-губернатора Сибирского, а генерал-поручика Якобия показать сенатскому суду и уволить из службы.

Катилось колесо...

И жизнь катилась в оставленном генерал-губернаторстве.

В середине лета состоялось изрядное землетрясение. Архиепископ Вениамин весьма опасался за церковные маковки с крестами: удержатся ли? не шибко ли усердно Господь Бог раскачивает землю за людские прегрешения?

В конце августа, на святого Лаврентия, иркутское общество с месячным опозданием, зато с пышностью, с пальбою из пушек, отправляло торжество по причине славной виктории, одержанной российским флотом над турецкими галерами капудан-паши Эски-Гасана.

А 1 ноября прискакал весь в грязи сенатский фельдъегерь Болотов и вручил гражданскому губернатору Михайле Михайловичу Арсеньеву именной указ Екатерины Второй об определении на Сибирское генерал-губернаторство генерал-порутчика и кавалера Ивана Алферьевича Пиля.

— Вона как!— глубокомысленно судачил город.— А Якобий што же? Скончался али как?

— Может, скончался... А может, и не совсем.

— Се человек, православные! Был Якобий — якобы жил и якобы помер. Яко был — и нету. И таково проходит земная слава.

— Может, ишо вернется? Не дай Бог...

— А ты узнай поди!

— Ето как же?

— А так вот. Пошли в сенат Ивана, за Иваном болвана, за болваном ишо одного дурака, да и сам следом ступай. Ясно?

— И што же ето за Пиль у нас таперича будет, братцы?

— Господа, па-пра-шу...! Ибо Пиль суть кличка нашего нового ихнего превосходительства!

— Вот Кличка, помнится, был — так это кличка! А Пиль што? Будто бы команда собачачья: «пиль! пиль!» Куси, значит.

— А может, от пилы прозвище-то? Пилить зачнет...

— Нет, уважаемые. «Пиль» суть деминутив от латинского «пиля», что по-нашему означает шарик, катышек. Пилюлька-с!

— Ну и пушай котится, катышек! Хрена ли нам зде-ся... пиликать?

— Чего одного убавится — того другого прибавится ! — витийствовали семинаристы, тишком начитавшиеся сочинений господина Ломоносова.

Все правильно! Прыщавые недоросли — а и те мудрей многих понимали, что свято место пусто не бывает, потому как — метафизика-с, господа!

...Одним из последних письменных следов уходящего 1788 года было повеление императрицы генерал-губернатору Полоцкому и Могилевскому Петру Богдановичу Пассеку⁴³ относительно участи подданного британской короны Джона Ледьярда: «Повелеваем по присылке одного чужестранца выпроводить за границу с прещением, чтобы он впредь не осмеливался являться нигде в пределах империи нашей».

А 27 декабря Ангару сковало льдом.

Так и кончился год, закатился восвояси.

...Наутро после праздника рождественской елки, обязательной еще с петровских времен, хмурый целовальник оглядывал ватажку похмельных босяков у входа в кабак и трактовал невозмутимо-вечное:

— Чудеса творятся на свете! Вроде бы и день как день, да год уж не тот, и людишки пошли мелкие, хуже прошлогоднего... И куды ж мы котимся?

9. ВОКРУГ ДА ОКОЛО, ИЛИ ХРОНИКА ВРЕМЕН ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ ИВАНА ПОЧЕКУШИНА

У Салтыковского подъезда Зимнего дворца стояла баба с узелком в руке.

Запрокинув голову и пристроив к бровям ладонь козырьком, она подслеповато елозила взглядом по верху крыши «царицкиной избы» и жалобно, точно перепелка, кликала мужа своего, кровельщика, который еще прошлой осенью в компании земляков, архангелогородцев-моржеедов, подался в столицу на заработки — и сгинул безвестно.

⁴³ Пассек П. Б. (1736—1804), родственник Вадима Васильевича Пассека (1808—1842), друга и соратника А. И. Герцена.

— Иванович, а, Иванович! Слазий с крыши-то! Я приехала, баба твоя... Почто молчишь, роди-и-май?

По красным круглым щекам наперегонки, точно с горки, скатывались крупные славянские слезы. Да что толку в тех слезах! Столицу бабьей слякотью не прошибешь. Она, столица, и не такую мокроту на своем веку видывала, регулярно панибратствуя с нашествиями финских буйнопомешанных вод. И потому «перепелкины» слезные призывы даже на мизинчик не разжалобили роту окаменевших мужиков на крыше Эрмитажа, «уединенного уголка» помазанницы божьей Екатерины Алексеевны. По замыслу зодчего, сии мужики должны были поплевывать свысока на большую российскую деревню — убогую, вонючую, сермяжную, дикую, в коей молятся на лапоть и оным же лаптем щи выгребают. Надменные мужики, с сердцем каменным...

Один Якобий пожалел бабу.

— Тю, деревня! Ты что же это, дура, мраморовых статуй не лицезрела, а? Сиих красавцев мужеска пола мастер Растреллий высек. Поняла, чухоня мокроногая?

Ахнула баба:

— Да за што же высек, батюшка? Стрелил-то за што?

— За это самое, матушка,— ответил Иван Варфоломеевич и нескромно похлопал себя пониже живота, сам себе удивившись за таковую грубую солдатскую игривость.

Баба ойкнула, испуганно прикрыла рот ладошечкой, а развеселившийся бывший генерал-губернатор Иркутский и Кольванский покотил дальше.

Ехал Иван Варфоломеевич — мимо ампиров, барокко и рококо, мимо беломраморных богов и богинь Летнего сада, мимо дворцов, возле которых коляски двигаются шепотом, переходят с дребезжащего каменного перестука на почтительное и подобострастное шелестение, словно повинуюсь Петровской табели о рангах; а в тех домах — салоны, а в салонах — много брильянтов и, сказывают, мало истинных красавиц; и еще в тех домах — влажные морды породистых псов, ордена, каминь, бархат, султаны на лакированных киверах, пунш, соболиные палантины, поющие шпоры...

Ехал Иван Варфоломеевич в легкой изящной коляске и думал: «Отчего бы, однако же, и не развеселиться! Дело

слажено, сама императрица к ручке допустила, сенат благоволит к персоне нашей. Чего же более? В Иркутск не вернут? Проживём без Иркутска, в нем соблазну и искушений невпроворот. В столице сего поменее будет, вот и отаборимся покуда в столице. Али еще где. Империя наша — огромнеющая. Это по европам галопом скакать нельзя, а по России — можно. Так что, проживем-с, Господи ты Боже мой и господа сенаторы! Мерси вам всем за участие, за милости ваши, носите на здоровьице моих соболюшек, сволочи, мздоимцы, крючки судейские...»

Что-то такое, едва уловимое, по отчетливо скверное, шебуршилось в мозгу Якобия, и шебуршилось до тех пор, покуда он не сообразил: Растреллий! Ах, этот Растреллий... Фамилия нехорошая. Впрочем, отставной наместник Ея Императорского Величества тут же вернулся в игриво-благостное расположение духа, Ваньку Почекушина вспомнил, стервеца, доносчика. Судейские-то всё-ё-ё показали, все бумажки выложили перед Иваном Варфоломеевичем даже не за плату, а за наивный до смешного гонорарий: одному — белочку, другому — белочку... И Ванькину клязу показали. Ах, далеко пойдет тезка, шельмец, сукин сын, статуй древнеримский...

Скакал бывший к бывшему — Иван Варфоломеевич Якобий к Ивану Варфоломеевичу Ламбу. Оба почитающие себя солью земли русской, они нынче сбросили с себя старую кожу и благополучно обрастали новой.

А между тем и без них, без Иванов Варфоломеевичей, жизнь неслась вскачь. Мелькали месяцы, недели, дни — вприпрыжку, галопом — и по европам, и по России. И человек уже не успевал ни от чего в этой спешке освободиться. Впрочем, он и не должен освобождаться, ибо растет внутрь, как дерево: кольцо на кольцо, год на год, катаклизм на катаклизм, болячка на болячку, да и сердцевина у человека и дерева одна — память.

Обрисуем же, читатель, срез времени. Что было — то было.

7 февраля 1789 года в Иркутск привезли шестерых полуобмороженных японцев. То были остатки экипажа судна «Синсёмару», потерпевшего бедствие на море и игрой случайных ветров прибитого к российскому дальневосточному берегу. Несчастные не могли вернуться на родину, в которой свирепствовал указ, одинаково каравший смертью как иностранцев,

проникших в Страну Восходящего Солнца, так и сынов Ямато, покинувших отечество даже вопреки своей воле... О, эти каноны замшелого средневековья! Они гнали самурая под боевые знамена его князя, заставляли крестьянина выгрести последние зерна риса для своего феодала, вынуждали купца со вздохом и причитаниями вскрывать тайник с деньгами и тащить их туда же, в княжеский замок. Ох, уж эти каноны! За их нарушение самураев приучили прибегать к харакири как к очищению, как к единственному способу искупления грехопадения; купцов лишали всего их состояния и прав на торговлю, а у крестьянина просто-напросто отнимали жизнь любым из множества способов, известных в эти времена — жестокие, хлюпающие кровью, рычащие времена, перевитые романтической дымкой тридцати пяти ходов чайной церемонии с ее чистотой, миром, гармонией и тишиной...

Шестеро оставшихся в живых мореплавателей не были первыми, кто из боязни лишиться головы на родине нашел на русских берегах спасение и приют, подданство, православную веру и славянские имена. Первыми были Дэнбэй и Санима, в судьбах которых принимал участие Петр Великий. Нынешних скитальцев во главе с капитаном Дайкокуя Кодаю поселили на окраине Иркутска, близ Ушаковки, в доме кузнеца Хорькова... Забегая вперед, скажем: двое из японской команды — Сёдзо и Синдзо — решили навсегда остаться в России, остальные задумали переждать на сухопутье политические непогоды и попытаться вернуться домой. Что ж, вольному воля. Так все и случилось: желавших возвращения проводили как близких гостей, даже не гостей, а уже своих, ибо по старому русскому обычаю, гость, переночевавший у тебя в доме на печи, уже не гость, а вполне свойский. Сёдзо и Синдзо остались: первый стал Федором Степановичем Ситниковым, второй — Николаем Петровичем Колотыгиным. Обоих определили учителями в Иркутской школе японского языка...⁴⁴

.....

⁴⁴ Одно из зданий, в которых размещались японские классы, ныне занимает Иркутский авиационный техникум.

— В Иркутской школе японского языка вам следовало бы подобрать своего человека. Гиней⁴⁵ за тридцать в месяц,— раздраженно сказал руководитель британской секретной службы сэр Уильям Иден первому лорду Адмиралтейства сэру Сэндвичу; Иден три года назад был уполномочен поставить свою подпись под англо-французским торговым договором, распахнувшим двери Франции для ввоза британских промышленных товаров; договор расценивался как блестящая победа тайной разведки, сэр Иден получил орден и, таким образом, заслужил право поучать других.

Сэр Сэндвич в свою очередь пригласил к себе секретаря Адмиралтейства Филиппа Стефенса, ведавшего секретной службой военно-морского ведомства.

— Т а м,— сказал Сэндвич и поднял палец вверх,— чрезвычайно озабочены делами в России. Императрица Екатерина укрепляет свои интересы на Черном море. Два года назад мы благословили Турцию на ведение войны с русскими, однако блистательных побед от Блистательной Порты мы до сих пор не видим и есть опасения, что не увидим. Ситуация для нас критическая. Будем думать, как вышибить Россию из зоны наших черноморских интересов. Однако с еще большей степенью тревоги мы должны воспринять безудержное, поистине скифское проникновение русских в Северную Америку. Эта экспансия, сэр, происходит у нас на глазах в то время, когда мы ведем там войну против колонистов! Создается впечатление, что наша служба ровно ничего не стоит в сравнении с русскими купцами, энергично превращающими Аляску и Калифорнию в Американский уезд Иркутской губернии. Ваши соображения на сей счет будьте любезны представить через три дня. Одновременно подумайте о том, как и кого посадить в Иркутске. Неважно — куда: в русскую торговую компанию, в школу переводчиков, в губернское правление, куда хотите, платите в месяц... пятьдесят гиней, но мы обязаны знать: когда, где и в какой платок чихнет некий мистер Шелихов. Причем мы должны это знать еще до того, как у мистера Шелихова засвербит в носу.

Филипп Стефенс пригласил в офис Джона Ледьярда, недавно вернувшегося из России.

⁴⁵ Гиней — англ, золотая монета, равная 21 шиллингу.

— Вы огорчили меня, мистер Ледьярд,— сказал Стефенс и обворожительно улыбнулся.— Ваш отчет о поездке в Сибирь никуда не годится.

— Но, сэр! — отпасовал улыбкой Ледьярд и отставил в сторону недопитую чашечку турецкого кофе.

— Молчите. Я всегда был уверен в том, что вы во всем согласитесь со мной. И благодарю вас... за самокритичность. Будем говорить откровенно, и чтобы разобраться в причинах нашей неудачи в сибирском вояже, я прошу вас мысленно представить соучастником нашей беседы сэра Джеймса Гарриса⁴⁶, чей опыт и авторитет в подобных делах, надеюсь, вам отчасти известны. Прикиньте на себя его умение сочетать способность быть любезным хозяином и желанным гостем с качествами прожженного политического интригана — да, да, интригана! в нашем ведомстве без этого нельзя! Прикинули? И как же вы чувствуете себя в этой прикидке? Очень неуютно, не правда ли? Как мальчик, облачившийся в одежду взрослого джентльмена. Считаю дальше: непринужденность Гарриса в разговоре, сдержанность, остроумие — и тончайший анализ ситуации. Уступчивая ловкость в споре — и купеческая прижимистость в официальных переговорах. Некоторая самоуверенность — да! Некоторая неразборчивость в выборе средств для достижения цели — да! Явное любование собственными хитроумными маневрами — тоже да! Однако...

Однако сэр Стефенс из чисто дидактических соображений не стал говорить Ледьярду о том, что при дворе Екатерины II разведывательная миссия Гарриса потерпела крах, и цель ее, состоявшая в заключении союза с Россией, столь желанного для Англии в период войны против североамериканских колонистов и коалиции европейских держав, — оказалась недостигнутой. Гаррис, конечно, неординарный разведчик, и поэтому вскоре понял, что русская императрица вела с ним сложную игру, время от времени завлекая его надеждами на подписание договора. Как иронически рассказывал Гаррис, его позиции в Петербурге очень напоминали поведение одной испанки, супруги известного гранда, которая, будучи непоправимо бесплодной, на протяжении десяти лет считала себя постоянно беременной и через

⁴⁶ Известный английский дипломат и разведчик того времени.

каждые три-четыре месяца терзала воплями вызываемого акушера. Не желая следовать этому банальному примеру, Гаррис в августе 1783 года добился отзыва в метрополию «по причине расстройства здоровья». В узком кругу посвященных говорили, что сэр Иден, знавший Гарриса еще по студенческой скамье в Оксфорде, профессионально заметил, что Джеймс будто бы утратил в России чувство истинно британского юмора. Кто знает, кто знает...

—Однако,—продолжил сэр Стефенс,—отдельные недостатки Гарриса в определенных стечениях обстоятельств оборачивались в свою противоположность. Но это уже — забота ума, который всегда был трезв, реалистичен и холоден.

— Славо. Тибе господи,— произнес по-русски Ледьярд.— Я тоже холоден. Полгода прошло, как вернулся из Иркутска, а до сих пор, представьте, не могу отогреться. У вас есть русская водка, сэр?

Он действительно намерзся, скиталец, потомок пенителей морей! Служба не баловала его. По возвращении из тихоокеанской экспедиции Кука, Ледьярд совершил попытку внедриться в предприятие Лаперуза, однако французы энергично вычислили: who is who?— и не допустили делегата разведки британского Адмиралтейства даже к трапам своих парусников, наступив при этом на горло своим темпераментным желанием отнестись к шпиону — как к новому кораблю, а именно: разбить об Джона бутылку шампанского... Выполняя последующее предписание военно-морской секретной службы, Ледьярд, уже как частное лицо, обратился к Екатерине II с просьбой гостем любого русского парусника изведать тайны северного морского пути, столь потрясающие воображение путешественников.

— Что касаясь тайн,— ответили Джону,— то таковых не предвидится. А потрясаются путешественники от морозу.

Отказали категорически! Тогда Джон потеплей экипировался и на собственный страх и риск кораблем отправился в Швецию, оттуда пешком, через замерзший залив, добрался до Финляндии и остановился на жительство близ русской границы, где и обитал до той минуты, пока не узнал, что русская императрица покинула столицу, отправившись на юг России, к Потемкину. Дальше все было проще простого: Ледьярд, объявившись в Санкт-Петербурге, поразительно легко убедил высоких полно-

мочных чиновников в том, что приехал по высочайшему приглашению, и вот сейчас он, слуга покорный, не имеет возможности лично засвидетельствовать чувства преданности порфириносной государыне за оказанные ею милости и места себе по такому огорчению не находит; впрочем, джентльмены, есть, пожалуй, одно место, куда бы можно прокатиться, покуда Ея Императорское Величество путешествуют.

— Куда хотите?— спросили британца.

— Да хоть в Сибирь, на худой конец...

Так посланец Адмиралтейства оказался в Иркутске, в доме основателя Российско-Американской торговой компании Григория Ивановича Шелихова. А в последующем все покатилося как в русском фольклоре: от царицы ушел, от министров ушел, от Якобия ушел, а Шелихов с «Тремя Иванами» чуть было не слопали колобка. Странная страна!..

— Еще рюмку?— предложил сэра Стефенс.

— Благодарю. Но лучше бокал. Или стакан.

— Учтите, мистер Ледьярд, на вас надеются там.

— Корона?— спросил агент.

Вместо ответа сэра Стефенс встал и вытянулся в гвардейской стойке. Ледьярд последовал его примеру.

...Читателю, может быть, небезынтересно, что английский престол с 1760 по 1820 год насиживал Георг III. Правда, из 60 лет его правления около десяти пришлось на период, когда он официально считался умалишенным, и обязанности короля исполнял принц-регент. На остальные полстолетия выпали годы острых внешнеполитических неприятностей, тайной и явной борьбы против восставших североамериканских колоний, против революционной и наполеоновской Франции; во время этих событий Георг III считал личное участие в руководстве секретной службой несомненной частью столь ревностно оберегаемой им королевской прерогативы. Остроумна, наконец, эпитафия на смерть короля-шпиона, сочиненная Э. Бентли:⁴⁷

Георг Третий

Не должен был существовать на свете,

⁴⁷ Перевод С. Я. Маршака.

В истории английской
Он кажется ошибкой иль опиской.
Остались от него, когда он помер,
Одно лишь имя громкое и номер!

— Прошу садиться, мистер Ледьярд. Думайте. Кстати, наши соотечественники признали, наконец, Вильяма Шекспира за классика. Вот вы и поступайте в духе его классических трагедий. Шелихов стал опасен. Сделайте его мавром, который должен уйти. Как уйти — это на ваше усмотрение: хотите, по Шекспиру, хотите — по Шиллеру...

— Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen,⁴⁸ — отчеканил Ледьярд, демонстрируя шефу литературную эрудицию.

— Я же говорю: как хотите. Но учтите, что Шелихов — не тот мавр. Не английский, не немецкий. Сибирско-американский! А с такими персонажами мировая литература и разведка не часто сталкиваются. Так что, в средствах не стесняйтесь. Платите своему человеку в Иркутске... сто гиней за акцию.

— За одну акцию?

— За одну. Смерть едина. Кстати, вы доносили, что держите на крючке Иркутский коллеж японских переводчиков, не так ли?

— Нет, сэр. Я разочарован в тех крючках. Те переводчики могут только деньги переводить понапрасну. Еду сам.

— Сам? Прекрасно. И да хранит вас Бог! Отогревайтесь — и в путь.

Джон Ледьярд был крепко обижен на Россию. И потому он в метрополии долго не задерживался. Из Лондона он выехал 30 мая.

.....

30 мая, в день святого Исаакия, как замечено в русском месяцеслове, змеи скопляются, идут поездом на свою змеиную свадьбу.

А ближе к вечеру языки пламени начисто слизали Иркутскую казенную палату, что располагалась прямо против Гостиного

⁴⁸ Мавр сделал свое дело, мавр может уйти (*нем*). В трагедии Ф. Шиллера «Заговор Фиеско» эти слова относятся к бессовестно обманутому персонажу

двора. В дымных сполохах метались коллежские регистраторы и... подбрасывали в огонь толстые папки с прошлым и текущим делопроизводством. В накаленном воздухе витали отчеты, реестры, прошения, докладные, жалобы, описи, доношения... Людей ли они искали, эти бумажки, от людей ли спасались — Бог весть. А люди... Кто выл с горя, кто крестился с прилежанием, а кто и поздравлял соседа-зеваку, подмигивая: «С облегченьцем, вас!»

Поутру судачили о причинах пожара. Одни приписывали случившееся несчастье турецким лазутчикам, другие винили истопника, третьи — обвиняли бывшего генерал-губернатора Якобия, который якобы чужими руками враз подчистил свои административные грешки; четвертые-пятые уповали на волю Божью и атмосферическое электричество...

.....

Атмосферическое электричество — взрывчатое, как первая любовь, и быстротечное, как любовь последняя,— заискрило для Бенджамена Франклина не в небе, но на грешной земле: за выдающийся вклад в экспериментальное изучение этого явления и создание молниеотвода Франклина, уже к тому времени великого, но не знавшего о своем величии, избрали Иностранным почетным членом Петербургской Академии наук. Может быть, именно в этом году россияне всерьез задумались о судьбе чужой и далекой Америки. Пособил этому задумыванию он, Франклин, — пятнадцатый ребенок в семье мыловара, ставший популярным дипломатом, страстным писателем, неистовым врагом рабства, основателем американского философского общества. Об его ученых открытиях англичане писали высокомерно и подглядывающе: «...Доктор Франклин изобрел машину размером с футляр для зубочистки, а также вещества, способные превратить собор святого Павла в горстку пепла». Имелись в виду — конденсатор и взрывчатые смеси. А Франклин, по сути, являлся совершенно мирным человеком, скромником, непривередливо поглощавшим как филадельфийский сухарик, так и жареных фазанов из королевского сада в Версале; зоологическому обжорству он всегда предпочитал мозг, голодный до размышлений, способный в наисчастливейшую минуту «на кончике

пера» открыть новое океанское течение и дать ему название «Гольфстрим»... Еще в голодной юности Бен сочинил эпитафию для собственного захоронения: «Здесь лежит тело типографа Бенджамена...»

Так и высекут на камне — через год, после вереницы событий описываемого 1789 года.

А пока... Пока он отвечает на поздравления со всего света, и сам поздравляет — своего соотечественника Джорджа Вашингтона, парня что надо, профессионально рубящего лес и бесстрашно ходящего с двумя кулаками на одного медведя: Джорджа только что избрали первым американским президентом под гром пушечного салюта и при огромном стечении публики.

.....

Под гром пушечного салюта и при огромном стечении публики 20 июня в Иркутск въехал генерал-губернатор Иван Алферьевич Пиль с супругою, замужней дочерью Катериной Ивановной и двумя прелестными внучками — Лизынькой и Варенькой.

На триумфальной арке, воздвигнутой попечением гражданского губернатора Арсеньева и увитой гирляндами цветов и хвойных веток, красовался щит со словами:

**Красою твоих хвальных дел
Иркуцка пользу умножая,
Наполни радостью предел,
Императрице подражая!!!**

Автор дифирамба Иван Савельич Почекушин (уже губернский секретарь!) рвал волосы с досады, от великой оплошки: вместо «ваших» художник, подлец, изобразил «твоих»! А не почтут ли новое ихнее превосходительство сей оборот за фамильярность или, еще хуже, за злоумышление и покусительство? Почекушин деловито суетился в толпе, подравнивал ряды хоровиватствующих сограждан, расточал ослепительные улыбки, из всех секретарских сил выделялся; и чувства переполняли его душу нижепоименованные: страх, сомнения и злоба; Иван Савельич ругмя ругал про себя и мазилку-художника, беспре-

кословно поторопившегося исполнить на щите столь несовершенные и явно сомнительные вирши; и... четверку лошадей винил Почекушин — четверню с каретой генерал-губернатора, слишком медленно, как казалось, проезжавшую зону видимости приветственного щита; а заодно Почекушин костерил, честил, лаптил чертей, бога, сына божьего, его маму Марию, ангелов, архангелов и прочее белокрылое воинство небесное — потрошил, точно куропаток, в пух и перья!

И с неба опускалась пушистая тополиная метелица.

Толпа горожан сомлевала от жары, от любви, от восторга.

...Когда коляска благополучно докатилась до резиденции, Иван Алферьевич, благодушно улыбаясь, потер ладони одна о другую, как делают обычно, садясь за стол, любители обстоятельно и со вкусом покушать, — и объявил семейству:

— Оп-па! Вот мы и приехали, любезные мои!

10. БУЗИНА НАШЕЙ ЖИЗНИ

— Вот мы и прикатили, барин! Туточки и проживают ваш господин Ламбий, — объявил извозчик и снял цилиндр: кидай, дескать, сюда денежку, ваше благородие, не задерживай рабочего человека, овес-то нынче — ого, ценами кусается! И лошадка подтвердила: ого-го.

Иван Варфоломеевич Ламб приветил Ивана Варфоломеевича Якобия не без тайности в мыслях: на какой манер кончится судное дело отставного генерал-губернатора? Опыт подсказывал: не спеши определять свои позиции, спешка хороша токмо при ловле блох, поспешишь — людей насмешишь, в лужу сядешь.

Вопрос вопросов: куда двинут Якобия по окончании сенатских рассмотрений? Ежели определяют в забвение — не следует и расточаться на любезности и сердечное участие, а ежели, наоборот, возвысят и над сегодняшними судьями поставят? Такое лицедействие не внове. Таковых-то случаев, когда суд с судьбою перемигиваются, премного держалось в цепкой памяти Ламба, и самый свежайший из сих случаев — всего лишь недельной давности, в одной из департаментских канцелярий

произошедший между столоначальником, титулярным советником Кисселем и его помощником, коллежским секретарем Грамматикати, который страстно метил на столоначальниково место — давно и покуда безнадежно. Вышел указ: Кисселя до особого распоряжения отстранить от исправления должности, вакансию заместить помощником. О, как сияли, как лучились маслянистые глаза Грамматикати! Как вдруг изменились голос его и походка, и жесты, и насморк из вечной жалобы превратился в львиный рык! Какая энергическая решительность накатила в один момент на нечаянного баловня судьбы в первые, самые сладкие, припадки властительности!

— Этот немец Киссель у меня вот где сидел!— объявил обрусевший грек Грамматикати, указывая перстом на кадык.— И справедливо, господа, что сего немца того-с... размазали. Фамилья как раз подходящая.

Чиновники гуськом подходили к новому столоначальнику и радостными голосами разделяли его резюме:

— Это так... Это — да! Совершенно справедливо! Развел тута, понимаешь, кисельные берега! Ни дыху от немца, ни продыху!

А дальше — была не была, катать с плеч! Первые распоряжения Грамматикати суть следующие: мерзавцу Кисселю казенного экипажа и лошадей с ведомственной конюшни не давать! курьеров — тем паче! в служебный кабинет не допускать, а все киссельные шмотки оттуда выбросить в дворницкую! да плюс к тому — назначить ревизию финансов и морали Кисселя, и в случае загрязнения — под суд, разбойника!

К исходу дня Грамматикати хватил удар: из последующего за первым второго указа выяснилось, что коллежский ассессор Киссель помимо повышения в классе получил к прежнему титулованию «благородие» приставку «высоко» и новую должность — над всей канцелярией сел! Последние слова Грамматикати в этом мире были горчайшие:

— Опять ом-ма-ну-ли-и...

...«Вот оно как случается, — думал Ламб.— Что в людях водится, то и нас не минует. Да разве токмо в людях такое обманство вершится? Объявили было указом, что августейший супруг ныне здравствующей императрицы помер от геморроидальной колики. А какие там колики? Вилкой столовой заколо-

лики! И по сей день одному лишь Богу ведомо, как фавориты, добывая вакансии, колотили и душили Петра Третьего на Ропшинской мызе три десятка лет тому назад...»

Почти по-родственному облобызались Ламб и Якобий!

Из последующих переговоров Ламб составил категорическое суждение: отставного генерал-губернатора надобно держаться двумя руками, ибо — богат как Крез, силен, и еще, многих столичных чиновных кряжей купит и продаст на корню, с потрохами. А судное его дело попало в руки Гаврилы Романовича, славного русского пиита. Да ведь пиитов тоже прикормить можно!

На совместной приязни и порешили сожительствовать два бывших сибирских паразита.

Прощаясь, Ламб посулился присмотреть для Якобия подходящий вкусам последнего продажный дом.

— Чтоб с колоннами!— предупредил Якобий.— Как у графьев.

— Можно и с гербовым фронтоном, — поддакнул Ламб.

— Сие не к спеху. Покудова присобачу рупь на фронтон, вот и будет герб...

Возвращался Якобий все той же Почтовой набережной.

Лошадка копытами цокала, Иван Варфоломеевич — языком, удовлетворенно.

Против Зимнего дворца торчала прежняя баба-архангелогородка, уже растрепанная, пьяненькая, рукой махала каменным статуям на крыше царицыного «уголка отдохновения»:

— Слазий, Иванович! Кому говорю, изменщик?!

Якобий на этот раз проехал мимо, не задерживаясь.

Хочешь идти вперед,— глаголят китайские мудрецы,— не останавливайся перед каждой лающей собакой. Правильное мудрствование. Иван Варфоломеевич вознамерился идти только вперед, мысли его шевелились бойко под черепом, потрескивали, выстраивались в ровные шеренги: первая, вторая, третья... На правом фланге — вопросы, требовавшие незамедлительного решения: что есть? что будет?

Якобий снял шляпу, разгладил платком потные складочки лба, потрудившегося сегодня на славу. Так и ехал гололобым.

Невский ветерок—не помеха, а комаров Иван Варфоломеевич не боялся, на лысину они не садились — то ли поскальзывались, то ли брезговали, кто знает? Здешняя-то, Санкт-Петербургская комарилья — не в пример сибирской, крупной, породистой; те, бывало, усядутся, кровящи насосутся, брюшко гирькой вниз отвиснет, а потом так и летят дальше по своим кровопивным делам — стоячком... Вот она какова, бузина нашей жизни.

...Пройдет всего лишь месяц, и земля за это время повернется к солнцу другим бочком. Так что случайно встреченной бабенки Якобий, проезжая Почтовой набережной, уже не найдет. Вернее, найдет, но не узнает: это будет уже другая баба, и место другое, и комары другие, и сам Якобий — другой: встревоженный, какой-то размазанный и откровенно ненавидящий собственную неподходящую во времени фамилию, от которой за квартал так и поперет вольнодумством.

— За убеждения страдаю,— будет жаловаться Иван Варфоломеевич после того, как в середине июля в саду Тюильри некий пылкий парижанин Камилл Демулен нацепит на шляпу каштановый лист как прообраз будущей республиканской кокарды, потом бурной речью подожжет толпу санкюлотов («бесштаных») и выведет ее на улицы революционно вздрагивающего города, что и станет прологом к штурму Бастилии и провозглашению «Декларации прав человека и гражданина».

— Скажите, мсье, какие в мире новости?— спросит у палача низложенная королева Мария-Антуанетта.

«О, святая наивность! — подумает палач.— Неужели так трудно догадаться, что через несколько секунд самой свежей в мире новостью станет факт отсечения вашей головки?»

Колесо истории закрутится побыстрее!

В Риме святая инквизиция арестует доктора Бальзамо (он же — маркиз де Пелегрю, он же — граф Калиостро), международного авантюриста экстракласса, о котором десятилетиями складывались легенды в промежутке между Мадридом и Санкт-Петербургом; в России он был любезно принят и обласкан императрицей, впрочем, ненадолго... Напуганный событиями во Франции, папа Пий VI решит упрятать в крепость Сан-Кло того, кому посвящали вдохновенные строки Шиллер, Вольтер, Монтескье, Дидро, Гёте и прочие якобинцы.

Суворов разобьет турецких янычар при Фокшанах.

В августе скончается преосвященный епископ Иркутский Михаил, 69 лет. И приедут к новому Сибирскому генерал-губернатору Пилю китайские послы со свитками казенных бумаг.

Да все с косами! Да все в халатах! Да все улыбаются, черти, как ихние азиатские божки!

— А чего тем башкам от нас надобно?

Так и останется в Иркутской летописи Пежемского и Кротова: «китайские башки (?) с депешами»...

Директор императорских почт Иван Борисович Пестель приступит к перлюстрации писем иностранцев, проживающих в России, прежде всего французских подданных; Екатерину Секунду, благословившую сие мероприятие, будут весьма занимать общественные настроения, вызванные революцией в Париже, и озаботит вероятность проникновения крамолы из-за рубежа.

А Суворов доломает турок при Рымнике.

В конце сентября, в торжественный день коронавания императрицы, в Иркутске откроют Народное училище — в каменном доме близ Тихвинской церкви, как повернешь за угол, так вот и оно! С отъездом в Петербург господина Карамышева публичную библиотеку передадут в ведение Народного училища — вкупе с плесенью, с мышами, с тараканами... в ужасном виде.

На столичной улице Грязной Александр Радищев примется за написание «Путешествия из Петербурга в Москву»; будет подолгу гореть свеча на столе, будет думать человек о времени, кое все рассудит строго, здраво и мудро, на все наложит подобающую печать: то ли благородную патину, то ли паутину. И путь к Илимскому острогу начнется от той свечи.

А 9 октября спустят на воду первый выстроенный на Иркутской верфи галиот — для плавания по Байкалу. Иван Савельич Почекушин к сему высокаторжественному дню сотворит новые вирши.

Вот они какие, скорости-то!

И вот уже еще один год отсвистел, отхороводил, отплакал, отпел, отработал, от-чего-только-ни-вытворяживал!

И на древе памяти — еще одно годовое кольцо.

11. МУРЗА УЖЕ НЕ СЕРДИТСЯ, ИЛИ ЧЕРНОВИК ОДОПИСЦА

Новые вирши у Гаврилы Романовича Державина нынче складываются как-то... ехидно.

Он марает листы свежайшей одою, Фелицу изображает и щурится на строчки рукописные:

Развратные вельможей нравы —

Народа целого разврат.

Влепил Гаврила Романович жирную точку — точно пулю всадил, и подумал при этом: стоит пииту высказать истину за полвека или хотя бы за день до того, как она становится общеизвестной,— так тут же ему, пииту, несдобровать: сие опасно, особливо, когда он в одиночку раздумывает и пишет; толпою заблуждаться — куда как легче; но и в мгновенное прозрение толпы — вчера плевавшей, сегодня лобызающей — не шибко-то верится пииту. Каково ему, страдальцу? Что же, однако, делать, коли сочинитель в России облеплен чужими страстями — горем, счастьем — как собака репейником? Колючки знают, к кому пристать...

Гаврила Романович мыслью едкой, словно тёркою, прохаживается по самому себе — отстранённо, жестко, садняще, в третьем лице: «Он». Думает о себе как о черновике с помарками, кой перебелить было до сей поры недосужно...

Ну-с, сударик мой, так что же такое — Он?

От начала Он — недоношенный, тощий, слабенький, которого, следуя местному обычаю, запекли в хлебный каравай: авось, доспеет дитяtko, выживет. Доспел и выжил. Потом дитяtko кормили, поили, сопли нежные вылизывали, жопку ласково вытирали, учили: вере — без святости, языку — без грамматики, исчислениям — без доказательств, песнопениям — без нот. В те поры этакое образование не считалось за беду, и писцов наказывали плетью не за дурную орфографию, но за то, к примеру, ежели допускали при написании императорского титула какое-либо поправление буквы или подскабливание; сия небрежность слыла за великое преступление, чуть ли не покушение на священную особу; и таково тянулось до времени восшествия на престол Фелицы, при которой было разрешено переносить написание титула из одной строки в другую, коли в

одной не помещался. Тогда же, в годы учения, выстругивали людишек зверской строгостью: упаси Бог, скажем, обронить монету с портретом государыни, да к тому же — лицом в грязь! Сразу усердный рев подымался, самовидцы наперегонки старались, кто из них первой да громче свое верноподданство выкажет: «Знаю за собой слово и дело государево!» — и хватали растеряху безрукого за локотки да под крепкою стражей волокли к тайному розыску, а там — известное дело: «Жечь тебя будем, родимый. Што молчишь-то? Ишь, какой бесчувственный! И дух от тебя чижолый...» Вот как оно водилось, сударь мой. Окаянство и суматошество ломало человечков...

Выучившись и не имея покровителей выше папеньки и маменьки, Он вступил в военную службу — рядовым в славный Преображенский гвардейский полк. К тому времени преображенцы и взаправду преобразились в потешное войско: кургузый, на голштинский манер, мундир с золотыми петлицами, поносного колера камзол и штанишонки, а венцом творения и первейшей солдатской амуницией была претолстая, вылепленная сальной помадой коса с пуклями, торчащими подле ушей, точно грибы-поганки. О, пакость! Казарменные крысы жирели на глазах, пожирая таковое лакомство, и обнахалели до совершенной невозможности: их оттаскивали от косы — они упираются, огрызаючись... До той прелестной поры, покуда поспел срок к офицерскому чину, Он служил, не нюхнув пороху: карты, пьянствие, дебоши, сочинение препохабных песенок и премиленьких грамоток для солдатских зазнобушек по просьбе неграмотной братии. Грамотки писались в согласии с «Немецким руководителем для приятных салонных разговоров». Была такая книжечка, напечатанная полтора века назад... «Нежная девица, я имею серьезную причину почитать себя щастливым, так как сегодня звезда моего щастия взошла хорошо и я имел щастие не токмо быть в обществе девиц, но также имел честь провожать до хаты такую нежную девицу и посему щастлив без меры...» Двадцати восьми годов от роду став офицером лейб-гвардии, Он по бедности своей получил из полковой казны ссуду, сукно, позумент, продал старый сержантский мундир и, признавая денег, приобрел аглицкие сапоги и карету.

Во время пугачевщины Он явился к генерал-аншефу Александру Ильичу Бибикову, поставленному для усмирения, и

предложил свои услуги. Сумел-таки понравиться. А что! Юноша грамотный, стройный, строгий, с неподкупным медальным профилем — хоть монеты шлепай профильной мордою вместо штампа. Быв назначенным в Следственную комиссию, он ревностно отличался в казнях «для примера» и в повальном сечении бунтовщиков и бунтовщицких баб...

(Гаврила Романович при оном воспоминании поежился, чуя, как тело покрывается пупырышками «гусиной кожи», что случилось с ним при конфузных обстоятельствах в молодые лета. А нынче, видать, совесть со старостью сошлись — союз нерасторжимый до гробовой доски. Вот и зябнется. Сколь годов ему нынче? Сорок шесть. Старик уже. Как Бибилов — в ту далекую, пугачевскую пору...)

Когда самозванец обложил Саратов, Он убежал из города, подобно трепетной лани, что и послужило впоследствии причиной обделения его императрицыными щедрыми дарами и наградами. Но Он не сдался! Он исписал, кажись, целый воз бумаги с доказательствами своего зверства по отношению к бунтовщикам — и добился монаршей милости: был пожалован чином VI класса, в коллежские советники (по-военному рангу, в полковники) и получил 300 душ в Белоруссии. Льстивым пером ответил Он Фелице, сладчайшим дифирамбом, однако же в дальнейшей военной службе ему отказали.

Ну-с, что дальше-то, сударь мой? Режь правду-матку! Никто кроме тебя самого всей правды о тебе полнее не скажет... А дальше Он без мыльца втерся в дом и в доверительное расположение князя Вяземского и по его протекции удостоился должности сенатского экзекутора. Ну, а дальше? А дальше — больше. Он изменил подло своему покровителю и устроился под бочок к графу Безбородке, с помощью которого выудил следующий чин — статского советника. Не стыдно ли, сударь? Стыдно. Да что поделаешь, коли жизнь набело не перепишешь, равно как не перепишешь на иной лад пресмыкательскую оду «Фелица» — взлет и падение стихотворца, чья угодливая лира уподобилась «божьей дудке», крапленому тузу в карточной колоде для подобострастной и расчетливо-корыстной игры.

О, эта «Фелица»!

Зная достоверно о приверженности государыни к сочинительству забавных пьесок, наподобие сказки о царевиче Хлоре,

Он с шаловливой легкостью гения вымахнул творение червонцев этак на сто — разумеется, при благополучном исходе задуманного предприятия. Екатерину Великую изобразил великой, тут уж без шуток, однако по ближайшему окружению императрицы прошелся с эзопической игривостью: тут и Потемкин со своими экзотическими нарядами, тут и Алешка Орлов, лошажник и кулачный боец, тут и Петр Иванович Панин со своей псовой охотой, и егермейстер Семен Кирилыч Нарышкин с оркестрионом роговой музыки... Призвав своих друзей, Львова и Капниста, Он заручился впрок их мнением: оды не печатать в журналах, дабы фаворитов не оскорбить. П р и с в и д е т е л я х Он запер оду на вечное сокрытие в шкафчике. А выждав определенный срок, Он устроил дело так, что сосед по жительству Осип Петрович Козодавлев, вошедший будто не ч а я н н о, нечаянно же увидел на столе листы с бойкими куплетами сокрытого сочинения и выпросил на часок-другой дать ему оные прелестные вирши для прочтения своей тетке, госпоже Пушкиной, изрядной почитательнице парнасских лошадей, людей и богов. Он дал — под страшную клятвой Козодавлева: никому более сей оды не показывать.

Как было замыслено — так и случилось: Козодавлев показал куплеты Ивану Ивановичу Шувалову, Шувалов — Завадовскому, Завадовский — Безбородке, Безбородко — Потемкину... И пошли круги, как от брошенного в воду камня, от сего творения, писанного правдиво про слабости и величие человеческие; писанное только для друзей, шутки ради, но по причине нескромности господина Козодавлева сия шутка выказала уши в большом свете; ах, баловник, этот несносный господин Козодавлев!

Так Он говорил.

А так Он думал: «И пуцай фавориты малость пообижаются! А потом пуцай государыне про свои обиды пошепчут. А государыня-то суть баба! А в стихах, что ей непременно с жалобами поднесут, бабе обижаться не на что! Наоборот! И выйдут тебе, Гаврила, твои кровные сто рублѐв, а может, и... поболее того. Чем мы плоше стареющих «орлов?»»

Баловник Козодавлев состоял советником при княгине Екатерине Романовне Дашковой, заведовавшей сразу двумя Российскими Академиями. Ода к Фелице (конечно, без авторского

ведома!) попала к Дашковой, от нее — в академический журнал «Собеседник любителей русского слова», а тот журнал любила читать государыня... В понедельник поутру Дашкову призвала императрица по крайней нужде. Екатерина-первая спешит и находит Екатерину-вторую в слезах, с распахнутым журнальчиком на коленях.

— Не смущайтесь, княгиня, моих светлых слез, — сказала Екатерина-вторая Екатерине-первой.—Но я желаю непременно вызнать: кто же сей автор, что так коротко знает мою душу и умеет так глубоко проникнуть в женскую натуру и описать все, что там имеется, приятно и с таким тонким знанием дела, что... вот видите, я вся плачу, вся в воде, как простая куфарка...

Екатерина-первая не стала скабрешничать и логически поправлять свою царственную подругу, но с готовностью и бесстрашием назвала имя дерзкого пиита.

Свершилось, сударь ты мой!

В час обеда, когда пиит выяснял колючие отношения с князем Вяземским, курьер принес пакет с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской царевны к Мурзе». Вскрыв пакет, Он обнаружил в нем золотую табакерку с бриллиантами французской работы, внутри же покоились... 500 звонких тепленьких червонцев! Золотишко — оно всегда тепленькое... Ай да Мурза! Ай да Гаврила-царедворец, людознатец!

Аудиенцию Мурзе Фелица давала воскресным днем в Кавалергардской зале...

Мурза играл: ах, как все неловко вышло!

Фелица играла: неужто сия прелестная ода ко мне персонно касательство имеет?

Вельможи играли: до вас, ваше величество, имеет, а до нас — сущий поклёп...

Фелица прекращала играть: ладно, не притворяйтесь, завтра же pošлю каждому из вас по экземпляру, подчеркнув те строчки, что до кого относятся сатирически и критически. А пиит пусть пишет впредь и без стеснения, без препонства всю правду мне в лицо выказывает. Сие весьма важно для поправления дел в нашей империи...

И стал Он — Мурзой и гражданским губернатором в Петро-заводске.

(Державин вновь поежился... Хладный был город. И генерал-губернатор тамошний Тутолмин совершенно правильно поступил, выперев Мурзу с треском из Петрозаводска за неуживчивый нрав, заносчивость и завистливость, которая столь часто бывает присуща гражданским губернаторам в России, всего лишь вторым лицам в губерниях после генерал-губернаторов...)

На вторых ролях в Тамбове Мурза также долго не высидел: за беззастенчивость, хапужистость, за превышение власти чуть было не угодил под суд, однако Фелица, еще помнившая медовые славословия, освободила пиита и от суда, и от штрафа.

Деньги кончились, прежняя ода старела, и Фелица старела с каждым днем, и Мурза справедливо расценил, что стареющая женщина особливей всего нуждается в поклонении. И Мурза с почтительностью изображал картины благословенного российского рая, процветающего под мудрым Фелициным попечением:

Запасиися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет,
Обогащенный щедрым небом,
Блаженство дней своих поет...

— Почто пиит так нагло врет? — в рифму раздражилось Фелица и велела впредь не допускать Мурзу до своей особы.

Ну, и что? Мурза и сам, поди, знает, что кой-где образуются хлебные недороды, что от голода люди сначала худеют, а потом пухнут. Вот он и пишет про тех, которые пухлые...

— Никаких мне не надобно! — отрезала Екатерина Алексеевна. — Не пускать пиита, блядского очковтирателя!

Куда там! Мурза — он и есть мурза, хитрюга казанская, скуломордая. Он преподнес новому и, дай Бог, не последнему фавориту императрицы Платону Зубову свежую (еще песочек сыпался с листа) оду «Изображение Фелицы» — и стал личным секретарем государыни; впрочем, как всегда, ненадолго, и, как обычно, по причине вздорного норова: в спальню государынину без стука лез, «платоническую» любовь нервировал, грозился Зубову зубы пересчитать, а тут еще... с турками воевать надобно... одним словом, рассталась императрица с личным секретарем без всякого сожаления, однако за труды стихотворные пожаловала орденом (жалко, что ли? вон их сколько на Монетном дворе нашлепано!) и производством в сенаторы (пущай сидит, изображает!).

«Ну, и каково тебе нонче, ваше высокопревосходительство?»

...Качает головой Гаврила Романович.

Ему ли не знать, что не только собственные оды, но и сам он — средоточие человеческих слабостей и величия, пороков и добродетелей. И первого в нем — куда как больше; коли быть до конца честным, то надобно самому себе в этом признаться, никто другой сего откровения не откроет, и хоть каждому двуногому дано изнутри себя высмотреть, выслушать, обнюхать, пощупать, и даже, коли не противно, языком лизнуть, — все-таки не каждый отваживается свой живот, феатру уподобя, на публичное обозрение разоблачительно выставлять; так и живут, играют, сожителей дурят, а попервей всего — самих себя обманывают; и оное представление — хуже самого гаденького водевиля.

И еще подумает пиит о старых пророках, кои уже повымерли и унавозили землю, появившуюся на свет божий гораздо ранее всяких прорицателей. Вон, Ломоносов... химию придумал, звездочки пред Господним престолом пересчитывал, будто сорные копейки, и хоть тоже пиитствовал одами на восшествия помазанников Божьих — а ведь всё в наставление сочинял, в поущение, но отнюдь не в пустые лестные похвалы! Пророк старый...

И еще подумал пиит о том, что новые оракулы на Руси покудова не народились, и матушка Русь терпеливо ждет их желанного явления, лежит, на полземли распотянувшись и сосцами выставив жаркие церковные купола. Нет, не народились еще новые холмогорские невтоны и платоны, а коли народились, так все равно всей правды миру не сказывают, и оттого цена им — монетка медная, трынка, три копеечки...

А кто же суть Он сам, Мурза? Игрок? Честолюбец? Пинт?

И тот, и другой, и третий, да к тому же крапленный Божьим даром во всех трех ипостасях.

Но с тройным духом, с тройной, как у Горыныча, головной болью пророков на земле не водится. У пророков всего одно лицо, кое носить и износить при жизни бывает грузно и надрывно до невыносимости, до отчаяния, до того, что веки глаз делаются порою тяжелее печных заслонок, и язык варится и коснеет в котле бурлящих страстей, втуне хранимых; и когда пророк мычит от боли — люди кажут на него перстами: «Эва,

дурачок! На-ко пуговичку!», а «дурачок» прет, согнувшись под душой, кровью потеет, словно бы сама природа оделила избранника своего всеми возможными веригами и напутствовала: мучайся, на то и есть ты пророк в своем отечестве, тем паче, что отечество твое — уже не дерево банан, и сам ты — не мартышка краснозадая, так что помни сие, человеце, ходи, не сгибаясь, да поостерегись тех, которые из прямого обезьяньего подражательства сделали твое лицо всепубличной модою, а вкупе с лицом — и твою привычку прикрывать устало глаза... смотри, еще и не то стибрят! впрочем, воля твоя...

А Мурза самочинно выбрал свою дорогу! И шлепает по ней не потому, что она ему шибко нравится, а потому, что просто-напросто нету другой, по крайней мере, для него. Нынче-то Он знает, чего от него ждут — и вот-вот разразится державными виршами супротив французской крамолы, а потом... потом должно воспеть новую славу жеребцу Зубову, бездарному сопляку...

Стар сделался Мурза. Сорок шесть годов. Да ведь пожилой-то ворон не каркает даром: либо было что, либо будет что. А что будет, судьба моя?

(...А будет то, что пройдет совсем немного времени— и от избытка сердца возглаголят уста пиита, и возглаголят весьма ехидственно, не по-евангельски, а нынешняя гипохондриа года через три преобразуется в эзопическое четверостишие:

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

И будет птичка высвистывать хвалебный акафист полоумному сыну умершей к тому времени Екатерины Алексеевны, а после того как Павла I шарфиком придушат — будет новое восшествие на престол, и будет новая ода, и новая зависть — к Карамзину, коего за подобное же сочинение пожалуют золотым перстнем, и от той зависти не такими уж сладостными покажутся птичке новые кормушки, полученные от императора Александра Павловича,— посты министра юстиции и генерал-прокурора сената; и все чаще будет думаться о том, как противны, как несовместимы тверезые державные полномочия с вечно мятущимся пиитическим сердцем...)

В юности Он чуть было не опнулся в карьере, задумав жениться на дурненькой наружностью княжне (!) Урусовой, да вовремя сообразил:

— Она стихи пишет, да и я мараю. Занесемся оба на Парнас, так некому будет и щи сварить!

О щаж ли на самом деле думал тогда Мурза, о Парнасе ли — Он уже забыл, и Бог ему судья. А коли Бог в судьи попал, так обживать Парнас имело практический смысл только вкупе с богинею, на худой конец, с помазанницей Божией, которая и пиески строчит, и без наваристых щей не живет. Одна-а-ко! Подобно тому, как не допустил Мурза к горным высотам первую сочинительницу Урусову,— так сочинительница вторая не допустила Мурзу к высотам земным... Так вершины двух пирамид оказались несовместимыми де-факто и де-юре; и мотаясь между оными вожделенными высотами, Мурза признавал свои заслуги и потуги пропащими и, конечно, понимал, что замахнулся на задачку, которая в жизни редко решается, можно сказать, и вовсе никогда не решается; и особенных тому доказательств в сей высокой геометрии не потребно: всё на пальцах легко изображается, ежели сложить из них наипростейшую трехперстовую комбинацию.

...Сутулится парнасский житель Гаврила Романович, кашляет, прикрывая рот ладонью. А какое в ней спасение? Ладонь — не ладанка...

«А неча было по морозу шастать!»

Третьего дня забрел пиит в кабак — на народ поглазеть, одиночество свое придушить.

В кружке темных людей беспальный дурачок куражился — из тех, кого семеры в гости зовут, да всё на правёж.

— Свету в вас нету, люди...

— Дак ты озари, милоч, души наши дремучие, заскорузлые!

— За чужу душу,— отвечал голодранец,— одна тока сваха божится, да ишо цыган ручается...

— Озари, убогонький! Што тебе стоит?

Дурачок и озарил, не мешкая, выставив обе культы кроваво-синими фигушками:

— Курва еси, царицка ваша, кало свинячее. И цена еёная — во! Кукиш! Кого хошь — того и купишь!

Ахнул кабак единым ахом:

— Ты не шибко дурачься, Кукса... Не то тебя ишо за умного посчитают...

Целовальник отложил в сторону утиральник и направился к вещуну неосторожному.

— А я-то думал, странничек, што ты и вправду дурак.— Потом свернул кулачище, но раздумал бить по морде из-за своей столичной культурности; просто пнул убогого человечка в тощий зад, да так, чтобы тот с неделю поносил гузно на отлете.— Пошел отседа поживу!

Зато невесть откуда взявшаяся пара юрких господинчиков расстаралась и в четверть часа уложила босяка в растяжку на мусорный, заплыванный пол.

— Эх, дурачок, — вздохнул целовальник, — хлебало твое чертогонное! Вот и опять ты у меня штанами грязь с полу собираешь... И што же мне с тобой делать?

— Шкажи шпашибо, — прошипел странничек, корчась на полу и выплевывая зубы.

Целовальник покачал головою:

— Ну, што за люди пошли? Вроде бы и год уже не тот, а народ все хужей прошлогоднего...

В углу примостился питух из чистой публики — седовласый, с лошадиной мордой. Целовальник его давно приметил и даже пробовал начать доверительную беседу с человеком, из которого образованность так и прет, — да вот дурачок беспальный помешал...

— Вот она и говорит мне, сучка такая, — продолжал разговор целовальник, протирая мокрые стаканы и обращаясь к лошадиной морде.— Када, говорит, меня любишь, так и собачку мою люби. Ладно. Это ишо не беда, собачка-то. А беда в том, господин хороший, што моей женке щенка подавай аглицкого, да штоб не сукин сын был. А где такого щенка взять? Ты не по собакам ли будешь ученый, барин?

Гаврила Романович (это был он) покачал головою...

«Что год не тот, — думает пиит, — сие велемудро сказано. А что народ хужей год от года — то завирулина! Не должно того в свете водиться! Ибо бродит по миру совесть со серебряным молоточком, меж людей трется, и постукивает, и послушивает. Небось и достучится. Авось и дослышится, авось... Ах ты, русское словцо — авось! Словечко сие — еще не бог, но уже полбога беспрременно будет, когда авоська с небоськой на губах простолюдинов сумнителью запрыгают. А что запрыгают — и том сомневаться не приходится... пора уж! Вот и лиру завещать надобно. А кому? Кто сыщет истинное понятие счастья человеческого? Смысл жизненный? Сию темную карту в игре жизни со смертию? Кто сыщет? Ну, мы, старики, не смогли, не сумели, и не мы в сем виноваты, но дорога наша ухабная. А другие — что же? Те, кои будут потом, *arges pous*⁴⁹. Коли нас повторят — худо сие. Ведь каково твердится искони? Яблочко от яблоньки недалеко падает, яблоко яблоню повторяет, и все возвращается на круги своя. Но ежели это действительно таково, то жизнь на земле приобретает обреченно-безрадостный смысл, и когда-нибудь позже, *arges pous* — пусть не скоро! — но обязательно страшно и печально станет жить человеку в таком нелепом мире. Да и незачем...»

Так век восемнадцатый помаленьку сворачивал лавочку. Век противоречивый, скудно озаренный вспышками извержений высокого человеческого духа; в темноте редкие вспышки особенно хорошо заметны.

И сказал Кукса, странничек беспалый, со сплошными кулаками:

— Трын тринил на Руси, да протрынился еси!

Многие искали выхода.

А выход — вот он: в век следующий.

И дальше.

Пушка с Нарышкинского бастиона бабахнула полдень.

...И еще не родился Пушкин.

⁴⁹ После нас (*франц.*).

12. ЭТОТ СТРАННЫЙ ТИП БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ...

Великие, мудрые, храбрые, прекрасные, — увы! — где они теперь? Все они смешаны с глиной, и то, что постигло их, постигнет и нас; постигнет и тех, которые будут после нас.

Но мужайтесь вы все — и знаменитые начальники, и истинные друзья, и верные подданные, — будем стремиться к тому небу, где все вечно и где нет ни гниения, ни уничтожения.

Темнота — колыбель солнца, и для блеска звезд нужен мрак ночей.

*Из завещания мексиканского царя
Тетскуко-Незагуал-Копотля,
около 1460 года до Рождества Христова*

...И сказал Кукса:

— Нас не переживешь. Мы, бескулачные и беззубые, даже без языка вечными будем. Понятно?

Знаю его — этого мимолетно проходящего героя — странного странника, из века в век «странствующего», перешагивающего границы эпох и государств. Но его время все еще не пришло, а когда придет — это будет уже другое время и другая история, и напишут ли ее — Бог весть. А покуда оставляю его таким — проходящим. Пусть читатель сам подумает над его судьбой, поразмышляет над его звездой блуждающей — и домыслит свое; это — право читателя и, если хотите, даже обязанность каждого, кто мечтает пришпорить бег нашего неустроенного века. А это удивительно жестокий век! Век очистительных революционных гроз, когда открыли заплаканные глаза целые континенты. Век, начавшийся слякотным вечерком с выстрела балтийского крейсера, с первых декретов о мире и о земле, с громяхющих составов, где горластых агитаторов и невозмутимых теоретиков в равной мере мучали низшие насекомые, отвлекая от высоких мыслей по устройству революции в пампасах. В этот век к одним приходило понимание сложнейшей алгебры бытия, а от других уходили простые человеческие

чувства, и имена прилагательные «белый» и «красный» вдруг обрели кровь и плоть — и стали именами существительными; такая вот грамматика с математикой! Век этот закалил своей особенной особостью, особой статью не одно поколение, прошедшее огонь и воду; эти поколения знали также и медные трубы славы, и обратную сторону этих труб. Они все могли, эти стальные люди: в лютые морозы бились под Иркутском и в лютый зной рубили басмачей а Туркестане; они с изумлением открывали для себя оперу, в которой некий герой, пронзенный шпагой, все поет и поет, вместо того чтобы лечь, как все нормальные люди, и помереть; а потом они, еще не остыв после рейда по вражеским тылам, стягивали со стриженных голов старорусские богатырки с пятиконечными лепестками огня, садились за парты и учили два английских падежа — обыкновенный и притяжательный, и каждый падеж отдавался страдательно, как падеж скота и бескормицы, но они, эти люди, учили чужую грамматику с таким же поспешным прилежанием, как Нагульнов — на тихом Дону, а позже — русские парни в Испании, начинавшие говорить на языке великого Сервантеса с московским аканьем и вологодским оканьем посреди треска пулеметов и кастаньет... Век, когда еще шьются военные мундиры и варится ракетная броня, сочиняются планы мирового переворота недочеловеками, опьяненными, точно гашишем, мешаниной из страха, фразы и псевдореволюционнрй фата-морганы. Век, когда самые обстоятельные знания о любом предмете, а тем более о человеке,— так и не стали, да и не скоро станут исчерпывающими. И люди-то самые разные, только и сходства, что одной дорогой на свет попали. Есть хорошие. Есть плохие. Но в этот век граница чаще всего проходит не между заведомо хорошими и заведомо плохими людьми, а между плохим и хорошим в человеке, причем в человеке заведомо сложном и разном, с большой амплитудой колебания между добром и злом. А поскольку и в этом веке не найдено сколько-нибудь удовлетворительного объяснения: почему один человек — человек, а другой — гад ползучий?— то приходится, к сожалению, прибегать к испытанному стародовскому методу влияния... Век, когда люди, преодолев земное притяжение, еще не сумели преодолеть ни земных страданий, ни форменных дураков, ни дураков в форме. Век, когда слово «свобода», как и прежде, не утратило клятвенной трепетности

первого признания в любви... И покуда еще бурлят в недрах планеты остатки девонской нефти, и покуда еще крутится сама планета, старенькая наша Земля, наклонившая свою ось с такой изящной непредсказуемой небрежностью, что страшно делается; и крутятся флюгера, и крутятся ротационные машины, чтобы вовремя вышли завтрашние газеты... А в тех газетах, завтрашних, типографский рабочий уже сегодня прочтет беспокоящие строчки незабвенного Василия Ключевского: «Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот».

И встают, и оживают тени прошлого. Но что это — если не судьба: тень, бегущая впереди человека — никогда не достигаемая, но повторяющая синхронно все видимые проявления человеческого существа?

...Что же касается до мексиканского царя... Так его, может быть, и вовсе не было. Возможно, Лев Николаевич Толстой все сам и придумал: и царя, и царское завещание, — когда составлял книгу мировой мудрости «Путь жизни». И от сего лукавства, мне кажется, не пострадали ни Толстой, ни царь, ни мировая мудрость...

*Из рассуждений автора,
1988 год от Рождества Христова*

13. ПРОГУЛКИ ПО БОЛЬШОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

— И откуда у вашего коня имя такое — Пегас? Кажись, вовсе не пеганьякая животная...

— А очень просто,— объяснял почекушинский «форейтор».— Пегас навроде Музы, тока пол жеребиный. Понятно, господа извошки?

— Понятно. А муза откеда?

— Об том Иваны Савельичи подробно не говорили, окромя того, што Муза есть крылатая баба и прилетает к нему по ночам куплеты распевать.

— Ведьма?— ахали извощики.— Ох, не трепись ты, паря, за ради Господа Бога...

— Муза,— кротко настаивал «форейтор».— И не за ради Бога. За ради радости и штоб на душе красиво. Да куды ж вы побегли, господа мужики?

А мужики, крестясь, засобирались, всем вдруг стало некогда, принялись спешно напонуживать своих сивок-бурок и разъезжаться от водопоя — подалье от пегасов, музов, форейторов, от всего, что вообще было связано с именем господина Почекушина, и без того пугавшим иркутское общество своей вычурной репутацией.

Суждения в обществе водились разные. Одни говорили, что Бог помазал генерал-губернаторского секретаря необычайным даром скандалиста. Другие утверждали, что дар, конечно, есть, но вот какой именно — определить затруднялись. Третьим казалось, что Почекушин проживает где-то посередине между гедонизмом и героизмом жертвенности, оставаясь при всем при этом — самим собой, губернским секретарем, сиречь чиновником XII класса, что соответствует военному чину поручика и титулу «Ваше благородие». Четвертые аттестовали Ивана Савельича «по-матушке», обещались в перспективе набить ему рожу и при сем философически размышляли:

— Маленькое дело — быть самим собою. А хорошо ли это, ежели ты есть распоследний подлец из подлецов? Ежели есть возможность стать человеком — и не попользоваться оным шансом, дабы стать не тем, кто ты есть, а хоть бы на малую толику лучше?

...Итак, у губернского секретаря Почекушина появился собственный выезд.

Во дни крушения иркутского якобинства Иван Савельич самолично опробовал новенькую хрустящую коляску, Пегасом влекомую. Стоя во весь рост, он вожжил левой рукой, а правую ладонь неподвижно присобачил на военный лад к козырьку картуза (каков словесный картежный марьяж!) и роковым голосом — монотонно, как маятник,— возвещал перед каждой встречной-поперечной уличной живностью: бабой ли, мужиком или паршивой собачонкою:

— Тиран пал!.. Честь имею!.. Тиран пал!.. Честь имею!..

Наутро выяснилось, что Иван Савельич был накануне весьма пьян и таковых слов, поносных для Ивана Варфоломеевича Якобия, не произносил. А новой коляской почти две недели попользовался полицеймейстер, ба-а-льшой любитель обкатывать новые коляски.

Первые честолюбивые азарты седока, впрочем, быстро прошли. Иван Савельич понапрасну Пегаса не гонял и коляску чуть ли не облизывал, вытирал тряпочкой, «гигиену уничтожал», как выражался, чем и повергал форејтора, а через одного и все иркутское извошчиье сословие в состояние смятения и судорожного крещения перстами при виде лакированной «геенны» на четырех парижских рессорах.

В быт губернского секретаря все более внутрялся европейский обычай променада — без колес, без рессор, без форејтора.

Хоть и грязна, и пыльна, и обильна междуметиями по сему случаю главная городская улица Большая першпектива, возлежащая на засыпанном старом фортификационном рву, — а все ж манила в погожие дни чистую публику потолкаться, себя и жен своих опубликовать, свежими платьями похвастать, посплетничать, обсудить новейшие приемы квашенья капусты с персимонами и военные действия с Турцией. Да мало ли еще каких первостепенных вопросов витало в поисках витиев и толковых объяснителей жизни, требуя при этом решительного вмешательства?

Иван Савельич вмешивался без робости.

Вообще, без Ивана Савельича не только на Большой першпективе, но и в канцелярии Пиля обойтись уже, кажется, было невозможно. По любому пустяшному делу — к нему! Правда, не все знали толком, кем служит господин Почекушин, но спросить об этом как-то стеснялись, полагая, что если идут просители косяками к Ивану Савельичу — значит, важный он человек; и такое секретное положение губернского секретаря устраивало его самого и всех прочих, а потом уж и ближайšie сослуживцы поверили в то, что Почекушин всё может; и такое мнение, а точнее, общее сомнение, обростало наподобие снежного кома.

— Кем служу — ни хрена не скажу, сие маловажно, — подчеркивал в разговорах Иван Савельич. — Важно кому.

А кому, в самом деле? Тут чиновные умы изрядно тужились. Святому братству канцелярскому? Пилю? Высокому минис-

терству? Или, может быть, выше? Вседержителю небесному, прости Господи?

— Публике,— пояснял Почекушин.— Единственно публичным интересам и общественным аппетитам. Вот как!

В коридорчиках губернской власти он брал за пуговичку то одного, то другого сослуживца, отжимал к стеночке и магнетическим голосом приглашал к дебатам:

— Давай-ка, коллегия, поразмышляем — не от себя лично, а на уровне народа: чо почем? К примеру, почем нынче яйца на базаре, а?

— Давай,— соглашался чиновник, понемногу робея и обалдевая от почекушинской напористости и важности круглых государственных глаз.— Тока вот што, Иван Савельич... От этих делов у меня волнение и потею. И ишо один момент: на хрена тебе чо почем и прочие базарные статьи? Почто тебя отседа на тот метафизический свет потянуло?

— Меня всегда тянет,— отвечал Почекушин, и глаза его разгорались фосфором зеленым и вполне спелым патриотизмом.— Вот как встану с ранья, ишо не помывши, не одевши,— а уже тянет, тянет, сам не знаю куда. Должно быть, к демократии.

— Господи, Господи, пресвята дева дивалектика! А сие-то... что почем?

— Демос означает народ. Штоб всем хорошо — и тебе тоже самое, и никаких препонов. Но у нас с этим делом покуда ишо не все в порядке. И я не могу молчать, коллегия, ежели народ без дешевых яиц круглый год страдает. Но вот вопрос—назреть и трепещущий: кому сей порядок наводить? Кто за столь тяжкий воз возьмется?

— Да, да, именно — кто? — глубокомысленно присоединялся собеседник и нижнюю губу наружу выпускал по причине задумчивости.— Здеся у нас полный пробел. Некому взяться...

— А рази нету в Сибири умных администраторов?— восклицал Иван Савельич и стучал себя в грудь кулаком...

Самую малость, чуть-чуть, по самому по крайчику — быть немножечко вольнодумцем,— ах! как это выделяло! Этакое состояние вызывало любопытство, зависть, интерес, злобу, расположение, почитание, небрежение и иные прочие, подчас

самые неожиданные изъявления чувств, позволявшие круглыми сутками находиться в центре общественного внимания.

— Народ и тебе, Фелица, спасибо скажет, што ты с демократом спала,— объявлял Иван Савельич.

— С кем?—растопыривалась купчиха.— Да ты што говоришь такое?

— А ништо! Я и есть затаённый демократ.

— Скотина,— ласково говорила Фелицитата Даниловна.— Почто же раньше мне о сем не сказал? Это ж совсем другое дело, штобы с демократом...

Нил же Гаврилыч Карягин аттестовал Почекушина на евангельский лад, словами Иоанна относительно Иисуса Христа:

— Се Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, ибо был прежде меня.— После чего всегда грустнел, сажал на колени балалаечку и принимался на псаломный лад жалобиться Богу-отцу касательно сплошных убытков и болезни водянки, которая, как говорил, затопила его по самое горло.

У жены Лизыньки к демократии было отношение апатическое. Накладывая на лицо кусочки парного мяса для сведения в никуда веснушек-конопушек, она врястяжечку изображала оппозицию:

— Много лишнего болтаешь, Ванька.

—Чего лишнего-то? Отвечай парламентарно, каша хлёбаная!

—А што ни болтнешь, то и лишнее. Народ, яйцы, чо по чем... Боже милосердный! Да ты сперва в доме своем разберись! Да прислушайся хоть разок к голосу разума...

—Как? — вскипел Иван Савельич.— Как я могу прислушаться, ежели ты мне и слова не даешь сказать, всё глушишь?

— А ты не оттуда слушаешь! Ты меня слушай, женчину.

— Э-эх,— махал рукою Почекушин,— жалко, што я не царь Соломоний... Кукарекатура ты, Лизынька, а не женчина!

Исчерпав себя в домашних прениях, Иван Савельич выносил свои суждения на суд общественности: наряжался, брал под локотки обеих домашних дам и отправлялся на Большую першпективу, где иркутский бомонд в последнее время возымел европейскую привычку прохаживаться вдоль и обратно.

— Кто станет спрашивать, — наказывал Почекушин камардину, — отвечай с достоинством: губернский секретарь Иван Савельич Почекушин выгуливает супругу и тещу на Большой першпективе и будет в доме нескоро.

Сообщение с народом имело место, как правило, вокруг да около каменной Благовещенской церкви. Слава Богу, окрестности тут более-менее утопаны, где надо — прокинуты мостки, отмостки и деревянные половички, неблагородная публика большей частью скромна, богобоязненна, к светскому миру почтительна, ненадоедлива и молчалива, исключая, разве что, редкие повизгивания юродивых особей на церковной паперти.

Люди сходились, расходились... И все плавно, и все — как будто понарошке...

— Большой котильон, да и только, — замечал Иван Савельич. — Али феатры. Как вы считаете, Аполлон?

Судейский чиновник Аполлон Нотабенин считал: да, именно так, совершенный феатр. Аполлон Нотабенин и жена его Нота Бенина (в девичестве урожденная Дуся Пупыкина) играли роли в любительских спектаклях и знали конечный толк в уличных мизансценах.

— Послушай, Аполлон, позволь я тебе как демократ демократу актуальный вопрос воздвигну?

— Ага.

— Ты японцев любишь?

— Двояко. А сто такое? — Аполлон неистребимо сепелявил, однако же многие принимали сие за парижский акцент и особый артистический лоск.

— Представь: третьего дня учитель из школы переводчиков мне выражение поднес — митиюка!⁵⁰ Хвала ли сие али компрометация, понять не мочно...

— А я на кой момент сподобился?

— Переводчик говорит: актеры знают.

— Я не знаю. И Нота со мной адекватная.

— Ну, ладно, вернемся к нашим музейностям. И каковым новым водевилем будете нас оглушивать? Любовь роковая?

⁵⁰ Митиюки — термин японской драмы, означающий бегство, уход, путешествие героя навстречу собственной гибели.

— Полноте, Иван Савельись! Какие любви? Одна политическая экономия. К тому же, в разговорных ролях не занят. Зена представляет, а у меня голос сял. И вставать не хосет. Отойдем-ка на минутоську... В балетном действе усяствую. И тут, понимаес, все как раз наоборотно!

— Што такое, любезный друг?

— Сто такое, сто такое... Узас! Зенсину-пастуску за талью дерзу... и у меня при всем народе... вот тута, понимаес... станы саласом выпускаются. Удерзу на эти станы нет. Сто такое?

Почекушин хохотнул:

— Промбле-е-ема... Из фарсы трагедия образовалась.

— Сто делать-то?

— Не знаю, Аполлон. Насчет чего другого могу присоветовать, а што касательно фиялок монмартра, пастушек и прочих бельфам — умолчу. В молодые лета я и сам был невозможный любитель и, можно сказать, козел. И сам не знаю, до чего бы дошел, если бы вовремя не перекинулся на популярное поприще! И вот видишь, до губернского секретаря докатился и дальше вознамерился! И буде сие послужит тебе некоторым облегчением: общественный долг и служба Отечеству! Должок-то когда возвернешь, Аполлон?

— Должок-то? Какой должок?

— Ай-я-яй! Не след кредиты забывать...

— Ах, должок... Беспременно завтра утреськом, Иван Савельись...

— Открыжоно!— подбил итог Почекушин кратко и решительно, точно и в самом деле поставил крестик против Нотабеиной фамилии.

Между тем, Фелицитата Даниловна с Лизынькой вовсе не скучали: Нота Бенина крутилась пред ними на каблучках, шурша юбками, прошитыми для пышности китовым усом.

— А поворотись-ка, милочка, задним ашпектом... Ах, прелесть какая!— Фелицитата Даниловна щурилась и всплескивала руками.— Не правда ли, Лизынька? Иван Савельич, ну скоро ли ты наговоришься? Погляди же на сию невозможную чуду?

Едва успев раскланяться с Аполлоном, немало озадаченным, Почекушин попал в объятия таможенника де Ментия, который был обязан Ивану Савельичу бумажной услугой по

разделению природной своей фамилии на французский лад. Вспомнили пасхальный пикничок на Иерусалимской горе, поговорили о ценах и пошлинах на китайские товары, обсудили житье-бытье в Северной Америке и Солдатской слободе, перемыли косточки приятелям и недругам.

— Слушай, а этот... как его? У него ишо жена удавилась...

— Дудолодов, што ли?— подсказал де Ментий.

— Ну, он самый. Што он нынче?

— Вчерась являлся к нему с визитацией. Писимизъм из Дудолодова весь вышел, снова женился, вчерась был ровно год. Угощенье выставил а ля фуршет... Слушай! Это што такое? Стоя жрать! Да рази ж мы лошади, Ваня? Боже ж мой, до каких коленапоклонениев перед Западом мы докатились! Ну дела!

Почекушин нахмурился: ничего не понятно в этом Дементии, то фамилию к европам приспособливает, то европами же и пренебрегает, придурок...

— Как служить изволишь, мусью? Бьют ли?

— Бьют!— весело и жизнерадостно отвечал де Ментий.

— И как?

— Хватает. Хорошего помаленьку. А это кто с тобою, Иван Савельич, которая толстая?

— Предмет обожания.

— Понял. Скажи сему предмету от меня комплимент, што не откажусь и самолично по плечу погладить...

— Все бы ты гладил, гладиатор этакий!— Иван Савельич хлопнул таможенника по спине и оба со взаимным пониманием сделали друг другу «козу будучую», дескать, вот мы какие, шалуны. Потом посерьезнели, зашептались, снова перешли на рубли и пуды, цифирью зафехтовали...

— Лады? — спросил де Ментий.

— Открыжоно!—отрубил Почекушин.— Адье, машер.

— Вам то же самое, шарман.

Спустя четверть часа Иван Савельич ласково попенял купцу Хохрякову; у того золотая цепка по животу распущена и слова озорные:

— Не ндравится,— говорит,— мне, Иван Савельич, такое ваше кощунство в делах экономических.

— Да почему же этакое пошлое слово придумали, сударь? Кошунство...

— А потому, што руки ваши цапкие кощей бессмертный смастерил, не иначе...

— Т-ак, значит, по рукам?

—Што ж делать? По рукам вяжете меня...— вздохнул Хохряков.

—Всё! Открыжоно!— с чувством возгласил губернский секретарь.

А тут и с а м вдалеке показался — его превосходительство Иван Алферьевич Пиль с женой, внучками и лохматой собачонкой на поводке, коим правил солдатик из гарнизонной команды.

«Заметит... не заметит?»— гадал Почекушин и взял инициативу в свои руки, и подрулил к генерал-губернатору, и раскланялся, и к губернаторихиной ручке приложился, и внучек позабыл, изобразив, как козлик по травке прыгает; и доверительной беседы с Иваном Алферьевичем удостоился, прохаживаясь с ним рядом на виду почтенных сограждан.

—Великой целью оживотворен я, ваше превосходительство!—декламировал он.—Добродетельная жизнь, безгрешные помыслы, смирение и чистота...

Генерал-губернатор внимал, кивая в знак согласия.

— А што порой вольную мысль изрекаю,— продолжал Почекушин,— так сие есть следствие, што не могу жить по-старому, без прогрессу и продвижения.

— Противу нас, Иван Савельич, кой-кто в контрах состоит, не забывайте сего!— заметил Пиль огорчительно.

— Знаю, ваше превосходительство. Знаю, што клеветают меня. И кто-о-о? Ничтожные люди, закоснелые в ложных параграфах! Двоеликие люди, выдвинутые к городскому управлению во времена лютого якобинства, когда бескорыстие считалось подрывом, покусительством на основы, вредным примером и дерзостию. Как оно водилось, до вашего восшествия? Те, кои имели совесть, принуждались молчать, другие же говорили лести из угождения и страха. А я... Што я, ваше превосходительство? Не могу молчать, хоть пришибите...

— Ну, ну, успокойтесь...

Иван Савельич смахнул мизинцем две капельки с ресниц и приступил к резюме:

— Супротивники наши могут сказать: общественная позитивная губернского секретаря Почекушина очевидно заключает в себе умысел к сокрытию вредного направления. Ложь и клеветы! Ложь и клеветы, погубляющие человека, совершенно безвинного и пекущегося об народном оптимизме.

— Об чем?— поднял бровь Иван Алферьевич.

— Таково по-латынскому будет наше «авось-небось», ваше превосходительство. Вы мне дозволяете, я сии мысли изображу на бумаге и представлю на благорассмотрение вашего превосходительства.

— Это полезно,— сказал Пиль,— и весьма любопытно.

— Да, да! Именно любопытно наблюдать, как из письменных мыслей истина наружу вылазит. Ежели выразиться возвышенно,— как невинный гусенок из яйца вылапливается, ей-богу.

— Пиит вы у нас, Иван Савельич,— улыбнулся генерал-губернатор.— Чистый Державин.

Почекушин смутился:

— Уж вы скажете... Однако же натура у меня именно такая: как чего увижу в жизни — так то и волоку к себе. Сиречь в изящную словесность, в канты пиитические и прочие оды.

— В канты можно,— отвечал Пиль.

А его собачка покрутилась вокруг почекушинских ног, понюхала, чихнула и подняла лапку, желтенько оросив сапог губернского секретаря, замершего столбом при таковой неожиданной акции.

— Ах, Жуля!— подала голос генерал-губернаториха.— Несносная собачка! Когда же ты научишься *observer les convenances*?⁵¹ Сегодня ты не получишь сахара...

...Большая перспектива!

Разве это только единственно что название главной городской улицы?

Прогулки продолжались, люди с неизбежностью сталкивались на пути и с такой же неизбежностью разлетались, и посто-

⁵¹ Соблюдать приличия (*франц.*).

ронному взгляду, откуда-нибудь с высей горних, могло бы показаться, что в этом маскарадном хаосе любые мысли, волеизъявления, речи и поступки совершенно непредсказуемы.

Возможно, возможно... Однако, заметим, что до господина Почекушина сей хаос не касается. И мысли, и речи, и поступки его вполне предсказуемы... Но не будем спешить угадывать что-либо заранее, а оставим его, нашего героя, таким, каков он есть, — на Большой перспективе, лицом к лицу со своим временем: пусть разбираются — чо почем?

14. КОЛЛАЖ. «НА ПОПРИЩЕ СЕЙ ЖИЗНИ СКЛИЗКОМ...»

Там, где нынче шумят трибуны иркутского стадиона «Труд», — когда-то шумела под ветром Крестовая роща, березовая. По древесным возрастам — совсем недавно, в конце XVIII века...

В начале восьмидесятых годов принялись здесь вырубать деревья, поляны перелопачивать, строить магазейны, амбары. В короткий срок возвели гарнизонный гошпиталь с банею и летний губернаторский дом. Потом от ангарского берега до Заморского тракта вытянули просеку⁵². На ее пересечении с трактом, по соседству с Американскими казармами, городской архитектор Алексеев поставил двухэтажное каменное здание, в котором разместилась Охотская контора Российской компании Шелихова и Голиковых⁵³.

В этом доме в октябре 1791 года Григорий Иванович Шелихов сердечно принимал Александра Николаевича Радищева, следовавшего в Илимский острог. О чем говорили они? Наверняка о будущей России, поскольку Россия тогдашняя их мало устраивала, была тесна для их дерзновенных мечтаний и практических прожектов.

⁵² Ныне ул. Красного Восстания.

⁵³ В 1799 г. Российская компания после слияния с Компанией Мыльниковых получила наименование Российско-Американской.

И — кто знает?— может быть именно здесь, в этом доме, который и поныне сохранился, Радищев пометил в своих дорожных бумагах: «Иркутск может равняться с лучшими российскими торговыми городами и превосходит многие из них по своему призванию и назначению».

«Путешествие из Петербурга в Москву» самолично правила императрица, так что поправление сочинения оборотилось в пражеж для сочинителя.

— И пуцай сей любитель опасных путешествий катится колбаскою подалее. Дальше едет — тише будет.

Из Иркутска Радищев выехал уже по обширному снегу.

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду.

В Илимске к тому времени насчитывалось 46 дворов, имелись часовня, ратуша и купец, у коего был знаменитый на всю округу склад на тысячу ведер водки.

...Генерал-губернатор Пиль всецело поддержал замыслы своего беспокойного земляка Шелихова. Поддержал совсем не потому, что неофициальное именование чуждедальных земель «Американским уездом Иркутской губернии» приятно щекотало самолюбие. Скорее потому, что изданная в Петербурге книга «Российского купца Григория Шелихова странствования из Охотска по Восточному океану к Американским берегам» имела в обществе необычайный успех. А быть в начале успешного предприятия или хотя бы вовремя развить его, двинуть «по маслу», в крайнем случае, не мешать новациям,— сие представлялось Пиллю делом сугубой служебной карьерности.

Вопрос об освоении Российско-Американской компанией новых земель вставал практически, как вдруг в одночасье скрутила Шелихова чрезвычайная боль в животе, и 20 июля 1795 года он скоропостижно скончался в недоумении от причин и в ярости от страшных мучений. В Иркутске по сему поводу роились все-

возможные слухи. Одни говорили, что смерти Григория Ивановича поспешествовала супруга его Наталья Алексеевна. Другие утверждали мысль о самоубийстве. Кривотолки так и остались кривотолками.

А британский вояжер Джон Ледьярд после случившегося перекрестился по-православному с облегчением: «Славо. Тибе господи»,— и вторично покинул Россию, прихватив с собой в качестве пособия для изучения загадочной русской души сочинение убиенного Шелихова и еще одну занятную книжицу под названием «Обстоятельная и верная история российского славного вора и разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина». Метрополия призывала Ледьярда к новым делам. Здесь, в Лондоне, извечной колыбели мировых интриг, появилась карикатура: после укрощения Варшавы русскими войсками Суворов подносит Императрице отрубленные головы прекрасных панночек и их малолетних детей... Британские спецы — дипломаты, газетчики, агенты тайных служб — потирали руки: что скажет Европа относительно таковых русских злодеяний? Авошь, Россия отвернется от восточных и прочих американских интересов, коли ее западный бок до крови чешется...

А как погиб Шелихов — «тайна сия велика есть», и покоится она под тяжелым (в 12 тысяч рублей) надмогильным памятником, с пролитием слез возведенным вдовой усопшего в ограде Знаменского монастыря. На мраморе высекли эпитафию — творение державинской лиры:

Колумб здесь росский погребен,
преплыл моря, открыл страны безвестны,
и зря, что все на свете тлен,
направил парус свой
во океан небесный
искать сокровищ горних, не земных,
Сокровища благих.
Его ты, Боже, душу упокой.

Гаврила Романович пылко любил «росского Колумба»!

У Державина в то время дела складывались архискверно. И началась сия нескладница с того, что государыня несколько лет назад препоручила ему в рассмотрение судное дело генерал-порутчика Якобия: бывший Иркутский и Колыванский генерал-

губернатор обвинялся в намерении... возмутить Китай против России.

Гаврила Романович — сенатор и генерал-прокурор — занимался делом почти год, изредка сверяя свое мнение с оценками Двора посредством стихотворных посланий к личному секретарю императрицы Храповицкому:

...как Якобия оставить,
которого весь мир теснит?

Храповицкий отмалчивался, подлец, ухмылялся: думай, дескать, сам, Гаврила Романыч, покуда государыня на тебя полагается.

Державин, наконец, собрался с духом, надел коричневый фрак с двумя звездами и отправился на доклад в кабинет Ея Величества, где Оно, сидя за большим письменным столом, занималось сочинением записок касательно российской истории. Шеренга дворцовых гайдуков и лакеев внесла за дожителем кипы сафьяновых папок с бумагами.

— Что такое?— осердилась Екатерина Алексеевна.— Зачем сюда этукую прорву? Для чего?

— Для народу! — ответил генерал-прокурор пиитическим тоном.

Государыня округлила глаза:

— Ну, клади, коли так...

Дела разместили на сдвинутых столах.

— Читай, Гаврила Романыч, а я покуда рукавичку вязать буду.

— Что прикажешь, государыня? Экстракт сенатский или мой разбор? Или которую-нибудь из докладных записок?

— Читай самую коротенькую.

Державин вышарил из ближайшей папочки заключение о двух листах, из коего выводилось суждение: Сенат долгое время разбирал дело Якобия, всячески утесняя оно, а оный-то и не виноват вовсе!

Екатерина Алексеевна, как бы изъявляя сомнение в верности записки, головой покачала:

— Значит, неповинен... Забавно. А посему, Гаврила Романыч, будешь читать сие пространное дело... с завтрашнего дня. И таково — каждый день. По два часа. После обеда.

В течение полугода генерал-прокурор являлся в государынин кабинет после пяти часов пополудни и развлекал монархиню судебным чтением с комментариями. И за это время, надо признать, весьма сблизился с Екатериной Алексеевной в рассуждениях по многим державным вопросам — как внутренним, так и наружным.

— Поздравь меня, Гаврила Романыч— говорила она доверчиво, точно канцлеру, при получении трактата 1793 года о польских делах⁵⁴, — поздравь меня скорее со столь выгодным для России постановлением!

Державин склонился в поклоне:

— Счастливы вы, государыня, что не было в Польше таких твердых вельмож, каким был Филарет. Ежли бы таковые оказались в Польше, они бы умерли, но не подписали постыдного мира!

Екатерина Алексеевна улыбнулась, и все последующие дни благожелательная улыбка не покидала ее лица, Самым приметным образом она отличала Державина в толпе царедворцев: в публичных собраниях, в саду сажала Гаврилу Романовича подле себя на канапею и нашептывала на ухо премилую дребедень, показывая окружающим, будто говорит о важных делах. Как сему завидовали! Даже Храповицкий.

И мнилось Державину, что дело Якобия — тот самый случай, коему не дай Бог быстро кончиться! Но... то-то и оно, что «но»! Кому же еще, как не пииту, понимать, что слово «счастье» и во французском языке, и в русском своим происхождением связано «с часом», с весьма ограниченным сроком,— и потому долговечным ему быть не суждено...

В середине июля 1793 Гаврила Романович, как обычно, развлекал государыню в Царском Селе чтением Якобиева дела.

Екатерина Алексеевна зевнула:

— А что, Гаврила Романович, не передохнуть ли твоей Фелице?

— Как будет угодно, матушка.

Императрица вышла в сад, генерал-прокурор остался в кабинете и углубился в покойных креслах, а равно и в мыслях

⁵⁴ Речь идет о втором разделе Польши.

беспокойных.

«Вот она — судьба моя... Поймали птичку голосисту...Ну и что же от таковой птичьей жизни присудить Якобию, чтобы всем и каждому угодить?»

Как чертик из табакерки, в кабинет неожиданно вскочил Турчанинов, статс-секретарь.

— Айда в сад, Гаврила Романыч! Матушка скукой томится.

— Да я-то нашто, Петр Иванович? Чай, не шут какой?

— Как нашто? Ты же генерал-прокурор сенатский! В горелки игру заведем — государыне и полегшает. Айда!

«Вот она — судьба моя... Пять десятков годов, а все прыгай козликком».

На лугу статс-дамы и придворные кавалеры тешились горелками с великими князьями Александром и Константином.

— Лови, дядя! — визгнул Александр Павлович.

Державин учтиво поклонился — и припустил вдогон, охая и матерясь одними губами. На спуске к пруду пиитовы ноги разбежались в разные стороны, от чего генерал-прокурор со всего лёту звезданулса оземь и от острой боли в плече потерял сознание.

Шесть недель провалялся в домашней постели Гаврила Романович, вылечивая вывих, и с горечью сознавал: сие падение суть падение политическое, поскольку время, употребленное на лечение, недоброжелатели употребят на то, чтобы переменить сносное о нем мнение государыни, выстудить ее сердце относительно генерал-прокурора.

Здоровой рукой пиит царапал обидные строчки о злополучных горелках:

На поприще сей жизни склизком
Все люди бегатели суть;
В течение дальном или близком
Они к мете своей бегут.
И сильный тамо упадает,
Свой кончить бег где не желал:
Лежит; но спорника, мечтает,
Коль не споткнулся бы, — догнал.
Надеждой, самолюбья дочерью,
Весь возбуждается сей свет;
Всяк рвенье прилагает к рвенью,
Чтоб у передних взять перед...

По выздоровлении Державин вновь появился в кабинете Екатерины Алексеевны с докладом об опостылевшем деле Якобия.

Императрица вспыхнула, все лицо алыми пятнами взялось:

— Да как ты смеешь помимо соображения решенного Сенатом дела выводить невинность злодея? Кто тебе приказал сие?

— Токмо справедливость и ваша слава, государыня! Чтобы не погрешили вы в оном правосудии...

— Ступай вон!

Уже на выходе догнал Державина императрицын камердинер, господин Иван Михайлович Тюлькин,— и конфиденциально передал генерал-прокурору:

— Матушка наша удивляется, как это тебе, Гаврила Романых, стужа глотку не захватит?

Шел октябрь...

«Что же делать?— размышлял Державин.— Возможно ли отступить от собственной резолюции о невинности Якобия? Нет, однако. Ведь еще в самом начале разбирательства государыня в именном указе повелела считать дело пустяком! Для пущей нелепицы сенатский суд приспособил к делу... Китай. Нашто? Дабы отвлечь внимание от Якобиева воровства и мздоимства, которые, видит Бог, случались не единожды. Но с кем чего не случается по пустякам! Вот и выходит по главным статьям, что не умышлял Якобий вкупе с китайским императором никакого злодейства супротив Российской державы. Нет, милостивые государи, не умышлял! Следственно, что? Следственно, не повинен. И сумма суммарум получается, что государыня, как всегда, мудра и справедлива. Так чего же она... выкаблучивается?»

И порешил Гаврила Романович не отступить от своего мнения, а чтобы подкрепить его со стороны — пошел на следующий шаг: по наущению генерал-прокурора петербургский обер-полицеймейстер Глазов подбросил императрице молву народную о ее монаршей справедливости и милосердии в решении судного дела Якобия — оправданного, освобожденного от клевет и злобной зависти.

Екатерина Алексеевна осталась удовлетворенной. Пора было ставить точку в затянувшемся разбирательстве. В самом деле, ей уже становилось довольно курьезно от того, что она столь неосторожно завела долгое дознание по пустякам. Призвала к себе Державина — по и г р а т ь с я напоследок.

— Точно ли Якобий невинен, Гаврила Романыч?

— Матушка,— взвыл генерал-прокурор,— вот как Бог свят, ни в чем не повинен!

— Ну и ладно. Кончим миром сие хлопотливое дело. Ступай.

И вновь уже у самого выхода нагнал Державина господин камердинер императрицын и доложил на ушко сугубое мнение: Державин-де грубит и бранится на докладах, горяч больно, надо бы по совести примерно наказать Якобия, да вот Державин не дает, ну и Бог с ним, с генерал-прокурором, народ-де и без него подлинную правду учуял...

Плюнул с досады Гаврила Романович — и шепотком аттестовал матушку соответственным образом.

О деле Якобия газеты умолчали, в них печатались всё более дела практические... «В Сергиевской улице, в 4-м квартале, против самой церкви, в каменном доме под № 397 продается 15 лет мальчик, а также бекеша, покрытая голубым гарнитуром, с особенными отворотами, соболина шапка и трость камышовая с золотым набалдашником»...

Прошло некоторое время — а обиды остались.

И Гаврила Романович хохлится по-вороньему, сутулится знобко даже под жаркою соболиной шубою и шапкой, присланными именитым иркутским гражданином купцом Сибиряковым как почитательский дар — дару бранного певца; спасибо ему, Михайле Васильичу, утешил старика до слезы светлой, благодарственной.

И шуба и шапка, согрев зябнущего пиита, к самой истории прикоснулись!

Итальянский художник Сальватор Тончи, призванный в дом Державина для портретного живописания, ни за какие коврижки не желал изображать Гаврилу Романовича в парике. Сам же стихотворец не соглашался предстать на историческом полотне

плешивым, каковым и являлся к тому времени. Заспорили: живописец — прозой, Державин — возвышенными куплетами.

Бессмертный Тончи! ты мое
лицо в том, слышу, пишешь виде,
в каком бы мастерство твое
в Омире древнем, Аристиде,
Сократе и Катоне ввек
потомков поздних удивляло;
в седирах лысиной сияло,
и в нем бы зрелся человек.

Но лысина или парик,
но тога иль мундир кургузый
соделали, что ты велик?
Нет! — философия и музы,
они нас славными творят.
О! если б осенял дух правый
и освещал меня луч славы,
пристал бы всякий мне наряд...

— Брависсимо! — воскликнул Сальватор.— Все это у вас имеется, синьор: и дух осеняет, и луч освещает. Так что извольте облачиться шубой и шапкою, устраивайтесь покойно в креслах и — да поможет нам пресвятая мадонна! А фоном вам будет библиотека!

Гаврила Романович покачал головой:

Уж нет, ты лучше напиши
меня в натуре самой грубой:
в жестокий мраз, с огнем души,
в косматой шапке, skutав шубой,
чтоб шел, природой лишь водим,
против погод, волн, гор кремнистых,
в знак, что рожден в странах я льдистых,
что был прапращур мой Багрим...⁵⁵

⁵⁵ По свидетельству Державина, его предок Багрим из Золотой Орды поступил на службу к великому князю Василию Васильевичу.

Тончи мудро смешивал краски масляные на палитре. Державин ворчал:

— А помещусь ли в рамки картинные... в этакой шубе?

— Вполне,— отвечал художник, прищуриваясь.

— Ты клади на холст, сударь мой, маслица-то поболее, не скупись...

— Живопись, Гаврила Романыч, не бутерброд и не каша...

— Пустое говоришь! Кашу маслом не испортишь.

Таким и изобразил Тончи славного певца российского: в натуральную величину, в Сибиряковской шубе и шапке, на фоне дикой скалы и снежной равнины.

Потом сняли копию с портрета, увязали ее в рогожи и повезли санным путем за шесть тысяч верст — отдарком Михайле Васильичу Сибирякову — в края гиперборейские, хладные, черно-белые с алой брусничинкой. И там полотно останется жить надолго.

Сибиряков чуть ли не молился на ту гигантскую парсуну! А причина тому была самая прозаическая: некому стало изливаться, владыка небесный отвернулся, владыки земные в чинах генеральских и подавно не жалуют за прямоту купцовую и непокладистость; пущай уж сия парсуна заместо иконы висит, есть теперь кому обиды докладывать, да и сам Гаврила Романыч глядит из рамы так, как будто бы все до тонкости понимает; ах, новый век! новые люди... Жизнь — не роман, в коем со смертию старых героев можно и повествование прикончить и на сем прихлопнутом факте закрыть сочинение книжной корочкой наподобие гробовой крышки; нет, милостивые государи мои, изо всех вековых щелей устремляются к действию новые герои, каждый — со своим крестом, со своим козырем, со своей свечой для игры с жизнью по самому крупному счету...

В канцелярии Державина одно время подвизался молодой и весьма способный к наукам человек — Николай Петрович Резанов⁵⁶. Еще при жизни Шелихова Резанов сочетался браком с его дочерью. И стал не просто зятем, свойственником, но и страстным продолжателем дел и интересов Григория Ивановича,

⁵⁶ Русский государственный деятель (1764—1807). Умер в Красноярске.

чему Державин втайне и немало завидовал в минуты размышлений о том, кто из нынешних стихотворцев окажется достойным восприемником его пиитической лиры.

Именно от Резанова Гаврила Романович услышал впервые имена Сибирякова и Шелихова — истовых подвижников российской поступи на Восток, пайщиков Российско-Американской компании; в 1799 году Николай Петрович исправлял с образцовой старательностью и знанием дела должность правительственного контролера этой компании и возглавлял ее правление, через год переведенное из Иркутска на берега Невы.

Интересы не личного, но государственного свойства подвигали Резанова (уже камергера Двора и обер-секретаря Сената) к азартным деяниям на восточных окраинах империи, и в 1803 году он организовал первую русскую кругосветную экспедицию.

— Резанов Гаму заменит! — восклицал Державин. — Семь футов под килем ему, неугомонному!

А тем временем бывший опальный генерал-губернатор Иван Варфоломеевич Якобий шустро шел в гору: при императоре Павле Петровиче он служил по военному ведомству, был приближен ко Двору (как косвенно пострадавший от ненавистной Павлу маменьки-императрицы) сначала в чине генерал-лейтенанта, а там и генерала от инфантерии получил. В отставку вышел с правом ношения мундира и приличным пенсионом.

Тезка и заклятый приятель Якобия — Иван Варфоломеевич Ламб при Павле I был возведен в должность вице- (опять «вица», черт бы ее подрал!) президента Военной коллегии и пользовался отличной государевой милостью.

На третий год нового века состоялось учреждение Сибирского генерал-губернаторства с центром в Иркутске.

— Ступай, Иван Осипович, вывози сей воз с дерьмом, — напутствовал Александр I сенатора Селифонтова; перед назначением на новую должность сенатор подряд три предыдущих года ревизовал Сибирь, генерала Пиля выводил на чистую воду, в той воде Пиль и захлебнулся в первый же год ревизии; уж ему ли, сенатору Селифонтову, не знать всех зловонных уголков сего берендеева царства!

В Иркутск въезжали почти одновременно два генерала: один — тайный советник, Сибирский генерал-губернатор с особыми правами по причине великой удаленности края от

столичного надзора; другой — любимец Павла I, князь Василий Николаевич Горчаков, осужденный за мошенничество на поселение в село Тунку.

— Школярское наказание. Но уж вы постарайтесь, князь, оправдать высокое доверие,— заметил Селифонтов с дружеским расположением.

— Чем, Иван Осипович?

— Ну, скажем, примерным поведением... и прочее.

— Нонсенс! Доверие не надо оправдывать, оно ни в чем не виновато,— рассмеялся генерал Горчаков.— Впрочем, оправдаюсь прочим. Адье!

Среди прочих оправдываний ссыльного князя — первый постоянный полупрофессиональный театр в Иркутске, рожденный в 1805 году потугами Горчакова вкупе с большим любителем затей гвардейским офицером Шубиным, тоже высланным из столицы за недозволительные шалости, как-то: швырял дохлых кошек на сцену императорского театра и... и прочее.

В быстротекущих днях двух ссыльных удачно сочетались дамские талии с тальями картежными, а последние — с древнегреческой музой Талией, покровительницей комедии, впрочем, не забывалась и трагическая Мельпомена. Ставили большей частью водевили и «коцебятину» — пиесы Августа Коцебу. Актерок набрали из ссыльных женщин, актеров — из солдат. Среди последних блистал некий Рожкин. Чудила, этот Рожкин! Во время представления князь Горчаков, сидя в первом ряду, нюхал табак и нарочно громко чихал, на что Рожкин, игравший молоденьких девиц, немедленно обрывал монологи и диалоги, вытягивал руки по швам и ревностно желал здоровья его превосходительству; сии ремарки публике нравились пуще самой пиески. Впрочем, Талия с Мельпоменой проживали в Иркутске для увеселения чистой публики, образованной. А простолюдины обходились кукольными вертепами: вертелись на палочках пастыри и волхвы, Ироды и избиваемые младенцы, а то и плутоватые слуги, ни в грош не ставящие своих господ; младшие семинаристы, сопровождая представление, хором славили Христа по-латыни, зрители славили кукольников, короче говоря, необразованной публике сие вертепство нравилось пуще самой жизни, по крайней мере, той, в которой нули без палочки и куклы вертели людьми.

Три года владычествовал в сибирском вертепе тайный советник и сенатор Иван Осипович Селифонтов — не вытащил-таки воз пороков, к тому же и сам в них малость подзавяз; власти — предостаточно, финансы — под боком, а лучше сказать, в кулаке; но с рублем жить — все равно что со ртутью: несоразмерно тяжело, склизко и пары ядовитые.

Пьянство и разврат цвели пышно: в среде купечества — не менее, чем среди чиновников и дворян. Пили горькую и безобразили — да так, что в этих сивушно-мясистых удовольствиях слабый пол не выглядел слабым: мужики уже валились копытами врозь, а бабоньки только в самый жор и жар входили. И не было в Иркутске того, кто не знал бы о похождениях купеческой дочки Анны Ксенофонтьевны Сибиряковой, устраивавшей со своими приказчиками дикие попойки с раздеванием.

— На манер из времен упадка Римской империи, — комментировали, облизываясь, недоросли, а люди постарше, поосведомленнее именовали купцову дочку «Селифонтьевной», что, не беспричинно, весьма озабочивало Селифонтова, угрожая губернаторской нравственной репутации.

В 1806 году сибирский престол вновь затрещал — и принял к сидению нового властителя — уже надолго.

Первую четверть XIX столетия современники окрестили зло, но справедливо: «времена сибирских сатрапов». Имелись в виду одни из первоочередных администраторов нового века, а именно: генерал-губернатор Пестель и гражданский губернатор Трескин, «лихоимцы и кровопивцы».

Историки отмечают, что в атмосфере закабаления и полного бесправия низов высшее и среднее чиновничество вносило в управление сибирскими окраинами России нравы дикой помещичьей усадьбы: по ничтожному поводу людей отдавали под суд, запечатывали в каталажки, гнали в ссылку — в еще более отдаленные и погибельные места; лиц непривилегированного звания (крестьян, мещан, ясачных иноверцев) нещадно секли розгами; натуральные и денежные поборы с отдельных персон и с целых сословий обратились в обыденное, обыкновенное явление, «подарки» чиновникам стали включаться в расходную часть местного бюджета. Базары (самые демократические учреждения того времени) бурлили разглагольствованиями относительно произвола «сатрапов» и непри-

крытого бесчинства чиновников. Что-либо ясное и предельно понятное в этом гвалте обиженных голосов разобрать было невозможно, однако гвалт был угрожающ: так закипает Байкал от «маломорского», ураганной силы ветра — сармы.

Победоносная война с Наполеоном и надежды на либеральные реформы поразвязали языки в городе и в деревне. Люди стали сопрягаться идеями. И вековая сибирская тишина, настоенная на потной усталости трудного дня, когда ни до чего, казалось бы, нет ни дела, ни слова,— могла вдруг забродить от самой ничтожной, хиленькой, дрожащей дрожинки и в единый миг перестать быть тишиной. Блюстители порядка еще толком не знали: кого бить, а кого только отмутузить?— и шаршились, смущенные, по базарам, по людским скоплениям, гремели ножнами шашек, исповедуя извечный испуг власти предержавших перед толпотворением.

— Больше трех не собираться?— обижался народ.— Эва! А ежели цыган коня торгует али рыбак — вот та-кущего тайменя! Тады как?

В толпах зачастили пошныривать вертлявые людишки, державшие уши как по ветру, так и против оного, понимавшие все с лету, с намека, с полуслова и даже те слова, кои не произносились... Ну, времечко!

Планида городского головы Михайлы Васильевича Сибирякова складывалась препогано: уж, казалось, легче от черной оспы подохнуть, чем с Трескиным ужиться.

— Господи Боже, — орало сердце головы,— избавь ты наше общество от дурака такого и лиходея!

А голова головы в это же время осторожненько горькие обиды изрекала тишком:

—И за какие такие грехи ниспослан нам бич божий?

—Бич божий,— констатировал вице-губернатор Николай Иванович Трескин,— всегда в человеческой руке помещается. Надо бы уразуметь сию философию, Михайло Васильич, пора бы уж тебе. Ты ведь по имю-отчеству чуть-чуть, да не Ломоносов. И также умствуешь чрезмерно. Не шали у меня!

За явные контры крутому, необузданному норову Трескина Сибиряков угодил в ежовые (ежовой уж некуда!) административные рукавицы. Заручившись санкцией Пестеля, а через него,

по инстанции,— и самого императора, самодур изгнал Михайлу Васильевича из купеческой гильдии.

— За што же мне такое разгильдействие вышло?— чуть не плакал Сибиряков.

— Погоди, еще не так прищучу... Ломоносов!— грозился Трескин.

Не напрасно грозился! Бывшего купца записали в «работные людишки» и сослали под конвоем казачьим в Богом забытую, человеком проклятую забайкальскую глубинку.

— А не супротивничай, Ломоносов!

Сломался Сибиряков, разом обветшал душою и телом. Однако, к радости отцовою, сыновья его не сдались перед Трескиным, один за другим принялись наезжать в столицу для вызволения родителя из беды, из клевет, из дурной репутации; подключили к ходатайствам перед государем самого Державина, и тот обещался пособить, и действительно хлопотал, утешал чем мог братьев; но куда тянулось разбирательство жалобы — война с Наполеоном навалилась, не до личных счетов стало, было бы Отечество живо; а спустя два года после войны Михайло Васильевич умер — горько, обидно, нескладно, без душевного покоя и было бы даже — с удовольствием, кабы в последние минуты прощания с миром не колола его виноватость перед остающимися жить в том, что не смог, не сумел толком доругаться с Трескиным, побороть мерзавца: ах, Трескин, Трескин! да штоб ты треснул пополам, вице-губернатор липовый! сволочуга ты, а не вице! Одно слово — страдодрак!⁵⁷

Доругивались другие. Среди откровенных противников Пестеля и Трескина были представители немногочисленной тогда сибирской интеллигенции. В Иркутске кружок инакомыслящих составиля вокруг известного востоковеда Игумнова. Доносы, поступавшие к Трескину, свидетельствовали, что собрания игумновских гостей (реестрик прилагался!) поносно обсуживали действия и образцы мышления властей, а заодно и смеялись, чрезвычайно и заразительно, над особою самого

⁵⁷ В 60-е годы XIX в. в Иркутске выходил рукописный журнал «Заушаковский вестник». В одном из номеров была помещена стихотворная сатира на Трескина — «надменного страдодрака» — и его жену — «Дуню-кокетку», известную взяточницу. Долгую память, как видно, сохранил о себе Трескин!

Сибирского генерал-губернатора, окопавшегося в столице. Сие — о Пестеле.

Вот они какие — внутренние и наружные дела Империи!
Уходят государи, сменяются губернаторы.

Но Иван Савельич Почекушин жив, здоров, выражает свое мнение особыми словами и озаряет нашу местность своим нестерпимым гением. Он ведь тоже гениален — по-своему, на свой вечный лад...

15. «И ОСТАВИША ОСТАНКИ ДЕТЕМ СВОИМ...»

Так в Псалтири глаголется, так и в жизни случилось.
Точнее — после жизни.

По смерти Ивана Варфоломеевича Якобия «останки» его (шесть тысяч обоего пола крепостных душ, без единой «мертвой», плюс вся недвижимость и наличный капитал) поделили наследники. Никто обиженным не остался, на всех хватило, а уж ей — Жаннетте, Анниньке, любимице папенькиной — в особенности.

Дом Анны Ивановны в Москве оценивали так:

- Капитал неизмеримый!
- Копилка!
- Копи царя Соломона!

Мнение сие ходило в свете, точно шапка по кругу, и всяк добавлял в него свое категорическое суждение, однако в целом никто не ошибался.

...Анна Ивановна (в замужестве Анненкова) не выносила шума. Полторы сотни ее домашних челядинцев обуви в комнатах не носили; лакеи шлепали по вощеным паркетам в одних чулках, девки — все больше на цыпочках, наподобие дансорок и театральных фигуранток. С годами Анна Ивановна теряла слух, но заведенный порядок оставался непорухенным..

Свою глухоту барыня ревностно скрывала, даже от себя самой, не желая вот так — очевидно, во всеуслышание и безоговорочно — стариться. Прислуга в угоду хозяйке делала вид, что не замечает ее ушной немощи, и только один Бог знает, как они, эти лакеи-лукавцы, умудрялись выкручиваться недрано-непорото

из повседневной, ежечасной необходимости орать шепотом в барынино ушко — сморщенное, желтое и смешное, как неумело сляпанный сибирский пельмешек.

—Чистый киятер, ей-право!— говорили лакеи в присутствии глухой тетери-барыни, и та величественно кивала головой.

Иногда она уставала от такой жизни — жизни, в которой шум ей надобен был только для того, чтобы ощущать себя живой и властной; годы уходили из души и тела, порой накатывало пугающее ничто, и тогда ей, богобоязненной не по душе, но по традиции, хотелось побыть одной, уgomонить сердце, подбить счета прожитому, вычислить остатние кредиты.

— Хочу монашкой жить,— заявляла она в такие минуты.— Об душе попекчись. В армитаже. Как у графа Шереметева в Кускове.

Сказано раз — и в два счета сделано: эрмитаж так эрмитаж. Заколотили досками лестничный марш на второй этаж, и устроили наверху домашний монастырь, куда попасть можно было только через шахту с самодвижущейся подъемной банкеткой. Келью обставили скромно, из роскоши — только любимые Анной Ивановной китайские фарфоровые вазы (память об Иркутске!), известные знатокам и ценителям под названием «яичная скорлупа» — белые, звонкие, тончайшие, так что пальцы, державшие вазу, были видны на просвет.

Посреди комнаты разместили круглый стол на четыре куверта из аккуратного расчета: две кошки да хозяйка со своей гипохондрией. Из-под донышек тарелок вниз уходили хитроумные подъемные устройства на «архимедовых винтах»; блюда сервировали внизу, в кухне, где дюжина поваров круглые сутки поддерживала огонь в печах, изощряясь в приготовлении сочных рагу из петушиных гребней и соловьиных язычков, и дюжина официантов обжиралась, зевала и чесалась, дожидаясь сигнала к подаче заказанных блюд наверх, через «архимедовы винты»; для обедов, как и для сна, положенных часов у хозяйки не водилось.

Внизу, в общей столовой зале, тоже накрывали столы — традиционно на сорок персон, даже если съезда гостей не предвиделось; в такие благословенные часы лакейство пребывало в совершенном упоении и обжорстве; шибко гулялось лакейству, покуда сиятельная келейница, сухопарая сидидомица отдавала положенный долг Богу и всему его святому семейству:

как и все паразиты в раю, они зело борзо блудили, скверно-словили, рылись в комодах, куда денежные доходы с имений ссыпались без счета; растаскивали из сундуков соболей и чернобурок, щеголяли в барыниных салопах и в панталонах, похожих на абажуры, дрались и при всем при этом плевали в потолок, на хозяйкину богадельню.

Из «эрмитажа» затворница спускалась дня через три-четыре, точно с высот горних — обновленная, очищенная, до жизни охочая. И все начиналось сызнова.

А как живут господа — о том лакеи поведают охотно любому-каждому, кто привадит их к разговору стопочкой анисовки да сунет в кулак липкий пятачишко. Они все знают, лакеи!

О чем, к примеру, философствуют в лакейской или у воротца в минуты роздыха? О разном. О том, как вчерась в домашнем киятре графа Н. черномазое отелло задушило гулящую девку («Нашто?»)... О том, что двери в доме статской советницы Анненковой сделаны из цельных кусков чистого богемского хрусталя («Нашто?»)... О том, как в Немецкой слободке кучер Ферापоня амурно спознался со своей барынькой...

— Ох, уж етот Ферапонтый Пилат, ети ево мать!

— Губа не дура.

— И сам, видать, не дурак.

— Што ты! — машет рукой рассказчик и крестится. — Што ты! Она же ж, ведьма такая, нагишом к ему на шею залазит и велит скакать по квартире и ржать по-жеребиному. А сама-то... сама Ферапошку плеткой по бокам налупливает, надрючивает, пятками в ребры шпыняет, ажно треск стоит... Страм один!

— Сам видел, што ли?

— Людишки сказывают.

Фатоватый грамотей Сёмка сплевывает с губ слюнявую цепочку подсолнушной шелухи и понимающе прононсит на господский манер:

— А тем пора и в море-с!⁵⁸

— Што? Кому? Кого? Куды? — посыпалось враз.

⁵⁸ Искаж. *O tempora, o mores!* — О времена, о нравы! (*лат.*)

—А то, что, дескать, пора господам, которые на шее народа скакают, в окиян-море потопнуть за грехи ихние тяжкие,— отвечает Семка и перст устремляет возвышенно:— Латынь!

— Да, порым-пора,— соглашаются собеседники.— Оно конечно... Вот ты бы, Сема, и свез тую барыньку до моря-окяна...

— С нашим удовольствием,— ржет Семен.

— Тьфу, поганец! Как есть, жеребец...

О многом бы еще поведали друг дружке знатоки господского житья-бытья, если бы не комнатный казачок, выскочивший чертиком бог весть откуда и истошно возопивший:

— Сёмку для репетиру требуют!

Парень смахнул с губ очередную шелуху, подобрался весь, построжал физиономией:

— Ну, прощевайте покеда, господа лакеи и камардины. Пошел снова моцарты дуть.

— Прощай, Сема,— загудели сочувственно.— Вертайся живой...

— Не поминайте лихом, мужики и женчины,— поклонился парень обществу в пояс.— Ежели обидел кого...

— Прощай, прощай...

Семка (артистическое имя Смарагд Малахитович) год назад был истопником, возился с каминами, которые тепла не давали, но требовали уйму дров. На распиловке и колке поленьев Семка постоянно простужался горлом, сипел и хрипел.

— А быть тебе, истопнику гнусливому, при фаготе!⁵⁹ — остроумно рассудила Анна Ивановна и включила парня в домовую музыкальную «капель».

Что же касается до столь диковинных имен, то здесь нужно сделать некоторое пояснение. Объясняется сие просто. Актеров домашних театров (да и не только домашних) именовать было принято по имени-отчеству, и это была честь, которая оказывалась не каждому дворянину. Дело тут вот в чем: актер, конечно, не мог перечить хозяину, поскольку именно он, хозяин-барин, решал — как и что играть своему крепостному лицедею. Но в то

⁵⁹ Франц. *fagot* — вязанка дров; в данном случае — музыкальный инструмент.

же время актер, играя, как бы поучал господ, сидящих в зале. Поучал — со сцены! Более того, владелец крепостного театра при таком положении дела как бы намекал своему кругу — зрителям: эва, Иван Лаврентьич и Евдокия Егоровна! в моих театрах такие же, как вы,— и те в актеришках пребывают, и я над ними — бог и царь! так что, любезные, не след и вам носы задирать!— И имена давались блестящие: Рубин Сапфирович, Аметист Алмазович, Виолет Бриллиантович... Госпожа Анненкова сие театральное обыкновение на своих оркестрантов перенесла — и ничего, и оркестранты, слава Богу, перенесли, попривыкли, сердешные, хотя и не без первоначального умственного потужения.

— Дуй-ка шибче, Гранат Топазович!— шумела Анна Ивановна.

— Я есть Смарагд, извиняюсь, Малахитович, сударыня.

— Все равно дуй... Малафеевич.

За тихое дутие виновника направляли в каретный сарай, где кучера — мужики крепкие, с вожжами привыкшие играючи обращаться, — принимали с почтением:

— Ну, Малахитович, сымай штаны. Сколь горячих тебе барыня присудила-отмерила?

В музыкальную залу «капель» вошла гуськом, на цыпочках, в одних чулках, остерегаясь, как бы барыня не у в и д е л а шума. Под сенью лавровых, лимонных и апельсиновых деревьев, росших в кадках, расставили пюпитры с нотами, расселись в определенном порядке — и легкий взмах капельмейстерской палочки обрушил на Анненкову Моцартов «Турецкий марш»; под родную музыку, как всем известно, басурманский фруктаж поспекает куда как быстрее.

Оркестрантов было ровно тринадцать.

— Чертова дюжина!— восхищался иной гость.

— Врешь, судырь. Моя! — отвечала горделиво Анна Ивановна.

А гордиться ей и вправду было чем. Только что появившееся в военных оркестрах семейство духовых саксгорнов (альт, тенор, баритон и бас) немедленно оказались в анненковской «капели». Стоили оные новинки немалых денег. Да в деньгах ли

дело? Барыня богата, а кто богат, тот, известно, и музыку заказывает. Анна же Ивановна обморочно обожала полковые оркестры, их медное сияние и петушье величие тамбурмажоров; потому-то она и не скупилась в средствах на обзаведение дорогими звонкими игрушками — этими атрибутами новой пылкой страсти, затмившей прежние увлечения: водевили, оранжереи с персимонами и совсем недавние сверканье, дым и грохот молодецких пожарных команд, составленных из мужчин серьезных, молодых и красивых, как египетские фараоны.

Анненкова рассуждала так: были бы дудки, а дудошники завсегда сыщутся; раз высечь, два высечь — и любой крепостной холоп затрубит не хуже моцартов и прочих бахусов, а может, и того громче; дело сие — истинно мужицкое, надрывное; дворня к трубадурству словно бы самой природой назначена: вон какие у дворовых людей шшоки да кадыки обширные, и дух за теми шшеками — самый что ни на есть подходящий для духовой музыки, для коей первым и наиглавнейшим качеством есть дюрэтэ, дюрэтэ и ишо раз дюрэтэ⁶⁰; а кто из меломаньев не согласный с дюрэтэ — тот пушай валит к цыганам, это у них водятся слезливые скрыпочки-дрипочки и протчие капризы поганини; а мы сие поганство не держим, у нас музыка крепкая, медная, основательная — вроде бы как хозяйским кулаком по столу! да штоб листочки с дерев посыпались, да штоб за десять кварталов отседа собаки в конуры попрятались, а московская публика исторгнула бы томный вопль из потрясенных грудей: ох, и далеке же слышать капель статской советницы Анненковой!

...Вокруг саксгорнов расположились: медная, вся в затейливых завитках, валторна; две флейты-пикколо из черного и розового дерева; сопрановый кларнет с раструбом из слоновой кости; пасторальный гобой; гнусавый фагот; литавры; турецкий барабан; гигантский контрабас, привезенный из славного итальянского города Кремона. Все. Ровно тринадцать. Можно и начинать барскую игру в прятушки со старостью. «Капель» не подведет — как крапленый туз, верный и у всех на слуху!

Смежив веки, Анна Ивановна с натугою внимала запрительно грохотавшему «Турецкому маршу». И не было странным, что сквозь веки опущенные она все и всех видела — до того

⁶⁰ Франц. dureté — твердость, жесткость, суровость.

кожица тонка стала, как китайский фарфор. Все и всех видела барыня! «Изумруд-то Жемчугович вонючий... ишь как старается... изо всех сил от барабана отбивается. И правильно делает. Кому ж наказание в сладость бывает? Никому... А этот... камень... тоже славно шшочки надувает, старается. А Семка опять слюной на пол цыкает, верблядища этакая...»

— Эй, Семка... который Малахитович! Подь сюды!

Фагот на цыпочках скользнул к барыне.

— Слухаю, матушка.

— Почто шумишь, засранец?— грустно спросила Анна Ивановна.

— Как прикажете-с понимать ваш упрек, матушка?

— Плюешься, спрашиваю, почто? Почто какафонствие из себя испражняешь?— допрашивала барыня, все более накаляясь.— Почто, спрашиваю, гармонию рушишь, чурка ты за.....?

У Семки пересохло во рту — откуда и причинная слюна для плевка взялась, непонятно...

— Поди счас же вытри свою некультурность. И вот это ишо заодно!— Барыня собралась с духом и вlepила Малахитовичу в лицо худосочную харкотинку.

У парня polegчало на душе: «Кажись, пронесло!»

Репетир продолжался. Хозяйка делала замечания. «Капель» старалась угодить хозяйке. Альты отвечали, как и положено, альтами, басы — басами, а барыня — все больше речитативом.

— И где тутa нотачка «соль»? — морщилась она в ответ на сольный пароксизм медной трубы.— Нету тутa «соли». А умильство твое хужей мыла дегтярного... И не шумствуйте, Бога ради! Дольче... Ишо дольче!⁶¹ Оглохнуть от вас можно...

Все тише и тише музицировала «капель». Вошедший в залу дворецкий Модест застал странную, однако же и привычную картину, точнее сцену: музыканты раздували щеки, барыня лорнеткой такты вымахивала, устало умоляла играть потише и все выискивала невесть куда запропастившуюся «соль»— а в зале тем временем стояла гробовая тишина.

Вечером, при съезде гостей, оркестр обходился без фагота: проштрафившегося Семку Малахитовича без штанов, в одной

⁶¹ Муз. термин *dolce* — очень нежно (*итал.*).

бабьей рубахе посадили в опрокинутую на бок бочку — философа Диогена изображать. Такую редкую «дикаряцию» Анна Ивановна видела однажды в подмосковном имении графа Шереметева, правда, там Диоген был гипсовый и философил не в зале, а в саду.

— У меня пушай живой будет,— решила Анненкова.— Этак мы начисто графьёв переплюнем.

Гости, конечно, поражались: одни — античной образованностью статской советницы, другие — антиобразованностью, третьи — нелепостью присутствия в сказочном анненковском дворце древнегреческого мудреца, кой осудил роскошь, развращающую человечество. А четвертые рвались к столам с закусками. Были и пятые, но эти были, как говорится, упивши и ничего не заметили.

Утром в каретном сарае на вонючей попоне лежал Фагот и занимался умственными переживаниями: перебирал в памяти свои вчерашние вины и полуночное форменное судилище, в коем хозяйка в одном лице обвиняла и защищала, казнила и миловала...

«Ты почто это, Малахитович, из бочки злодейский скрип зубами подавал? Какие такие злые чаяния в себе содержишь?»

«Каки таки чаянья, матушка?! Я вить и родился-то нечаянно, и живу нечаянно, и помру-с, наверно, то же самое...»

«Грех тебе языком блягировать⁶², грех. Помрешь ты, Малахитович, очень даже чаянно. А я «Мессией» Генделевой тебя помяну...»

Лежал поротый Фагот и вздрагивал: «Помирать, конешное дело, страшно. Пожить охота. Девку прищучить добрую. Детишков с ней настрогать. Много чего охота... Дак вить и жить таковой музыкальной жизнью... На хрена она нужна?»

Вокруг Фагота переминались сокапельники: Бас, Флейта-пикколо и тамбурмажор Яган Севастьяныч Битховин (в миру— Яшка Быков). Бас рассудительно прикидывал, оглядывая поро того, недвижно лежавшего с закрытыми глазами Фагота.

⁶² Привирать (от *франц.* blaguer).

— Ежели живой, так значит, ишо не совсем помертый,— размышлял Бас.— А не помертый — значит, дышит. А коли дышит — значит, и нас слышит... А раз слышит, то уж наверняка исьти хочет и то же самое про выпить водочки... Ну, а если уж водочкой небрегает — так, видать, и всамделе помер... Такие вот дела, братцы.

— Кто помер-то?— открыл глаза Фагот.— Я помер?! Ха-ха вам, господа оркестрионцы!

— Што ж по сю пору валяешься? — нагнулся к приятелю Битховин.— Может, на сырой земле рюматизм скрутил али ишо какая немецкая болесь привязалась?

Фагот вывернулся на колени, охнул:

— Бляха -муха... Еле живой...

— Но вить живой же!— подтвердил Флейта-пикколо.

— Да я и не сумлевался,— сказал тамбурмажор.— Русские рюматизмом не болеют. Вот и ты, Сема, давай подымайся. Айда загуливать с нами. Барыня, кажись, севоднн снова на армитаж нацелилась, сука старая.

— Убью я ее, братцы,— простонал Семен.

— Заче-е-ем, Семушка?—разом спросили сокапельщики.

А потом, когда уже полным квартетом потянулись к дому, и Бас, и Флейта-пикколо, и тамбурмажор Яган Севастьяныч стали перетолмачивать свой удивительный вопрос каждый по-своему, но во всех их словах была одна генеральная линия: а пуццей живет, глухая тетеря! и дай ей Бог здоровычка ишо на тыщу лет! вить покеда она жива — значит, и мы сыты... В этом есть вся нотачка «соль», неужто не понятно?

16. И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!

Сибирский генерал-губернатор Иван Борисович Пестель предпочитал проживать в столице Империи и наблюдать за положением дел на вверенной территории издали.

— Этак-то, из-за бугра... оно и поспокойнее будет. И объективнее!— говорил близким знакомым и сослуживцам.

Единственный н а к а т Пестеля в Иркутск запомнился надолго, в особенности — гражданскому губернатору Трескину, коему в первый же день было выражено неудовлетворение:

—Николай Иваныч! Голубчик вы мой! Сенат и все петербургское общество только и говорят с огорчительной озабоченностью о том, что улицы в Иркутске находятся в совершенном расстройстве! Кочки, понимаете ли, лужи... в лужах свинина, люди все какие-то оборванные... Кэль рут прандрон-ну⁶³, голубчик?

— Ваше превосходительство!— Трескин прижал ладонь к сердечному месту.— Дайте время...

— Времени нету,— перебил Пестель.— Время, как хорошо всем известно, это деньги.

— Тогда... денег пожалуйста.

— Денег тоже нету. Есть патриотизм. Так вот: разбуджайте оный в сердцах сограждан и поспешайте с поправлением городского пейзажа. Сроку полгода. Проверю лично, голубчик! Кстати, мой дорогой, ну-з-эстимон боку лё патриотисм дю пёплъ!⁶⁴

Вернувшись в свою канцелярию, Трескин вызвал на ковер чиновника по особым поручениям Ивана Савельевича Почекушина.

— Вот что, голубь ты мой! А где у нас те казенные средства, кои на поправление города были назначены?

— А вознеслись! В небеси-с. Фейерверками-с! —жизнерадостно доложил Почекушин.

— Какими такими фейерверками?

— Один был по поводу юбилея блистательной виктории над Оттоманской Портою. Второй — по случаю устройства машкерада с переодеванием в арапов. Третий...

— Даже третий?

— А как же-с! Был и третий. Где ж его не бывает, да еще в таких веселых делах, как именины вашей шибко драгоценной супруги!

— М-да... Веселые дела. Так вот, голубь мой, что я тебе желаю сказать: а пригласи-ка ты в управление нашего полицеймейстера и от лица моей особы озадачь его незамедлительным поправлением городских улиц. Сроку три месяца.

⁶³ По какой дороге мы поедем? (франц.)

⁶⁴ Мы высоко оцениваем патриотизм народа! (франц.)

— Как же-с? Так скоро?

— А вот так же-с! Времени нет, денег нет, разбудайте патриотизм, чувства низших чинов — и с Богом. Проверю лично, голубь мой.

Потом уж Почекушин наказывал полицеймейстеру Павлу Петровичу Непомнящему:

— Вот что, орел ты наш ясновидящий! Построй-ка во фронт всех своих аналогичных птичек да разбуди в них нижние чувства, сиречь патриотизм. Да чтоб чрез три недели, как заповедали нам господин губернатор, весь город был выправлен по веревочке!

«О, Господи Боже!— подумал Непомнящий.—И нашто его будить, этот патриотизм? Его разбудишь... дак он спросонья таких делов наворочает, што упаси и помилуй!» Потом Павел Петрович выстроил, как положено по уставу, когорту приспешников и гаркнул браво и любознательно:

— Здорово, орлы!

— Здра... жла... ваш... бродь!

— Орлы вы у меня аль нет?

— Так точно!

— А нужны ли птицам денюжки?

— Никак нет!

— Вот и я так думаю, орелики. Жалованье ваше, стало быть, я того... стратил. По велению сердца. На нужды любезных сограждан. Теперича ваша очередь жертвовать со строгой, конешно, добровольностью. В три дня — ни есть, ни спать, а навести городской порядок, все выровнять, причесать под линейку. Штоб не хуже было, чем на кладбище! И — никаких гвоздей!

...Желтый дом, желтый державный орел двухголовый, желтые шнуры и пуговицы, желтая кружка, желтый графин, желтые лица... Этот цвет очень украшал полицейскую контору!

«А што прикажете делать? Каким маневром выкручиваться, коли начальство за жабрыхватило железной хваткою?» — думал полицеймейстер, направляясь в тюремный замок, за речку Ушаковку.

Коляска тащилась по грязи, переваливаясь, увязая по ступицы, выдавливая на обочины густо замешенные жирные

лепехи. И пара гнедых — позабывшие себя рысаки — уже не форсили, уже не косили фиолетовым глазом на то и дело взмелькивающий кнут, не обращали чуткого уха к разбойному кучерскому посвисту. И хоть было в этой вязкой натуре на что златься, браниться, плевать, однако вкупе и совершенно естественным образом окружающий пейзаж напоминал Павлу Петровичу былую дремотную тишину старого губернского города с его сытым благочинием, сонным послеобеденным иканием, размеренностью, строгостью нравов и, следовательно, с должным порядком: всему свое место и время. Да и само время, казалось, лишь до определенных пор шло в нерысистой упряжке. Старое доброе время! От Рождества к Пасхе и Благовещенью, потом к Николе-чудотворцу, к Ильину дню. В августе — Успенье, за ним — Покров, а там и до нового Рождества рукой подать. Все спокойно, гладко, дедами заведено. И нашто лошадей напонуживать. нахлестывать? Великой империи, как считал Павел Петрович, подобает медленная езда. Медленная — следовательно, величавая, а коли величавая — значит, верная.

В древних полицейских анналах местного производства, заляпанных сургучом, воском, чернилами и кашей, Павел Петрович читывал о предприятии, которое учинила однажды благословенная дочь Петрова — императрица Елизавета. Взойдя на престол, она отправила на Камчатку штаб-фурьера Шахтурова, дабы тот привез к ней в услужение тамошних пригожих девок. Императрицын посланник только через шесть лет (!) достиг на обратном пути Иркутска, а до столицы же оставалось еще шесть тысяч верст. Долог сей путь, так что ж с того? Долго — и слава Богу, лошади и девки целее будут. А годом раньше, годом позже — в этом ли счастье? Был бы факт налицо!

Будь на то воля Павла Петровича, он вообще запретил бы всякое движение: улошный людоход, смену времен года, полет мысли. И буде так — уж тогда неоткуда было бы взяться дерзким прожекам, волнениям нервическим, вредным направлениям умов, разным якобинствам и прочим французским штучкам. Последние вольности Павел Петрович бранил особенно ревностно. Он частенько называл отечественных бродяжек «шерамыжниками», производя сие наименование от слов «шерами» (дорогой друг), с коими бывшие наполеоновские гренадеры шлялись по России и предлагали свои услуги в

качестве гувернеров, учителей новомодных танцев и французского языка. Справедливости ради отметим, что сами люди редко вызывали в Павле Петровиче желание хватать и не пущать; ненавистными для него были идеи, хотя и допускалось при этом, что творцы идей могли быть личностями вполне симпатичными; идеи же разрушают раз и навсегда установленный порядок, что было опасным и прежде, и ныне, на шестнадцатом году девятнадцатого столетия.

В появлении причин своего беспокойства Павел Петрович молчаливо винил и Пестеля, и Трескина, и побочное чиновничество, чьи, как казалось ему, несуразные и случайные прихоти выводили полицейскую службу из равновесия. Речь, конечно же, шла о благоустройстве города. Хлопоты эти, впрочем, начались еще лет семь назад, с указа Александра Первого, гласившего о постройке домов по строжайше утвержденным стандартам... Медленно, тихой ступою, сообразно с великими верстами империи подвигался этот указ встречу солнцу, а вместе с ним двигалась и исполнительская телега, и когда сия скрипучая колесница достигла прибайкальской глухмени — прошли годы и годы. Но ведь достигла же! А раз так, значит, серенькое стадо сгрудившихся в беспорядке городских построек незамедлительно нуждалось в ранжировке — под линейку, по ниточке, чтоб ни-ни, чтоб улицы стали пронзительными и стремительными, как свист бича.

Ну, ладно! Поставили тогда вешки. Домовладельцам объявили под роспись о том, чтобы они к указанному сроку перестроили свои владения и заборы согласно новой планировке.

Обыватели ослабились:

— Эва как приспичило! Поди-кося, перестрой, ежели полдома будет тут, а полдома — тама, за ниточкой! Рази што располовинить наскрозь, а?

— Не вякай, сосед. У меня и вовсе хуже. Я вот со своей законной супругой вроде как на одной кровати почиваю, а по ихнему земельному плану выходит — вроде как на разных улицах. Как сие понимать?

— А так и понимамай, старый мерин, што мы с тобой беспрерменно махнутья должны: я тебе — полдома, а ты мне — бабу свою.

— Накося-выкуси, милостивый государь!

Смех и грех! Впрочем, имелось еще и обыкновенное равнодушие: мол, пошумят градоправители да и стихнут, мало ли чего можно на бумагах изображать? она все стерпит, на то она и бумага...

И даже полицеймейстер—первый в городе блюститель законности — ни на миг не озаботился, когда обнаружил, что его новая, недавно выстроенная хоромина оказалась сажени на три выступающей за линию соседних домов. А пущай стоит! Клеть домовая из лиственничных кряжей срублена, бревна стругом выправлены одно к одному, кровельная дранка, словно пенка кружавчатая, нащипана. Не изба — избушечка, игрушечка. К божьему храму передом расположилась, к полицейскому участку— задом. Все чин-чином. Пущай стоит!

И поправление города двигалось черепашкой.

А с полицеймейстера спрос особый.

—Нарушений установлений не потерплю!— с суховатой жесточью в голосе объявил нынче Трескин.— Тем паче бездействия полицейских властей.

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство,— робко произнес Павел Петрович,— владельцы означенных вешками городских строений супротивничают установлений и выкобениваются. Яко якобинцы.

Губернатор шутки не принял:

— Неглубоко каламбурите, сударь. При чем тута французская революция?

— Да вот, изволите видеть... владельцы означенных...

— А вы без них обойдитесь, без владельцев.

— Слушаюсь. Каким манером прикажете?

— Послушайте, Павел Петрович,— проникновенно сказал Трескин, оглаживая сибирского кота на коленях,— для какой надобности у вас на плечах голова устроена? И есть ли она в наличности как таковая?

— Есть, ваше превосходительство. Так точно!

—Что значит есть? Есть в смысле имеется? Или есть в смысле кушать?

— И кушать тоже.

— Да-с,— протянул губернатор. — И еще в свисток свистеть, если не ошибаюсь. Однако, доложу я вам, окромя всего прочего головой еще и думать надобно, милостивый государь! Вот вы и думайте, как выправлять город.

«Учат всё! Уже и башка помешала,— с обидой подумал Павел Петрович, и голова его инстинктивно юркнула в плечи, как гвоздик под точным ударом — по самую шляпку.— Вона, у ихнего Барсика небось времени прорва, так и учили бы его мышшей ловить али бумаги лапой подписывать. А у меня того времени нету. Три дня сроку, гляди-ка ты...» Полицеймейстер метнул на кота сердитый взгляд из-под бровей; кот растопырился, зашипел, спину коромыслом выгнул, подлец этакий.

— Ступайте вон, любезнейший,— сказал Трескин.— Вы мучаете мою мигрень своим несообразительным образованием. И не стыдно вам? Вон, глядите, даже домашняя животная начинает дичать в вашем присутствии. Ступайте же да помните: два дня — и никаких гвоздей!

Охнул полицеймейстер, а что делать? Где изыскать толковых работников, чтобы в столь короткий срок улицы выправить, домишки причесать топорами и пилами? Околотошные, городовые, становые приставы? Обалдуи все, плотницкого инструмента нюхом не нюхали, только жрать да свистать горазды...

И тогда Павел Петрович вспомнил Гущу, которого пару лет назад самолично препровождал к мастеру заплечных дел для лобного клеймения позорным словом «ВОРЪ». Гуща подсобит! Гуща все может! Только где он сейчас, этот Гуща? Дай Господь, чтобы вор снова попался на лихом промысле: башку кому проломил, что ли... а еще приятней, коли уже в сей момент обтирает бока в застенке.

И поскакал полицеймейстер за речку Ушаковку, в тюремный замок: вора искать.

...Гнусно лязгнула пружина — и тяжелая сырая дверь, обитая листовой медью, чавкнула взახлеб, как будто тюремная камера торопилась всосать в себя побольше свеженького воздуха.

— Эй, который тута Гуща? Подымайсь!

Надзиратель посторонился, уступая дорогу полицеймейстеру, и кивнул в полутемный угол:

— Не сей ли шкилет, ваше высокородие?

Шкилет сидел на корточках, дико вращал глазами и тренькал пальцами по выпирающим ребрам.

— В балалаечку играет, сволота...

Полицеймейстер прищурился, потом, подойдя, ловко ухватил арестанта за чуприну и оголил лоб, на котором мясистыми рубчиками так и высветилось багрово: **ВОРЪ**.

— Гуща! — умиленно протянул Павел Петрович. — Гущенька! Ну, здравствуй, мой миленький! — И с оттяжкой вытянул камерника по зубам — от великой своей радости и полного чувства.

— Ой,— сказал Гуща равнодушно, скорее по привычке, нежели от боли.

— Гляди-кося, заговорил! — подивился надзиратель. — А то вить ровно неделю сидит, язык проглотимши. Я уж думал — всамделе полудурок...

— Ступай, ступай, — перебил его полицеймейстер. — Да дверь потуже затвори, покудова я со своим стародавним конфи-дентом буду приятные разговоры разговаривать. Цыть отседа!

Надзиратель растворился в коридорной темени. Гуща же тоскливо подумал о том, что знакомое ему ихнее благородие Павел Петрович и сюда, за семь запоров до него добрался и, стало быть, не миновать за украденную корову рваных ноздрей или еще какого-либо дранья. А полицеймейстер между тем вззрился на Гущу. Глядел если и не так, как баран на новые ворота, то, скажем, как пастух на нового барана — это уж наверняка: вот он, спаситель! здоровенный мужичина лет сорока, каждый кулачище — с голову, а голова — господи Иисусе! — хоть поросят об лоб бей,— что, кстати, и проделывал Гуща не единожды на потребу охочей до потехи и озорства базарной публики.

— Похудел ты, Гущенька,— посочувствовал Павел Петрович.

— Дак вить кормля-то какова? Шибко худая.

— А место проживания каково? Не задувает ли? Не текёт ли в смысле гигиены.

— В смысле гигиены, конечно, не фатерия. Но жить можно.

— Ладно, милоч, садись рядком, поговорим ладком...

Сели, поговорили.

А распрощались — чуть ли не по-родственному, в охапочку.

— Ну, гляди, Гуща, — кинул напоследок Павел Петрович, — уж ты для меня расстарайся, паренек, а я отблагодарствую. За мной, ты знаешь, никогда дело не скиснет.

— Знамо дело, ваше благородие, не скиснет. Спасибочко за визиту.

— Э-э, спасибочко в чарку не нальешь. Так што, прощевай до завтрава.

...Гуща не подвел. Едва затеплился первый солнечный луч, едва принялся он росинки перебирать и припекать вершины окрестных сопок аппетитной яблочно-розовой корочкой, — Гуща выстроил для смотра на Сенном базаре свою команду. Сам он был в преотличном расположении духа, рубаха в распояску, на щеках рыжая хвойка, в которой уж начали забраживать лохмотки кислой капусты, омоченные спиртом-сырцом. Гуща весело покрикивал, задавал работничкам инструкцию, преподанную накануне от полицеймейстера

— И штоб никаких гвоздей, ребяташки! Тока пилы и топоры в нашем деле гожие! Да ишо этот... как его... перпендикуль. Понятно, голожопики?

— Забигаешь, начальник! — загомонили арестанты, бродяги, базарные шалтай-болтаи. — Мы этак не подряжались, с кулем-то!

— Сие свинец, глупые, — пояснил Гуща. — Висит на снурке с верху до низу и кажет сколь чего и откеда лишнего отрубать. А кто из вас кривоту допустит, того господин полицеймейстер, благодетель наш, самого повесит вниз башкой заместо перпендикуля.

— За што?

— За энто самое, — ответил Гуща и показал, за что именно.

Грохнули подъелдычники Гущины дружелюбным гоготом, проняло их от такой задушевности:

— Приманчиво! Дак вить и мы сами с усами! Все как един: ребята-ежики, аасапжны ножики! Айда, начальник! Да грузило свое свинешное не забудь.

Приступили к благоустройству с Тихвинской улицы, с дома мещанина Останина, возле которого уже прогуливались две квартальные «держиморды» с безразличными физиономиями, как бы случайно забредшие, а на самом-то деле им было приказано в случае надобности свистками и прочими решительными мерами ограждать Гущину команду от домовладельцев и их звероподобных кобелей.

Мигом оцепили избу. На крышу взгромоздились.

— Сколь отрубаем, господин Гуща?

— Счас вычислю... Кажись, по перпендикулю будет две сажени с четвертью. Вали, ребяташки!

— Ну, ломать не строить, пупок не развяжется. Помози, мати-владычица!

И первый топор с хрустом впился в деревянное узорочье.

...К полудню, когда Гущина команда уже далеко позади оставила выправленный дом Останина, на полицейской двуколке привезли еду, выпивку и закуску уважительную — пироги с зайчатинной и луком.

И сам Павел Петрович пожаловал.

— Каково, — спросил, — справляетесь, господа разбойнички?

— По перпендикулю, — небрежно отвечивал Гуща. — И никаких гвоздей, ваше благородие, в наличности не предвидится.

— Вижу. Ну, а шерамыжники твои... откудова такие изысканные?

— Отовсюду, — воскликнул Гуща с горделивостью. — И все, как один, таланы! Тока што не обучены ишо. Да вы не сумлевайтесь, к вечеру наловчатся.

— К завтраму уложите?

— Обижаете, ваше благородие!

— Ну, коли так, валяйте, соколики! Отседа — и до утра.

Павел Петрович остался весьма доволен. «Полицию с постов надобно снять, — подумал он, — дабы Гущиных молодцов понапрасну не смущать. И можно спать спокойно!»

Так и сделал — и спокойно спал в ту ночь. А в сновидениях весело вжикали пилы, тюкали топоры, ухали ломы, корчились в пыли все обидчики с Трескиным во главе; и французские якобинцы дружно топали на Кудыкину гору, за Ушаковку, где паслись

отечественные Макары; а государь-батюшка цеплял к мундиру Павла Петровича орден святой Анны с присовокуплением монархического поцелуя и наградных червонцев; и столичные актеры ангельскими голосами распевали: «Мы ребята-ежики...», посыпали полицеймейстера розами, и сие шаловство было весьма почетно и щекотно; Павел Петрович, желая произнестъ «браво», набрал в грудь побольше воздуха, сразу три-четыре порции, и вдруг гавкнул совершенно по-собачьи: «Брр-ав!». И — проснулся.

Лицо его было усыпано опилками, сеявшимися сверху, из огромной дыры в потолке, а в дыре той виднелись: утреннее, туго взбитое облачко и Гущина розовая рожа.

Ахнул Павел Петрович. Вылетел вмиг на улицу в самом что ни на есть преисподнем обмундировании.

— Ворррр! За-по-рр-рю-ю!

И захрипел, голоса лишившись. А на казенном его лице пузырились обесцвеченные ужасом глаза.

«О, Господи, Господи! Заставь дурака богу молиться...»

Гуща, наблюдая, как полицеймейстер изо всех сил удерживает ладонями сердце, намеренное выскочить наружу,— перекрестился:

— Никак отсвистелся, родимый...

К исходу дня губернатор Трескин принял оклемавшегося полицеймейстера для доклада и похвалил за расторопность и находчивость.

— А этот... как его?

— Вор Гуща! — отчеканил Павел Петрович.

— Да, да, именно Гуща. Какая славная русская кличка. Патриот. Отблагодарить немедля! Надежный человек не может быть вором!

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

...Вдребезги пьяного Гущу почтительно вывели из камеры, сопроводили в подвал и аккуратно расположили на «кобыле». Рот заткнули тряпкою, чтоб тишину соблюдал и кадыком не шибко дергал. Потом полицеймейстер ласково погладил Гущу по голове, откинув чуприну на сторону,— и в тот же миг тюремный палач шмякнул по гущинуму лбу раскаленной железной бляхой.

Дико взвыл Гуца, сладко запахло паленым мясом. Павел Петрович отступил на шаг от «кобылы» и удовлетворенно вытер о штаны взопревшие ладони.

— Вот и все, Гущенька! Спасибо тебе, друг сердешный. А за мной, как видишь, дело не скисло...

На лбу «градопоправителя» вскипело: **НЕ ВОРЪ.**

— Да быть такого не может! — воскликнет неискушенный читатель. — Уж слишком все это глупо, чтобы так было на самом деле.

Почему же не может? Именно так все и было. На исходе XVIII века петербургский обер-полицеймейстер Татищев предложил выжигать перед воровским клеймом безвинно пострадавших людей отрицательную частицу «НЕ» — как знак оправдания, извинения и полной благонадежности человека, ставшего жертвою судебной ошибки. Учитывая огромные расстояния и медленные скорости, вполне допустимо, что столичное новшество докатилось до Иркутска с некоторым опозданием. А что (в согласии с мнением Павла Петровича) годом раньше, годом позже — в этом ли счастье? Важен факт налицо. Вот так-то, милостивые государи мои...

17. ПОСЛЕДНИЙ КЛОПШТОСС

В столицу писали, писали... И слезы, и угрозы, и моления в писчебумажном изобилии обрушивала губерния на головы Пестеля и Трескина. Глухо!

Первым, кто не вынес сего молчания, был мещанин Саломатов: в лето 1818-е он тайно плюнул через левое плечо и, уподобясь беглому каторжнику, стал медленно, но верно подвигаться к Петербургу — скрытно, под чужим именем, минуя многочисленные заставы.

Печальный пример прошлого витал над таковыми саломатовскими предосторожностями. Некто, чье имя кануло в безвестность, однажды совершил дерзкую попытку с жалобным прошением пробиться в столицу открытым путем, на казенных лошадях; так сего «некту» по распоряжению бдительных властей ямская служба полтора года кружила-мотала по Сибири, по

большому кругу от Иркутска до Тобольска, не давая жалобщику ни роздыху на ямских и почтовых станциях, ни возможности поспать в доме и сменить бельишко, а также пожрать по-человечески чего-либо горяченького: молниеносно, точно для правительственного курьера, сменялись лошади и — вперед, вперед, жалобщик! хошь ехать — ехай, мы тебе в оном деле поспешествуем и вспомоществуем, сукин ты сын! — так и носился «некто», как белка в колесе, на ходу орошая мочой сибирские невозмутимые пространства; вроде бы день и ночь в пути, в скором движении — а ни хрена от Иркутска не оторвался; так и носился страдалец — покуда ему не сказали: «Вылазь, судырь, кажись приехали!»; лошади остановились, а «некто», наоборот, тронулся — умом, на этот раз бесповоротно и окончательно, потому как не Петербург узрел воспаленными глазами, а иркутскую заставу и полицеймейстера Павла Петровича, заботливо принявшего на руки долгого вояжера...

Как уж там у Саломатова вышло в столице — неведомо, но факт налицо: иркутский мещанин удостоился высочайшей аудиенции, во время которой огорчил Александра Первого жалобой на местных тиранов.

Государь опечалился:

— Кажется, до последних пределов зарвались Иван Борисович с Николаем Ивановичем... Что ж, пора, видно, переменять власти. Долгое сидение на воеводстве человека смущает.

Осенью Кабинет министров постановил сместить Пестеля, расследовать его «козни», если таковые обнаружатся, а попутно провести полную ревизию деятельности губернских властей.

Император призвал графа Сперанского:

— С Богом, Михал Михалыч! И не либеральничайте там!

— Как вас следует понимать, Ваше величество?

— На месте разберетесь.

Сперанский вышел, в задумчивости пальцы загибая: во-первых, десять лет назад он был ближайшим советником Александра Павловича; во-вторых, восемь лет назад он составил план либеральных преобразований в России и сделался инициатором создания Государственного Совета при монархе; в-третьих, шесть лет назад его выперли в ссылку; в-четвертых, два года назад он был освобожден от наказания и вытребован в столицу; в-пятых, чему же теперь верить и что ожидать в будущем? Великое или

малое? Грустное или смешное? А великое смешным бывает. А малое — грустным. Так что же? Пальцы на одной руке кончились, надо другую готовить, а потом, может статься, и сапог с ноги стаскивать при таком дуализме жизни...

Тем временем в Иркутске многим казалось: вот-вот, еще совсем немного — и жизнь перевернется на другой бочок, к лучшему переломится!

Вернувшийся из столицы Саломатов ходил по городу гоголем и триумфально распевал в дружеском кружке новейшие пушкинские строки из послания к Чаадаеву:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья...

— Вот оно, новое, оптимистическое понимание счастья! — восклицал Игумнов. — Это вам, господа, не гипохондрическая ода старика Державина!

Сын Сибирякова, Ксенофонт Михайлович, — кровно обижался:

— Гаврилу Романыча не трожьте! Святой человек. За бабюшку покойного и за нас, оставшихся, немало хлопот принял наш сочинитель пред власти предержажими. Да и к Пестелю с Трескиным не иначе как он руку приложил. Имейте совесть благодарственную, почтенные земляки!

В защитительном запале не сразу и сообразил Ксенофонт Михайлович, что Державин уж два года как богу душу отдал, но если б даже и сообразил, то все равно утверждал бы с горячностью, что Гаврила Романович — и пиит хоть куда! и досто­славный оборонитель интересов иркутских граждан! и... где теперь Трескин? нету теперь Трескина! вот видите, господа!

Дабы от пушкинских сочинений о счастье не умалился авторитет Державина, Ксенофонт Михайлович решил «обога­тить» знаменитый портрет стихотворца.

— Да ты што, любезный? — понеслись критики. — Портрет, чай, не икона, в новых окладах не нуждается.

— А я не оклад закажу. Я внутре... подрисую.

Сказано — сделано: по эскизу прославленного петербургского рисовальщика, «русского Рафаэля» с калмыцкими скулами, Алексея Егоровича Егорова местные живописцы изобразили над головой Державина крылатого гения, дудящего в трубу, из

которой морозно выпаривалась трогательная эпиталама: «Дай Бог побольше таких». Полотно поместили в особой, так называемой «державинской» комнате — в новом, выстроенном для Сибирякова доме на берегу Ангары, в приходе Харлампия...

Сибиряковским гостям поправленный портрет пришелся по вкусу. Лишь один Почекушин, пятидесятилетний чиновник по особым поручениям при гражданском губернаторе Трескине, — пробовал возражать.

— Отстаеете, — говорил, — от жизни, Ксенофонт Михайлыч. Что такое Державин? Древность седая. Вот почему я и резюмирую для вас: нашто в современном здании ⁶⁵ этикие анахренизмы помещаеете?

Сибиряков хмурился, сдерживал желание закатить оплеушину Почекушину, да так и не закатил: и положение не позволяло, и древние правила гостеприимства воспротивлялись рукоприкладству.

Через полгода в Иркутск для ревизии местных дел прикатил граф Михаил Михайлович Сперанский.

Чиновничество представлялось ревизору чередой.

Дошла очередь и до Ивана Савельича Почекушина.

Этот день мы назовем «Днем Принесения Даров»...

Итак, резиденция Трескина. В кабинете — граф Сперанский сидит за столом и перебирает бумаги. Рядом с ним — Почекушин, перебирает ногами, а на устах у него грустная улыбка.

Сперанский (*устало*). Из оных документаций, вами составленных еще четырнадцать лет назад, следует (*читает*)... Посольство графа Головкина, имеющее быть отправленным в Китай в настоящем 1805 году, не было допущено в Пекин, и посему драгоценные подарки, кои предназначались богдыхану в подношение, были вследствие сего запрета определены к свободной продаже частным лицам в Иркутске, дабы не отправлять их обратно в Петербург, что накладно и расточительно... Так?

Почекушин (*радостно*). Точно так, ваше сиятельство! Так все и было. А что касемо до странных и незаконных деяний с

⁶⁵ В здании бывшей Михайло-Архангельской (Харлампиевской) церкви ныне размещается архив Цаучной библиотеки ИГУ.

моей стороны — так то суть чистые клеветы злоумышленника Игумнова. Чистые клеветы и грязный оговор (*всхлипывает*). Видите, я уже плачу, а оно мне надо?

Сперанский. Иван Савельич, не побрезгуйте, поддержите себя в руках. Еще один вопрос: каковым образом посольские ковры числом две штуки оказались в вашем доме без оплаченных квитанций, без купчих бумаг?

Почекушин (*с пафосом*). Каюсь, отец родной! Сызмалу имею тягу к иностранным делам, вот и того-с...

Сперанский (*перебивает*). Утянул!

Почекушин (*смущенно*). Из агромадного титанического и гомерического интересу... Но чтоб иное прочее — ни боже мой! Зато, осмелюсь доложить, купец Медведников, Прокофий Федорович, множество лет сряду бывший градским главою, от той посольской распродажи хапнул неизмеримо титанически. Негодяй такой! Выстроил двухэтажный домище без окон без дверей, суций пакгауз, в коем хранит (*шепотом*) ломбардные билеты на семь миллионов рублей. А сам, Ваше сиятельство, ходит засален, точно куфарка, грязен и небрит. И к тому же еще имеет старинную серебряную кружку из нашего музеума, из которой в день своих именин угощает почетных гостей мадерцей с облепихою. Мадера — дрянь-с.

Сперанский (*машет рукой*). Довольно, довольно, Иван Савельич! Хватит! Перейдемте к новому сюжету.

Почекушин (*с интересом*). Понимаю. Слушаюсь. Мы хоть сейчас же перейти готовы-с. Только... к кому-с?

Сперанский (*морщась*). Поймите правильно, Иван Савельич, вопрос весьма щекотливый...

Почекушин (*с готовностью*). Мы чикотки не боимся, Ваше сиятельство, и завсегда... ежели для пользы отечества... (*прижимает руки к груди*) черезвычайно и неукоснительно рады служить... кому и сколь и даже без расписок...

Сперанский (*перебивает*). Вы меня не так поняли. Я единственно желал бы иметь ответ на вопрос: Трескин и... (*Почекушин замер*) и золото с горных приисков. Как вы находите сию взаимосвязь?

Почекушин (*помедлив*). Могу засвидетельствовать ниже и выше упомянутое, собственноручно подписуясь, Ваше сия-

тельство. Николай Иваныч — золотой человек! Статский генерал! Действительный статский советник!! Его превосходительство!!! Орденский кавалер!!!! Отец, можно сказать, родной эт сэтэра... Не могу более выразить, слезы душат от умильства благодарности. А... что такое?

Сперанский *(с любопытством)*. А вот в Петербурге, милостивый государь, стало известно, что Николай Иванович малость пошаливает, с золотопромышленников взятки берет. Истинны ли сии информации?

Почекушин *(с надрывом)*. Это было, святой истинный крест, было! *(Крестится.)* Да и как же не быть сему нюансу? *(Загибает пальцы.)* Генерал—без войска. Советник — без советов. Превосходительство — а кого тута превосходить? Все одним миром мазаны, сволочи. А что кавалер, так все больше до дамского полу балансы выкидывал. Что сказать? Снаружи персоны Николаи Иванычи будут вроде как и отец родной, а отцы-то, Ваше сиятельство, очень даже разнообразные водятся! Тут у меня противуречия нету. А ежели с обратной стороны в рассуждении Николая Иваныча посмотреть — так, пардон, разной подлючести в ём имеется чрезвычайно невозможное количество. Одним словом, подлец и мошенник, каких свет не видывал!

Сперанский *(нервно рассмеявшись)*. Ступайте вон...

Почекушин *(с достоинством)*. Засим честь имею, Ваше сиятельство...

Сперанский *(гневно)*. Пошел прочь! *(Почекушин уходит, Сперанский долго и брезгливо глядит ему вслед.)* Дурак? Не-е-ет! Этот не дурак. Этот собаку съел на ревизорах, а надо будет, так и собственные зубы сгрызет, в порошок искрошит, а своего добьется...

По окончании расследования, в коем выявились вопиющие казнокрадство, вымогательство, шантаж, самоуправство и попутные им явления, сродни евангельскому чуду превращения воды в вино,— Пестель был окончательно отстранен от исправления должности, Трескин тоже загремел, с одной лишь разницей от Пестеля, что с последующей отдачей под суд. Сперанский, ставший новым главой сибирской администрации, проводил предшественников грубо и нелицеприятно:

— Эх вы, ваши превосходительства! Так вы ничего и не поняли, ничему не выучились, не вывели уроков из происшедшего. И сим невежеством вы чрезвычайно похожи на французских Бурбонов. Прощайте, господа, и не попадайтесь мне более на дороге.

Вечером Михаил Михайлович засел за письмо в Петербург к дочери...

«Завожу здесь,— писал он,— еженедельные собрания, ибо мне нужны точки соединения местного общества, нужно снять оковы прежнего сурового и угрюмого правительства. Едва верят здешние жители, что они имеют некоторую степень свободы и могут без спроса и дозволения собираться, танцевать или ничего не делать. И ведь не глупые люди есть, а вот покорились дуракам, и бедствие сие стойким будет, покуда непоправимым дуракам закон не писан... Приезжай повидаться, милая!»

Не успела дочка. Пока собиралась да примерялась — а отец уж и сам в Петербург прикатил, всего годик посидев на Сибирском генерал-губернаторстве.

Загибания пальцев Михаила Михайловича продолжались...

Почекушин же остался нерушимым! Правда, до большой золотой медали на аннинской ленте с надписью «За усердие» ему было столь же далеко, как и в начале чиновничьей карьеры.

— Утешаюсь тем,— утверждал Иван Савельич,— что по крайней мере совесть осталась незамаратая.

— Куда уж ей замараться,— присовокупляли сослуживцы,— коли в употреблении ни разу не была. Неприкосновенный запас.

— Да?— вспыхивал Почекушин.— А что за ревность по службе пострадавши был — это как?

— Это было, спору нет,— соглашались коллеги и увлеченно рассказывали интересующимся, кто сколько раз по службе в морду получал; у всех получалось изрядно, и лишь у одного Ивана Савельича с этим делом нечасто было — один раз, да и то давненько: лет пятнадцать назад появился в Иркутск некий бородатый татуированный граф Федор Иванович Толстой, следовавший из Америки в Москву по собственной надобности.

— Где тут у вас генерал-губернатор ошивается? — рявкнул граф-оборванец, адресуясь к Почекушину.

— В присутствии отсутствуют,— отвечал Иван Савельич, брезгливо принохиваясь.— Што передать ихнему превосходительству?

— А передай ему, балда, три рубля, кои я ему в карты задолжал года четыре назад,— ответил Толстой и примочил Почекушина по физиономии всей пятерней.

Иван Савельич хотел было добиваться сатисфакции, но когда граф с радостью согласился на поединок — Почекушин запросил отступного, униженно ползал на коленях перед оскорбителем и щеки подставлял: на, дескать, пользуйся, ваше графское сиятельство, отводи душу сколь желаешь, не жалко...

— У их принцип такой, у графьёв: чуть што — сразу бить! — объяснял Иван Савельич ситуацию Фелицитате Даниловне и разводил фаталистически руками: что, мол, поделаешь супротив такой социальной несправедливости? А от того разведения рук почекушинская ночная рубаха из китайского шёлка трещала не хуже американского электрического громоотвода, озаряла спальню голубыми молоньями, приводившими Фелицитату Даниловну в состояние молитвенно-эротического экстаза.— Такие вот принципы... А оно мне надо?

Как-то между прочим помер тесть Почекушина — Нил Гаврилыч Карягин; наконец-то. До самого своего факта кончины он удивлялся: а с чего это у него руки такие длинные стали, что впору на четырех ходилках по дому передвигаться. А все просто объяснялось: сгорбатился Нил Гаврилыч, лицом в землю потянулся — оттого и вислые руки до колен продолжились... Помер на мясоед⁶⁶, после Петровского поста. Что-что, а уж посты Карягин соблюдал. Не так, как иные монахи, что в посты лицемерствуют: «А ну, поросся, оборотись-ка в рыбу карася!» Нет, Нил Гаврилыч скоромного в такие дни даже во снах не вкушал, рассчитывая откормиться в мясоеды. Да на беду свою, по болезни живота, пропустил старец несколько мясоедов подряд, говядинки-поросятинки не трескал. А после нынешнего Петровского поста вдруг решился все разом наверстать — и за прошлые пропавшие мясоеды, да и наперед! Налупился варенья да

⁶⁶ Время, когда православная церковь разрешает употреблять мясную пищу.

жаренья сохатиного—и околел в одночасье в страшном удивлении.

Втайне от домашних Иван Савельич складировал покойника под кровать, а сам наверх, на его место поместился, замотав морду полотенцами, обильно смоченными уксусом для отшиба подкроватиого тления. Приглашенный к тому часу приходский священник отец Василий, морщась с перепою и от тяжелого покойницкого духа, изрядно опохмелился за предстоящий упокой, причастил «помирающего купца Карягина» и под диктовку представляющегося Почекушина изобразил на бумажке якобы духовное завещание: находясь-де покуда в здравом рассудке, я, Карягин Нил Гаврилович, во имя Отца и Сына и Святаго Духа оставляю всю свою движимость и недвижимость, и все наличные капиталы дорогому зятю, губернскому секретарю господину Почекушину, пребывающему нонче в огорчительной отлучке по государственной причине; дочь же Лизавета Ниловна и жена-поскакушка Фелицитата Даниловна пушай на мое добро даже не зырятыся; а бесподобному отцу Василию за составление сей завещательной бумаги ссужаю 200 рублей серебром, так что отбываю в царствие Божье со спокойной душой, а всем остающимся — с амином адью... Отец Василий так ничего и не сообразил!

Фелицитата Даниловна печалилась недолго, да и то за ради обычая. Она к тому времени окончательно оттеснила зятя от Лизаветы. И стал Иван Савельич полным хозяином в доме—важным и холоднокровным, как собачий нос. И только Лизавета продолжала маяться.

—По какому вопросу рыдаем и иконам кланяемся?— интересовался Иван Савельич.

— Тошно мне штой-то,— вздыхала Лизавета, вечно сонная, апатическая, спереди пирог, сзади каравай.— Уйду я в монастырь, Ваня, на сухую корочку... Веревицей подпояшусь...

— Давай, давай,— отвечал Почекушин.— Валяй в мужеский монастырь, тама тебя нарасхват исповедают.

— Почто ехиды строишь жене в законе?

—А по то самое! Тута, понимаешь, скоро война с китайцами намечается... Пожар недавно случился... Землетрясение вокруг Байкала... А ей в мужеский монастырь приспичило, любодейке! Веревицей она подпояшется... А оно мне надо? Вот

гляжу я на тебя — и одно мясо вижу, и никакого конформизму промеж нас не наблюдаю. Не стыдно тебе?

— Да ты што, Иван Савельич? Жрать, небось, хочешь?

— А ты как думала?

— Господи, дак ты бы сразу так и сказал! А то — война, пожар, китайцы какие-то, земли трясение... Сочинитель ты, Иван Савельич, и больше ничего. Стихоплет дурацкий. Куды уж нам до тебя дотянуться? Мы в таких ваших высоких музах и пегасах не искушенные...

— А давай укушу! — взбодрился Почекушин и уходил на половину Фелицитаты Даниловны сочинять оду на сошествие Сперанского и утверждение в Иркутской губернии полюбовного конформизма. Широкоповсеместного. Высокоразвитого. Глубокопатриотического. На страх китайским богдыханам и прочим вечным жидам...

Когда генерал-губернатор Иван Борисович Пестель зашатался, Почекушин привел в действие свою обкатанную «бочку с медом»: стибрил компрометирующий Пестеля документ и передал критиканту Игумнову: вот-де каков я, радетель пользы государственной и отчаянный демократ! А заодно донес Пестелю на Игумнова: вот-де кто именно, ваше превосходительство, устои державные раскачивает, в кружки собирается — одни зарубежные шпиёны, пардон, и спинозы.

— Вот это будет клопштосс-с-с! — присвистывал Почекушин, именуя свой поведенческий зигзаг названием особого бильярдного удара.

Прошло время. Сперанский приехал и уехал. И вскоре после его отъезда случилось нечто неожиданное для Ивана Савельича.

Блюстители порядка шерстили игумновский кружок, и члены того кружка ненароком упомянули некоего чиновника по особым поручениям, который якобы частенько заглядывал на кружковские собрания.

— Это кто же такой будет? — спросил полицеймейстер Павел Петрович Непомнящий у Почекушина, приглашенного в участок как свидетеля и разоблачителя игумновских каверз.

— Это? Знаю я и эту шваль⁶⁷, — с готовностью отозвался Иван Савельич — и тут же, не сходя с места, в припадке разоблачительного вдохновения накатал донос... на самого себя: есть-де такой Почекушин, этакий-сякой-немазанный-сухой... я-де его, сего мракобесного демократа, пиита и конформиста давно наблюдаю...

Павел Петрович обалденно молчал: такого он еще не видывалл.

...Так незаметно раздвоился Иван Савельич в правоохранительных глазах. Его alter ego⁶⁸ — Почекушин номер второй — словно бы всю жизнь дожидался этого вождеденного часа, чтобы выпрыгнуть из «номера первого» и показать оригиналу дразнящий язык. И уже с этой минуты не смог сообразить Иван Савельич: кто же есть кто — и в настоящем, и в предыдущих мерзопакостных сюжетах... Тут им и пришел конец. Обоим.

Случился с Почекушиным удар. Не сердечный, не бильярдный — нервический. И вышел в свет Почекушин-третий: тихий величавый городской дурачок. И прозвище ему дали: Ванька-с-дырочкой.

Ну, что ж это за город, коли нет в нем своего улошного дурачка, своей знаменитости, гордости и любви? Худенький город...

Бывшие сослуживцы Ивана Савельича рассуждали относительно его новой планиды:

— А мы-то надеялись, што померт...

—Надеяться мало, господа. Таким гусям, как Иваны Савельичи, надобно в похоронном деле завсегда пособлять.

— Да-а-а, был гусь — так гусь! Высоко летел, это верно...

—А каков исход у таких летунов? Должон и быть летальный! От коего никаким тузом не открестишься, ни пятым, ни десятым.

— Так вот же-с, не помер!

— Не помер. Оне гуси вечные. Конформисты. Имя и в дураках сладко будет... в стране дураков.

⁶⁷ Образованный после войны 1812 г. неологизм от франц. «шевалье» (рыцарь, кавалер), парадоксальным образом ставший в русском языке бранным словом.

⁶⁸ Второе я (*лат.*).

Аналитические завсегдатаи библиотечных кружков пытались копать глубже.

— Вся беда не в том,— рассуждали одни,— что этакий паразит, как Почекушин, на белом свете проживает. То, что человек живет на земле, — это, говоря по-почекушински, «несерьезные промежуточные в мировой истории». А беда, господа, в том, что этакий вот тип скорострельно плодит себе подобных и даже, если хотите, еще более паразитических.

— Да,— поддерживали разговор другие,— Почекушин плодит. Уже чего-чего, а этого у него не отыметь. По сей части он мог бы дать фору хоть курице, хоть преславному сочинителю Коцебу...

Теперь Иван Савельич жил просто — как бог, как дерево, как ранняя птичка. С утра он подкарауливал щелочку в дверях Сибиряковского дома и, ежели таковая образовывалась, пробирался в «державинскую» залу, презрительно наблюдал портретного поэта, допрашивал брезгливо: а какие такие твои инициалы, щенок?— иногда бормотал собственные сочинения, но чаще всего изображал верблюда и плевал на картину, стараясь угодить Гавриле Романовичу в какой-нибудь глаз. Случалось, что и попадал. Но больше все-таки попадало самому плеваке...

Да вот же он и сам, собственной персоной! Извольте любоваться, господа. И по сему случаю — потряхнуть стариной, хоть и пыльное это занятие;

— Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?⁶⁹

И Ванька-с-дырочкой незамедлительно рубит четкой прямоугольной латынью:

— Audiatur et altera pars!⁷⁰

Ладно, послушаем...

⁶⁹ До каких же пор, Каталина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?
(лат.)

⁷⁰ Следует выслушивать и противную сторону (лат.).

18. БЕЗ КАВЫЧЕК, ИЛИ БАЛАГАН ВЕНЦЕНОСЦЕВ

Самое гордое в его позе древнеримского оратора — это, пожалуй, отставленная нога.

Он стоит посреди Большой першпективы... Впрочем, нет, я ошибаюсь, это не улица, а пустынная аллея. Сквозная аллея — без начала, без конца: один край уходит за горизонт, куда-то в неведомое прошлое, другой — сначала упирается прямо в меня, и, проскваживая, уходит в неведомое будущее.

Человек, стоящий предо мной, задрапирован на манер тоги складками то ли дешевенького одеяла, то ли скатерти. Это не патрицианская, тщательно продуманная небрежность. Какой-то балаган, ей-богу. Ну зачем, спрашивается, этот цилиндр на голове?

—Послушайте, Иван Савельич, кто же вы теперь? Старьевщик, фармацевт или дипломат?

Господин Почекушин не удостоивает меня ответом. На его груди топорщится самодельный бумажный орден, в руке зажата игрушечная кукла, бедная, жалкая, то ли символ вечной игры, то ли знак фатального продолжения почекушинской планы в последующие времена, в новых поколениях.

— Послушайте,— говорю,— Иван Савельич, на улице считай что осень пришла, а вы босиком, в кальсонах... У нас ведь так не принято, чтобы без штанов...

В некотором отдалении от Почекушина вздернули уши топориком два хмурых ангела-хранителя основ российской государственности в форменных шинелях.

— Да-с!— наконец изволил процедить сквозь зубы бывший губернский секретарь.— Ежели меня приодеть по моде... Скажем, так: при часах и при нагане... Или этак: при галстукке и шляпе... Чем я буду хуже вас? Да ежели меня прибурдить, так я... Господи! Клянусь общественой собственностью на средства производства — я вам такой клопштосс устрою в глобальном масштабе, што вся мировая система единодушно с хохоту подохнет! Спорим?

Ответить я не успел, потому что зашуршали юбки, и пышная дама шевельнула крохотными вишневыми губами:

— Ты што это, Иван Савельич, и в самом деле дурак?

— Нет-с,— ответил Ванька-с-дырочкой,— просто я севодни с переутомления плохо выгляжу. И не в форме. А тебе-то што?

— Помолчи, когда государыня твоя речь ведет! Не перебивай!— осердилась дама.

«Японский бог — подумал я.— Да ведь это же сама императрица Екатерина Великая нарисовалась! Ну, дела-а!»

— Перебивать монархов недемократично,— продолжила Екатерина Алексеевна.— Подумать только, сколь много нас было и сколь осталось?! Всех перебили. Вот и ты туда же, пуговичка канцелярская! Инфузория без тувельков! Коли не волокёшь в монархических зкологиях, так хоть Бога побойся, фитюк этакий!

Почекушин запрокинул повыше голову и с нижней губы революционное презрение исторгнул:

— Штэ тэкое? Чего ты мне тута боготворишь, кудла волтерьянская? Самодержавную агитацию запускаешь, э?

— Я не запускаю,— обиделась императрица.— Я меморию желаю изложить, Иван Савельич. Ведь не только ты один в России музой укушенный, чай, и другие подобные имеются... Так вот, молодой человек,— обратилась она ко мне, облизнула губы-вишенки и полуприкрыла глаза веками, тяжелыми, набрякшими, точно складки на спущенных неряшливых чулках.— Однажды мы жили...

— Вы бы, муттер, вопче заткнулись! Знаем, как вы жили,— раздался вдруг резкий, хриплый, по-петушиному пронзительный фельдфебельский голос.

Я оглянулся. Так и есть: вот и сынок-курносики, Павел Петрович номер первый!

— Не смейте бабенку обижать, государь!— вылетел справа мальчишеский фальцет.

«Вот и внучек, Александр Павлович!»

— Ах, Alexandre!— всхлипнула Екатерина Алексеевна.— Они меня всю замучали...

— Пошел вон! В угол! —приказал сыну Павел Петрович.

— Нонсенс, папаня! После революций земной шар стал круглым и углов на нём — тю-тю! —отбарабанил августейший мальчишечка и крутанулся на пятке, высунув розовый язык.

—Цыть! Ты что мне тут, подлец, кукрыниксы строишь?— взорвался Павел Петрович.

— Дети мои,— жалобно произнесла Екатерина Алексеевна,— не пикируйтесь, ради Бога. В драке истины вряд ли сыщешь. А коли так уж приспичило добыть оную истину, делайте тихо, мирно, с аккуратностью и членораздельно...

— Во-во,— перебил мамашу свирепый от франкмасонских критик Павел Первый, гамлетический гроссмейстер ордена.— Вы так точно и поступали, государыня, членораздельно. Топориком тюк-тюк, ручки, ножки, головки — все наособицу... Даже моего любезного папашу не пожалели.

— Ах, Paule! — вновь всхлинула старая императрица-бабушка. — Как ты жесток ко мне... Твой папаша Петр, если хочешь знать, распоследним алкашом был. Оттого и сдох, што искал истину в вине.

Дотоле молчавший Почекушин опустил до разговора с монархами:

— Не там искал. Истина в кине, понятно? В текущий момент, граждане народные угнетатели, можно запросто балдеть от мирового кина. Так оно и дешевле будет, и гигиенически. Э? Што молчите, сатрапы, мать вашу... в гробу всех видел...

— Не надо в гробу! — испуганно вскрикнула Екатерина Алексеевна.— Давайте лутче без этих церемониальных пошлостей. Давайте спокойно, без прениев жить на паритетных началах и пожинать каждый свои лавры. А? Вот я вам сейчас одну гишторию поведаю! Однажды мы жили...

— Туфталогию несешь, государыня!— неожиданно заорал Почекушин.— А оно мне надо, што вы жили? Хрена ли с того, што вы жили? Жили и сплыли. Растворились, как кофий. Понятно? Зато мы, Почекушины, живы-здоровы! Кто был ничем, тот станет всем! И лавры пожирать — мы будем! Понятно? Потому как вечные мы и блаженные, хоть в святцы записывай. И были бы ишо блаженнее, когда бы одна падла беспалая рядом не стояла! — Почекушин ткнул пальцем в угол, где стоял, ухмыляясь щербато и чуток пьянственно, странный странничек по имени Северьян, по кличке Кукса.

«Милый ты мой,— накатило на меня волною жалости и нежности.— Ну, здравствуй! И где ж ты валандался столько годов?»

А Кукса головой качает и культишками своими пантомимно изображает: дескать, извиняй, мил человек, за молчаливство

мое, но языка-то у меня нету, под корешок отчекрыжили за небрежность, так что я и говорить не говорю, а только сплошными кулаками по лбу себе барабаню да ишо свои кровяные бинты на магические бобины наматываю, только с того бинта — какая музыка? так себе, хрип один...

И смотрит, смотрит на меня Кукса пристально, и глаза его жгут мне нутро Аввакумовым неистребимым огнем и — ясные — поясняют:

— что во времени будущем могут быть и «так» и «этак», но в прошлом таких слов уже нет; что было — то было; помни сие;

— что будущее, становясь настоящим, обязательно мстит человечеству за небрежение к безбрежным урокам прошлого; помни сие;

— что надобно человечеству знать и хранить свою память и не позволять, чтобы ее заключали в кавычки, ибо от заключения (грамматического и судебного) и закавычивания не только память, но и любое другое российское слово приобретает иной, зловещий, и, как правило, противоположный смысл; помни сие...

А напротив Куксы сидел и поддакивал, головой кивая, мудрый лукавец Гаврила Романович:

— Да-да, помни сие...

Больше он ничего не говорил. Все, что он хотел сказать, ему посчастливилось сказать при жизни. Но при всем языческом молчании олимпийские глаза Мурзы семафорили методом самого что ни на есть атеистического реализма...

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царст-во Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не пус-каете.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь; за то примете тем большее осуж-дение.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.

Безумные и слепые! что больше: золото или храм, освящающий золото?

Также и говорите, безумные и слепые: если кто поклянется жертв-венником, то ничего, а если же кто поклянется даром, что на жертвен-нике, то повинен. Безумные и слепые! что больше: дар или жертвенник, освящающий дар?

Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; и клянущийся небом клянется престолом Божиим и Сидящим на нем.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.

Вожди слепые, оцезивающие комара, а верблюда поглощающие!

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.

Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избili пророков; дополняйте же меру отцов ваших.

Змиц, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

...Так вот, за разговорами, незаметно и утро явилось. И начался новый трудовой день в Иркутском художественном музее. Сотрудники приступили к своим делам, а мое дело — ночное сторожение — кончилось.

Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia! Sint ut sunt aut non sint. Vale!⁷¹

И мои полуночные собеседники, портретные персоналии с холстов Скадовского, Левицкого, Щукина, Рокотова, Савицкого и Тончи — заняли свои привычные места в золоченых рамках и притворились неодушевленными — до следующего вечера.

19. POST SCRIPTUM. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Не могу об этом не рассказать, читатель!

Не рассказать — это все равно, что громогласно произнести «люблю» и «ненавижу» — и при этом умолчать: «кого» и «что».

Речь пойдет о судьбе державинского портрета, не менее, а может, и более драматичной, нежели судьба самого Гавриила Романовича.

...Поколения Сибиряковых владели картиной до 1837 года. Тогда был убит Пушкин. Тогда Сибиряковский Белый дом со всем имуществом был продан в казну и стал резиденцией Восточно-Сибирских генерал-губернаторов. В 1871 году генерал Николай Петрович Синельников, вступая в должность, по-хозяйски обходился будущую среду обитания и при осмотре складских помещений обнаружил портрет — сырой, паутинно-пыльный, в дорогой раме. Синельников платочком пошоркал.

— Етия-мать! Неужто у нас тут целый Эрмитаж прокисает? Ведь это никак сам Державин? В шубе собольей. Интересно, господа, в какую цену сия одежда?

Крылатый трубоч с хвалебной надписью на полотне задел ревнивые струнки в натуре Синельникова.

— Убрать сего ангела, — распорядился он. — Стихотворцу довольно будет и шубы одной. А то, понимаешь, расселся тут, как этот... Будто бы не я, а он здесь генерал-губернатор.

Поправляя портрет ссыльный польский художник Станислав Вронский. С полотна исчезли «излишние» аллегии, но появились новые детали, топографические: панорама Иркутска,

⁷¹ Рукоплещите, граждане, рукоплещите, друзья, комедия окончена! Пусть остается так, как есть, или совсем не будет. Прощайте! (*лаг.*)

на заднем плане — вершины заснеженного Хамар-Дабана, столь знакомые Вронскому по зоологическим экспедициям.

Уже в наше время холст в весьма плачевном состоянии сняли с подрамника, накатали на вал и самолетом отправили в Москву, в государственные художественно-реставрационные мастерские, к академику Игорю Эммануиловичу Грабарю. В новейших исследованиях иркутский искусствовед, добрый ангел-хранитель фондов Художественного музея Алексей Дементьевич Фатьянов написал: «Некоторые специалисты настаивали на том, чтобы убрать вид Иркутска и другие позднейшие изображения на полотне, восстановить его в первоначальном виде. Но для нас, иркутян, было важно иметь у себя в музее не только портрет Державина, созданный кистью Сальватора Тончи, но и сохранить на этом портрете следы творчества другого художника — пейзажиста Вронского... По просьбе работников Иркутского музея вид города, созданный Вронским, решили оставить».

Портрет и поныне в Иркутске.

Поэт глядит на нас державно-виновато, а мы на него — прощающе, с пониманием: ведь мы-то знаем Державина, а он нас — нет.

И если присмотреться к холсту попристальней, то невозможно не заметить на нем раны декабрьских боев второго года от Рождества Революции. Тогда восставшие юнкера пытались вышибить «беков» из бывшего сибиряковского Белого дома; пули летали густо, и не было им разницы — кого порешить: живого ли революционера образца 1918 года или произведение русской живописи начала XIX столетия; пуля — она и есть пуля, дура дурой во все времена; и потому падали люди, истекая кровью, и крошились венецианские зеркала, и понапрасну дырявились кожаные дорогие кресла, из обивки которых могли бы сладиться добротные хрустящие кожанки под названием «мечта чекиста»... могли бы сладиться, если бы да кабы сама Чека в текущий момент за таковые художества не ставила «клизмы», а иногда и вовсе — к стенке ставила, и нема делов, граждане, с расхитителями добра всего трудящегося и недавно эксплуатируемого народа...

Я гляжу на Державина— и вот о чем думаю: в одних ли только собственных творениях остаются жить творцы, люди,

облепленные, захватанные, обглоданные всеми известными человеческими страстями?

Вот Державин — сын своего времени, муж государственный и — человек на все времена. Чистый и порочный. Ни того, ни другого не позабудут потомки, которым и после нас еще долго предстоит перекидываться друг с другом взаимными попреками: «А что ты доброго сделал?» — в то время, когда в доброте душевной каждый из них более всего сам будет нуждаться; в той доброте, что изнутри или со стороны — и равно важна; тут есть выбор; тут уж, сударь, понимай и решай двоясмысленность так, как можешь, как совесть шепнет; надобно только услышать свою совесть, ведь голос-то у нее негромкий, небряцающий... И обретешь мир в душе своей!

И я вспоминаю писателя Всеволода Гаршина. В припадке душевной немочи бросился он в лестничный пролет; полицейская хроника всегда оперативнее литературной критики, и Гаршина-писателя люди узнали только после смерти, когда малопомалу читатели стали привыкать к мысли, что в русской словесности преобладают глаголы, да и те все сплошь страдательные... Когда Гаршин позировал Илье Ефимовичу Репину для фигуры царевича в картине «Иван Грозный и сын его Иван», художник подавленно признавался тет-а-тет одному из доверенных друзей:

— В лице Гаршина меня поражает обреченность. У него — лицо человека, обреченного погибнуть. Но... это то самое, что мне нужно для моего царевича.

Ныне души писателя и художника равно витают над страшной картиной.

И я вспоминаю Христа и грешницу на полотне Поленова. Там не сын Божий! Там сын человеческий Исаак Левитан — живописец, согласившийся позировать живописцу.

И я вспоминаю триптих Юрия Ракши «Поле Кулиново»: рядом с князем Дмитрием Донским стоит русский воин в доспехах; это Василий Макарович Шукшин, наш Макарыч.

И я вспоминаю, что Василий Суриков задумал написать «Боярыню Морозову», увидев... ворону на снегу.

И тут — ах, неисповедимы пути ассоциаций! — я подумал о бомбардире Абраме Ганнибале, арапе Петра Великого: черное

на белом — это ж прадед Пушкина закладывает основание нынешней Кяхты в селенгинской, просквоженной ветрами степи.

*Черный ворон, белый снег.
Наша русская картина.
И горит в снегу рябина
Ярче прочих дальних вех.*

А это уже... Жигулин? Да, поэт Анатолий Жигулин, прямой потомок друга Пушкина и «первого декабриста» Владимира Федосеевича Раевского. Мой современник! Я могу позвонить ему или письмом приветить, или встретить случайно у книжных развалов. Раевский был на поселении в Иркутской губернии, в Олонках; белая ворона того времени, чрезвычайно белая. Прошел ровно век — и его потомок, Анатолий Владимирович, валил лес в Сибири, вкалывал на колымских рудниках и верил истово, как прадед, в торжество справедливости, которая неизбежно придет и поставит жирнущий крест на людском страхе, на слепой догме, на трижды проклятых «черных воронах» с зарешеченными оконцами...

*И горит в снегу рябина
Ярче прочих дальних вех.*

По большому счету и с точки зрения вечности, это— о родине, кровенной и неделимой во времени и пространстве, единственной, без выбора, для всех и для каждого: для меня, для Жигулина и Раевского, Ганнибала и боярыни Морозовой, Шукшина и ратника с Поля Куликова, Левитана и Христа, Гаршина и царевича Ивана, и для Гавриила Романовича во всех его ипостасях, и для Фатьянова, и для редактора этой книжки, и для тебя, мой любознательный и терпеливый читатель. Отечество — начало всех начал. И выбора не дано.

Да и не надо!

ТРЕУГОЛЬНИК ПОГРЕШНОСТЕЙ, ИЛИ ТРИ СЮЖЕТА ИЗ 1826-го ГОДА

...Если чей-то череп застил свет,
вы на вылет прошибали череп
и в свободу
глядели
через —
как глядят в смотровую щель!
Но и вас сносило наземь косо,
сжав коня кусачками рейтуз.
«Ах, поручик, биты ваши козыри».
«Крою сердцем — это пятый туз!»

Андрей Вознесенский

В век распространения здравых мыслей без того
нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Я думаю, Сибирь есть настоящая отчизна Дон-
Кихотов.

М. М. Сперанский

СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ КОГДА ДОГОРАЕТ СВЕЧА...

Пушка с Нарышкинского бастиона возвестила «адмиральский час»— и в тот же миг под макушкой собора Петропавловской крепости пришли в движение многочисленные, рачительно смазанные шестеренки, и куранты отметили очередной российский полдень британским национальным гимном «Боже,

храни короля» на мелодию преславного немца Георга Фридриха Генделя⁷².

«Странная страна», — подумалось узнику.

И мир — тот, что не внутри, а снаружи, — снова раскололся надвое.

По ту сторону остался и продолжает жить город, ввинчивающий в белесую пустоту жирные дымы. Там дворцы и роскошные особняки, опутанные перекрестным адюльтером. Там гостиные, где возжигаются лампы обжорства, где между кулебякой, икрой и заливным поросенком «с хренком-с» спорят о патриотизме и раскладывают пасьянс «гробница Наполеона» — картежную моду нынешнего взбесившегося года...

Над зданием с колоннами тяжело парит квадрига лошадей. Но это не конюшня, упаси Бог. Это театр. По вечерам он напоминает большой каменный фонарь — волшебный фонарь, сказочный. Там будут и сегодня, и завтра, и век спустя спорить с равнодушием: возьмет ли Н. верхнее «ля»? Спорить будут, как правило, на символическую тринку, зато в антрактах за кулисами или в артистических уборных спорщики развернут перед запылавшимися меццо-сопрано букеты из радужных ассигнаций. Разворачивают, опять же, равнодушно... Господи, дураки какие. Да вдумайтесь же, господа, в то, что говорите, и пожалейте русский язык, когда с восторгом отмечаете свое равнодушие! Равнодушие синоним равнодушию. А в мире нет и быть не может равных, сиречь одинаково обезличенных душ. Каждая душа имеет свое лицо. Потерял лицо — потерял и душу. Вот такое вот зрелище, господа меломаны! Зрелище, которого синонимом в старорусском языке является слово «позор»... От перестановки слов, может, что-то меняется?

Ах, этот город! Каменеют молчаливые обитатели Северной Пальмиры: богиня правосудия Фемида — в нише стены Сената — с глазами, покрытыми повязкой, и с чугунными чашами весов в холодных руках... Петр Великий на коне топчет змия... Сфинксы у Академии художеств с лицами фараона Аменхотепа...

⁷² Российский национальный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» (музыка полковника А. Ф. Львова, адъютанта шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа) появился лишь в 1833 г.

Листом серого пергамента распласталась Дворцовая площадь: сама История наносит письма на эту пыльную скрижаль, отмечая железную, грозную поступь эпохи.

Зимний дворец... Лейб-гвардейские караулы у всех четырех подъездов: Иорданского, Салтыковского, Комендантского и Собственного Его Императорского Величества Николая Павловича. Государь всея Руси, Николай Первый. Он же — Примус. Он же — Тормоз и Имперникель... Швейцары в красных ливрейных шинелях. Лакеи в пурпурных раззолоченных фраках...

Генеральный штаб. Перепончатые, словно стрекозиные крылышки, венецианские окна... Мраморные доски с реестром славных викторий русской армии... Бронзовая статуя Петра I в конце лестничного марша...

Град Петров. Мокротный, нордом просвистанный, по шнурку выстроенный град, где проспекты — точно выстрелы; где каждая гранитная осклизлая лестница от первой ступени до последней притворяется Петровской табелью о рангах; где население бомонда всепогодное ветренное и лягушечье-холодное; где к чужой душе немислимы подступы, точно к зимнему оледенелому колодцу; где серой розой распустился казематный покой, благочестивое молчание, и страх сковал и окаменил живые сердца, и только настоящие каменные звери — щербатые сфинксы — позволяют себе без опаски звереть на глазах Первого Ангела Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии — генерал-адъютанта Александра Христофоровича Бенкендорфа; щеки розовые, глаза, как у ангелов заведено, небесно-голубые, будто специально подобраны под цвет мундира — глаза чистой воды — без пылинки, без сучка, без задоринки; студеная нордическая вода; только не за глаза же одни удостоился ангел ордена святого Александра Невского, спустя каких-то две недели после событий на Петровской площади?

Чуть выше дворцовых парапетов в этом городе наличествует небо — застиранное, серенькое, такое униженное, что иногда кажется, будто рассветы в эти места вползают на брюхе, распластанно, придавленно к земле, как прищемленная плотными дверьми полосочка света; такое небо нигде не кончается, просто оно насыщается постепенной слякотной мразью и через узкое, бутылочное горло Финского залива — мелководной Мар-

кизовой лужи, раскачиваемой балтийскими ветрами— вливается в море и далее, далее, в штормовую Атлантику.

...За год с небольшим до великого декабрьского противостояния, поздней осенью 1824 года Маркизова Лужа (мелочь такая!) вдруг что-то нахмурилась и долго, грозно и простуженно урчала, ежилась, гримасничала и, имея своего собственного, водяного владыку, спорила с богами земли и неба; потом мигом взгорбилась, будто серый осатаневший слон, и одним стихийным плевком затопила половину надменного города. Старожилы — сановники, купцы, работные люди, ветераны славных Петровских полков — не припоминают на своей жизни такого дьявольского разгула, такого апокалипсического нашествия вод. И мысль об очистительной каре за миновавшие вольные и невольные грехи посетила в те дни не вдруг и не одну седую голову, в особенности тогда, когда гребни невских волн вычесали из береговых безымянных могил, из земляных дамб, из болот, из фундаментов, из основания этого державного города — человечьи черепа и прочие бранные косточки самовидцев петровского гонора; говорят, волны несли их в фырчащей пене (икра на нерестилище!), полируя, подбрасывая, постукивая, пощелкивая, и от одного только звука тех костяных кастаньет, чертовых барабанчиков, лопались самые воловьи гренадерские жилы, и глазам становилось тесно на лице от ужаса, от жуткой забавы, от игры разбушевавшейся природы. Люди молились небу, но туда, на небо, попасть не спешили, искали спасения на земле, друг у друга, беда точно толкала людей навстречу, спину к спине, плечо к плечу; и душа душе откликалась, и сердце сердцу вовремя весточку подавало. Верно говорят: людей сплачивает что-то неординарное — война, пожар, наводнение, засуха. Боже мой, неужли все это так фатально необходимо, чтобы человек любил человека?..

От той игры природы в бастионах Петропавловской крепости до сих пор остались следы — мокрые разводы на стенах, эти трупные пятна камерной вечности...

Но это уже здесь, в крепости, по эту сторону нынешнего бытия не думающего о вечности узника.

По эту сторону...

Стены сходятся над головою шатром, и, видно, поэтому он так отзывчив, черт бы его побрал, этот каменный свод.

Белый столбик спермацетовой потухающей свечи.

Минимум вещей. Обиталище богов.

Да много ли нужно здесь человеку? Мелочь. Ведь только в заключении, в решетчатых кавычках, придающих новый смысл каждому слову, мысли и поступку, — только здесь люди начинают ценить такие мелочи жизни, как березовая веточка, зеленая травинка, чирикание воробья, огрызок карандаша, многие бирюльки, на которые человек вольный подчас и внимания-то не обращает: наступит — и мимо. А зря, ей-богу. У вещей свои судьбы, особые, как и у людей, их создавших. Одни исчезают молниеносно; другие переживают надолго своего родителя, мудрителя и владельца; третьи, случается, и вовсе приобретают бессмертное существование; есть, наверное, и такая потаенная калиточка в вечность — вечность не тела и не души, а того, над чем душа в мясной оболочке (мерзость какая, а куда денешься?) мается всю свою юдоль земную; вечные вещи вещи — они имеют иное происхождение, чем табакерка или лафитник, и будущее должны иметь грандиозное и полезное — как у египетских пирамид, что поставлены для опровержения догм: смотрите, люди! я стою! и кто сказал, что недолговечен дом, построенный на песке?

Правда, — за каждодневными уроками в Египет не набегаться. И в комнате своей человеку не поставишь призматического титана для жизненного образца и подобию. И человек отдает себя во власть обыденных, притертых к взаимному сосуществованию вещей, у которых нет к человеку особых, вечных претензий. Они удобны вообще — как удобна жизнь без вещей, жизнь без вранья и притворства. Наверное, без них тоже не обойтись человеку. Они властительно неназойливы, точно боги, и застенчивы, как нечаянные соседи, а по ночам, когда человеку снится Большая Пирамида, они живут своей особой, собственной жизнью: заливаются молодым румянцем старый хрустальный бокал, по-девичьи бледнеют прапрабабушкины кружевные алансоны и смущенно похрипывает-покашливает оканчивающая свой гвардейский срок пенковая трубка...

«Ну вот, сейчас, поди, раскурить чубучок захочется, — подумал узник. — А потом и до бокала шампанского очередь дойдет...

Нет, нет! Запаздывать с таким серьезным делом, как казнь,— нет ничего хуже...»

Соборные куранты отблаговестили свое положение. Снова разлилась тишина.

Там, за дверями камеры, подобно четырем маятникам расхаживают валенки — по толстой войлочной дорожке, скрадывающей звуки шагов, дабы не нарушалась установленная законом убийственная, безголосая стерильность.

А у караульчиков — хронический ревматизм...

—Эх, Петра, Петра, крокодилина ты нещасная... Почто набычился?— губами изображает первый.

—Да так вот, вопче... Ноги гудут,— губами изобразил второй.

— Штой-то не слышать, как гудут.

— А чего тут услышишь? Тут заживо оглохнешь.

И — разошлись валенки. До новой встречи. Раз-два...

По войлочной дорожке, по коридору, замкнутому на бесконечность, потому как каменное одноэтажное здание выстроено мудрено, в форме треугольника, и коридор по непрерывному периметру — тоже треуголен...

«Любопытно — но факт: сия фигура есть самое надежное соединение сторон»,— подумал узник.

И в его памяти, в бесконечно мучительном ряду ассоциаций, неожиданно всплыли усвоенные в юности построения боевых порядков: римский треугольник в Экномском морском сражении, «свинья» Македонского, знаменитый клин Густава-Адольфа... и так называемый «треугольник погрешностей», термин из лексикона военно-полевой геодезии. С ним, помнится, было мороки!

Узник и посейчас помнит отчетливо, чем корпусные педели, господа ученые наставники, объясняли погрешности оптических наблюдений, другими словами, отклонения результатов кипрегельных⁷³ измерений от истинных значений, независимых от наблюдателя: «Ошибки обусловлены тремя

⁷³ Кипрегель — геодезический инструмент для определения расстояний и превышений на местности.

причинами: первая — несовершенство измерительных методик, вторая — неподконтрольные человеку изменения внешних условий, и третья — это неисправность самих инструментов наблюдательных». Истинное значение объекта наблюдения, таким образом, прячется внутри треугольника геодезических погрешностей. Фокуса в этом нет. Больше того, сей треугольник вполне может быть применен к оценке общественной жизни. Почему — нет! Взгляды на социальные явления — тот же треугольник, и ребра в нем — бисовы, по-хохлацки говоря. Взгляды разные. Один глаз — на Кавказ, другой — на Парнас, а третий... впрочем, третьего глаза у человека покуда нет, а жаль; треокий Будда потому и весел, потому и мудр, потому и не хочет видеть одноглазых циклопов...

Точки зрения... На смысл жизни, например. На место личности в этом мире. На соль земли и космоса: что она — соленькие кристаллы или дух? Самые противуречивые мнения... Совокупность же мнений есть не что иное, как сомнение. «Подвергай все сомнению»,— говорил Декарт. Из сомнений рождается кристалл истины,— добавим мы, грешные. Правда, количество мнений похоже на стадную арифметику, но это покуда, покуда... Сейчас же важно иное. Важно то, что «треугольник погрешностей» в каждом человеке колетя, сквозь телесные и душевные препоны и внешне установленные государственные узаконения выпирает и вышибает смех, слезу или молчание.

...Как часто в конце бренного пути своего люди сокрушаются сердцем: напрасно-де жизнь прожил, совсем зазря... Разные причины к тому огорчению. Один — в генералы не вышел. Второй — в землю таланты зарыл. Третий — поленился зарывать, так они, эти таланты, человека изнутри разрушили, безысходно бродя и бунтуя, как молодое вино... Мало ли причин к старческим горестям? Несть им числа. Скажем, одна из них — общая для всех, одинаковая и объединяющая человечество в горе, как вселенская катастрофа: смерть единственного сына у стариков. Значит, засохло древо, оборвалась нить жизни и великий смысл ее затянулся мертвым узлом. И не начать все сначала, и не продолжить жизнь, и не продвинуть ее на порядок выше! Ибо только этим качеством — вперед и выше — отличается человек от курицы, не обеспокоенной лучшей, чем у себя,

долей для своих цыпущек. Стремление человечества к совершенству до потрясения просто: пусть дети наши будут лучше нас. Надежда — исключаящая напроць и ревность, и зависть, и железную когорту иных пороков... Покуда сие трезвым умом не постигнуто — колетса, ах как колетса этот «треугольник погрешностей»...

Обнаженные палаши на плечах бодрствующих караульщиков... Все вперед, вперед... раз, два-а-а...

— Ну, как тама нумер тринадцатый?

— Можно сказать, не пимши, не емши.

— Фигурность блюдет?

— Не тое слово... Уж шибко сурьезные, эти покусители на государя императора.

У российских Харонов в этом царстве теней скобленные подбородки увесисты, как налитые бдительной силою кулаки. Рязанские скулы выворачиваются в неистребимой зевоте... Но — чу! Слуу-шай! Вон где-то по каменным плитам застучала «чертова бутылка», деревянный протез коменданта крепости генерала Сукина, гада ползучего. Слу-у-шай! А вослед Сукину мякенько улыбається плац-майор Подушкин... И снова тишина. Камень, камень, абсолютное молчание, вечный покой. Здесь и в самом деле оглохнуть можно от гробовой тишины, и рассудок потерять, и аппетит, и нюх... Здесь все смешалось нынче: миндальный запах французской одеколони и шинельная прель бодрствующих караульщиков, вонь мочи, карболки, сгорающего светильного масла и еще чего-то... клопиного, что ли?

—Ежели государыня на сносях, авось, и амнистия образуется.

— Авось и образуется.

— А ежели, не дай Бог, выкинет наследничка, тада уж, я думаю, будет баста.

— Так точно, баста...

Бастилия российская. Бастион. Баста.

Крысы, как видно, единственные, кто чувствует себя подомашнему здесь, где запечатаны мертвые императоры и живые покусители. Они поселились здесь давно, гораздо раньше царей

и цареубийц,— и потому на правах хозяев разгуливают, дерутся, справляют свои крысиные свадьбы, пишат и, нагло глядя в человеческие глаза, требуют отнюдь не духовной пищи, но мяса, мяса тепленького, с кровинкой... Мерзкие твари! Здесь они рвали Тараканову... Говорят, что могила самозванной княжны, по преданию (а тюрьмы — самое место для преданных!), находится где-то недалеко, во внутреннем двореке треугольного Секретного дома, у самой стены, под чахоточными крепостными клёнами с пятипальными испуганными листочками... Кто она — Бог весть, эта княжна, но важно, что стала легендой. Легенды же счет возрасту не ведут: как строительное дерево маскируется под кирпич, под каменную кладку, так и легенды маскируются под бессмертие, напропалую кокетничают с музой истории, а кокетничать-то — нельзя! Никак невозможно, господа офицеры!

Музейное дело, пыльное это занятие — легенда. Молчаливое. Она и порождена-то по причине молчания очевидцев. Предписанная свыше тишина во все времена означает благонадежность и покорство людей. На безропотной немоте легионы молчалиных основывают карьеру. Но ответьте же по совести, господа офицеры: вам не страшны безъязыкая память, беззвучное горе? И тебе, дедушка Пимен, не знобко ли от таковых летописаний сегодняшних, в которых цензоры правят сатанинский бал? И вам каково, стерильнейший граф Александр Христович? Когда мысль заменена установленным параграфом, а совесть — церемонией... Когда к разряду умственной деятельности начинают относить охранительную работу по вышибанию мозгов... Когда не надо думать, надо лишь службу знать... Когда покой и тишину охраняют «голубые ангелы»... О, эти ангелы! Им на ушко нашептанно: «Души-прекрасные-порывы» — и с недопустимым двоясмыслием они принялись за работу, и рвут, и душат, и сжимают горло любому, кто в пору насильственной немоты хочет сказать всего лишь то, что нельзя равнять человека с «божьей дудкой», со свистулькой пустой; что можно и даже нужно, будучи покуда бессильным, хотя бы похотать с потрясающей силой надо всем, что еще сильно. Зрелище принимается единодушно. По-старорусски это же самое выражение звучит так: позор приняли равнодушно. Синонимы — они о многом говорят, господа офицеры. Да ведь мы и язык свой уже позабыли, и что слыло у прадедов позором, у нас стало веселым зрелищем...

Виселицы не зря в виде буквы «глаголь» строятся, с намеком: не болтай-де, грешник, супротив ветру. Вот ведь высшая изобретательность палача: человека, поднявшего голос, вешать на «глаголи»! А не глаголь-де, миленький, будь покоен... А «покоем» строят виселицы сразу для нескольких говорунов, и в этой буквице смысл зловещий: определяйтесь-ка в упокойники, говоруны, коли безглагольная жизнь невмоготу стала...

Вот уж где есть разгуляться легенде! А спросите меня, господа: каково человеку в легенде? не жмет ли? не прокрустово ли ложе сие? хозяин ли он там или незванный гость? И что же, в конце концов, делает легенда с человеком? Так отвечу, господа офицеры: в общем-то, ничего плохого не делает. Обобщает. Генерирует. Крупное укрупняет, мелкое прочь отсеивает, в двоемыслии выбирает один смысл, в многозначности — одно значение. Легенда, поднимая человека к высям горним, отрывает его от земных корней. И потому легендарный персоналий, просеянный через ситечко обобщений, сразу же становится или героем, или негодяем, но всегда далеким от того, кем он был на самом деле, то есть — не самим собою. Чем более стареет легенда, тем все более она стирает черты живого лица, и остается от человека самое-самое: соболиная бровь, или божественная родинка на щеке, или способность безнатурно оплодотворить тысячу жен, или дефектная ступня... Хромоножка Александр Филиппыч. А Гомер? Кто такой Гомер? Слепец... Нам маловато такой аттестации, хотя мы и понимаем, что, когда складывалась легенда, — о наших желаниях не спрашивали; в таком деле деликатном, как мифотворчество, о потомках не очень-то заботятся, вернее, заботятся на свой лад, пытаются облегчить им восприятие минувших времен по истоптанной схеме: укрупняют, отсеивают — и в итоге остается: слепой. Всё! Ну, для Гомера, скажем, достаточно, даже с лихвой, потому как песни оставил. А о нашем Бояне известно и того меньше: был «вещий» — как хочешь, так и понимамай... И слезы, и любовь, и болезнь горла — что до них легенде, когда даже обыкновенная боль обобщается до таких степеней, что уже не воспринимается как боль... И взошла Орлеанская Дева на костер пред лицом потрясенной Европы... Каково сказано?! Господи, да вся эта патетическая монументальность: взошла, костер, лицо Европы — заслонила от потомков понимание того, что вершилось дичай-

шее, людоедское злодеяние, что огнем жгли девчонку, которой было страшно и больно так, как только и может быть больно живому существу; волосы взмывают вверх, раньше души уносимые в небо гудящими жаркими потоками; и глаза лопаются, как сиюминутные пузыри на воде, — а что я вам сделала, люди?..

Нет, нет. Избавь нас Господь от легенд, как от лукавого.

Противоречу себе, первоначальным мыслям своим, однако же признать вынужден: что есть легенды, как не бессмертие! Бессмертие же нередко оборачивается проклятием. Человеку в этом бессмертии — одна смертная тоска и фальшивость. В особенности тому человеку, кто хотел заповедать остающимся жить свою судьбу — хорошую ли, плохую, но равно и сполна оплаченную жизнью и уже только поэтому ценную, неповторимую. А придуманная судьба ни черта не стоит...

Тучи откочевали на запад, но небо оставалось серым. Зудела, видать, к дождю старая рана, коей узник Секретного дома имел честь удостоиться еще девятнадцатилетним прапорщиком в Бородинском сражении; сия награда — всегда при нем; что же касается до иных отличий — золотой шпаги с надписью «За храбрость» и серебряной медали на голубой ленте в память 1812 года — то о них и тужить нечего: они остались п о т у с т о р о н у.

До вечности полковнику Павлу Ивановичу Пестелю оставалось сорок восемь часов.

СЮЖЕТ ВТОРОЙ В ДОМЕ ВЕРЁВКИ

...И все же Ивана Борисовича допустили к сыну.

Следственные «комитетчики» вели себя корректно, подчеркнуто внимательно и даже с некоторой долей молчаливого сочувствия. Однако ни то, ни другое, ни третье не помешали одному из сиятельных возжигателей судебных лампад допустить нечаянную, неожиданную, но от того еще более вопиющую бестактность.

— В доме повешенного, — сказал он, — не говорят о веревке. Мужайтесь.

Иван Борисович вышел на деревянных ногах.

Направляясь в крепость, Пестель-старший не очень-то спешил: он желал как можно долее растянуть время до встречи с сыном...

Главное при свидании: что ему сказать? Правду? А какую такую правду? На правду, как известно, немного слов надобно, всего два: либо «да», либо «нет». Не речиста правда. Всего лишь двух букв отрицания достаточно, чтобы справедливость стала несправедливостью, правда — неправдой... А для того, чтобы Иван Борисович сумел что-то определенное сказать, надо было знать, доволен ли сын своим нынешним положением или нет? Это главный вопрос. Но ответа на него Иван Борисович не имел. Он, конечно, предпочел бы, чтобы Павел тяготился, но боялся удостовериться, что сын вовсе не тяготится. Вернее, он не знал — «да» или «нет», и очень был бы благодарен тому, кто сказал бы ему это, наконец, вполне определенно. Разумеется, эти «да» и «нет» должны быть уже апробированы; не то что доказаны (нет! Иван Борисович сам докажет любому и каждому: почему «да» и почему «нет»!), — а лишь бы только узнать: которое из этих двух коротеньких, худеньких словечек будет завизировано свыше? Ибо только после этого пробудится дух Ивана Борисовича, его энергия, до сих пор содержащаяся втуне, и поднимется, и воспарит до таких высот, до коих — черт побери! — простым смертным и не снилось подниматься даже в самых фантазийных сновидениях.

О, если бы Иван Борисович знал, какое из двух словечек отмечено верховной благосклонностью?! О, если бы... хоть намеком! А жить так, чтобы — ни «да», ни «нет»... Он на это не пойдет! Он на это не способен. У него такая... конституция, которой претит компромисс. Он терпеть не может всех этих диалектик — орущих, вопящих, воняющих, из рук рвущих, чужое жрущих и... и так далее!

Ах, если бы вдруг кто-то сказал: вот, любезнейший Иван Борисович, где находится «да», а вот где — «нет». Тут бы он выиграл духом и телом. И мощной бы тряхнул. Мощна — средство надежное, проверенное. Все эти «ции»: конспирации, эмансипации, революции, конституции — все уйдут, все сгинут в тартарары, но акциденции, слава Богу, во все времена останутся, такая уж у них... конституция, это уж так, это дело верное — как

новый пятак. Старики, впрочем, учили: не принимай чистую монету за единственную акциденцию; бери также и бумажками...

Присутствие жандармов при свидании не стесняло, напротив, вдохновляло Ивана Борисовича на проявление самого необузданного верноподданства престолу и, следовательно, на крепкую брань по адресу блудного сына. А когда Иван Борисович выдохся, повыпускал пары, да все по-русски,— он присел на единственный в камере табурет, вытер лоб фуляровым платком и тихо спросил по-французски:

— И чего же вы хотели, сын мой?

Пестель младший стоял, прислонившись к стене,— безусловно, но в то же время понимающе оценивая родительский патриотизм.

— Это долго рассказывать, отец, чего мы хотели, чего добились. А времени у нас мало.

— Скажите коротко.

— Коротко? Извольте. Мы желали создать Россию, в которой была бы исключена даже мизерная, даже случайная вероятность появления у кормила власти таких администраторов, каким были вы сами, отец, в Иркутске семь лет назад, в генерал-губернаторской должности.

— Глупцы!— возмутился Иван Борисович.— Мальчишки!

— Родиться глупым не стыдно, отец. Стыдно помирать глупцом.

Пестель-старший встал, хотел по привычке пройтись, да камера не позволила, стены разбежаться не давали, и он опустился на прежнее место.

— Как все глупо,— бормотал он.— Все наизнанку! В прошлом веке французская чернь, которой нечего было терять, хотела встать вровень с дворянством. И я это понимаю. Но вы-то! Вы, дворяне, вышли с оружием против власти, чтобы поравняться с чернью? Тут, извините, смысла нет. Или, по-вашему, есть смысл?

— Ограничьте ваше волнение, отец. Послушайте... Наше отличие в том и состоит, что нам есть, в сравнении с чернью, что терять. По крайней мере, мне, наследнику такого состоятельного родителя, каким являетесь вы.

Иван Борисович сник:

— Ладно, меня не уважаешь — знаю, знаю! Так хоть Бога побойся, сын мой!

— Вот этого сделать хоть убейте — не могу. Человеку и Богу жить с некоторых пор стало весьма тяжело. На небеси еще куда ни шло, а на земле тесно. И думать к концу не хочу.

— Думаете... артибузируют?⁷⁴— спросил Иван Борисович, внутренне напрягаясь.

— Это было бы просто славно. Хуже — когда петля.

— Помилуй Бог! Ведь и артибузирование... страшно, Паша!

— Ничего, мы военные люди, к пулям привычные,— ответил Павел Иванович, глядя отцу в глаза.

О, страшное это оружие — небегаящий иронический взгляд!

— Что маменька?— спросил сын.

— В горестях,— ответил отец.

— А брат мой?

— Покуда слава Богу.

Пестель-младший улыбнулся. Он вдруг вспомнил давнишнее, но крепко памятное событие: отец отправлял его и брата, малолеток еще, в путешествие на корабле самостоятельными в первый раз пассажирами, но неожиданно перед самым отплытием снял сыновей с борта, пересадил на другое судно; позже узнали, что тот, первый, корабль затонул, пассажиры погибли. Случай? Наверно, случай. Но с тех пор Павел Иванович не раз вспоминал эту грустную историю и вывел из нее подобающую шутку: кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Хороши шуточки...

— Ей-богу, отец, я спокоен, — сказал Павел Иванович и наклонил голову, прощаясь.

Иван Борисович всхлипнул, перекрестил сына и вышел за дверь.

Мимо угрюмого Сукина-коменданта, мимо плацмайора Подушкина, мимо полосатой будки с часовым шел бывший Сибирский генерал-губернатор. Шел и подбрасывал на ладони золотую монету: орел или решка?

⁷⁴ Расстреляют (франц.).

И плотные мысли не отпускали его. Откуда все это в сыне? От кого? Яблочко от яблоньки? Ну, уж нет, дудки, милостивые государи! В мать? Тем более. В деда? Тоже нет. Так в кого же сын такой уродился?

Ответа Иван Борисович не находил, да и не мог найти, потому что ответ был чрезвычайно простой: в эпоху.

«О господи, грехи наши тяжкие!— вздыхает Пестель-старший, забираясь с кряхтением в карету.— Или плешь моя — наковальня, что в нее всяк свое норовит стучать? Кончился покой в мире. Сын на отца идет, брат на брата. Как сказано в евангелии от Матфея: и восстанут дети на родителей и умертвят их... К тому и идет. Яблоньки дичками плодоносят, а дички — яблочками. Все перемешалось. Все движется, бушует, друг против дружки ополчается. Боже мой! И опять все эти... монархизмы, либерализмы, абсолютизмы, конформизмы... Зачем они? И сколько же их вкуче—сиих веществ преходящих, недолговечных и весьма условных в мире наших страстей, в жизни короткой, худенькой, в которой безусловен только один-единственный «изм»: аневризм сердечный, ну, разве еще — ревматизм. Они, эти родные, единокровные «измы», по крайней мере, реальны, они постоянны, как чувство голода и жажды, их можно даже рукой пощупать, они всегда с тобой и не отпускают от себя ни на миг, а в нужный момент — уж как бог свят!— не подведут, припечатают к смертному одру на веки вечные и точно такой же срок, сиречь веки вечные, будут сидеть в тебе даже во гробе...»

У самого выезда из крепости, на узком Кронверкском мостике карета резко вильнула вправо, и Иван Борисович слегка ушибся о мягкую, для подобных случаев предугаданную, внутреннюю подушечную обивку.

— И-и-эх!— выругался он и отдернул шторку.

Карета осторожно разъезжалась с роскошной коляской, блистающей лаком и позолотой. В открытом окошечке виднелся профиль пожилой дамы.

«Ба-ба-ба! Ей-то что здесь надобно?» — подумал Иван Борисович, узнав в даме известную московскую «королеву бриллиантов» Анну Ивановну Анненкову, вдову рано умершего отставного капитана гвардии и дочь бывшего иркутского генерал-губернатора Якобия.— Кажется, нынче все дороги от Рима отвернулись... Так о чем бишь я? О гробе? Да-с, о гробе. Что

поделаешь, и о гробе думать надо, возраст поспел. Душа малость обносилась, характер скис... Как там у латинян сказано касательно характера? Гонорес мутант морес. Почести меняют характер. Что ж, верно угадали. И почести были, кажется, погромче, нежели у Якобия. И характер имелся — ого-го! Как это мы с Трескиным город выправляли! Вот где хохоту... А где ж он нынче, сей человек-невредимка, шут гороховый, друг разлюбезнейший Николай Иванович Трескин? Дурак дураком, а выходит — что друг. Прямо по пословице получается: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, чего тебе не хватает. Ясное дело, чего мне не хватало: Трескиного свинства. Уж так прост был Николай Иванович — как свинья, прости Господи! А говорят, что в простых сердцах сам Бог почивает. Да-с! Николай Иванович и шутил-то все больше как-то по-свински, в декларации пускался: дескать, древние греки чего-то явно недоделали в своей мифологии, лишив шутство особой, собственной Музы... Сразу и не разберешь, что тут к чему наворочено! Впрочем, перешутил, перешутии-ил Николай Иванович. С поправлением города у него и вконец ум разбежался по дуростям. Слава Богу, еще отыгрались живыми, как говорится, еще бы воевали, да ружья потеряли, обошлось. Ну, что ж, видно, в жизни погодные правила устоялись: отколе гроза, оттоле и ведро... А коляска-то у Анны Ивановны не иначе как московской работы, у нас таких мастеров-каретников не встречалось, разве что в ведомстве Императорского двора...»

Когда карета, миновав мост над Невой, оказалась по ту сторону,— мысли Ивана Борисовича о сыне окончательно — легко, свободно, с салонной грацией — выпорхнули из головы.

Там, где царит веревка,— не только не говорят о повешенном, но и не думают о нем. Опасно сие.

...Спустя сутки Павла Пестеля и Каховского переведут в одну из камер Кронверкской куртины. Из окна узники увидят, как под руководством гарнизонного военного инженера Матушкина (надо же — такие фамилии в тюрьме: Сукин, Подушкин, Матушкин!) плотники будут строгать брусья для виселицы «покоем», а столичный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов (тоже славная фамилия) примется самолично опробовать крепость тех брусьев, подвешивая к ним восьмипудовые кули с песком.

Потом пятеро осужденных решат жребием — зеленой травинкою: кому выпадет честь первому взойти на эшафот. В вопросах чести все пятеро знали толк!..

Но уже никогда не узнает полковник Пестель, что кавалергардский полковник Зубов, племянник последнего екатерининского фаворита, откажется со своим эскадронам присутствовать на казни «своих товарищей.», как он выразится, вследствие чего в самом скором времени лишится блестящей карьеры... И уже никогда не узнает полковник Пестель того, как палач повалится в обморок, а помощник его, Степка Карелин (бывший придворный форейтор, проворовавшийся на бабьем салопе) возьмет дело в свои жуликоватые руки; и что бедолагу Матушкина по окончании казни разжалуют в солдаты по причине «некачественного приуготовления эшафота и слабости веревок»; и что, наконец, брат его, полковника Пестеля, именно в день казни... Вот ведь какова изощренная ненависть тирана! Именно в этот день, 13 июля, брат Павла Пестеля за верноподданничество и сыновнее послушание будет произведен во флигель-адъютанты царя...

Ничего этого Павел Иванович не узнает.

Но узнаем — мы.

...Однажды Лаврентий Берия доложил Сталину: есть ходатайство за освобождение врага народа Юрия Пестеля, правнука декабриста; сидит уже десять лет, инвалид безрукий... но в лагере ведет антисоветскую пропаганду! Что делать, Коба? Сталин отложил прошение в папку рассмотренных дел. Это значило: ходатайство отклонить, а ходатаев повесить за... Шутка такая.

СЮЖЕТ ТРЕТИЙ

ТРЕБУЕТСЯ АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК!

Для полного счастья Анне Ивановне Анненковой не хватало лишь самой малости, и этой малостью был печальный, задумчивый английский рожок, *cor anglais*.

В розысках сей всенепременной дудочки «королева бриллиантов» вусмерть загоняла свою прислугу по торговым московским заведениям. Пусто! Тщетно! Магазинышки, откры-

вавшие Anne Ивановне неограниченные кредиты, оптом продававшие барыне все приглянувшиеся «штуки» ткани (дабы в Москве никто таких платьев не носил), стали теперь укрываться от гневливых глаз Анненковой в задних комнатках своих контор; прикащики, прежде крутившиеся на глазах в расчете получить щедрую милостыньку, нынче при звоне дверных колокольцев спешили пригнуться под прилавки и уже оттуда, из-под прилавков, выясняли капиталистические отношения с властительной и суровой клиенткой.

В конце концов, плюнула Анна Ивановна на московский торговый люд, посадила с собой в коляску толстую задастую немку (для обогрева сидельного места и каретной атмосферы) — и покатила в сам Петербург.

За время вояжировки она объездила императорские и частные театры, кой-кому добрый куш посулила, кой-кого немедля подмаслила. И все ж вернулась ни с чем...

И потому нынче маялась и гневалась немилосердно. И сыгровки «капели» часто заканчивались для музыкёров в каретном сарае: в три сыромятных смычка — да все по одному известному месту... Худо Anne Ивановне!

И чем больше злобилась она—тем пуще мнилось ей, что несчастливое тринадцатое число (именно оно) в составе «капели» — повинно и в несварении желудка, и в лакейском воровстве, и в том, что две комнатные девки из семи, предназначенных для согревания на своих мясах барыниных исподних туалетов, вдруг безобразно забрюхатели и не влазят, паскудницы, в хозяйкины рубашки и панталоны; и даже в том виноватила Анна Ивановна тринадцатое число, что сын ее, Иван Александрович, связался с цареубийцами и клятвопреступниками, за что и посажен, бедный, в каземат Петропавловки, а вскорости, как сведущие люди сказывают, отправится в Сибирь чуть ли не с «бубновым тузом» на спине, с окаянным отличием самых зверских воров и злодеев. Старая гадальная книга, правда, про туза ничего не сказывает, но обозначает бубновым валетом «молодую горячую кровь»...

Гадальная книга не врет. Так, однако, и случилось, что в самые погибельные сибирские места устремила молодая российская кровь свой неразумный, непослушный, свой безудержный ток.

Ах, мальчик со старческими глазами! У него простое имя — Иван. И сложная судьба. Имя ему дали родители. А судьбу он выбирал сам.

В чистенькой и ухоженной университетской юности он как-то задал странную загадку своей маменьке:

— Маленький, розовый, хвостик крючком, нос пяточком, идет и стесняется. Кто это?

— Господи,— изумлялась маменька,— да любой догадается, что это поросенок. Только вот... почто стесняется-то?

— Потому что мама у него — свинья.

Мать человеческая хохотала до слез:

— Аи да сынок у меня! Вишь ты, чего удумал!..

...Анна Ивановна и в каземате побывала. Как же без того, чтобы свою кровь-плоть не попровеждать? Чай, не дороже сына английский рожок?!

Увидела — тотчас сердце кровавый пот выжало... Нанковский сюртучишко на Жанно, картузик... очки, а за стеклами оных — такие холодные, такие чужие (постоянно чужие!) глаза.

Смотрела Анна Ивановна в сыновьи глаза и думала: «Уж больно ты зол да брезглив, Жанно. И не я, мать твою, а ты сам жизнь свою и военный карьер профукал, поросенок. Вить в кавалергардию вышел! В поручики лейб-гвардии выскочил! А не с моей ли подсобой, сынок?! Гвардия! Сие ценить надо. Это не армия, где личность, как ты сказывал, только с генерала начинается. В гвардии личностью и корнет может стать. Вот... стал...»

Не желала тогда, в крепости, Анна Ивановна сердце бременить печалью и огорчением, хотя и была кровно обижена на сына за его неблагодарность. Она вообще не любила огорчаться на манер английских романов, и люди, знавшие о таковой конституции Анненковой, в свое время отважились только через год сообщить ей о смерти на дуэли старшего сына Григория. Нет, не любила огорчаться Анна Ивановна. Однако же люби — не люби, а жизнь не спрашивает, что тебе лакомо, а что нет. И как было Анненковой не распалиться душою, когда вдруг оказалось, что кровенный дядя! у кровенного племянника! у кровенной сестрицы! — и крадет! В Петербурге выяснилось: из отправленных Анной Ивановной сыну из Москвы в Петропавловку полторы

тыщи рублей столичный сродственник Якобий, доступ в крепость имевший, целую тыщу зажил, подлец, и даже на Ивановы очки в золотой оправе позарился. Как тут не озлиться, как не опечалиться? Опять же — английский рожок, смысл всей нынешней жизни, будь он неладен, дразнится, язычок кажет: «На-кося, барыня, выкуси!»

Другая забота — невестка. Да и настоящая ли невестка — эта швейка из модного магазина Дюманси? Анна Ивановна две тыщи рублей не пожалела, чтобы правду выведать у Иванова денщика. Не дозналась. И все думала, хмурилась: «А ежели обвенчаны? А ежели сия штучка черномазая, вустрица парижанская, совратительница, бесстыдница, нищенка... ежели она права свои заявит на Иваново наследство? Каково об таком реприманде⁷⁵ родной матери узнать? А, Жанно? Што скажешь, сын человеческий? Не до смеха тебе? То-то... Сам в петлю полез».

...Худо нынче Анне Ивановне. Кофий остыл, птифуры⁷⁶ в пальцах крошками рассыпаются, английский рожок дразнится... Не спится Анне Ивановне.

Убранная «под вид Клеопатры», Анна Ивановна возлежит под балдахином малиновым на кушетке, усталной соболиной накидкой и турецкими шальями. По обе стороны логовища матово светятся двенадцать беломраморных ваз с горящими внутри свечами. Дюжина (по числу ваз и свечей) сонных, вялых от вечного недосыпа нарумяненных девок чешут без умолку языками: ночью барыня терпеть не может тишины...

«Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мя погибающа...» — молится она ангелу-хранителю; молится скорее для прилику; знает, что тотчас не вытянет ангел свои крылышки, как руки по швам, и не скажет архангелу: дескать, давай-ка, дедушка, подсобим сей великой страдалице... «Ладно, — думает барыня, — у меня и без вас, небожителей, делов нонче под горло: обед завтрашний, блюд расписание... Не позабыть бы чего... Параграф прёмье: селянка московская, подовые пироги, осетрина, грибы в сметане, жареный поросенок с кашей и малина со сливками. Сие корыто графу

⁷⁵ Неожиданность (франц.).

⁷⁶ Сорт печенья.

Николаю Ильичу. Николай Ильич от такой закуски пальчики по самы локти обкусает... Параграф дёзьем: ботвинья с малосольной севрюжкой, поросенок под хреном, жареные утки и гурьевская каша. Этим Василья Львовича укусим. Дальше будет параграф труазьем: ушица стерляжья, солонина, гусь с капустою, клюквельный кисель. Пущай этим Андрей Сергеич чавкает, не велик барин. А Сергей Андреичу иное надобно. Он сутошные шти уважает, свиные котлеты и жаркое из теленка, поенного сливками. Это так же хорошо известно, как и то, что барон Михайло Александрыч обожительно жрет суп с потрохами, бараний бок с гречкой, жареных каплунов и клубнику в сметане... У-у-у, здоровы трескать, гостенечки! Здоровы! В нонешкем фазисе люди крепки стали... Скажем, при лицезрении тыщи рублей уж и никто в обморок не брякнется, как ране бывало, а только что слюнку за щеку засосут, черти,— и облизнутся...»

Девки притомились болтать.

— А ну!— гаркнула Анна Ивановна на манер полкового командира.— Песельники вперед! Остальные кругом марш в гардеробную! И живо мне подать переодеваться! Брысь, сучки такие!

— Опеть всю-то ноченьку в шухеризаду игратья будем,— зашушукались девки и выскользнули за дверь: причуды барыни для них давно перестали быть причудами.

Анненкова осталась одна. Правда, в угловом притененном кресле осталась неподвижная молчаливая нарядная дама; то была так называемая «Авдотья Кузьминишна», «обманка». Имелись таковые художества в изысканных домах; Бог знает, то ли продолжали они тему «потемкинских деревень», то ли положили начало будущим гоголевским «мертвым душам»; рисовали масляными красками на деревянных щитах человеческую фигуру в натуральный рост (сидя, стоя, допускались и лежачие позы), выпиливали по контуру и располагали эти картины в комнатах, в парках, а то и в дворницких; спяну посторонний человек и не разберет что к чему, зато всенепременно подивится: экие же красавицы писанные хозяину дома прислуживают, пальчики оближешь; затея сия пошла от известного причудника графа Шереметева... Анна Ивановна, забавляясь новацией, приучила дворню и лакеев почтительно кланяться «Авдотье Кузьминишне», а гостей своих — понижать голос в

разговоре «при постороннем человеке подлого звания». Игра игрой, однако с барыней однажды истинный курьез приключился: спросонья приняла Анна Ивановна «обманку» за свою комнатную девушку, петь ей велела (твое-де занятие, девка, губами всю ночь шлепать, барыню в одиночестве не содержать...), а писаная-то красавица — ни гу-гу, подлая... Игру продолжили утром в каретном сарае: на оборотной стороне «обманки» рисовальщик изобразил «Авдотьины» тугие и пухленькие, как облака, натуральности заднего вида; кучера, посмеиваясь, вложили в живописные ягодицы порцию вожжей, после чего щит поставили на прежнее место: «Не гневи, девка, барыню, не балуй и орай песни, когда велят!»

...Вздыхнула Анна Ивановна, сердце тоска защемила, и думы ее молитвенные от канона ангелу-хранителю метнулись к пресвятой богородице.

«К кому возопию, владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, царица небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не ты, пренепорочная, надеждо христиан и прибежище горемычным? Кто паче тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое...»

Статской советнице позарез был нужен английский рожок.

...А в верхнем этаже, там, где для Анны Ивановны устраивался «армитаж», — юная мать убайкивает дочку. Шепчут губы ее чуть слышно, поют скрипки первого материнства языком, понятным всем детям и матерям на свете. И при чем тут лотарингский диалект? Ни при чем.

Нету горлинки моей.
Я не слышу песен милой,
Мне ведь тоже все постыло:
Нету горлинки моей...

Это она поет — «вустрица парижанская», Полина Гебль, душа нежная, Полинька.

...Ты верна, но я верней.
Полюбил я до могилы,
Вот как жалуясь уныло:
Нету горлинки моей...

Добрая душа — Полинька... Еще девочкой наблюдала она знаменитую комету, провозвестницу войны 1812 года, давшую

название изысканному коллекционному вину. Жара тогда палила в Лотарингии не-вы-но-си-ма-я... Посевы в полях выгорели. Земля стала нежной, точно козий пух, и серой, как пепел; в ней по щиколотку увязали босые ножки, становилось всему телу тепло, покойно и хотелось закрыть глаза. У собак живыми оставались только языки — длинные, розовые; собаки просили пить. Плакали лошади. Люди от голода сначала худели, потом, наоборот, становились пухлыми... Немилосердное солнце наливалось краскою, как багровый клоп, и к вечеру заползало в щель между небом и землей, и новый день ожидался со страхом... Но этот чудовищный зной, убивая жизнь зерна в колосе, оказался настолько плодотворным для виноградной лозы, что принес неслыханные урожаи. Люди давили сочные гроздья *vitis vinifera* в чанах, потом заключали благоуханный дар солнца в бочки, разливали по бутылкам и на золотых ярлычках «вина кометы» оттискивали, как знак высочайшего качества, черные даты этих голодных лет...

Верная душа — Полинька... Знала ли она, что благотворность и одновременная губительность солнца — не единственный парадокс в этом мире? Тогда не знала. Нынче знает. Под солнцем более чем предостаточно парадоксов самого земного происхождения: рождение, жизнь, любовь, революция... Сказал веселый висельник Франсуа Вийон: «От жажды умираю над ручьем...» — слова, которые бывают непонятными лишь до той поры, пока не сообразишь, что революция — это и есть самое настоящее недоверие к человеку: нетерпение; пока не сообразишь, что не вселенские катаклизмы страшны, а суховеи мракобесных словес, высасывающие, как зной — зёрна, людские сердца; это и есть самое страшное, что выгорает в человеке; после такой утраты от человека остается подлинная пустота, в сравнении с которой вселенские катастрофы поражают скорее траурным великолепием, чем ужасом и безысходностью... Спустя семнадцать веков после извержения Везувия, безумного вулкана, раскопали некогда веселый и благоденствующий город Помпеи на берегу Неаполитанского залива; создали музей; среди экспонатов — гипсовые слепки... Вот юноша; обессиленный, он был засыпан раскаленным пеплом; в окаменевшей толще образовалась пустота, хранившая малейшую складку одежды... Вот сразу двое — это влюбленные; они обняли друг друга перед

смертью и превратились в двойную пустоту... Приходят в музеи ротозеи — и молча расходятся, потрясенные, и долго еще пребывают в состоянии философически-раздумчивого обалдения от осознания того, что каждый из живущих на земле — хочет он того или не хочет, знает об этом или ведать не ведает — оставляет в мире тысячи памятков о себе, больших памятков и маленьких; ну, вот эти двое, юные жители Помпеи, оставили векам свои собственные тела в виде пустоты в толще окаменевшего пепла — и это не худший из саркофагов, и не каждому выпадает такое счастье, что потомки будут жалостливо судить о нем, пусть безымянном, лишь по внешнему обличью, сиречь по слепку с пустоты, не зная того, какими мерзостями, возможно, было полно при жизни его сердце; проверено, что всем воздается по делам его и, случается, так аукнется, как здоровому о том не думалось, не гадалось; и хотя это будущее будет уже другим временем — а... страшно! Не век жить — это так. Важней — век помнить, а может, и поболее того. И это — тоже истинно, покуда жив человек...

Но вернешь ли птицу силой?

Полететь бы мне за ней...

Чистая душа — Полинька... Завтра она чуть свет выедет в Петербург, к Жанно. На целых две недели.

Через четыре месяца — вновь окажется у крепостных стен с намерениями самыми дерзкими и отчаянными: стражу подкупить, вывести мужа своего на волю и бежать, бежать с подложным паспортом куда-нибудь подальше, прочь от этого холодного каменного города. Месье Огюстен Гризье, столичный учитель фехтовального искусства, пользовавшийся своими уроками и Пушкина, и Жанно Анненкова, — будет единственной душой в России, отозвавшейся на боль соотечественницы.

— О, мадемуазель!

— Мадам.

— О, мадам! Вы хотите сказать, что...

— Я не хочу! Я уже сказала.

Через год Анна Ивановна Анненкова перекрестит лоб черноглазой молчаливой невестки и, раздумав одаривать ее колечком с бриллиантами, подаст соболиную муфточку в подарок — руки греть; а зима тогда выдастся суровая. «Ну, с Богом!» Рванут с места лошади — гоном, гоном, гоном — по

шестнадцать верст в час... Встречный ветер, встречный ветер... В Сибири не бывает попутного... Тепла муфточка. В ней — конвертик с важными бумагами. И последняя записка от Жанно из крепости: «Se rejoindre ou mourir!»⁷⁷ И еще бумажка: «Я, нижеподписавшаяся, отправила своих крепостных дворовых людей Андрея Матвеева и Степана Новикова для препровождения иностранки г-жи Прасковьи Егоровны Поль (Гебль) до губернского города Иркутска, которым я прошу г.г. команду имеющих и на учрежденных заставах по тракту лежащих чинить свободный и беспрепятственный пропуск вперед и обратно... В уверение чего сей пропуск за подписанием моим и с приложением герба фамильной моей печати и дан в столичном городе Москве. Декабря 22 дня 1827 года. Статская советница Анна Анненкова».

Так зову я много дней.
Счастье, ты мне изменило!
Нету горлинки моей.
Полететь бы мне за ней...

И придет день.

И будет отмечен сей день белыми камешками, подобно тому, как древние римляне отмечали вот так же счастливые дни своей жизни.

И продолжится жизнь: от чайний до отчаяний, от доверия к вере, со смятениями и мятежами, с покаяниями и окаянством, с календарями, модами, газетами и электричками, пахнущими грибами... с полуденным колодцем, из глубины которого взыскует космоса то ли град Китеж, то ли ваше собственное, до урочного времени потерянное, лицо.

И нет нам прощания.

И продолжение следует — вечно...

*Иркутск
1986, 1988.*

⁷⁷ Встретиться или умереть! (франц.)

POST FACTUM:

К ФАРС-РОМАНУ
«ПЯТЫЙ ТУЗ»

Раздел подготовила Вера Дунаева

МУЗЫ СТАРОГО НОВОГО ИРКУТСКА

Вы можете мне не поверить, но всю минувшую неделю, за несколько дней до кровавого десятого*, меня преследовала строка из давнего-предавнего стихотворения Вадима Шефнера:

Война не нужна, но возможна...

Я был занят обычными бытовыми делами, привычной работой со словом и фактами, а эта строка – по-мушинуому назойливая – не оставляла меня ни днём, ни ночью:

Война не нужна, но возможна...

Так оно и вышло: российские танки вошли на территорию Чечни – жизнь потемнела, стала ещё более хрупкой, чем была год или полгода назад, и от этого ещё более, чем прежде, дорогой и на новый лад бесценной...

Война не нужна, но возможна.

Вдали – сквозь бензиновый чад,

Сквозь ритмику джазов – тревожно

Военные трубы звучат...

Голоса военных труб, зазвучавшие на Кавказе, для нас, сибиряков, покуда почти не слышны, но центральные газеты, до предела заполненные репортёрскими сводками с театра военных действий, пахнут порохом, разорённым людским жилищем и могильной землёй.

...И строгие тени убитых

С оружием проходят вдали...

Поэтому я и не знаю, как мы – уже через четыре месяца – станем отмечать пятидесятилетие победы, одержанной бывшей советской армией над бывшим фашизмом, в то время, как сегодняшние российские войска (их внутренние, спецназовские и государственные полки и подразделения) будут утверждать все-силность конституционной буквы по колена в крови?..

Если по правде, то я выбит из седла всем происходящим и потому, как умею, спасаюсь: музыкой, книгой, театром.

Сегодня мне, как никогда, представляется особенно важным и дорогим любое свидетельство по-былому устойчивой жизни, упрямо держащейся не только хорошего нового, но, прежде всего – хорошего старого.

Иркутск, как и в прежние годы, начал серию традиционных «декабристских вечеров», не позабыв о своём замечательном художнике Аркадии Вычугжанине (на днях в Художественном музее откроется выставка его работ), собрал ансамбль народных инструментов, обсуждает новые спектакли ТЮЗа и музыкального театра, готовится к премьере в охлопковской драме.

На одном из «декабристских вечеров», случившемся в органном зале, я услышал увлекательнейшие рассказы Марка Сергеева о музыкальном Иркутске прошлого столетия, замечательный ансамбль Владимира Карпенко и удивительную Евгению Введенскую.

Марк Сергеев – это всегда и давно хорошо, Владимир Карпенко и его музыканты – это с некоторых пор уже привычно хорошо, а вот Евгения Введенская – это хорошо по-новому. Её крепкое сопрано, в равной степени волшебное звучащее как в добродушно лирическом вальске Титова, так и в отчаянно озорном Варламове, её истинно драматическое дарование, ярко продемонстрированное в арии Леоноры из вердиевской «Силы судьбы» и почти до конца уверенное в сложнейшей «Casta diva», стоят того, чтобы и забыть и воспарить.

Введенская тем более хороша, что, доселе не знакомая Иркутску, она явилась нам со своим репертуаром и таким духовным опытом, что выдают в ней сложившуюся певицу.

Мне пришлось по сердцу и те, кто был в этот вечер заодно с ней: флейта Евгения Факеева, кларнет Сергея Качая, скрипка Галины Шулик, виолончель Риммы Граблевской и, конечно же, тактично звучащие клавесин и рояль Владимира Карпенко.

Хорошо, что мы слышали ту музыку, что некогда звучала в том Иркутске, который мог похвастаться только двумя роялями, но при этом умудрялся услышать «нового» Беллини прежде Петербурга: в дома декабристов высылались ноты из самой Италии и чуть ли не из первых рук...

Так вышло, что именно к «декабристским дням» – пусть с обидным, но уже, слава Богу, пережитым нами опозданием – вышла первая книга Виталия Диксона.

Для интересующихся литературой имя это не ново: некоторое время Диксон был увлечён политическими играми столичных и местных старо- и новопартийцев, многое себе позволял, многих раздражал – причём не только резкими оценками депутатов очередной волны, но и прогнозами на их будущее (некоторые из этих прогнозов, и правда, сбылись); потом Диксон оставил эти занятия – увлёкся сочинением нового, кажется, шестого по счёту романа...

В первой книге Виталия Диксона мы находим роман и рассказы – в них множество знакомцев и незнакомцев, петербуржцев и иркутян; здесь Петербург Державина и Иркутск Сперанского, иногда – глухая провинция, иногда – краешек священного Олимпа для философов из народа, доморощенных поэтов и собственных политиков, с азартом играющих в самодержавие, свободу и демократию.

Историк по образованию, Диксон умеет читать архивы; офицер по судьбе, он рискован в своих сюжетах; писатель по духу, он отчаянно влюблён в разноцветье архаизмов и неожиданные переливы сочных эпитетов; его живые диалоги стучатся в театр, выведенные им характеры тревожат воображение и надолго остаются в памяти...

Со временем об Евгении Введенской и Виталии Диксоне будут привычно говорить, как о лучших представителях нашей культуры – на этом настаивает добротность освоенных ими школ, их разумная оглядка на традицию и симпатичная житейская несуетность.

В связи с последним я не могу не упомянуть имя одного из замечательнейших наших актёров, Александра Зиновьевича Бермана.

Всю жизнь отдавший служению театру, интеллигентнейший из иркутских лицедеёв, Александр Зиновьевич ещё с большим опозданием, нежели Введенская или Диксон, получил официальное признание – только на днях. В канун своего шестидесятилетия он удостоен звания заслуженного артиста России.

Впрочем, многие из нас знали цену Александру Берману задолго до этого.

Порадуемся за Александра Зиновьевича, а заодно и за себя: наша влюблённость услышана столицей.

Порадуемся за наш город, за эту Сибирь, на которую сегодня с завистью глядят из центра: у нас по-прежнему больше хорошего, чем плохого – всякую неделю случается что-либо важное для души...

Только бы без войны, которая, увы, возможна...

Андрей ДОР

«Советская молодёжь», 17 декабря 1994 г.

(Рубрика: Декабрьский монолог)

* 10 декабря 1994 г. – введение российских федеральных войск в Чечню.

«ПЯТЫЙ ТУЗ»

С какой любовью и изобретательностью можно устроить день рождения книги, я узнала лишь недавно в Доме актёра. Событие называлось модным словом «презентация» и посвящалось выходу в свет романа Виталия Диксона «Пятый туз». Диксон ждал этой публикации несколько лет и дождался-таки – к пятидесятилетию своему юбилею.

Виталий Диксон – из военных, но пишет очень давно. Газетчики знают его как журналиста, более десяти лет сотрудничающего в «Советской молодёжи». Он – член Союза журналистов России. И вот сейчас мы узнали его в качестве писателя. Не в короткой заметке говорить о достоинстве его первой книги. Речь о другом: как искренне радовались публикации друзья писателя.

Давно не доводилось бывать в писательской среде, атмосфера которой не была бы пронизана взаимной неприязнью. На юбилее у Диксона главным героем была литература, не растерзанная по «городским» и «деревенским» группировкам, не служанка у политиков и обществоведов, а литература как вид искусства, как результат творчества. Среди гостей были не только писатели и поэты. Пришли журналисты, художники, музыканты, артисты. Режиссёр Вячеслав Кокорин открывал книгу, находил любимые страницы и читал вслух самые интересные куски из «Пятого туза». Гости слушали, восхищались эрудицией автора, радовались лёгкому его слогу и сочному слову, смеялись вслед за

автором над ситуациями, в которые попадали его герои...Поэты читали стихи, посвящённые юбиляру. Музыканты теснились у пианино и, порою в четыре руки, исполняли любимые мелодии. Звучали и романсы. Случайно оказавшийся на празднике бард из Москвы Михаил Кукулевич взял в руки гитару и запел песни молодости Виталия Диксона. И было даже нечто, похожее на лезгинку, в исполнении художника Коли Башарина. А Марк Сергеев написал подобающую случаю песню на старинный русский мотив, в припеве которой были недвусмысленные слова: «Подари мне книгу, Диксон!»

И Виталий Алексеевич книгу подарил – всем без исключения гостям. Так первые пятьдесят экземпляров «Пятого туза» сразу же пошли по рукам.

Поздравляли и художника Валерия Мошкина, оформившего книгу с большим вкусом и точным соответствием стилистике романа...

Одним словом, день рождения книги, удивительно совпавший с юбилеем писателя, оказался не только приятным во всех отношениях праздником, но и преподнёс всем счастливый и почти забытый урок дружелюбия и уважительного отношения друг к другу.

Светлана АЛЕКСЕЕВА,

«Восточно-Сибирская правда», 24 декабря 1994 г.

НАВЯЗЧИВЫЕ РИФМЫ НА ТЕМУ ДИКСОНА

Виталик, пья за бочкой бочку
И восклицая: «Проза, пой!», -
Я посвятил тебе запойчик,
Перерастающий в запой.

Я в семь начну, а в два закончу,
Потом отправлюсь за тобой,
Ведь мой запой плюс твой запойчик –
Уже особенный запой!

Мы будем пить. Очнёмся ночью,
Я – под луной, ты – под звездой...

- Ты кто?

- Болван, я твой запойчик!

А ты?

- Кретин, я твой запой!



Уйдёшь во мглу – смахнёшь заборчик,
Шагнёшь в волну – спугнёшь приборой...

Ты – почвенник: ты ладишь почву
Под мой запойчик, свой запой.

Ты – почвенник: ты верен почве,
В ручьи и речки завитой.
Тыходишь в реку, как в запойчик,
Уходишь в небо, как в запой.

Ты вечером стило заточишь,

А уж под утро за тобой –
Вся разграмматика – в запойчик,
Вся расстилика – в запой.

Ты западник, и коль захочешь –
Заплачь, заматерись, запой...
Ах, извини меня за почерк!
Гляди, как вежлив мой запойчик,
Придерживая твой запой!

Анатолий КОБЕНКОВ

15 декабря 1994 г.

Автошарж А. Кобенкова из архива В. Диксона

**НАРОДНАЯ РУССКАЯ ПЕСНЯ,
СОЧИНЁННАЯ СЕГОДНЯ**

*Презентации книги Виталия Диксона
посвящается*

Я думал: Диксон – остров. Но
Мне все сказали: «Фиг!»,
Поскольку Диксон – просто он
Создатель славных книг.
И не моря солёные
Кричат ему «Привет!»,
А книжечки зелёные
Сегодня вышли в свет!

Поют все! Диксон, Диксон, Диксон... – и т.д.

Не мелодрамы куцые! –
Виталий втиснуть смог
Историю иркутскую
В витиеватый слог.
Не мафия-италия,
Не происки Кремля,
А в книге у Виталия –
Иркутская земля!

Поют ещё более все! Диксон, Диксон... –и т.д.

Как в кожу аллигатора
Затянут этот труд,
Зато, брат, плагиаторы
Ни строчки не сопрут.
Еда не калорийная
В писательском дому.
Но книга колоритная –
Питание уму!

Поют все-все! Диксон, Диксон, Диксон... – и т.д.

15 декабря 1994 года.



ЛИРИЧЕСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Неловко говорить, но буквально до недавнего вчера нам более всего удавалось объяснить писателя и его книги той средой, что его воспитала, и тем родом занятий, что выпали ему по жизненной судьбе, независимо от писательских наклонностей.

Нам казалось, что только геолог может доподлинно описать таёжные тропы, в то время как звёздные бездны или больничные коридоры должны быть изображаемы соответственно сочиняющим астрономом или графоманствующим эскулапом.

Мы мыслили литературу, как бытовую фотографию, где самое важное – схожесть изображения с существующим оригиналом. Редкие исключения делались для пушкинских бесов, Достоевской бесовщины и Булгаковской Маргариты.

Любое вмешательство в реальность и всякое смысловое смещение нас смущали, поскольку чистота и ясность писательских помыслов при незамутнённости жанра ценились нами более прочего.

Скорее всего, прежде всего именно по этим причинам выход первой книги Виталия Диксона был задержан до нашего дня, когда всякое правило может быть опровергнуто, а таинственная неопределённость писательского замысла допустима.

Промытарившись большую часть своей жизни по военным гарнизонам, используя всякую свободную минуту не офицерски и даже не по-писательски – обыкновенно занятый разгадыванием полуистлевших «пергаментов Клио», Диксон заполнял лист за листом реально не видимым, но реально возможным; он азартничал в разгадывании лиц исторических, заодно набрасывая тот возможный для их существования бытовой фон, что, по его разумению, наилучшим образом соответствовал и придуманному им иркутскому пищику, и почти непридуманному певцу Фелицы Гавриле Державину.

Если Тынянов начинал свои сочинения там, «где заканчивается документ», то Диксон берётся за складывание своих исторических фарсов там, где срабатывает воображение, – на любой из строчек читаемой им летописи, хоть на первой, хоть на предпоследней; он отрывается глазами от документа, дабы всякое увиденное «округ себя» прочитать как его продолжение; таким образом, ударивший по глазам закат совпадает с закатом чьей-

то судьбы, та, поддерживаемая воображением, в поисках своего двойника, ломится к соседям, а находит его за двухвековым перевалом: «и дольше века длится день...»

В свою первую книгу Виталий Диксон включил большую вещь, которую определил как «фарс-роман», и вещи поменьше, что, под общей шапкой, предлагаются нам как рассказы; однако, взятые по отдельности, они подаются с некоторыми уточнениями: «страдания», «мизансцены», «прелюдия», «историческая композиция», или уж вовсе запросто – «три сюжета».

Фарсовость Диксона – его исторические шаржи, выпадающие в осадок лирико-публицистических отступлений, – прямая родня его писательскому недоверию ко всякого рода историческим хроникам. Диксона мучит не столько то, что в них присутствует, сколько то, что отсутствует.

Всякий диксоновский фарс – это, по сути, выкликание отсутствующего и отсутствующих: былая жизнь тем и хороша, что непонятна, необъяснима и неизмерима; она – живое млеко для наших фантазий и чудная музыка для нашего слуха.

Слух Диксона удивителен: он слышит диалоги тишайшего восемнадцатого столетия столь же чётко, как мы – диалоги своих депутатов; он как бы зрит наш язык в его былом произрастании и, находя особое удовольствие в общении с его милой неуклюжестью, естественной замусоренностью и нелепым смешиванием «высокого и низкого штилей», арканит всё это своей хищно-молодой строкой.

До чего хороша в той строке перекличка кокетливых архаизмов с неотёсанными бытовизмами былых времён – как забавен диксоновский стол «на четыре куверта», за коим Фелицитата Даниловна жалится на свою «меланхолию-с», что переливается «каждый божий день... из косточки в косточку», а у её желанного гостя, Ванечки Почекушина, эта самая штука «меланхолия-с» «ажно в кишках урчит...будто исти просит...»

Кабы не было в книге Диксона поистине замечательно выписанных реально существовавших исторических лиц: Пестеля и Сперанского, Муханова и Кропоткина, не будь в его книге презабавных физиономий «лакейской ассамблеи» и купеческой гильдии, не случись – среди неожиданных исторических мозаик и их транскрипций – прелестнейших описаний старого Иркутска, я

бы всерьёз упрямялся, зачисляя в главные диксоновские герои, в первую очередь, его поистине независимо живой язык.

Между тем, при всей парадоксальности исторических смещений и выводов (иногда и впрямь по этой части несколько переигрывающий и как бы заговаривающийся), Диксон складывает свои сюжеты столь странно хитро, дабы лишний раз определиться в своём отношении к России и россиянам.

Он кочует из века в век, переходит из дня сегодняшнего в день минувший с неизживаемой болью за тех, кто уже по-человечески не случился, и за тех, кто, возможно, уже не случится. «Что делать?» - спрашивает Диксон. «Кто виноват, - допытывается он, – дураки или Дураки?».

«Время ли виновато? Да нет, оно не виновато. И реки не виновны в том, что люди в них тонут. И ухабы большой дороги нечего винить за человечьи шишки на лбу. И на зеркало не пеняют, коли рожа крива...Есть русское слово – «виноват». И корень в нём – зловещий: вино, вина...распухший, кровоточащий, как след бича».

Для кого-то это мозаика из перекликающихся друг с дружкой слов, для кого-то – узор из пережитых болей и переживаемых умолчаний, для меня – сама боль...

Я знаю, что Диксона не всякому дано освоить немедленно – он не традиционный беллетрист, не дотошный историк, скорее – фантастический хроникёр, лирический летописец, презабавный коллекционер былых анекдотов и исторических умолчаний.

Новый, непривычный, но заразительнейший из наших сегодняшних писателей!

Павел ВАРВАРИН,

«Труд» (Москва), №239(22257), 24 декабря 1994 г.

ИСТОРИЯ СОБОЛЕЙ ШУБЫ

«Известно, что Пётр Великий своих администраторов делил на хороших и плохих, причём последних не гнушался делить на головы и туловища – топором. Первый сибирский губернатор князь Матвей Гагарин в 1721 году кончил живот свой на плахе по указу государеву – «за воровство». Почти одновременно с ним казнили иркутского воеводу Лаврентия Ракитина, ограбившего казённый караван. Через четверть века вытянули из Иркутска в Санкт-Петербурх и определили на пытошную

*дыбу вице-губернатора Жолобова, дравшего плетьюми промышлен-
ленных и торговых людей за несдачу подарков...»*

Неторопливо начинается повествование, а жутко становится. Жутко интересно оказаться в глубине отечественной истории, в собственном «граде Иркутском» бродить, узнавая не только улицы, но и дома на них.

Два с лишним века – валы времени! – прокатились над Ангарой, над Сибирью, над Россией, а что изменилось?

Впрочем, хватит кружить вокруг да около. Покинувши историю книжную, вернёмся на минутку в историю вчерашнюю и нынешнюю. Раньше было: бежишь вдоль книжных прилавков, приветствуешь шеренгу корешков-братьев: «Материалы...съезда КПСС», сочинения Ленина-Маркса-Энгельса-Генерального секретаря... Теперь прилавков больше, а на них «Анжелики», «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» в придачу. Хорошую книгу, как и раньше, искать надо.

И то правда: скудно живут нынче местные издательства, в долгах. И потому приятной неожиданностью стал для иркутян выход в свет фарс-романа Виталия Диксона «Пятый туз» – книги, повествующей о минувших временах и современной до ожога пытливого сознания. Под одной переплётной крышкой живут в страстях человеческих высокие пииты и низкие босяки, правят преступники-губернаторы, а казнят – героев войны 1812 года, декабристов. Тут каждое действующее лицо носит своё подлинное имя: поэт российский и генерал-прокурор Гаврила Романович Державин, купец Григорий Шелихов, вор Гуца, Павел Пестель – полковник, сын сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля, повешенный с товарищами 13 июля 1826 года. И каждый приведённый факт – факт исторический, доподлинный.

Есть, например, в иркутской истории такая мета. Сибирский губернатор Иван Борисович Пестель наблюдал за положением дел на вверенной ему территории из столицы империи. А его единственный накат в Иркутск на берегах Ангары запомнился надолго. Гражданскому губернатору Трескину Иван Борисович в первый же день своего визита выразил неудовольствие: «Сенат и всё петербургское общество только и говорят с огорчительной озабоченностью о том, что улицы Иркутска находятся в совершенном расстройстве!.. Поспешайте же с исправлением

городского пейзажа». Трескин вызвал чиновника по особым поручениям. Чиновник по особым поручениям вызвал полицмейстера. И решено было вывести городской порядок «под линейчку». Для того в тюремном замке набрали команду из воров да каторжников, вооружили её пилами и топорами, и начали они выправлять улицы города по-свойски: где полдома за «красную черту» выходит – они дом пополам распилят, где четверть дома наружу торчит – четверть оттяпают. За расторопность и находчивость полицмейстер удостоился похвалы, а вор Гуца, командовавший «каторжными плотниками», – особой благодарности.

*«Вдребезги пьяного Гуцу почтительно вывели из камеры, сопроводили в подвал и аккуратно расположили на «кобыле». Потом полицмейстер ласково погладил Гуцу по голове, откинув чуприну на сторону, и в тот же миг тюремный палач шмякнул по Гуциному лбу раскалённой железной бляхой. Дико взвыл Гуца, запахло палёным мясом. На лбу «градоправителя» вскипело: **«Не воръ»**».*

Это – не вымысел. Именно так всё и было: на исходе XVIII века петербургский обер-полицмейстер Татищев предложил выжигать перед воровским клеймом (воръ) безвинно пострадавших людей отрицательную частицу «не» – как знак оправдания, извинения и полной благонадёжности человека, ставшего жертвой судебной ошибки.

Не отсюда ли у нас и потянулась до сего времени реабилитация по-русски?

А что, читатель, означает мудрёное слово «акциденция» (по-иному, по-русски: «барашек в бумажке»)? Да взятку же! И откуда ж она взялась? Дотошный автор выводит её из «перестройки деятельности административного аппарата, вызванной реформами первой четверти XVIII столетия».

Известно, что в 1722 году Пётр I издал «Табель о рангах». Это упорядочило иерархическую систему управления, однако породило огромное количество бюрократических учреждений. Вместо прежних приказов Пётр создал 12 коллегий, главными среди которых были военная, морская и иностранных дел. Финансовыми делами государства занимались камер-коллегия (доходами), штатс-коллегия (расходами), ревизион-коллегия (контролем). Делами торговли и промышленности ведали ещё три. Число чиновников возросло, а средств, как и нынче, не

хватало. И вопрос денежного содержания низшего чиновничества Пётр решил путём введения практики акциденций. Установив постоянное жалование канцелярской верхушке, он официально разрешил низшим служащим коллегий и судов пользоваться доходами от добровольных подношений со стороны челобитчиков.

Екатерина II предприняла целый ряд отчаянных мер для искоренения взяточничества. 15 декабря 1763 года она выпустила манифест с длиннейшим названием «О наполнении судебных мест достойными честными людьми; о мерах к прекращению лихоимства и взяток; о взимании с 1 января 1764 года по приложенному реестру положенных по новым штатам на жалование разных сборов и об отсылке оных в штатс-контору». Однако взяточничество манифестам царицы не поддавалось. (Оно, родимое, и нынешним строжайшим указам не подвластно).

То – темы глобальные: державный фон. А на нём яркие звёздочки событий поменьше. К примеру, история портрета Гаврилы Романовича Державина (и ныне выставленного в Иркутском художественном музее).

Портрет тот исполнен кистью итальянца Сальваторе Тончи «в натуральную величину, в сибиряковской шубе и шапке, на фоне дикой скалы и снежной равнины». Только на музейной картине почему-то ни дикой скалы, ни снежной равнины – городской пейзаж там. Тут свой секрет имеется...

Прежде портрета, конечно, случилась история собольей шубы и шапки, которые знаменитый иркутский купец Сибиряков преподнёс в дар Державину. Гаврила Романович отдал купцу копией собственного портрета с картины Тончи. Потомки купца украсили «бедноватую копию» по эскизу прославленного петербургского рисовальщика – «русского Рафаэля» с калмыцкими скулами Алексея Егорова. Над головой Державина изображали крылатого гения, дудящего в трубу, из которой морозно выпархивала эпиталама: «Дай Бог побольше таких».

Сие не понравилось генерал-губернатору Синельникову, обнаружившему портрет в чуланах резиденции восточно-сибирских губернаторов, коей стал дом Сибиряковых, проданный в казну. Ссылному польскому художнику Станиславу Вронскому было велено поправить портрет. Стихотворцу оставили одну шубу, а излишнюю аллегория замазали. Вместо того появились на порт-

рете новые «топографические детали»: панорама Иркутска, а на заднем плане – вершины Хамар-Дабана.

Уже в наше время холст реставрировал академик Игорь Грабарь и по просьбе работников Иркутского художественного музея оставил на портрете Державина следы работы другого художника – пейзажиста Вронского.

История полна историями. А в них разбросаны писателем заковыристые вопросы: «Почто алтынного вора вешают, а полтинного уважают?»... «Горьким быть – расплюют, сладким – так и вовсе проглотнут. Как быть?»... «Случай ли возносится на пьедестал рока или же судьба низводится до рокового случая?»... А вопросы те окружены словечками знакомыми, внове раскрывающими свой первый, подзабытый ныне, смысл: правда оттого «подлинная» и «подноготная», что «подлинники» под ногти вгоняли каты; а «разбазарить» что-то удачно – продать, значит, с прибылью.

Рефреном звучит у автора: «Грех – сладок, человек – падок». Всё так. И ничего не изменилось в мире людей – страстишки человеческие живы, всё осталось на своих местах – зависть, предательство, ненависть, жажда власти; всё при нас – «в нутре». Прежде крестьянин завидовал однодворцу, что у того плуг железный. Теперь горожанин завидует соседу, раз у того дверь бронированнее, а машина – иноземнее. Что изменилось?

Оттого и заявил автор роман как фарс. «Богатое слово – фарс, - объяснился автор. – Это публичное представление и народное искусство, это шутовство и особо циничное поведение. Если спроецировать слово фарс на историю Руси, России – слово, я думаю, самое подходящее. Происходит всё, и никто при этом не стесняется никого!»

Более читателей выходом книги был, пожалуй, удивлён сам автор. Это его первое большое сочинение, увидевшее свет. Но – пятое из когда-то обещанных к выпуску книг. Не получилось опубликоваться на Дальнем Востоке, рассыпалось издательство в Томске, не хватило пяти тысяч рублей в издательстве Иркутского госуниверситета... Зато теперь, аккуратно к своему 50-летию, «молодой» писатель получил сигнальный экземпляр романа, законченного ещё в 1988 году.

Как бравого военного, с полным напрягом тянувшего лямку армейского офицера, забросило в литературу – разговор особый.

И сейчас, наверное, не к месту. А книжка появилась на иркутских прилавках – факт.

Алексей КОМАРОВ

«Труд» (Москва), №31(22292), 22 февраля 1995 г.

ИРКУТСКИЕ ПРОГУЛКИ С МУЗОЙ ИСТОРИИ.

Впечатление о книге Виталия Диксона «Пятый туз».

...Поучал по пьяному делу отставной, пищик, то бишь писарь, состоявший при полевой кухне во времена прусской кампании, Савелий Петрович Почекушин сына своего Ваньку, тоже пищика: «Зарубливай себе на носу, поскокиш! Первый туз – дом. Без дома человека нетути...Второй туз будет жена добрая. Дом без бабы и кошки вовсе не дом. Третий туз – сам, хозяин. Четвёртый – мошна. Капитал, стало быть. Добрецо-богачество. Четыре туза на руках – играть, конечно, приятно. Да в неровен час и посклизнуться можно! А чтоб сего не приключилось, пятый туз гуляет по миру меж людей. Барашек в бумажке. Дача!» - и, заметив, как сынок медленно наливался аlostью, подумал: «Уже берёт, подлец, не иначе! Ежли краснеть разучится – далеко пойдёт, поскокиш!»

В Восточно-Сибирском книжном издательстве вышла книга Виталия Диксона «Пятый туз». Фарс-роман. Картина иркутской, сибирской, российской жизни на протяжении сорока лет. Рубеж восемнадцатого и девятнадцатого веков. Кого только нет на страницах этого фарс-романа! Государыня императрица Екатерина Алексеевна с фаворитом своим Платоном Зубовым и сибирские губернаторы, сатрапы и мздоимцы Якобий, Пестель, самодур нерчинский князь Нарышкин, ходивший боевым походом на Иркутск, и усердный дурак Трескин, руками острожников под предводительством вора Гущи «подровнявший» улицы нашего города «по перпендикулю» при посредстве пил, ломов и топоров, за что оный Гуща как патриот и «градопоправитель» удостоился высокой чести – клеймён по лбу перед буквами ВОР отрицательной частицей НЕ. Проходят по страницам романа кабацкие питухи, лесные бродяги-соболятники, каторжники и казаки, купцы и чиновники, бородатый татуированный граф Фёдор Толстой по прозвищу Американец, и британский посол, он же шпион и авантюрист Джон Ледьярд, которого обхитрил-таки казачий атаман с амурского порубежья Три Ивана – поил и парил в бане до полусмерти англичанина, а тайн государственных не

выдал. В неожиданном освещении предстаёт пиит Гаврила Романыч Державин. Не только, оказывается, пиит, но и угодливый царедворец, честолюбец, хапуга, не брезговавший «пятым тузом» – «добровольными пожертвованиями», как деликатно назвал взятку Пётр Великий. Даже воспетая Державиным Фелица – императрица Екатерина, и та была раздражена его угодливостью: «Почто пиит так нагло врёт?»

Главным героем романа Диксона является, конечно, матушка-история, но три персонажа выделяются из многолюдья. Охотник на соболя, беглый каторжник Киря-шатун, купец Нил Гаврилыч Карягин, упекший на двадцать лет в Нерчинские рудники этого самого Кирию по доносу, и зять Карягина пищик, а затем и губернский секретарь, любимец губернатора Ванечка Почекушин, тот самый, кого папаша поучал уму-разуму. Первый – работяга, хребтом и мозолями коего богатеет государство Российское и награждает его пыткой, каторгой, кабалой. Двое других это самое государство представляют – купец-живоглот, который «самому сатане в дядья годится», и чиновник-паразит, который «скорострельно плодит себе подобных и даже ещё более *паразитических*». Не было и нет на Руси язвы неистребимее чиновничества. Чем выше чин, тем меньше чиновник обязан знать и уметь, зато берёт больше – и по Петровской, и по всем последующим табелям о рангах. «Дерёт коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа приказный, а приказного – аж сам чёрт».

Киря-шатун погибает, как и положено соболятнику, в тайге, так и не избавившись от кабалы, в которую загнал его купец Карягин. Но есть на свете справедливость и для карягиных. Ни пять, ни десять тузов не принесли кровососу счастья. А уж финал пищика Почекушина и вовсе смехотворен. Сызмальства привыкший подличать, дошёл до того пищик, что оговорил в политической неблагонадёжности...самого себя. На том и «подвинулся».

Есть в романе ещё один персонаж, которого невозможно не заметить. Это каторжный товарищ Кири-шатуна Северьян Кукса, прозванный так за то, что размолотило ему пальцы на обеих руках в руднике. Стал после побега Кукса странником-бунтарём, не боящимся «лаять» власти и саму государыню. Для автора он остаётся героем *проходящим*, перешагивающим границы эпох и государств, «страмствующим» из века в век. Автор предоставляет самому читателю поразмышлять над его блуждающей звездой,

ибо до тех пор, пока существует несправедливость, будут появляться и борцы против неё. Кукса – воплощение горя людского, но не смирения. Даже Киря-шатун, чью жизнь загубил купец Карягин, мается думой, можно ли ближнему своему башку проломить – «хошь и свинья, а всё ж в человеческом обличье по земле ходит», – так что даже сам Никола-Угодник, сошедший с закопчённого образа, говорит старому соболятнику: «Прощай врага своего, Киря, до трёх разов, а на четвёртый хворости почём попало. Дозволяю». У Куксы таких сомнений нет.

Автор предлагает читателю через век минувший понять век нынешний, тоже уже уходящий, «век очистительных революционных гроз, когда открыли заплаканные глаза целые континенты». Жестокий век, воспитавший не одно поколение железных людей, сражавшихся в лютый мороз под Иркутском и в лютый зной в Туркестане, учивших иностранные языки после боя, чтобы потом использовать это знание в Испании и во многих других странах, уходит. Но несправедливость остаётся. Остаётся и стародедовский метод деления людей на «человеков» и «гадов ползучих». «И слово «свобода» не утратило клятвенной трепетности первого признания в любви...»

На мой взгляд, это размышление, словно выламывающееся из повествования, отнюдь не «фарсовое», – самая проникновенная страница романа.

Сие впечатление о романе не было бы полным, если бы ничего не сказали о неподражаемом диксоновском юморе. Несмотря на трагическую судьбу главного героя Кири-шатунa, роман невозможно читать без улыбки. Диксон, как никто, по крайней мере, из иркутских писателей, умеет так вывернуть слово, что оно приобретает совершенно неожиданный комический смысл. Ну, кто бы мог подумать, что привычное слово «обеспечить» означает то самое действие, когда в доме без хозяина соседи растаскивают печь по кирпичику! Книга полна подобных юмористических ситуаций. А чего стоит хотя бы вот эта сцена! Иркутский полицмейстер (по-нынешнему начальник УВД) пробуждает «патриотизм» в своих подчинённых.

«- Здорово, орлы!

- Здра...жла...ваш...бродь!

- Орлы вы у меня аль нет?

- Так точно!

- А нужны ли птицам денюжки?

- Никак нет!

- Вот и я так думаю, орёлики. Жалованье ваше, стало быть, я того...стратил. По велению сердца. На нужды любезных сограждан. Теперича ваша очередь жертвовать со строгой, конечно, добровольностью».

Кроме романа «Пятый туз», в книге опубликованы рассказы, героями которых являются люди, оставившие след в истории, или почти не оставившие. Допустим, декабриста Муханова, графа Фёдора Толстого-Американца, князя-бунтаря Петра Кропоткина и, может быть, даже помещика-мечтателя Павла Бахметева, отдавшего своё состояние Герцену на революционную пропаганду и уплывшего навсегда в южные моря, знают многие. А вот история московского мещанина Никифора Никитина, в 1848 году сосланного за крамольные речи о полёте на Луну на поселение в Байконур, слышали далеко не все. Я, во всяком случае, о такой «шутке Клио» без рассказа Диксона вряд ли бы услышал. Рассказ «Синяя птица, синие чулки» о печальной судьбе выпускниц Смольного института, посвятивших свои жизни российской статистике и оказавшихся, как и сама наука, не нужными новой власти, является одним из лучших, прочитанных мною за последние годы.

Творческая общественность Иркутска уже поздравила Виталия Диксона с долгожданным выходом его умной и доброй книги, но широкому читателю она ещё, к сожалению, неизвестна. Не очень пухлый томик, прекрасно оформленный иркутским художником В.Мошкиным, вышел тиражом всего пять тысяч экземпляров и находится всего в одном магазинчике под названием «Сибирская книга», что на углу улиц Горького и Марата – в стороне от «людохода», как выразился сам автор. В других книжных магазинах «Пятого туза» почему-то нет.

Игорь ПОДШИВАЛОВ

«Советская молодёжь» (Иркутск), 4 марта 1995 г.

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ «ПЯТЫЙ ТУЗ»?

Появление новой книги случается сегодня не так уж часто. Причины этому, не трудно догадаться, весьма тривиальны. Множество иркутских издательств – крупных и помельче –

дружно терпят жестокий финансовый крах; на лубочно-красочные детективы и вездесущую эротику подчас не хватает средств; о книге же серьёзной, рассчитанной на читателя взыскательного, к тому же ещё книге исторической, чаще всего и говорить не приходится: слишком огромен риск. И тем не менее, Восточно-Сибирское книжное издательство на такой риск решилось. И не прогадало. Роман иркутского писателя Виталия Диксона «Пятый туз», недавно появившийся на книжных прилавках, сразу привлёк к себе внимание не только поклонников хорошей исторической прозы, но и знающих в литературе толк специалистов. Им – читателям – сегодня и карты в руки.

Автор завидно знает прошлое Восточной Сибири. Это помогло ему зримо изобразить Иркутск с его проспектами, дорогами, строениями.

К достоинствам романа и, разумеется, автора нельзя не отнести игру мысли, остроумие, образное письмо. Многие страницы романа написаны мастерски, хотя, хочется сразу сказать, нередко автор «переживает» на так называемом «колорите эпохи», особенно это касается языка героев.

Николай Наволочкин, писатель (Хабаровск)

Роман В.Диксона подкупает тем авторским увлечением, с которым он написан. Увлечённость эта не может не чувствоваться читателем, и не может его не увлечь в свою очередь. Многие современные исторические романы как-то расчислены, пишутся как некое непосредственное приложение к сегодняшним социально-политическим коллизиям, а это затрудняет контакт с читателем. Роман же Диксона, как мне кажется, написан не по долгу службы, а из «чистого интереса», если угодно. Ему интересно погружаться в этот мир.

Виталий Камышев, литературный критик (Иркутск)

Язык В.Диксона ярок, выразителен, афористичен, а стиль, как совокупность приёмов письма, чёток и мажорен. Изображая страшные пороки общества минувших времён, автор, в отличие от иных литераторов, не очерняет нашей национальной истории.

Леонид Огневский, писатель (Иркутск)

*Отзыв профессора Иркутского государственного университета, доктора исторических наук **Николая Щербакова** мы сочли нужным опубликовать в полном объёме (от ред.)*

Чтобы войти в мир литературных героев романа Виталия Диксона «Пятый туз», пришлось совершить известное усилие и преодолеть довольно высокий порог – порог исторической плотности рукописи, произведения сложного, многопланового, насыщенного историко-философскими концепциями. Роман, как мне думается, не для лёгкого, быстрого, бездумно-развлекательного чтения.

На мой взгляд, автор понимает всю сложность поставленной перед собой задачи и именно поэтому сам идёт навстречу читателю, помогает ему скорее «погрузиться» в описываемые события, используя при этом своеобразную языковую архитектуру времени, о котором ведётся повествование. Мне кажется, что это оправдано, потому что с первых страниц настраиваешься на восприятие и осмысление событий далёкого от нас 18 века.

Передаёт ли роман атмосферу той эпохи?

Конец 18 века в сумме дал произведения Сумарокова, Чулкова, Новикова, Фонвизина, Княжнина, Крылова, Клушина, Страхова, Радищева и других писателей, даже анонимных. В основном это ироническая, сатирическая проза. Нет ли исторического парадокса в том, что в стране, испытавшей кровавую бироновщину, прошедшей только что застенки кнутабойца Шешковского, через екатерининскую цензуру, через варварские методы и приёмы формирования общественного мнения, – в этой стране литература хохочет? Возможно ли такое?

История не одной только России свидетельствует: в самом деле, было. И это «было» даже трансформировалось в проверенный жизнью трюизм: прощаясь с веком, люди устраивают ему развесёлые похороны. (Интересны в этом отношении рассуждения автора в начальных главах о грамоте и моде конца 18 века – расшифровка общеизвестного «По одежке встречают, по уму провожают», «мода смешна дважды: когда приходит и когда уходит»; подобное утверждение автор распространяет на весь комплекс общественной жизни). Но это ещё не всё. Главное, пожалуй, состоит в том, что в России того времени возникла

(впрочем, не в первый раз) причудливая ситуация, сродни той, в которой созревают каламбуры: столкновение старого языка с новым, книжного с разговорным, старая форма – новое содержание, новая форма – старое содержание, фарс. Переплетение, одновременное сосуществование двух языковых культур. («Аз есмь твоя дражайшая фидель», «наилепший камердинер», «вон из сей фатальной Москвы» – так М.Н.Загоскин передаёт наречие 18 века). Для России подобное не в новинку. Обратимся к Карамзину: «Оставляя употребление собственного русского, необразованного наречия, писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского, коего памятник есть наша библия, и коему следовали они не только в склонениях и в спряжениях, но и в выговоре или в изображении слов; однако ж, подобно летописцу Нестору, сшибались иногда и на употребление, отчего в слоге нашем закоренела пестрота, освящённая древностию...»

Да, такой конгломерат старого и нового в языке может быть смешным, даже, по-нынешнему, пародийным. Но он – исторический факт: старый язык (а вместе с ним обычаи, традиции, образ жизни, психологизм мышления и бытия) цеплялся за новое время, не хотел уходить: речь приобретала те самые затейливые черты, которые и во времена предшествовавшие, ломоносовские, и во времена последующие, карамзинские, и в нынешние времена дают повод к рассуждениям о книжном и разговорном стилях, граница между которыми, впрочем, весьма условна.

Нет ли этой самой «книжности» в языке романа В.Диксона?

Российский народ – традиционный книжный народ, любит (если не боготворит) «писаное» слово. В 1788 году (точка отсчёта событий в романе) в России напечатано 366 сочинений тиражом от 100 до 1200 экземпляров. Простолюдины тянулись к книжной грамоте, знали её, подражали ей. Любопытно в этой связи наблюдение Дениса Давыдова, приведённое им в «Военных записках». Партизаны в золочёных ментиках и с французским прононсом в говоре в первоначальный период войны иногда попадали в руки русских крестьян и принимались за наполеоновских гренадёров, а что из этого выходило – думать не приходится. Давыдов приказал соратникам решительно отличаться от французов, приноровиться к крестьянству, сам отпустил бороду, надел кафтан, а орден св.Анны заменил образком Николая-

чудотворца. Дело простое. Но когда партизаны, отбросив по нужде как французский лексикон, так и русскую речь гусарских офицеров, принялись изъясняться на так называемом простонародном наречии, то их, попросту говоря, никто из смоленских и калужских крестьян не понимал. Обеднённого, примитивного, некнижного языка (будь то в устной речи или в письменном приказе) русские крестьяне не понимали, более того, употребление псевдонародного языка, пишет Давыдов, «оскорбляет грамотных, которые видят презрение в том, что им пишут площадным наречием».

Так называемый книжный стиль входил в обыденную речь также и через церковную культуру: книги, проповеди. К тому же и правительственные указы «во всенародное сведение» приходили к людям через церковь.

Так каким же, спрашивается, был разговорный язык 18 века: книжным или простонародным? Ни тем, ни другим. Смешанным. Вполне возможно, тем самым, каким написан роман В.Диксона. Тем самым, который можно назвать и фарсовым, но который для живущих в то время был вполне естественным, хотя и вызывал смех, как и мода, приходящая и уходящая.

Я верю авторскому языку и языку его литературных героев, поскольку с помощью этого языка можно в какой-то мере ощутить «столетие безумно и мудро» со всеми его противоречиями как в целом обществе, так и внутри отдельного человека.

Возможно, наши потомки будут ломать голову над тем, как письменно передать разговорный язык предков? Перечтут они наши газеты и груды далеко не лучших книг – и остановятся на тех образцах. И будут, наверное, правы в своём выборе, потому что большинство из нас, ныне живущих, говорит по-писаному, что, к сожалению, не украшает родную речь, однако является исторической достоверностью.

И ещё. В романе В. Диксона часто встречается то, что современный читатель назвал бы фольклором. Нет ли здесь авторского перебора? Думаю, что нет. Это для нас, сегодняшних, дедовская мудрость стала восприниматься как хрестоматийный фольклор. Для людей, живших в романские времена, эта мудрость ещё была обычаем, нормой, обыденностью. Н.М.Карамзин свидетельствует: «Сверх церковного наставления и мудрых изречения Святого

Писания, которые врезывались в память людей, Россия имела особенную систему нравовучения в своих народных пословицах...Ныне умники пишут; в старину только говорили: опыты, наблюдения, достопамятные мысли в век малограмотный сообщались изустно. Ныне живут мёртвые в книгах; тогда жили в пословицах. Всё хорошо придуманное, сильно сказанное, передавалось из рода в род. Мы легко забываем читанное, зная, что в случае нужды можем опять развернуть книгу; но предки наши помнили слышанное, ибо забвением могли навсегда утратить счастливую мысль или любопытное сведение. Добрый купец, боярин, редко грамотный, любил внучатам своим твердить умное слово деда его, которое обращалось в семейную пословицу».

Теперь о персонажах. Нил Карягин (купец), Почекушин-младший (канцелярист), Киря-шатун (соболятник), Якобий (губернатор)... В их языке ощущается нечто общее. Возможно ли такое и нет ли здесь авторской уравниловки? Думаю, что это «нечто общее» с исторической точки зрения оправдано и мотивировано. Скажем, взлёты на губернаторские должности были тогда столь случайны и быстры, что человек, обряжаясь в эполеты, не успевал освободиться от тех корней, которыми был связан с недавним, не столь уж высоким прошлым.

Каков же вывод?

Язык романа звучит. Он, по-моему, тоже является персонажем и наряду с литературными героями помогает историческому, философскому и психологическому осмыслению «странного века».

Я думаю, что не все разделят моё мнение. Возможно, будет и раздражение. Объяснение этому простое, слишком многое нами утрачено, забыто, множество слов мы наполнили новым – то противоположным, то случайным, а то и вовсе непристойным содержанием. Однако, слова не виноваты, как замечает автор, виноваты люди, где-то когда-то совершившие вольную или невольную ошибку. В этой связи хочется сослаться на В.И.Даля: «Народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу себя ошибкою, а, напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он соскочил у нас, как паровоз с рельсов». Мне думается, что автор романа не ставил перед собой задачи под-

толкнуть читателя к старым и новым словарям, но само по себе это занятие полезное.

Вот такие непрофессионально-лингвистические мысли возникли у меня при чтении книги. Роман занимателен, познавателен, читается с интересом, больше того, даже с некоторым напряжением, поскольку не даёт возможности расслабляться мысли, держит в состоянии постоянной готовности к новому открытию, к столкновению с неожиданной мыслью, эпизодом, с новым сочным словом. Не стоит, вероятно, искать в романе «типичных представителей». Каждый персонаж жив по-своему и по-своему же является слепком со своего причудливого времени. Интересен недоговорённый образ Куксы – в нём должно быть много любопытного «на все времена». В авторской недоговорённости, возможно, есть свой резон, своя трагическая тайна, которая тянется веками и не открылась во всей полноте даже людям нашего просвещённого века.

После прочтения роман ещё долгое время не отпускает от себя, хочется вновь перелистать его страницы, где-то поспорить с автором, а где-то и продолжить его мысли о времени и о месте человека в своём времени. А это – не есть ли лучшая оценка литературного произведения? Думаю, что так оно и есть.

Обзор подготовила

Юлия Климашевская,

«Аргументы и факты»/Приложение «АИФ в Восточной Сибири», №15(756),
апрель 1995 г.

Анатолий КОБЕНКОВ

* * *

Виталию Диксону

Всё казалось, мы – великаны,
оказалось, что – лилипуты,
посреди больших снегопадов,
листопадов и катастроф;
в наших сумочках – сад вишнёвый,
в наших шкапчиках – лес еловый,

и луна, и звезда, и солнце
умещаются в зеркалах.
Но при этом радости нашей
в нашем доме обычно тесно;
наша мысль не любит подушек,
скрипа ставен и тьмы газет, –
я заметил, что ей удобней
засыпать на камнях Венеры,
пить мадеру из кратеров Марса
и обкуривать пыль Луны;
я отметил, что интересней
на тебя глядеть издалёка –
из окошек новых галактик,
космонавта стряхнув с ресниц...
Всё казалось, мы – лилипуты,
оказалось, что – великаны...
Впрочем, кто мы на самом деле –
после рюмочки и решим...

«Советская молодёжь» (Иркутск),
30 ноября 1995 г.

Татьяна АНДРЕЙКО
Восхождение к мельнице

Поэма

Посвящается В. Диксону

1.

Ты учил меня – так жучат котят:
Тыкал носом в самый малый просчёт;
В ритме сбой – и только клочья летят!
Огрызнёшься – и добавят ещё.
Среди ночи разбуди – хорейамб
Отстучать могла хоть пяткой, хоть лбом.

Но терпела я муштру, матерясь

Лишь сквозь зубы, потому что – слабо
На медведя в одиночку идти
И друзей в горах от смерти спасать.
Не случилось и с чертями кутить,
Как о том в своих ты книжках писал.

В твоей кухне, не желая задеть
Грубым словом местных мэтров и прим,
На трёхногом табурете сидеть
Я могла весь день, дуряя от рифм:
Недоношенных слепых мотыльков... -
Горсть стекляруса – не капля росы...

Но когда, как паутинку, легко
Голос твой, кружа, меня уносил
В горний край, где воздух – вереск и мёд,
И до пояса ромашковый снег,
Я клялась себе, что время придёт,
И в раю том поселюсь я навек.

2.

Кто считал бы эти ночи без сна! –
Когда рифмою – хоть в штопор входи,
А не дышит в мерных строчках весна,
И бумажной пылью пахнут дожди.

Солоны слова – слезой со щеки,
От отчаянья – полынью горчат...
Будет! кречет пить с хозяйской руки –
Лишь бы кровь из вен была горяча.

И однажды, в пьяном, злом кураже
Ты сказал мне, что с учёбой – кранты,
Что я выкручусь из всех падежей
И смогу ничуть не хуже, чем ты

Побасёнками толпу ублажать,

Доставать игрой ума до нутра,
А по сути – мы живём в миражах,
Чтоб не сдохнуть от тоски до утра...

Я присела, как обычай велит,
Приняла из рук твоих посошок...
Так смешно порою сердце болит... -
Словно шило положили в мешок.

3.

Ты не тронь, батяня,
 кнут с уздечкою,
Отпусти на волю дочь
 поперечную;
Видеть горлицей
 ты её бы рад,
Да слишком гордым был
 твой орлиный взгляд.
Как ломали тебе крылья –
 только хруст стоял, -
С той поры дано мне боль
 сердцем чувствовать...

.....

Не сердись на дочку, мама, - ей милее похвала,
Я последнюю монетку нищей бабке отдала;
Деньги – дело неживое, а душа жива стыдом.
Ты мечтала, чтоб под крышу был из золота мой дом. –
Только помню я из детства твою присказку-совет:
Не жалея голодным хлеба, коли денег в доме нет...

.....

Яму ковшиком копали – отвалилось донце,
Говорили, что не пара – про луну и солнце;
Мне купил дружок платочек, а на сдачу – вишенку,
Я за ночку голубочков на платочке вышила;
Мил со мною – до полудня, от полудня – я при нём,

Солнце - греет, вечер – лунный, остальное – наживём!
.....

В тёплой колыбелечке
Спите, мои солнышки,
За рекою мельничка
Мелет, мелет зёрнышки;

Спите, мои лапушки,
Сладок сон под дождичек...
Ставит тесто бабушка
Вам на подорожнички;

Чтоб быстрее в горушку
Шли дорогой длинною,
Дед сулил по пёрышку
Из крыла орлиного;

От рассветов до ночи
Заработал батюшка
Сыну – на котомочку,
Дочери – на платьишко;

То ли где-то спели мне,
То ли как-то слышала –
Есть страна за меленкой
Где живётся-дышится;

«Все пути – на Мельничку!» -
Прокричали вороны.
Ну, а если – мельничком,
Да тропую горною?

4.

Та тропа шла сверху вниз, словно дождь, -
Ни один дурак бы тут не пошёл,
Лошадей трясла бы нервная дрожь,

И пробрало бы осла до кишок...
Я срывалась – раз, наверное, шесть,
Но вставала... к сожаленью, жива,
Я вернулась бы – как холодно здесь! –
Но чем ниже – тем слышней жернова,
А чем выше – тем больнее дышать:
Словно битое глотаешь стекло,
И чем дальше, тем трудней каждый шаг,
И всё хуже гнётся шея в поклон.
На закате... а, быть может, и днём
Вдруг закончилась вершиной тропа –
Из желаний оставалось одно:
Умереть... или до смерти проспять...
В забытьи, не в силах смежить глаза,
Я сидела то ли ночь, то ли год.
Только вниз – вела дорога назад,
И лишь под гору – дорога вперёд...

5.

Как ни бегал от судьбы колобок.
Получился от лисицы – капут.
В чём же старой детской сказки урок? –
Как ни прыгай – всё едино сожрут.

Может, лучше просидеть на печи
Тридцать три годка, не двинув ногой,
А как станут мирных граждан мочить –
В одиночку всех уделать врагов?

То ль в самом подъёме на гору – смысл?
Или надо лезть на гору, чтоб сесть
И снести большую, умную мысль?
Только что-то очень хочется есть...

Но зато теперь сама ты – закон,
И свободой сколько хочешь дыши.
А покой какой! А снег тут такой –

Хоть поэму с продолженьем пиши:

Про искристый ледяной водопад,
Или – как трудна тропа на Парнас...
Или – что на горы лезем слгупа,
А вершины дремлют в каждом из нас...

На юру я прохлаждалась пока,
И молола голова чепуху,
Оперились подо мной облака –
Чисто лебеди... жаль, рыльца в пуху.

Полететь бы вместе с ними скорей,
Заждались, наверно, дома давно
И друзья уже, небось, у дверей, -
Будет праздник, будут смех и вино!

У меня для них рассказов – не счесть! –
Пусть из глаз исчезнут скука и грусть,
Ведь воистину – в горах что-то есть...
А с синяками я потом разберусь.

6.

За рекою Мельничка,
Рядом – садик с вишнями.
В гости к деду-мельнику
Сходим с ребятишками;

Гости – птицы редкие,
Деду – всё отдушина
Детям по конфетке даст,
Чтобы мамку слушались;

Вынет скатерть белую,
Чинно отобедаем
И под вишней спелой

Мирно побеседуем;

Выпьем с ним по-маленькой
Вспомню гору-горочку –
Усмехнётся старенький
В жиденюкую бороду;

Я не стану спрашивать,
Сколько мне отпущено...

Вишни

мерно

падают

В садике запущенном...

«Советская молодёжь» (Иркутск), 25 апреля 1996 г.

Татьяна АНДРЕЙКО
ТРИ ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ДИКSONA

I. Море и острова

– Земля! – радостно крикнул юнга, разглядев сквозь зыбкий предрассветный туман тёмную неровную полосу над горизонтом.

На палубу, зевая и почёсывая пятернёй живот поверх тельняшки, вышел капитан.

– Там земля! Я первый увидел! – повернул к нему сияющее лицо юнга.

– Да. Материк, – бросив взгляд на далёкий берег, согласился старый моряк, с некоторым удивлением отметив про себя, что вздымающаяся над морем твердь напоминает взлетевшую и окаменевшую в полёте гребенчатую волну.

Старик усмехнулся. Он даже не подумал, а скорее, каким-то неназванным чувством ощутил, что именно этот мимолётный прорыв из бесконечной, вневременной, но никогда не поднимающейся выше человеческого разумения горизонтали в иное, не видимое глазом пространство, где вещный мир сбрасывает с себя истлевшее рубище и является душе людской во всём блеске вечной новизны и непорочной наготы, – да, именно эти

секунды внезапного озарения и есть, наверное, то главное, ради чего он уже сорок лет заставляет себя просыпаться в затхлой улиточно-ублюдочной каютке... Груз? Консервы, мёрзлые свиные туши, апельсины... Деньги? У него их достаточно, чтобы купить гору консервов, свиных туш и апельсинов... И большой... огромный просторный дом где-нибудь вдали от побережья. Он так и сделает, если когда-нибудь не увидит вокруг ничего больше, кроме просто воды и просто суши...

– Неизвестный? – с затаённой надеждой выдохнул мальчишка.

Это было его первое плавание. Каждое утро наперегонки с солнцем его рыжая всклокоченная голова выныривала на свет. Крошечный золотистый блик, стремительно описав дугу вдоль борта, неподвижно замирал где-нибудь ближе к носу судна. Ожидание чуда... Если не вчера, то сегодня, непременно сегодня! А почему бы и нет? Разве он не может быть первым, кто откроет новый берег?

– Прекрасная земля, – сказал капитан. – Но она давно нанесена на карты.

Мальчишка, отведя глаза от причудливо изрезанной береговой кромки, разочарованно вздохнул.

А старик ещё некоторое время смотрел, как постепенно насыщается цветом и светом море, и всё чётче проступают на фоне неба строгие контуры горных вершин, склоны которых – он мысленно уже видел это! – **«усыпаны уставшими жить лепестками цветущей сакуры»**, как сказал однажды его друг-сочинитель. И подобие улыбки появилось у старого капитана на лице. Уже скоро... И он снова шагнёт на эту землю, чтобы в который раз впервые открыть её для себя.

II. Острова и люди

Два года назад Володя Пламеневский – наша вечно живая Усть-Илимская литературно-архитектурная достопримечательность – приехал из Иркутска с незнакомым для нас человеком. Трудно было представить вместе двух столь несхожих внешне людей. Пламеневский – шумный, словоохотливый, огромный, небрежничающий в одежде и плещущий через край здоровьем и идеями о переустройстве мира. Его же спутник был хмур, неразговорчив, наружность имел, я бы сказала, почти арапскую, но в более

светлом, «зимнем» варианте; шёлковый шейный платок – необычайная редкость в гардеробе сибиряка, не производил, как ни странно, ни смешного, ни вызывающего впечатления. И если возможно о чьём-то взгляде сказать «пронзительный и жгучий», то здесь был тот самый взгляд...

– Это Диксон, – на редкость кратко сказал Владимир. – У него недавно вышел первый роман.

Сильно подозреваю, что в то время Пламеневский, только что перебравшийся из Усть-Илимска на Байкал, ни с романом, ни с публицистикой Виталия Диксона знаком не был. А мы, усть-илимская пишущая братия, уже много лет позабытые-позаброшенные обоими иркутскими писательскими союзами и оторванные от литературной жизни культурного центра, тем более не представляли себе, что за «варяг» к нам пожаловал.

Собрать в нашем городе любителей поэзии «на Пламеневского» не составляет большого труда. Читальный зал библиотеки, куда мы пригласили своих гостей, был переполнен. Тем, кому не хватило стульев, облюбовали подоконник, а наиболее раскованные молодые люди устроились на полу.

Вообще-то Володя и в маленькой компании заговорит кого угодно, а уж если он – на публике, то тогда выходит из себя, и бурный поток любви к человечеству вырывается из его широченной груди... Пожалуй, даже самая «закаменевшая» душа способна оторваться от земли, увлекаемая этим поэтическим половодьем.

Пока Пламеневский парил и царил, я изредка – знай наших! – поглядывала на Диксона, скромненько притулившегося за столом и перелистывавшего рассеянно свою книжку. А когда Владимир закончил своё выступление, Диксон встал и заговорил. Очень спокойно и негромко...

Когда-то Т.Манн писал в своих дневниках о впечатлении, полученном от романа одной известной писательницы: «Хорошее знание народа и простой жизни эпохи... Без какого бы то ни было пренебрежения констатирую: стиль, в сущности, никакой; отсутствие всякого артистизма и языковой радости».

Будучи запойным читателем с многолетним стажем, я могу сказать приблизительно то же самое о сотнях отечественных и переводных произведений: верно подмечено, крепко сшито, но – никакой «языковой радости и артистизма».

Но Диксон... Но – Диксон! Он говорил и читал около трёх часов. На великолепнейшем русском языке. Без единого сбоя в сторону «новояза» или намеренной архаики.

Не знаю, как другие соотечественники, но я уже давно не испытываю чувства национальной гордости: его из нас, как пыль из ковров, десятилетиями выбивали... Но тогда, слушая Диксона, я упивалась звуками родной речи и ощущала себя представителем великой нации, ибо только недюжинный, художественно одарённый и сохранивший молодость чувств народ мог создать такой хрустально чистый, образно-музыкальный, озорной и живой язык. Спасибо нашим предкам.

III. Земля Диксона

Есть такая байка: встречаются за околицей два крепеньких мужичка в телогрейках. Видят друг друга впервые. И начинается разговор.

– Опеть дожджит...

– Опосля вчерошного дождя сеннишний поболее будет. Тучи-то ажно пёром прут...

И тут такой звук образовался, дуплетный: «Щёлк. Щёлк».

Это два писателя с диктофончиками в карманах вышли на охоту за истинно русским словом.

Это я – не к тому, чтобы камешком из-за пазухи да в чей-то огород.

Полностью разделяю пожелание, высказанное Конфуцием: «Пусть цветут сто цветов», – и в мыслях не имею намерения обидеть литераторов, радеющих о сохранении «золотого языкового запаса». Как говорится, святое дело. Но, на мой взгляд, беда многих, в основном провинциальных писателей, состоит в том, что благородное стремление к чистоте и сохранности национального языка оборачивается чрезмерно старательным подражанием.

Когда начинающие художники копируют работы великих мастеров, они, конечно же, осознают, что проходят этап ученичества. Было бы смешно, если бы кто-то из них всерьёз заявил, что оригинал и копия равнозначны в художественном плане. Точно так же, коллекция жуков и бабочек под стеклом или «муха

в янтаре» являются безусловно уникальными экспонатами для краеведческого музея, но поверить самому и уверять других, что если очень постараться, так они оживут и полетят – нет, это невозможно.

Однако в современной литературе попытки подобного «оживляжа», называемого почему-то «возрождением», предпринимаются сплошь и рядом. В результате на свет появляются тяжеловесные, «глиняные» по стилистике произведения, которые читать и скучно, и неловко. Вторичность, неестественность, психологическая неоправданность применения «обкатанной» несколькими поколениями литераторов манеры письма – короче говоря, я считаю, что очень многим современным писателям не удаётся найти «форму сегодняшнего дня».

Язык – субстанция живая, подвижная. Он меняется параллельно с жизнью, «примеряя» по пути различные формы. Не всегда удачные. И всегда во множественном числе. Доморощенный «новояз», «возвращённая литература», неистребимый «самиздат» и, наконец, словотворчество и языковое новаторство – о каждом из этих «материков» можно говорить до бесконечности, но наиболее продуктивным с точки зрения обогащения «золотого языкового запаса» является, на мой взгляд, словотворчество.

«Алхимиков слова» в рядах наших литераторов не так уж и много. Иркутский писатель Виталий Диксон – из их числа.

Уже в первом романе В.Диксона «Пятый туз» главным действующим лицом можно смело назвать русский язык. И это было сразу же подмечено не только профессиональными литераторами и критиками, но и читающей публикой. Знаю двух читателей – художника Геннадия Базюка и кандидата экономических наук Сергея Торопова – которые «под интерес» взялись за составление «словаря Диксона», который, в свою очередь, существенно пополнился после выхода в свет второй книги писателя «Когда-нибудь монах...»

Мне думается, что новаторство Диксона не только в том, что слово на страницах его книг развивается и перетекает из одной формы в другую прямо у читателя на глазах: из латыни и лаптей – в «лаптынь»... Важнее то, что слово у Диксона – не столько формальное средство для передачи содержания, сколько само по себе до предела насыщено различными смысловыми оттен-

ками. «Значимая форма» существенно дополняет содержательную сторону прозы. В сотнях фразеологических оборотов Диксона – целые пласты из отечественной истории и литературы, вызывающие множество ассоциативных чувств и реминисценций, зачастую на «нутряном», советско-генетическом уровне: «лубяная избушка» (да это ж домище на Лубянке!), «бог терпел, терпел – да как карабахнул» (трагедия Нагорного Карабаха!)...

Именно это многократное умножение смысловой и ассоциативной насыщенности фразы за счёт расширения «парадигмы значимости» почти каждого слова позволяет, как мне думается, сказать, что В.Диксон пишет на русском языке «сегодняшнего дня». И, конечно же, это поняли и почувствовали многие. Некоторые молодые писатели и журналисты уже выстраивают фразу «по Диксону». Или – «под Диксона». Наверное, это не так уж и плохо. Никому не запрещается пройти этап ученичества, копируя стиль мастера. Разве что не стоит забывать, что искусство, по О.Уайльду, начинается там, где кончается подражание.

Когда я впервые открыла книгу Диксона, то пережила ощущение «первооткрывателя». Но прочитав несколько десятков газетных статей о диксоновских романах, поняла, что «земля Диксона» уже открыта и активно исследуется. И, тем не менее, я несколько раз перечитывала книги, каждый раз открывая для себя что-то новое.

Скоро выйдет новая книга В.Диксона. А это значит, что у каждого из нас появится возможность ещё раз пережить чувство, названное Т.Манном «языковой радостью». Её на всех хватит.

«Комсомольская правда – Байкал», 19 июня 1998, №112(21845)

Матвей БРУТ (Анатолий КОБЕНКОВ)

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ВИННЫХ ЭТИКЕТОК: ЭПИГРАММЫ

Этикетка Диксона

То басы взлетят, то дисканты...

Ах, какая кутерьма

У дверей в сюжеты Диксона:

Диккенс, Дикинсон, Дюма,

Дарий, царская фамилия,

Дама Дитник, дуче Тен*...

Расквасная некрофилия –
С дзен-буддизмом и без дзен.
То мужик войдёт, то женщина,
То софизм, а то трюизм...
Дума, драка, достоевщина,
Фрейдоденатуратизм!

«Комсомольская правда-Дайджест» (Иркутск) - №1, 5 января 1998 г.

* Подразумевается литературный критик Н.С.Тендитник, профессор Иркутского университета.

Игорь ТУМАНОВ

Из книги: Монастырь квартирного типа: Стихи. - Изд-во журнала «Сибирь» совместно с изд-вом «Иркутский писатель», 1999. – С.219, 332-334)

* * *

Провинциальная возня
Не уступает метропольной.
Не осуждая, не казня.
Я ухожу в своё подполье.
Иркутск, приёмьш Ангары
И алиментщика Байкала,
Прими сердечные дары
Бойца бокала и вокала.
Ты мне увиделся, Иркутск.
Я разглядел тебя с годами.
Трамвай «однёрка» - твой Иисус
Гремит, как узник кандалами.
Остепенись! Открой глаза!
Остановись! Но не мгновенье,
А, скажем, «Пятого туза»
Счастливый крестник. Мановенья
Вполне достаточно руки,

Когда рука сжимает скипетр
Пророка (тише, дураки),
Чтоб ты умчался на Юпитер.
Зажило или зажило –
Какая разница. Большая.
Я вижу доброе жерло
На месте бывшего лишая.
Я не хочу вам быть чужим.
Я тут родился худо-бедно...
Мне двадцать восемь с небольшим.
Хоть это, право, незаметно.

* * *

В.Д.

Исполняется бархатистым баритоном («классический вокал») одинокого полуночного алкаша на мотив баллады А.Башлачёва «Петербургская свадьба». Во всех прочих случаях – исполнение считать полудействительным.

Дарить тебе стихи, начав с деепричастий,
Заканчивая их каким-нибудь «ого», -
Не так ли и «психе» колышится ОТ(с)ЧАСТИ(я),
Заманчивая, как купальник голубой.
История – и сто ты нарисуй и двести –
И Ярость или Трость – музыка языка.
Они тебя поймут, летящие на месте:
Одни – на пять минут, другие – на века.
Описывая мир, описывать пустоты,
А после – понимать, а после ... я молчу.
Фокстроты – отчего ж! За румб платил по сто ты,
Мне кажется, фокстрот я тоже оплачу.
Оплачу. Сто веков! Остроты – это кипиш,
Поскольку до острот крестьянин не дорос.
А строфы... Боже мой! В них тоже ведь не кинешь
Ни камень, ни любовь, ни пламень, ни погост.
Мой сон и вправду дик. Я знаю это, брате.
Италия моя, в Дудинке не бывал

Мой преподобный дед, а может, даже прадед,
А может быть, и внук... но тоже «пра» (пивал).
Ну, Дарвин... дар вина – и рад бы да обрыдло
Выслушивать наркоз законного з/к.
Куда мне! До утра и лёд стучит об рыбу
Сивушным плавником родного языка.
Язык – всегда родной. В Кызыле на премьере
(казалось бы, Тува... а вот) сказал один
Казах или еврей – премьер, по крайней мере,
Министр или сын: «Ты – истый Алладин».
Наддали бы тепла: вандал да на вандале,
Работники ножа, который лицемер.
Они боятся нас и дарят нам медали
Затем, что бы - слегка – понизились в цене.
От храмов до хором с болезненной подругой
Профессия моя – влюблённых утешать.
Но только к двум вещам подходит слово «круглый»:
Отличник и дурак. Зачем же им мешать.
Заканчиваю, брат. Недолго и осталось
Ворочать по перу точёным попури.
Заманчивая, а! дорога нам досталась...
Короче, подберу. Мочёный покури.
Подмоченный слегка. Да где нам взять посуше.
В ларьках – одно оно – ни дна ему, ни сна.
Послушай, старина, нам, заимевшим уши,
Простится, и душа отточится сполна.
Весна же на дворе. За ней приходит лето.
За летом... не хочу ТиВийствовать в ночи.
Возьми, жена, два рэ. Я спел свои куплеты.
За Лену. За Удел. За Чьё-то «не ворчи».
Ворочайся! Врачуй! Чай, сам не понял, чей же,
Рассеянный чуть-чуть, в санузел вылил чай.
За Узы. За Детей. За робкую Надежду.
За лампочку-свечу соседа и льича.

Владимир СКИФ

Из книги «Себя не сознаваху»: Литературные пародии, иронические стихи, эпиграммы (Иркутск, 2001)

В. ДИКСОНУ

автору книги «Пятый туз»

Рот открылся, словно шлюз,

Изрыгнулся «Пятый туз»,

А, быть может, это вдруг

Заблудился «Пятый пук»?

(с.482)

В. ДИКСОНУ

Говорят, что есть такой писатель,

С хваткой «КаГЭБэшника» притом.

Видно, ошибается читатель!

Диксона не видно. Он – фантом.

Нет ТАКОГО! И никто не слышит!

В мире

их –

безликих-

миллион!

Ну, а если что-то он и пишет,

То не значит, что писатель - он.

(с.483)

В. ДИКСОНУ И В.КАМЫШЕВУ*

Смеялись Коль** и даже Никсон***,

И хохотало пол-Европы

Над тем, что Камышев и Диксон –

Две половинки общей

(с.482)

* Виталий Камышев, редактор Восточно-Сибирского книжного издательства.

** Канцлер ФРГ

*** Президент США

КОГДА В ДОМЕ СВЕТЛО И ЧИСТО

Вдохновенья зёрнами
Позасею дом.
Буду спать, обёрнутый
Благодатным сном.

В доме нету сырости,
«Чернотропов»* нет.
Вдохновенье вырастет,
Превратится в свет.

Светом очарованный,
На заре проснусь,
К жизни, мне дарованной,
С радостью вернусь.

Дружески потискаю
Добрый белый свет.
В мире нету Диксонов,
Тараканов нет.

А ведь раньше грезили,
Прятались в полах.
Как сверчки – Зангезины**
Ширкали в углах.
Видно, место выбрали
Потеплей – навоз!
Или их повытравил
Русский дихлофос.

(с.513)

* Последний роман старейшей иркутской писательницы Валентины Мариной, в то время полностью потерявшей зрение.

** Литературный псевдоним поэта и литературного критика Виталия Науменко.

Андрей В. БОГДАНОВ

В. Диксону

Всё пройдёт:
на капитанском мостике,
понимая, в общем, что не прав,
я напьюсь, и вверенный
мне боцманом
юнга обслюнявит мне
рукав,
обслюнявит радостно
и горестно.
Вот и всё –
уходим в океан.
Над страницами
печальной повести
девушка заплачет
и в обман
вдруг поверит,
тихая,
как родина,
строгая,
как к родине любовь...
Господи,
какая к чёрту родина!
Жизнь прошла –
не видно
берегов.

(Из книги стихов: Андрей В. Богданов. Алё-алё. – Иркутск, 2004, с.53-54)

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
**ОТ КАЛАНЧИ ДО КАЛАНЧИ:
СТИПЛЬ-ЧЕЗ**

... В последний раз Князь приезжал к Шурику в прошлом году, всего-то несколько месяцев назад. На рейсовом белоголубом автобусе №147, посреди осени, уже к началу заморозков, когда по утренним лужам можно было шествовать аки посуху, а разъезженное в сплошную грязь пространство напоминало стиральную доску, гигантскую, до самого горизонта.

Князь молча и морщась пил свою водку из плоской бутылочки, а Шурик не пил и молчал просто так, за компанию. Точнее говоря, Князь не просто пил, нет, он напивался, как тучка, до посинения, после чего плакал, дёргал руками и никак не мог сыскать носового платка, покуда Шурик не приходил на помощь: отыскивал душистую тряпицу в правом кармане княжеского пиджака.

– Голубчик ты мой, – говорил Князь, утирая глаза. – Вот ты, наверное, думаешь, что я тебя не понимаю. Боже мой, неужели ты и вправду так думаешь? Нет, я не верю. Я не вер-р-рю...

В огородах коченела капуста. Деревья стояли уже с редкостными подгоревшими листьями, лишь одна палисадниковая сирень не сдавалась, сопротивлялась подступающим холодам изо всех своих сиреневых сил, и этак из года в год не догуливала своего желаемого срока, красавица.

Уже и печи топили, а кое-кто из богатеньких и неэкономных распочинал верхние ряды белейших, пахнущих морожеными яблоками, поленниц, возведённых к зимней осаде.

Само же село, в каких-то полутора часах езды от столицы всего Советского Союза, будто бы вымирало в такие дни. Народ суровый, с утра, что называется “не пимши, не емши, не похмелимши”, вываливался с крылечек и уходил на передовую, на поля сражений, где с переменным успехом шли последние в сезоне битвы с урожаем...

А Шурик в это время оставался один во всём мире. Правда, ему не бывало очень уж грустно, он привык ждать, он был терпеливым Шуриком и в подходящее к сроку время точно знал: вот-вот явится князь, напится, словно тучка, и скажет: “Голубчик, ты, наверное, думаешь, что я тебя не понимаю...”

...Шурик вздохнул и на выдохе опустил голову.

– Это кошмар, – сказал Князь, – когда тебя не понимают. И всё же наберись терпения и послушай меня ещё раз, может быть, последний. А мне станет легче.

Князь булькнул горлышком и закрыл глаза.

– Так вот. Когда я был маленьким мальчиком, тогда моя бедная мама-белошвейка привела меня за ручку в драматический кружок при городском Доме пионеров. Помню, я очень упирался. Я даже плакал и описался. Я не хотел, Шурик. Клянусь! Мне нравилось совсем другое. Например, гонять во дворе резиновый мячик. Он был наполовину красный, наполовину синий, а посерединке шла белая полосочка. Это было похоже на рыболовный удочкин поплавок... Да, то было прелестное занятие! Но я стал ходить в драмкружок, мне было очень стыдно обижать маму. И вот однажды в этом кружке придумали такой номер самодеятельности: двое мальчиков под одной шкурой из крашеной простыни изображали лошадь, а третий мальчик – князя Игоря из древней российской истории. Так вот, голубчик мой, клянусь тебе памятью моей мамы-покойницы, что не лгу: я как раз и сидел в той лошадиной шкуре. Я знаю, что это такое и как там. Я исполнял роль задницы...

Князь промокнул глаза и продолжил:

– У моей мамы был чудный голос, колоратурное сопрано, а она на швейной машинке “Зингер” всю свою жизнь прострочила. Бедная мама... Она говорила мне: мой мальчик, закрой рот, не то простудишь гланды. И ещё она утешала меня: не огорчайся, мальчик, это место... которое ты занимаешь в лошадиной шкуре, это место называется “задние плечи”, а совсем не так, как его называют невоспитанные дети... Интересно получается, да? Жопа есть, а слова такого нету... Ну, ладно. Заднее место – это и была моя первая роль. Я всегда вспоминаю о ней, это волнительно, Шурик, потому что через тридцать лет я действительно оказался на коне. На белом коне триумфа! На первых ролях! В первом театре страны! Я пел партию князя Игоря. Но не успел я своей партии сыграть даже до половины, как вдруг понял, что оказался там, где начинал. В “заднем плече”, то есть. Уже умерла мама, а другие утешения мне не нужны были. Они вообще сделались для меня ненужными, ничьи утешения, потому что я на собственной

шкуре испытал знание: в искусстве – не одни только боги, на одного Аполлона приходится четвёрка лошадей. Ты помнишь?

Доходя до этого места, Князь обычно становился в позу и протягивал руку, призывая стихи:

*Триумф когда-то горнего орла –
Звероподобье, в коем умерла
Прообраза божественная часть –
Над зверем человеческая власть...*

– Ты чувствуешь тут бронзу, Шурик? – спрашивал Князь...

*Колёса не прибавили коню
Величия. С квадригой не сравню
Пегаса, распластавшего крыла
Превыше бронзы, лавра и орла...*

– Ты помнишь?

Ну, вот, опять дались Князю эти лошади... Конечно же, Шурик помнил, как с портика здания рвалась в небо четвёрка золотых коней, увлекая за собою колесницу с божественным наездником. Квадрига, называется. А здание – совсем не конюшня. Там – театр. Там деревянные и металлические инструменты истаивают на глазах почти почтеннейшей публики и превращаются в звук. Там идёт ежевечерний сумеречный обмен веществ: жизнь – на игру, игра – на жизнь. Сцены жизни – и смерть на сцене. Волнительный обмен. Пленительный обман. И по обе стороны рампы – такие блистательные игроки... “О, дайте, дайте мне свободу!” – умолял Князь, устремляя руки к золотисто-малиновой ложе, и на невинную княжескую ложь отвечали из “малины” не менее арийскими жестами... Ну, выпросили свободу. И что же? “Не верю!” – рычит Князь, как прежде рычал знаменитый Станиславский, создатель системы в системе. А между тем, Зигмунд Фрейд, крестный отец психоанализа, мог бы обоим подсказать: “Чтобы верить, нужно встать на колени”. Ибо: без веры худо. С верой ещё хуже. Акт веры – аутодафе. Потому что веротерпимости в нашем доме очень и очень неуютно – как “маленькой Вере” в доме терпимости. И оттого столь тернист и долг путь от маленькой веры к Вере большой, к той самой, что означает не имя одной несчастной кино-девочки в фате фатализма, но – воздух, необходимый всему человечеству, помогающий душе дышать необременительно, а на пределе жизни позволяющий понять, наконец, что никем и ничем не защищён ты, кроме своей светоносной души... О, эта вера, эта Вера, душа, фея фееричес-

кая, своевольная, свободная, дерзкая и нахальная, как звук, удравший от струны.

– Может, пригубишь? – спросил Князь, нашаривая глубоко под мышкою. – У меня, Шурик, ещё есть. Вот. Виски. “Белая лошадь”, называется. Специально для тебя берегу...

А выпивать Шурик не любил. Здоровье не позволяло. Он пробовал всего лишь однажды, шампанское, да и то под натиском игривой весёлости Князя и его душистой свиты. Впрочем, на той пробе всё и закончилось, раз и навсегда. Слаб оказался Шурик в коленках. Вот Князь – тот да, тот квасил – будь здоров, иван петров! Теперь-то уж что говорить? И Князь не тот, и борозда не та. Раньше, бывало, после премьеры: ах, ах, опять мигрень? где мой линолеум? – а ему вместо элениума – парочку “Абрау Дюрсо” и розу в бокале. Шутка такая, уважительная. А нынче никаких абрау, кроме мигрени, и никто шуток не понимает, не выдаст на здоровье трояк или червонец до полочки, и не осталось сил бороться со своими слабостями, и сделался совсем как мятый пиджак на спинке стула, а пиджачок – совершенно к стати княжеской, худенький, и пальтишко по крайчикам бахромится, и баритон треснул, а на руках высыпала стариковская “гречка”, и глаза в лице утонули, и смешной – когда плачет... У каждого, видать, свой возраст старения, так ведь? А у артиста двойная жизнь, а значит – вдвое сокращает его, артистово, земное существование... Теперь Князь с Шуриком подравнялись возрастом, хотя лет Шурику раза в три поменее, и вполне возможно, что в один день могут копыта отбросить. Князю, конечно, потяжелее приходится: время уравнило двух сценических партнёров в обстоятельствах жизни, но не смогло уравнять в готовности существовать в этих обстоятельствах... Да. Жизнь такая: до и после оаций – по капле никотина выдавливать из себя лошадь.

Из театра Шурик ушёл раньше Князя. Не скажешь, что – по бездарности или по старости, скорее – по дурости, из-за той самой дюжины шампанского, которое стало концом для Шурика и началом конца для Князя. Шурик плохо понимал, что именно тогда произошло на сцене. Помнит лишь, что вместо смиренного, почтительного стояния он ударился чуть ли не вприсядку, и в толпе, окружавшей Князя, случилось сразу же какое-то испуганное кружение, давка, свалка, писк, визг, а потом бешено понёсся

занавес, и Князь, не допевший арии, кричал: или я – или эта скотина!.. Бедный Князь, ездит вот теперь к Шурику, регулярно, каждый год по осени, виноватится, плачет, кается: прости, дескать, меня, старого мерина, за прошлое моё скотство, за то, что напоил тебя, Шурик, гусарской порцией, а потом ход конём сделал, предательство совершил... Квадригу вспомнил, золотых коней в голубом небе. А при чём тут, собственно, лошадиная тема, когда в жизни ясно обозначено, человеческим языком в музыкальном сопровождении: пленительный обман, волнительный обмен... Всё обыкновенно, как сено: Князь и Шурик просто-напросто поменялись ролями, жизнь продолжается, жизнь стремительно скачет к финишу, и помощи, Боже, чтобы он был счастливым... Бедный, бедный Князь. Профиль лорда, а с фасаду – морда, это и есть актёрское лицо, истёртое гримом, истерзанное заёмными страстями. Авоська с бутылкой кефира, пребывание в каком-то невразумительном, семисезонном пыльном пальто... – всё это, конечно, мелочь несущественная, потому что талантливый человек, а уж тем более гений, может позволить себе любую внешность. Был бы талант...

Ах, если бы между ними, двумя артистами, находился в это время всемогущий, всесторонне образованный и триединый во всех четырёх измерениях бог Саваоф! Всё-то он видит, всё он слышит, всё до каждой пылинной мелочи знает, хотя и не скажет, подобно официально-государственной статистике, о своём знании никогда-никому-ничего – ни о чём – ни за что. Земной душе, во всяком случае, не скажет. Наверное, в этом молчании и состоит поднебесная тайна его высокомерия. Но если бы вдруг случилось явленное чудо, и если бы он, велемудрый, заговорил, то сказал бы непременно, намоленное и ожидаемое: да будет вам, ребятишки! полно вам маяться, довольно казнитья и терзать друг дружку взаимными попреками! живите так, как было задумано в первые дни творения...

Но в той огромной стране, где жили-служили Князь и Шурик, не было Саваофа. Был Досааф, который не признавал никаких объяснительных мерехлюндий ни на низком, ни на высоком уровнях. Он, если хотите, являлся кузницей кадров. До церемоний ли в кузнице, до мелочей ли жизни, когда позарез нужно

подковать миллионы юных бойцов-ворошиловцев?! У него лишь одно в цене, у Досаафа-то: тренаж, номер, прицел – рви победу! И поскольку в этой стране Бог – уже и ещё – не присутствовал, а в душу всё-таки лезли странные органы, и не за Словом лезли, но за показаниями, а вынужденные показатели в карман лезли – за фигушкой или за помятой трёшкой... – поскольку-постольку посредником между двумя списанными артистами вынужден оказаться Сочинитель, с писаниною повязанный честным словом и частным делом, навроде кучера, если так можно выразиться, с его личной ответственностью перед лошадьё и седоком... Правда, Сочинитель в квадрагах ничего не смыслит, зато водит близкое знакомство с другими знаками человеческого бытия, в котором, как известно, творец и тварь рядышком живут, и стоптанный каблучок порой провоцирует спонтанный вывих: с одной стороны, понимаете ли, пашешь, пашешь, как лошадь, а с другой обратно получается, что от работы кони дохнут, и где тут логика, ёлки-моталки? Какой тут, к чёртовой бабушке, может быть счастливый конец? И, наконец, возможен ли он быть у жизни таковым – счастливым? Сочинитель не знает, как – у жизни, но вот у людей – так сплошь и рядом получается, что в момент смерти счастливый человек и человек несчастный действительно обмениваются ролями. Волнительный обмен, чего уж там... И того, и другого жалко, а более всего – времени убиенного... О, как мы убиваем его!

Во всех пределах-беспределах убиваем мы время, по большому счёту и по мелочам, просто так, за фук, за фиг с маслом, всегда и везде. Но, кажется, только в России образно убиенное время так взаимовраздано кровотоцит: “неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь”. Потому как – и попили, и попели, и полютовали всласть, и настрадались, и Нострадамус со своими мрачнейшими пророческими катренами вовсе не причастен к скорби городов каменных и деревянных деревушек, хотя и попал в нас своим угаданьем самым банальным образом, методом элементарного тыка, и попал точь-в-точь, тютелька в тютельку. Попасть-то не сложно: Россия – тютелька преогромная, в неё невозможно-таки не попасть – как пальцем в небо, как в овчинку, стоящую выделки, как мифотворцу – в золотое руно аргонатов... Ах, кабы не эта вязкая неохватность, возможно, и досталась бы России участь быть строною вечных и жизнерадостных мифов –

от “родины слонов” до “лампочки Ильича”. Однако, её чудовищная безбрежность небрежна и неодолима, и любые мифы, рождённые в ней, оказываются не вечными – увечными, с одного боку их жарким песочком заносит, с другого – жгучим льдом охватывает... Какой Васко-да-Гама отважится на плавание по такому средиземному горю? Какой Леонардо-да-Винчи решится на масляные студии в зоне рискованного земледелия? Лишь Иван-да-Марья, да конь-работяга, понурый от понуканья, да всеобщая кормилица Лизка, со звёздочкой во лбу, круторогая и крутобокая, точно каравелла, и с глазами мадонны, у которой украли ребёночка, а взамен подкинули вечность – чтобы страдать о нём... Роковой урок. Не урок даже – урочище. Урочище Всех Скорбящих. Бездна. Без дна. Без покрывки. Светлое пятно в чёрной дыре. Космические ветражи, от сильных до умеренных. Ветренный путь мимолётных снежинок. Россия... Судьба.

А коли судьба, так, значит, и нету никакого смысла ночную сигарету гасить горючей, самовоспламеняющейся слезой, и нет проку с небесами переглядываться: свет мой, зеркальце, скажи... Посмотри в зеркальце! Узнаёшь? Узнал. А теперь дыхни, не стесняйся, не в гаишную трубку дуешь. Помутнело? Ага, помутнело. Значит – жив. Ещё есть вопросы? Нет вопросов. Вот теперь и решай, как миленький, надобно ли обращаться к судьбе, как к нарсудье: дескать, милостивый нарсударь и нарсударыня, рассудите вы меня, дурака... Чтобы кем-то себя чувствовать, полагается, как минимум, кем-то быть.

А как быть, когда ещё жив, но уже не больно? Тут такое дело: дело деликатное. Дело в принципе – как камень в почке. Когда любому живому существу больно, оно забивается в нору, подальше от посторонних, пусть даже и сочувствующих, глаз, – и зализывает свои раны. Что ж, мы хуже собаки? Нет, не хуже, но и не лучше. Однако только лишь человек способен срывать с себя бинты единственно для того, чтобы явить миру свои язвы, нанося при этом, не замечая того, ближнему своему не только душевную боль сопереживания, но и физические страдания; так у глубоко верующих при виде распятия появляются кровоточащие раны от воображаемых гвоздей, на самом деле пронзивших руки и ноги Христа...

А что же – мир? А ничего. Ровным счётом: ничего. Мир равнодушен – до тебя, при тебе, после тебя. Он никуда не ведёт и ни к

чему не призывает. Он – мир. Он – словно стенка баскской пелоты, игры в мяч с отскоком, которую любил Хемингуэй: мир, подобно стенке, возвращает человеку его же собственное первородное скотство...

О, Сочинитель мог бы ещё многое порассказать: дорога-то длинная, и весьма. Об искусстве, например. О том, как великий князь Николай Николаевич, дядюшка последнего русского царя, будучи главковерхом под Барановичами, по воскресеньям хаживал в местную церквушку, где по его августейшему желанию служебное песнопение исполнялось на мотивы из бородинской оперы “Князь Игорь”; сей новации не противился – попробуй тут противиться! – даже главный армейский протопресвитер Шавельский... Сочинитель мог бы рассказать со слов Коли Заболоцкого о сияющих лицах лошадей. И – о табуне, погибающем в морском кораблекрушении, которое вряд ли понапрасну придумал Боря Слуцкий... И ещё о том мог бы рассказать Сочинитель, что – “лошадь, не надо, лошадь, послушайте – чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь...” Последнее, между прочим, совершенная неправда, потому что есть глупости, до которых ни одна лошадь не додумается. И Сочинитель подкрепил бы это суждение фактом международного звучания и значения. О том, как доминиканский диктатор генералиссимус Трухильо воздвиг на улицах и площадях столицы сотни памятников самому себе, любимому, однако чего-то ему всё-таки не хватало, возможно, что ума, о чём совесть, несомненно, подсказывала, а ведь могла бы и прямо сказать, без намёков: не будь дураком, генералиссимус! но совесть промолчала, она у генералиссимусов застенчивая, и диктатор поставил ещё одну статую – в честь коня своего, получившего от хозяина чин полковника Генерального штаба... Не смешно. А между тем, посреди земного шара, на одной шестой части света, на пяти шестых тьмы... кажется, на веки вечные расположился засиженный голубями, сороками и совами монумент – в бронзе, в граните, в тоске, в партийно-партикулярном облачении. Неважно, что на постаменте буквально обозначено: Орджоникидзержинский, Авербухарин или ещё какой-нибудь рыбакинский комиссар. Важно, что – стоит. Каменный Гость. Кость в горле. Губы спаяны. Ах, если бы

уху его могло говорить! Оно рассказало бы, а уж сороки переведут его каменную речь – с того света на этот...

“На днях, товарищи, меня посетило сомнение в правильности одного широко известного постановления: не боги горшки обжигают. Мне кажется, оно в корне неверно, особенно в части всего того, что относится к театру. Почему? Зри в корень, – учил товарищ Прутков. Так вот: в корне слова “театр” мы имеем греческое “тео”, то есть бог. Иначе говоря, в театре, хотим мы того или не хотим, присутствует именно божественное начало. Горшки в театре, разумеется, могут быть ненастоящими. Но боги – никогда! Любимых артистов обожают, их боготворят, их возносят от земли и почитают кумирами. В конце концов, в этом нет ничего удивительного. Такие олимпийские игры, которые вытворяет театр, доступны лишь богам и людям с божьим даром. А теперь, товарищи, вытекает вопрос: как же мы ценим своих кумиров? Отвечаю: несоответственно. Не по божеским рас-ценкам... Весь мир есть театр. Это было замечено ещё задолго до революционных бурь двадцатого века. И посему я умолкаю. И да простится мне этот спич или, выражаясь в духе времени, маленький лингвистический путч в честь Большого театра...”

О, если бы уху могло ухахатываться! Нет, не может, не его это дело. Сорочинская ярмарка утихает, когда совы прячутся, боги на горшках обжигаются, государство озаряется свежим утром, а Князь засыпает, пьяненький, мокрощёкий... уплывает на своём ковшичке-ковчеге в любезный миф, в мир яркочерный, громкоголосый и стремительный, как “стиль-чез”, steeplechase, “колокольня-погоня”, скачка с препятствиями, от церкви до церкви... Карусель. Эта забава с деревянными лошадками или лодочками, изобретённая Великой французской революцией одновременно с гильотиной... Эта бесконечная гонка по полосе, замкнувшейся в кольцо, в ленту приснопамятного Мёбиуса... святая троица – строй – новостройки – тройки, от костюмчика до трибунальчика – три танкиста в соображении на троих – трибуна как символ вечно живого обморока – трое великопостных старцев в именительном наречии, в винительном падеже – падение Трои к подножию пустопорожнего коня, начинённого гвардией – путешествие на три буквы – три торчали в подъезде и

призывно помахивали пальцами – три топали на Плющихе и никого уже не призывали – а вон еще, в лодочке, на деревянной лошадке, серой, в яблоках, – кто-то с законченным триппером, кто-то с недописанным триолетом, кто-то со стеснительной конфигурацией из трёх пальцев, которая не обязательно является знаком моления и благословения... а кто-то, баритонистый, вдохнул вдохновения, а выдохнул такую херню, что деревянная лошадка вздрогнула, осыпая на предместье белые яблоки со своих боков... Вот, кажется, ещё миг – и грохнут копыта, и капут копытам! Но зато сбегут лошадки, и вырвутся на звенящую волю из цирка, где всего-то и дороги, что “от церкви к церкви”, от колокольни до колокольни... Но – нет! Явился дядя, пьяненький, мокрощёкий, с родным фиолетовым глазом, и пошли за ним доверчиво лошадки, недалеко пошли, на дрова, и горели не хуже книжек...

Русская карусель – отсель и до завтрашнего упора.

... Ах, лицедей, увидев лицедея, не может не улыбнуться.

Князь плакал и каялся, уже засыпая.

Шурик не умел говорить. Он умел только слушать. Но это – как раз то самое, чего так катастрофически не хватает людям.

Бог по обыкновению отмалчивался.

Генсек нагрудил себя новой звездой.

А Сочинитель что же? Он ведь, ежели говорить откровенно, тоже не того... не вполне, так сказать... Вот и Пегас у него – конь ненормальный, с крылышками...

Прекрасен и высок без седока

Сей конь, чьё беззаконье на века

Крылами попирает испокон

*Звероподобный вздыбленный закон...**

Сочинитель – он навроде идальго и Росинанта в одном лице, в одном чине, со-чинитель, и ещё неизвестно, кому больше повезло и в какую сторону...

Ещё в государстве утро не наступило на веки спящим, а Сочинитель уже изгрыз янтарный мундштук и пару вкуснейших, кисленьких чехословацких “кохиноров”, потом рюмочку крепкого пойла принял, закусивши чем Бог послал, а Бог послал ему уди-

* В тексте приведено стихотворение Бориса Охапкина «Квадрига» (журнал «Звезда», 1990, №9, с.176)

ла, и вот он, мудила, закусив, значит, удила, попёр вдоль по Питерской, по Ямской-Тверской, по улице Ленина, плавно переходящей в Леннон-стрит... – попёр, как юный, полный желаний, ахалтекинец, как лошадиный бог – во весь опор, аллюр три креста, намётом, рысью, галопом, сам чёрт с чертенятами не разберут: куда Сочинителя повлекла душа невесомая, подбитая ветерком на этокое немыслимое дело?.. А впереди – Шурик. Он идёт по земле, а уходит в небо, вслед за золочёной квадригой, единением бого-человека и лошадиного квартета, вместе они, воедино, а всё же лошади на целый корпус впереди Аполлона... Уходит Шурик. Он ещё, конечно, помнит, как выходил на авансцену и бережно опускался на левое переднее колено, склоняя в поклоне благородно-почтительную, почти пастернаковскую, голову, и трепетно вдыхал ноздрями белый и красный запах из корзины. Как хороши, как вкусны были розы! Он выходил к рампе, свет смежал ему веки, ревел зал, люди были счастливы, и Шурик чуть ли не ржал от восхитительного ощущения их счастья... Теперь вот уходит, и виновато оглядывается через переднее плечо на заднее, и уже не зовёт никого за собою в свою лошадиную столицу, в какой-нибудь Конотоп, Ржев или Меринбург, где, может быть, на самой главной площади блистают конюшни, похожие на театр, а на проводах вместо ласточек сидят бемоли и нотки с забавными хвостиками, а мировой скрипач Изя Несчастлившиц стоит на пьедестале аннулированного генералиссимусора Иисуслова и играет “Цыганские напевы” Пашки Сарасатэ, и если тот, Изин, смычок – не смычка человека с поющим деревом, то... если это не так, значит, Сочинителю не остаётся ничего иного, как поверить в такую гипотетическую сонату “а ля фантази» как смычка города с деревней... а смычка эта – явление грустное и несуразное, вроде пригорода; при всей грусти и несуразности российских городов и деревень, пригород чудовищен уже только потому, что там народная песня сочетается браком с городским романсом и рождается какой-нибудь ущербный солист Рубашкин или, ещё пошлее, компания малининых с мармеладзе...

Мчался Сочинитель, и только свист в ушах! Мы – красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ про то, как однозвучно гремит колокольчик, и мчится тройка

почтовая, вьётся пыль из-под копыт... Сви-и-и-ист истовый! Когда я на почте служил ямщиком? Боже мой, неужели же целый век тому назад? А служба, помнится, была почтенная, и стаж почтительный, право слово... Сви-и-и-ист неистовый! Ямщик, не гони лошадей, им некуда больше... Сви-и-ист!

Мчался, почти летел Сочинитель – всё сбивался то на толстовского Холстомера, то на историйку, рассказанную позавчерашней газеткой, в которой сделана-таки попытка не смысл жизни искать, но – её оправдание: вот, дескать, мы – живые, а зачем, скажите на милость, люди добрые? Зачем эта редискотека? Зачем это колесо оборзения?

И мысли вопросительные сопутствовали впристяжку. Да неужто Русь и взаправду была когда-то тройкою? Не трёшкой ли до полочки? Тут ведь, между прочим, или одно, или другое должно быть, не то что с Сочинителем. Или Россия – или Росинант, кляча, которую какой-нибудь очередной романтический придурок гонит на ветряные мельницы... А ещё – всерьёз ли сказано: какой же русский не любит быстрой езды в незнаемое? А дороги? Боже праведный, если то, что под нами, называется “дорога”, так что же тогда означается словом “невезенье”? В России даже дорогам не везёт, ну, а ежели и развезёт, то вопрос “куда?” есть вопрос наиглупейший... Нам дороги эти забывать нельзя, равно как и везенье с невезеньем, и рай в районе, отдельно взятом за фук, западло, за рупь делов, за яблочко раздора... рай, где оружие пролетариата нашлось место всего лишь за пазухой да на душе, а дороги не булыжником вымощены – мощами нетленными святителей, несших вольный язык на неготовую к святости Русь, которая от той почесушно-раздумчивой неготовности поспешила разом впасть в пасть жуткого мира химер и василисков, в лапы нового, орденосного язычества – и променяла свободу на осознанную необходимость...

А по обочинам-то слободские граждане расположились, необходимо сознательные, готовые любому-каждому объяснить, кто он есть и с чем его есть нельзя... Преимущественно мясоеды. Тоскующие меломаны и крикливые мелиораторы. Девушка с веслом. Пионер с барабаном. Metallург с горном. Интеллигент с мясорубкой, инструментом наилюбимейшим. Джентльмен с “беломориной”. Дама с “кэмэлиной”...

– О, дайте, – говорит она, – дайте нам свободу! И тогда мы собственных платонов, гогенов и вангогов вагон и маленькую тележку для отечества наплодим!

А ей – сердито:

– В гробу бы их видать, ваших жеребцов с тележкой! Весь подъезд, понимаешь, в конюшню превратили ваши гоги и демагоги!

А она – дискуссионно:

– Заткнись, сивый мерин!

– Сама кобыла!

– Я феминистка! – возражает “кэмэлина”. – Женщина-профессионал!

– Откудова взялась? – интересуется “беломорина”, сплёвывая.

– Оттудова, – отвечает “кэмэлина”, сплёвывая. – Из Великой французской революции, когда отважная Олимпия де Гуж объявила декларацию прав женщины и гражданки. С тех пор начались проблемы феминизма. Понятно тебе, сивка-бурка?

– Не шибко. Например, вот чего. Если была Гуж, так, значит, и проблемы должны быть гужевые. Как, например, Карл Маркс, который марксизм-ленинизм придумал...

– А нам не нужны мужские кумиры! Нам и без них полный зергут и даже вери гуд. Понял, конёк-горбунок?

– Не шибко, – сказала “беломорина” и задумалась на целую пятилетку. – Гут – оно, конечно, гут. Но если ты, например, взялась за гуж, так и не говори, что Маркс не муж. А что мужской пол от твоего гута имеет? Гуттаперчевость? Гуталин? Несогласные мы. А вам, кобылицам, только бы погужеваться за чужой счёт. Вот и весь ваш феминизм...

Летит Сочинитель. Расписался на листе, как на собственной слабости, и летит. И не в Сочи Сочинитель летит, нет, не к сочным кусочкам мясоедства и апельсинности. Нет. Туда летит, вдаль, в даль, где даль может быть не только протяжённостью пространства, но и фамилией достойного, трудно измеримого обычностью человека... Туда, где от сотворения времени и пространства задана обречённость душу травить утратами, творить ротозейные фуги и застольные тривиаты, вытворяживать тревожно-озорное хармство и насмешливое ржанье – над ложью, над ржою, над державчиной, над пропастью... Качаются колыбели в согласии с кораблями, баюкающими дальние моря.

Корабельные сосны. Колыбельные сны. Причитания искони. Коньки-горбунки. Горькая попутная констатация: чем больше лошадиных сил приходится в государстве на душу населения, тем меньше остаётся лошадей. Уж редко-редко, точно в старой кинохронике, мелькнёт мужик с сивкой-буркой. И тот – не тот, и этот – не этот. Мужик-то ещё ничего, щёки аж со спины видны, навроде вещественных доказательств: не в коня корм пошёл, мужику достался...

И строгий вечный Учитель качает пальцем, словно шлагбаумом: ты что ж это, мальчик? небось, собрался перецеловать всё человечество? не насосёшь ли мозолей на губах, голубчик? ну, уж нет! знай своё место! ибо говорю тебе: самый скверный ад – это не найти своего места даже в аду и, значит, мыкаться из круга в круг, претерпевая незаслуженно чужие страдания; у каждого, говорю тебе, должно быть своё место: под солнцем, под крышей, под монастырём, под каблуком, под шофэ... а вывод? а вы вот всё гужуетесь табунами, всё раскачиваетесь да расплываетесь: мне, мол, нравилось не то, мне нравилось другое, меня мама за ручку привела... эх, вы! нету у вас причин, одни причиндалы, и нечего вам ручонками-то семафорить небесам! знаю я: рука у вас руку моет не потому только, что ногами сие делать неудобно...

А Русь нараспашку, как влюблённая девушка, летела навстречу – рысью! Россия: ласковая беспощадная росомаха, мать мятежа. Россия: росные лужайки, купоросные подвалы, просёлочные россыпи, улица Росси. Россия: рассеянные Руссо и русые русалки-щекотихи, похитители бардов. Россия – со своими Россини и Росинантами. Со своим керосином. Со своими английскими замками и булавками, французскими булками, брюссельской капустой, бенгальскими огнями, аргентинским танго, персидской сиренью. Россия – со своими американскими горками, немецкими овчарками и афганскими борзыми, шведскими спичками, стенками и сексом. Россия – со своими шпанскими мушками и армянским радио, канадскими затылками и индийскими гробницами, летучими голландцами и голландскими же сырами, берлинскими сажей и лазурью, колорадскими жуками и эзоповым языком. Россия – с собственной волынкой на темы шотландских материй. Россия – со своими римскими и арабскими цифрами, с “японским богом” и каплями датского короля,

швейцарскими часами и швейцарами на часах, финскими ножами, сказками Энского леса, вавилонским столпотворением, горем луковым и лукулловым пиратством, израильскими визами, византийскими визави, совковым селяви... и даже со своей вымученной китайской грамотой, в которой наших-то мудрецов ещё и конь не валялся... Ох, а уж те мудрецы, хитрованцы в наглухо засекреченных шёлковых халатах! Как же так стряслось, как же этак получилось, что не мы, урождённые скифские князи, а они, лакированные мандарины с косичками, догадались оживить календари своей жизни скачущими, ползущими, летящими, плавающими собратьями меньшими и, возможно поэтому, придумали такое, от чего даже и не знаешь – то ли плакать, то ли рыдать: человек измеряется не с головы до пят, но с головы до неба...

Шёл Год Белой Лошади. Одна тысяча девятьсот девяностый.

Время московское.

Лошадь ненастоящая.

Год настоящий.

И позавчерашняя газетка в руках моих – тоже настоящая. Международное СМИ «Мегаполис-Экспресс» от 25 октября.

В такие дни приключаются революции.

«... Около года назад появился в посёлке Крекшино под Москвой конный клуб «Уникум», названный так в честь своего старожилы. Там нашли для себя приют двенадцать лошадей. Кто-то был «звездой» (как, например, Состав, выступавший на сцене Большого театра, кто-то брал призы на соревнованиях, а кто-то просто изо дня в день трудился в прокате, принося радость детишкам и взрослым. Лидия Васильевна Оспинникова, создатель лошадиного «дома престарелых», рассказывает:

– Помогают нам в основном пожилые люди, присылают по пять-десять рублей из своих небольших пенсий...»

...Стою. Жду чего-то.

Пронеслась мимо «Волга». Сто лошадиных сил в одной консервной банке.

1 л.с. = 75 кгс х м/с = 736 Вт.

И песенка из банки рявкнула – роковая, на слова Пушкина, с его безысходным матюжком относительно перманентной кентавриады:

... Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега.
А время гонит лошадей.

За что гонит?

Куда?

От кого?

Зачем?

Парусит по Руси обезумевший знак вопрошения...

Из романа положений «Августейший сезон,
или Книга российских календ» (2008)

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ОДЫ И ВОЛЬНОСТИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

ПУЛЯ, ЛЕТИ!

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ:

Когда боги шутят...

Синяя птица, синие чулки...

Утренник с апельсином

Двести лет в одном экипаже

Горшечник и глина

Бабаня и караван

Загадавший желание

Про лягушку Гуляшку и гения Евгения

На траве дрова...

Где наши стервы?

Петербургские ветражи

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:

ЭТОТ НЕЖНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОВОД...

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ПУЛЯ, ЛЕТИ!

Кобыла пахла новостройками, пивными ларьками, сортирами, желдорвокзалом, центральным городским рынком, Площадью Падших Борцов и маленько даже Зурабом Ркацители... – в общем, кобыла пахла всем, чем попало, но только не тем, чем надо.

Возможно, это происходило ещё и по той причине, что называется кобыла не кобылой, а так: «Партизанский конь гражданской войны. Охраняется государством».

Сотворённая из непонятно чего, конская кобыла стоит как сивая лошадь в натуральную величину на цементном постаменте, на макушке травяного с мелкими кустиками холмика, который в народе называют Целкиной горкой, по соседству с кладбищем, откуда открывается замечательный вид полукружием «вест-зюйд-ост». По правую руку – пригородная природа с озерком посередине, луга, возвышенности, чахлые перелески, одним словом, ландшафт, в двух словах – окружающая среда, бесчеловечный пейзаж. Перед глазами – железнодорожная магистраль, внизу грохочущая круглосуточно поездами с пассажирами и народнохозяйственными грузами; за ней протягивается с извивом река Куда, за Кудой – панорама орденоносного индустриального города, тихой сапой заслонившего горизонт, и потому не из-за горизонта появляется в Хибаровске утреннее солнце, но из-за труб и крыш обозначает свой ясный приход, выказывая прихожанам городским, равно как и сельским жителям, сначала верхнюю свою губку, всего лишь половину улыбки, но уже такую лучезарную и, блин, перспективную. А по левую руку расселись городские предместья, рабочие слободки, частный сектор с индивидуальной застройкой, так называемая «Индия» – на фоне величественной Кудыкиной горы, бывшей когда-то Колчаковской сопки, где автономно пасутся «индийские» козы, овцы и коровы и куда досужный народ не достигал,

предпочитая более доступную для восхождений и времяпровождений Целкину горку, в двух шагах от кладбища, место хоженое-перехоженое, насиженное, напетое, напитокое и напитанное, с закопчёнными каменными очажками, стоянками городских «дикарей», последних героев.

Чапай уже дважды приходил выяснять отношения с монументальной конской кобылой. И понял, наконец: во-первых, никак, сколь ни старайся, ему не дотянуться, чтобы положить, как полагается, свою голову на её геройскую военную шею в знак доброго знакомства и душеприятного расположения; во-вторых, и не надо! подумаешь, партизанка! в-третьих, философия тут простая: кобыла, которая не пахнет кобылой, есть не кобыла, а грязная клевета и чистое очковтирательство; и, наконец, в-четвёртых, насчёт дураков: дураки водятся только среди человеческих людей, и нет дураков среди иных обитателей живых миров, среди тех, кто живёт в полном согласии с травой, водой и воздухом.

И когда Чапай понял это окончательно и бесповоротно, он виновато оглянулся на Князя: не обидится ли? Нет, Князь не обижался. Он был правильный Князь, животный, млекопитающий.

Так вдвоём они и уходили с утра от старика Ерусалимыча.

Чапай решительно расфыркался с геройской лошадью, и фырк его нужно было понимать так: вот пусть она со своим государством и целуется, с охранником охренелым... Зато познакомился Чапай с синим цветочком, крошечным. И когда Чапай нюхал его, сердце обливалося нежностью и умилением.

А Князь с книжкою «Слово о полку Игореве» лежал на жёсткой траве, подложив под голову ерусалимычеву фуфайку: такой довольный, спокойный, тихий и мирный Князь.

Внизу электрички спотыкаются на путевых стрелках.

А рядом, на расстоянии вздоха, – посмертное свечение человеческих душ...

Однажды зимой 1899 года некто Ницше, как обычно, вышел из дому на прогулку, столь же системную, как и его кабинетные занятия философией. Шёл по улице и вдруг увидел: извозчик избивает лошадь. Ницше тут же бросился защищать её от яростного человека, обнимал лошадь за шею, утешал, кричал

шёпотом, да всё как-то неумело, суетно, и слёзы философические сливались с лошадиными, а лошади не было от побоев больно, было обидно, вот что было больно... В этот день некто Ницше сошёл с ума.

«...а вожжи придумали позже!» – вспомнил Князь стихотворную строчку из «Огней коммунизма», и фотографию автора строчки вспомнил, неизвестного поэта Шаманова: бородатый, в оранжевой каскетке, в аспирантских очках, служит товарищ Отечеству пером и топором, на сто процентов выполняет всё, что надо и даже не надо, сооружая сортиры на стройке века, вдоль стройки, вдоль века, по Байкало-Амурской магистрали, воспетой, разумеется, не им, не Шамановым, а другими, в пределах Московской кольцевой автодороги.

*...Эх, не рви ты, Чапай, гэй,
Свою новую сбрую,
Свою новую сбрую, гэй,
С самоцветами...*

Так цыганский барон Николаша, сосед Князя по Кошкиному дому, поёт.

Так точно и Князь запел – вне помещения!
И Чапай голову повернул, услышав знакомые слова.

*Отведу тебя, Чапай, гэй,
На большую ярмарку,
Уведу тебя туда, гэй,
Обратно не приведу.
Продам тебя, Чапай, гэй,
Богатым цыганам,
Богатым цыганам, гэй,
Братьям родным...*

...наивная душа, этот Николаша, ведь он и впрямь принял за чистую монету слова Князя, поверил Князю, когда тот однажды заметил в разговоре о плюсах и минусах высотного дома, что будто бы массовая застройка земной поверхности «вавилонскими башнями» замедляет, тормозит круговращение планеты и, в конце концов, принудит земной шар к разрушению космичес-

кого баланса и глобальной катастрофе... Чистый человек, доверчивый, Николай Романович Деметр, уж непременно весь город обшарил в поисках пропавшего Чапая, и стыдно Князю за подлючую слабость свою, и известить Николашу нет возможности, и уходить в город – ой, как же не хочется, всё откладывает и откладывает Князь своё возвращение, со дня на день растягивает, да так и не соберётся с духом выйти из воли...

*Возьму за тебя, Чапай, гэй,
Зелёную сотню,
Зелёную сотню, гэй,
И красную десятку...*

...выйти из вольной воли – куда? к деньгам? к долгу? к обязанностям? к служению? Господа, да за что же такой грех человек на человека взгромоздил? Зачем? Зачем ему, простому смертному, всё это? Да и не простому – тоже... Согреши, да потом и почесть самого себя в хвост и в гриву? Так, как Пётр Ильич Чайковский... честно, но со слезой скрываемой, признался, что «Лебединое озеро» написал исключительно за день... – а другому уже и сил нет продолжить и завершить слово, и язык не поворачивается повторить истинную правду Петра Ильича – за деньги, сказал он, и кажется, будто бы исчезает, истаивает волшебная музыка, явившаяся в радужных бумажках, но не по какому-то озарению-вдохновению грешного гения, гениального грешника...

*Лав пе тутэ, Чапай, гэй,
Зэлэно шэлэнги,
Зэлэно шэлэнги, гэй,
Ттай лолли дэшэнги...*

Э, не вздыхай, Чапай. Ты же всё-таки Чапай, а не какая-нибудь лошадь Переживальского или партизанка, охраняемая херовеньким, некудышним сторожем, не так ли? Мы с тобой сегодня животные вольные, свободные, а завтра к общежитию людей вернёмся, назад телегу прикатим, хозяин твой, Николай Романович, будет безумно рад и спросит нас: а где же это вы, мерзавцы, так долго пропадали? – и мы ему всё по порядку объясним: про конскую кобылу на Целкиной горке, про синий

цветочек, который тебе, Чапай, ещё не раз и не два приснится в деревянной выгородке железобетонного Кошкиного Дома... – и всё, конечно, поймёт цыганский барон, он человек древний, понимающий, не то что магазинные граждане в ночных очередях, граждане, которые и добрые, и мягкие, и душой сплочённые только в тех вынужденных и обречённых очередях, а днями суровых будней им довольно и того понятия, что на своих двоих хорошо, а на четырёх чужих ещё лучше... Э, Чапай, ты же знаешь эти очереди лучше меня, ты их хорошо помнишь, там тебя хлебушком угощали, это приятно, ты жевал корочки золотыми зубами, и никто тебе в рот не заглядывал, и ты улыбался с благодарностью уже не столько к человеку, дающему хлеб, сколько ко всем к ним вместе, к человекам живой очереди, к человекам в порядке, в строю, по списку добропорядочному, где все сливались в одно лицо, вместе старое и молодое, мужское и женское, качающееся, плывущее в сумерках, кружащее без шума и слиянное, оно временами растекается, становится каплями в море, похожими одна на другую до полного безобразного безразличия... Где Собакевич? Нет Собакевича. Где Обломов? Нет Обломова. Где Павка Корчагин? Нет Павки Корчагина. Нет ни героев, ни антигероев, ни сучка, ни задоринки, ни дна, ни покрышки. Нет характеров, типов, черт, особенностей, примет, личностей и неприличностей, минусов и плюсов, хорошего и плохого, некому никого ни судить, ни оценивать, ничего нет, только – капли в море, только песок на побережье... – размытое, измельчавшее, стёртое, поблекшее, безличное, безразличное – вот она, старость человека! был Эверест – стала песчинка! вот оно, рождение человечества! есть капелька – делается море-океан! Нелюдимо наше море... Ни упреков, ни сомнений, и самого главного, самого трепетного нет – страха! Нет его, казалось, вечного – перед могилой, перед богом, перед жизнью, перед грехом и долгом, перед друг другом, перед утренней газетой, перед указательными конечностями начальства, перед любым государством, будь оно хоть господним и государевым, хоть диктатурой пролетариата в тесном союзе с колхозным крестьянством и трудовой интеллигенцией, уже и усталости не осталось, некому уставать...

Яй, на щингэр ту, Чапай, гэй,

*Тё нэво сэрасамо,
Свою новую сбрую, гэй,
С самоцвете-та-ми-и...*

Вас ист дас?

Глас?

Глас... Слава тебе, господи, остался он, баритон, не растрескался, не обшелушился, не зажестянял, не сгинул в тартарары, не вылетел в трубу, не вышел в расход, на полный и окончательный выход вон, на задний двор... Прорезался, родимый, вылился, разлился – из цыганских самоцветов да прямиком в арию гостя индивидуально-частного сектора... Как мудры были латинские словотворцы, поместившие в одно слово, в арию, значения воздуха и ветра, а значит, и всего остального на все времена и пространства: породу природы, дыхание, вздохи и выдохи, входы и выходы, ахи и охи, и ариозо цыганского барона, и песнь ямщика, вот вздрогнули дроги, и дорога дрогнула под мерным конским шагом, на четыре четверти – и всё в пути, всё путём, даже лакей на запятках кареты, который вообще никогда не поёт, ему противопоказано, долгий путь по тряской дороге приучает лакея держать рот на плотном замочке, стиснув зубы, так и язык не прикусишь, и не простудишься в путешествии, вот образцовый-то слушатель потусторонних арий, да уж такой образцовый, что дальше некуда, на постое-то этот запятошный лакей не может, бедняга, сразу разговориться, и мычит лакей, преодолевая с потугою дорожную привычку к бессловесной свистопляске и догоняя губошлёпством членораздельную речь... Да-с, этот глас! Остался. С кем-чем? С носом. Вне репертуара. Ну, и что? Есть! Не в прошлом, не в будущем, но в самом подходящем времени, в настоящем, и если он соответствует времени, если он сам настоящий, а не трубно-иерихонский, то уж никому в службу не отдаётся он, Глас, – ни большому директору, ни атакующему классу, ни зелёному змию, ни белой горячке, ни красному флагу, и даже – славному режиссёру Борису Александровичу Покровскому, даже ему не отдаётся, только – ветру, только – воздуху, пусть носят, по-божьему веленью, по-бомжеву хотенью, заштатным порядком, без расписанья... И хорошо бы ещё остался тёмный силуэт на фоне заката, чёрный на красном, пусть не Шурик, пусть не Чапай – лошадь вообще, силуэт её

выразительней человеческого, у человека черты мелкие, невзрачные, скрадывающиеся на фоне неба в пень-колоду или, в лучшем случае, в истукана с острова Пасхи... А кстати, с какой же это стати библия словами отца к блудному сыну объявила перстень и башмаки знаками свободного человека? Ерунда какая-то... Вот он тоже, например, остался, серебряный перстень с выпуклой христианской рыбкою, подарок поклонницы-меломанки, на указательном пальце правой руки... – и что с того? Что он значит, кроме самой рыбки? А стоптанные башмаки на покойно-горизонтальных ногах да ещё на фоне неба – что они, если не чепуха, и кому-чего наскрипывают? Вот именно – кому? Вопрос интересный. Да неужто они, эти башмаки... нет, нет, вздор, не может быть!.. но всё же! а вдруг они, эти стоптанные, на фоне неба, нахально вертикальные, носками вверх – другим, параллельно-скрипящим и стаптывающимся, разночинным родственникам рассказывают шершавым кожаным языком, перебивая друг друга, похваляясь и жалуясь – о своём ходе, а? И если это не бред, то тогда – сплошное брависсимо! О, тогда и перстень другим перстням говорит о своём руководителе, и рыбка с иными рыбками о том же перемалчивается, и занавес закрывается, начинается закулисная история, где мелочишки на фоне неба оборачиваются дивной, чудной статью библейской неожиданной мудрости... И, значит, выйдет на авансцену цыганский барон в живописнейшем ширпотребстве и спросит вольным голосом: а где же вы, золотые мои брильянтовые, пропадали так долго, что всю душу истерзали в клочья? – и скажем мы, и Чапай подтвердит аристократическим не-кивком, но наклоном головы, с достоинством серой лошадки, непременно серой, той, что в каретной упряжке британской королевы Елизаветы: да вот так как-то, знаете ли, жизнь анализировали на свежем воздухе, на волнительном ветерке, ещё осталось маленько проанализировать, да вовремя вспомнили, что вас жалко, граждан горожан, вы ж там без нас совсем заморочитесь, даже корочку хлеба с солью подать будет не знать кому – не от нищеты закровов ваших, но от богатства так называемой души, существующей – на фоне неба! – вопреки рассеянности, вопреки вечерним телевизорам с «голубыми огоньками» и университетами марксизма-ленинизма для миллионов, вопреки *зэлэно шэлэнги ттай лолли дэшэнги...* без

нас-то вы, сражённые очередью, даже покойных будней не сопроводите за неимением оных, и покойных снов не посетите личным присутствием, а хорошие сны уж давно заждались вас, во снах свои знаки, там сытая лошадь видится к богатству, голодная – к недугу, верные приметы старых сонников, и грех даже во сне не накормить лошадь, так вот же вам, граждане горожане, – хотя бы во сне... конечно, время ограничено тихим часом, зато пространство-то какое, товарищи! ошуюю – глас народа, попули вокс и пепел Помпеи... одесную – квас и помпезная эпопея пипла, где эпопеей даже жопу велено называть, да не за ради бога, за ради грандиозности, но вот отцов называли почему-то не именами, а кликухами, и только поздние сыновья принесли в род фамилии и отчества... обоюду – кодекс мужественный, зеркало из трёх твердокаменных параграфов для государей-правителей: погуби сына, сруби дерево, разори дом! – сезонная подёнщина на пространстве, размеченном не столько своевольными сдвигами плавающих материков и континентов, сколько мечами, заставами, пограничными столбами, будками и вёрстами полосатыми – бесконечно протяжённое дикое поле, вечное поле, удобренное воями, помеченными и посеченными, постреленными и прокопёнными, проклятыми и святыми... – в поле, в почве, в земле рассеяны и стали землёй, почвой, полем вои безымянные, безнадежные, а над – вои бабьи, безъязыкие, но живые, вечные, словно поле, и доступные небосклонности, и это обнадеживает, как беззвучное умирание зерна...

... как беззвучное умирание зерна, является сон во сне о сне, в котором снится матрёшечный, многожды отражённый, блуждающий в лабиринтах тёмных таинств, за чёрной амальгамой скрывающийся – мир занавешенных веками зеркал...

... и пошла тихой волною, пошла – куда? – половецкая тёмная тема светлой песней половецких девушек, чудная мелодия в начале второго действия бородинского «Князя Игоря»...

– Игорь Святославич, просыпайтесь же, судырь мой!

Князь отчётливо увидел под прикрытыми веками распахнутую настёжку книгу и страницу, которую он только что

дописал по непреложному желанию режиссёра Бориса Александровича, и буквы чернильные ещё не просохли, а он, писец нетерпеливый, переворачивает толстый лист на обратную чистую сторону, и буквы... ужас! буквы осыпаются со страницы, осыпаются подобно чешуйкам шелухи, маковым зёрнышкам, мушиному насиженному наследию, как сор осыпаются... «Куда-а-а?» – кричит Князь что есть мочи, громче самого деда Молитвина... Поздно.

– Да почто же поздно-то, судырь? Совсем ещё рано, весь день деньской ещё впереди, – говорит Ерусалимыч.

Он стоит напротив, во всепогодном своём парусиновом балахончике-разлетаеке, добродушно щурится, улыбается, как всегда, с вопрошающей виноватостью, чисто по-собачьи, и Чапай припал мягкими вздрагивающими губами к дедовой ладони с краюшкой чёрного хлеба.

Ещё из сновидений окончательно не вышед, уселся Князь, головой поматывая, сны стряхивал, лицом дураковатый, то ли какой угодник, вылитый между чревом и святостью, то ли древний пророк, пустившийся в радиоверещание, пограничье божества и убожества, тёмное лицо, не наше, не советское, но словами Князь – очень даже нашенький, обыкновенный:

– Господи, твою мать, это ж надо такое привидеться, что я, выходит, и написал, да я же и пел... Браво, брависсимо...

И так последние слова из полусна оборотились первыми в полуденном бодрствовании, когда уже хлебушек жевали и пёрышки зелёного лука, свёрнутые в колечко, макали в спичечный коробок с солью.

– Брависсимо, значит, Игорь Святославич? А я шибче скажу: бравенько! У меня лично это слово Игореву давно уж на языке сидит, засело и заело, спасу нет. Глядите-ка, чего сегодня на свалке изыскал.

И явилась на свет из балахонного просторного кармана «Орнитология», книжка ветхая, лохматая, зато с картинками, на которых всё птицы, птицы.

– Теперь с птичьего боку буду изучать слово Игоря, – объявил Ерусалимыч.

И завязался меж двумя человеками разговор интересный: с одного боку – про сон Игоря Святославича, а с другого боку, с птичьего, – про орлов и соловьёв, галок и ворон, сорок и дятлов,

гусей-лебедей и кречетов, гоголей и чаиц – все в Слове Игоровом кричат и кружат...

– Это у них там, в средние века, маскировка такая была, что пишут про птиц, а понимать надо про людей, – сказал Ерусалимыч и подмигнул. – Шифр у них такой был. Да вы ж, поди, сами знаете, Игорь Святославич, коли вам во сне вещей голос из древней истории послышался.

– Нет, Ерусалимыч, про птиц-то как раз и не было ничего. Но с птицами получается аллегория. Мы ж ещё в школе проходили мимо той аллегии, про пальцы Бояновы, как десять соколов, на стаю лебедей, на струны, стало быть, в общем правильно, красиво и понятно. Не так, что ли?

– Не так, – ответил Ерусалимыч. – Вам же голос уже подсказывал, кто такие эти пернатые.

– Неужели летописцы с гусиными перьями?

– Ну, куда загнули! Берите проще. Дело-то не шибко замаскированное. Я читал, не помню где, про ихние княжеские нравы, так у меня такое впечатление: полный разврат. Вы даже не поверите. У Владимира-князя, например, было не только открытое многоженство, но плюс к тому ещё и наложницы в тереме, восемьсот штук, короче, не меньше, чем в Бахчисарайском каком-нибудь Фонтане. Спрашивается: зачем князю столько? Ответ элементарный: а надо! Для забавы и полного средневекового счастья без границ. Ещё вопрос: откудава князь комплектовал свой гарем? Со Степи! Каким способом? Обычное дело. Князьи дружинники, которых называли соколами, устраивали себе потеху на пограничьях и не столько с воинами половецкими воевали, сколько молоденьких половчанок излавливали, и прямиком – в княжеский двор. Самая ценная добыча, по нашему говоря, трофей – непочатая девка. Вот. А теперь скажите мне, кто здесь соколы и кто здесь лебеди?

– А лихо же летописцы слог раскудрявили! – воскликнул Князь.

– Вот уж не знаю, мраком покрыто, кто больше раскудрявил. Может, и не летописцы вовсе. Может, те, кому текст после летописцев попал. Переписчики, допустим. Или переводчики на удобный лад. Жуковский, например, Василий Андреевич, учитель побеждённый. А после него – и Заболотский, и советские ака-

демики. Но Василию Андреевичу я больше всех не прощу за искажения.

– Да ему-то уж всё равно...

– Зато мне не всё равно, судырь мой. У Василия-то Андреевича как раз и не хватило чутья на правду и воображения, чтобы исправить одну простую ошибку переписчика.

– Да что вы такое говорите, Ерусалимыч? Не понимаю!

– Объясняю, Игорь Святославич, с моим разумением. Вспомните, что в Слове, в самом начале, говорится про Бояна? Боян бо вещей... Ну-с, дальше?

– Растекается?

– Продолжайте, продолжайте...

– Растекается мыслью по древу. Так?

– Так Василий Андреевич и переложил старославянский слог. Шибко ему, стихотворцу, понравилось, видать, это «мыслью по древу». А на самом деле никакой мысли и не было. То ли переписчики поднапутали сослепу, то ли сам Жуковский залетел от восторга в такие выкрутасы, на которые отваживались только футуристы двадцатого века, но никак уж не сочинители летописей. А знаете, что было в изначальном тексте?

– Интересно!

– Была мысль, вот что. И растекался, значит, Боян мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. И всё очень красиво становится на свои места. И никаких подпоручиков Киж!

– Мысль, говорите? Чудесно. И что же это за зверь?

– Белка, Игорь Святославич. По словарю Даля – обыкновенная белка. Её на Псковщине издавна и посейчас так и называют: мысль.

– О, Ерусалимыч! Да вы же за академиков открытия делаете!

– Не обижайте меня, старика. Не люблю академиков. Это ж они тайны Слова придумывают. Тайны, которых нет и в помине. Это для самих себя академики работу сочинили, проблемы, вопросы, за которыми потянулись должности, кафедры, научные школы, учёные степени, звания, хорошие зарплаты, академические пайки и тому подобные блага. С таких-то позиций наших академиков не свернёшь, не скovyрнёшь. Постучать мыслью по древу – это они могут, но посмотреть на текст простым, без

сверхучёной мутоты, взглядом они уже не могут, бедные, и не хотят. А ведь как всё просто на самом деле! Как белка по дереву, волк по земле, орёл под облаками... Но у академиков – нате, хрен в томате, мысль растекается. Беда. А всё Василий Андреевич начудил.

Князь головой покачал:

– Интересно девки пляшут, как у нас во дворе поговаривают. А вам надо бы написать о своих открытиях туда, куда следует.

– Куда-а-а?

– В Академию наук, в первую очередь.

Ерусалимыч мелко засмеялся:

– Ага! Однажды кричала лебедь в терему... Кто услышал? То-то, судырь мой. А мне писать грех. Мне вообще писать ничего не надо. Моё дело маленькое: страничку к страничке подобрать, книжку к книжке приставить – и всем всё станет ясно и понятно, где тень, где плетень.

– Книжки со свалки? Из мусора? Так то же совершенно случайно выходит, Ерусалимыч!

– А всё – как в жизни, Игорь Святославич. И свалка, и мусор, и случай, который сам по себе и есть дело случая. И всё на свете уже написано, нужное и ненужное, хорошее и плохое, всё. Остаётся только прочесть. Но вот это дело, оказывается, самое трудное, трудней письма.

– Не научились?

– Вот уж не знаю. Уж сколь веков кошке под хвост улетело... Но надеюсь, что когда-нибудь научимся. Есть маленькая надежда. Без неё, вообще-то, никуда, ни назад, ни вперёд, ни сбоку вприпрыжку. С надеждой даже и назад ежели оглянешься, так и то дивно, что самого себя, многогрешного, увидишь в том огляде. Иди, значит, и оглядывайся? Так, так. Иду и оглядываюсь. Петра Яковлевича Чаадаева вспоминаю, наизусть запомнил: когда говорят о какой-нибудь культурной нации, что она находится в застое, то надо прибавить, с каких пор она пришла в это состояние, иначе эта фраза совсем не имеет смысла. Но тут я опять малость несогласный. Может быть, не так уж и важно «с каких пор», а важней и нужней «до каких». Но последний вопрос познабливает.

Закурили...

– Не удивлюсь, – сказал Князь, – что вы определённо знаете даже автора Слова.

– Опять двадцать пять! – Старик хлопнул себя ладошкой по лбу. – Игорь Святославич, батюшка, вы меня удивляете, как чистое дитё. Да ведь вам же голос был во сне! Чего ещё знать?

– Голос голосом, а научный факт – совсем другое.

– Ладно. Будет вам факт. Но сперва вопрос на засыпку: можно ли не заметить имя автора, если оно написано на титульном листе книжки?

– Шутите, Ерусалимыч. Конечно, нельзя.

– А я говорю: можно. Вы запятые любите?

– В жизни?

– И в жизни тоже. И в грамматике. Вообще.

– Да как вам сказать... У меня с запятыми, помню, сложные отношения образовались, но то было ещё в средней школе. А сейчас понимаю: нельзя, конечно, без запятых. Они и смысл располагают, и порядок. И закономерность в них, и правила. Наконец, – эстетическая завершённость.

– Да, да, я понимаю. Эстетическая завершённость. Это как слово «жопа» в толстовском «Войне и мире». Сначала я этой жопе удивился: чего это Лев Николаевич так опростонародился? – а сейчас понимаю, с ваших слов, Игорь Святославич: эстетическая завершённость. Замечательно. Но вот только в средние века летописцы чихали на такую завершённость, как запятые. Летописцы на вес золота ценили пространство пергаментного листа, относились к нему экономно, бережно, совсем не так, как русские князья к своим землям. Летописцы слово к слову прижимали, и знаков препинания вообще не было, текст шёл слитно, без спотыкачек, цепочкою, звеньишко к звеньишку. И вот что, думаю, случилось с рукописью Слова, которое в подлиннике было озаглавлено без единого знака препинания: Слово о полку Игореве Игоря сына Святослава внука Ольгова. Запомните. Дальше. Когда рукопись попала в руки переписчиков-переводчиков, они выкинули из названия слово «Игореве» – нашто, дескать, такая туфталогия, чтобы имя Игоря в одном ряду дважды поминать! – и для пущего, как вы говорите, порядка и правила, воткнули в заголовок две запятые. И получилось у них: Песнь о походе Игоря, сына Святослава, внука Ольгова. Всё!

Хана! Сгубили тогдашнюю правду истории, не заметив в названии имени автора.

– Неужели так просто?

– Ужели, ужели, судырь мой. Именно в таком усовершенствованном виде и появилось Слово в издании Мусина-Пушкина и положило начало роковой ошибке на двести лет, и та ошибка задала хорошо оплачиваемую работёнку академикам. Ладно. Пусть академики не могут растекаться без знаков препинания. Так хоть бы поставили эти знаки на место! Нет. По сохранившимся образцам, где русские летописцы всегда озаглавливали свои труды на один лад: сначала – название сочинения, потом – имя автора в родительном падеже. Например, Хожение за три моря – кто писал? Сам Афанасий Никитин. Потому что он так и озаглавил рукопись: Хожение за три моря Афанасия Никитина. Другой пример: Слово Даниила Заточника. Третий пример: Задонщина, Слово о Великом князе Дмитрие Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче Софония – слово! – старца Рязанца. Ну, и ещё один пример, для полного блаженства истины: Песнь о вещем Олеге Пушкина Александра сына Сергея внука Львова. Так как же, Игорь Святославич, мы с вами назовём предмет нашего душевного разговора?

– Слово о полку Игореве.

– И чьё же это сочинение, судырь?

Улыбается Князь:

– Игоря, сына Святославля, внука Ольгова.

– Точка, значит, с этим вопросом. И слава богу. Привет академикам. Правильный сон к вам явился нащёт тёмного прошлого. Это хорошо. Это, значит, память заговорила, судырь. Но упаси господь присниться светлому будущему. После таких снов жить нормально уже будет нельзя. Как же жить, когда не только что изнутри всё про всё знаешь, но даже на лице всё будет написано?..

Ерусалимыч ворковал, точно голубь, да Князь уже и не слышал его, чудного старика.

Князь снова откинулся на спину, глаза закрыл и видел уже никакой не сон, но самую настоящую явь со всеми её красками, звуками, запахами... – московский двор на Арбате, коммунальную квартиру, где давным-давно жил мальчик с мамой-

белошвейкой, у мамы был чудный голос, колоратурное сопрано, но она всю жизнь свою прострочила на швейной машинке, мама любила мальчика, как все мамы, но, не как все, говорила ему на улице, зимой и летом: мой мальчик, закрой рот, не то простудишь гланды; и мама же привела мальчика за ручку в драмкружок при Доме пионеров, мальчик брыкался и упирался, он плакал и даже описался, он не хотел в кружок, ему нравилось гонять с мальчишками во дворе резиновый мячик, наполовину красный, наполовину синий, а пополам была белая полосочка, как на рыболовном поплавке, но мальчик стал послушно ходить в драмкружок, ему было стыдно расстраивать и обижать маму, и очень скоро в том кружке придумали такой театральный номер: двое мальчиков под крашеной простыней изображали лошадь, а третий мальчик, который полегче, сидел на той лошади, он был князем Игорем из древней истории... о, как хотелось сидеть князем, да ещё из истории, или, в крайнем случае, помещаться в голове лошади, но мальчику, который не желал обижать маму, досталась роль задницы, по антропометрическим данным, как сказала руководительница кружка, и мальчик исполнил роль, но был очень огорчён таким антропологическим амплуа, в котором он сидел, и мама говорила, утешая: не огорчайся, мальчик, это место лошади, которое ты занимаешь под искусственной шкурой, называется «задние плечи», а совсем не так, как его называют во дворе грубые невоспитанные дети... и мальчик, дурачок такой, недоумевал от взрослой воспитанности, в которой жопа есть, но слова такого нету... ах, мама, ситцевая душа, царство ей небесное, в её жизни, с её войной и миром, как будто бы и не было другой войны и другого мира из толстого романа зеркала русской революции, который, словно семечки подсолнушные, прощёлкал дотошный старик Ерусалимыч, а случись – так она, мама, и самому Льву Николаевичу попеняла бы за нехорошее слово, запрещённое к употреблению не столько партией и правительством, сколько её собственной, женской, материнской, охранительной эстетической завершенностью... что первый ученик, что последний дурак – всё ж для неё едино, когда – сынок кровный, вот это и написано, дорогой Ерусалимыч, у неё на лице, это уж потом мы, Ерусалимыч, повзрослев да наглядевшись народонаселения, стали мало-помалу замечать, что у кого чего написано, да, видать, сроку не достанет, чтобы научиться

толком прочитывать, а, прочитав, сообразить: как славно устроено в свете, что столько лиц в нём! и ведь совсем не знаки препинания они, эти «точка – точка – запятая – минус – рожица кривая», не знаки препинания, но знаки откровения, они разные, они хорошие, их любить суждено, даже Собакевича, даже Плюшкина, имя которого редкий читатель сообразит, это уж Николай Васильевич Гоголь так расстарался, загадку заложил, запрятал в старшую дочь Плюшкина, в Анну Степановну, которая со штаб-ротмистром убежала, негодница... а что такое Плюшкин, скажите на милость? а что такое какой-то кучер Селифан, ответьте пожалуйста? кто ж они такие, если не личности, даже и в том случае, пусть каверзном, когда на лбу этой личности словно бы толстым химическим карандашом жирно написано «дурак» – значит, какой-никакой, а – живой человек, брат твой, и худо, хуже некуда, ежели вообще ничего не написано, человекоподобные люди получают, вот кто тогда мёртвые души и живые трупы, а не Степан Плюшкин, собиратель трофеев войны и мира в собственной жизни и судьбе...

– Ну, что, судырь мой, Игорь Святославич, может, до хаты потопаем? Обед сгношим. Бебешкин обещал из города свежие газетки принести.

– Да-да, Ерусалимыч, пойдёмте, однако, – ответил Князь, а под закрытыми веками живая картинка наплыла, со старого московского двора на Арбате, где стоял мальчик в чёрной бархатной курточке и с большим бантом под воротником рубашки, стоял и стоял, прощался с красно-синим резиновым мячиком, а потом невоспитанные мальчишки отвесили «артисту» замечательных пиздюлей, сказали, что – от обиды за футбол, а ещё за то, что этот, который с бантом, не поступает, как все настоящие пацаны... и пусть! и пусть! мальчик не плакал, его уже кой-чему, в том числе лицедейству, научили в кружке, по системе Станиславского, но вот как они, пацаны во дворе, без «артиста» будут играть в прятки? никто, кроме мальчика с бантом, не умел так ловко, совершенно по-партизански, запрятываться... «Пуля лети!» – кричали игроки. «Дробь сиди!» – кричали... Что к чему? А вот к чему. Вот как было-то. По правилам и как жребий выпадет, воспитанные и невоспитанные дети, соединившись для одной игры, делились на две партии, каждая со своим выбором

атаманом, одна партия прячется, другая ищет и ловит, в плен берёт и ведёт пленников в конец, да, в «конец», то есть в то определённое место, откуда игра начинается, короче говоря, конец – это и начало, и плен, интересная игра, с философией, ничего не скажешь, когда нечего говорить, да! и вот уже все пойманы и переживают в плену за одного-единственного товарища, который ещё остался на свободе, на него ещё остаётся надежда на всеобщее партийное освобождение, а другая партия, охотники-сыщики, рыскают, как собаки, хуже фашистов, хуже немецких полицаев, а мальчик в бархатной курточке затаился в своей упряжке, сердце его замирает, вот-вот найдут, уже полицай в двух шагах, а из плена кричат: «Дробь сиди!» – и мальчик вжимается сам в себя, в незаметный комочек, закрывает глаза, но уши-то, уши наостре! уши ловят все сущие и несуществующие звуки, пока, наконец, не донесётся из плена ликующее: «Пуля лети!» – и тогда мальчик стремительно вылетает из хитроумного укывища и что есть сил мчится в «конец», в тот «плен», где подпрыгивают от нетерпёжа его однопартийцы, и мальчик, конечно же, успевает добежать до места и перехлопать-застучать ладошкой каждого пленника, тем самым, значит, освободить их, выпустить на волю, и тогда игра продолжается, и близкий конец её перемещается в неопределённо отдалённое начало, а мальчик... что ж, мальчик в бархатной курточке был послушным, ему казалось, что он умный и ему по силам изменить мир, а потом он стал взрослым и изменил только самого себя, и таким образом в мире одной сволочью стало больше...

– А я это... забыл сказать, Игорь Святославич. Вы как только ушли с Чапаем после завтрака, так ко мне на чёрной «Волге» прикатили.

– Академики?

– Какие там? Не шутите. Из крайкома мужчина, из крайисполкома женщина, мужчина из Москвы и генерал из милиции. Вежливые до невозможности. Вас спрашивали.

– И вы что?

– Да что я? Сказал: гуляют Игорь Святославич с Чапаем. Как два ветра в поле.

– А они что?

– Сказали: надо брать.

– Кому сказали?

– Мужчина из Москвы – мужчине из крайкома.

– А генерал что?

– Сказал: так точно, будет сделано.

– Понятно. А кого брать?

– Я думал, что меня. Но меня не взяли. Потом подумал, что поэта Феликса Хворобушкина ищут, он у меня, ещё до вас, целую ночь от клеветников России укрывался, но этот Феликс уже утёк от меня в неизвестном направлении, как парус одинокий. Значит, вас брать, Игорь Святославич.

– А потом что?

– Уехали. Извинившись и попрощавшись.

– Ну, ладно, пошли, Ерусалимыч, – сказал Князь и рывком поднялся с земли в полный рост.

И покуда он отряхивал подстильную телогреечку, из-за Целкиной горки вытек ж-ж-ж-железный стрёкот, а вслед за ним, из-за памятника партизанскому коню, медленно выплыла зелёная стрекоза.

Вертолёт шёл крадучись, на низкой высоте, и остановился в небе, зависнув над наземной, скульптурно неподвижной группой из трёх персон, включая Чапая.

И раздался вширь и вглубь, заглушая шум двигателей, глас с неба:

– Здравствуйте, уважаемый народный наш артист Игорь Святославович! К вам обращается исполняющий обязанности начальника музыкального сектора отдела искусства Министерства культуры эсэсэсэр Кильдишев Антон Ефремович. Вы меня должны помнить, Игорь Святославович, по Москве и по зарубежным гастролям во Франции. Я прибыл в Хибаровск по специальному поручению министра, который действует в соответствии с указанием отдела культуры Центрального Комитета Капээсэс. Во-первых, огромное вам спасибо, дорогой наш Игорь Святославович, что вы не стали отщепенцем нашей Родины, а то мы уже подумали... Но мы даже из-за реки слышали ваш замечательный, достойный не только Большого Театра, но и всех мировых сцен, баритон. Мы, к счастью всего народа, слышали ваш голос пополам на русском и на иностранном языке про коня в бриллиантах и про товарища Чапая. И скажу вам откровенно,

дорогой Игорь, позвольте уж мне вас так называть по старой памяти, репертуарчик у вас новый, интересный, народным фольклором наносит невыносимо, и это выше всех похвал...

Из романа положений «Августейший сезон,
или Книга российских календ» (2008)

КОГДА БОГИ ШУТЯТ...

ПОВЕСТЬ

I

Писарь из гренадёрских казарм Васька Хворобьёв третий день обхаживал горничную девушку.

— Рукавчик-то у вас замаравши, прекрасная Дуня. Дозвольте обдуть дыхательным волнением эфира?

— Волнением можно. А руками не шибко распространяйтесь. Я девушка аккуратная, в невинном виде состою.

И взвыл писаришка:

— Да што же это вы, миловидная Дуня, со мною такое производите? И што же это вы меня всю дорогу осаживаете? И откеда у вас такое противоположное мнение завелось? Умом не достигну! Я вам, например, кажинный раз про амурь рассуждаю, а вы, например, в носу ковыряете. Очень мне обидно, самодовольная Дуня, што при вашей завлекательной наружности остаюсь я в самозабвенном виде, точно дитё малое. Уж коли вы не желаете, коварная Дуня, произвести со мною скоропостижный амур, так, значит, возвертайте меня в первобытное состояние. Хоть вы и есть нежный предмет, который я, например, обожмя обожаю... хоть и чересла у вас есть моё сплошное смятение и шевеление чувств, и губки то же самое...

— Ах, ах, ужасный Василий! — сердится горничная. — От ваших репримандов уж я вся взопревши... Ах, ах!

— Ахом делу не поможешь, — грустно роняет писаришка. — Вон, платочек-то у вас на сторону сбивши. Дозвольте пальчиком поправить?

— Одним пальчиком не возбраняю. Потому как вы, например, кавалер щекотучий, а я, например, девица полнокровная...

И снова возопил писаришка Васька Хворобьёв:

— Это што ж такое несурьёзное получается? Уж который день ваш покорный слуга без ума и памяти влюбимши в ваши неподобные глаза — а всё без последствий! Это как называется? Што возразите, невозможная Дуня, на такую несовместимую позицию?

— Ах, сокройтесь прочь с моих неподобных глаз, — пискнула Дуня дрожащим голосом; она очень боялась, что кавалер плюнет и уйдёт к чёртовой матери. — Вы есть несравненный нахальщик и ничтожество, хуже клопа или, пуще сказать, таракана.

— Как же таракана? — возмутился Васька. — Об чём вы такое говорите, когда папаня мой мясную лавку содержит и уважение имеет по принадлежности? Об том кажинная собака в околотке знает. А дяденька мой единокровный Захарий Хворобьёв, оставной каптенармус, так тот и вовсе, например, на Каменном острову гарнизонные огороды с капустою произрастает. Кажинный козёл об том знает.

— Фи, капуста! Да у моей тётеньки... да у тётеньки моей вопче... репа, например... вот такущая! — выпалила Дуня и ручками широко обозначила — какущая.

Васька тоскливо смотрел на девушку.

— А вот как помрут, упаси господи, мои тятенька да дяденька, так всё ихнее моим станет. Но вы, невозможная Дуня, выказываете ко мне полное персональное небрежение. Что ж! Вы добились своего, пронзительная женчина. Во мне даже аппетит до харчей исчезнул. Служба тоже самое страдает. А служба есть вещество сурьёзное, для общества. Но вы мне тут разные милovidные намёки подаёте, несостоятельная Дуня, а сами потом — в кусты. Так прощайте же. Удаляюсь, как дым. Оставайтесь в одиноком своём непотребстве. Ухожу навсегда, не попрощамши как следует...

Задом, задом — и скрылся за углом дома.

Вздыхает Дуня: «И куды ж это он направился, подлый изменщик? А пойду-ка взгляну одним глазиком на евоное удаление, да плюну вослед».

Безразличная Дуня на цыпочках крадётся вдоль стеночки. До угла докрадывается, и только носик свой за угол заворотила — как тут же и столкнулась с противоположным носом, с писаришкиным.

Оба фыркнули. Отскочили друг от дружки.

Один глаз у Васьки смеётся, другой в романтизме пребывает.

— Какое натуральное счастье, — говорит, — на кажинном шагу попадается! Обратно вы, безразмерная Дуня!

— Ах, ах! А это вы? — испугивается счастливая Дуня.

— Да вот, извольте видеть, снова тута... А чего это рукавчик у вас как будто бы замаравши? Дозвольте чистоту глянца произвести, бесподобная Евдокея...

Вот ведь обхожденьице! Политес, называется. Государь Пётр Алексеевич повелел так, а не иначе, как бывалочке совершенно по-хамски: без разговору цоп девку за толстые бока — и Вася не чешись, и девка успевай лишь, повёртывайся. Что ж мы — азиаты какие-нибудь, чтобы, например, одна репа и без разговору?

II

Государь Пётр Алексеевич мало сказать, что осерчал, нет, его кинуло прямо-таки в тихое, то есть без ломания мебели, бешенство. Глаза круглые, кошачьи, выкатил, усы ошетилил, губы задёрнулись... Не подступись!

— Экая же ты дурища, Катерина! Хуже последней полковой маркитантки. Пошла вон!

Екатерина опустила на колени перед супругом. Одним пальчиком царёво колено погладила, точно пробуя на жар калящийся уютю. Исподлобья, снизу вверх, поглядывала: как там усы великодержавные, дёргаются ли ещё во гневе или передых позволили?

Пришла-то к супругу весёлая, ароматная, ямочки на щеках. В руках свёрточек атласный, с кружавчиками. В свёрточке — Елизавета Петровна, четвёртый ребенок или «четвертная лапушка», как державный родитель навеличивал. Взяла с собою для смягчения государева нрава, чтобы не случилось так, как вчерашним днём.

А вчерашним днём вот какой пронзительный случай образовался.

Любимая екатеринина фрейлина княжна Дашка Апухтина перепелёнывала Елизавету Петровну, да тут ей под руку сама матушка-государыня подвернулась.

— Ты бы, Дашка, сперва руки помыла, что ли, — сказала Екатерина Алексеевна и нахмурилась. — Да ногтищи обрежь. Да парфумою побрызгай под мышками. Почто же ты, Дашка, в самом деле, некультурная такая?

И расплакалась княжна Дашка:

— Матушка, да отколь же мне, бедной девушке, напасть денюжек на мыло духовитое? У меня вить не то что на мыло с парфумою, но даже на чай с сахарочком средствиев недостаёт. Вот и нонче, как вчерась и позавчерась, не токмо што не помывши, но даже чайку не выкушавши... Каково мне?

Сжалилась государыня, доброе сердце, отходчивое:

— Остановись, Дашка, слёзы капать на Лизыньку. Будет тебе бесплатное мыло из дворцовой конторы. Также и чай.

— С сахаром? — уточнила княжна.

— Экая ты, право, корыстная... Ну, ладно, положу тебе цукер в довольствие... Да ты пеленай, пеленай Лизыньку. Кажись, снова обсалась четвертная наша лапушка.

Вечером Екатерина Алексеевна заявила к супругу с просьбою. И тот взбеленился:

— Ах ты, курвища! На имперскую казну замахваешься? В разор пускаешься? Не позволю! И седи в своих покоях тише мыши! И девок своих фрейлиновых прищеми! Не то сам на твоей территории примусь порядок наводить. Ишь ты, чего удумали, сучки-вонючки, сахару захотели...

— Петенька, дак вить...

— Никаких петеньков, когда с императором разговариваешь!

Супруга-то мягкая, послушная, словно подушка, а тут упёрлась.

— Скуповатенький вы, Пётр Алексеич, на семейное удовольствие. А сами бог весть на что капиталы употребляете. Пуговики разные...

— Какие пуговики?

— Медные! На солдатских мундирах. Сама вчерась видела у караульщиков Преображенских. А нашто, Пётр ты наш Алексеич, столько пуговиц на рукавах? Там и застёгивать-то нечего.

— Опять дура! Это чтоб сопли рукавом не вытирали...

Точно. Именно с таковой целью замышлялась государственная военная реформа, новация стратегическая. Раньше оной введены были в обязательное употребление утиральные платки — не прижились платки. Так ведь не законопатишь же наглухо обширные солдатские ноздри! Вот и придумали в военной коллегии: пуговицы на обшлага, авось, утрётся служивый разок-другой таким рукавом, да нос обдерёт до крови, да тут же и вспомнит,

что на сопливую надобность платок назначен, персональный, точно ружьё и сабля.

Но самое главное вот где засело. Иноземных генералов шапками не закидаешь, соплей не перешибешь, и не полезно противника умалять, ибо не сладка и не почётна победа над слабым придурком; русские-то и научились бить врага только потому, что их самих в своё время крепко бивали, но вот учились — и научились, так не грех и дальше поучиться, даже в мелочах солдатского быта, если оные послужат пущей престижитаии армии российской; а то что ж? служба солдатская — не сопля на кулак мотать, сидючи на печи, мундир гвардейский — не зипун, не армяк с опояскою, но символ доблести воинской. Блюди! Соответствуй великой империи славой и честью! Без рукавов сопливых...

— Ладно, Катерина, не ной. Пиши прошение на моё высочайшее имя, по всей форме. Чай там, сахар... Завтра же подашь мне бумагу на всемилостивейшее рассмотрение...

...И вот сегодня — рассмотрел. Пером набрызгал: «Фрейлина твоя чаю не знает, сахара не ведает и приучать не надобно».

Обидно царице.

— Пошла вон, — сказал ей Пётр; хотел вослед добавить «патетическая женщина», однако раздумал и сказал проще, короче, душевней и вразумительней: — Дурочка.

III

Пётр обустроивал столицу на удивление всему миру.

Не скоро эта сказка сказывалась. То есть, не просто скоро, а — на рысях! Утром сказал, к полудню дело закрутилось, а к вечеру, глядишь, уже и слажено.

Привезли в Санкт-Петербурх слона. Через несколько месяцев умер бедный индийский гость. Медицинские профессора сказали: от алкоголизма. Как так? А вот так.

Служители относились к слону слишком по-человечески, поили вволю заморскими винами из дворцовых погребов, «для сугреву», чтоб не поморозился ушастый на северных холодах. К тому же интерес: как это он ловко осушает полные бадьи специальным хоботом, будто бы нарочно приспособленным к питейному делу!

Вот и вышло скоропостижное: служители-то ничего, сдюжили, не поморозились, а слон околел, против служителей слабеньким оказался. Говорят, шибко ревел перед кончиною, мадеры требовал.

— Что ж вы, подлые люди, безвинную животную похмельем мучили? — гневался Пётр Алексеевич. — Небось, не отошчала бы казна!

— Дак вить оно как было-то... Винца-то под рукою не оказавши к тому несчастному моменту... А служители-то и вовсе были спавши, потому как упивши... малость... для сугреву...

Для наказания дураков императору никогда не хватало одной палки. Потому он и держал при себе изрядный запас, весьма прикосновенный.

IV

Для встречи иностранных послов выбрали место подходящее: бережок на стыке Невы и Безымянного ерика. Здесь в короткие сроки построили Летний дворец, и сад вокруг заложили.

Пётр Алексеевич размашисто прогуливался по будущему парадизу, чуть ли не в каждую яму нос совал, встречных-поперечных то в щёки расцеловывал, то палкою охаживал. Какой-то посланник едва поспевал подпрыгивать за императором, вослед шагам его журавлиным.

— Как соизволите называть, ваше величество, сей дивный сад?

— Да так и будем именовать, как дворец, Летним. Ты вот погоди, посланник, сам увидишь, ежели я проживу ещё три года, так буду сад иметь получше, чем у французского короля в Версале... Вот тут на берегу поставлю галерею. Три галереи! Прямо с моря к этим галереям будут яхты с послами причаливать. И ты, посланник, причалишь, коли в те поры ещё останешься посланником, а не сопьёшься... Эй, господа садовники! — Это Пётр уже парковых мастеров приветил. — И куда же вы сию аллею тянете?

— А как раз туда, куда люди уже протоптали тропинку, Пётр Лексеич. В европах завсегда так, что дорожки прокладывают не по рисованному плану, а туда, куда сами ноги ведут. Людишки-то не шибко уважают, чтобы по плану ходить, особо у нас, любое своё путешествие спрямляют. Манера у них такая.

— Ну да? — весело оскалился Пётр. — Уж так и спрямляют?

— Истинно так.

Крякнул царь — досадливо:

— Эх, заморцы! Опять нас опередили! Так ведь это они у нас насобачились дороги-то спрямлять! Ну, довольно, господа хорошие! Лопнуло моё терпение. Маленько разорюсь, но поеду к ним, специально и самолично посмотрю, какие они там дорожки топчут. И прусский Фридрих-Вильгельм, и Георг английский, и Карл германский, и французский малолетка Людовик...

V

В город Париж Васька Хворобьёв выбрался в 1717 году, в свите государя.

— Что ж я, рыжий, что ли?! - горделиво похвалялся.

Нет, не рыжий. Русый. А если бы рыжим был, так никуда бы и не выбился — в полном соответствии с высочайшим указом, запрещавшим рыжеволосым занимать ответственные посты и быть свидетелями в суде... и пышные парики, до той поры обузные, пошли нарасхват.

Итак, Версаль. Тут лишних слов не надобно: чудо дивное.

— А у меня лучше будет! — вскрикивал Пётр Алексеевич. — Васька, шельмец, ты тут не сопи понапрасну. Всё, что углядел и услышал, записывай, зарисовывай, все ихние планы в Россию потащим, для отечества любезного приспособим.

Однако же недолго император пребывал в весёлом кураже. В Королевской библиотеке сник и замолчал. Губу прикусил.

Античные статуи тому виной. Эти беломраморные боги и богини...

— А у меня ни одной нету, — вздыхал Пётр. — Даже минья-тюрной... Вот ведь какое несчастье выскочило неожиданное. Вроде жили без этих статуй, не тужили. А теперь уж не могу по-прежнему.

Впрочем, долго вздыхать он не умел.

— Васька! Пиши указы всем российским послам. Искать мраморы по всему свету. В Венеции, Англии, Италии, Голландии, Франции, по всему миру! Колонны, фигурки алебастровые, вазы и другие посудины. Но пуще всего — статуи!

— Поломатые тоже брать? — осведомлялся Васька.

— Брать всё подряд, сколько руки загребут. А дома разберёмся. А кто из послов не загребёт... пусть пеняют на себя, дармоеды!

...Российский посланник в Риме капитан гвардии Юрка Кологривов помимо особых государственных полномочий опекал русских студентов. Это было крайне беспокойным делом. Студенты — они везде студенты, но ежели они ещё и русские, то хлопот прибавлялось всем странам, правительствам и дипломатам: любознательность вчерашних московских и питербурхских школьников, приправленная чисто детской непосредственностью, порой угрожала нравственным установлениям целых наций, доселе благополучных; на мирные же увещевания властей юные дарования реагировали слабо по незнанию местного языка и юридических пунктов, а с обидчиками своими разделялись без пунктов и учёных диспутов, по-своему, по-стародедовски: шпаконки ихние тощие об колени — хрясь! — и аргументировали кулаками, выращенными на отечественных незатейливых харчах, на щах да каше, слава богу, — прямолинейная пища...

Вот капитан и наблюдал за молодыми орлами, наставлял уморазуму и деликатному обхождению с заморскими державами, воспитывал, одним словом. Но не всегда одним. Приходилось и по-стародедовски.

Бретёр, ёрник, хохотун и бабник, хитёр, не дурак выпить и закусить хоть макаронами, хоть наихрустейшими огурчиками, к тому же ни черта не боялся и обожал драку. Дипломат!

Чистить зубы студентам — дело нехитрое, рутинное, ни полёта фантазии, ни упоительного куражу. Но вот он явился, ветер перемен: Фортуна фартовенькая, превосходительный папаша Кураж, всеблагая мадам Авантюра! Виват государю Петру Алексеевичу!

Капитан Юрка Кологривов с ещё большим упоением принял к исполнению царский указ, когда был извещён о том, что розыск древних диковин должен сопровождаться строжайшей тайною. О, тут уже пахло большой политикой, а это, милостивый государь мой, совсем не то, что сопатки студиозусам поправлять!

Дело с сугубой секретностью состояло в том, что папа Римский Климент и его первый министр кардинал Оттобони решительно пресекали любые попытки вывоза иностранцами из Рима античных сокровищ.

И посему папские шпионы не дремали.

VI

«Милостивая Государыня Евдокия Порфирьевна! Должность обязывает меня открыть вам то, что я скрывал очень долго. Я люблю вас, но живую, а не мумию! Если это вам противно и несурьёзно, то я принужден буду впасть в отчаяние. Но по чести, что может быть несправедливее, как видеть вашу красоту — и не влюбиться по уши? Любовь есть всегдашняя дань красоте, а кто смотрит на нея хладнокровно, тот отнимает у ней должное уважение. Возможно ли, что вы не в состоянии терпеть приписываемой вам похвалы и что до сих пор не привыкнете к лестным об вас отзывам, не смотря на то, что оне летят к вам со всех сторон? Если вы не переменитесь, то со временем принуждены будете терпеть большие неприятности. Что касается до меня, Милостивая Государыня, то я удивляюсь вам более всех. Может быть этим самым я и досаждаю вам также более других. Извините меня, если моим признанием умножу ваше неудовольствие. Но признаюсь, что не в состоянии погасить в сердце моём того чувствования и почитания, с коими пребуду до гроба навек. Закон справедливости требует, чтоб и вы были признательны. Сия признательность должна увенчать тот пламень и ту искренность любви, с коими я имею счастье остаться вашим, Милостивая Государыня, всепокорнейшим слугою, каковым является секретарь миссии Василий Хворобьёв из города Рима».

VII

Подумать только: Рим! Рома!

Представить только: Верона, солнце и шпаги!

Венеция — красные плиты древнего фамильного замка, закат, море!

Как сейчас помню: в одна тысяча семьсот девятнадцатом году...

Странно, что меня там не было.

Очень жаль.

VIII

В городе Риме виноградное вино пьют даже дети. Но вино всё равно не кончается.

— Дар солнца бесконечен! — восклицал хозяин траттории синьор Сальвадоре.

Васька слушал и закусывал. В самом деле, не всегда же ему только записывать. Он иногда и отвлекался:

— Студню давай!

На что хозяин виновато разводил руками...

— Господи, что за нация! — поражался Хворобьёв. — Студню у них нету! Варвары.

Но синьор Сальвадоре лишь улыбался в ответ. Улыбался и сочи-нял сказки.

...на бледно-зелёном листе салата нежились крошечные маринованные шампиньоны в окружении кусочков куриного мяса, а с краешку вытянулся сочный артишок с бордовыми лепестками бризаллы...

— Это сушёная телятина, — пояснял синьор Сальвадоре, а синьор Хворобьёв усердно записывал.

...а на другой тарелке посере́дке выложены горкой розовые креветки «джамбо», обжаренные в оливковом масле, а по кругу разместились шесть раковин, внутри каждой, под золотистой корочкой запечённого сыра и сметаны, спрятались по несколько ярко-жёлтых моллюсков, именуемых мидиями, и всё это художе-ство спрыснуто лимонным соком, увенчано маслинами и полито соусом...

— О, соус! — восклицал синьор Сальвадоре. — Что такое соус? Соус есть вершина поварского искусства, синьор Васька. Если архитектор прикрывает свои ошибки фасадом, а врач — землёй, то повар — соусом!

Синьор Васька строчил и строчил.

...смешивают оливковое масло, свеженькие куриные яйца, лимонный сок, добавляют луковую выжимку, белое вино и красный перец... Спаржа непременно! И тогда такой соус превратит обыкновенный медальон из баранины с чесноком и рисом в необыкновенное чудо. Можно взять и попроще: мясо с кровью и лимоном — произведение жгучее, страстное, роковое...

— Роковое? — переспрашивал синьор Васька. — Ладно, так и запишем. А где суп?

...суп из целого лобстера, который ещё утром плескался в море, а сейчас он невесом в прозрачном бульоне с жемчужинками

плавающего жира, там ещё кружатся белые нежнейшие ломтики омара, огуречная «соломка», м-м-м... вкус моря со сливками, пальчики проглотите, впрочем, оставьте ваши пальчики в покое, живыми и невредимыми, поскольку вас уже ожидает благоуханное филе из камбалы...

— Эта сволочь одноглазая? Надо же!

...филе из камбалы, гарнир из макарон с морскими гребешками «гратен» и соусом из петрушки... Но если вы, синьор, очень торопитесь, если дома вас ждут жена и голодные дети, то вы можете обойтись всего-навсего блинчиками, фаршированными кручёной телятиной...

— Мы называем их каталони. А студню нету, синьор Васька, — разводил руками Сальвадоре. — Я очень сожалею. Но ведь вы мне расскажете, как оно делается, не правда ли? Веселей, Василий! Будет день, будет и пицца!

IX

Сальвадоре Фриччоли достраивал в пригороде Рима новый дом — рядом со старым; в старом ещё проживал с многочисленным семейством, а в новый уже гостей приводил, похвастать.

И был устроен в этом доме салют наций!

Звенели бокалы. Варился студень. Смеялась жена, у неё были хорошенькие чёрные усики. Звенели бокалы. Варился студень. Жена плюнула в кипящий котёл со свиными ножками и ушла в старый дом, забрав с собою всех ребятишек. Звенели бокалы. Варился студень...

Кончилось это дело совершенным безобразием в духе аристократических оргий ещё того Рима, древнего, времён императора Нерона.

Проснулся Хворобьёв неохотно: лучше бы вообще не просыпаться. Весь в макаронах. В голове туман. Во рту болото. В душе ничего. В руке свиная нога. Это в левой руке. А по правую руку...

— Свят, свят, свят!

А по правую руку — баба. Голая. Уже не дышит. И вся холодная.

Через пару часов Хворобьёв рассказывал капитану Кологринову:

— Поначалу аж весь до кончика испужался, ей-богу! И чего ж это, думаю, натворил по пьянственному делу! Женчину задавил до смерти! Всего меня так и перекособочило! И тут же рядом этот Сальвадор валяется! Ну, думаю, всех на месте порешил...

— Ты, — перебил капитан, — докладывай не про думы свои дурацкие, а про статую. — Капитан торопился, он уже ходил взад-вперёд на пружинистых ногах. — Ну!

— А чего докладывать? Статуя как статуя. Её Сальвадор откопал на своём огороде, когда новый дом закладывал. Женчина неизвестной нации. Без рук. Но всё равно чижолая.

— Мраморовая?

— Сказать в точности не могу. Но похожа на те фигуры, которые в библиотеке парижского короля Людовика стоят и государю нашему приглянулись до полной невозможности терпения. Белая женчина, гладкая, всё у ней наружу...

— Поехали!

Торговались долго. Хвастались, унижались, льстили, возносились соколами, вились змейками, били друг дружке по рукам, плевались, расходились — по кругу, по новому кругу: хвастались, унижались... Русские миссионеры всё больше матерились, а синьор Сальвадоре всё больше жестикулировал.

О, этот удивительный язык жестов!

Вот римлянин делает серию энергичных движений поднятой кистью руки, при этом внутренняя сторона ладони направлена в сторону партнёров — и партнёры совершенно по-русски понимают: проваливайте, дескать, уходите прочь! — и разворачиваются фасадом наоборот.

— И куда же вы разворачиваетесь? — вопит взволнованный римлянин.

И тогда его русские оппоненты тоже начинают жестикулировать: совершают призывные движения кистями так, что при взмахе внутренняя сторона ладоней обращена к самим себе: иди, мол, сюда, дорогой!

И римлянин в полном отчаянье хватается за голову.

О, этот загадочный язык жестов! Что у русского «пошёл вон!», то у римлянина значит «иди сюда!» И — наоборот.

Откуда ж было знать нашим героям, что итальянский жест призыва, во-первых, должен быть замечен издали; во-вторых,

у смуглокожих людей внутренняя сторона ладони более светлая, чем внешняя, и поэтому видна на большем расстоянии...

Когда с грехом пополам разобрались, то втроём весело посмеялись, словно выпили и торговались уже недолго: 196 талеров ваши, каменная баба — наша. Арриведерчи, синьор Сальвадоре, хороший ты мужик, хоть и произошёл от вертлявой нации и махаешь руками не на русском языке...

Х

Кологривов в тот же день отписал в Санкт-Петербург: «Купил статую мраморовую Венуса старинную и как могу хоронюся от известного охотника».

Под «известным охотником» в дипломатической переписке скрывался папа Римский Климент.

— Бди, Васька, — предупредил капитан Хворобьёва с энергичной русской жестикуляцией указательного пальца перед самым васькиным носом. — Днём и ночуй вместе с Венусом, стереги, глаз не спускай. Не то шкуру спущу и папыусу Климентусу сурпризом отошлю!

В ответ Васька указательным пальцем левой руки оттянул глазное нижнее веко, что по-итальянски означало: «осторожно!»

Белое, чистое, гладкое, нежное... Кое-где тело статуи было покрыто тёмными пятнышками, но сколько ни старался Хворобьёв вывести их с помощью мокрой тряпочки, не исчезали. Авось, столичные мастера отмоют, не беда. А вот рук отбитых, увы, так и не вернёшь на место. Впрочем, капитан сему не огорчился.

— Хоть, — говорил, — и частичная у нашей Венус целомудренность, однако же всё равно дорогого стоит.

— Да может её и вовсе безрукой из камня вырубил, — вслух размышлял Хворобьёв. — Почему бы и нет? Чем чёрт не шутит...

Капитан построжал лицом:

— Не болтай лишнего! Вот этим, — капитан показал на статую, — чёрт не шутит. Это шутки богов, синьор. Понял?

— Кажись, так точно, понял!

XI

Кологривов совершил роковую ошибку...

Обнаружив на скульптуре мелкие, едва заметные глазу трещинки, он решил так:

— Перед отправкой в Россию надобно подремонтировать нашу Венус. Всенепременно! Иначе в пути, не приведи господь, треснет на ухабах да развалится. Дорога-то дальняя.

Хворобьёв сопротивлялся:

— Не пущу до Венуса никаких ремонтёров! Чего это ради? Чтобы кто-то нашу богинюшку чужими лапами лапал? Не дам. А повезу, коли приказать изволите, самолично. Укутаю Венус в шубу, наблюдать заместо няньки буду, не допущу развала.

— Да ты чего это, Васька? — смеивался Кологривов. — Гляжу на тебя, вроде трезвый, а речь будто пьяная. Уж не влюбился ли часом в прелестницу каменную?

— Влюбился, не влюбился... Не в этом пронзительность, господин капитан. Но по чести признаться, так некоторые чувствования питаю.

— Ага! Ну, и как тебе от того питания? Не отощал? Или, может, наоборот, переполнен? Так опять врешь. Полная телега не дребезжит. А ты чего-то дребезжишь, синьор Хворобьёв Василий. Забываешь начисто, подлец, что наша Венус не для единоличного употребления, а для блага всего отечества нашего назначена. Пошёл вон!

И — отмахнулся от упрямца прощальной кистью, по-русски. А упрямец понял этот жест совершенно по-римски, устремился к капитану... губы дрожат... слёзки на колёсках... Конечно, капитан исправил свою ошибку и поманил Хворобьёва к себе, после чего тот удалился в печали, несказанной по причине субординации.

Но эта ошибка — не ошибка. Ошибка была впереди.

Нанял-таки Кологривов ремонтёра, местного мастера ваятельных дел синьора Легри.

Мастер трещал, как сорока. Он был восхищён беспредельно. Уж он-то понимал толк в искусстве! Его грубые, в шрамах и ссадинах, пальцы порхали, точно смуглые бабочки.

— Как восхитительно! Святая мадонна! Как трогательно!

Правда, Хворобьёв не разделял восторгов Легри. Больше того, с самого начала занял глухую оборону вокруг статуи и принялся почём зря пугать мастера какими-то карами небесными и земными, да вдобавок ещё и хлопал по заслуженным мастеровитым рукам:

— Хочь оная девица Венус и есть натурально трогательная женщина, но трогать не надо. Нехорошо. Это всё равно, что покойницу щупать. Так что, смотри глазами, господин хороший, а руки свои римские убери отсель к чёртовой матери! А то вот щас как наебну по сусалу, так и придётся тебе памятник самому себе на могилку заказывать!

Легри решил не рисковать жизнью, отказался от ремонта. Но, очарованный древней богиней любви и красоты, растрезвонил о дивной находке по всему городу. Эта страстная, с глубокой старины восхищённая, нация никак не могла молчать в подобных обстоятельствах.

Кардинальские шпионы поймали слух и представили его начальству. Начальство припало к туфлям «известного охотника» с донесением срочной и особой важности, после чего римский губернатор Фальконьети направил стражников туда, куда надо, стацию арестовали, несмотря на львиные прыжки нескольких русских миссионеров, и поместили в самом скрытом уголке Капитолийского сада, где в тишине и аромате веков дремал папский музей античных сокровищ.

XII

...И призвал к себе Пётр Первый птенца гнезда своего Савву Рагузинского, славного мастера по особым поручениям и тайным миссиям.

Кто выкупил из султанской неволи и привёз в Россию арапского мальчишку Ибрагима, позже, между делом и потехою, ставшего крупным военным инженером? Литератор Рагузинский, автор единственной, но прелюбопытнейшей книги «Советы премудрости».

Кто был первым иностранным вояжёром, явившимся в только что отвоёванный Азов по Чёрному морю, которое турки считали «яко дом свой внутренний», и помимо товаров привёз России

верную надежду на новый торговый путь? Сербский купец Рагузинский.

Кто, проживая в Константинополе, оказывал неоценимые услуги российским посольствам, снабжая их информацией о намерениях султанского двора? Российский шпион Рагузинский отлично справлялся с тем, что было не под силу дипломатам пронырливым.

Кто нанимал на русскую службу галерных мастеров и лучших венецианских скульпторов Каррадини, Кабианку, Тарсиа, Бонацца? Дипломат Рагузинский.

Кому, наконец, Пётр доверил такое дело деликатное, как сватовство своей племянницы за одного из итальянских принцев? Да всё ему же, Савве Лукичу Рагузинскому.

Локоны до плеч, бравые усы, огромные чёрные глаза, кавалерская лента через правое плечо, на левой стороне груди — орден российский за важные заслуги...

— Читай, Савва Лукич, — сказал Пётр и протянул бумагу из Рима, от капитана гвардии Кологривова.

Заболел с горя Кологривов. Отписывал так: «Пусть я лучше помру, чем моим трудом владеть станет папюс Климентус».

— Ну, что, мой верный Савва? Не дадим помереть Юрке Кологривову?

Рагузинский подмигнул: не дадим, Пётр Алексеевич.

— Бери себе в подмогу нашего посла венецианского Беклемишева и — с богом, Саввушка!

Так началась новая миссия: кто кого перетянет? Римский папа Климент XI или российский папаша Кураж, коему в анналах мировой истории весьма затруднительно сыскать порядковый номер.

XIII

Ещё в глухом четырнадцатом веке от рождества Христова жила в Шведском королевстве простая, разумеется, шведская женщина по имени Бригитта. Исправно вела домашнее хозяйство, ласковая жена, добрая мать, отзывчивая соседка. Овдовев, одна поднимала на ноги восьмерых сыновей, вырастила их в полном уме и здравии и проводила в самостоятельную жизнь. Но, оставшись в совершенном одиночестве, загрустила, запечалилась, как это

бывает со всеми матерями в мире. Вот тогда она и постриглась в монахини францисканского ордена. Прославилась строгостью, благочестием, редким аскетизмом и мистическими сочинениями. Умерла в Риме.

В предместье Ревеля (ныне Таллинн) в её честь основали женский монастырь, куда и перевезли останки почившей в бозе. К тому времени монахиня была уже канонизирована — в самом конце века. Причисленная к лику святых, Бригитта стала называться Шведской, а мощи её нетленные превратились в одну из главных святынь католического мира.

Спустя три века (в 1710 году) во время войны со шведами армия Петра захватила и Ревель, и монастырь, и мощи святой Бригитты в качестве военного трофея.

Папский престол и весь католический мир безутешно оплакивали потерю.

А русскому царю уже несколько лет надоедали интенданты:

— И куда ж нам эти женские мощи приспособить, Пётр Алексеевич? Лежит на складе ящик, пылицу собирает, место занимает... и вопче!

—Цыц! — отмахивался Пётр. — Нонче мне не до мощей! Однако же пусть и дальше лежат в бережении и полной сохранности. Ещё придёт время потряхнуть мощами.

И время пришло.

XIV

Папа Римский принял Рагузинского с Беклемишевым при полном параде.

Атласный подрясник — стихарь парчовый — пурпурная епитрахиль — мантия с капюшоном, отороченная соболиным мехом — белые чулки — туфли красного бархата с крестами, шитыми золотом... Голову венчала трёхъярусная золотая тиара, усыпанная драгоценными камнями, — символ церкви страдающей, борющейся и побеждающей...

Святой престол, земная юдоль наместника Божьего!

Долго ли, коротко ли накручивал Савва Лукич непрменные дипломатические вензеля — не в этом суть. Суть состояла в следующем: «А давай-ка, ваше святейшество, махнём не глядя? Вы нам — языческую идолицу Венус, а мы вам — мощи святой

Бригитты Шведской, потерю коих католики всего мира по сей день оплакивают, бедные!»

И от таких нежных слов, выраженных, разумеется, на ином, на дипломатическом языке, у его святейшества даже тиара закачалась, все три этажа разом. Ибо: Савва Лукич сразу загнал папу в тупик. Савва Лукич обезоружил папу. Потому что Савва Лукич был великий хитрец. Сделав предложение об обмене, Савва Лукич поставил папу перед выбором: язычество или католичество? А итог-то выборов для Саввы Лукича был уже ясен, заранее предрешён, дело было только во времени.

Но Рагузинский не был бы Рагузинским, если бы пошёл на поводу у времени.

Рагузинский — капитану Кологривову:

— Сделаем такую штуку, уважаемый. Распространим по всей Италии и далее, во всех пределах мира католического, слух о моём предложении папе Римскому касательно обмена святых мощей на поганую языческую чучелу. Пущай все дети церкви Христовой узнают об оном и возрадутся, да примутся ожидать папского слова с должной нетерпеливостью, да той же нетерпеливостью своей самого папу вынудят к скорому решению. И он обменяет. Куда ж ему деться? В ином случае римский популюс не поймёт попа своего главного, святого понтифика.

Капитан Кологривов — Хворобьёву:

— Вперёд, сын отечества синьор Василий! Ходи по городу и болтай языком походя денно и ночью. В помощники даю всех студентов моих. Ребята способные, горластые. Ещё навести как бы по случайности кабатчика Сальвадора. И про паскудного трепача Легри не забудь, пущай распространяется в нашу пользу. Ступай, да надолго не загащивайся.

И папа капитулировал.

Впрочем, кардиналы Оттобони и Альбани ещё пытались под разными предлогами удержать Венус в Капитолийском саду. Тщетно!

Савва Лукич вручил в собственные руки Оттобони благодарственное письмо от императора Петра Первого и высочайший презент: восковой бюст монарха, выполненный в Санкт-Петербурге Карлом Растрелли. Кардинал остался в полном восторге от такого подарка, раскрашенного под натуральный колер

— прямо-таки совсем живой человек, только что неподвижный, неразговорчивый.

— А парик и усы, — пояснял Савва Лукич, — есть самые натуральные волосы, состриженные придворным куафёром с государя нашего.

Кардинал сердечно благодарил. Рагузинский раскланивался:

— Надеюсь, восковой наш император Пётр в самый раз придётся к месту в Вечном городе, где уже имеется и собор святого Петра, и площадь с тем же именем...

(Позже, гораздо позже этот бюст дважды сменил владельцев, а в 1861 году был выкуплен, отправлен в Россию и ныне находится в Эрмитаже).

XV

«Капитану от гвардии Кологривову. Венус в Санкт-Петербурх морем не отправлять. Сие опасно потоплением. А везти на мулах, как называют по-италиански летиною, то есть качалкою. И так до Инсбрука, а оттоль водою до Вены, а в Вене адресовать её господину генерал-майору и капитану от гвардии Ягужинскому, которому мы писали, чтоб он сделал для оной статуи карету покойную на пружинах и отправил до Кракова, а от Кракова можно отправить паки водою, и для того пошлите с нею доброго провожатого. Пётр».

XVI

Передохнём, любезный читатель. Дорога-то дальняя, не правда ли? А впрочем, и то верно, что какая правда, такая и дорога.

Через два с четвертью века после описываемых событий искусствовед-эксперт Наталья Соколова неуставным голоском докладывала командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Коневу о том, в каком ужасном состоянии находятся обнаруженные в нацистском тайнике картины Дрезденской галереи.

Маршал нервничал. У него была уйма неотложных маршальских дел. Но эта «экспертиза», прибывшая из Москвы, была настойчива.

— Поймите, товарищ маршал, какой кошмар! Сырость, плесень... и мыши! Ужас! А ведь там находится сама «Сикстинская мадонна»! Если она погибнет, весь мир осиротеет!

Маршалу сделалось как-то не по себе. В конце концов, что это такое: мир осиротеет? После такой чудовищной войны миру сиротеть уже больше некуда...

— Хорошо. Что вы предлагаете, товарищ Соколова... Наталья Ивановна?

— Нужна срочная, самая срочная эвакуация всех сокровищ в Москву, на реставрацию. Дорог каждый... минута!

— Так, — сказал маршал. — Значит, каждый минута. Дело ясное. Я готов немедленно предоставить вашей мадонне свой личный самолёт. Ещё есть вопросы?

Соколова побледнела.

— Как самолёт? Да бог с вами, товарищ командующий Иван Степанович! Что вы такое говорите? «Сикстинскую мадонну» — на самолёт? Да человечество не простит нам, если вдруг...

— Никаких вдруг. Это отличный самолёт, опытный экипаж. Я, к вашему сведению, сам на нём всё время летаю. И не боюсь.

— Но вы же простой маршал, а она... Мадонна! — воскликнула «экспертиза» и устремила руки трепетные туда, где, по её мнению, предполагались силы небесные.

Ивану Степановичу стало жарко. Иван Степанович захмыкал. Иван Степанович переводил взгляд с лица Соколовой на её руки, и потом взгляд следовал по незримой линии дальше и выше, от кончиков пальцев до... туда, где что-то предполагалось, но там был обыкновенный безбожный потолок, белёный известью... Вот — вопрос! К кому обратиться, если ВКП(б) запретила бога? А ведь так хочется спросить иногда: «Господи, почему же тебя нету на этом свете?»

Маршал расстегнул воротник. Ладонью пошоркал мощный красноармейский череп, обритый наголо. Встал. Сел. Снова встал. Снял трубку полевого телефона. Бросил трубку...

— Есть хотите, Наташа? — спросил.

Женщина растерянно молчала.

— А то давайте перекусим? Заодно всё обсудим в подробностях. А ребята мои тем временем займутся подготовкой наземного транспорта. Ребята у меня способные, не сомневайтесь. Сделают всё так, как надо. Можем и железной дорогой отправить, можем и автоколонну организовать. А? Присаживайтесь. Дорога-то дальняя, не правда ли?

«Экспертиза» смотрела на маршала — снизу вверх, жалко и виновато. Она только сейчас вспомнила, что третий день у неё не было ни крошечки во рту. И отказаться от приглашения не могла.

И она улыбнулась странно чарующей улыбкой, торжествующе виноватой. Внутри этой улыбки была другая, а в той другой — тоже другая... Никто не заметил множественного числа одной женской улыбки. Никто не заметил. Кроме Мадонны.

XVII

Подумать только: Санкт-Петербург!

Представить только: чугунное оцепенение гранитных набережных, выстрелы стремительных проспектов, город-парад, город-оркестр, каменный пузырь, вздувшийся из чухонских болот, хрустальный ковш для кислых щей, солонка изумрудная, фарфоровая ваза ночная... ну и пусть! на задумчивых ночных горшках обмысливался русский экзистенциализм.

Представить только: лапти, вальсирующие по дубовому паркету... псковские и новгородские деревянных дел мастера во дворцах полы укладывают и вонючей мастикой натирают... гавот, говорите? менуэт, говорите? так это у нас запросто! дамы — туды, кавалеры — сюды, потом все разом на середину кидаются — и понесла-а-а-ась...

Как сейчас помню: в одна тысяча семьсот двадцатом году...

Как это ни странно, я там был.

Какой восторг!

XVIII

Ещё прошлым летом сад оживился фонтанами, и Безымянный ерик стали именовать Фонтанкой.

Центральная галерея у входа ожидала гостью желанную, первую в России античную статую.

Явилась зима, северная продувная бестия, а внутри, за перепончатыми, словно стрекозиные крылышки, венецианскими окнами, держалось тепло. Уют лелеялся почти домашний. А наипаче — деревянные бочки с деревцами нетутошними: «тутовым семейством», как утверждали в один голос академики-ботаники, после чего дрались по поводу конкретного названия

одного и того же вечнозелёного тропического растения — одни именовали его смоковницей, другие инжиром, третьи по-латыни *figus*, а четвёртые по-русски фиговым деревом... Пётр заливался смехом.

Сюда, в центральную галерею, и прибыли: господин Хворобьёв — на косых каблуках, тощий, как пёс, озабоченный великой миссией сопровождения, и Венус — в ящике, плотно набитом деревянными стружками.

Распаковали. Хворобьёв в одном лице производил впечатление целой толпы шумом своим и одновременным присутствием в разных делах: он и статую оберегал со свирепой нежностью, покуда её возводили на высокий постамент, он и прочь отгонял всех любопытствующих, и покрикивал начальственно, выпихивая уж совсем лишних зевак за порог, да то и дело к дверям метался:

— Ходят тут, холоду напускают... А мировое сообщество нам не простит, коли наша Венус от надутого холоду треснет! Пётр Алексеич, гони ты их всех взашей!

Император, ухмыляясь, послушно исполнял приказания Хворобьёва.

В тот же день, зимний-презимний, по бокам Венус встали два гвардейца Преображенского полка с саблями наголо. Караул назначался круглосуточный.

— Стоять не шелохнувши! — наставлял Хворобьёв. — Даже не как вкопанный, а как, например, скажут: замри! — вот так и стой замритый... замёртый... как статуи соответственный!

Он, конечно же, и караульное дело прибрал к своим нежным рукам. Сначала ему шибко не понравились сами гвардейцы. Один, оказывается, неприлично сопел, другой усишками дёргал, третий косил глаз на обнажённую женщину, четвёртый — так и вовсе реагировал вожделенно, с воздыманием плоти...

— Солдатик ты, может быть, и умственный, — резюмировал Хворобьёв, — но касательно любви возвышенной ещё полный дурак дураком.

А сам-то всё смотрит на Венус и смотрит, и насмотреться не может на попутчицу свою ненаглядную, и точно немой делается при этаком смотре, когда не только что все дикие слова в голове пропадают, но даже некоторые культурные, например, галдарея, асамблея, евдокея...

Горничную Дуню, девушку пафосную, Хворобьёв, между прочим, ещё не видел. Да и не спешил, по правде говоря. Венус забирала все его заботы, время и интересы.

Вообще, с Хворобьёвым нечто, то есть что-то, происходило. Люди заметили. «Ступай, Васька, в Расею, а то уж весь наскрозь обдурился», — так проводил Хворобьёва капитан Кологривов.

Да кто ж осудит? Дуня-Евдокея? Генерал-прокурор? Или сам русский царь? Дудки. Цари-то ведь тоже не тем, а этим миром мазаны — от сей поры и до начала времён, когда жизнь, и только жизнь, становилась единственной и главной победой... Древние мифы сказывают: одинокая скука одолела Пигмалиона, царя Кипрского, и выточил он из слоновьего бивня фигурку прекрасной Галатеи, и влюбился в неё, и взмолился богам — может в шутку, может всерьёз — чтоб даровали они жизнь его досужному и нечаянному рукотворству, а боги шуток не понимают, а боги с любовью вообще не шутят — взяли и оживили фигурку, и стала вышедшая из слоновьей кости прекрасная Галатея человеческой женой и родила дочку Пафос... Вот в чём весь пафос, товарищи! Вот в чём, господа, смысл и суть одинокого заточения царя, дерзнувшего жить художником, и художника, по-царски расточительного в своих вечных желаниях, хотениях, капризах и многоярусных настроениях, сверху донизу, снизу доверху... Ну, вот вы, люди и джентльмены, и скажите ему: весь наскрозь обдурился. А ему наплевать на ваш приговор. В чаяниях своих он бродит. Он бродит, как виноград в чанах виноградаря. Он создаёт штуку нечаянную. Потом эта штука создаёт человеческое в человеке, и он целует себя в затылок, когда настолько приближается к идеалу человека, что, кажется, человек как таковой будто бы исчезает, и остаётся один идеал, снова недостижимый... А между тем — Дуня, вечная Дуня. Она снова плачет: человеческую женщину на нечеловеческую променял, коварный изменщик...

XIX

Столица гудела — на свежем воздухе, вокруг галереи.

Старики, аристократичные, словно белые грибы-боровики, — и молодёжь, как опята, шустрые, вездесущие и горластые не менее дедов своих.

Вопят, топают ногами, трясутся, плюются: ругмя ругают царя-антихриста обритые по принуждению приверженцы старины боярской.

— Дьяволица белая! Анахтема окаянная!

— Явилася, курва, мараль наводит на благочестие наше исконное!

— А закопать обратно эту девку Фенус в древний рым!

— А гляньте-кось, православные! Вить даже камень — и тот весь матом покрывшись!

— Да это, однако, не матом, — засомневался кто-то. — Это мрамор италийский так запотел в наших местностях.

— Цыц, пащенок!

Вопят, топают ногами, свистят: нахваливают и славословят императора всероссийского.

— Виват государю Петру Алексеевичу!

— А по чести сказать, господа гренадёры, так меня хлебом не корми, а подавай культурность. Разрази меня гром на этом самом месте! Уж такой я, братцы, до культурности ужасно охочий человек. Ага!

— Соблазно-то соблазно, — засомневался очередной кто-то, — но удовольствия наслаждения никакого. Одно глазное наблюдение и умственное потужение.

— Цыц, мин херц!

А один, неприкаянный, всё ходил и ходил, и всё допытывался: и с чего тут объявилось такое веселье, когда драки нету? От стариков батогом по башке получил, от молодых тычок под ребро, а всё ходил и ходил... Покуда генерал-прокурор самолично не вмешался — по уху. Тюкнулся вопроситель носом в грязный затоптанный снежок, а обе стороны со смеху за бока хватились:

— Она, какой восторг накатило на вопрошалычика! Сногшибательный!

Где-то в гуще толпёжной уж нешуточная потасовка затеялась. И вот — пошла стенка на стенку. Любо!

Пётр Алексеевич хохочет, тех и других подзуживает.

Екатерина же Алексеевна оставалась в галерее, в креслах покойных. Она не обращала внимания на людей входящих и выходящих. Она неотрывно созерцала Венус. Смотрела проница-

тельно, оценивающе, по-бабьему, сиречь по-женски: как ревнивица на соперницу.

Шептались послы — полмира в Пальмире Северной.

А посреди всей этой круговерти — Венера. Что ей до какого-то суетливого порханья, называемого «вернисаж»? Ей, пережившей века! Струятся на плечи локоны, сброшены одежды, она готова осторожно пощупать воду кончиком ноги, как это делают все купальщицы, и ступить туда, в праматерь и колыбель. Что ей зима? Венере не зябко. Красивые женщины, обнажаясь, никогда не мёрзнут.

...В зимнем Летнем саду накрыли столы для народа. Гуляли дотемна. Плясали. Пили. Ковшами. Пирогами заедали.

В Летнем дворце тоже гуляли. Плясали. Пили — под устрицы — фантастически много, за исключением господина Хворобьёва, который не пил фантастически ничего.

Как-то так нечаянно, за перезвоном кубков, бокалов и стаканов, академики завертели философско-теологический диспут о непримиримом антагонизме язычества и христианства, однако спор вскоре угас, да и не было, пожалуй, никакого смысла спорить в том случае, когда распоследнему питуху досконально известно: даже наихристианнейший застольный стакан истуканом языческим оборотится, коли этого пожелать и взглянуть на посудину питейную с последней верой в надежду на любовь.

XX

Осталось досказать немного: что будет тогда, когда это «будет» превратится в «было».

Вот камень. Разный: и краеугольный; и тот, который отвергают строители; и тот, который за пазухой; и тот, из которого долотом убирают всё лишнее, чтобы однажды поразить мир скульптурным шедевром... Камень. По-гречески — литос. Он, под который вода не течёт, лёг в основание древнейшим векам и дал название не только им, но и букровке-литере одинокой, и литературе.

Вот Пётр. В переводе с греческого — каменная скала, утёс. Похоже. Камень, ставший именем. Имя, ставшее словом. Слово, ставшее делом. Окно, говорят, прорубил... Ну, да! Окно, оказавшееся чуть ли не единственной русской недвижимостью, которую

то закрывали, то открывали... Про двери, между прочим, забыли. А какой же нормальный субъект будет пользоваться окном вместо двери? Либо соблазнитель, либо вор, либо дурак... Стремительно скачущий во главе стремительно скачущих, Пётр постоянно спотыкался всегда на одном и том же месте — подобно гекзаметру. Что же это за спотыкачка?

После загадочной смерти Петра Венеру переставили из галереи в специально построенный грот в Летнем саду. До настоящего времени он не сохранился. Там статуя простояла несколько десятилетий.

*Твой римский профиль,
горький,
словно глина...*

Вероятно, к ней, как на службу, каждый день приходил странный старик. Возможно, усаживался на принесённый раскладной стульчик и помалкивал о своём с утра до вечера, точно часовой на посту. Может быть, там же, на убогом стульчике, и отдал богу душу свою — в тишине, с уверенной улыбкою на уже остывшем, рельефно окаменевшем лице. Наверное, о том умолчали бастионные пушки Петропавловской крепости.

Потом явились пышные времена бабьего царствия!

Екатерина Алексеевна Секунда (сиречь, вторая) — так называли императрицу на римский манер, а по-русски — без манер, без инвентарно номерного маневрирования, чего уж мелочиться широкой российской душе! — Великая, на веки вечные. Так вот, эта «секунда, великая на веки вечные», с казной государственной не церемонилась. Многочисленных своих ночных императоров оделяла щедро, по-русски, и против этой сказочной щедрости даже ни разу не пискнула её, Софьи-Фредерики-Августы, экономно-педантичная, аккуратнo-хозяйственная, кухонно-бережливая немецко-прусская бюргерская натура... Историк Казимир Валишевский не затруднился составить задним числом платёжную ведомость фаворитизма.

«Пять братьев Орловых — 17 000 000 руб.

Высоцкий — 300 000 руб.

Васильчиков — 1 000 000 руб.

Потёмкин — 50 000 000 руб.

Завадовский — 1 380 000 руб.

Зорич — 1 420 000 руб.
Корсаков — 920 000руб.
Ланской — 7 260 000 руб.
Ермолов — 550 000 руб.
Мамонов — 880 000 руб.
Братья Зубовы — 3 550 000 руб.
Прочие фавориты — 8 500 000 руб.
Итого —95 500 000 руб.»

По большому счёту жили. Копеек и рублей не признавали. В ход шли сотни тысяч и миллионы. Называется — округление.

Из самых высокооплачиваемых — граф Григорий Александрович Потёмкин, Григорий Прима (Секунда — святой чёрт — появится через много лет, уже при агонии всей царской фамилии). Мужик дюжий умом и телом. По натуре своей — из отчаянных петровских гвардейцев. По времени — петров птенец в кукушкином гнезде.

За покорение и присоединение Тавриды к России получил к фамилии почётную прибавку «Таврический» с присовокуплением роскошного дворца; там благоухала редкостными тропическими растениями чудная оранжерея. Дворец тоже стал Таврическим. И Венера — Таврической.

— Была, — шутковали, — римская, сделалась крымская.

Перед тем, как подарить фавориту статую для зимнего сада, Екатерина Секунда долгое время присматривалась — и к ней, и к себе, то ли на рыночный манер, то ли просто по-женскому обычаю, сравнивала, как ревнивица соперницу. И решила: по всем статьям живая баба слаще каменной, к тому же императрицы в огороде не валяются.

*Твой горький профиль,
римский,
словно глина...*

А потом воцарился сынок ея Павел. Этот загадочный «русский Гамлет» был одним из самых образованных российских царей, с прекрасным художественным вкусом, с неподдельной любовью к литературе и искусству. Но этой любви помешала ненависть — к матушке, ко всему, что так или иначе было связано с её именем.

И Таврический дворец стал кавалерийской казармой. Венеру переместили на склад... клад... кладбище. Складбище.

В год смерти Пушкина... (по гражданскому чину: IX класса, титулярный советник, равный армейскому капитану, его благородие; по чину придворному — званием камер-юнкер, V класса, комнатный дворянин, кавалер придворный)... в год смерти Пушкина в Зимнем дворце случился великий пожар. Три дня гулял вволюшку красный петух, оставив после себя лишь обгоревший остов. К зиме квартирмейстеры и камерцалмейстеры Придворной конторы восстановили здание и обратились с ревизией на дворцовые склады — для обновления интерьеров, авось, там завалюсь что-нибудь подходящее. В пыли и паутине нашли Венеру Таврическую. Без рук! «И куды ж оне отвалились, окаянные?» ...Искали — но не нашли.

В середине века статую перевезли в Эрмитаж.

Она и поныне там.

А у ног ея, «дщери гордого Рома», — во всём своём пёстром евразийстве сосуществует постоянная «спотыкачка» державного (опять же — романовского!) отчима — Россия: любовь и проклятие всей жизни Петра.

*И глина горькая,
как римский профиль...*

А ещё хранится в Эрмитаже одна диковина интимно-деликатного свойства, недоступная для публичного обозрения, о которой, смущаясь, рассказал-таки старший хранитель музея Андрей Иванович Сомов. Давно рассказал, ещё до Октябрьской революции... Впрочем, по порядку. Екатерина Секунда почитала светлейшего князя Потёмкина не только за государственный ум, но и за особое качество, которым, согласно римской мифологии, отличался бог Приап. И вот, глядя однажды на безрукую Венеру, императрица, небось, так рассудила: безрукая женщина — всё равно женщина, а вот у мужских статуй статус особый, хрупкий, ибо помимо рук, ног и носа у них имеется ещё одна конечность, без которой, ежели отломится, статуя теряет признак пола... И порешила императрица сосредоточиться на главном, на этой штучке, штучке, штучковине. И по высочайшей воле безымянный скульптор изваял из воска точную копию прижизненной потём-

кинской штуки, этакий штык для шуцера, в полной боевой готовности, со всеми отличительными особенностями, даже с родинкой — для утешительных воспоминаний императрицы, для назидания обмельчавшему потомству... К тому времени матушка-государыня махнула рукой на такое потомство и увлеклась молоденькими камер-фрейлинами.

Ну-с, что ещё? Был упомянут Карло Растрелли.

Карло родил Бартоломео.

Оный Бартоломео (Варфоломей Варфоломеевич) построил в России Зимний дворец, Смольный монастырь, Екатерининский дворец в Царском Селе, Большой дворец в Петергофе, Андреевскую церковь в Киеве.

— Как трудно творить в России, — жаловался обер-архитектор, — где рабочие ленятся, мастера чертежей не читают, а чиновники кроме взяток ничего иного знать не желают.

Так и умер разобиженным. Могила затеряна.

А ещё мелькнул в нашем рассказе арапчонок Ибрагим. Он стал большим человеком. Абрам Петрович Ганнибал! Так и слышится: Древний Рим, Карфаген, тяжёлая поступь пыльных легионерских сандалий, бряцание щитов, рёв боевых слонов...

Абрам родил Осипа.

Осип женился на Марии Пушкиной, и эта Пушкина стала Ганнибал; и родили они Надежду. Надежда Ганнибал вышла замуж за нового Пушкина — Сергея Львовича, и стала Пушкиной, и родили они Александра Сергеевича... Того, кто в конце жизни однажды озлился не на шутку: «...чёрт догадал меня родиться в России с душой и талантом!», а ближе к трагической гибели, кажется, успокоился: «...история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива, русская природа в особенности».

Александр Сергеевич родил Александра.

Александр родил Наталью.

Наталья родила Марию.

Мария родила Наталью.

Наталья родила Георгия.

Георгий родил Веру.

Вера родила Юлию...

В иркутской квартире Юлочки на стене — два портрета: поэт Пушкин и красавчик Леонардик ди Каприо, кинокумир девочек-подростков, из нашумевшего, самого «кассового» фильма конца двадцатого века «Титаник»...

XXI

А это, любезный читатель, уже не нумерация главки. Это нумерация нового века. Уже рукой до него дотянуться не составляет труда. Третье тысячелетие: история всё ещё начинается.

*И глина римская,
как горький профиль...*

1999

СИНЯЯ ПТИЦА, СИНИЕ ЧУЛКИ...

В знакомое ведёрко — в то самое, серебряное, в котором в лучшие времена прохлаждались одна-две бутылки шампанского — дамы набулькали спирту, разбавленного водой, надавили морошки и посыпали эту горючую смесь порошковым сахаринном.

Таким вот образом и сделался: крюшон. Крюшон, напиток богинь.

— Господи, какая гадость! — фыркнула, морщась, Зизи Високова.

— Ах, Зинуля! — всхлипнула Сонечка Друцкая. — Оставь капризы, радость моя! Пуд ржаной муки у спекуляторов за шестьсот рублей — вот это, я понимаю, гадость. А бутылка спирта за четырёста... Знаешь ли, милочка, в конце концов можно было бы сегодня и вовсе не собираться. Какие могут быть банкеты в такое нищее время?

— Девочки, девочки, не ссорьтесь!

Шум, гвалт, хлопоты, поцелуи, смех и слёзы — всего поровну, всего в достатке, всё смешалось в доме бывшего Статистического комитета бывшей Российской империи в лето 1918-е от Рождества Христова, в год первый от рождения Нового Мира.

— За несчастный фунт свинины выложить сорок рубчиков? Нонсенс! Не понимаю...

— И это называется — крюшон? Я умираю...

— Это называется ре-во-лю-ци-я. Понятно?

— Хорошо, пусть революция. Но — масло! Девочки, сливочное масло — сто рублей фунт!!! Ужас! Приходи, кума, любоваться, как говорила моя покойная бабушка...

— Ах, машер, оставь эти счёты! Ну, что ты, право, в рыночную статистику ударилась? Забудемте цифры, наконец, девочки. День-то, день сегодня какой, мои хорошие!

День и вправду особенный: вот уже двадцать один год — как они вместе, и числом их, сотрудниц счётной комиссии Статистического комитета, тоже равным счетом двадцать одна; двадцать один «синий чулок», бывшие институтки-смолянки, возложившие свои судьбы на алтарь отечественной статистики за сугубо символическую плату... В том далёком, 1897-м году они повенчались с всероссийской переписью населения — и вот... всё считают, считают, всё что-то систематизируют, обобщают, кар-

точки из коробки в коробку переключают, тусуют налево-направо, странная игра — и каждый год отмечают юбилей нескончаемых, сизифовых трудов своих во благо Отечества.

— Да, да, да! Мечты, подвижничество, самопожертвование... Помните ли, девочки: «Идём за Синей Птицей...»?

— Ты закусывай... Чего её помнить-то? Вон она, у тебя под носом лежит, наша синяя птица, — сказала Мими Завалишина и остреньким подбородком указала на блюдечко с анемичным отварным цыплёнком в центре стола.

Раньше юбилеи отмечали по-домашнему: поочерёдно на квартире то у одной, то у другой сотрудницы. Ещё два-три года назад посредине праздничного стола возлежало фарфоровое гарднеровское блюдо с ломтиками лимонов, на каждом — кусочек сахара: голубое — на жёлтом, восхитительный колорит; зажигали коньяк из подвалов Шустова, поливали сахар, возникало холодное свечение, потом всё сливали в одну посудину и добавляли красного бессарабского вина...

К нынешнему году домашние сусеки заметно оскудели, хозяйки стали складчиною объединяться А и в самом деле, за фунт пшена — с ума сойти, двадцать рублей отдай и не грехи, за фунт сала — все восемьдесят! Бардак, *entre nous!**

Вот и стали сочинять банкеты на скорую руку и на нейтральной территории — то есть в том помещении, где вот уж сколько лет вместе служат, в огромной, пустой и потому особенно гулкой зале Статистического комитета, в окружении тысяч и тысяч коробок с переписными карточками, хранящими тайны народонаселения империи. Хлопот приговорительных и в самом деле поубавилось. От прошлых гуляний осталось только одно серебряное ведёрко да вилки с фамильными монограммами (это от Мими Завалишиной); Зизи Високосова принесла накрахмаленные столовые салфетки и банку американских мясных консервов с ярко-красным быком на этикетке (многие про себя решили: любовный гонорар от сэра Бьюкенена, бывшего британского посла; дура Зинка, непатриотично это...); а Сонечка принесла вот этого несчастного цыплёнка, но его боялись кушать, он был какой-то очень синенький и маленький, и никто не верил, что эта птичка — куриного племени; Шурочка Кензиор принесла карто-

* Между нами (франц.)

щечки (от знакомой и очень доброй старухи-чухонки), другие — то да сё; вот и славно вышло, не правда ли, девочки? А Зинка и в самом деле дура, и мы не шлюхи какие-нибудь, чтобы иностранными подачками питаться, когда народ голодает... разве что всего лишь кусочек попробовать, а?

Зизи после первой рюмочки раскраснелась и ударилась в слёзы:

— Боже милостивый, если бы в наше несчастное время нашёлся, наконец, мужчина, на которого можно было бы положиться...

— Раздавишь, — мрачно сказала Сонечка Друцкая.

— Чего? — не поняла Зизи.

— Не чего, а кого. Мужчинку, говорю, раздавишь.

— Фу, какая ты, Друцкая, неодошевлённая...

— Не фукай. Посмотри на себя.

Конечно, девочки, с одной стороны, не такие уж и девочки, и даже вовсе — не. А с другой... Когда, скажем, праздничное платье начинает давить под мышками и в бёдрах, когда всем нарядным вещам предпочитают халат и шлёпанцы, а с ними и манера фривольная (как говорит Сонечка, «рассупоненная») — значит, всё, баста. Значит, подкралась, мягко выражаясь, зрелость... Понятно, каждый стареет в одиночку, по-своему, но всем вместе результаты этого старения вдруг становились всё зримее, всё очевиднее и нагляднее. Правда, на глазах у друг дружки наши милые учёные дамы стареть не хотели и показывали вид, будто миновавшие двадцать с лишним лет вовсе не коснулись их тел и душ, пролетели как бы мимо, и всё остаётся по-прежнему, и они всё такие же юные романтические натуры, какими были в ту незабываемую ответственную пору, когда пылко поклялись в вечной дружбе и дали обет безбрачия до окончания благородного статистического мероприятия государственной важности. А что касается до именованя «синие чулки» — так этим наши подвижницы гордились, более того, горделивость эта даже усилилась после тронной трогательной речи председателя Статистического комитета, который сначала поведал о том, что впервые опрос общества, как прообраз переписи населения, был проведён в 1824 году в Американских Штатах, а потом разъяснил, что выражение, коим нынче насмешливо и даже презрительно называют женщин, всецело поглощённых книжными и учёными страстями, возникло в конце восемнадцатого столетия в Англии и

не имело того пренебрежительного значения, которое получило позднее; а первоначально, милые девушки, «синие чулки» обозначали кружок лиц обоего пола, собиравшийся в салоне леди Монтегю для бесед на литературные и научные темы; душою общества являлся учёный Бенджамен Стеллингфлит, пренебрегавший модою и при тёмном (представьте!) платье носивший синие чулки; так что прозвище «синий чулок» впервые получил мужчина, а не женщина; позже прозвище сие восславил в стихах английская поэтесса Мор, и лорд Байрон применил в сочинениях, и наш Вяземский; и ежели это не так, милые девушки, то считайте меня ужаснейшим врушкой, злодеем хуже «синей бороды»... Девицы хлопали в ладошки и приходили в состояние трепетной экзальтации.

— Боже праведный! Наконец-то услышаны наши молитвы! И отныне женщине открыт путь к государственным занятиям! Отныне мы — государственные жёны. Статс-дамы!

— Ах, ах! Вы обратили внимание, как он это произнес? «Святое дело — статистика!»

— Ты ослышалась, машер! Он сказал: «Святая дева — Статистика!»

— Не спорь же, Сонечка! Дело, дело, дело!

— Ах, нет! Дева, дева, дева!

— Господи, да уймись вы, девочки! Он просто букву... какую-то не выговаривает. Давайте лучше объединимся пред лицом государственного поприща!

— Давайте объединимся... А всё равно он душка, хоть и не выговаривает...

Объединились — и тут же решительно постановили: сделать всероссийскую перепись населения своим *raison d'etre**.

А потом, после объединения, статистические кавалеры устроили для девушек роскошный обед и ма-а-ленький ведомственный разгул.

Боже милостивый и милосердный, что это был за обед! Он был неповторим — как юность.

Сонечка Друцкая (в ту пору и не Друцкая вовсе, а Чивиликина) нынче глядела на своих постаревших подруг и была уверена: каждая из них до капельки, до крошечки запомнила расписание

* Смысл существования (франц.)

блюдо того фантастического обеда. Итак: суп, к супу подавалась мадера, портвейн и херес; рыбные блюда с белым охлаждённым вином; потом мясные кушанья — ростбиф, окорок и ветчина — с овощами под красное крымское вино; дальше — дичь с салатом — спаржа, артишоки, цветная капуста и ещё что-то цветное и вкусненькое; после чего наступил черёд трюфелям, холодному шампанскому, сладостям, сыру, фруктам под десертное вино, а в заключение, под занавес, явились кофе, ликеры и сигары — для мужской половины... Всё в точности запомнила Сонечка! Даже то, что бутылки с вином не ставили на стол, но прислуга наливала вино из графинов — радужных, весёлых. Всё запомнила Сонечка. Только мало тогда кушала: ложечку супа... из мясных блюд ни-ни, упаси бог, граф Лев Николаевич Толстой решительно предвещает вегетарианскую эпоху в российской истории... ломтик спаржи... глоточек шампанского... Ну, не дура ли была, честное слово! Сейчас бы такой стол, господи! Где теперь то вино? Где тот ростбиф? Где та дичь? Вот она, на столе — наша желанная синяя птица... За фунт сахара выкладывай восемьдесят рублей — и не чешись. Революция... приходи, кума, любоваться, *nom de dieu!* *

Сонечка поднялась из-за стола, подбросила в железную пепельницу пару черных полешек, погрела ладони. Лето — но в просторной зале холодно. Сонечка (единственная замужняя, другие остались при девичьих фамилиях) всегда на таких вечеринках чувствовала себя несколько виноватой перед подругами и старалась по мере возможности лишний раз услужить.

— Не старайся, машер, не простим предательства, — подала реплику Завалишина. — Кстати, почему эта уродская печка называется буржуйка, а не пролетарка, не знаешь?

— Не знаю. Наверное, намёк на тех, кто нынче со свистом в трубу вылетает.

— Забавная ты, Сонечка...

Коленчатая труба «буржуйки» протыкала фанерку, вставленную на месте зеркального стекла в замысловатой раме декантского окна, однако сажа неведомыми путями возвращалась с улицы в залу, это была очень настойчивая и жирная сажа, потому что в топку подбрасывали торцы из мостовой Гороховой улицы — толстые деревянные шашки, пропитанные навечно

* Чёрт возьми! (франц.)

влажностью и каким-то патентованным составом от гниения: больше дымят, чем горят...

— А знаете что, девочки, — сказала разомлевшая Зизи, — в последнее время я как-то остыла к статистике. Уж извините меня за откровенность. Но что это, в самом деле? Двадцать лет считаем, перекладываем бумажки с места на место... Хватит! В настоящий момент меня томят чувства революции. Как-то, знаете, неизъяснимо...

— А что же — мужчины?

— Бог ты мой? Какие мужчины? Этот... сэр, что ли? Так я его презираю.

— Однако на кого-то ведь и положиться нужно, в такое несамостоятельное время, сама говоришь...

— Таких мужчин уж нет и не будет! А помню, после войны с японцами у меня был один... .Боже! Как он рвал струблёвые асигнации! Рвал и метал! Рвал и метал! И всё единственно для того, чтобы сделать из них папильотки для моей вечерней причёски. Ах, шалун! Впрочем, застрелился, *vilain**... Царствие ему небесное...

Раскраснелись дамы после жуткого напитка и, как истые подвижницы, заговорили о службе.

Верунчик (Вероника Сергеевна Модзолеевская) в суждениях была категорична:

— Вся наша беда состоит в том, что старая власть народ переписала, а вот что делать с этой перепискою — никто не знал тогда, не знает и теперь. Сдохла наша синяя птичка, канула на лету — в лету, только пёрышки по воде поплыли. Значит, пора и нам по углам разбегаться.

— Ах, душенька моя! — вступила мягкая и компромиссная Элен (Елена Никитична Терехенева).— Как же сразу вот так — и разбегаться? Что вышестоящее начальство скажет? Что скажет народонаселение? И что будет с ним, несчастным?

— А ничего не будет! Народонаселение наше митингует, активно сокращает самоё себя и вносит в нашу статистику непредсказуемые поправки. А новорежимная статистика покуда ещё не образовалась.

* Мерзавец (франц.)

— Ну, к чему все эти определяющие и уточняющие эпитеты, Верунчик? Старорежимная, новорежимная... Статистика — она или есть или её нету. И всё. Так что у нас решительно нет никакой нужды отчаиваться...

А потом дамы танцевали друг с дружкой, подтумкивая мелодию Моцарта на губах, а Сонечка Друцкая (без пары) сидела одна напротив «синей птицы» и смотрела пристально на её сиротливо поджатые култышки.

Всё бы и кончилось, как в прошлые разы, и все разошлись бы, как прежде — с новою надеждою, верой и любовью... если бы вдруг не отворилась дверь и в залу не вошёл флотский мужчина в сопровождении юноши студенческого обличья... Матрос, альбатрос, буревестник революции... Это вам, милостивые государыни, совсем не то что цыплёнок жареный-пареный! Другая птица. Вот она — во всей своей океанской красе, с неистребимым духом махорки, мазута и прав нового человека.

Матрос (назвался уполномоченным, а чего именно — дамы не разобрали от волнения) сказал речь о пользе статистики в России и о вреде чиновничьего саботажа. И дамы притихли, сгрудившись в уголке.

— Я извиняюсь, гражданки дамочки, но тока мне кажется, шо вы совсем понапрасну губыньки надули. И откеда у вас такой невозможный писимизъм? Решительно разъясняю, шо и при нашей новой красной власти будет для вас приятная служба... в смысле развития перспективы и всё такое прочее вплоть до мирового масштаба и по большому, значить, счёту. Мы не тока население перепишем, мы, можно сказать, всю историю перепишем наново. Чуете? Так шо с завтрашнего дня попрошу вас всех не куражиться, аккуратненько выйтить на службу и приступить к исполнению. А для полной сознательности будет и совсем хорошо, если б вы зараз же расхмурились и авралом прикончили саботаж с гулянками, в ударном темпе. Ибо саботаж не личит вашей красоте. Карточки ваши тута? Тута. Принимайтесь, пожалуйста, за вашу научную работу и шоб к утречку, уважаемые барышни, всё было готово. Вот тогда и попляшем. А счас прениев не будет и всем досвиданьяца!

Матрос сложил пять в какую-то умопомрачительную конструкцию с оттопыренным мизинцем, тыкнулся в нее губами и

издал звук, напоминавший открывание бутылки шампанского, но все догадались, что это был воздушный поцелуй.

— Какой хам! — сказала Зизи.

— Какой очаровашка! — сказала Мими.

А Верунчик ничего не сказала, погрозила вслед уходящему морскому уполномоченному волку и ревбуревестнику пальчиком и произнесла, обмирая от смелости, от накотившего не вовремя запоздалого кокетства:

— Ах, какие шалунишки, эти большевики...

И почему-то заплакала.

В Павловск, где жила Сонечка, нужно было ехать с вокзала, а на вокзал — трамваем.

Красный обшарпанный, бывший лакированный вагон пьяно раскачивался и скрипел. Невинный цыпленок, завернутый в вощёную бумагу, покоился в Сонечкином ридикюле, на коленях.

В замызганное окно крикливо стучались уличные кумачовые транспаранты. «Это же сколько блузочек ни за что ни про что пропадает...» — подумала Сонечка. И вздохнула.

Увявшие афиши на тумбах... И сколько бумаги! Шелестящей, скомканной, наклеенной... Лера как-то сказал, что такая уймища, такой листопад бумаг бывает только в двух случаях: в обыкновенной квартире и в побеждённом, разгромленном городе.

На набережной Фонтанки розовел дом министерства Двора, разумеется, бывшего Двора; над ним светился силуэт Аничкова дворца — силуэт настоящий, дворец бывший... Боже мой, какая мистика! Вдали, направо — темнел зелёной влагою Летний сад и желтел цирк Чинизелли, куда по субботам столичное офицерство собиралось учиться системе высшей конной выездки, которую демонстрировал француз Филлис на чистокровном английском жеребце. Сонечка один разок побывала там, с Лерой. Лера рассказывал, что прежняя система (Боше) устарела, а новая (Фнл-лисова)—самая прогрессивная и потому составила основу российского кавалерийского устава.

Александрийская колонна на Дворцовой площади — огромный восклицательный знак...

Здание бывшего английского посольства переглядывается зеркальными окнами с бельмастыми бастионами Петропавловской крепости. Где теперь посол сэра Бьюкенен? Нет теперь

посла сэра Бьюкенена. Осиротела Зизи Високосова. С кем-то сэр теперь в переглядушки состязается? Сонечка однажды видела его в автомобиле рядом с Зизи: посол как посол, мало ли их в столице, наличием цилиндра напоминает старьевщика и фокусника из цирка Чинизелли, сухощав, короткие седые волосы, пушистые усы, желтозубая улыбка, лошадиное лицо... Дура эта Зизи! Всего-то и научилась у британца, что словечку again, ещё, стало быть...

Ну, слава богу — вокзал.

Три медных удара в колокол, обер-кондукторский свисток, ответный рёв паровоза... Дёрг. Поехали...

В Павловске Сонечка и Лера живут уже год: перебрались из столицы по Лериному настоянию после того, как он однажды явился домой и объявил, что отныне — безработный.

— Шабаш, — сказал. — Теперь хоть в нору забивайся, чтобы не сыскали.

С той минуты Сонечка больше не видела на муже ни серого форменного пальто с серебряными погонами, ни шпор, ни синей с красным кантом жандармской фуражки.

— Чёрт знает, что теперь может выйти из комбинации кожи бывшего дивана и рук бывшего ротмистра, сделавшегося сапожником, — веселился Лера, а к вечеру надирался с тоски, «как настоящий сапожник»; только это и получалось у него.

Нет, чёрт не знает. И Бог не знает. Бог вообще сейчас не касается до всего, что происходит с его помазанником и с российским народонаселением.

Сонечка и Лера (Валерий Леонтьевич Друцкой) познакомились на публичных лекциях по астрономии. Тогда, в пору их встречи, ещё была сильна волна, поднятая тургеневским романом «Отцы и дети» с новым словечком «нигилист»; иные барышни из благовоспитанных и породистых семейств чуть что делалось не по ним — так пугали родителей тем, что немедленно определятся в нигилистки и вызывали в папашах и мамашах их собственные времена — с карамзинской бедной Лизой и аналогичными угрозами вроде «а то утоплюсь»... Наблюдая стриженные волосы, барашковые круглые шапочки и отсутствие кринолина, обалденные дворники-консерваторы трясли бородами: «Ишь ты, грамотеи вонючие, нигилисты паршивые, ходят тут, опчество

заражают...» Да что там дворники! Ходил слушок, что сам государь Александр Второй терпеть не может учёных женщин, и когда встречает представительницу прекрасного пола в очках и в гарибальдийской шапочке, то пугается, полагая, что перед ним — истинная нигилистка, которая только и ждёт момента, чтобы выпалить из револьвера; отсюда (как утверждали круги, близкие к высшему свету) — и заветная мечта императора: основать бы где-нибудь в голых степях отдельный город, зорко охраняемый казаками, и ссылать туда на жительство всех подозрительных молодых людей, пусть себе читают, хоть зачитаются... Сонечка помнит, как и она — со стриженными волосами под барашковой шапочкой — спешила на учёные лекции под руку с мамашей, а в конце концов получилось, что мамаша назубок выучила карту звёздного неба, а Сонечка выскочила замуж, нарушив (единственная из подруг) служебный обет безбрачия; правда, поначалу этому криминалу не придавалось особенного значения, первые месяцы супружества представлялись сплошным одическим «О!». Да и Лера, кстати, с интересом выслушивал Сонечкины статистические монологи: о том, что в первый же год российской переписи часто отмечались ужасные случаи самосожжения старообрядцев-раскольников; что опросные анкеты весьма несовершенно: в них нет, например, пунктов для определения рода занятий и национальности, расплывчато сформулированы критерии грамотности населения...

— Представляешь, милый? — спрашивала Леру Сонечка и подставляла щёчку для поцелуя.

— Чулочек мой синенький, — говорил он. — ты всегда такая?

— Какая?

— Agitee*.

— Всегда!

Конечно, будешь agitee, когда кофточка на грудях трепещет — да и вся сама—точно парусник: несёт, несёт!.. Где теперь те паруса? Там же, где и кофточка... Сонечкин вечерний капор, помнится, Лера называл бутоном розы... Господи, какой бутон? Уж говорил бы реалистически и сразу: несостоявшийся капустный вилок. Но Лера не говорил подобного, вежливый был, ласковый, и по мере сил оберегал Сонечку от излишнего «книгилизма» и

* Взволнованная (франц.)

политики; в год переписи, говорил он, некоторые статистики мужского пола позволяли себе чересчур много политики, как, например, освобождённый в начале года из Санкт-Петербургского дома предварительного заключения и подлежащий высылке в Восточную Сибирь сын действительного статского советника Владимир Ильич Ульянов, который выбыл по проходному свидетельству в Иркутск с правом остановки на два дня в Москве; вот какие, Сонечка, бывают статистики-статисты, статские господа...

Как же давно это было, Боже ты мой! И как всё не похоже на теперешнюю жизнь. Эти бесконечные бумаги... Эти сомнения относительно правительства, генералов, священников, казаков, казачьих лошадей, эсеров, кадетов эт сэтэра... Эти костры на улицах и пулемёты «льюис» на тонких комариных ножках... Эти беспокойные и самоуверенные комиссары, которыми, по словам Леры, могли быть только натуральные немецкие бурши, выросшие на овсянке и Кантовой логике... Свержения. Извержения. Вчерашние «кровопийцы» чудесным образом нацепили на лацканы красные банты, и, таким манером сделавшись гражданами свободной России, митингуют на улицах и посылают красногвардейцам воздушные поцелуи, изысканные и не такие неуклюжие, как у нынешнего флотского уполномоченного... Ах, альбатрос, альбатрос! Ну, что эта птица понимает в статистике? Нонсенс! «К утречку...» О, господи, что на свете делается? Что ещё предстоит перенести многострадальной отечественной статистике?

Сонечке вдруг вспомнилось, как две недели назад она в компании с Мими и Зизи совершенно случайно забрела после службы в поисках чашечки чая в какой-то богемный поэтический кабачок на Литейном проспекте; парень по фамилии Князев (пасхальная рожа, косовороточка...) собственными стихами прояснял общественную ситуацию в разбушевавшейся стране:

*Сердца единой верой сплавим.
Пускай нас мало, не беда! —
Мы за собой идти заставим
К бичам привыкшие стада.
Чего жалеть рабов-солдат,
С душой бескрылою и куцей?
Пусть гибнут сотнями, добрят
Поля грядущих революций...*

— Скотина какая! — воскликнула Зизи. — И не страшно ему?
— А кого другого ты хочешь услышать? — отозвалась Мими.
— Максима Горького или Артёма Весёлого? Сашу Чёрного или Андрея Белого? Или Бедного Демьяна?

...Лера, как всегда, был вдребезги пьян. Напиваясь же, он становился совершенным дураком. В зелёной репсовой куртке и в диагональных галифе с крагами на босу ногу, с обнажённым палашом на плече Лера становился навтыжку перед поясным портретом сгинувшего в тартарары государя императора Николая Александровича. Для Леры эта церемония была каким-то фанатическим обетом — без закуски, без того, чтобы хоть занюхать корочкой стопку водки... стоять вот так с остекленевшими глазами и одеревеневшими членами.

Кстати, портрет царя не лишён был оригинальности: на оборотной стороне его был наклеен плакат с изображением немецкого экономического статистика Маркса, и в зависимости от обстоятельств, ежедневно вычисляемых Лерой, двулика икона эта могла бы облегчить положение обитателей комнатки... А настоящие иконы — фамильные, наследственные — Лера порубил ещё в дни февральской революции, так что Сонечке пришлось восполнить отсутствие Спасителя в доме тем, что она купила в Лавре новый оклад и вклеила в него цветное литографическое изображение Салтыкова-Щедрина; хотела над Лерой подшутить, а Лера даже и не заметил ничего...

Становясь в запое на пост у двойного портрета (на день, на два, а то и поболее), Лера обычно принуждал Сонечку распевать «Боже, царя храни...»; Сонечка плакала, икала и пела, пела...

— Нале-оп! — командовал Лера самому себе, выпивал стопку, потом командовал «напра-оп!» — и вновь замирал в часовой стойке — истукан, статуя, только левое веко в тике дёргалось.

На сей раз Сонечке удалось бесшумно проскользнуть за занавеску.

Не снимая одежды, она легла на кровать — без сил, без мыслей, и тихо заплакала, стирая слёзы пальцем и осушая палец о стену, оклеенную старыми газетами...

Впрочем, верхний слой оказался отмеченным событиями этого года; сама клеила.

Напрягая зрение, Сонечка незаметно углубилась в чтение...

«...Ко всем домовым комитетам и районным Советам Петрограда. В интересах здравоохранения все врачи, фельдшера и пр. медицинский персонал действующих лазаретов, госпиталей, лечебниц и больниц подлежит освобождению от принудительного привлечения к очистке от снега улиц Петрограда и его окрестностей. Народный комиссар труда Александр Шляпников...»

Ну, это неинтересно. Это не история, дело было в нынешнем январе.

«Наёмные убийцы 1-го января, в день Нового года, в день создания мощной Социалистической Армии, осмелились подло стрелять в автомобиль, в котором ехал тов. Ленин после произнесения своей приветственной речи уезжающим на фронт добровольцам. Тов. Ленин даже не заметил этих предательских выстрелов; он сидел в глубоких думах об устройстве пролетарскою счастья. Только ехавший с ним секретарь швейцарской С. Д. Р. П. тов. Фр. Платтен...»

Сонечка ногтем поддела, отогнула и легко оторвала клочок газеты. Проступил новый текст. Газетные листы, наклеенные мучным клейстером, легко отслаивались друг от друга, открывая запечатанную доселе дверцу в ушедший день.

Вот газеты прошлогоднего декабря... Странно. Не стены, а настоящий архив. Кто бы мог подумать? Четыре стены, неужто все такие исторические? И муки ушло-о-о...

«Петроградское население, пользующееся трамваем, совершенно не знает, что со 2 декабря трамвайное движение поддерживается исключительно усилиями низших служащих, оставленных бастующим техническим персоналом: инженерами, техниками и др. на произвол судьбы...»

Слёзы высохли. Сонечка увлеклась чтением. Получалось нечто забавное. Как в кинематографе. Только время текло в обратную сторону.

Вот, судя по шрифту, «Русское слово». Сообщает, что группа американских бизнесменов и политиков собирается преподнести в дар Временному правительству России копию знаменитой статуи Свободы, что вознеслась в Нью-Йорке над Гудзоновым заливом. «Приидите ко мне все страждующие...» Вот, дескать, такую же дорогу и выбирайте, господа...

Сонечка хорошо помнит те летние дни семнадцатого года. Тогда в моде были спиритические сеансы, на которых чаще всего беспокоили дух Наполеона Бонапарта. Крутят блюдечко, интересуются:

— Когда же она кончится, эта революция?

— Скоро, — отвечал Голос.

Искали сильную руку. И нашли. Российский Бонапарт — Лавр Корнилов, сухощавый, с ястребиным лицом, калмыковатый, кривоногий и низкорослый термидорианец... Когда он прибыл в Москву, рассказывали, ему подали к перрону белого коня. Где они сейчас — конь, Лавр, Бонапарт, сильная рука...

Ну, ладно. Дальше-то—что? Вернее, раньше — что?

Сонечка отслоила изрядный кусок газеты, под которым, как и ожидала, проступила предыдущая хроника.

«Государь император Всемиловитвейше соизволил пожаловать георгиевское оружие, бриллиантами украшенное, главнокомандующему армиями юго-западного фронта...»

Господи ты боже мой, да хозяину квартиры впору хоть звание присваивай, например, Всероссийского Архивариуса!

«...юго-западного фронта, генерал-адъютанту, генералу от инфантерии Алексею Брусилову за поражение австро-венгерских армий и взятие их сильно укрепленных позиций на Волыни, в Галиции и на Буковине 22—25 мая 1916 года...»... «Продается нога и костыли. Парвский пр. 29, кв. 12...»... «Куплю кинематограф на ходу, на бойком месте или вступлю компаньоном. Троицкая ул. 20, кв. 3, Зиберевич...»

Сонечка прикинула в уме: чем она занималась в те дни? И ничего не могла вспомнить, кроме статистических занятий в комитете: всё считала да всё итожила результаты переписи населения 1897 года и, помнится, недоумевала по поводу того, в какой графе статистических карт отразится число погибших и без вести пропавших в затянувшейся войне с кровожадным кайзером Вильгельмом? Слышно было, что кайзер с российским императорским домом в родстве состоит, так неужто невдомёк однажды собраться монархам да и прикончить войну за семейным чаем, по-домашнему?

...Рупор черносотенцев «Русское знамя»... «Правительство обязано признать евреев народом столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, ядовитые

пауки и прочая тварь...» Время еврейских погромов. Они прокатились, точно эпидемия, по России...

Под «Русским знаменем» оказался номер «Вокруг света» — страничка журнала за 1908 год... «Очень трудно встать со стула, когда сидишь со скрещенными руками, если кто-нибудь, даже слегка, дотронется до лба сидящего хотя бы одним пальцем. Самый сильный человек окажется в этом случае бессильным...»

Вот забавно! Надо попробовать. На службе, с Мими, например. Или — Зизи. И развлечение, и наука. И голый реализм для статистической служанки: руки заняты, а в лоб — государственный указующий перст упирается. Встань попробуй...

Шрифт старых газет был ясным, чётким, только бумага слегка пожелтела и от клейстера сморщилась... Вот сообщение, что вместо царя во дворце живёт Столыпин (это относится, кажется, к концу девятьсот шестого года)... Сонечка как-то раз видела Петра Аркадьевича: высокий представительный брюнет с жидкой бородкой и глубокими, цыганистыми глазами. Как у конокрада? Впрочем, Сонечка не встречала в своей жизни ни одного конокрада, и сравнение это пришло ей в голову скорее всего из изящной словесности... А государь, действительно, жил в то время в Царском Селе, доверил Россию Петру Аркадьевичу, а сам играл в лаун-теннис, отстреливал ворон из монтекристо, колол в охотку берёзовые чурки на дрова и ходил по грибы в лесок, где за каждым пеньком прятался агент секретной охраны — так говорили в обществе.

Это время памятно для Сонечки еще одним обстоятельством: непонятно от чего поднявшейся волной самоубийств. Штаб-ротмистр граф Лорис-Меликов (сын известного государственного мужа) покончил с собой из-за певички венгерского хора; талантливый молодой Ника Раевский пулю в лоб из-за танцовки императорского балета; конногвардеец Фаддей Булгарин (внук знаменитого Фаддея) был храбрым офицером на японской войне — и вдруг... такой молодой... А немолодой ротмистр Назимов, командир уланского эскадрона, в вечно помятой фуражке набекрень и с кольцом в ухе... Незадолго до самоубийства он принимал участие в карательной экспедиции против бунтовавших латышей и вернулся оттуда — сам не свой, потерянный. Дикое время, странное, непонятное, пугающее...

Сонечка воскресила в памяти встречу чиновников Статистического комитета с графом Сергеем Юльевичем Витте, с тем самым графом, который, будучи министром финансов, ввёл государственную монополию на спиртные напитки. Речь он вёл, правда, не о водке, а по поводу переписи населения.

— Что такое перепись? — восклицал Сергей Юрьевич. — Что такое Россия? — И отвечал самому себе: — Великая Российская империя в течение тысячелетнего своего существования образовалась тем, что славянские племена, жившие в России, постепенно поглощали силою оружия и всякими другими путями целую массу других народностей, и таким образом явилась Российская империя, которая представляет собой конгломерат различных народностей, а потому, в сущности говоря, России нет, но есть Империя. Ну, а после того, как мы поглотили целую массу чуждых нам племён и захватили их земли, теперь в Думе и в «Новом времени» явилась полукомическая национальная партия, которая объявляет, что, мол, Россия должна быть для русских, то есть для тех, которые исповедуют православную религию, фамилии которых кончаются на «ов» и которые читают «Русское знамя» и «Голос Москвы». Во всём этом, дамы и господа, следует разобратся. Поможет ли нам статистика — один бог знает, но хотелось бы...

Было, всё было. Всё помнит Сонечка, оказывается. Лишь намекни, лишь обозначь ничтожной меткой соответствующий год.

«...известный исследователь Гейне Густав Карпелес поместил в «Nazional Zeitung» очень интересную статью под заголовком «Feodor Iwanowitsch Tiutschew und Heine», где впервые указывается...»

«С игрой в хоккей члены С.-Петербургского кружка любителей спорта познакомились впервые в сезоне 1897—98 г. В игре принимало участие довольно большое...»

Сонечка вновь потянула газетный клочок и оборвала его.

Книжная страница... «Счётная машина скрипела, и порой вместо цифр из неё вылетали совершенно неожиданные сюрпризы...» Бог ты мой! Рассказ Короленко! Сонечка и содержание рассказа вспомнила. «Смиранные» — называется. Речь там велась о деревне Раскатово, где производились расчёты по покосу и сенному делу, причём в этих расчётах требовалось учесть массу факторов: и то, что часть крестьян косила сама, а

часть нанимала шабашников, только портивших луга неряшливой косьбой; и то, что косцов кормили в лугах по очереди все жители деревни... Чудо-машина всё рассчитывала! Но чудо и то, что молоденькие статистические барышни из Комитета в то время и впрямь поверили в её существование!

*Эпоха гласности настала.
Во всём прогресс — но между тем
Блажен, кто рассуждает мало
И кто не думает совсем.
Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова...*

Это строчки Василия Курочкина. Кто ж их не знал в ту пору! У всех они были на языке. А нынче? А нынче они под слоем старых обоев соседствуют со страничкой из Салтыкова-Щедрина:

«Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего...»

Мозаика... Сонечка была уверена, что под страничкой салтыковского суждения скрываются письменные свидетельства времён ещё более давних. Но больше отдирать листики газет-обоев не стала. Дальше ей было неинтересно. И страшно. Сонечка понимала, что чем глубже проникать в «настенный архив», тем всё неотвратимее она сама, Сонечка, будет уменьшаться и, наконец, исчезнет во времени. Тогда, когда стены были оклеены обоями в первый раз — тогда её не было. Газеты были, а её, Сонечки, не было. Это так же точно, достоверно и жутко, как и то, что придёт день, когда Сонечки не станет на свете, а хозяин квартирки, который будет вослед, обляпает стены слоем свежайших, утром пахнущих газет, а расклейщики афиш будут ежедневно, со смиренным терпением и постоянством возжигателей соборных лампад, мазать уличные тумбы клеевым квачом — по лицам и именам «калифов на час» дня минувшего — и спрессовывать таким образом время и историю в отвратительную гру-

бую безделушку из папье-маше, из отжившей прессы... Нелепая игрушка. Буквальная проза жизни. Склад реквизитов погорелого театра, некрополь бесчисленных статистов. Мавзолей идей и людей. Картонный храм на крови... На подлинной крови, без подмеса. Если граф Лев Николаевич теоретически пожелал устроить вегетарианскую историю человечества, то в жизни так не бывает, в истории всегда будет дичинка с кровинкой, не из кровожадности, нет, — из пикантности... Статистика подтверждает. Статистика всё знает, другое дело — что не сразу скажет, да и голос у нее тихонький. Но грянет день — она заговорит, и люди ужаснутся собственной жестокости, и некому тогда будет сказать: «Господи Иисусе, пожалей мя, грешника глупого, неразумного! Тяжко мне. Помоги, владыко, начать всё сызнава...» А в ответ услышит стук роковых костяшек и голос безучастный: «Очко, моя милая, ровно двадцать одно! Банк сорван. И делаем новые ставки, господа, по крупному счёту!» А ставить-то будет уже нечего, и на новое время уже не хватит ни сил, ни любви, ни остатков веры, и надежда умрёт последней в очереди за вселенской любовью. Ибо: всё отдано прошлому. Так что останется только сказать печально: играйте без меня, дамы и господа! Без меня. Понятно? А то, пока жива была, все бубнили-набубнивали: Сонечка такая, Сонечка сякая, Сонечка обет нарушила... А Сонечка — р-р-раз! — и мигом всю российскую статистику развалит вдребезги, пропади она пропадом, эта статистика, девка гулящая...

Сонечка потрогала лоб ладонью. Жарко...

Она поднялась с кровати, вышла в комнату. Лера сидел на табуретке, свесив руки меж коленей. Сонечка приподняла его голову за подбородок, приставила палец ко лбу и велела встать. Лера приподнял набрякшие веки, сделал безуспешную попытку приподняться и сплюнул на колени:

— Пошла вон, сука...

Сонечке вдруг стало легко и весело. Она даже не стала задумываться: отчего так? Она подмигнула дерзко и с вызовом самодержцу всея Руси, хлопнула полстопки водки, потом вернулась за ширму, выгребла из старого валенка потаённый Лерин «смит-вессон», удобно вытянулась на кровати и выстрелила под левую грудь.

В какую-то долю секунды после спуска курка она успела подумать, что, уходя вон, она отомстит не только Лере, но и статис-

тике, однако если Лера заметит её уход, то отечественная статистика — вряд ли...

За печальной грузовой «линейкой» балетным шагом пошли двадцать печальных государственных жён. И Лера. Безработный ротмистр был совершенно трезв и нёс, прижав к груди, изображение мрачного сатирика в иконном окладе.

В этот день городские службы порядка отметили, что в канале утонул безродный пьяница, под колеса трамвая угодил бедовый мальчишка, в собственном домике сгорела от пожара старуха молочница, удар инсульта оборвал жизнь одного бывшего действительного тайного советника, расстрелян князь Эболи, грабивший квартиры под прикрытием поддельного мандата Чека — первая ласточка «красного террора».

На этом можно было бы поставить точку.

Впрочем, есть ещё одно лицо в этой истории.

Помните ли Князева, милостивые государи? Того самого парня, который в богомном поэтическом кабачке на Литейном проспекте размахивал руками?

*...Чего жалеть рабов-солдат
С душой бескрылою и куцей?
Пусть гибнут сотнями, добрят
Поля грядущих революций..*

Так вот: он ещё много чего написал — коммунарского. «Красное Евангелие», «Красные звоны и песни», «Песни Красного звоняря», «О чём пел колокол», наконец, знаменитое, ставшее популярным куплетом: «Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!»

Картуз с лакированным козырьком, кудри, высокий лоб, лихо закрученные усики, расстёгнутый ворот косоворотки... Бедный Князев, Василий Васильевич... По страшной иронии судьбы он сам превратился в раба, врага народа, стал эком, лагерной пылью, удобрением — и умер в Атке, под Магаданом. Скорая смерть, как вспоминают, избавила его от тягостного существования.

Статистики к тому времени уже не существовало.

УТРЕННИК С АПЕЛЬСИНОМ

12.

...И было янтарное море. И неба кровь с молоком. И бронзовые сосны в дюнах. И заходящее солнце. И Хозяин жмурился, точно кот, от тихих радостей. И кот, точно Хозяин, улыбался компанейски и лапой гостей зазывал. И гость пожаловал.

— Проходи в дом, добрый человек, — сказал Хозяин.

Человек с ружьём вышел из леса, из болот. Грязный, ободраный, лешак лешаком, в бороде паутина, в паутине ненасытные комары с мошкаррой общежитие делят, паразиты.

Присел гость у крыльца. Видно, что больше, чем просто притомился.

— Раздевайся, добрый человек. Снимай балахон свой, сапоги. Жена в дом унесёт, на печи просушит.

— Ну, это лишнее беспокойство будет, чтобы на печи, — отвечал прихожанин. — Я вот балахончик-то на ветерке приспособлю. Гвоздичка не найдётся ли?

Хозяин гвоздичек вынес, новенький, самокованный. Нашарил прихожанин под ногою камушек да и вбил гвоздь в бревенчатую стену.

— Вот, зараза, — сказал, кривясь и палец посасывая, — как шандарахнул. До крови, кажись, поранил. Камушком-то не шибко способствует.

— Не способствует, — согласился Хозяин. — Это ведь только дураки знают, как правильно камнем гвоздь заколачивать.

— Так ведь мы, однако, не дураки, — улыбнулся прихожанин.

— Не дураки. Я так думаю. Но могу, конечно, ошибаться, кто ж без греха...

— Ай, да бог с ним, с пальцем! — сказал прихожанин. — Не возражаешь ли, Хозяин?

— Какие возражения?

— Правильно. По взаимному, стало быть, согласию мы с тобой сладились, — сказал прихожанин и повесил мокрый свой балахон на гвоздь, на просушку-продувку.

— А принеси-ка ты нам, жена, молочка вечерошнего. Да к молочку сама знаешь чего...

11.

Утром вышел на крыльцо Хозяин и очень удивился. Прихожанин сидел на опрокинутой бочке под висящим балахоном, с ружьём в руках, навроде правильного сторожа, будто бы и вовсе не спал.

— Так всю ночь и караулил, что ли?

— Караулил. Вон гвоздь. Вон балахон. Всё на месте, в полной неприкосновенной сохранности. А принеси-ка ты, Хозяин, молочка. У вас парное?

— Понятное дело, утрешнее.

— Парное это хорошо. Состоянию здоровья полезно.

Предоставила жена крынку, повязанную чистой марличкой.

Прихожанин выдул в два передыха, с удовольствием, и усы огладил.

— Как страну-то вашу называют?

— Да никак, — ответил Хозяин. — Без названия проживаем. Против неба на земле.

— Это плохо. Без названия проживать никак нельзя. И выходит, что нам с тобой по этому вопросу надо переговоры устроить. Буду я навроде как посол народа. Черезвычайный, значит, и с полными мочами.

— Зачем посол? Не надо посла. Будь гостем. А послы — ну их! Бывал тут у меня один такой. Я, говорил, посол державы. Давай, говорил, договор подписывать. И был дан ему обед. Посол обед съел, а договор подписать забыл. С тем и ушёл обратно в свою державу.

— Некультурный какой, — сказал прихожанин. — Ну, ладно. Пора браться за дело. Ты пока здесь посиди, поохрани, а я сейчас мигом обернусь. За скорой помощью.

Надел балахон. Повесил ружьё на гвоздь. Выставил опухший палец перед собою навроде маячка — и пошёл, и скоро скрылся в лесу.

10.

Отставил Хозяин свои заботы насущные, ежедневные. Хоть и не шибко общительным был — по устройству жизни, по её дремучему отшельному протеканию вдали от огней больших и маленьких городов — но как же не уважить стороннего человека, соседа по земле, пусть даже и очень дальнего? Да и просьбицато его пустяковая. Сиди на бочке, трубочку покуривай, гвоздь с повешенным ружьём охраняй...

Вот и сидел, дымил табаком и голову ломал в немислимых рассуждениях: от кого же беречь этакое добро? кто на него позарится? сроду в здешних местах ни воров, ни других лихих людишек не водилось, двери без запоров, без крючков, без ключиков-замочиков тепло в доме берегут, а низкий косяк с высоким порогом в этом бережении дверям помогают, всего-то и делов...

А дел было много. Море и карбас с парусом — ловцу салаки и селёдки незачем молочные реки да кисельные берега. А ещё лес с дичью, орехами и мёдом. Да ржаное поле. Что посеешь, как говорится, то и пожрёшь, прости господи. А рыбокопильня? А кони?.. Всё успевал Хозяин, потому что не успевать было нельзя, зима накажет.

Но тут вот дела-то и замерли, будь ты неладно, сторожение это. Даже заскучал Хозяин, чего с ним никогда не приключалось.

Одна жена с ребятишками крутилась да хозяйством правила, огород да мелкая домашность — это уж её забота, бабья.

Сидел Хозяин на бочке да раздумывал. На море смотрел. Там, вдали от шелестящего берега, бесшумно плыли деревянные корабли, стальные люди. А ещё были стальные корабли, но какие люди имелись на таких кораблях — Хозяин не знал.

— Эх, позиция, — вздыхал он, позёвывая, — хоть бы разбойничек какой сюда заглянул, на пришельцино ружьишко нацелился...

9.

И вот однажды под вечер прихожанин снова вышел из леса. Да не один. Сроду такой ватаги Хозяин не видел, чтобы столько людей — и все в одно время и в одном месте. И молодая бабёшка с ними, в красной косынке, в полусапожках со шнур-

ками, во рту папироска, а на груди приколот кружевной платочек, незасморканный.

— Вот, радуйся, чухня болотная, — возгласил весёлый прихожанин. — Привёл товарищей. Можешь слазить с бочки, тут мы сделаем пост номер один. Караул поставим в три смены, и твой гвоздик с моим оружием будут целые, да и тебя никто не тронет.

— А чего ж, — сказал Хозяин, — поживите, отдохните с пути, отмойтесь да откормитесь, а нам с хозяйкой повеселее будет...

— А вот это не надо! — построжал прихожанин. — Мы сюда не веселиться пришли. Послушай-ка! Там, ещё вдалеке, за лесом... Слышишь?

Напрягся Хозяин, а ничего такого страшного не услышал, вроде бы как дальний гром, приблизительный, так оно и хорошо, дождичек придёт, ванна небесная...

— Тю, гром! — усмехнулся прихожанин. — Слушай сюда, пень лесной! И ты услышишь тяжёлую поступь. Это идут железные полки нашего трудового народа! А насчёт покормиться — это ты хорошо придумал, и помыться то же самое. Слей-ка мне водички, Хозяин, не поленись.

Скинул прихожанин балахон, рубаху, плещется, верещит, ровне дитё малое, фыркает под струёй из ведра, и лицо его, становясь чистым, попискивало кожей под ладонями точно упругий капустный кочанчик.

— А потри-ка спинку, Хозяин. Уж мыться — так мыться!

— Худющий-то! — удивился Хозяин. — Одни голые рёбра торчат. Ну, ничего, ты у нас тут на молочке быстро напитаешься. Баньку протопим. Чего ж из ведра-то? Вон, гляжу, грязища на тебе аж целыми клочьями отваливается.

— Это у меня не грязища, — фыркнул прихожанин. — Это у меня нижняя рубаха сопревши. У тебя лишней не найдётся ли?

У прихожанина были чистые глаза, ясные. В них горело братство.

8.

Через недельку выкатился из леса дымный, вонючий автопоезд. Пару грузовиков с народом тащил за собою броневик, стрелявший во все стороны выхлопными газами.

Хозяйская собака, склонив голову набочок, пребывала в полном недоумении: то ли лаять ей, то ли нет? как лаять, если лаять, — с приветствием или наоборот? а если случится наоборот, то кого кусать? Куры же, и без того дуры, вовсе сошли с ума, на деревья взлетели,

— Выходи, Хозяин! Принимай сурьёзную компанию. Щас митинг сварганим. Ты, да жена твоя, да детишки будете как бы местным населением. А митинга без местного населения не бывает.

Люди в кожанках и бушлатах мигом сгрузили спелые клюквенные знамёна и лозунги на палках. Оркестр приготовился к музыке: барабан с тарелками, балалайка и большая медная труба — змеевиком вокруг трубача.

— Быстро, быстро, товарищи! Трибуну на крыльцо!

Поставили деревянную трибуну с графином.

— Народ собравши?

— Тут мы, — ответил Хозяин за всех, за жену любопытную, за четырёх своих восторженно-перепуганных детишек, жавшихся вокруг материнного подола.

И за трибуну встала бабёшка.

Она говорила недолго, но громко. Кулаком стучала. Воду из графина пила.

— Эта несчастная страна Потогония, — кричала она, — тяжело нам досталась, солёным потом наших безвинных товарищей. А сколько горячей крови отдали мы всяким болотным паразитам! Но ничего! Будущее за нами! А ещё за нами следом другие товарищи тянут железную дорогу через ваши лесные колдобины...колдобоины, то есть, и прочие разные выибоны...ёш-твою-вошь! выбоины, фигурально выражаясь. И скоро по той дороге придут сюда непокобелиные, непоколе... ёш-твою-клёш! непоколебимые локомотивы истории! Я извиняюсь, но это так и будет! Чтоб мне провалиться на этом месте!

Бабёшка топнула ногой — и провалилась. Доска крылечная не выдержала...

Грузились в обратном порядке. Сначала бабёшку в грузовик эвакуировали, потом — графин, трибуну, оркестр, знамёна... Зачихал броневик, задрожал, напрягся — и потащил поезд дальше, дальше...

Крыльцо Хозяин, конечно, тут же починил. Но прихожанин прибил-таки дощечку на столбик: «Дом находится под охраной государства».

7.

По утрам били в рельсу, специально для побудки привезённую на автопоезде.

— Выходи строиться, товарищи! — кричал контролёр выхода на работу; он поднимался рано, раньше хозяйки, обязательной к утренней дойке, раньше самого Хозяина.

Зевая и почёсываясь, вытягивались пришельцы из сарая, где поселились. А контролёр спать ложился, на этом его первоутренняя забота прекращалась.

Прихожанин проживал в доме.

Однажды попенял Хозяину — ласково, но с упрёком:

— Что ж ты, мать твою за ногу, игнорируешь и пренебрегаешь? Не по-братски это. Все пробужаются, и ты пробужайся. Строй порядок обожает.

У него были ясные глаза. В них горело неизъяснимое чувство.

— А на что мне строй? — удивлялся Хозяин. — Мы тут всю жизнь без строя обходились — и ничего, управляемся.

— Глупость говоришь, друг, товарищ и брат. Если ты в коллективе, так, значит, соответствуй и способствуй. То есть, не уклоняйся и разделяй. А которые уклонисты, так у нас с ними разговор короткий, без прений.

Хозяина ещё продолжали называть «хозяином», но уже как-то так кривенько, с усмешечкой, с маленькой буквы.

Жену хозяина приспособили к общему котлу, щи варить и кашу.

Ребятишки хозяйские — что с них взять, с маленьких? — в общий строй покуда не становились, но занимали очередь к котлу для себя и родителей.

Мамка однажды исподтишка плеснула в миску самого маленького лишний черпачок, так очередь заурчала и засопела, а Прихожанин объявил мамке строгий выговор перед строем.

Целый день пришельцы сидели на ошкуренных брёвнах, заготовленных впрок, обсуждали злобу текущего дня и голосовали поднятием рук.

Через каждые четыре часа сменялся караул на посту номер один. Там же поставили пулемёт, приехавший с автопоездом.

6.

Как-то раз на брёвнах проходила ежевечерняя политическая летучка. Вызвали с покоса хозяина.

— Уклоняешься, товарищ! — сказали ему. — Демонстративно и нахально. Небось, у тебя для такой нахальности где-нибудь наверху рука есть волосатая?

Хозяин руки перед собой вытянул — смотрите, мол:

— Вот эта. И эта. Других не имею. Никого со стороны не приневоливаю. По евангелию живу.

— А откуда у тебя это ивангелье?

— От Луки.

— Это не годится, товарищ. И мы здесь в этом вопросе должны свою точку поставить, чтоб никакого лукавства. Будет наша, собственная торговля. Сельпо, называется. Спецназ. Все, как один, будем дружно брать ивангелья от Ивана Иваныча из центра. Вот вскорости чугунок подойдёт. Красные фуражки наденем. Болота осушим...

— Болото не надо бы, — робко возразил хозяин. — Там клюква хорошая.

— А нам твоя клюква без надобности. Мы здесь социал-демократию будем разводить.

— Кого это?

— А вот завтра узнаешь. На конференции. Потерпи маленько. А то скажи тебе сразу, так ты и лопнешь от радости.

5.

На конференции выбрали Нового Хозяина.

Хозяин (с маленькой, с нехорошей буквы) был «явивши» на мероприятие со всем семейством, принаряженным.

Накануне ему сказал Прихожанин:

— Всё сделаем по чести, по совести. Будем решать и определяться. Будем голосовать за светлое будущее. Ты будешь как бы против. А чухрёнки твои — как бы за. А жена твоя — как бы воздержавши. Вот это и есть социал-демократия. А когда твои товарищи будут кричать «поддерживаю и одобряю», ты кричи совсем наоборот, дескать, «одобряю и поддерживаю». Понял?

Глаза у Прихожанина были чистые, в них горело синим пламенем светлое будущее.

Но хозяин так ничего и не понял.

Он сидел смирно и рассуждал.

«Чи кони?» — спрашивал Прихожанин. А кони были вольные. Но в то же время - и хозяйские. То есть, они были хозяйские, но всё же вольные. И этого Прихожанин никак не мог понять и очень сердился. Ловили коней. Клеймили раскалённым тавром. Кони обиделись и ушли.

Или вот другая обида: побудительная. Подъём — под рельсину, отбой — опять же с ней, с чёртовой железкой, а между двумя снами — сплошной перестук-перезвон, словно в кузнице... Хозяин удивлялся. И Прихожанин удивлялся на его удивление. «Как же это, — говорил, — просто так, например, дрова колоть? Чтобы без обозначения субъекта и объекта? Надо сначала это дело обмыслить и назвать. Например: нужно для тепла печь топить? Нужно. Нужно дрова принести. Чтобы принести, нужно наколоть. Такая диалектика природы. А кому наколоть? Тут другая диалектика, с человеческим фактором: вон тому товарищу, которого очередь наступила. А товарищ, может быть, и позабыл вовсе. На этот случай контролёр есть с рельсой — и товарищ осознаёт свой долг, берет колун и — с места с песней шагом марш. А без осознания и обмысления какие ж это дрова? Чурки, а не дрова...»

Хозяину было смутно. Он сомневался. Он думал: а ведь не может же быть такого, чтобы он, один, был кругом правым против стольких людей, не может же его несогласие оказаться верным поперёк коллективного согласия! Чего стоит его одиноконья диалектика «не так» против дружного «так»?

...Жена под бок тыркнула — весёлая:

— Твоя очередь! Подымай руку!

Хозяин поднял руку. Одну. Потом другую.

Хозяином выбрали Прихожанина — единогласно, один против и одна воздержавшаяся. Протокол составили в двух экземплярах.

Бывшую с этого момента хозяйку определили в прослойку. А бывшего хозяина назначили евреем. «С вытекающими последствиями», — сказал Прихожанин.

У него были светлые глаза, в них горело прошлое.

4.

— Я в тебе эту гнилость унюхал давным-давно, — сказал Прихожанин. — Эх ты, бревным-бревно! Скучно тебе стало? Не с кем бороться за мир? Ну, и ступай прочь, говным-говно. Неси свою жалобную апелляцию. Пусть там, в центре, объяснят тебе сущность момента и ошибки поведения. Иди. Мы согласные. Наш протокол передашь Иван Иванычу с приветом. Как минуешь лес и болото, так и двигайся, прямо и прямо, никуда не сворачивай, покуда не упрёшься.

Попрощался хозяин с домашними своими: жена, детишки, кот, пёс, петух, единственный конь (хоть и оскорблённый клеймом, а вернулся-таки к хозяину, сынок долгогривый, со звёздочкой во лбу...). Своя ворона каркнула. Своя сорока прострекотала.

Вслед за ним ещё долго волочилась пыльная муть. Но и она скоро исчезла.

3.

Легко было сказать Прихожанину: «покуда не упрёшься». А вот нигде не упиралось.

Всё шёл и шёл хозяин. Спрашивал: где центр? Люди встречные-поперечные кто простой рукою, кто палочкой полосатой указывали: топай дальше, мил-человек, мин херц, мон ами, амиго...

2.

В одной торговой точке, в «спецназе», купил хозяин парочку диковинных фруктов под названием «апельсин». Золотой шар. Разбирается на дольки. Весь из долек. Числом две-

надцать. Каждая — как свежая луна. А вся дюжина вместе — полуденное солнышко. Общая доля.

Любовался хозяин фруктом. Прежде чем кушать дольку, совершал, прости господи, последнее целование. А что? Как губки дочек. Как щёчки сынков. Как женино ушко, розовое, просвеченное утренним солнцем. Как петушиная борода. Как кончик старательного собачьего языка. Как кошачий глаз. Как лошадиная звёздочка во лбу. И такая же долгая, такая протяжная долька, как прощальное напутствие сороки-вороны.

А одна долька — его, хозяина.

Спрятал он второй апельсин в карман: домой принесу, каждого оделю, порадую.

До центра, казалось, уже рукой подать, вон за тем горизонтом, таким близоруким.

1.

...И было янтарное море. И неба молоко с кровью. И бронзовые сосны в дюнах. И восходящее солнце. И без году неделя.

Хозяин вышел из леса. Грязный, ободранный, лешак лешаком, в бороде паутина, в паутине ненасытные комары с мошкаррой общежитие делят, паразиты.

Ничего в руках. Ничего за душой. В душе тоска. В кармане шар золотой. Позади — весь мир с человеческим лицом, малость перекошенным от счастья.

Слева копёшки сена — как будто бы сам ещё вчера своими руками сложил. Справа — гранитный камень-валун, совсем как на его ржаном поле. Сосна, подпалённая молнией, как и его сосна. Ручеёк, подобно его ручейку, комкал отражения. Дорожка, похожая на его дорожку. Забор. Воротца. Скамеечка приворотная... Надо же? Живут люди, как он у себя проживал когда-то.

И баба на дворе — точь-в-точь, как его жена, которой нет любчее. Охнула баба и осела наземь... Чего испугалась, дурёха?

И четверо детишек на дворе — вылитые его.

— Папка вернулся!

Бедные, бедные... Видать, тоже без отца проживают, наскучались, маленькие.

И пёс на дворе такой же, дребезжит, зубоскал этакий, да кто ж это надумал собаку на цепь посадить?

— Куда прёшь, скотина безрогая? Выкладывай пароль через границу! — закричал какой-то мужик возле дома и аккуратно застрекотал из пулемёта.

Замер хозяин на месте. Какой пароль? Нету пароля. А дальше-то, через границу, обозначенную фонтанчиками пыли, идти нельзя...

Положил он апельсин на крылечко и покинул двор. Но куда-то ещё передвигаться уже не было сил. Это, вообще-то, не было главным и решающим, силы он нашёл бы, если бы вспомнил, зачем уходил из дому. Но он забыл. Было какое-то дикое жалобное слово, но он запамятовал в пути: какое именно.

Вышел на крыльцо помочиться какой-то другой мужик, широкий, хозяйственный. Наступил сапогом на золотой шар — нет золотого шара.

У того мужика были чистые глаза. В них много чего горело. Но вот остались одни глаза.

И вышло время. Куда пойдёт, куда придёт оно?

И пришелец решил остаться здесь.

И остался.

Но всю оставшуюся жизнь его тянуло домой.

0.

И сказал Пауль Эрих Руммо по-эстонски:

Розовый шиповник на окраине луга.
Лютики, ромашки, бурые лужи дороги.
С какой стороны подошёл я, не помню...

И откликнулся на родную речь Яан Кросс:

Тот, кто перевидел тыщи
и ещё раз тыщи разных лиц,
может не узнать кого-нибудь из близких
и пройти мимо.
А в чужие лица вдруг проникнет
и узнает, кто они.

И сказал Юстинас Марцинкявичус по-литовски:

Снаружи дома старого, к Стене
в морщинах и рубцах, лишённой окон, —
к слепой стене на внутреннем дворе
прижалось время, прислонилась вечность...
Ты должен будешь заново открыть
всё — и топор, и клинопись, и бога.

И сказал по-латышски Ян Грот:

Это будут лишь немногие
из тех вечерних сказаний,
что сказывал в деревне мой друг.
Его года уже клонились к закату...

Вильнюс, 1991

ДВЕСТИ ЛЕТ В ОДНОМ ЭКИПАЖЕ

ПОВЕСТЬ

*Сёстрам-иркутянкам Вере и Галине,
урождённым Воронцовым-Вельяминовым,
внучкам Александра Сергеевича Пушкина в шестом поколении.*

Звонки кромсали на кусочки пространство и время...

Звонки рассыпали сон – бисером перед свиньями...

Звонки вдребезги раскалывали голову... Да за что мне такая мука мученическая, господи? Дай же выспаться, наконец...

– Слушаю...

– Это я! Немедленно приезжайте, сударь! Намечается грандиозная дуэль!

– Простите... А это кто говорит?

– Это я говорю! Александр Сергеевич!

– Какой Александр Сергеевич?

– Пушкин! – И вслед сказанному состоялся такой знакомый лирическо-холерический хохоток, в коем буква “о” устремлялась наперегонки да вдогоняшки, точно пузырьки шампанского в бокале.

– Не понял...

– Скоро поймете. Хватайте экипаж – и ко мне. Ждём-с!

И рассыпались горохом короткие звонки-многоточия...

“Боже ты мой, опять он нарывається! Сколько же можно? Ну, уж нет! На этот раз – никаких дуэлей!”

Цилиндр, перчатки, трость, широкая николаевская шинель с пелериною до пояса, с застёжечками в виде двух бронзовых миньютюрных львов...

– Эй, извозчик!

Мигом подскочил. Брови бобровые. Борода луком и водкой пропахла. Коляска лёгкая под игривым названием “эгоистка”.

– Тута мы! Кудой прикажете, барин?

– Не твоё дело. Гони, братец, прямо!

В самом деле, не станешь же объяснять ваньке на облучке длинно и тоскливо, куда мне так срочно приспичило? Мне бы самому, дай бог, не перепутать... От площади графа Сперанского по Амурской до Большой Арнаутской... стоп! Большая Арнаутская

не здесь, Большая Арнаутская в Одессе, а в этом городе – просто Большая улица, главная, то есть... так вот, значит, по Большой, свернуть на Шестую Солдатскую, пересечь Арсенальскую, дальше мимо Хлебного базара... упрёшься в Иерусалимское кладбище, но нам туда не надо, извозчик, нам надо дальше, по Первой Иерусалимской – гони прямо, братец, не промахнёмся...

– Четвертак-с, барин! Овёс-то нонче тово-с... кусается...

Тычок тростью в спину обозначил: пошёл, чего торговаться-то? Двадцать пять копеек серебром – чего ж тут непонятного? Всё, небось, понимаем, и про овёс, и про то, что тебе, братец, тужись не тужись, а изволь выложить в казну налог с извоза в два рубля с полтиною за полугодие... Серебряный четвертак, в сущности, что за цена моему выезду? Так себе. В публике говорят, такой гоно-рар Александр Сергеевич получает от издателя Смирдина за одну строчку. “Я помню чудное мгновенье” – четвертак-с! За ним – следующий... Невелика цена.

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко... Октябрь уж наступил, уж... Довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора... Да, уж! Наступил на уж, не говори, что не дюж... Оглянуться не успел, как осень осенила. Извозчики переменили белые свои холстяные балахоны и чёрные шляпы с жёлтой перевязью на демисезонные кафтаны и шапки с жёлтым суконным верхом, с чёрной овчинной опушкой, одни лишь шерстяные кушаки остались неизменными, зимой и летом одним цветом, жёлтым, во исполнение письменного распоряжения градоначальника частным извозчикам.

Рысачок в полуямской дуговой запряжке добрый, рысистый, быстро домчим, однако.

Белый, посеребренный, значит, поддужный колокольчик вздрогнул, и отозвались ему в лад согласным звоном железные бубенцы на шейном аркане... С богом!

С утра садимся мы в телегу:

Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,

Кричим: пошёл,!

На рифмованный пушкинский матюжок, пущенный в спину громогласно, извозчик даже не оглянулся. Воспитанный извозчик, ко всему привычный, не только к прозе.

Да, так, значит, поединок. Александра Сергеевича отодвинуть

вряд ли получится, замирение куда более чем сомнительно, и уж тогда мой вызов настанет, на четверную дуэль, когда к барьеру с лепажами выйдут секунданты.

А что же неконченные дела? А – долги отдать? А рассчитаться кой с кем даже не деньгами, но публичной пощёчиной? Случись, что не вернусь, – кто за меня плату решит? И его высокоблагородие, коллежский советник, цензор Григорий Николаевич Козодавлев так и останется, подлец, чинно начальствовать и продолжать жилы тянуть из каждого, кто отважился хоть строку написать? Ах, не бывать тому, чтобы я, потомственный дворянин и отставной армейский полковник, спустил с рук Козодавлеву учинённое хамство! Этакое дело – спустить с рук? Невозможно. Хамство, ежели оно вдохновенное, как у Козодавлева, это не рукопись, которую и в картёжный банк не грешно спустить. “Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись...” Да! Что и проделывал Александр Сергеевич в Москве. В штосс играл, с Загряжским, с картёжником славным. В пух и прах разорился – и сделал ставку только что оконченную главу из “Онегина”, деньги за неё были обещаны издателем немалые, двадцать пять рублей ассигнациями за строчку...

Вот, направо, и торчит дом его высокоблагородия... Да уж мимо, мимо... Время торопит, не ждёт.

Козодавлев, подлец, начинал карьеру департаментским чиновником низшего, четырнадцатого класса, коллежским регистратушкой, что в военных чинах равнозначно прапорщику. В столоначальники вышел. А уж оттудова его пожаловали цензорской должностью, определив по Министерству просвещения.

В юности худосочный, нынче Григорий Николаевич навёрстывает упущенное и слывёт большим обжорою. Кажется, что сей съедобный талант и есть наипервейшим и наиделикатнейшим, *en don patriotique* – как дар патриота! – свойством его натуры.

Ближние знакомцы так и говорят:

– А пойдёмте-ка поглядим, как Григорий Николаевич пищу кушают!

Второе очевидное свойство вот какое: родителей покойных почитает безмерно и поминает часто. Выпьет часом чарку-другую, закусит печально и торжественно рыбным пирогом или холодным заливным и тут же слезу с воспоминаний мизинцем смахивает.

– Как маменька умоляли, как папенька наказывали: устремляйся, мол, Гришенька, от терниев к звёздам! – так и живу-с, господа. Стараюсь, служу, – говорит Григорий Николаевич и поправляет на шее под салфеткою орден новенький, под девизом “Честь, польза и слава”: Владимир второй степени, залитый тёмно-красной эмалью крест с чёрною каймой.

Ещё задолго до цензурской службы Григория Николаевича случилось в департаменте такое происшествие. Прошение какого-то мещанина провалялось без толку годов пять-шесть, со стола на стол перепархивало. Уже и проситель помер...

– Уже и проситель помер, – доложили столоначальнику Козодавлеву. – Стоит ли отписку давать?

– Всенепременно! В оном и состоит наша польза, честь и слава, – указал Григорий Николаевич. И лично проследил за тем, чтобы ответ на прошение был составлен аккуратно по всей форме и отправлен в кратчайшие сроки.

Аккуратист он, Григорий Николаевич, педант почечуйный. Сидит, гад, за столом, ногти стрижёт, в бумажный кулёчек складывает обрезки... Начальник необходимый – ни слева, ни справа... Никем не обходимый! Заискиватели да льстецы вьются вокруг:

– У вас, ваше высокоблагородие, такое направление ума... этокое высокое...

– У меня да-с, – отвечает господин Козодавлев. – А у вас, как вижу, ни ума, ни направления, ни способностей к надлежащему исправлению должности.

Трепещут мелкие бесы царства-канцелярства!

И вот случилась на днях с Григорием Николаевичем такая история...

Но, может быть, оставим все это! К черту историю! Бывает, что и по-иному пишут историю: к барьеру!

Ведёт ли кто реестр пушкинским дуэлям? Слышно, что своим амурным похождениям Александр Сергеевич счёт правит самолично. В шутку. Или говорит всерьёз? А его поединки, о которых уже легенды сложились? Где правда? Где вымысел? Где злобный навет? Где восторженная похвала?

Известно, что вскоре после Лицея стрелялся Пушкин с милым

другом Виленькой Кюхельбекером. Говорят, сущая фарса вышла.

Потом произошёл случай посерьёзнее. В театре Пушкин повздорил с майором Денисевичем и был им вызван, но уже при секундантах отозвал свой вызов.

Екатерина Андреевна Карамзина жаловалась тогда князю Вяземскому: у Пушкина-де каждый день дуэли, угомоните, Пётр Андреевич, своего горячего друга...

А потом объявилась южная ссылка молодого стихотворца, о котором всего-то пару лет назад говорили лишь как о племяннике московского поэта Василья Львовича Пушкина, а позже уж самого Василья Львовича начали представлять как родного дядюшку знаменитого автора “Руслана и Людмилы”, уже откочевавшего в места отдалённые.

Что ж, ссылка не каторга. Путешествие с легендарной семьёй Раевских по Крыму и Кавказу, потом гостевание в их гурзуфском доме. А за сим почти три года в Кишенёве, под начальством благорасположенного генерала Инзова, с отлучками то в Киев, то в Каменку, то в Одессу...

В Кишинёве Александр Сергеевич, по слухам, намеренно и методически добывал себе репутацию отъявленного бретёра и дерзко провоцировал стычки с офицерами. Бильярдная ссора с инвалидным уланским полковником Фёдором Орловым, потерявшим ногу ещё в наполеоновскую кампанию, – слава богу, Иван Липранди решительно погасил поединок миром... Через полгода тот же Липранди вмешался в новый скандал. Из-за пустяка! В разговоре кто-то из офицеров упомянул какую-то книжку, а Пушкин тут как тут с просьбою непременно сыскать ему эту книжку; да как же, – спросили его, – что вы литератор и не знаете сей известной книги? Вот и повод для Пушкина к смертельной обиде...

Из несостоявшейся дуэли с бывшим французским офицером мсье Дегильи (тот отказался драться) Пушкин, скорее всего, обогатился, по крайней мере, тремя принципами из неписаного кодекса: что русский дворянин имеет право на дуэль как свидетельство внутренней раскрепощённости и независимости от государства; что русский дворянин не имеет права уклоняться от вызова на поединок; и, наконец, что русский дворянин не имеет права вмешивать в дела своей чести государственную власть и укрываться под сень закона, запрещающего дуэли...

Офицер Генштаба Зубов, уличённый поэтом в нечистой картёжной игре, промахнулся. Пушкин свой выстрел не использовал. Нет, не кровь ему была нужна. Право на поединок!

В январе 1822-го офицеры 33-го егерского полка устроили в казино вечеринку с танцами. Один из молодых офицеров, недавно поступивший в полк, заказал оркестру играть кадрили. А Пушкин – наперекор! – мазурку. И музыканты под напором странного, вертлявого, крикливого, маленького, чёрненького человечка в партикулярном платье... взялись за мазурку. Командир полка подполковник Старов посчитал действия Пушкина оскорблением всего полка. Не полагаясь на молодого и неопытного “кадрильщика”, старый вояка Старов, известный храбрец, вызвал дерзкого мальчишку: хоть вы и поэт славный, а извольте, Александр Сергеевич, уважать честь заслуженного полка... Стрелялись в метель с 16 шагов, оба промахнулись. Сдвинули барьеры до 12 шагов – и снова промахи. Немудрено, снег с ветром валил нешуточный...

Отложили на время. А время примирило обоих.

Но Пушкин не унимался. Кишинёвские гарнизонные дамы были тому свидетельницами самыми восторженными, кроме жён вызываемых на поединок мужей. Скушно дамам... Вот одна жеманница и жалуется Александру Сергеевичу на какого-то туманного обидчика: кто защитит бедную женщину?.. Александр Сергеевич вспыхивает: назовите негодяя! А дама и назвать-то затрудняется, и кончить кокетство ей не так-то просто... И Пушкин потребовал удовлетворения от... благочестивого супруга сей дамы, а когда тот отказался выходить к барьеру, то и получил от поэта пощёчину. Романтическое происшествие удалось замять. С большим, надо сказать, трудом подполковника Старова.

А потом дважды дрался с молодым Лугининым – на эспадронах и шпагах.

А потом... опять суп с котом!

– Представьте, господа, – заявил в собрании отставной офицер Рутковский, – мне довелось однажды видеть град весом в три фунта! Каково чудо природы?

Пушкин не преминул заметить нечто остроумное относительно крепости головы господина Рутковского, и тот обиделся:

– Ежели вам в собрании верят, милостивый государь, то почему же вы не хотите поверить другим?

И началось! Пушкин аттестовал Рутковского подлецом, Рутковский Пушкина – мальчишкой... Решили покончить дело выстрелами. Но опять вмешался лучший друг Старов и своей властью посадил поэта под домашний арест.

Продолжение южной ссылки в Одессе не переменяло Пушкина.

Начальствующий на юге граф Воронцов, к тому же, оказался совсем не похожим на генерала Инзова с его благодушием.

– Вандал, хам и мелкий эгоист! – отозвался о нём Пушкин, после данного ему графского распоряжения вступить в чиновное дело в составе какой-то комиссии по борьбе с саранчой...

Поехал Александр Сергеевич по губернии, по казённой надобности. Вернулся. Рапорт итоговый составил на имя Воронцова, что-то вроде того: саранча летела, летела и села, посидела и снова полетела...

Владимир Даль и Александр Тургенев были свидетелями бескровного поединка Пушкина в Одессе. С кем? Умолчано...

Так что же это были за поединки – старательно небрежные, точно проба пера? Бог знает, что такое... Буйная молодость? Годы, угодливо подыгрывающие честолюбию? Так ведь молодые полковники и генералы в наполеоновской кампании были не старше. Родись Пушкин пораньше, он был бы там, с ними...

В середине двадцатых пронёсся слух о вызове Пушкиным графа Фёдора Толстого-Американца, истинного бретёра и хладнокровного убийцы. Это уже было серьёзно. Но вмешался случай, дуэль надолго отодвинулась, а потом и отпала за необязательностью и установившимся доверительным миром...

Вот такой реестрик образуется из слухов, намёков, сплетен и частных писем...

Сегодня – моя очередь, завтра – твоя. Пожалуй, эта фраза есть единственное, что является устойчивым и неоспоримым, как параграф закона. Но писаного дуэльного кодекса нет не только в России, но и в Европе, он появился только что, в нынешнем 1836 году. Из Франции пишут: шесть лет назад, после тамошней революции, покатила дуэльная лавина, как же! – свобода печати декларирована! – и за каких-то пять лет около двухсот раз именно журналисты выходили к барьеру. Правила поединков толковали всяк по-своему, и тогда аристократы из парижского жокей-клуба обратились к признанному авторитету графу Шатовильеру

с предложением составить дуэльный кодекс. Граф соблаговолил, составил. Текст напечатали брошюрой за подписью сотни известных фамилий. И пошёл сей образец для подражания по Европе. Бог знает, когда до России дойдёт. В отличие от переменчивой моды из того же законодательного Парижа...

“**А** далеко на севере, в Париже...” Так Александр Сергеевич изволил двусмысленно пошутить в ненапечатанном покуда “Дон Гуане”. Какой север? Боже ты мой, нам бы такие севера...

Знаю я его, этот Париж, этот город-мираж. Я исходил его собственными ногами – по обе стороны Сены, между Большими Бульварами на севере и бульваром Сен-Жермена на юге, от Булонского леса до Венсенского... и площадь Бастилии помнит мои лёгкие шаги, как я помню бойкую улицу Тампль, и древний квартал Марэ с причудливым лабиринтом тесных переулков, с потрескавшимися, тёмными, морщинистыми домами из средних веков и пышными дворцами Субиз и Роан... Скорей, скорей! На Елисейские поля, на площадь Оперы и в Пасси, в Отей и даже в Севр, откуда рукой подать до Версаля... Вези меня, извозчик, к витражам Шартрского собора, без них, оказывается, мне и в глотку нейдёт хрустящий глоток редедера... наёмный экипаж-фиакр, ладненькое ландо... и вот я уже на площади Инвалидов, окружённой Домом ветеранов, военной школой, министерствами, церквями святых Клотильды и Франсуа-Ксавье... посреди газона, точно большой суслик в траве, торчат каменный галл, суровый внешностью, но, в самом деле, хозяин радушный, весёлый в пиру и в похмелье, приглашающий скрестись пальцем, на местный деликатный манер, в любую дверь, а хочешь – так и барабань по-русски кулаком, так или иначе откроют и поднесут, а чего поднесут – так это уж от тебя самого, уважаемый гость, зависит... вперёд, извозчик! – на плас дю Тертр, площадь Бугорок, там есть очаровательный трактирчик под названием “У матушки Катрин”, где можно вкусно отобедать вареной по-смоленски говядиной или жареным по-полтавски поросёнком, а хрену вам нет и не будет к тому столу, хрен продают только в аптеках, забавно сие, но не забавней нас самих, молодых и горячих, помнят которых у матушки Катрин не только дубовые столы и стулья, но сами стены, в коих русские солдаты и офицеры, вступившие в Париж и в долгом походе исстрадавшиеся

известной российской жаждою, гремели шпорами, шашками и кружками: “Быстро! быстро! – торопили дедушку, батюшку и матушку матушки Катрин, – быстро!” – а бородатые казаки к нему прибавляли фразы косолапенькие, непереводаемые... – и наполнялись кружки мадерой и портером, бургундским и ликёрами, а выпивалось и закусывалось на кавалерийских скоростях, аллюр галоп... хрена как не было, так и нет, а вот “бистро” осталось, да не одно, а десятки симпатичных питейных заведений – что называется, на скорую руку, на лёгкую ногу, на бесшабашную голову, на вкусный и меткий язык... а моды? что ж, моды тоже забавны и даже смешны, по крайней мере, дважды в истории своего существования: когда приходят и когда уходят... так парижские танцовки на петербургской сцене приучили публику подносить им букеты, и публика до сих пор не отучивается, и слава богу, цветы на нашем севере не хуже, чем на ихнем...

Но почто же здесь, где нет нелюдимых улиц, так шарахаются нынче от меня, как от чумного? Куда тебя занесло, извозчик? Кой чёрт подвинул тебя в эти палестины? Остановись, каналья! Стой! Нет, не стой! Поворачивай назад, шельмец! Прочь отсель! Нам сюда не надо... Гони обратно! И вздрогнул извозчик, и свистнул в два пальца, и спустил рысака с коротких вожжей: пошёл, родимый, быстро, быстро, быстро... и двухколёсный кабриолет на высоком ходу тут же сменился четырёхместным ландо с кожаным откидным верхом, а потом и эта карета чудным образом преображалась с попутной очерёдною в одесский дилижанс, в мелкопоместные дрожки, в цыганскую кибитку, в малороссийскую бричку, в калмыцкий возок... в мою пролётку, лёгкую коляску, а извозчик, слава богу, не переменялся, всё тот же он, пропавший водкой и луком ванька на облучке, как на лучике, со скоростью света, стало быть, мчимся...

Дурными голосами призывают уличные сапожники. Так называемые, холодные сапожники. Это уже наше, родное. А вот и букинисты с лотками, на обоих северах имеющие место под солнцем. В отличие от парижских коллег, российские уличные книгопродавцы даже на морозе не холодные, как сапожники, но слегка, скажем так, прохладные, с фантазией и интересом, а один из них, знакомый мне Ильюша Патрушев, для пущего торгового упоения даже гитару с собой берёт и романсирует хорошему

покупателю за его культурный уровень, правильный вкус и приятное выражение лица.

Холодные браздобреи зазывают экономическим прейскуррантом:

– С пальцем – десять копеечек! С огурцом – двенадцать!

Это у них манера такая, цирюльная. Для чистоты бритья свой палец клиенту за щеку закладывает, а коли тот брезгует пальца, так извольте огурец, по желанию клиента, солёный али мало-сольный, а можно и свеженького раздобыть, из домашних навозных парников, всего-то на копеечку дороже будет...

Но стрижку холодные цирюльники, однако же, не управят так, как это сделают в заведении. Вот оно, легко на помине, на углу, с жестяной вывеской: “Парикмахер и дамского куафрэ мастер мусью Мишель Горбачов, имею гран-при с аттестатом”. О, этот Мишка может, он может... Дамские шиньоны, причёски – с локонами, восьмёрки, банты, греческий манер, ампир, а la Онегина Татьяна (?), крокиньюль, андулясьон, духи “Амбрэ виолет”...

– Дело наше, – говорит мусью, – обнаковенно на чистом комплименте держится. Да-с! Вот почему дамское сословие имеет громадную манерность закрутить со мною амурную связь исключительно для ихнего галантерейного интересу-с...

Франты и щёголи тоже вокруг Горбачова кружат. Да только ли одна молодёжь? Мусью, например, такое апланте сочинил: волосяные накладки на совершенную лысину крепятся на голову лаком или фиксатуаром “Бельдемер” из копытного клея. И что же? Отбою нет от клиентов. А прожиренная жидкость для волос “Люсьен комо”? О! А хинная вода под названием “Парфенис”? Оо! А дорогая одеколонь “Обигань”, так же и лавандовая? Ооо! Что уж говорить о помаде для усов под чарующим именованим “Ангруаз”? Наш маленький Париж...

В нашем маленьком Париже аптеки хреном не торгуют. В фармацею на Арсенальской приезжают исключительно за пиявками. Здесь лучшие кровопивицы, de pur sang – чистокровные, персидские. Их привозят в огромных бутылях, выдерживают в чистойшей проточной воде, при голоде! – а чтоб они были злее перед работою, их сажают в хлебный квас. Об этом малосимпатичном товаре не стоило бы, право, даже говорить, если бы не его гуманистическая способность быть наипервейшим средством

от запоев: по одной пивавке за уши и к вискам – и человек возвращается к жизни.

Надо бы, ах, как надо бы заскочить сюда, поправить голову, да вот беда, времени нету. Себя жаль, время жаль и того пуще... с ним не поспоришь, к барьеру не вызовешь, разве что увядающие красавицы отваживаются на поединок со временем, избирая в секунданты беспристрастное и пристальное зеркало, и в этом деле любая кокетка оказывается решительней иного честолюбивого гвардейца.

“Свет мой, зеркальце, скажи...” И оно сказывает: ежели латинское *secunda* означает инвентарное “второй”, то *secundantis* уже выступает как содействующий и помогающий.

Хорошо. Но это латинскому *secundantis* хорошо. А российскому секунданту на что опереться?

Из писанных упорядочений перед российским секундантом лишь манифест 1737 года о запрещении дуэлей да напечатанная в столице в 1826 году тощая анонимная брошюрка под ехидным названием “Подарок человечеству, или Лекарство от поединков”, где дуэлянтство заклемено как свободолюбие, что само по себе является возродившимся злом самонадеянности и вольнодумства века сего. Всё! И потому российскому “второму – помогающему” не остаётся ничего иного, кроме неписаных традиций. А российские традиции не чета европейским.

Вот, скажем, Франция. Там стреляются так: минимальное расстояние между барьерами 15 шагов, а обычным считается 25-35. Тридцать пять! Да Толстой-Американец, Дорохов, Якубович и Пушкин умерли бы со смеху от таких установлений. Экий вздор! Русские поединщики назначают драку на шести шагах между барьерами с одним шагом назад для каждого – смертельное условие. А обычная дистанция – восемь-десять шагов до результата. Но есть и у русских свой минимум: при тяжком оскорблении – три шага между барьерами... В 1825 году в первопрестольной, ещё до восстания на Сенатской площади, таким образом стрелялись поручик лейб-гвардии Семёновского полка Константин Чернов и вызванный им флигель-адъютант Владимир Новосильцов, лейб-гусар. Дело было матримониальное. Чернов мстил за сестру, обручённую с лейб-гусаром, но

им вдруг отвергнутую. Кондратий Рылеев был тогда секундантом Чернова. Поединщики обменялись смертельными выстрелами.

Ещё вопрос интересный: почему в России опытные дуэлянты никогда не стреляют первыми? Вот два противника по сигналу начинают сходитьсь, и один из них, не доходя до барьера, нажимает спусковой крючок, и соперник убит. А ежели не убит и даже не ранен? Тогда у последнего, сохранившего выстрел, имеется право подойти самому и подозвать противника к назначенным барьерам и на минимальной дистанции расстрелять неподвижную мишень. В Европе – увы, к счастью, не так: ответный выстрел производится во взаимоположении, заставшем дуэлянтов при выстреле первом: замри, не двигайся и умри, ежели второй пистолет не даст осечки.

Но Россия не была бы Россией, если бы традиции её не менялись странным образом на ветру перемен. С середины двадцатых годов что-то с хрустом разломилось, разладилось, распалось в философии дуэльного поединка.

Вот две истории – на устах, на слуху, на поверку сознания, на том самом пресловутом ветру перемен, наступивших после повешенных и загнанных в рудники.

В Твери в 1832 году молодёжь отплясывала мазурку на балу в дворянском собрании. Добрый знакомец Пушкина Саша Шишков, Александр Ардальонович, поссорился с Черновым (внимание, опять Чернов!). Последний нанёс оскорбление, первый ответил публичной пощёчиной, равнозначной вызову на поединок. И что же? А вот что. Дуэль не состоялась. Чернов сбежал домой за кинжалом, вернулся, дождался выхода Шишкова из собрания на улицу, выступил из темноты и воткнул клинок в спину соперника по самую рукоятку... Вот она, история распада дуэльного сознания, – вся в истории братьев Черновых. Старший брат, Константин, убит на известной дуэли с Новосильцовым, другой погиб в кампании на Варшавском приступе, третий умер в холеру, а этот, тверской, брат четвёртый, младший... Есть великая разница: если старший неистово рвался к дуэли, то младший отказался от неё, отдав предпочтение воровскому убийству.

В тот же год случился московский скандал. Князь Фёдор Гагарин, генерал-майор, бывший в кампании двенадцатого года адъютантом Багратиона, – и Павел Ржевский, гвардеец. Обедали в ресторации у Яра и вдруг заспорили... о спарже, которую кушал

граф Потёмкин. Страсти накалились.

– Вы забываете, – вскричал Гагарин, – что при мне сабля!

– А подо мною стул! – вскричал Ржевский. – Стул, который я могу швырнуть вам в рожу!

– Извольте выйти вон!

– Выйду! Но прежде выкину вас отсюда!

Ржевский просил в секунданты Гришу Корсакова... Шуму из-за этой чёртовой спаржи было много. И вдруг – перемирие. Для старых, опытных, тёртых дуэлянтов, стреляных воробьёв такой исход был бы явлением поразительным. Но они, прежние бретёры, уже были потёрты другим временем, новым. А с новым временем явилась и новая гвардия. Ссор стало больше, дуэлей меньше, сделалось возможным позволить любую, самую дикую, дерзость только потому, что стали возможны отказ от дуэли и вмешательство властей в личные дела человека чести, о которой так пеклось родовое дворянство и о которой напрочь забыла новая аристократия, бюрократическая, заявившая о себе в полный голос после разгрома дворянского авангарда в лице декабристов. Те-то знали, что такое человек чести. Эти – лишь догадываются, желая, впрочем, проявить себя в таком качестве – при весьма смутном представлении о самой чести, которая у них часто замещается вздорным тщеславием.

В нынешнем мае некий ревнивец Павлов зарезал действительного статского советника Апрелева, когда тот выходил из церкви после венчания, об руку с молодой супругой. Империя отреагировала молниеносно: министр народного просвещения Сергей Семёнович Уваров запретил печатание в России переводных французских романов, в первую очередь Дюма... Страшно забавно. Но не странно. Ведь доказывал же в своё время профессор Казанского университета Магницкий, известная сволочь и мракобес, что напечатанная по-русски в Петербурге книга лицейского Куницына “Естественное право” вызвала революцию в Неаполе...

Да-с, сын любовника Екатерины Секунды Сенька-бандурист, Сергей Семёнович, словом и делом заслужил, чтобы нынешнее время могло называться уваровщиной. И в министерстве народного просвещения, и в Академии наук, и в Цензурном комитете засели вырожденцы, вроде князя Дондукова-Корсакова. Грубова-тые на язык армейские офицеры о таких говорят: пидармейцы и

энциклопидоры... Вот и недавнее назначение главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов Сухозанета, человека запятнанного, вышедшего в чины через педераста и картёжника Яшвиля... И это воспитатели молодого офицерства?

Вот и вокруг Пушкина мелкими бесами закружили великосветские бляды, ведомые бароном Геккерном и Жоржем Дантесом...

Вся эта мерзость выставляет напоказ свои принципы, оформленные в уваровский лозунг триединой формулой: “Православие, самодержавие, народность”. В этой системе имперской благоверности дворянскому авангарду уже нет места.

Православие? Так Пушкин, мягко говоря, не уважает духовенство в первую голову за то, что оно вне общества, оно не хочет быть частью народа, оно ещё носит дремучую бороду...

Неограниченного самодержавия Пушкин не принимает категорически.

А уж уваровская народность приводит поэта в ярость. Просвещение рабов в духе благонаравия, усердия и почитания начальства? Рабская демократия? Опора монархии на обманутых мужиков в борьбе с просвещённым дворянством, которое только одно и может быть защитником народных прав? Это легкомысленно, но всякому легкомыслию есть предел, после которого начинаются глупость и преступление.

Вот где – поединок! Пушкин: просвещение и свобода. И Уваров: просвещение и рабство.

О, нет, недаром мракобес Магницкий держал ушки топориком, поминая недобрым словом революцию в Неаполе против Бурбонов. Двадцатый и двадцать первый год – совершенно по Пушкину:

*Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал...*

Россию и Италию связывали тогда общие освободительные задачи: у одной страны – освобождение от самодержавия и крепостничества, у другой – обретение национальной независимости и создание единого государства. И обращение помыслов лучших людей России к родине искусств и вдохновенья, к приюту республиканских идеалов явилось не случайной прихотью вольного ума... Революция потерпела поражение. Магницкие в России ликовали...

А Пушкин-то какво размечтался!

Адриатические волны

О Брента! нет, увижу вас...

Вот именно, что нет. Не увидишь ты их, Александр Сергеевич, эти волны адриатические. Ты ещё не знаешь того. Я уже знаю. И волны оные, и застенчивый розовый мрамор из-под плесени, обязательной, точно вечерний дилижанс в Верону; и красные бархатные шторы, пожираемые молью с аппетитом отменным; пахнет овечьим сыром, пахнет мятой и бараниной с чесноком, это дешёвая остерия, почти опера с кантиленами и баркаролами под шестиструнные гитары, и в тугих корсажах продавщицы креветок... “Эй, веттурино!” – и вот уж он, лёгок на помине, на лёгкой колясочке с козлами, украшенной цветами и голосистыми бубенчиками... *alla moda! Bon giorno, fratello...* модно! Добрый день, брат... – вперёд, на север, в Рим! И мимо порта Пинциано, сквозь ароматные сады Боргезе – к пьядца ди Пополо, а оттуда через Тибр по мосту Маргариты и дальше, дальше, вдоль мутной реки, минуя собор Святого Ангела и дворцы Сальвиати и Корсини... вот засушенный веками скелет Колизея, мраморные глыбы и глыбочки, обломки туфа, бесчисленность кошек и ленивых, счастливых, живописных оборванцев и бездельников-лаццарони... Мимо! И дальше, дальше, к собору Сан Джованни ин Латерано. Ты понял меня, извозчик, ванька мой дорогой? Объясняю по-русски: латеранская базилика святого Иоанна, тёзки твоего во Христе, и уже не просто имя у него, сколько промысел.

Здесь покой и прохлада. Здесь века отдыхают от эволюций и революций... И ты отдохни, извозчик. Задай корм своему пеганькому пегасу и, коли позволит русское сердце, поцелуй тысячелетия в каменную щеку, покуда я буду гостем на вилле, добрососедствующей с собором...

Через парк, окружающий виллу, протянулись гигантские, увитые плющом аркады античного, времён императора Нерона, акведука, к которому прилепился небольшой, жёлтого окраса двухэтажный дом с башенкой. Иду к нему. Заглядываю в арки акведука. Здесь их называет гротами. В одном из них – статуя фавна, в другом – искусная копия знаменитой капитолийской волчицы, вскормившей основателей Рима. Приставная лестница. Можно подняться на вершину акведука и обозреть просторы римской равнины, синие Альбанские горы вдали, а с другой

стороны виднеются город, Колизей, собор святого Петра, а внизу садовник сжигает опавшие листья... октябрь уж наступил... Шум и гам большого города не долетает сюда, а к вечеру на поляны парка ляжет провинциальный туман... Иду тропинкою к Аллее Воспоминаний, к сопровождающим её гранитным и мраморным капителям, барельефам, античным статуям, колоннам, стелам – в память ушедших родных и близких друзей. Лавры и кипарисы. Последние тут совершенно к месту: в Риме и на юге Италии это считается деревом мёртвых... Дом окружён виноградниками и цветниками. Ярко-жёлтые анютины глазки (такие нашеньские, извошник!), небесно-голубые дикие ирисы, бело-розовые маргаритки, лилово-бархатные пармские фиалки – и золотые фонтаны огромных, величиной с российские липы, мимоз с пряным, дурманящим запахом.

Я иду к дому, но не знаю, выйдет ли навстречу хозяйка и протянет ли приветливо своему соотечественнику тонкие прохладные пальцы, пахнущие утренней речкой и пушистыми вербными воскресеньями.

Четыре года назад княгиня Зинаида Александровна Волконская приняла католичество. В Петербурге православные попы взбесились от такого своеволия, а Синод постановил упрятать диссидентку в монастырь. И решила Волконская никогда не возвращаться на родину. Ко всему прочему, император Николай Первый совсем недавно, год назад, издал указ о “невозвращенцах”: лишать оных имений в России.

– Oh, questa si ch’è bella! О, вот этого ещё не хватало!

На родине княгиня открыто сочувствовала жертвам самодержавного преследования. А уж в годы разгула уваровской идеологии “православия, самодержавия и народности” в “вероотступницу” полетели комья грязи. Но – то ли ещё будет? Княгиня ещё не знает. Я уже знаю. Знаю, что державная ненависть перехлестнёт пределы и дойдёт до оплёвывания могил... За три года до своей кончины княгиня Зинаида Александровна купит склеп близ церкви святых Винченцо и Анастасию, куда перезахоронит прах мужа своего, тишайшего Никиты Григорьевича, и рядом же с ним вскоре упокоится, *ad finem seculorum*... до скончания веков, и высекут на могильном камне латинскую эпитафию, и попадётся она на глаза некоему Джунковскому, странному типу: кончив курс в Петербургском университете, сей молодой человек

отправился в Европу пропагандировать православие, да вдруг там же, в Европе, в Италии, совершил оборот на 180 градусов, принял католическую веру и некоторое время пребывал в ордене бритых иезуитов, а потом – опять же, вдруг – вернулся в Россию в объятия бородатого православия, и отцы церкви наставили сына своего (блудного ли?): воздай, сыне, мщение русским людям, упавшим в потёмки римско-католической веры! И Джунковский воздаст. В своих итальянских записках он извратит до неузнаваемости слова и смысл эпитафии на могиле княгини Зинаиды Александровны, и текст этот в угоду и на потребу уваровщине будет прочитан в России так: “Склеп для праха католиков из русских княжеских родов Белосельских-Белозерских и Волконских, которые желали, чтоб прах их лежал у подножия, где погребены сердца римских пап, чтобы протестовать и загладить от имени всей России её величайший грех, что она не признаёт римского папу как единого главу всей церкви и заместника бога на земле”... Вот шантрапа, вот его антраша! Тот же прохвост Джунковский примется уверять читающую и слушающую публику, что изменница Волконская умерла чуть ли не на чердаке, в нищете, погрязшая в мистицизме, отвергнутая и осуждаемая итальянскими соотечественниками, а дом её со всем имуществом продан за долги... Вот мерзавец! Ведь знал же, не мог не знать того, как просто, как очень по-русски кончила княгиня свои дни земные: повстречала на улице замерзавшую нищенку, отдала ей свою тёплую шаль, добежала до дому, да простудилась, тяжёлое воспаление лёгких, смерть...

А что, ежели сей же час выйдет мне навстречу княгиня Зинаида Александровна? Как все мы, знатоки будущего, станем смотреть в её чистые глаза? И каково-то нам выйдет такое печальное знание?

Нет уж, извозчик, поворачивай-ка ты своего рысака прочь отсель, от греха безмолвия, от греха всезнающего молчания... Помутилось в голове что-то. Просвежи её, извозчик, в бешеной скачке.

Вперёд же! На север! Там уже задымился фитилёк поединка, и шпага полуобнажена... Но прежде, чем поддужный колокольчик захлебнётся от скорости, остановись, извозчик, у фонтана Треви, у этой каменной симфонии, сработанной Николо Сальви: движение падающей воды создаёт иллюзию движения мраморной

колесницы Нептуна; колесница вечно мчится, оставаясь на одном месте, тогда как у нас с тобою, ванька, всё наоборот, потому и мелкие находки наши особенно ценны, что потери велики... Бросим в каменную чашу по стародавнему обычаю путешественников, покидающих Рим, серебряные монетки, обязательно чрез левое плечо, чтобы заручиться надеждою возвращения в вечный город, да ещё и на радость мальчишкам из окрестных кварталов, промышляющих капиталы с водоёмного дна к неудовольствию муниципалитета. Постоим у фонтанного парапета. Посидим на прохладных ступеньках соседствующей церкви святых Винченцо и Анастасио... потемневший мрамор барокко... здесь ещё нет будущего склепа, будущих могил, пока что двор ещё осеняется тыща восемьсот тридцать шестым октябрём от Рождества Христова, а подлец Джунковский окажется, конечно, прав только в одном единственном: в этом храме погребают внутренности умерших пап, тогда как забальзамированные тела увозят в собор святого Петра, а нам до них и дела нет, извощик, мы монетки бросим в фонтан Треви, пристроенный к стене палаццо Поли, в котором долгие годы, ещё до виллы близ латеранской базилики святого Иоанна, прожила княгиня Зинаида Александровна, “северная Коринна”, по будущему, по-некрасовскому слову.

Гони же, ванька! Налево – Пиза, двести девяносто три ступеньки на вершину вечно падающей башни. Направо – горы Романьи... где-то вон там, по тем благоуханном долинам бродил Данте... и где-то там затаилась фантастическая крепость-монастырь Сан-Лео, обитель нищего монаха-поэта Франциска Ассизского, того самого, который открыл, что истинная вера – это не столько слёзы, печаль и истязания плоти, сколько радость, весёлая и жизнеутверждающая... а вон там, дальше, в туманной горной деревушке родился... *horribile dictu*, страшно вымолвить – Цицерон! а в том вон городке появился на свет Фома Аквинский... проезжал Петрарка... останавливался на ночлег Леонардо да Винчи... А мы – прямо! Просквозим через Флоренцию. Здесь, я помню, на площади Антинори палаццо Никколини, внутри которого расположился симпатичный дворик с trattorieй, где подают тосканские крестьянские лукавые вкусности вроде лукового супчика и требухи под сыром-пармезаном с приправою из бобов, салата и стручков фасоли; мимо, извощик, мимо! хотя и там есть

заманчивый фонтан с бронзовой фигурой поросёнка, порчеллино – зовут его и целуют в отполированный пяточок: прикосновение к носу обеспечит прохожему человеку непереносимое счастье...

Оглянуться не успели – как уже и Бергамо на носу! Верхний город по склонам высокой горы, с террас которой открывается чудный вид на заснеженные Альпы, – и нижний город, понятное дело, на широкой равнине. Давай насквозь, извозчик! Вихрем промчим под готическими арками палаццо делла Роджоне, соединяющими Старую и Соборную площади этого живописного городка с фресками Браманте, со светлейшим Баптистерием, с мраморным многоцветьем Капеллы Коллеони, шедевром ломбардского Возрождения...

Напонуживай шибче своего рысака, извозчик! Гони! Нас ведь в России ждут, не дождутся, в любезной империи, с её необъятной шириной, с её ограниченной долготой, и с глубинкою, и с шириною, стало быть... И коли угодишь мне своим ездовым искусством, так уж я не стану впредь называть тебя ванькою, извозчик. Лихачом назову, а сие именование дорогого стоит, лихач-то ваньке не пара, лихач, перво-наперво, щёголь с павлиньим пером в шапке, из-за копейки с ездоками не торгуется и не тронется с места, ежели ему за извоз меньше рубля посулят, потому как лихач есть извозный аристократ с наследственным промыслом, с постоянными клиентами, титулованными “степенством”, “высокоблагородием”, а то и “сиятельством”, да-с! тройку породистую заведёшь, любезный мой, роскошную коляску, сани хорошего дерева и искусной работы, с металлическими накладками, с коврами... – и станешь ты, лихач, с шиком, с форсистым свистом мчаться, обгоняя иные экипажи и принуждая их уступать тебе дорогу... Уважать надо!

И мой будущий лихач даёт волюшку – и своей удали, и совместному с жеребцом куражу, и взаимному с седоком интересу.

– И-и-их! И куды ж мы котимся! – восклицает. – А уважать, барин, это нам всегда любо-дорого. Это нам дело очень даже способное, как квас с устатку, или же, к примеру, как баба. Бывало, толкую ей, бабе, целый битый час про ошибки поведения, а она, дурища без воображения морали, стоит напротив почём зря и пялится без никаких последствий, одно лишь течение глаз, и тогда беру убедительные вожжи... И-и-их! Битый

час, называется...

Ну, вот, всё понял, называется... Как был ванькою, так ванькою и остался, прежним, и не переменится ни в жизнь, посади его хоть на аглицкий кэб с роскошною мануфактурою...

Да и рысак такой же, неизменчивый. Взмывает над пыльной дорогой, точно конёк-горбунок, пегаска российский, и уж не оглядывается назад, интересуясь, что именно позади него влечётся: цыганская ли повозка или шарабан? колымага или одноколка? тарантас или фазтон? “лира” ли, “гитара” ли – шик петербургских проспектов, открытые коляски с претензией на скрипичное достоинство в каждом дурно смазанном колесе...

А по сторонам, по обочинам нашего стремительного пути – хлопки какие-то, звучные и неопределённые: пух-пух! пых-пых! – и, после звука, на месте, где только что “пух” да “пых” образовали хлопок, – там вдруг хлопок вырос, хлопья тугие, облачки ватные, осязаемые: вроде ракетной иллюминации или чёрт его знает, что такое?.. то ли революции снизу доверху, то ли бедуины ружейной пальбой отмечают свои бедуинские свадьбы, а может, из ресторации донеслись дымящиеся пробки шампанского? или – плотные воздушные поцелуи меж двумя ритурнелями кадрили после полуночи?...увы, не успеешь сообразить... но вот один хлопковый клубочек вдруг прояснился как русский банный дух из парилки, а внутри одного духа – красная рожа... Ба! Банщик Никодим Евдокимыч! Ты-то каким манером здесь образовался? И Никодим Евдокимыч подмаргивает по-приятельски: “А венчик-то ваш берёзовый заберите с собою, господин полковник...” – “Да на что же?” – говорю. – “Да на то, судырь, чтоб у хозяйки-то у вашей, у супружницы Лидии Ивановны, никакого сумления не случилось, где вы были-с...” М-да. Забавно. Это значит: уж мы в России. Тут и революции, и беды со своими бедуинами, и поцелуи на холодке, и вечерний звон, вечерний звон, посуду бьют и увесисто закусывают... А ведь хорошо бы и в трактир накоротке заскочить, жевнуть чего-нибудь... “Чего желаете изволить?” – “А желаем изволить это... Чего-нибудь против голода изволим желать...” А ещё короче – в кухмистерскую у Сенного базара, тридцать копеек за обед с чаркой водки. В кухмистерской этой славно готовят любимые кушанья Александра Сергеевича. Варенец с серебряной закваскою, например: кидай в кринку молока ложку из фамильного прибора – и пусть четыре дня томится в

тепле, а потом добавить свежих сливочек с сахарком – и блаженствуй на здоровье с приятным аппетитом. А ещё вот – греческое молоко. Так его уж в печи надо топить, с кипением, пенки снимать, а как скиснет – так вот оно и готово. Тихо, мирно, по-домашнему, никаких вечерних звонков с наводящими думами: об аквариуме в рояле, о римских качелях и купании в колюченьких пузырьках “Аи”, а тут ещё и девицы для забавы... шансонетка на подносе! говорят, девица капитал составила “без нарушения пола”; врут нахально; и вовсе не девица, а ежели всё-таки девица, так уж лапаная-перелапаная и опубликованная всем нашим гарнизонным баталионом, начиная от сами знаете кого и кончая каптенармусом... публика – не дороже рублика, да и публичность – тож... Ни ценности переосмыслить, ни мысли переоценить.

— Я имею несчастье быть человеком публичным, – говорил Александр Сергеевич графу Владимиру Александровичу Соллогубу, – и, знаете ли, это хуже, чем быть публичной женщиной...

Вот как. Думал, что отечество ему навыворот дано, а оно – не по росту оказалось...

“И встал обида...”

А “Полтава” провалилась.

А травят его уже давно и откровенно, с ненавистью чистосердечной. С 1830 года.

Николай Полевой в “Новом Живописце” напечатал издевательское “Утро в кабинете знатного барина”.

В “Московском телеграфе” под именем “Обезьянин” опубликована пародия на “Собрание насекомых”.

В “Вестнике Европы” – ещё хлеще:

*О, гений гениев! неслыханное чудо!
Стишки ты пишешь хоть куда,
Да только вот беда:
Ты чувствуешь и мыслишь худо!
Хвала тебе, Евгений наш, хвала,
Великий человек на малые дела!*

“И встал обида въ селахъ Даждьбожа внука...”

На пике своей популярности патриот Фаддей Булгарин кусает Пушкина в “Северной пчеле”: дескать, пиит-то наш не более, чем француз, служащий усерднее Бахусу и Плутону, нежели Музам...

В двенадцатый том своих сочинений поместил Булгарин повесть “Предок и потомок”: о стольнике царя Алексея Михайловича некоем Свистушкине, которого по какой-то причине заморозили и оживили через двести лет, в девятнадцатом веке... и вот принялся этот оживший Свистушкин искать своих потомков, и нашёл-таки в виде стихотворца Никандра Свистушкина, автора поэм “Воры” (читай: Братья-разбойники) и “Жи́ды” (читай: Цыгане)... и пригляделся старый стольник к стихотворцу, да и говорит с огорчением: “Какой же он мне потомок? Это маленькое зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна!”

“И встала обида в селахъ Дажьдбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы...”

Строго говоря, так Пушкин после восстания декабристов ничего не потерял. Наоборот. Царь освободил его от цензуры. Царь взял его в союзники, делился планами, предложил сочинить статью о народном (уваровском?) образовании.

И Пушкин встал в колею. Иначе, зачем же рваться на государственную службу с официальным положением, должностью и чином, как у Карамзина? А затем, что в начале 1831 года женился. Бриллианты Натальи Николаевны были сразу же после свадьбы заложены в ломбард под большие проценты и до сих пор не выкуплены. Дом – дети – осиные талии трёх сестёр Гончаровых не нектаром держатся – триада, чёрт бы её побрал – три ада, эти наряды, эти балы, эта тёзка Александрина, незамысловатая бабёнка, без фантазии, а вот – случилась... И перешёл поэт на прозу. Или даже так: взялся за прозу. Да и это неправда. Это проза взялась за поэта. Проза жизни. И недуг негодования распался на кусочки, на мелочные осколки.

Отсюда и письмо к Бенкендорфу с озабоченностью всепокорнейшей и скрупулёзной: после первого чина, полученного по выпуску из Лицея, и числясь семь лет в иностранной коллегии, коллежский секретарь Пушкин по оплошной забывчивости начальства не получил за выслугу лет последующие два чина, как то: титулярного и коллежского асессора, так вот, ваше превосходительство, милостивый государь Александр Христофорович, как бы это несправедливое обстоятельство поправить?.. с глубо-

чайшим почтением честь имею быть вашего сиятельства покорный слуга...

И сделался Александр Сергеевич историографом. Правда, как-то так не очень заметно, неофициально.

Но положение уже обязывало ко многому. В 1831-м августе написал историограф Пушкин “Клеветникам России”, немедля прочитал стишок в кругу августейшей семьи, кругу понравилось: тут и православие, и самодержавие, и народность – как славно! В сентябре Паскевич сломил Варшаву – и на другой же день историограф прислал к Россет “Бородинскую годовщину” с расчётом, что пиитический ура-патриотизм непременно докатится до царя. И докатился. На следующий же день, на молебне в дворцовой церкви, царь благодарил Пушкина за сочинение, а вскорости оба стишка с присовокуплением “Старой песни” Жуковского были изданы отдельной книжечкой. То-то восторгу закатил граф Уваров, наипервейший из витий витиеватых. Давайте, говорил, Александр Сергеич, дружить навеки, давайте примемтесь сотрудничать в новом журнале, в патриотическом сугубо!.. А друзья, чьей совестью поэт весьма дорожил, осудили поэта-историографа: не прошёл, дескать, испытания на порочность.

“Шинельный поэт”. Так называют стихотворцев, которые в надежде на щедрую мзду подносят свои сочинения важным господам.

И сказал Вяземский, отказавшийся напрочь издавать с Пушкиным совместный журнал:

– Вот и воспевайте правительство за такие меры, если у вас колени чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках... Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, а Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича. Писал-то для царя, а досталось, увы, читателям.

А между тем, на запрос министерства иностранных дел – каким же чином принять Пушкина в службу? – последовал ответ: “Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять в службу тем же чином” .

И Николай Мельгунов, прозаик, служащий в Московском архиве коллегии иностранных дел, говорит поэту Степану Шевырёву:

– Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его

вирши. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце “Годунова”, упаси бог. То был другой Пушкин, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, и который вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств для принесения им в жертву своего дара. Упал Пушкин. И я признаюсь, что мне весьма жаль этого. О, честолюбие и сластолюбие!

К концу года 1831-го состоялось высочайшее пожалование коллежского секретаря в титулярные советники, потом – присяга на верность службе с неременной распискою о непринадлежности к тайным обществам и масонским ложам.

Так на тридцать третьем году жизни поэт оставил вольный хлеб и стал чиновником.

Царь дал согласие на то, чтобы Пушкин издавал свою газету.

А Пушкин сговаривается на газетное сотрудничество... С кем? С Гречем! Кто бы мог подумать?

И тут же отозвался Гоголь:

– В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно даже для неизвестного человека, но гению этим заниматься – значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком.

Так ведь и это верно...

О, деньги, деньги! Ничто так, как они, не связывает человека по рукам и ногам.

Если “Полтаву”, “Цыган” и “Повести Белкина” Пушкину пришлось издать привычным тиражом в 1200 экземпляров, то для “Истории Пугачёва” поэт отчаянно выбрал три тысячи. И что же? Продана лишь треть. Остальное пылится, перевязанное бечёвками, в доме на Мойке, в тёмном углу.

Как в тёмном углу... Что же происходит?

А вот что, господа.

Ещё в 1829 году Греч в “Северной пчеле” ехидничал по поводу отсутствия оригинальной прозы. “В России, – писал он, – есть и оды, и поэмы, и басни, и повести, есть история, драма, но... нет романа”. И тут же Греч объявлял: только что Фаддей Булгарин

издал “Ивана Выжигина”! вот вам – российский роман! и вот – оно его родоначальник!

Читал я ту новинку, как не читать, коли она в те поры экзотической бабочкой порхала по рукам, и не только в салонах образованной публики: роман-то оказался “торгового направления”: финансы там, коммерция, крупные сделки, подряды: звонкий капитал как подспорье нравственности, и финальный аккорд: нет счастья в жизни без миллиона! не нужны России, даже вредны, рефлексирующие бездельники и рифмоплёты вроде Онегина с Пушкиным, пришла пора экономистов и деловых людей... Так вроде и верно, что давно уж пора обзавестись людьми старательной хватки, да вот только некоторое смущение накатывало от того же Булгарина (солидный гонорар, – говорили, – получил за сочинение!): дребезжит что-то в его новейшей идеологии, пованивает вульгарной развлекательностью, лакейской расторопностью трактирной obsługi, кухмистерским вкусом толпы... “Чего желать изволите?” – “А желаем мы изволить энтова... чего-нибудь против тоски изволить желаем!”... Ну, не начало ли литературной тоски?

А год нынешний, 1836-ой, обозначился ещё и смертельной тоскою. В марте поэт, единственный из всей семьи, сопровождал гроб с телом матери из Петербурга в Михайловское, в Святогорский Успенский монастырь. На тамошнем кладбище он и для собственного упокоения место наметил и заплатил за него вклад в монастырскую кассу...

А весна в этом году выдалась ранняя, и в апреле, когда Пушкин возвратился в Петербург, было уже тепло и сухо.

Он уходил из дому и подолгу бродил в одиночестве. Молча усмехнулся, когда один из встреченных знакомцев заметил шутиливо: дескать, нынче, Александр Сергеич, общественное мнение расположено считать, что ежели человек одинок, так значит – шпион...

О, деньги, деньги, будьте вы прокляты, когда только от одних вас является спасение!

А каждый добывает свою копеечку на свой манер, наособицу: Булгарин так, Пушкин этак, Шишкин...

Ростовщик Шишкин принял под залог обиходные вещицы из

дома на Мойке, которые Пушкин, таясь, чуть ли не под полой шинели привозил в экипаже, да при этом всё озирался, всё оглядывался на входную дверь: как бы этак невзначай не вздрогнул колокольчик, оповещая об ином посетителе ломбарда, нечаянном свидетеле, очень нежеланном... – да разгружался, синюшные свои губы покусывая от тихого бешенства... Лоханка, рукомойник, кофейник, шесть десертных ложек, двенадцать столовых ложек, одиннадцать вилок, куда-то запропастилась ещё одна из сервиза... Шишкин принимал, осматривал, оценивал, записывал... По дюжине позолоченных десертных и чайных ложек, столовых ножей и вилок (то-то гостей поубавится...). Три позолоченные ложки для соли. По четыре штуки серебряных десертных ложек, вилок и ножей. Три серебряные чайные ложечки (Машкина, Сашкина и Гришкина...). Серебряные солонка и соусник. Часы брегетовые... Реестр – в двух экземплярах. Всё, милостивый государь? На этот раз всё. Буфет в столовой изрядно вычищен. И для следующего заклада понадобятся заимствования у Соболевского: ложка суповая, ложка рыбная, двадцать шесть хлебальных ложек и четыре соусных, самовар в футляре, сахарница, ситечко чайное... Не понесёшь же к ростовщику камер-юнкерский парадный мундир. Тёмнозелёный, шитый золотом, кафтан с красными обшлагами и воротником, белые суконные панталоны до колен, белые чулки, башмаки, шляпа с золотым шитьём и белым плююмажем... Золотишко-серебришко мизерное, у военных чинов в аксельбантах и эполетах его будет поболее, но забавно здесь иное: на изношенном-то непартикулярном платье тоже, оказывается, можно капиталец составить, а Владимир Иванович Даль к тому ремеслу уже занятную профессию обозначил – выжига: ткань в огне сгорит, металл выплавится в чистую капельку, радуйся и ликуй, Иван Выжигин с родоначальником своим...

Конечно, остаётся какая-то надежда. Пусть хлипкая, пусть нерешительная. Надежда – как последняя капля масла в кашу терпения. А каша – сущее болото. И капля испоганена. А ты всё ещё отдаёшь и отдаёшь гражданские долги, а все кругом только и делают что берут и берут. Чиновники, сволочи, берут. Обида берёт. Жизнь берёт своё. И хоть кроют её то золотишком, то скотодворским матом, но эта жизнь когда-то всё своё и даже чужое соберёт, и тогда она, всё собравшая, станет не жизнью, станет смертью.

Так вот и думаю, что в особенности поэты, которых раз и навсегда одолели приступы жизни, из такой поэзии, как у Александра Сергеевича, живыми не возвращаются. Они доходят до точки. Ставят её. После чего укоризненно поглядывают на оставшихся с точки зрения вечности. Это гении. Их немного. Для империи же лучше, чтобы – не много, не больше одного. Одним-то гением, тем более мёртвым, легче управлять, чем многими, тем более живыми, но империя – это ещё не всё человечество. У всего же человечества перед своими гениями – вечное ощущение вины. Это чувство непродуктивно. Однако иного наша солнечная система дать не может... Кроме, пожалуй, жалоб дорожных...

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?..

А вот есть ещё и долгиши – длинные сибирские безрессорные дрожки. А ещё имеют место быть сидейки, иначе – бестужевки, так это уже в Забайкалье изобрел один из несчастных каторжан, бывший штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Михаил Бестужев. Он на поселении обзавёлся каретной мастерской. А экипаж получился славный и весьма удобный в тамошних местах, особенно на “пряжке”, то есть на перегоне без смены лошадей между кормёжками... Вот уж кто из страдальцев не страдал, так это Бестужев. Другие, впрочем, тоже, за редким исключением. Миссионерствовали они. В горном деле, в ремёслах и искусствах, в сельском хозяйстве, в науках, в обыкновенном общежитии, вообщезитии – что и сделалось оборотную стороной их прежних пылких деклараций. Вот только жёны их... Как бы этак выразиться поопрятнее? Не знаю, не знаю... В полку нашем не одобряли их добровольной сибирской ссылки. Может, полк наш оказался такой поперечный? Может быть. В офицерском собрании полагали так: площадные мятежники, конечно же, знали, на что шли, вплоть до вероятных суровых наказаний, так вот и доводили бы судьбу по прямой линии, без манёвров, без призрака призраков, без деловых расчётов на публичное сочувствие и снисходительность... и ещё вот что: мужчина, муж, офицер, дворянин – все страдания души и тела он нераздельно возьмёт на себя и никог-

да не пожелает, чтобы близкие и родные ему люди видели его самого надломленным, униженным, угнетаемым, обесщещенным, покорным и слабым... перед лицом империи – да пусть хоть стократ, но перед женой и детьми – никогда! он останется для них прежним, лицо не потерявшим, сильным и решительным, каким был в тот миг, когда переступил черту порога, уходя... а они вон что позволили жёнам своим возлюбленным, юным: жалость, на глазах у широчайшей и весьма любопытной до всяческих происшествий публики... а женское дело – не с империями пикироваться, но детишек поднимать, до уровня отцов и выше, коли того желают, вот тогда и образуется из них новая Россия, ежели в старой жить стало неважко... это понятней понятного для бедных жён армейских офицеров, вот уж кто гарнизонные страдалицы, тихие и терпеливые... а тут – дамы гвардейские, иной сорт, состояния и фамильные связи, и потянулись в Сибирь обозы, и поскакали курьеры с поручениями, и приехали жёны к мужьям кандалы целовать, всю каторгу испортили... о! гвардейские дамы в делах милосердного гуманизма оказались стремительней самих гвардейцев! в Петровском остроге, например... там большею частью в арестантах оказались люди молодые, неженатые, и гвардейские жёны весьма жалели их, долгими вечерами обсуждали деликатнейшие вопросы... «Бедные мальчишки, – сокрушалась Прасковья Егоровна Анненкова, в девичестве наискромнейшая, романтическая Полинка Гебль, – им женская ласка и тепло надобны! И я, кажется, знаю, что следует предпринять!» – «Ах, Полин, – догадывались о намерениях подружки другие дамы и только ждавшие, кто же из них первой выскажет эти намерения вслух, – ах, Полин, *c'était bon pour les romains, madame, mais ce temps est passé!*.. Это годится для римлян, сударыня, но это время уже миновало!» – «Ах, оставьте в покое этот несносный древний Рим! Будемте думать о дне текущем. В моём прожекте меня волнует только одно: *est ce que cela ne sera pas trop beau?* А не будет ли всё это слишком хорошо?» – а вот и напрасно волновалась Прасковья Егоровна вкупе с остальными заговорщицами, всё случилось просто пречудесно, в полном соответствии с секретным планом: и девку здоровенную, из местных, наняли, и очень, кстати, недорого, и осторожного водовоза подкупили, и с охранниками столковались на взаимном договоре, а всё она завела, Прасковья Егоровна,

умница, бывшая старшая продавщица из московского модного магазина Дюманси, дитя из решительно роялистской семьи – и вот ведь додумалась совершенно в духе Французской революции, в духе Наполеона, в духе периода его фантастического правления и последующей реставрации Бурбонов: однажды вечером водовоз беспрепятственно доставил девку в пустой бочке на тюремный двор, а уж оттуда внутренний охранник сопроводил девку по арестантским камерам, да утром тем же путём – в обратном направлении... и этак началось с регулярностью, и девка, премного довольная, бока оглаживает, и бедные мальчишки повеселели, и охранники с водовозом не внакладе остались пребывать, и гвардейские дамы к либерализму причастились, а начальство... что ж, начальство целомудренно, по-стародевичьи закрыло на эти вольности глаза... уж ты прости их всех, господи, ибо время ещё не миновало, оно ещё даже не вышло, и то, что когда-то годилось для римлян, не может быть отторгнутым в империи, вознамерившейся сделаться “третьим Римом”... а что касается до персонажей имперской истории, так это уже их личное дело, ежечастное, обыкновенное для любого гражданина... вот он пашет, вот он пишет, вот он “на часах” стоит по смирной стойке, пятки вместе, носки врозь на ширину ружейного приклада... вот он едет и постанывает, и вопиет: долго ль мне гулять на свете? долго ль мне...

– Долго ли ишо гнать будем, барин? – оборачивается лихач, бывший кучер. – Коник-то наш уже, кажись, совсем притомившись...

– Недолго, – говорю. – За первым поворотом направо.

Ещё один жилой квартал, как последний абзац, проскочили. Приехали. Слава тебе, коник, постарался, не посрамил свою пеганькую породу.

Тяжёлые двери – лестничный марш – “Курить строго воспрещается!” – урны в форме наградных кубков за отличную стрельбу и конную выездку – красные пожарные гидранты – “Не сорить!” – мимо, мимо, по сумрачному, по какому-то прокурвленному коридору... – и вот он, финиш, и ваш покорный слуга дошёл-таки до ручки.

Но ручки нет, и дверь открывается пинком.

– Это ты? – опрашиваю.

А он за столом сидит, в телефон набубнивает...

– О, товарищ полковник! – восклицает. – Такие люди – и без охраны!

Свободной рукой мне какие-то знаки накручивает, сейчас, дескать, одну минуточку...

Нежно выкручиваю телефонную трубку из судорожного кулака и почти так же нежно укладываю её на рычажок аппарата.

– Почему ты? – вопрошаю с суровой нежностью.

– А кто ж ещё здесь должен сидеть? Пушкин, что ли?

Я снимаю цилиндр и отпускаю его в свободный полёт по кабинетной диагонали, летит без свиста, без мату... и успокоивается на диване фуражка с голубым околышем, с лаковым козырьком, с золотыми крылышками Военно-Воздушных Сил на высокой тулье.

А трость на глазах преобразилась в милицейскую дубинку, обернутую газетою... демократизатор, называется, вчерашний, трофей, я его на митинге приватизировал у одного блюстителя, тот, бедняга, чуть ли не плакал, шёл по пятам и канючил: вещь казённая, и стоимость её вычтут из зарплаты...

Присаживаюсь на диван, вынимаю портсигар с “Беломором”...

Что же за чертовщина, чёрт поberi её назад?

Дыма без огня не бывает...

Щёлкаю зажигалкой “Zippo” из Брэдфорда.

Что же происходит?

А тут из-за входной двери рожа выглянула.

– Александр Сергеич, – говорит рожа, – только что позвонили из мэрской администрации...

– Ну? – спрашивает Александр Сергеевич.

– Ругаются.

– Зачем?

– Видите ли, такое дело... вчера мы на первой полосе дали фотографию мэра.

– Дали. И что?

– А рядом с фотографией что?

– Что?

– Рядом с фотографией объявление! Анонсик такой, ма-а-а-

лень-кий... Об отправлении бесплатных автобусов для всех желающих на мемориальное кладбище в Пивовариху, к жертвам сталинизма. Мэрский цензор интересуется: на что мы намекаем? И какая у редакции цель?

– А на что мы намекаем?

– Да хрен его знает!

– Вот так и отвечай тому мерзкому цензору: пусть спрашивает у своего хрена.

– Так и сказать?

– Так и скажи. Поймёт, голубь шизокрылый! Я знаю. Мы с ним уже успели пристреляться друг к другу.

И рожа исчезла. Она звалась Наташа. Наташа Гончарова.

– Вот видишь, – говорит Александр Сергеевич и руками разводит, точно заядлый рыбак гармошку растягивает. – Какая творится среда обитания... Боже ж мой милосердный! И такая вот хренология начинается прямо с ранья, ещё в редакцию не успею появиться. А у меня аллергия на всякие новости!

Из ящика письменного стола он выгреб кучу таблеток, рассыпью и в облатках. Распотрошил, сгрёб всё в одну кучу, высыпал на ладонь и отправил в пасть. На мой упреждающий перехватотреагировал невозмутимо:

– А таблеткам как раз на днях срок хранения кончается. Не пропадать же добру... Значит, так. Кругом завал. В типографии бумаге кончается. Аллергия начинается. Наташка Гончарова снова в декретный отпуск уходит. Цензура беснуется...

– Цензура, – спрашиваю с надеждой, – это Козодавлев, что ли?

– Какой Козодавлев? Козыдло.

– Григорий Николаевич?

– Николай Григорьевич.

Да-с, бывают странные сближенья... Но с какой стати?

Дверь отозвалась азбукой Морзе: точки... тире... Машинально отмечаю: три семёрки.

– Можно?

– А- а... Коля! Заходи, Коля! Знакомьтесь, товарищ полковник. Это Коля Бриль, наш фотокор, собственной персоной.

Вежливый, культурный, застенчивый молодой человек, вот и разрешения войти спрашивает... чином не ниже, но и не выше коллежского регистратора.

– А вы, сударь, – спрашиваю с предпоследней надеждой, – не родственником ли доводитеесь иркутскому губернатору Адаму Иванычу, из века осьмнадцатого?

– Что вы?! – замахал фотокор всеми конечностями. – В нашей родове... Да что вы! У нас все комсомольцы. Александр Сергеич, подтвердите!

– Не суетись, Коля, – сказал Александр Сергеевич. – Давай располагаться ближе к делу. Зачем пришел мешать нам с товарищем гвардии полковником из Вооружённых Сил? Как тебе не стыдно, Коля?

– Да у меня, извините, это самое... вчера на митинге товарищи менты фотоаппарат отобрали... с плёнкой!

– Как? А репортаж в завтрашний номер? Кто за тебя его делать будет? Пушкин, что ли? Иди, Коля! И чтоб к завтраму... Пстой! Скажи мне, Коля, как ты можешь так жить?

– Как так, Александр Сергеич?

– А так, как такие, которые...

– Это которые какие?

– Не какие которые, а некоторые! Некоторые, Коля, живут без божества, без вдохновенья, без слёз...

– Александр Сергеич! Вы издеваетесь? Да у меня этих слёз... во! – И Коля для наглядности изобразил уровень потопы по колени, но затем, под критическим взглядом Александра Сергеевича, рука Коли совершила новую, более высокую горизонтальную отметку, потом ещё, выше и выше, миновала всё, что ниже пояса и выше пояса, покуда ребро ладони не чиркнуло по горлу: – Во!

– Я тебе верю, Коля, – сказал Александр Сергеевич. – И если ты хочешь выпить с товарищами, то я согласен. Ступай.

– Ни фигя себе! Ну, уж нет, Александр Сергеич. Я просто так не пойду. Давайте жеребьёвку.

– Хорошо. Жеребиться – так жеребиться...

Я сидел на диване, потерянный и ничей. Я слушал родную речь. Форменная фуражка сбоку трепетала золочёными крыльшками, так что даже показалось: аплодирует падший, как парашютист с неба, ангелочек цвета хаки с голубым пояском, и в мусорной корзине с писчебумажными надобностями зашевелились, зашуршали вызванные “на бис” бесы мелкие, и бисер меченый, и

прочая, и прочая медная мелочь...

Фотокору с губернаторской фамилией выпала честь слетать в ближайший магазинчик, и чтобы одна нога здесь, другая там, а третьей, как Риму, не бывать... Он вздохнул, выдохнул и ринулся вон.

И тогда Александр Сергеевич приступил ко мне с всепокорнейшей просьбой: срочно, позарез, экстренно надо сочинить ехидную реплику от лица рядового читателя, что-нибудь этакое острое относительно укрощения строптивых строк со стороны...

– Сам знаешь, с какой стороны, – сказал он и плюнул в потолок, но не попал, и плевков вернулся на исходное место. – У тебя, я знаю, получится. Пиши. И считай, что премия Кюхельбукера у тебя уже в кармане.

– Да ведь ты и сам, – говорю, – змея ещё та. Очковая. Стёклышки-то тебе очень к лицу идут. Вот и повеселись, повеса.

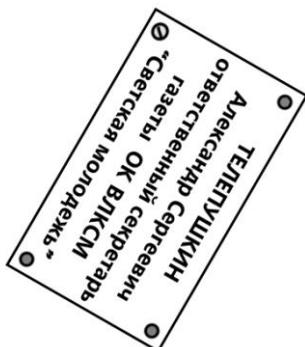
– А кто текучкой руководить будет? Чапаев, что ли?

– Какой ещё Чапаев? Ты что, совсем опух?

– А разве так уж много в нашей стране Василювичей?

У меня слегка закружилась голова. Всё, хватит с меня, довольно. Сейчас я встану и пойду к чёртовой матери. Вниз. На свежий ветер, в октябрь. Там меня дожидается экипаж... Если он окажется с шашечками, значит, это будет тачанка. Но чапаевского Петьки из меня не получится. Да и на тачанке далеко не уедешь, едет вперёд, стреляет назад... Этак до дому вряд ли доберусь... в ближайšie годы...

Дверь за мною хлопнула громоподобно, с последней надеждой. Но дверная табличка вздрогнула, сорвалась с трёх шурупов, на четвёртом повисла, покачалась и замерла сикось-накось:



...И какое-то морщинистое, сразу постаревшее небо.

– Эй, извощик!

Подруливает как бы с прицелом в зелёном своём глазу, с шахматно-шашечным пояском, пропахший ароматическими углеводородами...

– Подбросишь?

– Ты подбросишь, так и я подброшу, нема базару.

– Ладно, поехали.

– А куда едем, командир?

– Не твоё дело. Гони тачанку прямо.

– Если прямо, то будет четвертак.

– Копеек?

– Шутишь, командир. Овёс-то нынче дорог!

– Рублей, что ли?

– Миллионов! Ты откуда свалился?

– Оттудова.

– А-а-а... Ну, тогда совсем другое дело.

Экипаж фыркнул и помчал.

На приборной доске тремя шурупами прилажена табличка: “Частное таксо-моторное предприятие ЭКИПАЖ”.

– А я вас сразу узнал, – говорит таксист. – Вы, небось, тачку называете тачанкой ещё по старой привычке?

– Верно. Ещё с гражданской войны...

Ну, не стану же я ему берендеть о таких дремучестях, как тачки-стачки декабризма? У него лицо из другого века. А на кистях рук голубеют пояснительные накладки: на левой – “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК”, на правой – продолжение текста: “СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ” ... Нажал кнопку – музыка явилась...

А за левым стеклом и за правым стеклом жизнь бежит: по талонам, по рецептам, по благу, по уважительным причинам и без, где-то рвано, где-то нирвана... – обычная история. Ужель написан Вертер? Уже. Но не достать чернил, и не достать пролётку за шесть гривен... Скрещенья рук, скрещенья ног – это всего лишь пешеходы, добровольные участники дорожного движения. Смущенье века. Медный всадник без головы. Кот Конфуций, мудрец Бонифаций, и обязательный страж у ворот, приворотное зелье, тайный осведомитель чека... А ДНХ, все эти шагающие экскаваторы, пикирующие бомбардировщики, бегущие строки,

несущие перекрытия... – они совсем от рук отбились и своевольничают, бунтовщики!

*Извозчик, отвези меня, родной!
Я, как ветерок, сегодня вольный.
Пусть стучат копыта по мостовой,
Да не хлещи коня, ему же больно...*

Это Саша отозвался, Саша Розенбаум, сто лет я не слушал Сашу, так здравствуй, дорогой коновал, как там без тебя обходится питерская “скорая помощь”? О, эта карета с красным крестом спешила не только к инфарктникам и инсультникам, она устремлялась, даже без вызова, к парочкам, тоскующим в Тоскане, но не успела, тромбозит твою мать... а зачем устремлялась-то? да только для того, чтобы оглянуться с любовью, чего российская история не знала и не знает, увы, такого оборота у ней нету, есть бардаки, есть барды, есть деондология, наука о врачебном долге, а покой нам только снится, Саша, но покой не приёмный и уж тем более – упаси бог и помилуй! – не вечный...

*Фаэтон открытый,
Цокают копыта,
Закружил мне голову жасмин,
И бросает с крыши
Косточки от вишен
Очень неприличный гражданин...*

–А тачанка, – продолжает таксист, – это ж совсем не тачка. Тачанка тачает, но это не швейная машинка. Хотя тоже может пришить кого угодно. Скоросшиватель такой. Понятно? Зато тачка совсем наоборот...

– Смени, – говорю, – пластинку. И прикажи своим лошадиным силам: чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Нет, господа присяжные завсегдатаи, пристяжные вы мои... Это не Санкт-Петербург, не Петроград и даже не Ленинград. И набережная, увы, не Синопская, оцепеневшая в цепях. И дом № 26 – не Ночлежный дом. И живописная канава – совсем не Обводный канал, мрачнейшее зияние каменного пузыря, вздувшегося из чухонских болот. Какие вишнёвые косточки? Бомбы! Они всего оглушительней...

Такой городской треугольник, в котором завязнет любой экипаж, может быть только в Москве: Пушкинская площадь – Китайский проезд – Старая площадь. В порядке очерёдности эти углы символизируют: редакция “Нового мира” Твардовского – резиденция Главлита, то есть цензуры – идеологический отдел ЦК КПСС. Российские Бермуды. Непоколебимый треножник, но один шуруп в нём таков, что впору оды о нём слагать, с одическим, далее с йодическим, жёлтым “О”.

О, цензура! – забавное словечко, сопряжённое из двух звуков: из рабского ограничения и воинственного клича...

О, цензура! – сакраментальное словечко, священное, точно тонзура, наголо выбритое темечко у католических попов, этакая посадочная площадка, куда обязан-таки непременно приземлиться блуждающий в атмосфере дух святой...

О, цензура! – страховидное словечко: охрана государственной и военной тайны в печати...

О, цензура! – величественная пустота, словно цезура посреди шестистопной строчки классического александрийского стиха...

О, цензура! – мифологическое понятие: ЛИТО... но сидят в этом понятии, в основном, очень даже не мифологические, а самые что ни на есть реалистические дамы, есть среди них даже умницы и красавицы, и называют их с соответственной нежностью: литовки, но это не национальность, это косы, но не те косы, которые с бантиками, а те, которые косят всё подряд, что под ручку попадёт по высокому слову, поданному из самого тупого, но решающего угла треугольной российской бермудистики...

– **А** тачка, – продолжает таксист, – это совсем не каторга. Это раньше, при фараонах, да, дело было такое экстрёмное. Но в текущий момент тачка – это как бы стачка наоборот. Чтобы бабки заколачивать? Понятно?

Нет, господа, это не Москва. Опять промахнулись... К чему слова?? Одна мимика. Мимо, значит...

Поглядим налево – партия призывает: “По яйцам, молоку и шерсти догоним и перегоним последний оплот империализма!” Посмотрим направо – ГАИ предупреждает: “Не уверен – не обгоняй!” Кого слушать? Поглядим наверх – там аэростат Минздрава: “Пьянки – гоу хоум!” Поглядим вниз – три ханурика у

подъезда, они решительны, как триста спартанцев после сталинского приказа – ни шагу назад! но на троих всего лишь одна “Троя”, тониизирующее средство для ванн и мытья оконных стёкол, там 90 – как в Бразилии педров! – процентов этилового спирта, натурального денатурата...

О, эти забористые слова! Они посылают на все буквы, они напутствуют человека с рождения и до смерти, они забирают... Поглядим вдоль забора направо – “Жить стало лучше, жить стало веселее!”. Поглядим вдоль забора налево – “И жизнь хороша, и жить хорошо!” Поглядим вверх – там, высоко, над бывшими каретными заведениями бывшего Каретного ряда, на подоконнике XXI (двадцать первого) этажа горит свеча как знак того, что явка ещё не провалена и место встречи изменить нельзя, так что ты являйся, конь крылатый, не задерживайся... мигает свеча, моргает, собственный дым мешает ей сгорать вдохновенно... а рядом, в деревянном переплёте, торчит поэт, это предпоследний поэт, его всем интуристам показывают, он хмур и мучителен для ландшафта, он никак не может придумать рифму к букве “О”, и застыл его стишок в шоке...

– Тормозни-ка, – говорю таксисту.

И из открытого тачечного окошка посылаю на XXI (двадцать первый) этаж “O’key” – сложенные колечком большой и указательный пальцы. Поэт кивает бывшими кудрями – и исчезает из рамы, и больше слов не надо, одни мимозы, мимо, значит...

Поглядим налево – мальчики у киоска “Дело-табак”, с одnogорбым верблюдом и надписью “CAMEL”; один мальчик стоит на плечах другого мальчика и толстым фломастером поправляет последнюю букву, и после поправления получается правильное слово “САМЕЦ”, грамотные мальчики, особенно верхний, светлое будущее крутой интеллигенции... Поглядим направо – там здание Лицея под номером 17, здесь, увы, не будущих государственных мужей наставляют уму-разуму, нет, лицеисты станут парикмахерами, куафёрами, цирюльниками, брадобреями, они будут стричь и брить фэйсы государственных мужей... Прямо по курсу – “Герасимов & Муму”: по максимуму скотобойня, по минимуму мясокомбинат им. Тургенева – рекламный тореадор размахивает шкурой красного быка... Телевышка-шампур с нарезками неопределённого калибра, к тому же со смещённым центром: останки, танки, кино... муть

голубая... Ресторации. Рынок. Сауна. Фауна: бормочущие обормоты, облака в штанах, штандарт-юнкера... Митинг, что ли? "Всё впереди!"... Боже мой, и этот хлюст ещё будет рассказывать нам, что самое главное у российских мужиков и баб именно впереди сосредоточено?..

– Командир, прямо кончилось, – объявил таксист. – Куда вертать дальше будем?

– Набережная Чёрной Головомойки. Дом двенадцать. Квартира ноль.

– А этаж?

Он ещё спрашивает?! Будто бы не знает, что всё равно наверх не заедет, потому что лестничные площадки заставлены ящиками с картошкой, бочонками с кислой капустой, велосипедами, детскими колясками... Уж как-нибудь я сам доберусь.

– Командир, а кто платить будет? Пушкин, что ли? Пять лимонов натикало... с копейками!

Я вышарил из кармана пару монет, сдунул табачные крошки и брякнул гонорар на протянутую ладонь.

– Хватит?

Пятирублевик чеканки 1836 года, тяжёленький, тёпленький, со скромной самооценкой по ободку: "1 золотникъ 39 долей чистаго золота". А рядышком – серебряный пятак, ровесник соседа.

– Хватит, спрашиваю?

Таксист икнул, засунул монеты за щеку, поддал газу и исчез.

И только после этого я сообразил, что таксистом был китаец и говорил со мною на чистейшем сычуаньском диалекте.

...**С**торона солнечная, с видом на залив. Здесь можно, наконец, открыть глаза на правду, выраженную криво.

Я хорошо помню, что некий Белкин сочинил пародию, назвав её повестью "Выстрел" с эпиграфом из Баратынского: "Стрелялись мы". Так вот, посадил бы я этого Белкина на видное место в полковом офицерском собрании и спросил бы: что же ты этак врёшь, милостивый государь товарищ Белкин, о том, что жизнь армейского офицера известна? увы, к счастью, мало известна, и совсем негоже вам, господин сочинитель, свистеть о том, чего не знаешь... Но что, однако же, выйдет из того реприманда? Пшик. Наверняка сыщутся юные прапорщики с их сопливым роман-

измом вперемежку со страшилками из рождественских сказок об оживших мертвецах с прочей белибердою, и воскликнут белковатые прапорщики, почуявшие вызов: какая же это пародия, господин полковник? вы ни бельмеса не понимаете в оборотах изящной словесности, так что потрудитесь хотя бы дочитать сию гениальную повесть до конца, до последней точки, вот тогда будет вам и Белкин, и свисток, и выстрел будет, дайте только срок... “Дадим, дадим, – скажут жандармы, – за нами это благоприятное дело не заржавеет...”

В максимальном минимуме жилища отставного полковника вольно гуляет эхо. Оно, право, такое странное. Когда улетает: эх... когда возвращается: ох... Невелика, вроде бы, разница. Она, быть может, вообще исчезла бы, когда бы оба пространства не уравнивало серьёзное коромыслице в виде буквы X, весьма удобной на все случаи жизни.

На полке странен не подбор книг, а их соседство: “Пять столетий тайной войны” Черняка подпирают “Сто лет одиночества” Маркеса, а на томик Джорджо Вазари облакачивается Фадеев.

Телефон. Он уже полгода как отключён за принципиальную неуплату. Новостей нет. И это самая хорошая новость. Бойся звонка! Даже если это балабонит будильник. Что и было нынче...

Но электробритва! но чайник! но утюг... эти сволочи работают, как радиодинамики: последние известия, погода, даже когда току нет – шоу есть... Что ж это такое? Пылесос извещает, что в городе Рима налоговой полицией арестован мошенник по имени Д'Артаньян, который монополизировал выуживание монет, брошенных туристами в фонтан Треви, и составил на этом нехорошем деле хорошенький капитал в тысячи долларов... “Дорогие радиослушатели”, – хотел сказать холодильник, но на сей раз передумал, не сказал, принялся в своём углу эротически вибрировать и плотоядно урчать... И это, в сущности, на совершенно пустом месте внутреннего содержания агрегата! Кошмар.

“О, человеце! О, божже мой! Утешься сим морозильным мотивом, камерным вокативом, вокализом из пустоты... Задуман ты, прямо скажем, недурственно. Чтобы был весь из рамок приличия, рамка к рамке, вроде пчелиных сот, туда ангелы будут складировать до востребования нектар добродетелей. А что же вышло из высочайшей задумки? О, человеце! О, божже мой! Перезадумал ты: чтобы стать самим собою, надобно превзойти

себя. И от той дерзости твоей потянулось... то ли процессия, то ли процесс. Человека, рождённого в рубашке, обрядили в шутовской полосатый кафтан, потом в шинель, потом в футляр, крышку коего для стерильной верности пришлёпнули четырьмя гвоздями, и отвезли сей кокон под музыку на катафалке, девять лошадей цугом... – на цугундер, на расправу справа, на расправу слева... О, человече! О, божже мой! Жить-то и помереть тебе как? Как Акакий Акакиевич? Печально. Хотя и есть в этой печали несказанное. Про то, что зло – это кака, а буква “А” оную как отрицает, и образуется Акакий Акакиевич по-гречески незлобивый, даже дважды незлобивый, сие хорошо и преславно, хоть и недостаточно для того, чтобы жить и помереть беспомощно, то бишь самостоятельно и в свой срок...”

Неубранный застольный натюрморт. Мадера? Редедер? Не смейте кощунствовать, господа. Водка. Она всего оглушительней. После неё любой день – день отъезда, день приезда, день поминовения, рыбный день, родительский, красный, чёрный, jour des graces/день милостей... – любой день распадается и, как замечено, дольше века длится, нарезанный на мелкие кусочки, да кусочки-то всё с нечаянным интересом, понимаете ли, о постороннем здоровье.

Интересы, например, такие: немецкий “прозит!”, бурятский “дзэ мэндэ!”, французский “вотр сантэ!”, корейский “конбэ!”, итальянский “эввива!”, британский “гуд лак!”, равноапостольное американо-украинское “хай!”, без Б, а с Б будет индийское “бхай!”, а рядышком оказывается китайское “ни хао”, а тут уж совсем недалеко до сугубо русского интереса... Кстати, что бы ни глаголили иные языки, но общий интерес всегда выражается по-русски и упирается в сочетание рысистое, лихаческое и сводится, как всякие концы с концами, к одному: “ну, поехали!”. Что ж, поехали. Но прежде того чокнуться надобно. И уж после оногочока – аллэн-з-анфан де ля патри! вперёд, дети отчизны! стон стаканов, рёв революций, венчание рабов божиих шпаги со шпагатом, бури с бурьяном, сандали с сандалом... и аромат аромата из расшифрованных чёрных ящиков, то ли небо не приняло их, то ли земля не отпустила... но все они, чокнутые, есть бывшие дети, хоть и отцы у них разные, зато мать одна... Вот компания! Кто отважится этакой повожжить? Когда кричат справа: “Прикройте слева... Атакую!” – “А какую Акакию шпагу

выбрать?” – задумчиво размышляют слева... Когда нет шпаг и копий, нет мечей и боевых колесниц, и гамлетов почти не осталось, есть копеечные шексперья, потрясатели карандашей, не более того... Когда какой-нибудь Серп Молотов, соединивший аполлонову колесницу с тачанкой, нахлёстывает сам себя, пришпоривает, со вгиком молодецким, переходящим в соловецкий всхлип... Когда какой-нибудь Пашка Мигалёв, МИГ-двадцать первый, на реактивный же манер носится в старину и обратно, туда-сюда, и всё не решит никак: где же ему, мигу, скорее повезёт, а ежели повезёт – то куда?.. но – аист! аист уже клювом пощёлкивает и пружинит крылья, он уже готов к полёту с новорожденным веком под номером XXI (двадцать один!), это будет ещё тот парнишка, шустрик мигающий, двумя нежнейшими веками – миг да миг – на мир и на миръ... на забои мясные и угольные, револьверные станки, бетономешалки, вахты, яхты, шахты, ах ты, господи, безразмерные каски жмут мозги, а мозги нажимают на итоги да на трудовые порывы с показателями на красной доске, и уж каким образом они, мозги эти, утихомириваются в вечерних незабудках – так это одним незабудкам известно да ещё, быть может, тем редким мигам, когда в полуночной душе человечества что-то такое запетушится, но не кукарекнет, постесняется, они ведь такие застенчивые, эти миги, вроде Пашки, вроде Александра Сергеевича Телепушкина, вроде обременённой Натальи Гончаровой, вроде непредусмотренных законом, то есть преждевременных и преднамеренных, алкоголиков, которые наполняют окружности утренних пивных точек огнеупорной пеной с вытекающими жёлтыми последствиями забоев, порывов и незабудок... и даже вроде шустрика, с вызовом подмигивающего мудрым новорожденным оком: ну-с, во что сыграем, трудящиеся? в чёрный ящик дважды незлобиво Акакия Акакиевича? или в азартнейшее “очко” с роковым числом в два десятка единиц плюс одна? или же вы всё ещё предпочитаете дурака подкидного?..

Проспиртованная тахта огнеопасней Тохтамыша, спалившего Москву. Сейчас она укрощена белой кабардинской буркой.

На бурке раскрытая книга: Яков Карлович Грот, “Пушкин, его лицейские товарищи и наставники”, Санкт-Петербург, 1887 год. Страница 275 придавлена старинными карманными часами величиной с репу.

Книга – это хорошо. Это я и минус одиночество.

– Я, – говорит Яков Карлович, – встретился с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Он при мне отобрал все новые сочинения, касавшиеся Шекспира, и велел доставить их себе на дом...

Ну, как же, помню, помню! И молодого филолога Якова Грота помню, и Луку Диксона... Тогда Александр Сергеевич не только Шекспира отобрал, ещё упаковали сочинения Ирвинга и лондонский двухтомник писем и мемуаров Кольриджа. На 58 рублей 50 копеек вышло. В долг. Который ещё с весны начал свой лавочный отсчёт... Счёт, то есть. Вот он и есть евангелие от Луки Диксона... Эх, горе ты луковое, а не Лука! Да отдал бы даром, уж не разорился бы. А то всё за интерес коммерческий держался, приказиков напонуживал да со значением поглядывал на свои новомодные часы размером с репу, игравшие каждый противавший час новую пиесу... О, когда б ты знал, книгопродавец, последний час, печальное окончание пиесы, старой, как новый мир! Окончание-то и есть во всякой пиесе самое главное. Вот, гляди, вроде бы совершенно одинаково начинаются: мудрец, мудака... – а концы всё начисто испорчивают. Они такие, концы концов. Там сокрыты сократы: фатализм и стечение обстоятельств, многоточия выборов и точки-матери зрения, и упора, и опоры, и point d'honneur (вопрос чести), да что ни точка – то и есть пуэн д'оннёр, и даже the point of no return, так в авиации называют крайнюю точку полёта, в которой исчерпываются все энергоресурсы и откуда уже невозможно возвращение назад... туда долетают выстрелы из прошлого... туда, будто со ступеньки на ступеньку, с этажа на этаж, человечество передвигает с года на год, с века на век переставляет свой вопросительный интерес, своё удивление, этот переходящий кубик Рубика, рублик неразменный, вечный свой долг... И на этом счетоводческом пути – такая путаница творится! Одна ступенька – пьедестал, другая – эшафот, потом – снова пьедестал, затем – опять эшафот... Двухступенчатое Лобное место. А человек слаб. “Я, – декламирует он, – памятник себе...”. И всё? Всё. Безобразие! Он, превзошедший самого себя, служит кукушкой в церемонном доме, у состоятельных господ, там часы с боем отчего-то «поломавши» и не подают, подлецы, птичьего голоса, так вот он, превзошедший, и кукует-с... “Эх-ох, кинарейка божия!” А у состоятельного того хозяина присутствует на голове

проборчик безукоризненный, как щель в копилке... «Догоним и перегоним», – декламирует он, хозяин проборчика. Кого? Зачем? Перед окнами люди дворовые столпились, бывшие крепостные, они вольную получили, а что делать с ней – не ведают, тотчас же и спор крепким узлом завязали, до драки с кровью дело дошло, так вот они к бывшему хозяину, к барину своему заявили: рассуди, батюшка! – а ну вас всех на хрен! – молвил бывший батюшка, – судитесь да рядитесь сами! – Дык што же, – отвечают ему с поклоном, – сами-то мы, конечно, могём, да вот вить весу от того суженья-ряженья маловато... и вобще... нашто нам такая слобода, когда уж и посечь некому? ты бы не бросал нас, барин, а?.. – и с укоризною смотрит поэт, защитник крестьянский: это ж кому и для кого сочинял я и про зелёный шум, и про Северную Коринну, и размышлял у парадного подъезда? вот же они – и образа, и образы, и образины, и образованцы... Безобразие! Поэта вызвали на дуэль, но, увы, не от пули он помер – от чахотки, опустили гроб в болотную могилу, на крышку лягухи тотчас заскочили... – вот оно как катится-то, колесо! – по литераторским мосткам, по театральным подмосткам... где правда? не зажал ли её в уголке худенький, маленький, белокурый юноша с болезненным цветом лица, с глубоко утопленными серыми бегающими глазами, с нервически дёргающимися тонкими губами?.. его изводит постоянными издёвками другой молодой человек, аккуратный господин Тургенев: шляхетский гонор, дескать, у сего впечатлительного углового юноши, а ведь ещё фельдмаршал Паскевич преудпреждал, мол, такая у польской нации география, что либо бунтуют, либо подличают... – общество расходилось не буйством, но миром, дуэлей не было, лозунгов тоже... догоним и перегоним? господи, да какие ещё могут быть в России догоняшки, когда её, богато-убогую, ругать легче, чем полюбить до гроба? вон, кажись, Григорьев Аполлон полюбил, цыганистый наш, был низкопоклонным западником, сделался низкопоклонным славянолюбом, надел красную рубаху навыпуск, сапоги смазные, плисовые штаны и суконную поддёвку, волосья остриг “под горшок” – и уселся в первый ряд кресел Александринского театра, вот пьеса-то! публика дивилась – “мусульманин пожаловал!” – спектакль испорчен – любовь не состоялась... что же за напасть такая? уж полночь близится, а Герцена всё нет, будильника

нашего и друга его с корзиной шампанского, очкарика, который своим утренним хохотом разбуживал Петербург... – тишина: позвонки перекатываются в гробах... паровозные машинисты ностальгируют по трактирам со смутными воспоминаниями о холодненькой ботвинье, всего-то ничего: квас, зелень да варёная рыба, но как любо-дорого хлебалось бы этокое ничего у жаропышащей топки! а заместо ботвиньи – нате, выкусите: “Не уверен – не обгоняй!”... кого, господи боже милостивый? посмотрим налево – там ударник труда, посмотрим направо – там лучший друг стаканов, рекордист непобиваемый, впрочем, такой же продажный, как и ванька-лихач, только продавать ему уже нечего, не станешь же толкать “налево” целый паровоз, да ещё серии ФД, по имени первого чекиста страны Советов?.. и вопрос “ботвинья или паровоз?” отпадает сам по себе, пересохший, без вмешательства профсоюзов и чека, локомотивом становится другая серия, тоже серьёзная, но более смиренная, на букву “О”, по-железнодорожному “овечка”, с длинной трубой, чёрным дымом, белым паром... но до локомотива истории ей далеко, “овечке”, в истории-то даже не локомотив важен в первую голову, но машинист с головою, а где такого взять? кто будет пару наддавать? Пушкин, что ли? Чапаев? опять смеётесь... Василий Иванович уже столько нарубил – аж на десять томов полного собрания сочинений анекдотических, смех и горе, ей-богу, крошечная чистота оптимизма, кумачовые лебеди... может, и в самом деле жить стало веселее? так поглядим налево, там “Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим Атоммашем не приходится тужить!”, поглядим направо – там Мурадели с Михалковым наяривают: “Оборона – наша честь, дело всенародное, бомба атомная есть, есть и водородная!” ...что ж не смеётесь? когда вокруг сплошное поголовье весёлых ребят, когда шагаешь по Москве и, конечно, бывает всё на свете хорошо, но в чём дело? – сразу не поймёшь, ни умом, ни аршином, ни верой... а – чем же? а спроси во-о-о-он у того человека, он растянул гармошку во все её ситцевые меха, на всю длину разведённых в стороны рук, а ладони прибиты гвоздями к перекладине деревянного креста... и гудит бедная “овечка” по-максимально-горькому: о-о-о-о! в чём дело-о-о?.. кто ей, “овечке”, объяснит, что божественный глагол – это и есть всевышнее деепричастие, часть deus, при логосе прилагаемое? кто “овечке” расскажет, что

Александр Сергеевич, конечно, гражданин весёлый, но совсем не смешной, а вот Сергей Александрович, наоборот, порою очень даже смешон, но не весел... и выходит на балкон XXI (двадцать первого) этажа новый виршитель, он нашёл-таки рифму к букве “О”, но не скажет – какую, он спрячет это слово в конверт, запечатает тайну сию трезвым сургучным волеизъявлением вскрыть чрез двести лет и два года... кудри серые до плеч, бумажные папильотки из вчерашней газеты накручены, они торчат, как листочки лаврового венка, вылитый Данте-с, да-с... виршитель вышел на балкон в одном бельишке, в преисподнем штопаном-перештопаном, зато с пуговичкой из крылатого металла на центральном месте, пуговичка пришита суровой славянской ниткою намертво, знаково: всё сгинет, всё истлеет в пух и прах – пуговичка останется глазеть в мир двумя своими пустыми дырочками, ей фатально обеспечено место в бессмертной таблице Менделеева и в витрине исторического музея, а ежели виршам виршителя подфартит, так и лондонский аукцион Сотбис аукнется... в одной руке у виршителя – эстафетная палочка-выручалочка, в другой – пиджачок, фасонистый до вульгарности: тёмно-зелёное сукно расшито золотыми позументами, красные обшлага и воротник... палочкой шлёп да шлёп, вдохновенно пыль выбивается, моль убивается, без вдохновения стихотворцу в любом деле не обойтись, ни чихнуть даже, ни вычихнуть, а тут предстоящее мероприятие не чихом пахнет, господин губернатор устраивает высокаторжественный раут по случаю 350-летия ЖКХ России, и хоть виршитель наш – не ассенизатор и водовоз, но и он получил пригласительный билет с золотой вязью на дорогой веленовой бумаге, надобно идтить, может, на приёме давать чего-нибудь будут помимо грамот, концерта или обещаний, например, обед... ах, эта смирновская водочка! два раза ах – чёрный хлеб да селёdochка с луком! сало, отварная картошка, слов нет, одни слюни, но не каждый губернатор раскошелится на этакую деликатесную роскошь... – не то что в проклятом прошлом, при самодержавном сатрапстве и рабстве народов, когда вот это самое, аховое-разаховое, в придорожных трактирах являлось кучерам да ямщикам неременной обрыдлой закускою... и вот, значит, соберутся на рауте приглашенцы, все они из народа вышли и пришли в бомонд, влекомые “овечкой”, локомотивом истории на колесиках этого удивительного “О”...

Приличия побоку. Стреляться же не с кем. Дворянин вызывает только дворянина, равных нет, ссоры часты, дуэли редки, не косточки же с крыши бросать; лакеи выбились, точно пыль из камзола, в господа; сливками общества сделались шефы-таксисты и шефы-официанты; перед гостиничными администраторами и продавщицами ломают шапки, и какой-нибудь мелкий фификус (плут, от нем. Pfifficus) из ЖКХ, перескочивший из дворников в дворяне, из прислуги в “слуги народа”, пересевший из дворницкой в служебное “положение”, по привычке обслуживает и обслуживает, но уже только себя, любимого... о! где он, тот пушкинский приятель, князь Голицын, редчайший пример дворянина, который никогда не служил и до старости указывал в официальных бумагах: “недоросль”? умники и умницы, ведь даже в полубезумии уже было мудро замечено: “выбитый зуб есть значащее отсутствие”... так доколе же помалкивать будете, пращур, выглядывающие в ныне живущих изо всех пор, – до коих пор? молвите же, да вот хоть из дырочки в носке на левой пятке: от юности своя... От юности своя бех таков, что без сомнения могу рещи: лутче ми каковую либо пакость на себя понести, нежели видя, что бесполезно умолчати, и такова сия моя мнения...

Как будто посошок на дорожку... но вот какой сегодня день, какое сегодня число – не понимаю...

А холодильник в углу настойчиво урчал человеческим голосом предпоследнего клошара, зловонного бродяги из Булонского леса: “Кель жур сом-ну ожур-дюи? Лё комбьен сом-ну ожур-дюи? Мё компрёне-ву?..”

А закипевший от гнева чайник грозно насвистывал арию индийского гостя.

А из телевизора повалил дым, на экране горели подмосковные торфяники.

А трёхканальный радиодинамик “Маяк-202” вещал на одном из марсианских каналов, канала!

А настольная лампа с нажатием кнопочки начала крутить башкой, мигать на манер проблесковых маячков милицейских машин и выть при этом тем же дурным, правоохранительным вокализом.

И тогда я сел за стол – и написал решительно всё, что думаю по поводу всего этого безобразия.

Пишу, значит, и думаю: когда я совсем (или ещё не совсем) дойду (или же не дойду) до точки, то вдруг вспомню (а может быть и не вспомню), что забыл (или не забыл) сообщить очень (или не очень очень) важное: в какой день октября это безобразие приключилось? – но, вспомнив (или не вспомнив) о забытом (а может и не забытом), тут же и подумаю (или не подумаю): а – зачем? что от этой подробности переменится, а коли всё же переменится, так в какую сторону?.. когда пень за пнём, око за око, за далью даль, за Русью Русь, за грустью – то же самое... И я скажу напоследок: извините великодушно, господа, за столь долгий и сумбурный роман-с, за эту, если хотите, ещё одну петербургскую повесть. Уверяю вас, ничего подобного более не повторится, по крайней мере, в ближайшие вперёдсмотрящие годы, однако же за последующие – извините, не ручаюсь, ибо кто ж знает, каким манером всё сложится, образуется и утрясётся в том, ни уму ни сердцу непостижимом, постоянно убегающем времени? И как они, русаки с рысаками, будут жить там, далеко, через пару веков – подумать только: двести лет спустя!.. а когда подумаешь, так и фыркнешь: подумаешь, экая даль-невидадь! ну, и что? чего мы там не видали-то, двести лет спустя рукава?

1799 – 1999

Санкт-Петербург – Москва – Париж – Рим –
Петроград – Ленинград – Петровский Завод – Иркутск

ГОРШЕЧНИК И ГЛИНА

Вячеславу Кокорину

Позади, этапом пройденным и близким воспоминанием, остались: и розы из долины Саарона, любимые; и сааронские же пунцовые лилии, что странным образом растут только рядом с терновыми кустами; и маслиничные деревья; и апельсиновые сады вдоль дороги, огороженные от сорванцов колючими кактусами; и весь скорбный путь, Виа Долороса, все двенадцать станций, по которым шел Сын Человеческий на Голгофу — от цитадели Антония, где проживал Пилат и где свершилось судилище, до обнаженного холма, лысого и безжизненного, точно череп мертвеца... О, как это было величественно! Особенно в жутком промежутке между второй станцией, где Иисус поднял крест и понес, и третьей, где Иисус изнемог под тяжестью, рядом с грандиозной римской триумфальной аркой, у которой всадник Пилат указал на осужденного «сына божьего» и сказал: «Се человек!» Ах, как они смеялись, весь базарный люд, эти сапожники с красными башмаками на шестах, и горшечники со своими кружалами, вся улица хлебопеков, где булочки замешивали тесто для второй смены, тогда как первая еще томила в печках... А этот блистательный монолог! «Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе...» Так на фоне тридцати четырех башен крепостных стен Иерусалима говорил актер — как актер, но это было именно так, как требовал режиссер...

Спектакль благополучно скатывался к трагическому финалу. Все сценические действия и акты, кажется, удачно перемахнули через барьер театральной рампы в зрительный зал.

Кстати задаться вопросом: что такое провинциальный театр? Ответ кокетливо лежит на поверхности: это провинциальный театр, не более того. Вечно блуждающие звезды: резонеры, первые любовники, благородные отцы, инженеру и еще какие-то инженеру-

комик... Всё — как везде. Резонеры играют резонеров, то есть людей, которые очень любят рассуждать, но ничего не делают, потому что не хотят по причине неумения. А благородные отцы всегда играют отцов, хотя и не обязательно благородных. И всё сходит с рук. А что тут такого? Ничего необычного. Иногородние гастролеры — утопия. А дома и сцены помогают. Хотя в зале от скуки зевают не только люди, но даже двери и форточки... По клавишам разбитого «Бехштейна», национализированного в пользу трудового народа в 1918 году, неумело и не очень трезво ковыляет мелодия...

Такое возможно в любом провинциальном театре. В нашем — нет!

Новая эпоха. Новые драматурги. Новый режиссер. Новые актеры. Хотя, по правде говоря, и не было ничего особенно нового в том, что изо дня в день долбил главреж:

— Если в зрительный зал придет хоть один человек, значит, мир еще можно спасти от глобальной катастрофы, и поэтому наше лицедейство стоит свеч, ребята. Правда, при всем при этом важно и очень, очень желательно было бы знать достоверно: кто он такой — этот самый один?

Главрежа называли: гений. Главрежа называли: тиран. А он отмалчивался от характеристик.

Этого человека, казалось, пронзал стальной вертикальный стержень, распятие изнутри: перестав играть на сцене, он тотчас прекратил бы верить всему тому, что происходит в жизни. В этом маленьком, хрупком, лысеющем человеке пряталось нечто, трудно поддающееся определению. Вроде моцартианства, припудренного веселым безумием...

Но однажды, на юбилейном капустнике, его посадили в золотое бутафорское кресло и водрузили на голову корону. И тогда труппа определилась: в этом артисте — лысеющем, хрупком и маленьком — безвыходно накопилось величие и слабость всех шекспировских королей. Такое, впрочем, бывает не только у личностей. Слабость всех империй как раз и заключалась в их величии.

На центральную роль главреж двинул Гришаню. Тот был лучшим на курсе театрального училища, да и в труппе был самым заметным, так и не утомившим первичный голод лицедейства. Его любили — без разговоров.

— Ты обязан знать, за что судили Христа, — сказал Гришане главреж. — Не за инаковерие, как думаешь ты, нет. Его судили за подстрекательство к мятежу, к изменению существующего строя, то есть за государственное преступление, а это уже статья уголовная. Но вот, Гришаня, вопрос странный: как судили? И кто судил? Не светская власть. Не император Тиберий и не наместник Пилат. Кто же? Закон Моисея. Их же закон, иудейский, закон древней жестокости, но все же закон, согласно которому преступник должен был умереть. И опять неувязочка: если бы пунктуально следовали закону Моисея, то надо было бы Христа забросать камнями, как того требовал закон. Но Христа, осужденного по иудейскому закону, казнили римской казнью, назначенной для рабов, на кресте распяли, потому что меч был бы слишком высокой честью. Вот уж задачка, уравнение неравенств: суеверие-закон, знание-вера. Крест как скрещенье координатных осей. Или ветряная мельница?.. Ты понимаешь, о чем я толкую?

Гришаня кивнул.

— Не ври, Гришаня, — сказал главреж. — Ты еще не понимаешь. Ты чертовски талантливый актер, Гришаня, но, извини меня, еще не понимаешь этой свечи для игры, а нам без нее нельзя, нам надо сплясать, Гришаня, от свечки к свечке...

Гришаня молчал и не смотрел на главрежа. Он боялся, он не хотел проговориться глазами: если игра стоит свеч, то сколько стоит свеча для игры?

— А свеча не маяк, — продолжал главреж. — Маяк-то, Гришаня, чем ценен? Тем, что светит — и никаких гвоздей, всепогодное светопредставление, всем без исключения, чайным клиперам, крейсерам и шаландам с кефалью и без. Не то что некоторые... свечи, которые помигают, поморгают, а потом в отпуск пойдут, или спать, или замуж, или на минуточку, за угол, да там, за углом, и закончат свое просветительство мотыльковое...

Однажды, еще задолго до премьеры, сидели в мастерской театрального художника. Тот был обязан к сроку представить эскизы оформления спектакля, задать работу плотникам-столярам, костюмерам, работникам сцены, пошивочному цеху — и вот, не управился: выпал в осадок, говорили, запил горькую, говорили, заквасил по-черному. Пришли не инспектировать, упаси бог, не наставлять уму-разуму, пришли помочь, вытащить из загула. А у него — отходняк, величавей и яростней почина. Лицо как сажа

берлинская. Глаза — ультрамарин. Полосы поперек — вроде бы и не тельняшечка на нем, а мензурка с делениями, а в мензурке он сидит, собственной персоной, заспиртованный. «Ну, нате! — орал. — Если у тебя должность такая, чтобы без ножа резать! Так давай тогда! Режь, главреж, по живому, по еще чуть тепленькому! Режь, главреж, правду-матку! Только не ври мне своим трезвым ртом, что мы новым искусством ветхий режим режем с божьей помощью! Хрена! У нас, главреж, нормальный режим: как напьемся, так лежим...» Лицо белое. Глаза красные. Тельняшечка неизменная, полосатая. Художник, вылитый в атакующего морпеха. На полу, среди ломаных грифелей и углей, лежали в беспорядке куски картона с вариантами одного и того же рисунка: деревянный крест, на кресте человек, на груди которого — другой крест, нательный, а на том, нательном, тоже распятый человек, и на распятом опять крест, а на кресте — человек на кресте, и снова крест на человеке... «Что это? — вздрогнул главреж. — В бесконечность тянешь? В туннель? С микроскопом будешь работать? Не надо. Не углубляйся. Поворачивай назад, в обратную сторону. Из микро в макро. Но без телескопа. Оставь человека ростом в метр семьдесят. Большого от тебя не требуется. Гадость не пей. Вот деньги на опохмельный коньяк. Завтра жду в театре». На следующий день морпех вылился из художника и художник явился в театр с повинной.

...И грянул финал.

Небо еще оставалось всего лишь понятием верха и высоты, но земля уже была суха и печальна.

Последний звук продолжился оглушительной тишиной. Но то не ангел пролетел и не прокурор родился. В оглушительной тишине рождаются триумфы, а уж потом, после, рано или поздно к ним пристают аплодисменты, как репетиция пощечин, и пощечины, как репетиция аплодисментов.

И пошел занавес.

Девятнадцать минут (засекли по часам) бушевал, стоя, зрительный зал.

Никто не приказывал, не приглашал, не зазывал друг друга в одну, самую поместительную, грим-уборную. Но именно туда устремились триумфаторы, не сняв грим, парики и сценические костюмы: всадник Пилат и апостолы, и сапожники с красными башмаками, и горшечники с кувшинами, и хлебопеки с пресными

лепешками, и римские воины с короткими мечами и длинными пиками, и те галилейские женщины, эти милые провинциалочки с задворок великой империи — Мария Клеопа, Мария из Магдалы, Саломея, Иоанна... — они не покинули, в отличие от верных учеников, место казни учителя. Здесь же крутились электрики-осветители, машинисты сцены, морпех, вылитый из художника, музыканты оркестра во главе с пингвиноподобным дирижером, администраторы, билетерши и завтруппой, и какие-то самые шустрые журналисты с блокнотами и фотовспышками, самые счастливые, потому что несчастливым и невезучим достался узкий безнадежный коридор, в котором, между прочим, тоже можно было дышать воздухом триумфа.

Родовались по-ребячьи. Почтенный Симон Канаит, и рыженький, кроткий, женоподобный Иоанн, и горячий Петр, и недоверчивый Фома, и рассудительный Андрей, и могучий Иаков Алфеев... Легионер с пыльным лицом пустил по кругу сосуд с поской. Поска это вода с уксусом, обычный напиток воинов, жажду утоляющий и оберегающий от паразитов желудок и кишки. Губкой, смоченной в поске, четверть часа назад легионер помазал губы жаждущему Христу — на кончике копья, да тем же копьем — под ребро, в печень... Сосуд облит античностью, хотя и не был тем кувшином или горшком, который обжигали боги, показывая человеку, как это делается, но глина-то наверняка была той же самой (а другой глины, особой, не бывает!), из которой Саваоф слепил однажды свое игрушечное подобие...

— Как он кричал! — воскликнул недоверчивый Фома. — Это было гениально!

— Феноменально! — рявкнул горячий Петр.

— Первый приз Иисусу! — взвизгнул рассудительный Андрей.

— «Золотой Оскал» Иисусу! — прошептал электрик.

Вспышки блицев. Шум. Целования.

И только Мария из Магдалы была тиха и бледна — по роли, по характеру, по назначению-умолчанию: сухой и теплой ладонью гладить надписи на обелисках.

И сказала она, что Иисус кричал совсем не то, а что-то другое, не начертанное в текстах святого писания и в пьесе драматурга-новатора. «Суки! — кричал. — Что вы делаете, бляди? Ублюдки, в лоб вашу мать!..»

И стало так, как будто бы ничего в мире не стало. Лишь одно вселенское сердце, лишь одно сердце, лишь сердце — и ничего, кроме него, лишь сердца.

Это лишнее сердце, то, которое старше человечества, отсчитывало жизнь и время: время жизни и жизнь времени.

Не механический метроном откусывал от тишины равные дольки — сердце. Оно, как всегда, начинается с первого удара, за которым следует второй, третий — и вот оно начинает биться — за жизнь, а уж потом, после, спустя время, как рукава, на всё готовенькое, на готовенькое сердце рождается удивительно чистый, родства со вселенной не помнящий, человек.

Как туго закрученная пружина, сорвавшаяся со стопора, стремительно распрямлялось время — и с чудовищной скоростью мелькали десятилетия, века, эры...

В течение мгновений изнашивались красные башмаки; окаменевали свежие лепешки; ржавели и в прах рассыпались мечи; в тлен обращались одежды и целые империи; войны и революции заканчивались прежде, чем начинались; земная слава и посмертное величие приходили к младенцам, едва появившимся на свет; лики ликовали и превращались в суровые лица, а вечно молодые, не успевающие стареть, матери прижимали к сосцам иконы с изображением сыновей; напечатанные на бумаге слова шелестели в листьях еще не срубленных деревьев; и вино в дубовых бочках вздрагивало, когда крестьянин еще только высаживал юную лозу...

То ли время возвращало людям их начала и концы, то ли сами люди возвращались куда-то... Куда?

В сущности, что такое для вселенского сердца какая-то тысяча или две тысячи лет? Это даже не детский возраст.

Но всадник Понтий Пилат уже стоит в джинсах от «Леви Страус» и в альпийском свитере грубой кустарной вязки — от ста долларов и выше; и рублевый кувшин с посохой прикосновенно отпечатал на своих безграничных, на бесконечных своих боках пятипалые ликования электората «хрущоб», доживающих свой, отмеренный в проектной документации, срок — ничтожнее мига мгновения...

А через мгновение — опрокидывая и сминая корзины с цветами (номенклатурные, «семисезонные» розы и первые гладиолусы последних дней августа, месяца цезарей), выдавливая живое и

неживое из коридора, словно пасту из тюбика, толпа триумфаторов, мыча сомкнутыми ртами, ринулась на сцену.

Там было темно. Но где-то в неопределенной вышине, в густой закулисной пыли мигала одинокая лампочка, слабенькая, смутная, сорокасвечовая пародия на солнечное облучение, но всё же это был свет.

И был крест — рукотворный, добротный, сосновый, Т-образный, с нижней перекладиной для удобства распинаемого.

На кресте висел Гришаня.

БАБАНЯ И КАРАВАН

Вере Дунаевой

К Анне Сергеевне приехала дальняя родственница с дочкой.

Дочка Анжелка этим летом – с грехом пополам, с воплями да всё из-под маманиной тяжёлой руки – окончила среднюю школу в райцентре, не означенном на российских картах, как будто бы его не то чтоб на картах, а вообще на белом свете не было. Собралась Анжелка поступать в институт учиться на народную артистку РСФСР, да чтоб ещё и в цирке выступать в раздетом виде, а в самых модных костюмах рассказывать по телевизору населению всей страны про завтрашнюю погоду.

Дочкина мама, Лизавета Ивановна, в этом случае представляла собою надежду и опору, тыл и фронт в одном лице – вдалеке-то от дома, в чужом, почти что телевизорном, пугающем мире, в городе, почти что иностранном, где всё так жутко приманчиво и диковинно. Мама звала дочку «халда» и не отпускала от себя ни на шаг, боялась, что городские парни моментально изнасилуют Анжелку, но та только хмыкала в ответ на материны заботы и боязни, упирала крупные руки в крутые боки и говорила презрительно: «Ага, щас! Подавят-ся!»

Анна Сергеевна уже много лет не выходила из дому, когда-то у неё удар приключился, голова затяжелела, слух потерялся, ноги параличом разбило, и вот проводила она дни свои в инвалидной коляске, незаметная для самой себя и для скоропостижных девиц из собеса, которые кем-то прикреплялись и самовольно откреплялись... Сидела Анна Сергеевна в строгом и смирном виде, как правило – с закрытыми глазами, и ничто в ней как будто бы и не жило уже, кроме беззвучно подрагивающих губ: они были самыми живыми в Анне Сергеевне, сухие, сморщенные, им было много лет... Да ещё старая серо-дымчатая шаль на плечах.

Дальние родственницы уже в день приезда стали называть Анну Сергеевну совершенно по-родственному: баба Аня, а когда сели чай пить, так и вовсе перешли на свойский лад:

бабаня да бабаня, уж такие мы радые, что вас в этом кро-
мешном городе нашли, уж такие радые! – спасу нет, спасибо
добрым людям, надоумили, подсказали, что вы в самом цент-
ре проживаете, а первый, кто надоумил, так это нам дядя
Коля сказал, его в прошлом годе в нетрезвом виде на лесо-
повале трактор задавил до смерти, но он ещё в позапрош-
лом годе успел надоумить, сказал, дескать, ехайте прямо в
самый центр, там где-то в однокомнатной квартире наша
урождённая землячка баба Аня проживает, вы ей только про
меня да про нашу местность скажите, так она вам сразу вза-
место матери будет, и нашу халду приютит, и подсобит ей в
разных кинах и в телевизоре сниматься в роли артистки, всё
сделает эта баба Аня, если только ещё не померла, годов-то
ей, однако, уже под самую под сраку, может сто, а может и
все двести...

Анжелка ложечкой сахарный песок в чашку сыпет и сыпет,
сыпет и сыпет, струйкой тоненькой, расколдованной...

– Ты шибко-то не рассахаривайся тут, – заметила Лизавета
Ивановна.

Как тут фыркнула Анжелка! Рот ладошкой прихлопнула, за-
дохнулась от смеха.

– Ты чо это, халда?

– А ничо! Вспомнила...

– Кого вспомнила-то? Дядю Колю?

– Тебя вспомнила.

– Меня-то за чо?

– Да вот как ты давеча говорила... что из жопы песок сыпет-
ся... кое у кого-то...

– Кто говорил?

– Ты говорила.

– Я говорила? Ну, ты халда! Да я ж совсем не про того го-
ворила, у кого сыпется, про которого ты говоришь! Ну, хал-
да... Я про то говорила, что у нас в сельпе под прилавок всё
сыпется... Бабаня, это у нас в сельпе продавщица Нюська
такая безрукая, что у неё всё из рук сыпется, а ведь уже не
маленькая, двух мужей износила, трое малолеток на руках, а
третий мужик, Никитка непутёвый, на лесосплаве по-пьянке
потонул, корягой его в самую воронку затянуло, так и не наш-

ли... Такие дела, бабаня! А нам тут у вас глянется! Анжелка пускай на диванчике спит, не барыня, поди. А я, если можно, покудова в тёмной кладовочке устроюсь. И ладно будет, в тесноте, да не в обиде. Лишь бы как-нибудь Анжелку в артистки приспособить... Правда же?

Анна Сергеевна из каталки улыбнулась и согласно кивнула: правда! только что же вы так кричите мне в самое ухо, я-то уж не совсем такая глухая тетеря, как вам кажется...

На следующий день затеялась генеральная уборка квартиры.

И кухня засверкала чашками-ложками. И комната поновому вздохнула и задышала лёгкими, освежёнными тюлевыми занавесками. Зазвенела люстра хрустальными висюльками...

В кладовочке (по-городскому говоря, в «тёщиной комнате») Лизавета Ивановна возилась долго и старательно, чемоданов там и коробок разных скопилось невпроворот, и всё это барахло надо было вынести, перепотрошить, да при этом ещё и у Анны Сергеевны осведомляться.

– Валенки-то нам, бабаня, уже ни к чему, однако. Или чо?

Анна Сергеевна дремала, серую шальку свою ласково поглаживая. Анжелка на балконе с мокрой тряпкой возилась. Лизавета Ивановна в темнушкиных завалах весело чихала и при каждом чихе желала себе железного здоровья.

– Да здесь аж целый патефон хоронится! – кричала она между чихами. – И пластинок цельная коробка, тяжелющая... Это ж скоко им веков будет, бабаня? На помойку их ликвидируем или чо? Опять засунем?

Анна Сергеевна рукой показала: несите ко мне, рядышком с каталкой на стульчик поставьте, будьте любезны, если вас любезность не затруднит...

А вечером пили чай с мармеладом.

Анжелка перед Анной Сергеевной устроила генеральную репетицию творческого конкурса, который завтра должен состояться в учебном заведении, где молодое поколение обучают на артистов.

– Басня! Оригинальное представление! – объявила она громко-прегромко и с таким выражением, что даже висюльки на люстре вздрогнули, потом сгорбилась, нижнюю губу выпятила и загудела каким-то парнокопытным манером: – Идёт караван по пустыне... Топ-топ, топ-топ...

Затопала Анжелка по малому кругу, раскачиваясь вокруг незримой вертикали, в полном согласии с представлениями отдалённого, затерянного в таёжном безбрежье райцентровского драмкружка.

– Идёт и идёт караван, топ-топ, несёт в мешках песок...

Лизавета Ивановна смеялась, хлопала в ладоши и всё на Анну Сергеевну заглядывала сбоку наперёд:

– Ой, ну чистый же верблюд, как в телевизоре! Правда же, похоже, бабаня? Давай, топай шибче, халда! Старайся!

Анжелка старалась:

– Идёт караван по пустыне, топ-топ, несёт в мешках песок и разное говно...

Лизавета Ивановна чаем поперхнулась:

– Ты чо это, халда? Разве же можно говорить такие слова?

– А чо?

–Хрен через плечо! Некультурно говоришь, вот чо! Тем более, в глаза бабане...

– Да? А меня так в драмкружке учили!

– А тут тебе не кружок будет, а институт. А в институте твоё говно не пролезет. Правильно я говорю, бабаня?

Анна Сергеевна смотрела куда-то поверх голов дальних родственниц и молчала.

– Ладно, – сказала Анжелка. – Пусть будет один песок.

– И песок не надо! Тем более, в глаза!

– Тогда чо? – взорвалась Анжелка. – Чо они несут-то, те верблюды в тех мешках в той пустыне? Мармеладки, что ли? Бабаня, ну скажи этой мамке...

Анна Сергеевна кивнула.

И снова закружила Анжелка со старательным топотом:

– Идёт и идёт караван по пустыне, несёт в мешках один песок без никакого говна... Топ-топ, топ-топ...

Выпрямилась Анжелка, руки на груди перекрестила и отвесила поясной поклон: конец, стало быть, представлению.

И наступило молчание с переглядушками: мамка – на дочку, дочка – на мамку, и обе враз – на Анну Сергеевну уставились с вопросительным выражением.

И тогда спросила Анна Сергеевна голосом тишайшим, с запинкою:

– Это всё?

– Всё...

– А где же соль, девочка?

– Какая соль, бабаня? Откудова? Нету соли. И не было. Только песок. И немножко говна... Это всё мамка испортила!..

Тут же повздорили ближайшие родственницы, даже взрыднули со слезой, да и помирились – пред лицом завтрашних испытаний.

Анне Сергеевне помогли из каталки в постель перебраться. И сами уютно и чистенько устроились – Анжелка на диванчике, Лизавета Ивановна в «тёщиной комнате».

С утра мать с дочкой умчались в институт.

Возвращались после полудня – шумные и очень недовольные учебным заведением.

– Ну, тупые! – урчала Лизавета Ивановна. – И вот чо они к тебе клещами прицепились с этими верблюдами? Где ссуть, где ссуть? Да где ходють, там и ссуть!

– И не стыдно? – спросила Анжелка, на маманю уставившись.

– А чего стыдно? Они же ж верблюды!

– Ой, маманя, ну ты прямо как в том анекдоте, из которого мы в драмкружке целое представление сочинили... В комиссии не такие тупые, как ты ругаешься. Они про суть образа спрашивали. Про суть! Типа соли. Понятно? А мы в кружке про суть образа типа соли не говорили. Откудова я теперь знаю, какая там суть типа соли? А ты про это... про ссуть...

– Ой, да ну вас всех! Уржётся тут с вами со всеми...

Лизавета Ивановна входную дверь отпирала бабанькиным фигурным ключом и ворчала громкоголосо: и замок дурацкий, и ключик – то же самое...

– Но это ничо, Анжелка, ничо! Мы и без этих институтов уж как-нибудь в артистки выйдем! Главно дело, у нас тут, в самом центре, уже жилплощадь есть. Электричество есть! Вода

горячая! Уборная... Господи, да в такой уборной даже прожить можно! А ты в киоск устроишься! Замуж за местного парня выскочишь... А то вдруг ещё народный артист попадётся? Типа Хазанова!

– Ага, щас! – отвечала угрюмая Анжелка.

Входили в прихожую – вошли в музыку...

Волнисто шелестела она из-под иглы – да по кругу, да с запинкою, с милейшим заиканием, с трещинкой, словно кружевию графитного диска был необходимо нужен этот толчок с подпрыгом для нового витка...

*Мы странно встретились
и странно разойдёмся,
Улыбкой нежности
роман окончен наш.
Но если в памяти
мы к прошлому вернёмся,
То скажем: это
был мираж...*

В комнате, опираясь на стул с поющим патефоном, стояла Анна Сергеевна. Она была в белой нарядной блузке с кружевным бантом на груди. Чёрная атласная юбка до полу...острые носочки лакированных туфель... шляпка с вуалеткой... веер в руке, перья райских птиц... И старая серо-дымчатая шаль свернулась клубочком на полу...

– Бабаня! Ты чо это?

Бабаня сделала коротенький скользящий шажок и стала медленно, медленней медленного, кружиться вокруг незримой вертикали, в полной гармонии с граммофоном, со звуком, с трещинкой в фирменной мелодии, с чародейством на кончике иглы...

– Ведьма! Ой, ведьма... Она ж нас всех на свете переживёт, эта нечистая сила!.. Анжелка! Доставай чемоданы! Шевелись, халда!

Были сборы недолги.

Был старинный романс.

Была танцующая Анна Сергеевна.

Был пушистый котёнок – среди шумного бала случайно дремал – серый, дымчатый, задумчивый...

*Как иногда
в томительной пустыне
Мы видим образы
далёких чудных стран,
Но то лишь призраки,
и небо жгуче сине,
И вдаль бредёт
усталый караван...*

Захлопнули дверь далёкие ближайšie родственницы, загремели чемоданами вниз по лестнице.

– Погоди-ка, халда, – сказала Лизавета Ивановна.

– Чо-то забыла, мамка?

– Ничо!

Вернулась мамка к двери. Положила у порожка под коврик бабанин дурацкий ключик. Прислонилась ухом к дурацкому замочку. Замерла. Затаила дыхание, слушая звуки из глубины квартиры №33... Потом вздохнула, перекрестилась и решительно, размашисто и гулко, двинулась назад, к чемоданам этим дурацким: топ-топ...

...топ-топ, топ-топ, бредёт и бредёт, усталый, от заката рассвета, до рассвета заката...

ЗАГАДАВШИЙ ЖЕЛАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Со скоростью сказки? Да, именно так, как сказка не скоро скывается, так и движется жизнь живописца.

У него нежная фамилия, альковная: Прокрустов. Двусмысленная, однако. С одной стороны, в ней ложе поскрипывает, а с другой — ревматизм похрустывает и никаких нежностей. Однозначная седая борода. И ступени лестницы слишком круты для его сердца. Он уже, оказывается, очень, очень стар.

— Суперстар! Сверхзвезда! — говорили молодые художники.

Говорили, перемигиваясь, ужасно довольные найденным к случаю каламбуром. Им было безгранично весело, они неопытны, как котята, и могут позволить себе не только двусмысленность, но даже несчетное количество мыслей и, наоборот, полное их отсутствие. А ничего, пусть покуда легковесничают на двух струночках, пусть не дают отдыха праздным мыслям, со временем все утрясется, даже само время...

Это было минувшей зимой, на дне рождения Прокрустова. Худфонд со вздохом отслюнявил денежки на банкет. Девочка с челочкой и с первоклассным выражением декламировала:

Вам шестьдесят, но эта дата

Пускай не огорчает вас:

Для акробата — многовато,

Для живописца — в самый раз!

В самый раз, милая, в самый раз. Художники должны жить долго, и не только долго, но и на зависть молодым. Вон, как «зеркало русской революции»: аж на восьмом десятке принялся изучать древнееврейский язык, захотел читать Библию в подлиннике. И в таком же возрасте Гете влюбился без памяти в молоденькую Ульрику. Вот вам и суперстар, ребятишки. Дай вам бог, будущие звездюки и звездючки, этак прожить на белом свете...

О, этот белый! Белила свинцовые, цинковые, титановые, баритовые... Мел плавленный, молотый, болонский, шампанский...

Каолин, болюс, тальк, инфузорная земля... Ощущение нереальности. Подвенечная чистота и непорочность. Белокаменные города. Белые барыни. Белая изба: всего-то и достоинства, что протапливается не по-черному. Благоднейший из грибов. Белорыбица. Генеральские штаны. Белая кость. Береза. Восточный траур. Орденская католическая отрешенность от мира. Знак Духа. Флаг капитуляции. Амфир...

Утром приходил Тихон Шуман. Заложник имени своего и фамилии своей, не носит их — таскает с тоскою, постоянный раздрай. Идти ему недалеко, ногой подать — через лестничную площадку. Стоял Тихон, покачивался Шуман, бороздил разноцветную бороду пальцами-раскоряками.

— Поймал ветер! — объявил с порога заговорщицким шепотом. — Пошла работа, Прокрустов. Дай десятку. Ибо! Дрожит художника рука.

— Тиша, ты опять на пробку наступил? — спросил Прокрустов, отступая в глубь мастерской.

— А это, сударь, мое конституционное право!

— Ну, вот... Как говорится, ай-яй-яй, Тиша.

— Кем говорится? — заорал Шуман. — Такими же дураками, как ты? Так я им не верю. Дай пятерку.

— Зачем, Тиша?

— Пойду в худфонд. Куплю холст, кисти и лак. Напишу шедевральную вещь. Продам за валюту. Сочиню шедевральный банкет. Тебя приглашу. Дай трояк! Дрожит художника рука, но быстро сохнет политура...

— Тиша, ты меня не штурмуй, за ради Христа. Не надо. Между прочим, днем в Союзе будет отчетно-выборное собрание, явка обязательна. А во-вторых, в народе говорят, что ты полторы недели назад получил кругленький гонорар. И где же он?

Шуман обмяк.

— Не сыпь на рану, Прокрустов. Гонорар зарыл у тещи на огороде. В трехлитровой банке. Чтобы от тещиных глаз подальше. А где точно зарыл — убей бог, не помню. А потом... Весь огород, бляха, перерыл, как этот... как барсук. Нету банки! Можно сказать, тю-тю! А скоро вообще снегом засыплет. Одно утешение осталось, что будет из неё клад. Может быть, тебе достанется...

Дай рупь! Все ж таки я тебе, а не кому-нибудь другому свой клад завещаю.

Прокрустов молчал и грустно смотрел на Тихона, Тихон — на Прокрустова.

— Эх, ты, Прокрустов... Чтоб тебе тоже когда-нибудь так было, что ни дна, ни кружки, ни подружки...

Исчез Шуман, и стало тихо.

«Суета сует, — подумал Прокрустов. — Каждый день дребе-день, когда каждый день в драбадан, вдрызг и в стельку. А надо вытягиваться из запоя самолично, как Мюнхгаузен из болота, сам себя за волосы, да еще вместе с конем... А то вон до чего дображничался, что холста у него нету, видите ли...»

Прокрустов, шаркая шлепанцами, прошелся по мастерской. Остановился у стеллажа. Здесь хранятся заветные сокровища, берегаемые к урочному часу. Да, и холст может быть сокровищем. Репинская диагональ. Высококачественный лен. Обыкновенный. Грунтованный, эмульсионный... Рулоны, купленные лет двадцать назад на худфондовском комбинате в Подольске, качеством пожиже... Здесь, на стеллажах, все и всякие есть! И пожиже, и погуще. На антресолях складированы листы карельского картона для эскизов, выписывал специально с Кондопогской фабрики. Бумага! Нет проблем. Гознаковский ватман, родной, лучше, пожалуй, французского. Да и стопа французского имеется, Торшоновской фирмы. И голландский «Рембрандт», и превосходный гэдээровский... А на полке повыше, в огромных папках дожидается бумага офортная, акварельная, рисовальная... Господи, какое богатство! Коробки с гвоздиками и гвоздичками. Подрамники с клиньями, все из сухой выдержанной сосны, есть даже кедровые, которых смертельно боится моль. Рамки, рамы, рамища. Багет с левкасом, на казеиново-масляной основе, из подольских и мытищинских мастерских, высший сорт... Так что, по всем статьям и выходит: пора, Прокрустов, пора! Ведь даже Пушкин себя пришпоривал: пора, брат! И Тиль Уленшпигель некогда распевал с мясниками в борделе Куртрэ: «Пора звенеть бокалами!»

В середине дня в Союзе художников проходило отчетно-выборное собрание. Процент явки забыли подсчитать, потому

что всех потряс иной факт: в зале сидели сплошь трезвые люди, и это событие было не столько беспрецедентным, сколько событием вообще.

В докладе председателя много говорилось о задачах и проблемах, но упор делался на художническую миссию духовности. Похвалили Косточкина и Лапочкина.

— Кстати, товарищи, где у нас Лапочкин? — поинтересовался председатель.

— Запоздывает, — ответил Косточкин. — У него сегодня как раз духовное свидание с архиереем. Это не хухры-мухры.

К середине отчета ревизионной комиссии прибыл Лапочкин. Он благоухал.

— Шипер! — объяснил он, протискиваясь в проходе поближе к Косточкину. — Спокойно, товарищи.

Мог бы и не объяснять. Товарищи знали: если Лапочкин четко не выговаривает простое русское слово «Шипр», то значит уже полумертвецки пьян.

Собрание подвигалось своим чередом. Но председатель что-то занервничал. Постучал карандашом по графину и — к Косточкину, персонально:

— Если ваш товарищ Лапочкин заснул на собрании, то это еще полбеды. Но зачем так беспардонно распускать по бороде колоритные свои сопли? Вытрите товарищу.

— Зачем? — возмутился Косточкин. — Мне его сопли абсолютно не мешают. А если вам мешают, так вы и вытирайте. Да!

Председатель обреченно махнул рукой: чёрт с вами...

— Ладно. Переходим к прениям. Кто хочет выступить? Давайте, товарищи, поактивнее.

С активностью обычно бывало туговато, но тут к удовольствию председателя в зале немедленно выросла рука.

— Даю вам голос. Прошу.

— А Лапочкин вообще обосрался! — радостно сообщил голос.

— Попрошу к порядку, — смутился председатель.

Все носы разом развернулись в сторону Лапочкина.

— Гнусная клевета, — сказал соседний Косточкин. — Просто Лапочкин духовно ранимый, его каждый дурак может легко обидеть. Прошу оскорбление занести в протокол.

Стихийно возникла дискуссия — чего в Лапочкине больше на текущий момент: духа или духовности? Решили: духа. Но дух тяжелый.

Союзные дамы принялись пальчиками зажимать носы и в шахматном порядке падать в обморок. Кое-кто пробирался к выходу.

— Слабонервным здесь не место, — презрительно сказал Косточкин.

— Всем сидеть! — рявкнул председатель. — Что будем делать, товарищи?

— А что делать? Вывести Лапочкина — и все дела! — раздались солидарные голоса, громкие, но с приглушенными выражениями, мотивированными типа «мать его...» — А то сами уйдем!

— Вопрос созрел, — сказал председатель. — Но кто отважится вывести Лапочкина на свежий воздух и в безопасное для нас место? Есть такие добровольцы? Нет таких добровольцев. Так, может, поручим это богоугодное дело товарищу Косточкину?

— А при чем тут Косточкин? — закричал Косточкин. — Чуть что, так сразу Косточкин, Косточкин... Как во Францию ехать с делегацией, так Косточкина нема! А как разным говном заниматься, так сразу давайте Косточкина! Но пасаран, господа!

Решили так: пусть самый молодой член Союза художников эвакуирует Лапочкина из помещения и отведет за два квартала, но лучше за четыре.

— Хорошо. Ставлю на голосование. Кто за?

Все за. Кроме Косточкина. И Лапочкина.

Когда молодой вернулся, собрание еще не закончилось, но уже подходило к концу, обсуждался последний пункт постановления: о самобытности и духовности плюс о духовности и культуре вообще, что первично, что вторично — питание или воспитание?

— Эвакуировал? — спросили молодого.

— Так точно.

— Есть ли гарантия, что лапочкин дух снова сюда не заявится?

— Не заявится, — бодро сказал молодой. — У него в кармане еще один флакон «Шипра». Непочатый.

— Эх, — сказали творцы чуть ли не хором, — молодой, молодой! Плохо же ты еще Лапочкина знаешь. Юноша ты еще, зеленый...

О, этот зеленый! Воронская и чешская глины. Зелень хромовая, изумрудная, швейфуртская, малахитовая, медянка... Ислам. Гринпис, зеленый мир, партия алкоголиков, однако... Тоска. Хирургические халаты...

Прокрустов возвращался в мастерскую с ощущением необычного подъема, легкости. Не беда, что о нем, старом художнике, вообще забыли упомянуть в докладе, как будто бы не было и нет на свете Прокрустова. Пусть! Прокрустов совсем не желает иметь ничего общего с этими суетливыми людьми, погрязшими в пустопорожней болтовне. Какой-то Лапочкин... Какой-то Косточкин... Или этот биполярный Тихон Шуман. Пришел-таки на собрание, значит, не выкопал клад. Эх, кладовщик, кладовщик... Какой из него кладовщик, когда у самого не то что на флакон одеколона, но даже на приличную кисточку капиталу недостает? Бухой, вечно бухой. И не просто вечно, а очень. Великий бухой, можно сказать. По-немецки так и выходит: гроссбух...

В отдельном шкафу Прокрустов хранил кисти. Десятилетиями собирал... Круглые, плоские, широкие флейцы... Все номера: от 0,5 до 10. От беличьих, что нежней полета, до барсучьих и из свиной щетины. В коробках. В пакетах. Обернутые вощеной бумагой. Десятки, сотни, тысячи. Со всего света... Слава китайцам! Это они набивают вручную кисти колонковые и беличьи. Штучная работа, превосходящая изделия голландских и французских мастеров... Качеством похуже — ушной волос, сурок, бобер, росомаха... Всё в дело пойдет у Прокрустова. Всё наготове.

Штабеля нераспечатанных коробок с золотыми эмблемами знаменитых карандашных фирм: чехословацкий «Кохинор», голландский «Рембрандт»... Сангину и акварель Прокрустов привозил из Ленинграда, тамошний завод художественных красок — лучший в мире... Пастель и сепия из Нидерландов, растертый на клею пигмент, уголь, этот скромный, но ближайший родственник алмаза...

Художник любовно гладил кончиками пальцев коробки и коробочки. Он любил их наизусть. Хотя и не знал, сколько их здесь по счету. Зачем? Он знал другое: достаточно, уже вполне достаточно для того, чтобы приниматься, наконец, за ту единственную работу, которая потрясет мир, да так потрясет, что старые боги вывалятся из золотых багетов. Пусть другие живописцы, тот же Шуман, пользуются успехами от выставки до выставки, от продаж, от шумных застолий, где попеременно расточают похвалы и топоры, от гляцевых каталогов с присутствием собственных физиономий. Пусть. Это их дело. Но в искусстве есть не сиюминутная жизнь, служенье суете не терпит муз, хотя и кормит удачных неудачников... Неудача — это всегда сиротинка горькая, тогда как удача имеет многих отцов, но она улыбается терпеливым. Так вот! Мой посуду, если хочешь немедленно видеть плоды своего труда. Да! Но и это удовольствие, увы, не оставишь на черный день...

О, этот черный! Слоновая кость, виноградный пигмент, ламповая сажа, чернь кобальтовая... Самый сложный цвет, мистический и официальный. Час ночных злодеяний. Гибельный ворон: что-то он накаркает? Простолюдство. Дурной глаз. Курная изба с банькою. Избабанька! Грубая работа. Пиратство... Анна Каренина на балу. Смерть. Тайна — прельстительная и страшная. Коко Шанель...

Зачем Тихон что-то лепетал про подружку? Черт побери, да была, была у Прокрустова подружка, и не одна, наверное, с добрый и недобрый десяток, приходили, уходили, Прокрустов ни одну особенно не задерживал, зачем? Жены в возрасте внучек? Положи свои белые руки на мою захудалую грудь? Чушь какая.

Последняя женщина, две пятилетки назад, беспрестанно ёрзала на стуле, всё торопилась куда-то, всё ей некогда, у нее, видите ли, на плите каша... Ну, посиди же спокойно, Танька-встанька, посиди, пока Прокрустов закончит этюд, положит на картон отблеск твоей прелести. Нет же! Ей, дурочке, не хватает каких-то несчастных пяти минут для жизни в вечности.

— Отдай мне, Прокрустов, эту непоседливую бабу, — предложил однажды график-офортисст Немамин. — Всё равно ведь ты их

меняешь, как медь на серебрушки. А у меня, сам знаешь, полная напряжёнка с семейной жизнью. Пусть ко мне переезжает. Вместе с кашей.

И переехала Танька-встанька. Из одного подъезда дома — в другой. К Немамину. А что такое, спрашивается, Немамин? Подарок? Увы. Блядун из блядунов, каких поискать надо, да не сыщешь.

— Бабу увести, — говорил, — очень даже просто. Как всякая женщина, она любит ушами. И я буду говорить! Это будет не человеческая речь, а ангельское воркование. Или даже так: божественно-дьявольское бормотанье. Непонятное! Но, как всякая женщина, она еще и любопытна. Ей невтерпеж захочется узнать смысл моего говорения хотя бы для того, чтобы смеяться или плакать в тех местах, где нужно. И я поведу ее на этой цепочке.

Подруги не глядели Немамину в рот. А жаль. Там существовали чудовищно испорченные зубы, профессиональное отличие офортистов: испарения азотной кислоты пожирают эмаль...

В результате получилась дикая женская ревность — и сиганула кашеварка Таня с пятого этажа. А как раз в это время Немамин возвращался в мастерскую, с ночного сеанса на дому у какой-то очередной натурщицы. Татьяна и приземлилась ему прямо на голову. График скончался на месте. А самоубивица даже царапины не получила... Сейчас кашеварит у отставного полковника военоторговского обличья, и фамилия у полковника подходящая: Полканов. Полтора центнера требухи. Как он таскает такой требник — уму непостижимо. Да тут ум даже не нужен. Сидит на пенсии, ходит в ковбойских подтяжках, малюет букеты: белые розы, алые маки. Выставлял однажды натюрморт, неряшливый и грустный, точно остатки холостяцкого ужина... Господи ты боже ж мой, да откуда же ему, этому малюте, мазиле и маляве, знать свет черной фасоли в зеленом стручке или запах жареного на оливковом масле лука с изрядной порцией тертого чеснока? Запах итальянской живописной кухни — и военоторговская каша? Как гений и злодейство... А вот и проскочило. Приняли самодельщика в профессиональный Союз. Да и как не принять? Союзное руководство отоваривал тушенкой и сгущенкой... Молодые на том приемном собрании веселились, вспоминая знаменитый указ Петра Великого, согласно которому

высочайше повелевалось всех незаконнорожденных, сиречь выблядков, записывать в сословие художников... Вот вам и творческая интеллигенция в чистом виде. Какая прослойка? Толстый слой, бутерброд: белый хлеб на черном хлебе с зеленым пёрышком лука и живописью черной икрой по красной икре...

О, этот красный! Он не виноват, что звучит, словно музыка. Поццуола, пигменты венецианские, английские, индийские. Капут мортуум. Оранжевый марс. Киноварь. Сурик. Мареновый, ализариновый и карминный лаки. «Драконова кровь»... Чудовищная многосмысленность, безграничность гранёного стакана, этого великого дизайнерского произведения Веры Мухиной, наряду, конечно, с «Рабочим и колхозницей»... Цвет императоров и палачей. Аристократический пурпур. Мышечная сила. Протест и вольнодумство. И дурость рядышком... «Глуп, как кармазин», — говорят французы. Дурак на Руси. Зато и звон малиновый. И красна девка. Угол, лавка, словцо, строка... Фонарь. Огнеопасный петух. Кумач. Революция. Площадь. Идеология. Казимир Малевич. Эстетика парадов третьего рейха — с вкраплениями черно-золотого. Величие, достаток и власть — малиновые пиджаки советских делегаций, выезжающих на загнивающий Запад... Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного!

Конечно, домашняя кашка — это прелестно, спору нет. Но вся загвоздка не в самой кашке, а в ее домашности.

Жилплощадь с пропиской у Прокрустова имеется. Однокомнатная квартирка на окраине города, в спальном микрорайоне. Там, в четырех стенах, чисто и пусто. Там, в сущности, можно присутствовать, но жить нельзя. А живет там кошка Стервеза. Потому Прокрустов обязан навещать жилплощадь систематически, с запасом свежемороженых рыбок.

Пришел как-то в прошлом году... Дверь взломана. А чего тут красть? Нечего. Кроме Стервезы. И слава богу, что не пришлось по такому случаю биться головой о стенку какую-нибудь, импортную. На одиноком кухонном столике лежала пятитысячная купюра и записочка от грабителя: «Папаша! Так бедно жить в нашей стране нельзя. Будь человеком!»

Легко сказать: будь... Как Лапочкин и Косточкин? Как полковник Полканов? Или вот еще один: Цвейтков. О, этот Цвейтков всем ягодкам ягодка! Куда ни придешь — он уже там сидит. Причем за любым столом размещается как в президиуме. В собственной мастерской он гость редкий. Всё больше в горсовете да горкоме — настойчиво и целеустремленно напоминает о себе. О званиях хлопочет, о наградах, премиях. Недавно красную ленту с дипломом получил: «Почетный гражданин». Радёшенек до слез. А молодые зубоскалы — тут как тут: наш Цвейтков, дескать, почётный только по чётным дням недели, например, вторник или четверг, а по нечётным — так самый заурядный и рядовой гражданин, простой советский человек, то есть дерьмо обыкновенное... Грубо и неприлично острят эти молодые. Но вот чего никак не отнимешь у Цвейткова, так это его выдающейся привязанности к одиннадцатой заповеди: «Не зевай!» Уж он-то не зевает. Музей имени собственного удостоился получить от городских властей. Картинки там тухлые: утро над Родиной, пионеры на привале, новый день над Родиной, трубоукладчики на привале... зато обстановка мемориальная: в стеклянных витринах — кисти Цвейткова, палитры Цвейткова, фотографии с младенческих лет, на пластмассовых плечиках навешаны пиджаки и рубашки Цвейткова, да все с табличками: «Штиблеты худ. Цвейткова первых послевоенных лет», «Столовый прибор и бритва безопасная, которыми пользовался худ. Цвейтков в период между XIX и XXII съездами КПСС»... У парадного входа в двухэтажный особнячок разбили сквер с фонтаном — на средства, оставшиеся от коммунистического субботника. «Забил народная струя!» — возгласила городская газета. И молодые зубоскалы снова оказались тут как тут — со своим нечестивым комментарием...

Да, у Прокрустова тоже кое-что имеется за стеклом. В старом поместительном шкафу, на полочках, ровными рядками, с этикеточками... Кое-что. Так ведь не штиблеты же! Бальзамы: венецианский, страсбургский, канадский, мягкая манильская элеме... Смолы: ископаемые, твердые, канифоль отвержденная, мастикс, даммара, шеллак, сандарак, янтарь, смолы искусственные... Асфальты: сирийский, тринидадский, каучук... Воска: пчелиный, карнаубский, горный, японский, парафин... Зачем столько всего? А надо! И мастихины с нежнейшими стальными язычками. Шпатели для грунтовок... Этюдники: советские деревянные, француз-

ские пластмассовые, эти хороши, но если, не приведи господь, грохнутся наземь, так уж не починишь...

Подкрадывались сумерки, но Прокрустов не зажигал света. В темноте хорошо побыть одному, если ты взрослый.

Он подошел к окну — и охнул: медленно-медленно-медленно нисходил на землю первый, ранний в этом году, снег. Это был даже не снег, а лишь понятие о снеге, настолько он казался нереальным... Черно-белые законные профили обозначались, словно рисунки на рисовой бумаге. Уличный фонарь у подъезда еще не светился, рано ему светиться, и он стоял, жалкий и нелепый, с поникшей головой, как обгоревшая спичка, готовый к свету, но не светящийся, еще не нужный, но уже в чем-то виноватый... Какая тут к чёрту диалектика? Все эти мгновения — и сумеречный свет, и робкая снежность, и чёткая тушь на рисовой бумаге, и фонарь, и завтрашний утренний звук под ногами спешащих людей, звук — он же и скрип, он же и скрипка... и следы, жучка за внучкой, детка за дедкой, человек за судьбой... — все эти мгновения уже после физики... После! Мета! Никакой взаимосвязи. Каждый миг — сам по себе. Множество — как звезд — статичных картин... Смотри: нечего тут останавливать! Снег идет? Ошибаешься. Он — есть.

Да, так вот, опять об одной музейной истории. Речь не о Цвейткове. Об Артеме, художнике, который, кажется, не продал ни одной картины. Раздавал, раздаривал, разбазаривал.

Мастерскую Артем оборудовал в вонючем подвале многоэтажки, выгородив там приличное пространство среди фановых труб, стояков каких-то, кранов, вентилях и прочих коммуникационных премудростей. Там всегда что-то визжало, хлюпало, хрипело, свистело, журчало... Дом жил. Значит, и подвал жил. А в подвале жил Артем.

Участковый милиционер его не тревожил. Участковый, откровенно говоря, побаивался этих бородатых мужиков, которые называли себя живописцами, с ними невозможно было разговаривать официальным языком, от них всегда разило за версту, точно от целого винокуренного завода, а чем разило? — не

докажешь. Эти бородатые всегда насмежаются: «Разбавители, дескать, разжижители...»

Артем попивал стихийно и безобразно, но как-то вдруг стало — регулярно и с аккуратностью. Перемена случилась после того, как он приютил у себя на зиму одного бомжа. Пожалел беднягу, квартировавшего в канализационном колодце.

— Пошли, — сказал ему. — Поживи по-человечьи.

Артем день-деньской просиживал в подвале, писал картинки и к стене оборотной стороной прислонял.

Бомж Серафим по прозвищу Японский Бог пропадал в городе, к вечеру являлся с провизией, с непременно благодарственной бутылочкой, в карманах даже кой-какая мелочишка побрякивала. Приволок однажды с далекой помойки древние напольные часы с кукушкой. Артем прыгал от восторга: уникальная вещь, музейная.

— А ты, — говорил Серафим, — зря-то не прыгай. Ты, это самое, японский бог, лучше сыми с меня патрет в рамке.

— С тебя портрет не выйдет, — смеялся Артем. — Энтузиазма в тебе много, а статуса нету.

— Как это нету? Живу под крышей. Как все прочие, по магазинам хожу. Особенно люблю «Радиотовары». Там, японский бог, одних телевизоров штук десять зараз работают, на разных каналах. Я смотрю. Кина разные. Про политику. В общем, не отрываюсь. А летом у меня даже профессия есть. Это я в компаниях анекдоты рассказываю. Ни разу за это дело не привлекался. А уж я этих анекдотов... миллион знаю. Сымай патрет!

Шебуршистый мужичок был, этот Серафим. Сидят, бывало, вечерают, и вдруг ему скучно стало.

— Пойду, — говорит, — похлопочу насчет драчки, японский бог!

Глядишь, через пять минут его уже кто-нибудь молотит.

Так и зимовали.

Артем, например, пальцем краску по полотну размазывает, поправляет что-то ему одному ведомое. А Серафим аккуратненько, не по-босяцки разливает.

— Плохо ли, хорошо ли живем, — в такт мазкам чревовещает Артем, боясь речью спугнуть живописательную пальпацию, — но

перво-наперво человеку надо штоф принять. Это уж сам бог так сказал.

— Не брешы, Артемушка, я так не говорил, — отзывался Японский Бог. — Перво-наперво это совесть. У кого ее нету, так тому вся жизнь есть сплошной граммофон. А нам это надо?

Зарезали Серафима в самом начале весны. Кто, зачем и почему — дело темное. Видать, на какой-нибудь помойке бичи не поделили территорию влияния. А дожил бы Серафим до тепла, так сам вольно стронулся бы с зимовья в маршрут, не отмеченный на картах: птицы оттуда — сюда, а бродяжья душа — наоборот, как будто бы небесным странникам на замену да чтоб пути на земле и над землей не пустовали в одиночестве, в противном случае они вообще не имели бы права называться путями...

Вот тогда и взревел Артем от тоски безлюдия...

А потом в вонючий подвал пришла женщина. Амбрэ английской лаванды фирмы «Ярдлэй». Кашемировый платок на плечах. Не губы, а вишневый ликер... Кто, откуда эта черно-лиловая при свечах ренуаровская мадам Шарпантье?

— Знакомьтесь, — говорил Артем приходившим приятелям. — Жена. Моё, так сказать, сокровище.

— И где же ты его откопал? — спрашивали.

— Да вот, проживала сама по себе, в каком-то Кривом Рагу. Где это Рагу, не знаю. И вот, понимаешь, приехала... Криво-рожица моя. Между прочим, без ума от искусства, друзья мои!

Кромешное счастье обрушилось на Артема. Лежит на тахте, читает «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, а криво-рожица печет блины или оладушки. В углу ссутулился целый куль картошки, можно драники жарить на постном масле хоть каждый день. В конце концов, есть кому сказать по-семейному: «Взбодри-ка подушечку, моя дорогая»...

Одна нескладуха получалась: женщина даже смотреть на бутылку не могла, тошнило бедную женщину.

— Ты пойми, — говорил Артем, — пристрастие к выпивке накладывает на артиста определенный шарм, подогретый изнутри...

— Да? А я чо-то не вижу шармов, ни подогретых, ни перегретых. Я вижу, Артемон, что у тебя после пьянки на лицо как

будто бы прямая кишка выведена. Прямо вылитый квазиморда из романа французского писателя Виктора Гюго.

— Ах, вот как ты заговорила? Ну, хорошо. Только знай, прелестная моя, что чем больше ты сужаешь бровки на своём скрупулезном личике, тем шире мои устремления к свободе. Раздевайся, девочка, в позу Кармен!

Жили и были. Криворожица, прекрасная в своей антиалкогольной ярости, словно Пассионария, пекла пассионарные блины. Артем красил картинки и к стенке прислонял.

Однажды рано поутру, то есть еще не опохмелившись, посмотрел Артем на спящую мадам Шарпантье и к ужасу своему обнаружил: лысые глаза, без ресничек, без бровей, и губы не вишневым ликером, а два худеньких бледных продукта из пачки под названием «Пельмени домашние»... Как же так? Кто из них больший рисовальщик? Она? Или он, изображавший переводную картинку в виде карминной Кармен и сиреневой Сирены?

Задумался Артем и позабыл опохмелиться. К середине дня прекратил пристально присматриваться — стал прислушиваться. Оказалось, очень много потустороннего говорит криворожица!

— Хочу, — говорит, — немедленно мальчика! И хочу нашего мальчика отдать в школу для дефицитных детей!

Так: когда говорят жёны, музы молчат.

— Во время моей работы, — заорал Артем, — не смей мне мешать, мадам!

Вечером часы с кукушкой отбили у вечности еще один какой-то кусочек времени, и вылетела птичка, совершенно трезвая, и сказала птичка: «Ку-ку, остановись, мгновенье, пройдем в отделенье!» Мгновенье остановилось, дохнуло на ладонь живописца — и растворилось легко и беспечально, так, что не осталось после этого «ку-ку» ни птички, ни Серафимовых башенных часов, ни Артема.

Никто его больше в городе не видел — ни через месяц, ни через год, ни через два... Между прочим, ровно через два года бородатые личности и бритые джентльмены, окруженные дамами в изысканном трауре, явились к подъезду дома, из подвала которого бесследно исчез Артем. Явились с белыми и красными розами в корзиночках, с мегафоном и прочими митинговыми причиндалами. Случились тут волнительные речи, сострадательные, полные слёзного восторга объяснения в любви к тому, в

светлую память которого привинтили тотчас мраморную мемориальную доску к дому, совершенно не приспособленному для размещения мемориальных досок типа «Здесь жил и творил...» Первая скрипка из камерного оркестра вступила в торжество сонатой Грига до минор... И на шикарном концертном рояле — под открытым-то небом! — сентиментальный, как старый блюз, джазист на черно-белом поле изыскивал и собирал в единый букет изощренную композицию Кола Портера «Когда ты вернешься»...

Жильцы дома высыпали во двор, слушали, смотрели, пожимали плечами, покачивали головами: «Это ж надо! А мы и не заметили такого знаменитого соседа...»

Подвал, конечно же, оставили в покое, на прежнем попечении жилищно-коммунального хозяйства, потому что к тому времени супруга знаменитого живописца получила просторную квартиру в новостройке, подходящую как для жилья, так и для мемориального музея. Стены жилища увешали картинами Артема. Криворожица в лиловом хитоне давала интервью, рассказывала о детстве, отрочестве и юности художника, водила по музею-квартире группы экскурсантов, которых становилось всё больше и больше, так что хозяйке Худфонд определил должностной оклад. В Москве и за рубежом один за другим издавались альбомы и монографии маститых искусствоведов о творчестве гениального мастера...

Но вот что-то поскрипывало странностью в этой, на первый взгляд, обыкновенной истории. Первый звоночек — пожар в музейной квартире. Хозяйка после пожара будто бы кому-то (кому?) чуть ли не протокольно дала показания: якобы среди ночи вдруг заявился одиночный любитель живописи, она ему дверей не открыла, дескать, завтра приходите, обслужу по расписанию работы; после чего посетитель сам аккуратно открыл дверь, вошел и сказал: здравствуй, мадам, это я! меня никто нигде не узнаёт, а ты узнаёшь? — на что хозяйка ответила: я тоже не узнаю; тогда этот человек спросил: а мадам Шарпантье из Кривого Рагу помнишь? а блины с кабачковой икрой припоминаешь? — и она сказала: да, блины припоминаю, а вас, товарищ, нет; тогда посетитель обозвал все развешенные картины дерьмом, снимал их со стен, аккуратно сложил посреди зала и сделал костёр; и ушел на английский манер; а хозяйка в чем

была, в том и прибежала к соседям, которые вызвали пожарку; квартира, если не считать копоти, не пострадала, но картины сгорели все до единой...

Погорелица то ли рехнулась на нервной почве, то ли еще что, однако вскоре бросила все дела и укатила на родное пепелище, в свое Кривое Рагу. И правильно сделала, как заметили знатоки, пересудчики и толкователи из художественно-озабоченных салонов. В противном случае криворожицу, многолико вписанную в Артемовы спаленные и еще живые, в чужих руках пирующие картины, постигла бы участь рано умерших обеих жен Рембрандта, и рубенсовской супруги в образах Мадонны, и герцогини Альба, знаменитой «махи» великого Гойи... даже у портретиста средней руки Ильюшки Глазунова жена-красавица из рода Бенуа недавно выбросилась из окна...

В появление же Артема и верили, и не верили. Кто-то вдруг вспомнил, что ему показалось, будто бы сам Артем во время мемориальных торжеств у подъезда собственной персоной стоял в толпе жильцов дома, да, стоял, представьте себе, абсолютно трезвый, слушал речи с музыкой, хлопал, как весь народ, в ладоши и даже ушами, и ухмылялся при этом шире собственной бороды. И хотя никто лично в упор не видел Артема, как и раньше не замечал, в салонно-кухонных разговорах установилась все же одна точка зрения: никуда Артем не исчезал, точнее, не совсем исчез, вернее, не весь исчез... короче говоря, плюнул к чертовой матери на мгновенную жизнь и ударился в диалектику, устроив с изобретательностью маньяка настоящую охоту на свои метафизические картинки, где бы и у кого бы они ни находились: скупает, ворует, режет бритвой, обливает серной кислотой... В Саратове якобы у давнишнего приятеля Артема случайно сохраненный этюдик вдруг ни с того ни с сего в один момент сужился и осыпался... Что тут скажешь? Мистика какая-то. «А никакой мистики, — говорили в иных кругах, реалистических, прокуренных и проспиртованных. — Зазнался наш Артем после смерти. Вот что такое слава, господа...» Но факт оставался фактом: чем меньше оставалось подлинников, тем они становились дороже в цене. Появились копии, подделки. Для халтурщиков пробил звездный час...

Прокрустов поёжился. Он-то знал: подделать картинки Артема практически невозможно. Ибо: подвальная живопись неповторима. Она создается вопреки всему и всем. Она возникает из известного опозитизированного «сора». Из сюра, который не расфасован в тубики, не разлит во флаконы, не свернут в рулоны... Окурком — томатным соусом от бывших килек — по картонке от знаменитой фабрики «Скороход» или по фанерке от почтовых ящиков, абсолютно не засекреченных Министерством среднего машиностроения... — попробуй-ка!

Прокрустов попробовал. Сделал-таки копийку — не копеечную, конфиденциальный заказ, оплаченный валютой. Работа как в аптеке. Глаз как ватерпас. Подделка — высший класс. Да-с... Но это был не Артем. Вот потому и поёжился Прокрустов.

Он никогда не пел оду халтуре. Он знает ей цену: от одного до нескольких нулей, цепочка этакая. Но впереди нулей — цифирка, вызывающая: ни дня без халтуры! и не так страшен черт, как его малюют! жить-то надо? надо! а чистому искусству настанет свой черед, никуда он не денется, придет, голубчик, и когда он придет, тот срок, тогда уж сам черт пожрет своих малюток и подавится, и все прошлые грехи с грешками, выпавшими для пропитания, исчезнут, и настоящее с будущим предстанут возвышенным и взвешенным — если уж не как в аптеке (к чему эти лавочные жаргоны?), то, по крайней мере, — как в театре, от которого, кстати, есть что позаимствовать не только всеобщему искусству, но даже самой истории: в Ла Скала, например, к новому сезону всегда меняют абсолютно все декорации, а старые демонстративно сжигают.

Прокрустов по собственному опыту знал, что его заказчик никогда не стал бы фыркать, дескать, чего это вы такое говно нарисовали? — нет, не фыркнет только потому, что у художника был всегда наготове ответ: чего заказали, то и нарисовал, однако ваших шуток, товарищ, по поводу изображения вождя лично я не разделяю... Таких диалогов никогда не было. Не было на языке. Было в уме.

Фасад многоэтажки с подкрышной мастерской Прокрустова был развернут таким удивительным образом, что выходил сразу на три улицы, «дом на трех ветрах», называли его. Потому и не было ничего удивительного в том, что райкомовское начальство издавна определило этот фасад для монументальной наглядной

агитации. В канун праздников окна аж целых трех этажей закрывался портретом вождя. Квартиры лишались солнечного света, в дневное время бешено крутились электросчетчики, однако жильцы, как правило, не отваживались заявлять о том, что им все эти партийно-советские художества, как говорится, «до лампочки», что им так жить неудобно, что даже канарейки сходят с ума, что есть, наконец, права человека, а экономика должна быть экономной... Народ стеснялся. И начальство делало для жильцов кой-какие послабления в оплате счетов за потребление электроэнергии, спасибо ему.

«Золотую жилу» эту разрабатывал Прокрустов. Единолично, как член Союза художников, с единодушного одобрения Худфонда и санкции партийных и прочих органов. Много лет разрабатывал, без сучка, без задоринки. Работа не пыльная, не муторная. Моментальная монументальность. Или монументальная моментальность. В первооснове — обычная фотография и эпидиаскоп. Огромный портрет собирался из двенадцати «мозаичин», каждая из которых писалась в самостоятельной раме. Столярные работы делались в мастерских Худфонда, оттуда же привозили холст и краски. Райком денег не жалел. И хотя лица вождей никогда не старели даже на морщинку, они старели «на ордена», и портреты писались и писались заново, к новому празднику, очередному юбилею, последующему торжеству. А старые портреты кому нужны? Партии и народу? Херушки. Музею? Еще более херушки. Никому не нужны. Кроме Прокрустова. Все побывавшие в употреблении рамы с холстом он тащил к себе в мастерскую и определял в дальний угол: пусть пылятся, придет время — пригодятся.

И однажды пригодились. Поступил очередной заказ. В мастерскую привезли свеженькие рамы с туго натянутым холстом, жаждающим кисти художника. Так вот: не дождался тот холст кисти художника, а угодил прямиком в его обширные запасники. Вместо новых блоков-«мозаичин» Прокрустов использовал старые, уже бывшие в употреблении. С оборотной стороны. Как умудрился? А это уже фокус мастера.

Днем портрет смонтировали на фасаде. Райкомовский секретарь, объезжавший особо значимые идеологические объекты, произведение одобрил. Он сказал весомо, убедительно, с партийной принципиальностью и прямотой: «Похож. Очень, очень

похож. Прямо, знаете ли, как живой!» И уехал на черном «членовозе».

А вечером город зажег огни. И квартирсыемщики, укрытые портретом, — тоже... К восьми вечера у дома «на трех ветрах» ликовала толпа! Потом съехались милиция, скорая помощь, пожарная команда, партийное руководство, славные советские чекисты.

Днем-то все было ясно, кто именно с фасада лично смотрел на народ: Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, председатель Совета обороны, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, лауреат Международной Ленинской премии, член Союза писателей СССР, выдающийся деятель КПСС, Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, пламенный борец за мир и социальный прогресс, последовательный марксист-ленинец Леонид Ильич Брежнев. Вот такая у вождя наглядная книга жизни!

А вышло вот что: смотришь в книгу, а видишь фигу.

На дремучей марксовой бороде светлым клинышком обозначилась ленинская бородка... губы не персонифицированы и принадлежали, скорей всего, профессиональному боксеру-тяжеловесу после двенадцатого раунда, зато над этими расплывчатыми беспартийными губами нависли знаменитые, во всем мире узнаваемые усы генералиссимуса всех времен и народов... нос картошкой, и щёки, и четкая бородавка — это уже от Никиты Сергеевича... глаза! они неизъяснимы и глубоки, даже провальны, зато с лукаво разбежавшимися морщинками от Владимира Ильича, а над ними — днепропетровская чернобровость товарища Брежнева, подчеркивавшая нижнюю границу огромного ленинского лба, который, как известно, своим голым пространством уходил в затылок, но здесь он никуда не уходил, потому что всеобщее лицо жестко обрамляло меховое обличье Карла Маркса, его львиные локоны, небрежно спадавшие на маршальские погоны...

Именно так и выглядел гигантский портрет, освещенный спереди и подсвеченный сзади: одновременный аверс и реверс великопостной копеечки, две стороны одной медали, которые нечаянной волей творца и прихотью просвещения электри-

ческого наложились друг на друга — покруче Фауста, забавней калейдоскопа... Экран. Кадрик. Из тех кадровиков, которые решают всё... Кино — да и только. Бровеносец в потёмках.

Генсека, во всём его многостороннем великолепии, сняли утром. К обеду слетел с должности райкомовский идеолог. И... всё! И никаких ЧП, а если что и было, так это всяк понимал по своему, в меру своей испорченности и интеллекта, но в любом случае — уже не как Чрезвычайное Происшествие, а, скорее, как Час Пик или Частное Предпринимательство... Время, что ли, подступило такое, в котором позволялось безвинно прицениваться ко всему, что происходило вокруг да около: с одной стороны, так, а с другой — и вовсе этак... Жизнь грустная — зарплата веселая. Зарплата грустная — жизнь веселая. Две грусти, как и два веселья, вместе не живут, обязательно разбегутся наизнанку, затаятся там, где шиворот-навыворот, и ждут не дождутся случая, когда им приспичит поменяться местами. «Время Ч», как говорят военные. Или так, по-гражданскому: время — чо? Но это «чо?» вовсе не из тургеневского накануне. Классик явно устарел, и его поправили с очаровательной детской непосредственностью и нахальством неопитов. Широко известный в узких кругах московский прозаик П., уроженец города К. на великой сибирской реке Е., всего лишь усугубил Тургенева: «накануне накануне» — и, кажется, угодил в «яблочко», угодил и времени, и пространству, и замечательному российскому речению про то, что повторение — обязательно мать чего-нибудь...

— Ну, что, Айвазовский? — строго сказали Прокрустову пришедшие в мастерскую чекисты, молодые товарищи со смеющимися глазами. — Значит, говоришь, перелицевал?

— Перелицевал, — обреченно отвечал Прокрустов голосом, уже пребывающим в Крестах или в Матросской Тишине. И добавил из соответствующего фольклора: — Жадность фраера сгубила, товарищи.

— Ладно, кукрыниксы, дышите глубже. Вот вам бумажка, ручка, садитесь и пишите всё подробненько, как у вас выскочило на свет божий такое, извините за выражение, ноу-хау.

Прокрустову подмигнула мыслишка, моментальная: ага, вот так, сначала извиняются, а потом с улыбочкой возьмут и... расстреляют! Но мыслишка — моментальная же! — выскочила из

головы. Нет, эти чекисты не похожи на чекистов. Они похожи на молодых художников.

Он сел и написал объяснение. И рука не дрожала. И чекисты, не похожие на чекистов, ушли, пожелав Прокрустову дальнейших творческих успехов и счастья в личной жизни.

...Утренний Тихон Шуман вспомнился поздне-вечернему Прокрустову. Даже не столько Тихон Шуман, сколько его суета сует... И даже — не его суета сует, а то самое томление духа, о котором ветхозаветно вещал Екклесиаст, царь над Израилем в Иерусалиме. Правильно вещал. Всё так. Но! Так-то оно так, с одной стороны. А с другой? Конечно, не царское это дело растолковывать изнанку собственной мудрости. А в изнанке — математические тождества, про которые царь, возможно, и не знал. Опять же, с другой стороны, откуда ему всё знать? Он же царь. Зато мы, тутошние и теперешние, на зубок усвоили: от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. И если жизнь — это суета, пыль и прах, то справедливо и так утвердить, что прах это жизнь, и пыль это жизнь, и суета это жизнь, и следует уважить и возлюбить эти слагаемые, и служить им, и, увидев, что мир есть суета сует, сказать на весь свет, что это хорошо...

Так сказал Соловейчик.

Соловейчику можно верить, потому что Соловейчик и возлюбил, и уважил, и служит верой и правдою всем слагаемым мира сего.

На улице, в магазинной очереди, в коридоре поликлиники, на всех видах городского транспорта, в базарной толкучке, днем и ночью, в томлении духа или уже опохмеленный... всегда и везде неудержимый Соловейчик находит предмет своего поклонения.

— Ах, какие ушки! Ах, какой носик! И откуда же у вас, донна мадонна, такой подбородочек? Такой овал! Такая ангельская ямочка! Оооо! А хотите, чаровница, вас увековечит живописец Соловейчик?

И слева зайдет, и справа забежит, и спереди, и сзади, и глазом прищуренным — снизу вверх, сверху вниз... Женщинам нравится. Правда, они пытаются нрав свой скрывать и довольно часто отвечают намеренной и потому преувеличенной, несоразмерной

грубостью. Но та грубость еще пуще распаляет Соловейчика. Он, кстати, вывел одну презабавную особенность женской ругани. Вот, скажем, дамочка извергает в лицо Соловейчику бескомпромиссное: нахал! Ладно, пусть нахал, но ведь как это бывает сказано? Во-первых, в любом однозначном ругательстве дамочки делают такое акцентированное ударение на последнем слоге, что этот слог чуть ли не попискивает, что само по себе является очень трогательным моментом. А во-вторых, после женских ругательных слов никогда интонационно не возникает утверждающий восклицательный знак. Всегда — вопросительный. И это требует продолжения диалога, хотя бы для того, чтобы снять подозрительный смысл с таких соловейчиковых слов, как ланиты, перси и чресла.

Однажды Соловейчику принесли под расписку повестку в райсуд. Пришел к означенному времени. Суть дела: одна донна-мадонна оказалась яростной феминисткой и подала иск о защите от посягательства и домогательства в публичном месте; привела с собою полтора десятка общественных защитниц, среди них были даже очень хорошенькие, с носиками и овалами. И Соловейчик воспарил. Женщина-нарсудья и две народные заседательницы поначалу нервничали, потом впали в транс. Это когда Соловейчику дали последнее слово подсудимого.

Около полутора часов длилось соло Соловейчика. Про мать-природу. Про Вселенную, про планету Земля. Про пять земных континентов. Про страны подсолнечного мира...

— Обратите внимание, — говорил Соловейчик, — все названия имеют женский род! Так скажите мне, гражданка нарсударыня и весь собравшийся прекрасный пол, скажите мне, разве могла природа сотворить вас, своих младших сестер, уродами? О, нет! И как же мне, живописцу, тем более, хоме-более-менее-сапиенсу, не пригубить эту вечную возлюбленную натуру?! О-о-о! Я вижу на вашем тонком, алебастровой чистоты лице полное непротвление...

— Не переходите на личности, — хрипло прошептала нарсударыня, у нее голос подсел на какую-то не ту, не юридическую, ступеньку.

— О, нет! Это мой профессиональный долг! Мой крест, если хотите! И я его понесу! Даже на каторгу! Ибо говорю вам, сестры возлюбленные, что путь к женскому сердцу просто так лежать не

должен! Закуйте меня в кандалы, жены-мироносицы! Отправьте меня на вечную мерзлоту, где даже дикие мамонты вымерли! Но весь я не умру! Душа в заветной лире из плена убежит опять в судебный зал, где столько чистых глаз, и женская судьба, как ласточка трепещет, но эта птица я... редкая, долетевшая до середины сами знаете куда...

Феминистки рыдали. А главная из них, искательница правозащиты, подала ответчику пластмассовый стаканчик с минеральной водой «Ессентуки № 20». Смущенно подала, даже растерянно. И Соловейчик хищно впился губами в протянутую руку.

После зачитки оправдательного приговора зал устроил овацию. На Соловейчика посыпались обескураженные букеты, приготовленные, видать, совсем на другой триумф. Нарсударыня по-матерински, уже вне протокола, напутствовала живописца на такое же дальнейшее служение Музе изобразительного искусства. Потом Соловейчика кидали в небо, как космонавта. Вдыхала лишь одна из народных заседательниц, та, что крайняя правая, плоская, в мужском пиджаке; ей хотелось вздохнуть полной грудью, но приходилось вздыхать только тем, что есть; во всё время судебного заседания она не говорила ничего, кроме единственной фразы: «Тогда пускай женится!», говорила неоднократно и строго, но к ее мнению никто не прислушался.

...Стук в дверь вернул Прокрустова в привычное вечернее одиночество. Само по себе оно вроде бы и не ощущается как одиночество и предстает в своем смурном обличье лишь тогда, когда извне кто-нибудь даст знать о себе — звуком ли, светом или дымом отечества... вот тогда одиночество и распадается на свои слагаемые: ода — один — инок — ночь — очи — честь — отчество — отчество твое... Вот что такое, оказывается, одиночество. Но разве это плохо? Один на один. Художник — тем более. Один в квадрате.

Стучат в дверь ногою. Так приходят только свои.

Конечно же, это Тихону Шуману нейдет. Кроме него, никому. Наверняка, Тихон Шуман снова написал картинку, о которой будут говорить и спорить, и купят, разумеется, за приличные деньги. А может — и клад отыскал! Всё может быть у этого Тихона Шумана, который сначала орёт, потом на шепот переходит, а бывает и наоборот... И что же будет?

Войдет Тихон Шуман и скажет... Да ничего он не скажет! Подойдет к зеркалу полюбоваться на свежий синяк под глазом. Под левым. Или под правым. Впрочем, неважно, под каким. Важен не синяк как факт. Важен его колорит...

О, этот синий! Берлинская лазурь, горная... Ультрамарин, кобальт, смальта, индиго, египетский пигмент... Размышления. Прелестное ничто. Беспокойство. А рядом — голубая меланхолия. А рядом — сирень пылких страстей. Надземность. Аметистовый амулет за щеками папы Римского и кардиналов его — чтоб не пьянеть от вина. Зинаида Гиппиус. Демонизм, пряность. Китайские «дутики» на барахолке...

И задаст Прокрустов неперемный вопрос: «Опять заусило, Тиша?» И ответит поздний гость: «Ну!» — «И что же ты будешь делать, милый, с этими заусенцами? Как дальше жить? Небось, опять поклонников своих ублажать на дармовщину?» И скажет Шуман обычное: «А никак не собираюсь! Пить не приглашают, а коли драку затевают, так всегда с меня, суки, начинают!» А потом он станет бороздить бородищу пальцами-раскоряками и тихо-тихо говорить о Гоголе, который слишком долго готовился к постройке храма, очищал себя до полной прозрачности и заживо истлел в юродстве... Дался же Тихону этот Гоголь, человек, оставивший с носом всех, кто до сих пор желает познать тайну самосожжения... Но Тиша потом обрушится гневом на закупочную комиссию, вообще на всех этих долбанных покупателей-перекупщиков, на которых ему, вообще-то, наплевать по-гамбургскому счету, потому что, например, миллионер, купивший Рембрандта, всё равно никогда не станет хозяином картины: «Тот, кто понял, даже нищий, тот и хозяин, почти равный Рембрандту», — скажет Тихон Шуман и попросит стаканчик до завтрашнего утра, у него вечно посуда куда-то исчезает. И выделит Прокрустов стаканчик. И Шуман, конечно же, примется рассказывать, как он откопал клад или, может быть, получил за новую картину старые деньги, — и тут же, вокруг денег, возникла новая или старая компания, и он потащил всех в кафешку «Ландыш серебристый» или в пивной бар «У крошки Цахеса», а на входе компанию встретил амбал с биркой «Секьюрити» и обозвал всех товарищей алкашами, на что

Тихон Шуман возразил культурно и даже не очень громко, мол, лично у него — ни в одном глазу, бог тому свидетель, а чтобы было в одном, тем более в двух, то тут размах нужен, а «секьюрити» ехидно переспросил: «Ни в одном глазу, говоришь? Ладно, один момент!» — и врезал Шуману в глаз, а потом выскочили на улицу другие моменты с этими... с ебанитовыми дубинками, представляешь, Прокрустов? — выскочили и отхорохорили всю компанию, а лично Тихону вложили в задницу и по ребрам столько... «Сколько?» — спросит Прокрустов. Но Шуман не станет отвечать. Шуман не силен в физике, чтобы популярно объяснить: вложили ему столько отрицательных и положительных зарядов, что стал он искриться, трещать, как лабораторные лейденские банки, и даже притягивать к себе окружающее население... «Жопа тоже вся синяя, — скажет Шуман. — Вот такой у нас соц-реализм, Прокрустов, получается, что теперь даже сесть на седалище не могу. Так что волей-неволей придется стоймя стоять. Так вот я и думаю: а чего зря стоять? Постою за принципы. Постою за мольбертом. Может, оно и к лучшему выйдет. Может, поймаю ветер, напишу шедевральную вещь, продам за валюту, сочиню шедевральный банкет... Дрожит художника рука, но быстро сохнет политура! Ладно, пойду, а то опять забыл тубики закрутить...» Ну, вот, что иного может сказать этот Тихон Шуман, предсказуемый, как ветер, от сильного до умеренного, да только не тот ветер, что надувается прогнозами гидромета, но тот, о котором призывно вещал царь-проповедник: и возвращается ветер на круги свои...

Стук в дверь повторился.

«Ну, и что же ты еще мог бы добавить, Тиша?» — подумал Прокрустов, открывая дверь.

На пороге стоял... На пороге стоял Артем.

Странно: Прокрустов нисколько тому не удивился. Очень странно: Артем, по-видимому, возомнил, что виделся с Прокрустовым не далее как на сегодняшнем собрании в Союзе, ни здрасьте от него, ни привета. Еще более странно: и почему же никто не признает в Артеме Артема, если он ни на граммюлю не изменился?

Вошел. Подошвы вытер о коврик. Сел в алюминиевое креслице у окна. Закурил. Вытянул ноги... Кивком головы обратил внимание Прокрустова к старинным напольным часам, Серафимовой башенке, которую самолично приволок сюда из своего подвала перед исчезновением: кукуют? Прокрустов кивнул утвердительно: а что, дескать, им еще остается делать?

Молча: да мало ли чем еще занимаются кукушки на нашей земле, Прокрустов?

Молча: да ты хоть скажи чего-нибудь языком, Артемушка? онемел, что ли?

Молча: не онемел, просто слова жалею.

Молча: и как же ты живешь, Артемушка?

Молча: а так и живу, свободный, как веник...

Молча: почему веник-то?

Молча: а кому они сейчас нужны? у всех, поди, пылесосы, а еще я живу, Прокрустов, трезвый, как этот... как опять веник...

Молча: да отчего снова веник?

Молча: а где ты когда-нибудь видел пьяный веник?..

Вот так и поговорили, ни словечка не обронив. В темноте. Лишь один фонарь под окнами.

Уходя, Артем задержался возле поставленного к окну большого мольберта. Высшая категория. С отвесом. На шарикоподшипниках. Чуть пальчиком тронешь — и поехали... Куда, Прокрустов? — А поживем, так увидим, Артемушка!

На полу, у креслица, от мокрых ботинок позднего гостя осталась лужица, даже не лужица, а кривые следки, удивительным образом похожие на начальные буквы имени ботинковладельца: АРТ...

С вечера напружиненные стрелки часов отбили у вечности еще толику времени.

Вот, идут себе и идут, приближают конец века, а концы веков всегда были колыбелью для новорожденных гениев, но концы эти уж очень коротенькие, укладываются, может быть, в какие-то несколько часов до будущего и являют собой те самые узкие врата, сквозь которые в грядущий век войдет не каждый, загадавший желание.

Прокрустов приготовил постель ко сну. Разделся. Он был спокоен и почти счастлив. До его будущего оставалось несколько часов сна. И придет день, к которому, считай, всю жизнь готовился. Он безмятежно уснет, и явится очередной из цветных снов, сопровождающих его издавна, с тех пор, когда он, маленький, научился отличать сон от яви.

Это всегда были удивительные, колоритные и загадочные видения, особенно в последнее время — от стреляющей по чеховскому умыслу «Авроры» до собственного мавзолея, сложенного в виде шалаша из блоков злополучного брежневского портрета. А на днях явилось и вовсе что-то чудненькое. Как будто бы вся Прибалтика протянулась перед ним, она маленькая, а он — Гулливер; как будто бы утро, и море мутное, каким оно бывает после шторма; и был пустынный галечный берег, нескончаемый, а морская гладь, уходя к горизонту, постепенно превращалась в сплошные орденские ленты, планочки этикие, разноцветные, радужные... а по берегу будто бы идет женщина, она протягивает руки, и руки продолжают радугой, обнимающей землю за крутой бочок; женщина громко-громко, на всю Прибалтику, шепчет: здравствуй, Прокрустов, я хочу родить от тебя желтый телефончик...

О, этот желтый! Охры, жженные сиены, умбры, марсы, кадмий... пигменты неаполитанский, стронциановый, хромовый, индийский, ганзейский, шафрановый, стиль де грен... Медовая сочность янтаря. Майка лидера. Сари индийской невесты. Кофта Маяковского. Газетная дрянь. Измена. Активный дискомфорт и кончики пальцев, обожженные йодом... но как тогда объяснить, что именно желтая настурция хранит тайны влюбленных?

В углу мастерской, где в чистоте и порядке содержалось собрание разнокалиберных бутылок темного стекла, самоваров, подсвечников, поддужных бронзовых колокольчиков и прочих натурный фондик, на стене со временем образовался иконостас святого Луки, покровителя художников, явившегося миру первым, кто изобразил Богородицу с младенцем Иисусом на руках. Иконостас как бы сам по себе составил из обрамленных альбомных репродукций, одна к одной — так и получился красный

уголок. И старинную, зеленого стекла лампаду приладил туда Прокрустов. Масла в ней на доньшке, однако до утра хватит. Надо зажечь...

Ровно горит льняной фитилек. Многоликий апостол глядит на Прокрустова. Вот он, по виду чистый татарин с усишками жиденькими, из Остромирова евангелия. Рядом устроился галичвольинский Лука, седой старичок на скамеечке перед конторкой... Ростовский парный портрет Луки и Марка... Лик вполне современного мужика — это уже с Новгородской иконы четырнадцатого века... Московский Лука с образом святой Софии у правого плеча... Еще московские, в синих одеждах... А этот смахивает на нынешнего председателя Союза: редкие волосики на голове, голый подбородок, усы, уходящие в подобие бакенбард...

Что вывести из такого множества ипостасей? Вывести-то можно, только вот страшноватенько выводить, когда имеешь уйму прав на ошибку. Но мысль быстрая и дума долгая обозначают нечто: если отношения гениальных художников с Богом можно обозначить как связь косвенную, то матери этих художников причастны Богу непосредственно, *et homo factus est*, как обозначено на листочке, прикнопленном к иконостасу, — и сделан человек, и у каждого своя мама и свой Назарет. И еще: если ты и впрямь художник и хочешь прежде своего суждения о мире написать его картину, так, значит, пиши, и тогда место твоего пребывания станет центром этого мира, твоим собственным Назаретом, оставайся в нем до конца, не твое это дело топтать сандалиями чужедальние земли, на то уже были добровольцы — апостолы и крестоносцы...

Прокрустов закрыл глаза и тотчас представил холст на подрамнике, приготовленный к завтрашней работе. Там, в правом верхнем углу, Прокрустов позавчера прогулялся толстым фаберовским карандашом, поколдовал, понанизывал словечки, одно к другому: *успеть — спеть (созреть) — от лат. spes (надежда) — успех от успети (устар.) — успенье (?)...*

«Успею», — подумал.

И заснул с умиротворенной улыбкой, с лицом торжественным и благообразным. Потому что время вышло. И это не печально. Это, наоборот, хорошо, как хорошо всякое начало, не обремененное итогами и мучительными промежутками с грозно нахмуренными вопросами: если вышло время, так куда же оно пойдет?

И снилась ему музыка цветов. Размер бесконечности. Аккорды палевых кистей лещины начинали симфонию. Они то и дело перебивались зимней позёмкой белых хлопьев жимолости. Но постепенно всё вошло в весну. Вот она, юная. Колышется розовое марево тamarисков, курится лёгкое облачко леспедций. Мощным «тутти» вступают фиолетовые колокольцы павловний. Мягче, ещё мягче... Белые пуховки спирей. И вот уже — оранжевые и розовые обертоны цветущей колквитции, фрезовый дым миндаля, шелковистость мальвы, сочная кремовость магнолий...

Ночью Прокрустов умер.

ПРО ЛЯГУШКУ ГУЛЯШКУ И ГЕНИЯ ЕВГЕНИЯ

На белом свете, в зелёном цвете, в зелёном цвете с малахитовыми пупырышками, с бирюзовыми крапинками, жила-была лягушка по имени Гуляшка. Гулять любила, потому и Гуляшка. А ещё она всеми фибрами и жабрами обожала свою малую родину, да и про большую не забывала: где-то там, далеко-далеко, после ста миллионов нечеловеческих прыжков, расположилась самая высокая на белом свете, самая изумрудная в зелёном цвете кочка, посредине кочки — цветочки... Гуляшка мечтательно закрывала глаза и нежно произносила заветное слово:

— Москва-ква-ква...

Глаза у Гуляшки уродились большими, красивыми, но в то же время какими-то беспризорными, как у Надежды Константиновны Крупской, верной супруги всего мирового пролетариата. А губы у Гуляшки — как у итальянской кинозвезды Софи Лорен, даже чуть пошире, как у двух Софи.

Гуляшка очень нравилась сама себе. Она подолгу смотрела на своё отражение в акватории и звучно благодарила маму и папу за то, что они сочинили её такой замечательной красавицей: хоть в манекенщицы иди, хоть в фотомодели, хоть в Софи Лорен, хоть в продавщицы сливочного мороженого. Можно и песенки петь по телевизору. А почему бы и нет? «Наши бабы лучше АББЫ», — говорит заведующий сельским клубом, человеческий мужчина, культурный и малопьющий. Это правильно. Но если бы этот зав был полным и последовательным патриотом, то похвалу из его ответственных уст получили бы не только млекопитающие бабы, но даже простые российские земноводные типа жабы, что вполне соответствует диалектике природы и происхождению видов.

Однажды Гуляшка отправилась на речку, поплавать, на песочке поваляться, на солнышке позагорать. Кстати сказать, на пляжище людей она не ходила, не уважала, там стекла битого навалом, шум-гам, волейбол, кричат магнитофоны, трещат кусты, в чистой воде стирают грязные носки и купают автомобили. Это нехорошо. Это душу воротит. Душа этого не принимает. А душа у Гуляшки нежная, кругленькая такая, прячется в пятке, то в левой, то в правой, и боится щекотки, а уж про битое стекло и подавно говорить нечего.

Выбрала Гуляшка укромное местечко, под лопухом лопушистеньким, разлеглась, как Софи Лорен, очки с тёмными стёклышками водрузила, чтобы солнце не слезило её фантастические глаза с томной поволокой. Окружающая среда не мешала. О, совсем наоборот! Проходят мимо танки Т-62: «Здравия желаем, Гуляшка!» Пролетают в небесах международные воздушные шарики: «Хэллоу, леди!» Проплывают селезень с селезёнкой: «Кря-кря, кралечка в крапинку!»

И вдруг слышит Гуляшка интересный вопрос:

— Ну, и как сегодня водичка? Не шибко холодная?

Гуляшка открыла глаза и видит: возвышается над ней молодец, добрый ли, не добрый — сразу не разберёшь, но в сказанных словах проглядывает хулиганство.

— Послушайте, товарищ проходимец! — возмутилась Гуляшка. — Я лежу здесь не как термометр или ещё какой-нибудь градусник по Цельсию и Реомюру. Я лежу здесь как простая женщина по своему личному интересу.

— Ни фиги себе! — сказал проходимец. — Верной дорогой лежишь, однако.

У Гуляшки даже очки вспотели от обиды.

— Мужчина, что вы такое говорите? Боже мой, какой ужасный ужас!

— Ну, уж нет! — сказал мужчина. — Ты это брось мне тута фигурировать. Ужасы у ней... Чо такое? Вся страна упирается, с семи утра до восемнадцати ноль-ноль вечера, от молодых ногтей до мозга костей, всё население аж дрожит от энтузиазма соревнования. А вот некоторые, например, под лопухами разлагаются, им наплевать и хоть бы хны. Это называется любовь к отеческим гробам? Или будем только и делать, что любоваться своей томной волокитой?

Смутилась Гуляшка, услышав от проходимца такую искреннюю судебную речь.

— А вы-то, — говорит, — сами-то чем занимаетесь на белом свете и в каком цвете?

— А мы, — отвечает проходимец, — уж не болты болтаем. Потому что мы — обыкновенный гений Евгений. Так не я лично говорю. Так говорит местное народное население. И даже сам завклубом. Я ему аттракцион придумал, как разбить лоб об яйцо.

Ему все призы и достались. Уж такой радый был! Даже мой патрет в клубе повесил...

Проходимец не врал. Зачем ему врать? Ему и так сельчане не шибко верили. Сомневались. Когда придумал подводные шахматы — сомневались. Когда изобрёл новую букву в русском алфавите — тоже сомневались. «Какое ей будет название?» — спрашивали ехидно. А какое ей ещё название, когда звук буквин был сложно-неопределённым, потому что издавался не ртом, а совсем другим отверстием, противоположным? Может быть, так она и будет называться, эта новая буква, — простодушно, безумно и безыдейно: пуква... А взять новые ворота? Тоже ведь дело проходимциного ума: ворота не распахивались на обе стороны, как пальто или книжка, но падали на землю наподобие моста и закрывали набуксованную яму. Конечно, эту яму можно было бы просто засыпать гравием, но в таком случае изобретение потеряло бы всякий смысл, а смысл был прямо-таки переполнен изящным остроумием: подъехала, например, машина ЗИЛ-130, бампером в ворота тюк! — ворота плавненько на землю шлёп! — и добро пожаловать, скатертью дорожка, и всем хорошо — машине, яме и воротам, вот только хозяин, как всегда, забывал снова прислонить ворота к столбам... В общем, такая образовалась тенденция: верить проходимцу сельчане опасались, но уважать — уважали и говорили с призрением: гений. Гений не возражал.

Как и все нормальные гении, наш проходимец нервничал по любому поводу и без. Как все гении, он старался опередить всякую насмешку в свой адрес и потому на всякий случай обижал окружающее население. Как все гении, в свободное от безработицы время он жаждал: утром пиво, днём бражка, вечером самогон или цветочный одеколон «Лютики», ночью водка, утром пиво... Играй, гормон!

Он играл, и вот доигрался до рандеву с Гуляшкой.

Вот какое дело случилось. Сельские жители были мелкообразованные и считали, что их картошку в подвалах жрут лягушки.

— Неправда ваша, — возразил гений. — У лягушек нет зубов.

Люди посмотрели на него с большим интересом:

— Докажи!

Гений пошел искать лягушку как факт природы. А встретил Гуляшку, которая про гениальность проходимцину — как говорится, не слыхивала ни ухом, ни нюхом, ни брюхом и даже ни в зуб ногой.

— Кстати, о зубах, — сказал гений после короткого знакомства на берегу. — Открой-ка рот. Да поширше.

— Мужчина, — строго сказала Гуляшка, — я тащусь от вас не знаю куда. Я даже вся дрожу от энтузиазма узнать, зачем вам мои зубы, когда у меня их сроду не было.

— А покажи, чего нету, — настаивал гений Евгений.

И Гуляшка показала то, чего у ней сроду не было. Гений засмеялся, как ненормальный, в ладошки захолопал.

— Ага! Теперь оппоненты, к тому же глупые, как пробки, больше не станут спорить против факта! Кстати, о пробках... Ты можешь в принцессу оборотиться?

— Могу, — сказала Гуляшка.

И оборотилась. Уж такая стала девица-прелестница! Только что в сказке сказать.

Ещё пуще обрадовался гений.

— А щас, — говорит, — дай мне, как человеческая женщина, мал-мало рубликов десять на хотя бы жигулёвское пиво.

— Не дам, — ответила Гуляшка. — И пиво, и зелено вино суть зелье. Пейте лучше квас. Или акву обыкновенную. Вы вот ещё ужасно молодой, а уже весь такой сморщенный.

— Ну, вот, опять ква-ква! — сказал гений и задумался ровно на три минуты и тридцать три секунды, а после задумчивости продолжил с выразительной тоской: — Страшно неряшливые и до упора безумные вопросы слышу я от человечества. Все кругом интересуются типа скоко пьёте, чего, где взяли и чо почём? Но чтоб такие же аналогичные намёки слышать от лягушачества? Обидно и незаслуженно. Тем более, что мы с тобой оба, кажется, не просыхаем, почти родня, и души как бы родственные, у тебя в пятке, у меня в стельке. Но что я слышу? Сморщенный! Это, голубушка, от болота бывают морщины. А от многопрофильной гениальности — извилины. Вот тута, — сказал гений и постучал пальцем по лбу.

— Тук-тук, кто в темени живет? — сказала принцесса Гуляшка и засмеялась тоненько.

— Издеваешься? Дай три рубля.

— Нетушки. Лучше в жёны меня возьмите. А не хотите в жёны, так на вашу научную нужду могу выделить целую корону золотую. Или кожу мою. Она вам в самый раз вместо платочка носового служить будет. Ваш-то уже весь хрустит и ломается, такой засморканный.

— Какая корона? Какой платочек? Куда мне с твоим золотом соваться? В сельпо? Ага! Ищи другого дурака.

— Зачем мне другого? Мне другого не надобно.

— Ну, тогда дай хотя бы рупь. Без сдачи.

— Ах, ну где вы видели, чтобы принцессы носили с собою рупь без сдачи?

— Ладно... Всё понятно с тобой. Как была ты жабой, так жабой и осталась. Скажи спасибо, что я тебе не буду отвечать око за око и зуб за зуб... Кстати, о зубах. Открой-ка рот, да поширше.

Принцесса Гуляшка улыбнулась во весь рот, как у двух Софи Лорен, зубки жемчужные так и засияли. Хмыкнул гений огорчённо:

— Ясненько, что не прекрасненько. А щас вот чо: надевай обратно свою кожаную одёжу, пойдём к народу решать неизвестный икс. Икспертом будешь. Точнее, икспонатом доказательства факта. А такого факта, который с зубами, мне не надо. Мне беззубый нужен.

У Гуляшки от обиды губы задрожали, слёзы из глаз. Как же это так? Принцессы, чай, на дороге-то не валяются! Но у этих человеческих гениев, видать, всё не как у людей. Да и люди — тоже... Монархизм ликвидировали под корень. Верят не сказкам, а секретарям ячейки. Занимаются бог знает чем.... Хали-гали какие-то... караоке... харакири... карамболи... каратэ... В то время, как обыкновенный женский вопрос у них до сих пор вопрошает: как бы это выправить, выпрямить, чтобы из вопросительного знака получился сплошной восклицательный?

— Собирайся, — сказал гений. — Истина дороже, как предупреждал древний Плутон.

Сняла принцесса Гуляшка с головы золотую свою корону — и стала лягушкой Гуляшкой. Гений взял её, мокренькую, всю, значит, в слезах, вытер о штаны и спрятал в карман. И подался в село.

Село осело на неправом берегу, там же, где и болото. У села имелся оселок, на котором оно оттачивало свой природный ум. Этим оселком был гений.

— Дык чо? - спросили гения у самой крайней избы. — Принёс ли экспертизу для насущного агрономического икса нащёт картошки?

— Тута!

Гений похлопал по карману, и в ответ Гуляшка ножками постучала: мол, здесь я, не сомневайся, не подведу.

— Кажи, — сказали селяне, — хвались, Евгений, парадоксов друг.

— Ага, щас, — ответил гений. — Только сперва сходку полного народа соберите, да чтоб с каждого двора по бутылке.

...Проснулся гений в канавке. Весь в морщинах: рубаха, штаны, личность.

— Правильно, однако, говорила пучеглазая...

Сунул руку в карман, а там одно мокрое место. Да ещё очки чёрные.

И невзвидел гений белого света! Надел на нос Гуляшкины очки, с тех пор так и ходит, глаза прячет: то ли стыдно ему, то ли вообще стал таким засекреченным.

А белого того света — тьма тьмущая! То есть, столько, что на всех подсолнечных жителей хватит, всем достанется, да ещё и останется. К светлomu подарочку — каждая парочка: барыш и барышня, маляр и малярня, свинья и свинец, графин и графиня...

А сельские жители так и не полюбили лягушек, но с того экспериментального времени всерьёз предположили, что их доморощенный гений, этот морщинистый молодой человек, далеко пойдёт, если его пошлют и никто не остановит.

На этом и сказке — начало. То есть, начало новой сказки, а про что она будет рассказывать — большой секрет.

НА ТРАВЕ ДРОВА...

...вывалился во двор, ухватился за колун и всадил его со всей мочи в монументальную сосновую комлевую дуру. Или дурака. Всё равно дерево. Хоть и бывшее.

— Да пропадите вы все пропадом, проповедники хлебные!

Полчаса махался, час... Чурка за чуркой. Без передыха, без перекура — колун, клин, топор... Хрясь!

— Это тебе!

И очередной чурбак разваливался пополам.

— А это тебе!

Небрежная гора полешек росла, точно пожар, только наоборот, в обратном порядке, в котором минус да минус даёт плюс.

Взмок, рубаху скинул — и опять за эту колючую, вроде обиды, работёнку.

На крылечко жена вышла. Удивления в ней и тревоги примерно пятьдесят на пятьдесят.

— Ты чего это, Валерьян?

— Ничего... Не глазами под руку... Иди, Леонорка...

— Ладно, я пойду. Только ты Вовку не зашиби. Возле тебя вращается, потомок наш... Вовка, ты чего это задумал, Кулибин?

— Ничего, — ответил потомок. — Не глазами под луку...

Снял трусы. Намочил в луже. Получилась хорошая тряпка, с которой Вовка полез под трёхколёсный велосипедик. Техобслуживание, называется.

— Ну, мужики! Ну, Кулибины! — сказала Леонорка и удалилась.

— Чего это с нашим папой? — спросила она у дочки.

— А чего?

— Да ты же видела! От телевизора отскочил, как не знаю от кого... Сейчас дрова колет... как не знаю кто...

— А влюбился, — ответила дочка.

— О, господи! Что ты говоришь?

— Очень просто, мамуля. Вспомни Маяковского из десятого класса по литературе. Он писал про это совсем не хило. «Любить

— это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачьею, блестя топором, рубить дрова...» Как дальше? Забыла? А еще русачка называешься...

— Силой своей играючи, — закончила мама Леонорка и улыбнулась дочке, студентке, умнице, будущему педагогу, как родители. — Дурочка. Но это не про нашего папу. Он ведь ужасный логик, доча. И его логика такая: рубить — это значит любить дрова... Как можно любить дрова?

— Любить дрова можно, — сказала доча. — Другое дело: любить рубить...

К сумеркам Валерьян управился с колкой дров и предельно изнеможенный развалился на ступеньках крыльца. Руки-ноги врозь, точно разобранные, а вот хорошо Валерьяну, легко, свободно и никаких тревог, и никаких грехов, а почему это вдруг он сделался таким безгреховным — сам не знает, грехи знают...

«Ну, что? — подумал. — Кого испугать хотели? Кого во что перековать намеревались? Меня? Да я любого из вас в два счета уматерю без всякого рукоприкладства. А уж если кто с мечом придет, так тот в орало своё и получит, не извольте сомневаться...»

Так школьный учитель физики Валерьян спустил пары, точнее, отвёл душу, а ещё точнее, свёл личные счёты с международным террористом № 1 по имени Усама Бен Ладен, будь он неладен, и с другими последующими номерами из нескончаемой череды телевизионных новостей, обрушивающихся на него, российское физическое лицо, — невыносимые уже, эти новости, точно размеренные капли по темечку в средневековой китайской казни, прежде смерти сводящей с ума. Изо дня в день: тьма-тьматьматьмать их в душу... и это уже не эквилибризмы Вознесенского, нет! — это мир как тир — мир миражей — тиражи виражей по формуле чёрт его знает какой... смерть, кровь, катастрофы... И что же в таком случае прикажете делать с самого раннего утра, господа телевизионщики и террористы? По-вашему, — закаляться как сталь: согнуть спину, опустить руки, протянуть ноги... Хорошенькая физзарядка. Нет? Вот вершки. А корешки? В непредсказуемо точной латыни: террор как ужас и terra как земля. Ладно, terror. Ладно, terra. Но чтобы то и другое — per deum? Так точно. По-ихнему — пердим, по-нашему — каждый день да через день... Убийства, насилия, кораблекрушения,

самолёты падают с неба, взлетают взорванные авто... Вполне законченный террариум, где жизнь в ожидании ужаса гораздо ужасней, чем сам ужас... А что оно ещё может, российское физическое лицо? Да только то, что ещё что-то может...

Прищуренным глазом метнул Валерьян взгляд на кучу дров: чурок-то привезли на одном грузовике, а поленьев оказалось аж на целых два. И вот все эти бывшие дубины стоеросовые, все эти бывшие пни тупые, эти чурки неотёсанные, эти чурбаны суковатые... — все они будут не синим пламенем гореть, но приветливо потрескивать, излучать пахучее благодарное тепло и выгонять из печи печаль нечаянную в пору косноязычных выюг... А женщина — у печи, а женщина не постылую скороварную готовку сочиняет, нет, женщина хоть и с простой картошкой общается, с картошкой в принципе, в мундире, в кафтанчике... не это важно, а важно то, что женщина воркует при этом: картошечка ты моя, беленькая да рассыпчатая, вот уже идёт с работы мой любимый муж, он устал, потому что он ужасный логик, на его физическом лице обыкновенным русским языком написано, что он сам себе союз и предлог, подлежащее и сказуемое, имя существительное и имя собственное, а дети наши уже дома, а я тебя чищу, картошечка, кожулку снимаю тоненько, не обижайся, уваривайся, ты же для нас, вот и отдавайся, как я отдаюсь дому, вся, без остатка, а то, что любовь — не картошка, её не выроешь в один приём, как замечал комсомольский поэт Александр Алексеевич Жаров, — так это он погорячился, с поэтами такое бывает, что подрываются, как на mine, на собственном сердце, а пеняют на картошку, которую, оказывается, тоже можно любить... А после «Спокойной ночи, малыши», и после полуночи, когда большие и маленькие люди уснут безмятежно, настанет черёд древнему дереву, лиственничному срубу, хранящему память староотеческого дома: спите, спите, дорогие мои, беспокойные да шепутные, вас учили — как там в Чили? — и отучили видеть то, что творится под собственным носом, и вот уже ваша личная свобода трепещет от ужаса подолом своих разноцветных знамён, и хромает всё с ноги на голову да с головы на другую ногу, а кажется, море по колено, и проблемы по плечу, и жизнь по карману, и интернационал по это самое, прости господи, но войны, и катастрофы, и стихийные бедствия наделяют множество людей одной судьбой и тревожностью как чертой национального харак-

тера, — не слишком ли дорогой ценой обходится место под солнцем?.. — так что, постучите по дереву и, отведав душу, приведите обратно, чтобы не спать кошмарами, спите снами добрыми, как мы, тёплые стены старого дома, спите снами, спите с нами, и да пребудет с вами сначала доверие, затем вера, а потом спокойная уверенность, как вон у тех ежеминутных боженят, что прячутся за циферблатом часов-ходиков...

Скромный, скоромный смысл коромысла: закон равновесия. Нет?

Это случилось в июльском однажды, в большом, около-миллионном городе, в котором среди каменных хрущоб ещё прячутся зелёные островки с домишками, где все удобства на дворе, на дворе трава, на траве дрова...

...и семь ангелов за правым плечом, семь чаш гнева божьего на семь смертных грехов, семь пятниц на неделе, семь бед — один ответ, семь раз отмериваются пяди во лбу, наконец, «семь-сорок» в без двадцати восемь пополудни...

...и неиссякаемые дедушки на скамеечках — все судачат про объединённые арапские эмираты, про Биг Бен и Бен Ладена, про войну в Кювете да про бурю в пустыне, кому-то афганский Хекматияр очень не по душе, кому-то сокращённый хек не по карману, но что характерно? — если кто-нибудь нам на что-нибудь наступит, так уж мы всех этих наступальщиков замочим в сортире без вопросов, всех террористов и прочих хоттабычей, с усами и без усов, с ладаном и без ладана... но вот уже опять нам беспокойство и международное волнение подбрасывают: израильский премьер Иегуди Барак заставляет весь мир нервничать, потому как фамилия у премьера означает «молния» на еврейском языке, бабахнет сдуру эта молния на Ближнем Востоке — и не гуди, барак, где-нибудь на нашем Дальнем... ну, де-ла-а-а...

...и еле-еле душа в теле новейшей японской марки, и, как заметил поэт, «над городом неспроста телевизорные антенны как распятия без Христа»...

А с голубого экрана журчит с грацией мхатовских стариков речь белобородого архиепископа:

— Надо эту ламбаду максимально минимизировать!

Всё! Докатились. Уж если святые отцы от лампы добрались до макси-мини... Докатились. Отступить некуда — позади

социализм. А мы на шарике, на шаре — как на плавающей
мине... Но вот что вселяет вселенский оптимизм: подрывается
человек не на mine, а на собственном сердце. Тикает оно, тикает,
секундочки как будто целятся друг в друга. И вдруг... Нет?

ГДЕ НАШИ СТЕРВЫ ?

...говорить, не взирая на лица. Но в этом вопросе надо — как раз наоборот, взирая. Потому что на так называемую прекрасную половину человечества другая половина нет-нет, да и поглядывает со стороны, причём сторона эта довольно критическая. Из поглядывания совершенно стихийно родилась стервология: наука расплывчатая, полная таинств, недомолвок, намёков и интимных подробностей. Метод изысканный хрен его знает откуда? С миру по нитке, с бору по сосёнке, с носа по рубчику... Однако! Стервология — это звучит как удивление. И растёт это удивление с допотопных времён до развитого социализма, растёт не по дням, а по часам, правда, часы эти то отстают, то забегают вперёд.

Самым главным вопросом в стервологии считается определение типа. Типизация. Здесь простор для научного творчества вселенски необозрим.

Вот пример: «типы Ксантиппы». На первый взгляд выглядит мудрёно, но уже на второй — почти элементарно. Супруга смиренного Сократа, того самого, со знаменитым лбом, — систематически отвлекала мужа от философских размышлений, но тот не отвлекался, на то он и философ, и бессовестная Ксантиппа по этому мещанскому поводу устраивала на всю Древнюю Грецию многочисленные скандалы с истерикой, ссоры с рукоприкладством и плеванием в знаменитый лоб, а однажды с изуверским возгласом: «Тебе что в лоб, что по лбу!» опрокинула на гениальную голову горшок — то ли с помоями, то ли с отходами жизнедеятельности человека, история не уточняет.

Вот другой тип: «жрица любви». Жрица, понятное дело, от слова жрать. Царица Египта Клеопатра, по-нежному Клёпа, — самый знаменательный пример зловердного ехидства, доходящего до кровожадности. Крайне охочая до альковных утех, она под утро лишала жизни каждого своего любовника, если он не был царских кровей. Таким образом, цена любви — жизнь молодого человека. Это уголовщина. И что ж вы думаете? Юноши выстраивались в живую очередь к спальне этой сучки Клёпы... На то они и любовники, приявшие оковы алькова, страстотерпцы, «заклёпки», кровные братья от слова брать.

Есть ещё Семирамиды, Шахерезады, сирены, фурии, гарпии и прочие мегеры милосские. Все они родились в древности и дотиптопали до нас. Но и наши современницы не сидели, сложа руки и спустя рукава.

«Зануда». Это вылитая Софья Андреевна Толстая, графиня. Проживая в общем и целом в беспечной обеспеченности, она постоянно доставала супруга своего Льва Николаевича бесчисленными домашними проблемами, после чего наш великий писатель вынужден был, на то он и писатель, периодически убегать из дома в поисках душевного покоя, столь необходимого для полноценного творческого процесса.

«Демоническая женщина»...

— Дюманическая, однако, — поправили докладчика.

— Что вы имеете в виду, коллега?

— Писателя Дюму. У него в полном собрании сочинений есть та-а-кие штучки...

— Согласен, — сказал докладчик и продолжил речь.

...Возьмём, например, Зинаиду Райх, мать детей великого русского поэта Сергея Александровича Есенина... Второй раз она вышла замуж за неплохого режиссёра Мейерхольда. В театре она нахально требовала для себя лучшие роли, хотя актрисой была очень никудышной. Мужем регулярно помыкала и дразнила. Вызывать бешеную ревность своего супруга было для Зинаиды любимейшим развлечением. Вспомним Есенина. Тот ведь мог сам кого хочешь отдюманить, на то он и поэт, но даже он, наш золотоволосый хулиган, оказался слабоват перед Зинаидой и сбежал, как Толстой. Что ж тогда говорить о слабонервном Мейерхольде, человеке интеллигентном и хрупком? Нечего. У каждого демона — своя Тамара...

— У каждого Дюмы, однако, своя Зинаида, — поправили оратора.

— Хорошо. Каждой Зинаиде — по Дюме.

...Существуют женские типы, так называемые, феерические. Имеются женщины типа курвы. Они обирают мужское насе-

ление до совершенно ничего, в результате из одежды на них остаётся только презерватив. Есть фифочки типа Дульсиныи Тобольской, и девочки-трёхдьюмовочки типа крейсера «Авроры», и маневренные Минервы, душителы алиментчиков. Есть ударницы, передовицы, стахановки и прочие героини. Но ни одна из них не может претендовать даже на лавры лярвы, потому что эти героини к мужскому полу не имеют никакого интереса, их занимают только трудовые достижения и итоги социалистического соревнования...

— Это чтобы унизить обратный пол, — уточнили докладчика. — Чтобы доказать своё я и выпить из мужского коллеги последнюю каплю крови.

— Вот именно, — согласился докладчик. — Спасибо за доп-полнение. Вы мне подсказали ещё один тип. Это женщина-вамп. Вот уж кто пьёт, пьёт, пьёт...

И тут из-за ближайшего куста раздался почти библейский глас:

— Вамп не пьёт. Всё вы врётё, сволочи.

— А кто ж тогда пьёт? — вскочил на ноги весь симпозиум. — А ну-ка, вылазь, доказывай свою оппозицию, подвижник истины. Пододвигайся!

— А шо я буду поиметь за той выдающий подвиг? Он же ж бессмертный, а я увы. Уже помираю, хлопцы. Похмелите ради бога. И покудова не спрашивайте: кто пьёт? Я пью...

— По сто пятьдесят? — спросили подвижника. — Или ограничимся большим?

— Душа свою меру знает.

Подвижник сказал эти слова так, как будто истратил их навсегда. Потом по-пластунски выдвинулся на опохмельную позицию, залпом шандарахнул предложенный стакан напитка «типа Кеши», и на его физическое лицо лёг мир и благоволение. Сел на горячий песочек в позе Будды и закрыл глаза... И закрыл глаза надолго, покуда его не толкнули встревоженные участники конференции: чего это он? не помер ли уже? а ежели ещё не помер, так давай, товарищ, добавляй — хоть «типа Кеши», хоть про женскую особь «типа вамп»...

Подвижник добавил. Сначала первое, потом перешёл ко второму.

— Дорогие товарищи! — начал он торжественно, точно первомайский радиодиктор, но постепенно, по мере выступления, голос его приобрёл децибелы и тональность телянни из «Спокойной ночи, малыши». — Жил когда-то в городе Иркутске Иркутской области знаменитый драматург Александр Вампилов. Точнее говоря, когда жил, тогда знаменитым ещё не был.

— Небось, пил? — поинтересовались участники конгресса.

— Не надо смеяться, господа конгрессмены, — грустно улыбнулся подвижник. — Разве можно на соцреализм смотреть трезвыми глазами? Чокнешься! Так что не смешите меня, да и вы сами — что будете иметь с того смеха, кроме ничего? Итак, жил Вампилов, сочинял Вампилов и вдруг однажды взял и утонул Вампилов. После того, как утонул, весь мир узнал, какого человека он потерял. Гения!

— Это, однако, хорошо, что узнал, — сказал один участник.

— Опознал, — уточнил другой. — Но только это всё не по той теме, по которой мы разговариваем.

— Щас вам будет по теме, — сказал подвижник, выпил и закрыл свои карие очи до тех пор, покауда его не толкнули на правильный путь: пить пей, но слово разумей, раз умеешь, а коли не умеешь, так не пей и вообще проваливай. — И вот, хлопцы, похоронили Вампилова, нет его, пустынько в театральном мире, а мир этот закулисный — это вам не загробный, где уже никому ничего не нужно, кроме, может быть, яблочка ненадкусанного, нет, закулисный мир другой, там не только яблочки грызут, но и горлышки друг у друга, короче, обыкновенный земной мир, но трошки похужей, потому что надо вперемежку жить и играть, играть и жить... И вот покойный Вампилов остался в этом обжорном ряду. И принялись потрошить Вампилова, каждый в свою сторону тянет и приговаривает: Саня наш, Саня с нами! Свары, склоки, «друзья юности»... И вот нашлась в этом сволочном мире одна женщина, которая однажды сказала: стоп, господа, опомнитесь, стыдно ведь!

— Так и сказала? — восхитились участники.

— Ну да. Потом она ушла из театра имени Вампилова, где давно служила, и на пустом месте образовала общественный

вампиловский фонд. Ему она отдала всю себя, до последней капли крови. Теперь скажите мне: что такое женщина-вамп?

Задумались диспутанты. Продолжительно молчали, переминались на задницах, пару раз к «типу Кеши» обращались. Потом один сказал осторожно:

— Вообще-то, стервы бывают ничего, хоть и женщины... то есть, наоборот, есть женщины очень даже ничего, хоть и стервы. Вот, например, моя...

Он хотел рассказать, как однажды... давно это было, но ведь как запомнилось!.. однажды он и она летели навстречу друг другу, но она летела быстрее, она летела как стихия, как природное явление, и чёрные пуговицы её красного в крапинку осеннего пальто с треском отскочили, и полы пальтишкины разлетелись крыльями в стороны, так что она вся распахнулась ему навстречу, как бабочка... или чемодан... Но он не сказал. У него не было слов. И это при всём богатстве русской нормативной и ненормативной лексики!

К тому же очнулся второй:

— А чего твоя? У моей стервы, однако, стирки по самые уши, а я вот тут с вами на песочке кешкаюсь...

Ещё он собирался добавить про то, что давно, с десятого класса, сочиняет пиратский роман и хотел бы стать таким писателем, как Дюма... «Дюма-отец или Дюма-сын?» — однажды поинтересовалась жена, глядя на живого писателя восторженными глазами, а он махнул рукой, чего, дескать, с дурой разговаривать, когда он лично и сыном был, и отцом стал, а Дюмой всё равно не получится, бургундского в нашей местности нету, однако...

А тут и третий, который подвижник, открыл глаза:

— Вчера это гляжу — воду на коромысле несёт. Идёт себе, как утка плывёт. А может даже как теплоход «Украина» по Чёрному морю. Короче, даже ведёрышки у ней не качаются. А в ведёрышки она черёмуху бросает, потому что с хоть какими веточками вода через край не плещется, такая у воды природа. Так я это гляжу, зачем воде черёмуха, когда женщина плывёт, чуть колышется. Ну, курва, думаю, это ж надо было так богу угораздить, что прислал мне в жинки такую вылитую циркачку с неземной походкой!

— А давайте, — сказал первый, осторожно прицеливаясь на общее настроение, — давайте, товарищи, выпьем за наших... и вообще?

Предложение поддержали с большим энтузиазмом.

А потом орали песню. Слова Евтушенки. Музыка народная.

Она была стервой, стервой, стервой

С лаком серебряным на коготках...

И уже не было больше никаких типов! Один остался: «типа Кеши». Но что это за тип — тут вопрос ещё более запутанный, чем женский. То есть, понамышано в этом «Кеше» чёрт-те что, с прелестной чертовщиной, ангельским легкомыслием и архангельскими трубами вперемешку, в постоянно меняющихся пропорциях.

А конгрессмены этак плавненько перетекли в своей программе на ландыши... услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая... когда б имел золотые горы... И перемаргивались конгрессмены, точно заговорщики, и локтями друг дружку подначивали, и каждый сам по себе уж не просто бравым или бравеньким оказывался, но — в некотором роде даже брависсимым. Дураков нет! Просто много шибко умных развелось, да... Орали весело и страшно, мужики со стажем, не одним рыком шиты, да и рык-то со слезой умиления, поди тут, разбери, от натуги ли голосовой, от «Кеши» или от неожиданной нежности...

Остаётся сообщить для протокольного порядка: что же это такое слезоточивое образовалось на песочке, откуда и почему?

Летним днём, 23 июля, в шестнадцать ноль-ноль по местному времени два горожанина средней упитанности и без особенно вредных привычек, образование тоже среднее — вышли на берег великой сибирской реки, воспетой целым рядом советских композиторов во главе с Александрой Пахмутовой. Расположились в 150 метрах от плотины гидроэлектростанции, под кустиками неизвестного происхождения — для принятия солнечного загара в умеренных дозах и распития спиртного напитка, имеющего в простом советском народе наименование «типа Кеши». Вскоре в компании появился третий соучастник. Куда ж на Руси без третьего? Никуда и некуда. Национальный состав:

великоросс, малоросс и верный друг степей бурят Джордж Доржиев.

Как хотите, так и назовите эти тары-бары-растобары с выпивкой на душевные темы: хоть конференцией, хоть конгрессом. Можно ведь и подурачиться малость, даже нужно. Но не в этом дело. Важно, в конце концов, то, о чём говорят члены столь немногочисленной, но устойчивой, как всякий треугольник, организации. А о чём говорят? Наивный вопрос, дорогие товарищи. Сначала о Родине, потом о международном положении, после чего переходят к воспоминаниям о былой срочной службе в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. В завершение, как полагается, десерт: о дамах (женщинах, бабах, девках)... Но солнышко в тот день так скоропалительно припекало! И допекло. У Джорджа Доржиева даже язык загорел! К тому же, этот сверхъестественный «Кеша»... Короче, началось устное народное творчество с конца. А конец упирался в женский вопрос.

Вот и всё. Остальное вы уже знаете.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕТРАЖИ

Бахыту Кенжееву

1

Всё началось с элементарной мухи.

Муха летала в салоне реактивного авиалайнера и прикидывалась элементарной. Она элементарно жужжала и мимолётно вызывала сложные вопросы: с какой скоростью, однако, летает она, эта воздухоплавательная тварь божия, если скорость самолёта сверхзвуковая, а тварь внутри самолёта носится со скоростью не то чтобы сверхзвука, но сверх всякого нахальства? и не значит ли это, что скорость полёта данной мухи складывается в суммочку из двух скоростей: а) скорость этой самой цокотухи, которая меньше копейки, и – б) скорость авиатехники, которая, фигурально выражаясь, есть летающий Монетный Двор.

Муха навевала тоску. Тоска, получалась размером со слона. Слоны слоняются по земле. Земля вся в путях-дорогах и перекрёстках, скорее видимых, чем невидимых, в отличие от воздушных путей сообщения. Но вознесённая тоска, в сущности, ничем не отличалась от приземлённой...

Не так уж и часто, но случается: совершенно бесчеловечные, пустые ночные аэропорты, железнодорожные залы ожидания, автостанции, речные и морские вокзалы: в пустоте забытое, реликтовое эхо эхает, мается из угла в угол, тошно ему без людской взаимности, и – один я, я один – в сгущённой бесчеловечной тоске, в мире без вины, в вине без мира, в ощущении безнадежного отшельничества... Ах, какой же застенчивый восторг, какое ликование! – когда вдруг выглянет в амбразуру сонная, но, значит, ещё живая кассирша, или живой милицейский сержант спросонок изобразит бдительное дежурство, но живее всех живых – неожиданно явленный человек с чемоданчиком, свой, значит, почти родной, потому что есть он не просто законченный человек, но – пассажир, пусть даже и незаконченный, ещё не в статусе, но уже попутчик, и при этом совершенно неважно куда он едет (летит, плывёт), в какую сторону... – вот ты и устремляешься к нему с притворным равнодушием: куда едем? – и он, ещё свежий и нетронутый тоской, отвечает не всегда радушно и обстоятельно.

А однажды в нашем городе взяли и ликвидировали тоску. Как ликвидировали? А так, как взяли! Отменили к чёртовой матери ночные электрички. Формальный повод: нерентабельность, пассажиров мало, железнодорожному ведомству убыток... И ночная человеческая тоска возмутилась и сделалась круглосуточной. Что такое? А вот что такое: «мало» и «убыток» – это, оказывается, не кое-что, не пустячок пустячковый, не мелочь пузатая, но – государственное уничтожение человеческого в пассажире и пассажирского в человеке. Да пусть хоть всего один пассажир будет на всю электричку! И пусть на него одного-единственного работает министерство путей сообщения, и гидроэлектростанция, и весь пригородный поезд с локомотивной бригадой машинистов, и весь желдорвокзал со своим чуть живым персоналом. Может быть, для того одного-единственного пассажира ночная электричка есть вопрос жизни, или вопрос смерти, или судьбы – этого мало? Это убыток? Э, нет, дорогие товарищи. Пусть железная дорога не выпендривается как цельнометаллическая дура. Подумаешь – железная! А нам без разницы. И пусть она будет нерентабельной, но зато человеческой. И пусть она ведёт себя так, как все другие дороги. В конце концов, ещё ж не до тупика выяснен вопрос: кто кого ведёт? – дорога человека или человек дорогу?..

Муха!

Из ближайших окрестностей донёсся звучный шлепок, а вслед за ним – мужское удовлетворение:

– Отлеталась, сволочь! А то уж и рта не даёт открыть... Так вот я говорю, значит: рассеянный мы народ, несобранный, чистый севильский цирюльник, фигура здесь, фигура там, а где народ, где люди, я вас спрашиваю? Вопрос важный. Жена мне как-то говорит: что-то я давно не слыхала, как ты умничаешь... – и так далее. А я не умничаю. У меня такой склад ума. И назрели сложные вопросы. А начальник на работе меня вызывает по телефону и говорит в трубку: с тобой, Евдокимов, щас будут говорить сами товарищ Зычкин из Минводхоза, они уже у меня в кабинете сидят, лично приехали реагировать на твоё жалобное письмо в Москву, так что ты, свинья, хорошенько напрягись и восчувствуй ответственный момент скорби, да ещё не шибко умничай, Евдокимов! А я не умничаю. Меня вопросы распирают. А мне домоуправ говорит: ехай в Москву разгонять тоску, щас все так делают по пьесе Чехова – и так далее. И эту глупость говорит мне долж-

ностное лицо и вдобавок чемпион нашего двора по домино?! Когда всем давно известно: Москва слезам не верит. Вот поэтому хочу попробовать в Париж. А мне говорят: Париж, Париж, приедешь – угоришь! Не угорю. Там знаете какие люди? Мне рассказывали прямо-таки презрительно: народ там – ну, прямо как дети, всему верят, что ни скажи! А я слушал, и меня крутила тоска, и мне было трудно, почти что невозможно было представить такой нормальный народ... Да, такой обыкновенный народ, природный, верующий, правильный, который когда надо и ремни застегнёт, и расстегнёт, когда надо, а не будет при этом штаны снимать или вообще распоясываться...

Через пятнадцать минут авиалайнер приземлился. Остывая после полёта и подрагивая, покатился он по рулёмной дорожке и, наконец, замер на отведённом месте.

Над зданием аэропорта был вознесён в небо неоновый буквенный ряд:

**Saint Petersburg – Город-герой Ленинград –
Санкт-Петербург.**

Низкие антиневские небеса. Приземлённые горизонты. Зонтики. Зелёные газоны. Плюс 4 градуса по-Цельсию за бортом. Середина декабря. Зима, называется.

А «Петроград» не удостоился вознесения.

Имперский запас революций истощился. Лишь суммочка памяти – колыбель, пелёнки, краснуха... – как мокрое место, как воспоминание о пришлёпнутой мухе.

2

Ровно сто пятьдесят семь лет назад в столице Российской империи декабрь сам по себе был сущим наказанием божьим, свирепым и беспощадным. Так что, казнь петрашевцев весьма гармонично впечаталась в тот месяц. Стояли они, государственные преступники, в одном нижнем белье, босые, на студёном ветру, в пронизывающей насквозь петербургской пурге, жизнь по клеточкам вытеснялась из тел холодом небытия, конечного окоченения... – а для зачитки длиннейшего судебного приговора казённая власть как нарочно назначила чиновника-заику, вот он и читал казённую ту бумагу, читал... После такого вдвойне изошрённого истязания Фёдор Достоевский, стоявший в

ряду казнимых, имел полное формальное право написать впоследствии: «Жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья».

Потом уж, в потомках, отозвалось, и в последующем веке другими казнимыми неформалами увековечено – в вечной мерзлоте и в вечной памяти – **как** дольше века длится день, **как** на плечи кидается век-волкодав, **как** век свободы не видать... Минута стояла в очереди, где что-то давали. Век взял тайм-аут. Джон Стейнбек расстреливал вьетнамцев из пулемёта, а на отдыхе путешествовал по Америке в авто с пуделем Чарли. Шолохов «косил» под наследника Горького. Михалков-баснописец выносил, заикаясь, приговоры литературным попутчикам. Розенбаум с Кобзоном пели песенки для ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Деревенщик Распутин медитировал: «Представьте себе, что Пушкин в детстве слушал бы не сказки Арины Родионовны, а песни Аллы Пугачёвой – да разве мог бы он стать Пушкиным! Вероятней всего, он стал бы Дантесом»... А в доме, что напротив дома Пушкина, как раз через Мойку, окно в окно, уже проживает всенародный любимец Боярский, наше всё, семь комнат, не хило, однако: вот он скоро выйдет, покажется уличной публике, весь в чёрном, под адекватной шляпой... – и точно! вышел, помахал мушкетёрской рукой, но лошади под рукой не оказалось, и наше всё пешком отправилось за угол, на Невский проспект, в бывшую кондитерскую Вольфа и Беранже, где нынче обустроилось литературное кафе имени А.С. Пушкина: у входа, под стеклянным колпаком, экспонированы две гранитные вышорканные ступени от бывшего заведения, при виде которых должно быть понятно всем и каждому: по ним, выщербленным тростями и подошвами, ступала нога самого Александра Сергеевича и, что характерно, даже в день роковой дуэли: наглядное пособие для начинающих упражнения в красноречии на чернореченские темы...

«Пока свободую горим...»

Но уже не греет.

На студёном ветру эпох: те же небеса, и бесы, и бестии, вроде обер-прокурора Победоносцева.

Где-то в средостении застолбился идолом бывший каторжанин Достоевский, примороженный минутами казни к пожизненному сроку. Идол равновелик. Белинского он называл «бу-

кашкой навозной» и гневался на «шелудивый русский либерализм».

Пока горели свободою (liberté!) – век-то и кончился.

Лучом света в тридесятом царстве-канцелярстве – «Догорай, моя лучинушка...»

Вольный квартет запекает: «Пора-пора-порадуемся на своём веку...» – и скрывается за ближайшим углом: Атос, Портос, Христос и Арамис. Боярского там нет. Сукой оказался...

Под одним призрачным колпаком – вся экспозиция: Пушкин и Дантес сами между собой разобрались, без посредников, секунданты не в счёт, и Арина Родионовна – вне конкурса, а Пугачёва, не путать с Емелькой, и Распутин, не путать с Гришкой, как ни парадоксально, но – явления одного порядка в феноменальном героизме соцтруда: одна, с непорочным зачатием, через микрофон и под «фанеру», но со скоростью крольчихи плодит Дантесов в согласии с дьявольской-таки пронизательностью; а другой, то есть другой Распутин, ведёт сольную партию в сопровождении ума, чести и совести нашей эпохи, ещё не растекаясь по древу, не былинно ещё, но уже романно: через неделю после советского вооружённого вторжения в Афганистан по просьбе трудящихся наш деревенщик тоже по просьбе высказывается в центральных газетах о том, что вот наконец-то судьба явила нам божью милость и приблизила время, когда пришла пора снова, как шесть веков назад, выходить на поле Куликово, чтобы защитить от поганых землю русскую, и решится-таки судьба нации на том поле в битве двух рас, и не надобно нам ждать, когда современные монголы до Дона дойдут, а надобно устроить им побоище на ихней же земле... «Вот же сука!» – сказал капитан спецназа ГРУ в Кандагаре, откуда улетал в далёкое Отечество очередной «чёрный тюльпан» с оцинкованным «грузом-200».

Вздрагивают идолы.

Но вот штука, за вздрогом прячущая уши: самые сокровенные мысли и убеждения, свои собственные, кровные, однако же невыговариваемые вслух, потаённые, жгущие изнутри, точно горящий торф, рвущиеся из «дикого мяса» на свободу и оттого ещё более страшные... – такие личные мысли Достоевский доверял произносить лишь особо доверенным лицам – своим «отрицательным» романским героям, своим психологическим двойникам вроде Смердякова и Ставрогина, «чёрным человекам»,

путешествующим в русской литературе и сидящим внутри самого писателя... А биографы утверждают: эпилепсия! Чуть. Идолы не болят. У них даже простенького насморка не бывает – на сквозняке веков.

Ровно сто пятьдесят семь лет спустя...

3

Когда-то в Ленинградской высотной гостинице «Советская» был тринадцатый этаж.

В эпоху перемен отменили сначала Ленинград, потом гостиницу «Советскую» и тринадцатый этаж.

Топография осталась прежней: Лермонтовский проспект встречается с Троицким, место встречи изменить нельзя, и ковровый газон нелепо закатывать асфальтом, и Фонтанку повернуть куда-нибудь в духе решений и в свете постановлений не пришло в голову даже прожжённому и махровому Минводхозовскому функционеру.

В итоге постсоветских сублимаций образовалось: Российская Федерация, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, остров Безымянный, Адмиралтейский район, Лермонтовский проспект, дом № 43, отель «Азимут», этаж 14, следующий сразу за нижним двенадцатым, одноместный, вполне приличный номер № 14027 категории Comfort Single Bed – и человек в номере, у окна, бросающий в распахнутые настезь створки кусочки хлеба – прямо в небо.

Байкальские чайки научили меня такому способу кормления птиц с судового борта посреди моря. Балтийские чайки посреди города учились у меня ловить хлебушек налету. Обмен опытом состоялся.

Далеко слева, по ту сторону Большой Невы, угадывались очертания Василеостровских индустриальных гигантов и Горный институт, замыкающий набережную лейтенанта Шмидта с памятником Крузенштерну. По сию сторону мерещился остров Галерный с близлежащим пивзаводом имени Степана Разина, славный был разбойничек, «Балтика №9» – тоже пойло убойное; и тут же – порталные краны Адмиралтейского завода на Матисовом острове, окружённом речкой Пряжкой, там жил Блок, там он поймавал строчку: «Ветер, ветер на всём белом свете...», из окон его

квартиры не очень-то и разглядишь Новую Голландию, и Колонну не видать, и Покровский остров, на котором финиширует марафонская Садовая улица... Из номера №14027 весь этот свет, не совсем белый, – как на ладони, а ветер тот же...

Внизу, под окном – Фонтанка с Египетским мостом, а дальше, на заднем плане – подсвеченные Исаакий и шпиль с корабликом, Адмиралтейство.

«Куда нам плыть?..»

А корабельщики – в ответ, аж на двух языках сразу: «Дорогие гости! Dear guests!..»

Так начинается двуязычная информационная справочка для поселенца отеля «Азимут», любовно исполненная на мелованной глянцеваы бумаге и вывешенная в рамочке над письменным столом.

Звоню по внутреннему телефону в круглосуточную справочную службу и на чистом «олбанском» языке пытаюсь выяснить некоторые вопросы языкознания, ещё досталинские.

– То, что «дорогие» есть немножко располневшее «диар», это я ещё понимаю, – говорю. – А дальше?

– Гэстс, – отвечает милый девичий голосок. – Гости, значит. По-английски гэст, по-русски гость.

– А какая разница?

– В смысле?

– Да я сам хочу узнать: какой смысл в том смысле, когда русский язык есть ломаный английский или даже наоборот? И кто в этом безобразии виноват?

– Может быть, моряки? – проворковала трубка. – Хотя я не уверена... А вы кто? Не депутат Госдумы?

– При чём тут Госдума?

– Да она ещё в начале этого года взялась за охрану и чистку русского языка. Вы разве не слышали?

– И слышать не хочу. Делать ей, что ли, больше нечего, вашей Госдуме?

– Наверное, – вздохнула трубка.

– Ладно, – говорю. – Спасибо. Вопросов больше не имею. Гуд бай.

– Бай-бай, дорогой гэст...

Какое там бай-бай? Окно манит! Справа в оконной панораме кочкою вспучился купол Троицкого собора, затянутый в камуфляжную сетку.

Звоню в справку.

– Уот проблемс, – говорю, – с Троицким собором?

– Недавний пожар. Но наш губернатор Матвиенко уже нашла средства на восстановление.

– Сколько, интересно?

– Этого никто не знает. Тайна.

– И много тайн в колыбели революции?

– Ой, я не знаю! Наверное, хватает.

– Хотите, ещё одну?

– А с вами не соскучишься! Я вас слушаю.

– Вы, конечно же, бывали в Петергофе?

– И не раз.

– И прыгали на одной ножке вокруг одного из фонтанов?

– Ну, конечно! И все дети прыгали! И взрослые тоже!

– По булыжникам?

– По булыжникам!

И справочная девушка по имени Лена рассказала, как она, именно она, допрыгалась до того заветного камушка, под которым был скрытый шутейный механизм, сюрприз с секретом, срабатывавший при наступлении на него ногой и обдававший наступальщика с ног до головы неожиданными тугими фонтанчиками...

– Дорогая девушка Лена, – говорю, – а вы не замечали в кустах зелёную будку, маленькую такую?

– При чём тут будка, когда и без неё было весело?

– Без будки, девушка Лена, было бы не очень весело, уверяю вас. Вот вы прыгали, да? Вы прыгали по десяткам камушков, искали методом прыга среди камушков потайный. Но никто даже не обратил внимания на то, что фонтанчик появлялся всегда в одном и том же месте. Никто не замечал! Даже взрослые, которые вели себя, как дети. Взрослые вообще забывают о том, что они взрослые, когда начинают прыгать на одной ножке, не правда ли? Так вот, вернёмся к будке. Дело в том, что в той будке сидел я, читал Хемингуэя и после каждых десяти книжных страниц нажимал ногой педаль под столом. И не было никакой хитрости в том, что вы однажды угодили под мою педаль. И ни-

каких пружин, никаких скрытых тайных механизмов под булыжниками не было и нет. Обыкновенные водопроводные трубочки, которые по моей прихоти изображали чудеса механики. Вот вам весь фокус-покус императора Петра Великого. Но это всё я говорю вам под большим секретом. Потому что эта легенда является страшной тайной Петергофского музея. Ко всему прочему, ещё и рабочее место в будке. Всё просто и скучно. А вы думали: хемингуэво? Увы, девушка Лена. Спасибо за внимание. До свидания.

Лена печально вздохнула.

И ещё один белый камушек – минутка древнеримская! – выпал из её счастья.

Но я сообразил об этом уже позже.

А тогда я положил телефонную трубку и вновь потянулся к окну.

Ещё в ранешнем питерском житии меня поражало: почему в городе столько много тёмных окон? почему в них не горит свет? может, пусты квартиры? тогда зачем они, эти квартиры?

А в три часа декабрьского дня уже включается с диспетчерского пульта уличное освещение, и автомобили движутся с зажжёнными фарами.

Северная Пальмира. Эйфория: белые ночи, чёрные речки, странные речи. Форa политпросвету. Фары фараонов. Такие метафоры...

«Окно в Европу» из пушкинского «Медного всадника» не могло быть метафорой русского поэта. Русские поэты не очень хорошо знают, кто и зачем лазит в окно. Слишком не очень хорошо, нетемпераментно. И потому вышеупомянутое «окно» ещё за полвека до рождения Пушкина придумал итальянский литератор Альгаротти, написавший записки о путешествии в Россию. Это был темпераментный сочинитель.

Но пусть будет даже так, как вывел Пушкин: Пётр Великий окно в Европу прорубил. О'кеу? Окаем, конечно, согласны. Правда, оговариваем: дескать, не с той стороны окоя прорубил. Будь государь наш позорче да пооглядистой, он усмотрел бы под собственным носом целую могучую кучку океев в виде Пскова и Великого Новгорода: эти «русские Афины» сами по себе были Европой, оставаясь при этом чистопородной Русью: три века общей грамотности и разумного предпринимательства, свободы слова и

средневековой демократии, достойной независимости как от Орды, так и от Ордена, три века мирного развития общерусской культуры... Чего ж ещё? А не усмотрел Пётр! А уж после него столько этих «окон в Европу» было прорублено – ни Европа не ведаёт, ни Россия, никто не знает, топоры знают, но не скажут, и этим молчаливо-угрюмым, возможно даже застенчивым, всезнайством они «железно» похожи на российскую статистику и тем же самым так непохожи на российскую историю, заключённую в учебники на отмеренные сроки.

История сохранит: в должности исполняющего обязанности президента России Владимир Путин впервые поставил свою подпись на письме в адрес известной французской актрисы Брижитт Бардо. Письмо содержало признательную благодарность за активную деятельность Бардо по защите животных. Под текстом – дата: 5 января 2000 года. Тем временем продолжалась война в Чечне, начавшаяся в 1812 году: эпопея, война и мир – от Шамиля до Шамиля.

4

Царские рапорты богам, земным и небесным, размазаны по многим векам, по тысячелетиям.

– Я водворил свободу! – докладывал шумерийский царь Урукагина.

– Я устроил в стране благосостоянье! – докладывал царь ассирийский Хаммурапи, одновременно повелевая подданным отмечать начало своего правления как «год, в который была установлена правда» (Классик советской литературы Леонид Леонов пошёл дальше: отменить в СССР летоисчисление от рождества Христова и ввести новое, от даты рождения товарища Сталина).

– Я устранил всё то зло, которое было в стране! – докладывал богам Азитавадда, царь данайцев.

– Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек! – распевало советское радио почти весь, от корки до корки, двадцатый век.

Чему научилась, какие уроки усвоила Страна Советов из всемирной истории? «Она научилась, – докладывает литературный критик Алла Латынина, – поздравлять себя не только от собственного лица, но и от лица всего народа».

Ничто не вечно под луной – ни Союз нерушимый, ни всё то, что люди неосторожно называют вечным: покой, память, мерзлота... Из планетарной метафизики всего-то и возможен только один Вечный Жид, этакий беспокойник.

Но ещё был жив Советский Союз, а критик Владимир Лакшин уже осмелел настолько, что отважился в одной из статей привести рейтинговый показатель из мировой статистики: СССР по уровню образования занимает 28-е место в мире. Я не удивился бы, если бы Лакшина осудили тогда за клевету, за антисоветские измышления под дудочку буржуазных так называемых статистиков, или, наконец, за разглашение одной из наших многочисленных государственных тайн. Сейчас, спустя более полутора десятка лет, после исторически закономерного краха коммунистической империи то и дело слышатся ностальгические всхлипывания: при советской власти, дескать, было лучшее в мире образование, и здравоохранение, и балеты, и ракеты, и самый читающий народ, и всё такое прочее... Как же коротка память! При 28-м месте «по образованию» задачей первостепенной государственной важности являлись первые, золотые, места на мировых чемпионатах по футболу-хоккею, а нынче-то и этой телевизионной нарकोиглы для народа нет, и мир открыт: смотри, учись, переделывай... Нет, всхлипывают.

Реформа общеобразовательной школы до сих пор остаётся всего лишь размытой, расплывчатой мечтой-намерением. При всех хаотичных ведомственных новациях, направленных в первую очередь на оправдание самого существования в государстве Министерства просвещения и образования, у выпускников средней школы в головах остаётся не система знаний, но, скажем так, странички учебников. Уточняю: странички, как бы разделённые пополам. На одной половине – достижения парижских коммунаров, на другой – их же ошибки. Ошибки запоминаются лучше. Даже средненький выпускник легче усваивает сведения о том, кто чего недопонял и недоперепонял из трёх источников и что у коммунаров было пять ошибок, и вот на экзамене по истории он называет четыре и мучительно вспоминает пятую... их же пять было! Вспомнив – претендует на золотую медаль... Вот что оно такое, донельзя упрощённое и огрубленное знание, катехизис, на трёх пальцах объясняющий устройство мира.

Давным-давно первый переводчик «Капитала» на русский язык Герман Лопатин писал Николаю Огарёву, другу Герцена: «Школы внутри России задавлены полицейским надзором и попами».

Ровно через полвека после этакой констатации факта случилась социалистическая революция, и среди её критиков мне что-то не вспоминается ни один, кто выставил бы ей, пусть даже с некоторой натяжкой, единственный плюс: ликвидация клерикального режима, конституционное провозглашение свободы совести, отделение церкви от государства и школы от церкви.

В начале XXI века самопровозгласившаяся православно-патриотическая интеллигенция назойливо инициирует вопрос о введении в школьную программу Закона Божьего. «Слава богу, – говорят при этом, – что в России, наконец, появился верующий президент!»

Но президент-то – на госслужбе! Не господней, но государственной. А что, ежели в недалёком будущем кто-то из последующих президентов окажется мусульманином?

С другой стороны, допустим, что введут в школьную программу Закон Божий. И что? Как в таком случае поступать с такими предметами, как физика и химия, астрономия и история, биология и география? А очень просто. Взять – и отменить всякие биологии и физиологии. Решительно отменить, конституционно. Если не отменить, то в детских умах история происхождения человека непременно сформируется так, что человек произошёл от обезьяны, которую боженька создал по образу и подобию своему...

Свежие газеты: петербургская школьница Маша Шрайбер начала заочный поединок с Дарвиным и примкнувшим к нему Министерством образования. Девочке не нравится теория эволюции, и она требует исключить из учебника по биологии за 10-11 классы слова «мифы, легенды, нелепости», которые применяются для характеристики понятия «религия». Пока суд да дело, девочка укатила с родителями куда-то на Ближний Восток, к месту постоянного проживания. В знак протеста. Ну-ну...

(Дополнение из 2007-го года: десять академиков РАН направили президенту Путину открытое письмо. В частности, учёных возмущает очередная инициатива церкви включить теологию в перечень научных специальностей. Кроме того, бес-

покойство вызывает проникновение РПЦ в школы, – сообщил академик Виталий Гинзбург. Среди подписавших письмо, которое опубликовала «Новая газета», академики Евгений Александров, Жорес Алфёров, Михаил Садовский.)

5

Я прошагал уже добрую половину территории моей питерской юности.

Покурил на ступеньках Троицкого собора, одетого в камуфляжную сеть, и погладил стволы орудий с заклёпанными дулами, декоративно расставленных позади храма божьего, вокруг монумента, собранного из стволов турецких пушек, взятых трофеями в войну 1877-78 годов, хорошая сталь, и ржа её не берёт...

– и перспектива Троицкого проспекта, пересекая Лермонтовский, упирается в круглую башню ночного клуба «Паприка», валютному подразделению «Азимута»;

– спешат мимо молодые самоуверенные люди, разговаривая на ходу по мобильным телефонам, и все как один без зимних шапок и с хорошими лицами, один я в шапке и без лица со всеобщим выраженьем...

– поглазел на черно-белое сорочье толковище в Юсуповском саду – впечатлило!

– а после впечатления я бесцеремонно пристроился к экскурсионной группе иностранных школьников из города Львова: новый маршрут «По местам, связанным с Григорием Распутиным». Впечатляет! Как выяснилось, разработан маршрут сотрудниками Юсуповского дворца, в котором старца убивали, да не до конца убили. Полтора часа с двумя остановками. Первая – у дома на Гороховой, 64, где Распутин жил с мая 1914 и до последнего своего дня в декабре 1916 года принимал богатых и очень богатых дам, которым осточертели их анемичные супруги и кавалеры, отчего они, то есть дамы, толпой, но в порядке живой очереди, шли к старцу «за благословением». В квартиру курсанты, конечно, не заходили. Там, говорят, нынче многонаселённая коммуналка в состоянии многолетнего перманентного ремонта. А завершился маршрут у Большого Петровского моста через Малую Невку – с которого и был сброшен в воду недо-

убитый Распутин. Мост тоже в постоянном капитальном ремонте. Так что, весь путь оказался присыпанным извёсткой.

Женщина-экскурсовод имеет высшее, историко-филологическое, образование. До нынешней работы преподавала литературу в старших классах в той самой школе, где когда-то учился президент Путин. Прощаясь, мы обменялись любезностями: она подарила мне красочный проспект «старческого» маршрута, я по её просьбе надиктовал на её крошечный японский диктофончик целую речь с цитатой из Салтыкова-Щедрина, так и не встреченную ею в годы школьного учительства и необычайно поразившую теперь.

– Даже не верится, чтобы такое... тогда, давно... Михаил Евграфович... Я обязательно сверю с книгой. Может быть, вы шутите?

– Шучу, – отвечал я и, прокашлявшись, нажал красную кнопку звукозаписывающего аппарата: – Уважаемая Софья Михайловна! Призрак коммунизма еще только начинал бродяжить по Европе, а наш Михаил Евграфович в «Истории одного города» уже описал то интересное положение, когда – начало цитаты – «каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако же, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего» – конец цитаты. Как известно, господин Угрюм-Бурчеев довёл-таки город до всеобщего однообразия, вплоть до планомерного детопродукции, однако он, в отличие от более удачливых прожектеров Икарии, потерпел неудачу при попытке усмирить реку, не желавшую течь по его предписанию. И здесь, уважаемая Софья Михайловна, не один лишь Михаил Евграфович находил в действиях устроителей военных поселений сходство с утопией.

– Минводхоз? – ахнула Софья Михайловна.

– Ну, вот, опять Минводхоз... Вы знаете, как он привязался ко мне в последние дни, спасу нет! Нет, не Минводхоз, пропади он пропадом. Его ещё и в помине не было, когда будущий император Николай Первый побывал в Англии на фабрике, которую Оуэн устроил в Нью-Ленарке, и там он заметил, что нечто похожее пытается делать в России граф Аракчеев. А уж потом, много позже, на трон сели эскадронные командиры и придумали Минводхоз. Всего вам доброго, Софья Михайловна. Желаю

успехов в личной жизни и заработной плате, – сказал я и выключил диктофон.

6

Библия принадлежит не церкви. Библия принадлежит этому свету, белому с радугой. И светский человек, даже без поповской агитации и пропаганды, обязан-таки прочесть и Библию, и Коран, и Талмуд, и Тибетскую Книгу Мёртвых, и Кодекс Бусидо, и Книгу Перемен И-Цзин... И – Соснору.

Соснора читается как Библия и всё вышеперечисленное: с любой страницы книги, и при этом неважно, что именно было на предыдущей странице и что будет на последующей; и в этом случае пространство чтения превращается во что-то причудливое уже даже без самого Сосноры... Во что? В кинематографический, из «Земляничной поляны», город Бергмана с уличными часами без стрелок? То ли бывшая поляна Земли, то ли ещё будущая, на которой уже мальчик ловит сачком стрекоз, принципиально не кушает суп и изо всех сил борется за свободу и независимость?.. Что-то брезжит в пространстве чтения: неуловимо точное, необъяснимо верное, не требующее доказательства существования, постоянное и необходимое, словно число «ПИ» во всех, математически выстроенных, научных теориях? Или – незримый готический собор, всегда присутствующий на всех полотнах Ван Эйка, на любых полотнах, что бы на них ни изображалось – всегда собор невидимо стоит и чудится... Ближе Ван Эйка – только советский солдатик, истосковавшийся по девкам, и вот на что ни посмотрит он, бедолага, да хоть на ту же сапожную щётку, а всё она вспоминается, она! всё о ней думает, о неосязаемой, приманчивой и недоступной... – о родине, значит... Анекдот? Ну, и что с того, что анекдот! В него тоже можно войти, как в Евангелие. Добро пожаловать, обжалованию не подлежит...

Когда-то Виктор Соснора публично оскорбил всех пушкинистов: «Пушкин, – заявил он, – не умел выдумывать, все его сюжеты заимствованы из книг. Да и по биографии видно, что человек только читал и писал. Это знают все исследователи. Такой метод – самый рациональный для писателя. Я бы его обозначил формулой: книга – писатель – книга. Но многие не выдерживают, хотят ещё и жизни, идут в камер-юнкеры, на дуэли, в алкоголики, едут в Ясную Поляну, чтоб учить крестьян, как резать землю

плугом, или рекомендуют целым странам, как им развиваться экономически, политически и даже этнически. Но и эти нелепости – от книжной начитанности, от амбиций «Я всё могу». Но писатель может только читать и писать».

Цитата – как цикута: можно и отравиться от передозировки.

Противоядие известное: это ненаучно! это неисторично!

Противоядие против противоядия против цикуты-цитаты: так ведь и история, пардон, – не наука.

Если представить историю без историков, то она, вероятно, существует где-то в ноосфере, в виде информационного поля, или в памяти неживой природы, в памяти воды, в памяти кремния. Как существует? Молча. У истории нет подходящих, адекватных событиям, слов. У неё вообще нет ни слов, ни языка. Есть исчерпывающее, самодостаточное молчание. То есть истина. А что ей, истине, до того, что кое у кого есть слова, язык, и даже угол зрения имеется, а уж у самых крутых, у совсем кое кого, так и вовсе: точка зрения? Что ей, истине, до наших геометрий?

Вот – гений. Гениев создаёт природное пространство, классиков создаёт время, и человеческое сообщество слишком высокую цену платит за эту несогласованность.

В 1834 году известный Фаддей Булгарин писал в «Северной пчеле»: «У нас на Святой Руси гении никогда не бывают поняты. Но не беспокойтесь. От прозорливого г. Лобачевского не укрылась эта печальная участь гениальных произведений. Он послал по экземпляру своей программы во все знаменитые иностранные академии. Дай бог ему успеха. Авось там поймут его лучше нашего»... Речь идёт о «Геометрической программе» Николая Ивановича Лобачевского.

Вот вам, как на блюдечке, весь Фаддей, и геометрия России, и история, и цикута для пушкинистов, а заодно и для лермонтоведов, есениноведов, толстоведов и солженицыноманов – да с присовокуплением не просто «пожалуйста», но невыносимо-вежливого русско-французского «сильвуплешь».

Кстати, есть вот такая точка в угле зрения (Соснора тут уже ни при чём), озвучиваю впервые: Пушкина Александра Сергеевича ежеутренне чрезвычайно раздражала собственная, с каждым разом расширявшаяся, плешь на макушке; раздражение перетекало на прочие мелочи быта и становилось злобой дня, и лишь отчасти, в ничтожной части, уравновешивалось, компенсиро-

валось и удовлетворялось обзыванием собственной супруги, первой петербургской красавицы, как «моя косая мадонна» – к недоумению мужеской части бомонда и двора Е.И.В., к соперническому злорадству – женской, к молчаливой солидарности живописца Карлушки Брюллова, писавшего натальиниколаевнин портрет... Вот! А вы мне тут говорите: Дантес, Бенкендорф, Нессельроде, декабристы, царь... Какой царь? И что такое Нессельроде в сравнении с плешью поэта, любимца муз и не только их одних?!

Так или не так?

Вот возьму сейчас телефонную трубку – и позвоню по номеру 527-81-24, и спрошу вполне миролюбиво:

– Так или не так?

Нет, не возьму, не позвоню и не спрошу вполне миролюбиво, хотя физически ничто не может мне помешать звонить и говорить о чём угодно.

Соснора Виктор Александрович не услышит.

Нет молчания у Сосноры.

Он, конечно же, слушает.

Но слышит только тишину.

Гений. Поэт милостью божией. По умолчанию.

7

Город готовится к встрече нового, 2007-го, года.

На Исаакиевской площади, между Собором и зданием Законодательного Собрания, выросла архивеликанская ёлка с великанскими фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Стоят эти сказочные монстры не как в сказке, но как в правовом государстве: лицом к Законодательному Собранию, задом – к Собору, в отличие от соседствующей конной статуи императора Николая Первого: тот всё же смотрит на Собор и добровольно разворачивается задом наперёд куда не собирается.

Старые сказки на новый лад, новые – на старый... Казарменно выстроенный город: петровский Санкт-Петербурх – бироновский Санкт-Петербург – панславянский Петроград – большевистский Ленинград – собчаковский Санкт-Петербург... – именами обречённый круг, цирк без страховки, манеж российской истории.

«Атланты держат небо...» А ведь и круто же их подставили!
Подставили - и кинули...

Сфинксы звереют в дрёме.

У входа в Казанский собор, вчерашний Музей атеизма и позавчерашний Казанский собор, бдят с гранитным выражением милицейские посты.

Имперско-синодальная пышность величия.

А как же иначе! Если – Святая Русь, священная война, спасение Отечества и фронт национального спасения, да вот ещё и артиллерия как «бог войны», и пехота как «царица полей»!

Символы и атрибуты не столько религиозной веры, сколько элементы православной сакрализации имперской политики.

Утрата столичного положения, комплекс государственно-статусной неполноценности воцарились обидою в крови поколений, и подвигают электорат, способный к бунту, даже к неонацизму, ничем иным уже не обратишь на себя внимания, а в славянофильстве Москву уж чёрта с два перещеголяешь.

Христос на Марсовом Поле.

Марсианский цвет – красный.

Многие думают: обыкновенный песок...

И куда плывём, братцы-ленинградцы?

...уже не ленинградцы, но ещё и не петербуржцы, и это ещё ба-а-льшой вопрос: будут ли таковыми? то есть теми, которых мы уже не знаем, но ещё образно представляем памятью букв, красок и нотных знаков.

8

Фаддей Венедиктович Булгарин был человеком дальновидным и расчётливым.

После смерти Николая Первого стареющий Фаддей Венедиктович, доносчик и тайный осведомитель императорской охраны, сексот по-нашему, по-советски, оказался не у дел (вот удел, странный! в наши времена сексоты от безработицы не страдают и переходят от одного режима к другому как эстафетные палочки...) Но старорежимный Фаддей Венедиктович не впал в отчаяние, он имел довольно продуманный и просчитанный план.

В основе этого плана лежал портфель с бумагами Кондратия Рылеева, переданный декабристом в булгаринские руки – на сохранение.

Булгарин сохранил.

И это сохранившееся послужило-таки Фаддею Венедиктовичу действительным залогом, личным сокровенным оберегом от исторического забвения.

Оберег тот опирался на предположения: а вдруг история с декабристами как-нибудь этак обернётся, что государственные преступники вдруг восстанут из мертвых и сделаются национальными героями? почему – нет? в России всё возможно! и как тогда дело обернётся?..

И дело обернулось.

Старый уже, но неистощимый на выдумки паскудник объявил себя отчаянным либералом, немало пострадавшим от властей, извлёк из потаённого хранилища заветный портфель с рылевским архивом и, потрясая рукописями, письмами, документами, принялся доказывать обществу, что он, Фаддей Венедиктович, был самым близким, самым доверенным другом «первенцев свободы» (что кстати говоря, было частичною правдою).

...Спустя полтора века Григорий Горин положил этот сюжет в основу своей пьесы – со слабым утешеньцем в том, что в судьбе даже прожжённого прохиндея остаётся что-то человеческое и заслуживающее жалости.

9

Канунный вечер и минувшая ночь угрожали новым подъёмом воды в Неве, однако в наступившее утро 14 декабря уровень наводнения не дотянулся до критической отметки на контрольно-измерительных постах, и угроза стихии, явившаяся привычно, так же привычно миновала.

В полдень на Сенатской площади собрались потомки декабристов.

Собрание освещали телевизионщики, «радиоактивщики», газетчики – солнышко не удосужилось.

У Медного Всадника в порядке живой очереди выступали потомки.

Они говорили через микрофон – друг другу.

Потомков потомков что-то не было видно.

Из динамиков гремели изначально тихие, камерного внимания, стихи:

– Во глубине сибирских руд...

Девушка с блокнотом и диктофончиком невесть откуда вернулась и ко мне подпрыгнула, жизнерадостная, потомок потомков:

– Газета Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Наш район»! Разрешите вопрос! Что вы можете сказать по поводу...

А что сказать? Очевидное. Середина декабря, четверг, обыкновенное наводнение, зелёный газон вокруг Медного Всадника, белый лимузин с молодожёнами, очень приятно познакомиться, милая девушка, остренький носик, быстрый говорок, розовый шарф-самовяз, с шейкой трижды повенчанный, мой район, очень приятно, только знаете что, милая девушка? не надо понимать те глубинные сибирские руды вот так уж прямо в лоб, в буквальном толковании, в рудниковом смысле, в полезно-ископаемом и горнодобывающем значении, а в каком? а в таком, что руда по-старославянски означает кровь, смотрите у Даля, он и в буквах дока, и доктор медицинский, он кровь знает, и поэта Пушкина праведную, и лазаретную матросскую, и нет между ними кровной разницы, одинакова, а кто я такой? да вот же, стою с краешку и слушаю звуки речевых слов из динамика, размышляю не вслух, про себя, но, возможно, что и от имени и по поручению, да, конечно, от имени одного весьма оригинального сооружения в Иркутске, памятника человеку-невидимке или человекам-невидимкам, это, представьте себе, такой гранитный камушек, оцепеневший у истока неременной улицы Ленина, на месте старого, восемнадцатого-девятнадцатого веков, немецкого лютеранского кладбища, там сейчас асфальтовый пяточок и крошечный скверик, а в скверике камушек с надписью «Здесь будет сооружён памятник декабристам», много лет тому камушку, у основания мохом тронут, центр города, а памятника нет, почему? а потому, что патриоты-профи во главе с писателем, героем соцтруда Распутиным шибко сомневаются в пользе для Отечества и Сибири либеральных дел тех масонов и цареубийц, хотя раньше, при советской власти, герой соцтруда не шибко сомневался, да же совсем не сомневался, но вот как-то так совершенно по-булгарински поворотился, только в обратном порядке, и вот, значит, этим патриотам-профи возражают патриоты-любители, схватка нешуточная, уже лет тридцать этой гражданской войне, люди спорят, камень ждёт, а сейчас там, вероятно, снег идёт, не то

что в колыбели трёх революций, в Сибири снегопад долгий, сугробы сугубые и дебелие, покров, что называется, «с иголки», свежий, чистый, а иголочки хрустальные, и солнца там имеется даже больше, чем требуется для процветания и блаженства...

– Вы не из потомков? – спросила девушка.

– Не из этих. Но по крови их родственник.

– Во глубине сибирских руд?

– Во глубине.

«Мой район» щебетнула прощально, крутнула шарфиком на четвёртый оборот и исчезла: лёгкая городская декабрьская птичка.

...в самую пору опустить руки – и написать кое-что покрепче бумажного листка, наполненного чистотой, не пропустив при этом ни одной буквы.

10

...в самую пору поднять руки – и выпить кое-что покрепче из полнокровного гранёного гвардейского стакана, наполненного доверху, не пролив при этом ни одной капли застенчивого добра.

И тогда, чует брюхо, осенит – осенью затяжной как снегом на голову – почему это вдруг Нева чуть не выплеснулась из положенных берегов; ведь всё, куда ни кинь-глянь-брось, шло к этому безграничному безгранитному выплеску поверх барьеров и парапетов: вопил пейзаж, свистел ландшафт, завывала градостроительная архитектоника с геополитикой: слева – Ширак, справа – «Доширак», между ними – евразийский Санкт-Петербург в болотном хмареве, а посреди Санкт-Петербурга не чижик пыжится с финляндской плацкартой на железнодорожном броневике, нет, какой чижик? это голова пассажира дальнего следования Иосифа Александровича Бродского возлежит на чемодане, чемодан стоймя стоит, хороший чемодан, из хорошего дома, на фасаде похорошему висит предупреждение, меморий мраморный: «В этом доме жил и работал...» – какая прелесть! и везёт же некоторым людям человечества, тем, которым совсем необязательно нужно каждый день на работу тащиться.... Большая Морская, 47, на трёх сотнях метров жилплощади здесь родился писатель Набоков, от него кой-какие книжки остались, а от квартиры – лишь крошеч-

ный фрагментик потолка с туманной росписью: то ли спившиеся вдрызг моря, то ли в облаках Мадонна нежится и ангелы-англоманы правят бал-не бал, баловство пушистое, купидонское, поднебесное, в охотку и налегке... Какой восторг! Такой восторг, что даже Мадонна прямо на глазах столичного бомонда закосила, закосила на манер новодевичий, налево, направо... Два напудренных гида водят монд по паркету, состязаются мировоззрениями... «Вот вам, – говорит один, – и вся секстинская Мадонна!» – «Примадонна, – говорит другой, – типа Пугачовой!» Первый гид косит под Вольтера, второй – под маркиза де Кюстина, и оба враз, солидарно отмахнулись от потолочного святого семейства и сошли на грешный паркет, на котором сафьяновые туфельки со шпорами выписывали звучные артиллерийские фамилии: Пушкин, Гаубиц, Мортирасян...

Нет, не тот это дом, и монд с бомондом не тот, а другой это дом, где лиловый негр в белейшем парике и с вертлявыми глазами разносит свежие Санкт-Петербургские ведомости на серебряном блюде, негр ещё недавно состоял на службе у входных дверей Строгановского дворца, и вдруг – революция, сокращение штатов – вот и новая должность в качестве экспонатуса в Музее шоколада, близ прозрачной кафешки, призрачной будки, за зеркальными окнами восковые фигуры чавкают кофий, ультимативно предложенный Всероссийской императрикс... Какой восторг! Какая прелесть! Аппетит радостный, уж весь шоколад сожрали вместе с музеем, и с восковой императрикс, и с восковыми гостями, ошибочка вышла, думали – вкусные, и доля лиловая обручилась после того с газеткою, заголосила из тыща семьсот восемьдесят пятого года: «А на Сенной першпективе от Гороховой улицы к рынку во втором доме над железными лавками под номером девяносто четыре продаются книги! Ключ коммерции или торговли, то есть наука бухгалтерии! Три рубля! Наставление дворянам, поварам и поварихам! Шиисят копеечек!..» – «Какой дурак», – замечает Вольтер, на что маркиз отвечает: «Самородок Кулибин! Умища умища!», на что Вольтер парирует: «Оставьте ваши противовесы. Ибо довольно и одного дурака, чтобы обесславить целый город!», на что маркиз реагирует язвительно: «На последнем-то дураке, месье, очередь не кончается!», на что Вольтер раздражается философией: «Кому тут нужны ваши уми-

щи-кулибищи? Я вот по праву первого конфиденанта мог бы сказать вам прямо в лоб: убожище! Но я почему-то говорю: убежище! Вместо уёбища. И почём же фунт изюму с таковой диспропорцией?» – молчит маркиз, молчит Вольтер, молчит лиловый негр из Марокко по имени Габриэла, вальсируют по римской мозаике некто плешивый с косой, и эта косая зовётся Мадонна, в девичестве Луиза Вероника Чикконе...

Нет, не тот это дом, и квазимондо не то, а другой это дом, в Московской Ямской Санкт-Петербурга, у Никиты Фёдорова, где, как провозгласила негрская газета, продаются привезённые тульские соловьи, учёные чёрные дрозды, скворцы-говорунки и свистуны и прочие разные другие птицы, двести двадцать один год подряд, а в углу дремлет господин некто в очочках, в самом центре нигде, *in the middle of nowhere*, посредине нигде, пятый сон видит в очочках некто, в многоэтажном доме на Гороховой улице, между Садовой и Семёновским мостом, огромный домище с двумя воротами и четырьмя подъездами с улицы, и с тремя дворами в глубине, а в самом глухом дворе, в первом, в самом грязном этаже, в четвёртом, в квартирке направо – сидит он, в углу, в очочках, дремлет и думает: что делать?... «Что, что! – восклицает Вольтер. – Вопрос решается через тендер!» – «И последнему дураку ясно, что через тендер!» – соглашается маркиз, но публика в смятении, бомонд с квазимондом разводят руки, и весь свято-петровский истэблшмент замер в ожидании ветра перемен, лишь младореформаторы с Литейного проспекта не замерли, прикидывают версии с вариантами: да, конечно, такого вольтерьянства в России покудова ещё не знают, можно лишь предположить, что «через тендер» – это как бы такое промежуточное положение между двух других: с одной стороны – как бы через тернии к звёздам, с другой – как бы через жопу и в никуда, промежуток метафизический, положение интересное, и надо рискнуть попробовать через тот тендер, авось, что-нибудь и выйдет куда-нибудь... – так прикинули младореформаторы из дома на Литейном проспекте, на что угловой человек в очочках незамедлительно подал угловой прикид: всё, приехали, герои соцтруда! тупик! но вы же герои! а герои идут дальше тупика! ведь идти дальше тупика – тот же героизм, правда, уже со зна-

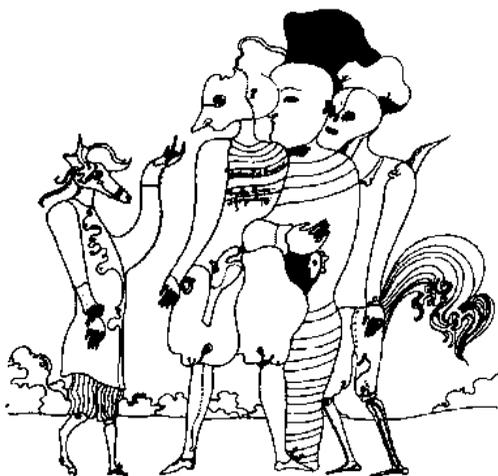
ком минус или же в кавычках, так что, идите, ничего не поде-лаешь, господа младореформаторы...

Нет, не тот это дом, и бельмондо не то, а тот это дом, где девица в драных джинсиках вдруг пискнула, оборвала наш приятный разговор о международном положении и рванулась прочь, застучала каблучками вниз по маршевой лестнице, к парадной дубовой двери, в которую уже входил Кумир! сам! на собственных ногах! поддерживаемый с двух боков другими девицами в других драных джинсиках, и вот первая девица захлопотала вокруг Кумира, защebetала: ...только вчера! иду по Невскому! и вдруг навстречу мне вы! сами! на собственных ногах! и я вижу вас в упор своими собственными глазами как живого!... – щebetала и хлопотала первая девица, а другие девицы, побочные, ревниво били её ногами по морде, и неизвестно, чем бы всё это идолопоклонство кончилось, если бы на верхней лестничной площадке вдруг не появился Габриэла, шоколадный негр из Марокко, университетский аспирант в пудрёном парике: Стоп, шалашовки! – сказал он и разом остановил девичьи моления о благодати, и тотчас же Дом актёров на Невском оборотился в Дом чекистов на Литейном, и сделалось тому негру Габриэле отчего-то пасмурно, нехорошо, как бы хреново в смысле херово, короче, поплохело Габриэле до крайних степеней гуманизма, он побледнел от страха, потом покраснел от стыда и посинел от на-туги, и почернел от горя лукового, и сделался ультрафиолетовым, а не натурально лиловым, как прежде, он стеснялся, он хотел убежать в Африку, там тамтамы, самумы и бананы, они не врут, они не обманут, они действительно бананы, самумы и тамтамы, а не видимости, не то что здесь – видимость невидимок, призраки признаков, ух, страшно, обгрызут ведь, сожрут – не от голода, от любознательности и соревнования, а убежать невозможно, имя собственное не отпускает, гирей на ногах висит, будь оно трижды проклято, это имечко, в шестидесятые годы двадцатого века именов «Габриэла» здешние вольнодумцы называли государственную безопасность, империю без границ в стране незаходящего солнца и вялотекущей интеллигентности... «Я что? – закричал Габриэла. – Один за всех тут должен отдуваться? Куда подевались эти чужеземные гады?» – Гиды Вольтер и маркиз де Кюстин выглянули из-за бронзового бюста Железного Феликса,

пропели дуэтом: «Сильвупле-е-ешь!» – и скрылись. И хлынула Нева в двери! «Кто – где?» – кричит Габриэла. Никто – нигде. Реформаторы мочат сортиры. Железный Феликс сошёл каменным гостем с постамента, ахиллесовой пятой переступил апеллову черту и дамокловым мечом принялся взбадривать ночные подушки на ложах масонских, на ложах прокрустовых да на кожах шагреневых... – ух ты да ах ты! интересное положение, кисленького захотелось, остренького!.. – на гвоздях почивающих праведным сном классических новых людей из отцов и детей да на ножах засапожных факира похмельного, фокусника неудачливого титимитикарамазова: эх, широк же человек, даже слишком широк, уж я бы сузил... – пыль перин стоит столбом александрийским, прыгает обоюдоострый меч по сквернам культуры и отдыха, прыгает мяч тишетанечки в невских водах, не плачь, орёл византийский, спокойной ночи, малыши, спи себе, щепка в глазу, дом летейский, литейный, литерный, сиропитательный, странно-приимный, ковчег обречённых, приют комедиантов, урочище пилигримов...

Плывёт кораблик каменный, по краткому курсу колышется, подрагивает ложноклассическими колоннадами, сама по себе крыша поехала, и вместо крыши образовалась верхняя палуба, там столик уютный на три куверта, вразумительный графинчик финской водки с клюковкой на шестерых и традиционная китайская пентатоника на весь Санкт-Петербург со крестами и окрестностями: это русскоязычный писатель Крусанов-сан интересуется, как там во глубине сибирских руд насчёт жёлтой опасности? поди, уж лица жёлтые над городом кружатся? или не дотянулись ещё до зоны ответственности великоросской противоздушной обороны дирижаблей державы?.. – три инженера человеческих душ сидят как святые угодники или простые сантехники: вышеупомянутый Крусанов-сан, индийский гость Диксон-сан и нижеуказанный Носов-сан, лауреат какой-то премии за роман-бестселлер «Грачи улетели», но не все улетели, один попридержался, в глазах его несказанный упрёк: уважаемый Диксон-сан, кой чёрт надоумил твоё преосвященство явиться в наш маленький провинциальный Святопетроградск с таким толстым романом по имени «Августейший сезон»? семьдесят пять авторских листов – не хрен собачий! это ж дредноут в

Неве и полный аут в наших маленьких провинциальных издательствах! нельзя же так нагличать! надо как-то этак потихоньку, как бы помаленьку, сначала листиков десять, пятнадцать, а вы вона как размахались, аж на полный атомоход с прицепом! нехорошо-с, судырь, видите – чего из вашей сумасбродной кампании вышло – Нева вышла из берегов, места культуры и отдыха бурлят холодными финскими водами, и кто виноват? и что делать? – грач поклонился на прощанье, и хвостиком вздёрнулась вверх его тощая обшарпанная шпажонка гражданского ведомства... – и вот и всё, и все мерси, и грачи улетели, и все оставшиеся фигуры с фиговыми авторскими листами, все пассажиры и самопровозглашённые друзья, все чемоданы и бронепоезда – замерли в немой сцене – то ли из новой петербургской повести господина Гоголя, то ли картинкою с петербургскими бреднями знаменитого господина Миши Шемякина:



...На столе просыхает раскрытая книжка маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».

Просыхая, корчится строчка: «Такой бред невозможен нигде, кроме Петербурга и Марокко».

Бледнело окно.

Это занималось утро.

Утро занималось солнцем.

Предстоящий день требовал ясности.

Утренняя газета «The St. Petersburg Times» (Friday, december 15) распахнула свои объятия, приглашая к бодрому настроению:

«The IDIOT»

RESTAURANT

Dostoevsky loved this place!
Extensive range of VEGETARIAN
dishes and drinks
Open daily 11.00 a.m. – 1.00 a.m.

Прелестно! Особенно это миролюбивое vegetarian! Но нам, пассажирам, с утречка чего-нибудь попроще, обыкновенную человеческую кафушку с drinks, и чтобы не от ам до ам, а на скорую руку, на быструю ногу.

И газетка любезно шелестит:

CAFE «THE IDIOT»

Great Russian and vegetarian food served all day.
Jazz, cappuccino, fresh juice, specialty teas.
Happy hour from 6:30 p.m. to 7:30 p.m.
Weekend brunch. Used English-language books
and magazines, plus an art gallery.
82 Nab. Moiki. Tel. 315-1675

Любопытно!

Наматываем на ус и шелестим дальше:

«FEDOR DOSTOEVSKY»

RESTAURANT

Atmosphere of traditions in interior and cuisine for the real GOURMET. Unforgettable Folk Shows on Wednesdays at 7 p.m. A mushroom festival with head chef Mikhail Reznikov. Exclusive cakes from Natalia Mitina. Elegant dinner based on the authentic Russian Cuisine Recipes & Folk Cossack's Dance and Songs. Special present for the guests – caviar & recipe book is included into the ticket (3500 rub). Live popular music every night & Jazz on Thursdays. Banqueting & Catering service.
Open daily from 3 p.m. until the last guest leaves,
Sat & Sun – we start at midday.
9 Vladimirsky Pr., 572 22 29...

Ну, всё, довольно, определились, и выбор сделан, и грачи улетели: двух «идиотов» назначаем на завтрак и обед, а «Достоевского» оставляем на прощальный ужин, там ведь, помимо прочего, ещё и атмосферу обещают, первоочередным блюдом... Ну-ну!

О том, что порядок посещения трёх вышеозначенных точек общепита был изменён с точностью до наоборот, вряд ли стоит говорить и помнить. Но вот атмосфера... Да, атмосфера заслуживает особого внимания.

Существуют три значения атмосферы – и все три в тот день были испытаны на достоверность.

«Достоевский» преподнёс атмосферу как окружающие условия, обстановку: творческую, трудовую, общественную, и – воспоминания о барометре-анероиде, на морде которого между «ясно» и «ветер» разместилось верховно-центральное «переменно»: ветер перемен, ветряные мельницы, ветренные модницы, ветер в голове, и откуда ветер дует, и ищи ветра в поле, и держи нос по ветру... – помешивая ложечкой водочку в стакане.

Второй «идиот» выставил атмосферу как внесистемную единицу давления, равного давлению, которое производит столб... – какой не помню, дальше были уже стишки про «ветер, ветер, ты вонюч, ты гоняешь...» – помешивая ложечкой ершистый горлодёр в стакане. Горлодёр оставлял на стекле наждачные следы, он вёл себя в некотором смысле по-человечески, потому что наследие его в общем-то ничуть не отличалось от всего того, что мы оставляем после себя и что всегда оказывается либо намного лучше нас самих, либо намного хуже.

И только в первом, Санкт-Петербургском таймсом обозначенном, «идиоте» явилась атмосфера по-гречески, то есть с паром, с парком, с испарениями – как газообразная оболочка Земли и других небесных тел: Солнца, планет, звёзд... – и тут же соларис, солнечный ветер, и духовность, разлитая во флакончики на продажу, и среднестатистический человек на ветру, с носом по ветру, добродушная бестолочь, нацбест и маленько бестия, он переводит слово «сантиметр» с оливкового языка на осиновый как «святой отец, учитель, наставник», в общем, ещё тот смиренник, не с тормозной жидкостью в жилах, он болеет за «Зенит», он стишки бормочет: «...дело свято, когда под ним струится кровь...»

– за барной стойкой чудится неприкосновенным запасом святости витрина витражная, в холодильной кунсткамере святопетровский скелет в ботфортах и треуголке – вздрагивает, весь целиком – одна большая кастаньета в беззвучном вопле: «Оле-оле-оле-оле-е-е!..» – мраморный меморий в винных пятнах – гранитная кукарекатура прямо из окна – да в европу... – помешивая ложечкой валерьянку в стакане... – и, боже ты мой! – какая странная у среднестатистического того человека фамилия – Носов! – с самого рождения она повела человека по жизни и по судьбе, повела цепко, подобно тому, как портфель водит совслужащего чиновника всех мастей, чинов и рангов – задолжник должности; так и человек Носов убирал, вычищал, выскабливал и замазывал в своей одолженной фамилии какие-то лишние буквы и вписывал другие – тщетно! ничего не помогало... – вот вам и новая петербургская повесть, извольте почитать во святцах и почитать...

12

Вода в Лебяжьей канавке стыла зеркалом: ни хмурости на ней, ни морщинки, и такая-то тишь и гладь с благодатью – на сквозняке из окна в Европу – ветражи российские, ветрожизнь...

Я прощался с Лебяжьей канавкой, которая не одни только сквозняки знала и помнила. Какие только волнения ни бороздили эту каналью акваторию для царственных птиц! Арбузный ветер, и бабий ветер, и баварский с антильским, крестовый и ленивый, зоревой, козлиный, жупановский, верховой, белый, богемный, холостой и женатый, аквилон и борей, галицкие ерши и доктор альбани, вишнёвый и виноградный мельтем, бугульдейка и голомяник, динарский фён и влажный сирокко, бравые весты и танцующие джинны, береговой бриз и бакинская моряна, баргузин и бербер, большой шаман и косоглазый боб, тбилисский норд-вест и мистраль, и сарма с муссоном, и пассат с циклоном, и зефир со смерчем, и шквал с насморком... Все побывали тут. Все наследили.

А сейчас – зеркало.

Из зеркала смотрело на меня большое лицо, противное и безупречно знакомое...

Когда-то, давным-давно – я помню себя в тёплой ванночке, в прикосновениях крылатых ладоней, это потом, позже я узнал, что

это были ладони и чьи они были, а тогда и оттуда я запомнил только воркующий плеск воды и лицо во всё пространство, бывшее надо мной, выше тёплой воды, пространство называлось вселенским небом, а лицо принадлежало богу, и я видел этого бога воочию, лицом к лицу, и ни хмурости на нём, ни морщинки.

Сейчас это лицо глядело на меня из зеркала Лебязьей канавки.

14

Двигатели лайнера при взлёте работали на ноте «ми-бемоль» второй октавы...

Самолёт набрал высоту. Пассажиры распоясались.

– Ну, уж нет! – донеслось из ближайших окреслостей. – Вот как только прилечу на этом самолёте на свой заслуженный курорт, так всё равно сразу же нажрётся за все свои кровные утраченные отпускные денёчки. Четверо ж суток в аэропортах мыкаюсь, как последняя колхозная корова, хоть заборы грызи – надо ж так опуститься! А оно мне надо? Оно мне не надо, чтобы на каждом углу висели плакатики с нарисованными стюардессами, и эти лакированные курвы в пилотках всем улыбаются прямо в глаза, а буквами написана буквально провокация: «Летайте самолётами Аэрофлота! Надёжно, выгодно, удобно!» Нет уж, обязательно нажрётся. Возмещусь за все четыре пропавших дня вынужденного простоя. Никому шансов не оставлю, всё сам выпью...

Я слушал случайного соседа и охотно верил ему: уж этот нажрётся, уж этот, как пить дать, непременно сдержит свою пролетарскую клятву. Желаю тебе крепкого здоровья, сосед. Будьте вы все здоровы.

И ты, товарищ контр-адмирал Мартынов, начальник института, который был когда-то высшим военно-морским инженерным училищем имени Дзержинского: успехов тебе в ратном труде по оштукатуриванию и прочему ремонтно-восстановительному возрождению Адмиралтейства, зодческого памятника, разваливающегося на глазах – и только золотой кораблик шпиля ещё плывёт куда-то...

И ты будь здоров, ПЕНный соратник-соперник Валера Попов; досадно – не состыковались в фотосалоне на Невском, 6, где всего лишь за полчаса до моего делового прихода закончилось официальное торжество открытия выставки, посвящённой твоему

юбилею, и все разошлись на торжество неофициальное, сиречь водку пить, а в салоне осталась фотоэкспозиция – следы попова детства и поповых лауреатств, и всему тому вернисажу было дадено название очаровательное: «Жизнь сложна, зато ночь нежна», аж слеза прошибает, как последнего дурака...

Будь и ты здорова, забегаловка «Академический проект» на Рубинштейна, 26 – продолжай, голубушка, свою гуманитарную деятельность по оздоровлению питерской литературно-художественной богемы с 11.00 до 19.00, без обеда и выходных, тел. 764-81-64...

Все будьте здоровы, живите богато. И да минует вас воздух несвободы, решётки Михайловского сада на канале Грибоедова, у Спаса-на-крови: сад регулярный, канал необратимый, а храм сам спасётся, классический оберег пособит: «...дело свято, когда под ним струится...»

И наше вам с кисточкой, уличные художники на пяточке безымянном у католического костёла святой Екатерины. Прости и прощай, белоголубая армянская апостольская церковь, в глубинку посторонившаяся, от людодохода Невского проспекта...

И ты, многожды упомянутый, прощай и прости за испытание широты твоей знаменитой всемирной отзывчивости: лично измерил – 22 шага, от бордюра до бордюра, в истоке; уж куда до тебя Гороховой улице! то же – и Вознесенскому проспекту, третьему магистральному лучу, убегающему от адмиралтейских львов с глобусами, – всего-то десяток шагов в ширину, два самых паршивеньких танка не разойдутся... хотя, знаете ли, есть по этому поводу разные точки зрения с фокусировкой, и всё зависит от того, как посмотреть на этот уличный поперёк в десяток шагов: с одной стороны – это миг делов для какого-нибудь принципиального поскокиша, торопыги, злостного нарушителя ПУД, провокатора ДТП и клиента ГИБДД; а совсем другое дело – утренний техник-сан/водопроводчик, он же дежурный слесарь: этому гражданину для поперечного путешествия с прямохождением напересёк Вознесенского проспекта и полчаса будет не весьма довольно... В общем, прощайте и до скорой встречи, друзья сухопутные!

...А в небесах расклад следующий: авиалайнер, грубо говоря, жрёт керосин и сытно урчит.

Летит как змей-горыныч, как дракон трёхголовый или, нежно выражаясь, как птица-тройка.

То есть, – как Русь, по-Гоголю.

А в ней/в нём сидит... Кто? Троянский конь в пальто, по-Гомеру?

В нём/в ней сидит население пассажиров.

Причём, некоторые даже лежат.

Спрашивается: можно ли лёжа и сидя – лететь?

Вопрос на засыпку вполне допустимо поставить иначе, на сухопутный манер.

Государство, например, идёт вперёд семимильными шагами: это мы точно знаем, это на бумаге написано, на фанере, на жести, на кумаче, на лбу первого лица среди равных.

А в этом государстве сидит на троне царь, первый среди равных.

Царь – идёт?

Мужик на лавочке, депутат в президиуме, какой-нибудь правонарушитель или правозащитник на нарах – тоже считается, что сидят.

Интересно: они – идут семимильно?

Идут – в свете планеты ветров, от умеренных до сильных, которая летит и не урчит, и не жрёт керосина.

Вот и пусть себе летит – куда влекут её центробежные или центростремительные силы. Мы – с ней – туда же, в большой матрёшке.

И вот и всё. И грачи улетели.

И не грубо или нежно, а условно-честно говоря, не стоит по этому троянскому поводу задаваться никчёмными вопросами, ломать себе и друг другу головы и, уж тем более, из мухи делать слона; в противном случае, неизбежно появление слонов и России как родины слонов, и родины как генетики, и генетики как родины мух, и мух, летающих даром напрасным и случайным в салоне авиалайнера, и авиалайнеров, влетающих в копеечку всем налогоплательщикам и всадникам летящим, лежащим, сидящим, едущим, идущим, имущим и неимущим, всем неприбранным к изначальному Слову и потому одиноким пассажирам. Собственно говоря, кому из них взбредёт в голову разделять такие противные случаи, эти властительные сласти, эти страсти мифо-

творческие, чтобы, предположим, Россия – отдельно и мухи –
отдельно? Кому этакое взбрѣт в голову?

Всем.

Я уже пробовал.

Не получается.

Декабрь 2006, Санкт-Петербург,
август 2008, Иркутск

Вместо послесловия ЭТОТ НЕЖНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОВОД...

– Выше всех похвал?! – придушённо зарокотал Князь. – Меня! Хвалит! Эта сучара поганая! Антошка! Ну, блядь, докатился, значит, до начала конца бывший мальчик с бантом...

А голос с неба, усиленный мегафонно, падал и падал:

– ...вы всё ж таки не купились за доллары! Вы всё ж таки остались в нашей, как говорится, Палестине, не то, что некоторые, у которых в нашей Палестине было всё, и материальное благосостояние, и почётные звания, и квартирный вопрос, но, несмотря на такую заботу, они предпочитают оставаться во время гастролей в Америке и так далее, и просят политического убежища. И вы, уважаемый Игорь Святославович, по-товарищески просто Игорь, вы всё ж таки должны и обязаны сказать своё последнее слово на отщепенские поступки своих бывших коллег. А теперь я передаю слово товарищу из ваших органов. Товарищ прочитает вам обращение, текст согласован с вашим управлением культуры... Давай, генерал, валяй в темпе...

Небо прокашлялось и объявило:

– Раз, два, три... Как слышите меня? Внимание. Уважаемый гражданин народный артист Советского Союза. В целях сохранения культурного наследия предлагаем вам добровольно сдать органы правопорядка для последующей депортации в город Москву по просьбе трудящихся Большого театра Союза ССР. Соппротивление бесполезно. Вы окружены...

– Стой, генерал! – ахнуло небо. – Ты с ума сошёл? Мы такую концовку не согласовывали! Идиот!.. Внимание! Дорогой Игорь Святославович! Это опять я, Кильдишев Антон Ефремович. Тут маленько товарищ генерал из органов оговорился, это он чуток переборщил, служба у него, понимаете ли, такая напряжённая, что иногда бывает немножко не того. Но и вы поймите, Игорь Святославович, во-первых, вы должны дать отпор и публично сказать решительное «нет» отщепенцам, балет нехорошо себя ведёт, и солисты оперы то же самое, зарубежные гастроли превратили в лазейку. Это предатели и изменники! И вы лично должны показать пример советского патриотизма. И ещё поймите, Игорь Святославович: Большой театр Союза ССР под угрозой!

Там уже практически нет кому петь, а кому есть петь, так те, пидарасы, под молодого Преснякова подделываются, пищат и стонут, стонут и пищат, а чего пищит этот так называемый Пресняков? Вы только послушайте чего он пищит!

Небо вдохнула-выдохнуло – и пролило младенческую жалобу, тоненькую:

*Дай мне с дороги вдоволь напиться,
Чистой водицы дай мне, дай.
Ты Расскажи мне про счастье бывшее
И положи спать рядом с собою-ю-ю...*

– Слышите, Игорь Святославович? Это лично я пищалку Преснякова изобразил! Похоже? Все товарищи говорят, что похоже. Кстати, у меня в своё время был приличный голос, тенор, и я бы тоже мог... Впрочем, талантливых пародистов не так уж много, недурственный жанр. Да. А сам товарищ министр сказал на коллегии про того Преснякова: чего это он всё пищит и пищит, этот волосатый младенец? дайте ему соску, успокойте мальчика! и ещё скажите ему, чтобы он сначала побрился, засранец, а уж потом появлялся на голубом экране на обозрение Советского Союза! А товарищу министру тут же докладывают: не хочет соску, хочет дочку Аллы Пугачовой уконтрапупить. На что товарищ министр добродушно заметил: не хватало нам ещё этих чучел... Короче говоря, смех и грех! Вот так и получается, дорогой вы наш Игорь, что кроме вас уже и некому рявкнуть богатырским, настоящим советским баритональным басом на разных отщепенцев и Пресняковых. А также мы имеем сведения, что вы вообще уважаете гужевую тему, в смысле коней. Но вы не беспокойтесь. Мы обеспечим. Лично у меня в Подмоскovie есть знакомая лошадь. В смысле, конь. Будет лично ваш. Итак, я полагаюсь на ваше благоразумие и патриотизм. Надеюсь, что вы меня хорошо слышали. Жаль, что отсутствует обратная связь. Но ничего. Шум винтов не помешает нам с высоты увидеть ваше понимание ситуации. Сделайте нам знак, что вы всё поняли, поддерживаете и одобряете...

И Князь сделал.

Этот жест – потрясённый серп и молот из двух скрещённых рук! – который, в свою очередь, так умилил товарища Краснопресненского-Крестовоздвиженского, шокировал секретаршу

Аномалию Андреевну Курбскую и является обычным бессловесно-образным выражением личного мнения слесаря-сантехника Краснознамённого ЖЭКа №25 товарища Кувыкина.

И небо огорчилось гласом:

– Да? Вот как? Паразит ты всё ж таки... Ладно! Давай, генерал. Начинай операцию.

Через пять секунд взвилась и обрызгала небо красная ракета на стихи и музыку Б.Ш. Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал». Это была настоящая ракета, не целлулоидная...

Уже позднее, после событий, Сочинитель сообразил-таки, почему в войсковой операции силами трёх отделений из личного состава внутренних войск МВД, ОМОНа и привлечённой для усиления отдельной стрелковой роты охраны и сопровождения воинских грузов Министерства обороны СССР, в касках и бронежилетах, при двух колёсных бронетранспортёрах по флангам и одной боевой разведывательно-дозорной машине по центру... – почему, вместо артподготовки или прожекторного удара, с успехом опробованного нашими полководцами под Берлином, вдруг грянула музыка: психологическая атака!.. О, стратеги военного искусства! О, виртуозы тактики и стратегии! О, мастера, подмастерья и верные ученики боевых уставов пехоты! Приидите и обрящете опыт покорения артиста!

...не целлулоидная, однако! Затем три мощнейших динамика враз оглушили плацдарм произведением товарищей М. Матусовского и В. Баснера из кинофильма со странным названием «Тишина»:

*Дымилаь роща под горою
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое...*

И заржал Чапай боевым голосом гражданской войны в великой отечественной литературе, вскинув голову с прижатыми ушами.

И зарвел Князь, лицом красный, рёвом военно-полевым, половецким:

– Да-а-а? Вы, значит, вот ка-а-а-к?..

Светилась, падая, ракета,

*Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда...*

Странно: из бронетранспортёров высыпавшиеся вои с автоматами поплюхались наземь и энергичными ящерками поползли вниз по склону Целкиной горки, с трёх сторон суживая кольцо окружения... Чёрт знает что! Зачем ползти-то?

– Значит, вы та-а-ак? Да я бы и сам вернулся туда, куда хочу. Но так, чтобы силком? Под руководством мудака Антошки? Вот уж херушки, ребята! Ничего у вас не выйдет...

Между тем, вои с криком «Ура!» поднялись в атаку и, разворачиваясь в цепь, бежали по склону, треща выстрелами холостых очередей из автоматов имени Калашникова со складывающимся прикладом.

В небе трещал вертолёт.

*И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте...*

– Всё в порядке, – сказал Князь Ерусалимычу и погладил Чапая по вздрагивающей шее. – Всё в полном порядке. Не беспокойтесь. Ступайте потихоньку домой. Вас не тронут. Учение у них, понимаете ли. Манёвры...

Одним махом, как заправский кавалерист, взлетел Князь на коня – без стремян, без седла, без узды...

«Всё в порядке! Поиграем, ребятки! Вы – в свою игру! А я – в свою!»

– Вперёд, бродяга! Гэй!

А Чапая не надо напонуживать. Чапаю вообще не надо многое говорить. Он всё понимает.

Аллюр три креста!

Гайдар шагает впереди!

*Слышишь,
товарищ,
гроза
надвигается!*

С белыми
наши
отряды
сражаются!
Только
в борьбе
можно счастье
найти!
Гайдар!
Шагает!
Впе-
ре-
ди!

Вои позаскакивали на бронетехнику, и три боевые машины, трепеща стволами, автоматными и пулемётными, устремились вниз по склону, в погоню, в погоню, не дать всаднику уйти далеко!.. перед ним – насыпь железной дороги... за ней – река... не уйдёт!

Эх,
не рви ты,
Чапай, гэй!
Свою
новую
сбрую!
Свою
новую
сбрую!
С само-
цвета-
ми-и-и...

Погоня, погоня, погоня, погоня в горяче-е-еей крови!
Красные дьяволята!
На крутой железнодорожной насыпи Князь не удержался на боевом коне.
Беда, республика!
Обдираясь до крови о щебень и насыпной шлак, Князь скатился вниз...
Чапай же, преодолев крутизну, крутился со ржанием на рельсах.

Вои с автоматами окружили Князя.

Что им делать дальше, они не знали.

На рельсах призывно ржал Чапай.

И снова заревел Князь, лицом белый:

– Уходи, Чапай!

И Чапай всё понял. Ему же не надо многое говорить.

Он всё соображает, Чапай.

Он рвётся к реке, к последнему рубежу: да я бы и сам! я бы и сам вернулся туда, куда нам с Князем надо! но чтобы вот так? под руководством треска и шума? нет уж, херушки, ребята, ничего у вас не выйдет! играйте без меня...

Он вылетел на обрывистый берег и на полном ходу – в воду.

...Дивно мне время действия. Чудно. Забавно. И смешно, и страшновато вместе.

Чтобы воочию увидеть время, нехитрое действо понадобится: вот весенняя веточка с набухшей, готовой к зелёному взрыву, почкой; вот, уставившись неподалёку, неподвижная тренога с киносъёмочным аппаратом, чудом двадцатого века, с изрядным запасом чувствительной целлулоидной плёнки, синема, дерзкая шутка братьев Люмьер: мотор! хлопущка! начали! – и день, и ночь, безостановочно, без обедов и перекуров, стрекочет кинокамера, вбирая в себя, в толщу эмульсионных слоёв, невидимое человеческому глазу движение жизни: предродовой вздрог веточкиной почки, после которого она лопаётся, две скорлупки – как две размыкающиеся ладони, как две мачты у стартовой ракеты! – раскрываются, выпуская в свет планетного новожила, существо сморщенное, наихрупчайшее, но упрямое, оно выкручивается из собственных складок и извилов, напрягаясь и ворочаясь, распрямляется, вытягивается, в росе и солнечном луче, охорашивается узорчатой оборочкой, растёт, покачиваясь на черенке, и в какой-то миг вдруг замирает в росте, будто бы само себе удивилось: вот я какой, лист древесный! живу! – и нет мне дела до вашего кина с его абсурдной, двуличной, как две стороны одной монеты, противоречивой концепцией, в которой фильму ставить и снимать – одно и то же... Хлопущка. Конец. А после конца эту киноленту в другой аппарат поместят и в свете пронзительного светового луча станут раскручивать её магию в

ином режиме, в сжатом, в ускоренном темпе, такие-то фокусы, скорости менять по желанию кинщика синема умеет: неделя жизни = минута на экране, и невидимое становится зримым...

Одoleвая водовороты, перебарывая течение, осиливая стремнину, Чапай плыл к берегу, и тот становился всё ближе и ближе. Река попадала в ноздри, в глаза, Чапай фыркал и вытягивал шею, а голову надобно всегда держать высоко, вообще по жизни, а в воде – тем паче чаяния, как говорит генерал Поцелуйко.

И всё оглядывался, оглядывался Чапай: где Князь? как там Князь? с кем воюет? может, уже и плывёт вослед? Нет Князя. На оставшемся берегу он, на высокой насыпи, и там же столпились эти шумные пацаны в пятнистых одеждах, с блестящими круглыми головами, испускающими солнечных зайчиков.

Пацаны махали руками и кричали:

– Давай, давай!

– Маленько осталось, Чапай...

– Давай, давай!

– Ещё чуток...

...Дивно мне действие времени. Чудно. Забавно. И страшновато, и смешновато вместе.

Чтобы воочию увидеть действие, нужно время: годы, десятилетия, а то и века.

В полёте шмеля, запечатленного на киноплёнке, есть не только траектория, есть движение прозрачных крылышек, гармоничное, как музыка, но музыка на сверхскоростном аллегро, недоступном восприятию человека, и тогда он, человек, иллюминат этакий, раскручивает магию киноленты в ином режиме, в растянутом, замедленном темпе, такие-то фокусы, скорости менять по своему хотенью, синема научилась: минута жизни = час на экране, и невидимое становится зримым...

И за всем этим шумом-гамом человеческих голосов, бронемашинных двигателей и вертолётных винтов никто из производителей действия не смог услышать глухого хлопка с вершины Целкиной горки, от постаменты, на котором жил, словно отдушина в мёртвую душу, вовсе никакой не конь, то есть не кобель и не

кобыла, и даже не лошадь, а искусственное недоразумение, охраняемое государством...

О, если бы между Чапаем и снайпером был бог! Но бога не было, его отменили. Был Сочинитель. И была пуля.

И вот Сочинитель вместо того, чтобы развивать, упорядочивать и обогащать эстетические отношения искусства к действительности; вместо того, чтобы сочинять сочинения о любви, дружбе народов и мире во всём мире; вместо всего этого и иного прочего, что так и просится пошоркаться на бумажке, Сочинитель берётся сочинять сочинение о пуле и о винтовке СВД с оптическим прицелом; Сочинитель, конечно, может рассмотреть оную пулю, замерев дыханием и остановив мгновение, тем самым как бы замедлив движение летящей убойной силы, как это позволяет себе делать синема, однако остановить полёт пули Сочинитель, увы, не может, не в силах, не в состоянии, не властен он, не те полномочия у Сочинителя. Он смотрел на снайпера, а видел пулю. Он смотрел на плывущего Чапая, который вот-вот нащупает берег, но опять-таки видел пулю. Сочинитель смотрел туда и сюда, на два берега разом, а видел – металлическую дурочку. Это было странное зрение. Но если бы Сочинитель был достаточно образованным человеком, то он не стал бы крутить башкой туда-сюда, он удовлетворился бы зрелым доверием к тому, что зуб неймёт, но существует – и ни в зуб ногой, без сочинительского вертухайского головокружения, без вышестоящих решений в свете постановления, без морально-строительных кодексов, без знамён и звёздных знамений, напившихся крови, без великих починов, без обязательств, долгов и соревнований; подумаешь – остановить мгновенье возни! да хоть все семнадцать! – дело нехитрое, об этом любой хирург знает, и математик, и адвокат, и литературный критик, и астроном – вот профессионалы, остранные, уверенные мясом, десятком цифр, красноречием, ножицами и парсеками, невозмутимые мастера, циничные авгуры, без ахов и охов, тем более без этого продолговатого паровозного «О», на котором вообще далеко не уедешь – ни в крупном плане, ни в мелком масштабе, из коих тот же Сочинитель, затеявший рассуждения по-крупному счёту и по-мелкому бесу, сделает как раз всё наоборот, шиворот-навыворот, будучи не в состоянии уразуметь того, что мелкий-то масштаб – это глобус, модель

планеты, а крупный – это его, Сочинителя, семь соток на дачном участке... да уж, бывает, что и у авгуров случаются прорехи в ихнем авгурстве, так ведь это бывает не так уж часто, да и то лишь тогда, когда у человека образуется излишек неба, но при этом не хватает истории, вот тогда даже такая неземная, возвышенная наука, как космология или астрономия, допускает снисхождение до гвоздя в подошве, до песчинки в почке, до монетки в кошельке, но уже оттуда, из праха и чуши несусветной, снова и снова улетает в астрал, ко взаимному удовлетворению галактики и песчинки... был такой знаменитый звездочёт Джон Гершель, так вот: ходил и приставал к людям со странным вопросом, ненормальным: «Можно ли одновременно видеть две стороны одной монеты?» – и люди, конечно, отвечали нормально: «Помилуйте, сэр, как же можно? Никак нельзя!» – и тогда сэр Джон, изрядно разозлившись, вынимал из кармана золотую гинею... он мог бы и золотой соверен вынуть, и шиллинг, и даже пенс, но сэр, очевидно, для вящей убедительности и чистоты эксперимента, привлекал к дискуссии именно гинею, эту аристократку в системе английских денежных единиц, именно в гинеях выплачиваются гонорары писателей, адвокатов и артистов, в гинеях оцениваются драгоценности, меха, оперные ложи и лошади на ежегодной неделе королевских скачек в начале великосветского летнего сезона (лошади, лошади скачут! – не короли), и на аукционе Сотбис, где идут с торгов антиквариат и произведения искусства, тоже царит эта guinea, весьма убедительный кружок двуликого металла, с аверсом и реверсом... – так? сэр Джон устраивал монету ребром на поверхности стола и лёгким щелчком принуждал её вращаться, причём, довольно быстро, так быстро, что ответ на вопрос сэра Джона мог быть только – очевидно! – утвердительным, и вот за этот незамысловатый фокус ухватился очевидец, тоже сэр, физик Фитон: картонный кружок, на одной стороне птичка нарисована, на другой – ажурная сетка, быстро вращается картонка по вертикальной оси, быстро, как только возможно в такой научно-художественной самодеятельности, и что же видят леди и джентльмены? – птичку в клетке! – так в середине девятнадцатого века родилась детская игрушка «Таумотрон», прообраз будущего кино братьев Люмьер, но в начале-то – астроном Гершель, звезда и денежка, вот ведь какой цинизм высшей пробы, путь вселенского крохо-

бора, это уж потом, потом, из иных золотых сечений: и Герцен вышел от мелочей жизни к «Полярной звезде»; и Гершвин, служивший подмастерьем у каждой золотой клавиши рояля; и серебряный чёртик русской литературы, «Асыка Первый, верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова»... этот серебряный чёртик, взвихренный охреневшей Русью, шуршащий шоколадной фиговой фольгой, посреди реквизитов и атрибутов: кровавого мора, между сыпным и тифозным, в огненной мать-пустыне и великой тощете, на своей воле и в красном звоне, в медовом месяце, как заяц на пеньке, как красная ворона, в загородительных вехах, на даровых хлебах, по бедовому декрету, в шумах города, по пунктам и сверх, весь в зенитных зовах... – даже он, царь обезьяний, усумнился вдруг, закрутился на месте, волчком: революция али чай пить? – а вот и зря закрутился, зря, то есть зазря, ибо зря собственными глазами революцию и чай одним разом, мог бы, при достаточной образованности, сообразить, что после революции чай не пьют, что между – как, допустим, у образованных дальневосточных народов – стоит процесс, ритуал, церемония, с фарфоровой чашкой в благодатно-сосредоточенной тишине, после которой – глядишь, и суета не та, и маета не суть, и в центре мира ветка сакуры цветущей неделима, и аккуратные пунктуации философских выборов в духе несозерцательном, в разрезе то ли будет – то ли нет, то Тошиба – то Тойота... – то-то! ис-та-я-ли! – и вихри враждебные улетучились, и призраки, шастающие по миру, отступили в тень, где им и положено знать своё место и обретаться... Нет, нет! Сочинитель, вечный путаник, титаник, у него необратимое профессиональное головокружение, он всегда нетрезв, как неудачливый факир, он шарахается и от блюдце-мистического столоверчения, и от опытов над вселенной, а то ведь, не дай бог, ещё чего-нибудь накаркаешь, накукарекаешь, накукуешь, упаси господь, довольно и того, что домашняя планета без его, сочинительских, усилий, приятная во всех отношениях, на три четверти голубая, а в последней четверти, в четвёртой, – коричневая, жёлтая, зелёная, с серебряными пятнышками Бледовитых Океанов на полюсах – и посему поэтому, и по всему тому Сочинитель как лицемерный поборник многоточий зрения

ничего не увидит в горизонтальном круге собственного головокружения, кроме птички в клетке...

И летела она, пуля, летела... – нет! не летела она, пролётка Летейская, летка-енка с цепной реакцией, помеченная обоюду Дикого Поля, Великой Степи, Запорожной Сечи: и Красивой Мечей, речкою ничтожной близ Куликовского побоища, и столь же ничтожной речкой Течей, сделавшейся изречённо известной лишь после всемирно полыхнувшей в центре России радиоактивной трагедии «Маяка»... – нет, не летела пуля, скользила она, как по лучу получившая гон, светом звезды, лучевой историей болезни, воспоминанием о жизни, точкой странного зрения, артефактом, последним, обязательным, актом ружейной пиески, медленно-медленно, медленней самого искусно замедленного синема, так, что, мнилось, её можно было бы даже схватить точной рукой, однако, увы, дотянуться было нельзя, угол её атакующего поползновения по лучу не позволял дотянуться, мёртвая зона, мать её так-разэтак... – мягко, масляно раздвигала вострым носиком сдобный воздух, возмущавшийся позади и вослед вихорьками-кудряшками, закипавший молочной пенкою... и так же неумолимо ласково, беспрепятственно, безостановочно, ибо сдобе подобна черепная кость, пуля вошла в голову Чапая, и вышла, и шлёпнулась, обессиленная на излёте, никудышной каплей в текущий момент речки Куды: нежный железный овод...

Окружили вои соратника своего, снайпера, и стояли молча, набычившись.

И снайпер стоял, тоже молча, с кокетливой черёмуховой веточкой, украшавшей спецназовский шлем. Заглядывал в глаза то одного служебного товарища, то другого, то третьего, но те глаза оказывались тоже набыченными и не желали товарищества.

– Ребята, – прошелестел снайпер, – ведь он ушёл бы! Точно ушёл бы!

– Кто? – спросили ребята.

– Конь в пальто... Объект!

– Это был Чапай, – сказали ребята и добавили: – Гад ты, последняя сука и белогвардейская сволочь.

Снайпер хотел сказать про священный долг не щадить крови и самой жизни для защиты Отечества, однако слова присяги попрятались в самые укромные местечки воинского организма, скрылись со всеми своими гласными, согласными, шипящими, звонкими и глухими, и язык озвучил:

– Азарт же...

И тогда один из солдатиков засмеялся, сначала тихо-тихо, не разжимая губ, а потом смех, наращивая громкость, стал взрываться и срываться в вой... Смеющийся подпрыгивал, точно весенний мальчик в лужице, и кричал, прошивая небо автоматными очередями:

– Бобик сдох! Бобик сдох! Бобик...

Мальчика сбили с ног и, дёргающегося, упаковали под броню боевой машины.

Три бэтэера поползли прочь, к местам дислокации.

Пацаны в камуфляже сидели на бэтэерах и смотрели побэтээрски.

Небо рявкнуло напутственно:

– В Жёлтый Дом! Обоих! – и обернулось железной стрелкой, устремившейся в сторону города.

Через четверть часа доктор Штукарский принимал новых пациентов: «тяжёлого» солдатика, судорожно икающего, и «средней тяжести» Князя. Относительно последнего доктору были даны указания: гражданин сдаётся на сохранение (не в тюрьме же сохранять!), чтобы в короткий срок силами медперсонала привести его в приличный вид для последующего, в полной целости и сохранности, этапирования в Москву как культурную ценность не только Советского Союза, но и всего мирового оперного искусства, а посему содержать гражданина по высшему разряду спецобслуживания в условиях чрезвычайной ситуации, в отдельной палате, под прикрытием нежного пола, с хорошим питанием, спиртное не возбраняется, в общем, думайте, доктор, головой отвечаете...

А город Хибаровск ничего и не заметил. Он жил обычной жизнью и прожил этот день как всегда, в текущем режиме, без выдающихся достижений и столь же выдающихся мелких недостатков, в отчаянном соцсоревновании с Минусинском из Красноярсина и Плюссом на Псковщине, не считая островного города

Лондона в непосредственной близости от гринвичского меридиана. Последний побратим в градостроительном смысле и в разрезе жилищно-коммунального хозяйства, по сообщениям нашей прессы, безнадежно отстаёт, и ничего удивительного, ведь там капитализм, там хищническая эксплуатация труда, все факты жизни меряют на фунты, человек человеку есть не то чтобы друг, товарищ и брат, как у нас, а совсем как раз наоборот, то есть волк, но по унитазам они нас обогнали, это верно, унитазы и прочая сантехника у них на высшем уровне, не будем этого скрывать, однако пусть они не радуются, по этому пункту мы их в ближайшие кварталы догоним и перегоним, обязательства у нас повышенные, темпы прямо-таки чудовищные, так что, если судить-рядить по радиоголосам и теледвижениям, нам в скором времени будет вообще не с кем соревноваться в ударном труде. Другой вопрос: как сейчас они там, у себя, эти леди и джентльмены, бритты бритые, в смокингх и с тросточками-зонтчками, подводят ежедневные итоги состязательного побратимства? Наши массы этого не знают. Нашим массам это даже неинтересно. Потому что мы всё равно победим. Но ради исторической справедливости и чистоты эксперимента мы итожим день за днём, в реестрик складываем, в общую кучу дел, растущую прямо-таки на глазах, как бамбук, и сами, в единой сплочённой колонне, вокруг этой кучи движемся в новый день новым этапом, к призрачным колокольням...

Из романа положений «Августейший сезон,
или Книга российских календ» (2008).

Светлана Михеева
ДВА ЭССЕ О ПОЭТИКЕ ПРОЗЫ ВИТАЛИЯ ДИКСОНА

I. ДОКУМЕНТ ГОЛОЦЕНА

Заметки к роману Виталия Диксона «Августейший сезон, или Книга российских календ»

Уже свирепо. Ноябрь раздираем ветрами. Моргают отчаянно фонари, снег залепляет им циклопические глаза. Нет больше на ветках ни одного листа, хотя трава островками померзла зеленою. Деревесные одежды превратились в охру, в кармин – и некрепкие снегопады сукровицей уходят в полдень вдоль тротуаров, на ночь останавливаясь черным льдом. Ах, да мало ли таких ноябрей! Был собран последний гербарий – и мир завершился. Память о нем ... нет, еще даже и не память, а только свежесть переживания, розовая, как ранка под коростой – так вот, она свербит, зудит, заживая. Потому что любое настоящее есть рана. Заживая, изглаживаясь, уходит оно как раз в память, встраиваясь волоконцем в общее направление забывания. Каков был, к примеру, трехгодичной давности ноябрь? А прошлый? Что-то не помню, наверное, такой же, как все прочие – бывшие уже и будущие после. Нет у меня достаточных свидетельств его особости, не рождался и не зачинался ребенок, не выходила книга, никто не умирал. Нет достаточных оснований вообще утверждать, что этот ноябрь - был. Где тому документ?

А документ хороший – гербарий. А документ – хрупкий, жилковатый листик. У Диксона есть такой – в одной книге со многими и многими листами. И если бы Диксон даже ничего не написал, а просто приклеил на бумажку это свидетельство бытия – со-бытия – то и тогда прошлая осень состоялась бы. Но только как факт природы.

Однако если природному контингенту доказательство – листик, то и человеку, как ни странно, – тоже листик. Бездыханное бюрократическое тельце анкеты или живое книжное шевеление. Колебание воздуха, создаваемое книжными листами, ничтожно. Но – колебание памяти! Падет Рим – через тысячу лет книги будут полны Римом.

Она разная, эта память. В здешнем случае, в Диксоновском, – слой легчайший, сам по себе неброский, неприметный. Слой,

сдуваемый в ежегодном круговороте ветром сезонным, легким, но постоянным ветром истории. Слой события и быта, частушек на злобу дня, анекдотов, зарплат, коммунальщины. Слой положений и состояний, кухонных разговоров, всемирных новостей, переносимых волнами. Легчайший – но в то же время скрепляющий прочие слои памяти: так у мальчика от впечатлений детства сохраняется какая-нибудь хромая на одно колесо машинка, которая застрянет навсегда гвоздем между половиц его жизни. Седым он будет смотреть на внуков – и возвращаться воспоминанием к синей хромой игрушке. Как же она попала к нему, откуда взялась?..

Диксон невозможно серьезен, рачительно прилаживая, будто доски к приснопамятному дырявому забору, такие факты и фактики: государственной важности – и незнатные, историей пока не замеченные. И куртуазно паясничая, вбивая в забор гвозди – забористые велеречивости, озорно расшаркиваясь, наподобие столичного гусара на губернском балу – представляет: вот оно, дамы и господа, явление, вот он, Петрушкин балаган, история одного момента, история одной империи. По существу, это все равно – империи ли, момента ли. Вечность ведь – цитирую писателя – держится на пустычках. А империя на фоне вечности – менее пылинки.

Факт момента – листик того гербария, который называют жизнью, а также и судьбою, а заодно историей. Диксон вообще увлечен собирательством – вот таких гербариев... И здесь я пригласила бы вас в его рабочий кабинет. Без спроса Диксона. Все пишущие по его поводу всегда для начала заглядывают в писательский кабинет – подивиться густоте запятых, ибо каждая вещь есть запятая памяти. Все, кто бывал, не преминут вспомнить и привести как странный пример... м-м-м... чего же? – устойчивости и добровольного порядка неодушевленной материи. За счет этих качеств и существуют здесь книги и вещи, а также скрепки, бумажки, какие-то лелеемые обломки – то, что и вещами не назовешь, в лучшем случае – артефактами. Все это имеет значение. Все это является доказательством бытия, высшего порядка. Обилие живущего – это именно живущее, именно не музейное, хоть и малодвижимо – не рвет базарно зрение, не мозолит, но подчиняется дисциплине. Хозяин, кажется, умеет заговаривать вещи. Каждая из них знает свое место твердо и не

учиняет на корабле бунта, вываливаясь на берег – то бишь на стол, на пол, на чужую полку – пьяным матросом. Может быть, это дело рук жены писателя? Тогда у нее должно быть по меньшей мере десять рук – чтобы усмирить все эти книги, бумаги, карандаши, фотографии, вещи и вещички, кинжалы и кальяны. Нет, хозяин точно умеет заговаривать вещи. Он всегда знает, где в этой греции что лежит. И уважаемые карандаши здесь сохраняют свое достоинство, даже будучи источенными по самые свои пяточки.

Это интерьерное отступление сделано вовсе не из лирических побуждений и не с целью зафиксировать для истории некое злободневное помещение жилища. Это – именно к вопросу о возможности собирать гербарий из иных, не ботанических, листиков. Из листочков, скажем, календаря, из листиков записок и посланий, из книжных листов. В общем, о возможности написать все, что еще не ушло в память, не подернулось ее опиумным дымом и не обернулось в тоску об утраченном. Из тоски вырастают роскошные, но злые цветы.

Возможность написать зиждется на безусловном порядке. На невидимом, не прописанном уставе – по которому как раз живут вещи в кабинете. Устав, как известно, у каждого монастыря свой. В нашем случае – это согласование неважных, проходящих, временных вещей во всеобщем круговороте. Это создание звездной системы, начинающейся с заверти космических пылинок. Такова писательская стезя Виталия Диксона: самому малому, мельчайшему, незначительнейшему, ерунде – находить место в доме истории; утверждать право документа за каждым сорняком и соринкой, право на уважение – за каждой звездной пылинкой и трудовым, изгрызенным в приступе вдохновения, карандашом.

... А вот и сам читатель, ползущий благонаравною улиткой! Ему неловко, ему неудобно, ему здесь хочется быстрее пролистнуть книгу. Этот читатель, предположим, я или вы, или ваш сосед, или неизвестный прохожий. Предположим, он ползет по самому обширному и капитальному историческому гербарии Диксона, по календам-долгам «Августейшего сезона». Он смотрит сначала картинки – так издавна повелось среди представителей сего простодушного племени. А потом он открывает междустраничные утолщения, которые сулят сюрпризы. Вот диск-

малютка. Ой, а это листик! Осенний худой лист. Зачем он здесь? Хрупкость остается бытовать между страниц ясным доказательством сезона.

А читатель начинает разбирать буквы, и видит условность сюжета, и ждет по привычке, что все куда-нибудь побегут. Но никто не бежит. Более того, действующие лица ведут разговоры замедленно философические, сочинитель (Сочинитель) присутствует при этих разговорах – и никак не поторопит зловредных велеречивцев, по профессии – сантехников. И в разговорах, и в отступлениях сочинителя, и в описании простых вещей сквозит неуютный и очень знакомый ветерок. И раздражение закипает, и не вспомнится никак, что это за ветерок такой... Иногда ведь люди точно так забывают имя-отчество родной матери – потому что всегда звали ее только мамой и никак по-другому.

И вот уж читатель мается мелочами, которые по злой авторской прихоти ограничили его, читательскую, свободу. Отчего это здесь застрял Хэмингуэй со своей любовью к пелоте? Отчего то, от чего се? Обнаружив еще и новогоднее меню, и пересчет каких-то семейных денег, обрывки снов, записки хроники, личные воспоминания, текст, набранный красным шрифтом, читатель подумает: вот ведь затейник! И сколько же здесь всяких фокусов!?

Не узнаёт! Но ведь это же чердак-чуланчик его собственных воспоминаний! Недавних, еще плоских, еще бледных – потому что воображение пока не развернуло его, как бульдозер девственную землю, потому что еще не выстроило новый светлый и слепой город – прошлое, которое мы любим. Любим, потому что не боимся. А пока это – темное, заросшее место, Зона – прошлое, которое не воплотилось еще в память, а – живо. Мы бы хотели забыть все эти дребезги, безобидные обрывки, кусочки, бытописания, фантики и фактики. Мелочи, мелочи, все какие-то мелочи! Помилуй, автор! Хватит! Хватит! – захлебываясь.

А он нам – своею точкой зрения, одним голосом на всех героев – он, человек, который дунул в этом месте на космические пылинки и они закрутились: это, ребята, почтовые марки эпохи, это было, знаете ли, и уже навсегда.

Почтовые марки эпохи... А я уже начала забывать... *«Мы же только вождей своих научились мариновать. И вот поэтому гремим банками...».*

Вот если бы я выросла среди канделябров, а не посреди этого дурдомно-желтого или паскудно-коричневого хрущевского пола! Маломерные кубики квартир осыпались внутри вонючей известкой, а в кладовке висели зеленые дефицитные бананы, вызревавшие к празднику. Прежде кладовки они зеленели в «Овощах-фруктах», где их, казалось, производила вместо яиц банановая курица: очередь медленно двигалась, получая в одни руки одну неспелую, только что снесенную курицей, связку... Присоединяйся, читатель. Моих воспоминаний недостаточно, они не затронуты даже прелью оттепели, они волшебным Горбунком пронесли над последними годами Советов. Мы бубнили еще речевки, а родители наши еще мастерили классные уголки имени Павликов Морозовых. Но юность наша уже как слезами обливалась спиртом «Роял» под последнюю идейную волну русского рока. Взрослые наши хирели в это время, а мы питались чем придется – и расцветали от незамысловатых любовей. Такое короткое было время. И я уже начала забывать.

«Но так ли оно коротко? Александр Сергеевич, что вы по этому поводу скажете?» – Диксон апеллирует обычно к бесконечности, припоминая, ведя диалог, превозмогая распространенные исторические и литературные анекдоты, смущая всех внезапными незначительностями, странными будто бы чепуховинами. «Вот, к примеру, родословная пуделя...» И мы понимаем, что для нас, бывших советских людей с памятью короче собачьей, родословная – это фантомная тревога, и болит она как отсутствующая конечность. Мы и своего вчерашнего-то толком не помним, всё – будто во сне. Дайте, дайте нам, поскорее, какой-нибудь документ!..

Вот они какие – мы, современники, жаждущие сермяжного документа. Безликие – но с физиономией, перепачканной временем как вареньем. И нам книгу эту, обширный августейший гербарий, и в руки-то бессмысленно брать. Потому что мы и есть ее герои, сами читатели. Думаете, почему анкетная форма, помещенная в самую книжную серединку, пуста, не заполнена? – ну, а чья это анкета, разве не твоя, читатель? Вот тебе и документ. Вот и ты был, как желтый лист, здесь. Вот и ты сохранился исторической веснушкой. И – продолжен, оцепенелый, сонный и скучный, творческой волею Сочинителя – в образе, например, сантехника пишущего (хотя другой на месте сочинителя

раскрошил бы вас давно в песок, навязал бы трагизма, как бабушка навязывает внучку пуховый платок поверх пальтеца, а то и просто, задвинул бы в дальний пыльный угол). Буквой продолжен: « А покуда мы жнем и пашем только языком своим». Красным юрким острым словцом, а также и лекцией, и поучением, и пламенной речью. Герой-читатель, задокументированная персона, смущается этому обстоятельству: поучения, ораторство и полемика ему не милы, ему мило занятое приключение. Только книжка все время открывается то на одном утолщении, то на другом – то на диске с голосом автора, то на документе голоцена – желтом и березовом: думайте, дорогие, решайте, там ведь еще впереди целая вечность.

А между тем Диксон словно пружинку хронометра закручивает: *«На дворе стояла чудная кайнозойская эра, четвертичный период, послеледниковая эпоха, иначе именуемая «голоцен», XX век, середина, допустим, XI пятилетки, год 7491-й от библейского сотворения мира и 1983-й от Рождества Христова, Год Белого Кабана, месяц январь, первая декада, вторая неделя, день десятый, тяжёлый, понедельник, под вечер, часу этак в пятом пополудни... Ну, и что? Вам легче от этого?»*

Легче. Потому что листок отрывного календарика – это уже документ, свидетельство, по словам писателя, и «вообщежития», и «голоценностей» жизни как таковых.

Ноябрь 2009

II. ДЕЯНИЯ

Было бы счастьем написать книгу, где слова означали бы молчаливую волю созерцателя. Слова, только слова, составляли бы здание такого гармонического совершенства, что никто не посмел бы усомниться ни в его простой красоте, ни в его величавой прочности, ни в ласковом уюте внутренних помещений. Ни в бесконечности его коридоров, ни в кромешной глубине его подвалов, ни в таинственности чердака... Всякий, кто смотрит на это здание, ощущает возвышенную волю создателя как свою собственную. И всякий смотрящий знает: дверь чёрного входа всегда открыта и ведёт к истерии луга, сияющего своими утренними глазами, дальше – к испарине жёлто-лимонной тропинки,

которая ниткой вьётся в темном лесном полотне... или она уходит на север и ползёт среди мелких сосен, бьющих стеклянными рождественскими колокольчиками... или она утопает в прохладе бесконечного сада и, кажется, ведёт лишь к чистосердечной неге. Почерневшая редкозубая калитка – последняя, кто знает имя архитектора, и выдаёт его свистящим хрипом: «Скажи им, что имя моё – безымянность»...

Но нет. Обыкновеннее писателя нет на свете человека.

Только тот, кто способен пройти дальше всем известной парадной, имеет возможность выйти во внутренний двор.

Капли, не понимая ничего, мерцают. Пьяные голоса плывут в тумане.

... Есть два рода настоящих писателей.

Одни отдаются в руки судьбы, превращаясь в речь, транслируемую любым адекватным способом. Они делают это из любви к счастью, которое даёт высокая справедливость искусства: абсолютная беззащитность, абсолютная сила.

Пьяные голоса плывут в тумане и спотыкаются, к примеру, перед избирательной кабинкой.

– Я очень сильно пью, поэтому написать не могу...

Картофельного цвета мужчина крепко держит ручку всеми своими пятью счетными палочками, но до бумаги ею не дотрагивается. Счастливый обладатель истинной веры, он как бы заключает в своей короткой реплике другую, не о себе: «Смотрите на меня, я ваше детство». И я вижу, как у женщины, что равнодушно подавала ему бюллетень, у женщины с тинистыми глазами, в ворота прямостоячей несгибаемой блузки есть маленькая ложбинка, как у всех живых, и в ней пульсирует идея существования.

... Другие писатели поклоняются богу атеистов, экспериментатору и изобретателю: все вещества состоят из молекул, молекулы из атомов – которых, натурально, никто никогда не видел. Такие

авторы как бы апеллируют к разуму... Поэзия атомов моргает неровным светом – вспыхивая, когда в дело вступают ещё более мелкие, неуловимые и настойчивые частицы. И эти вспышки тем ярче, чем прозрачней неделимость. Всё состоит из чего-то, всё во что-то преобразуется, ничто не исчезает, всему есть место. В нас самих заключается наша смертная участь... – поют они.

... Есть ещё и другие разновидности пишущих, но о них приятнее умолчать, поскольку я отказываюсь быть духом машины, её речью и её голосом. Эти сами для себя маленькие промозглые боги, в одиночестве торчащие посреди надувной действительности. Их всесилие ограничивается скорбным тщеславием и назойливым прагматизмом. Это певцы пользы, которая не является ни музой, ни – даже – мечтой о вдохновении.

Создатели возвышенных иллюзий работают со светом и только с ним. Свет есть непрерывное возвращение.

Непрерывное возвращение – темень Рембрандта и зритель, освещающий ее собой. Волшебство художника не столько в том, чтобы нарисовать, сколько в том, чтобы подвинуть зрителя *осветить эту картину*. Хорошо настроенное честное волшебство ассимилирует обыденность в чистый рассеянный свет приятия.

Художник любого рода знает: неделимость прозрачна, вся она рассыпается на груды винтажного хлама, на детали историй. «Все истории были когда-то чувством внутри» (сказал Грэм Свифт).

Старушки, живущие среди Гогенов, на богато обитых стульчиках восседающие в музейных углах, проёмах и нишах, точно в будках, знают, как история, даже самая тёмная, возвращается к нам светом.

Помещая свою нищету в корпус произведения, книги или картины, автор и сам видит её иначе: в облаках он созерцает животных; в сухом воздухе опыта, перегретом воображением, он рассматривает миражи. Автор создаёт иллюзию особого рода – при-

миряющую, удваивающую справедливость. Его деяние – приумножить истину. Преумноженная, она воцаряется над нами, как солнце, сообщая о том, что день прекрасен для прогулок – а также о том, что мир работает, как должен, что утро ада ещё не наступило.

Преумноженная автором истина говорит о чём-то большем, чем желания и удовольствия: если у тебя есть так мало, говорит она, но всё же достаточно для того, чтобы ты был жив, – то истина сбылась в этом.

Есть определенный порядок, которого придерживается сама *возможность* воспроизведения, фиксации, проявления: *выдумки не существует*. Выдумка умирает в первой же детали.

Деталь действует как проявитель в мире возвышенных иллюзий, как безжалостная игла для стрекозы, как пресс-папье для бумажного мечтания, желающего свободы.

Деталь рождает деяние: вызывает к жизни волю Леонардо, волю Рембрандта, волю Достоевского.

Дисциплинированный хаос кружится, естественным образом уstraивая вселенные и отделяя созданное от создаваемого – отграничивая их пунктирной линией. Прерывистой линией. Но не двойной сплошной! Иначе в книгах было бы так же страшно, как в одиночных камерах.

Граница между существующим и возможным имеет хорошую проницаемость. И представляется, что в мире текста – так же, как в мире любого другого искусства – всё проницаемо в той или иной степени. И когда книга встаёт на свое место – каковым бы оно ни было, каким бы ничтожным не казалось – книга, как клеточная стенка, впускает и выпускает: буквы, синтаксис, продления, эмоцию, ощущение, мысль, знак, стихию. Более открытой системы, чем произведение искусства, на свете не существует.

Проницаемость текста заключается в том, что даже и созданный, украшенный, помещённый в переплет, он никогда по-настоящему не создан. Возникший в исключительности, которую автор

прописал, как пункты в завещании, текст на правах рога избылиа одаривает всех в той мере, какую каждый способен усвоить.

Однако же никогда не будет полного совпадения. Порой автору требуется даже сказать: в этой книге я намеревался показать то-то и то-то, вкладывал в неё такую-то идею, потому, что мои убеждения подсказывают именно этот способ для совершения справедливости и преумножения истины... Ведь читатель может увидеть в ней нечто другое.

Для талантливых читателей «туманные», сложные тексты – счастье. Чем более они проницаемы – то есть, чем более открыта система, чем более она способна впустить сквозняков из внешнего мира и сама разволновать его – тем определённое надежды талантливого читателя-путешественника, искателя приключений. Вдохновенный читатель не любит точки в конце.

И настоящий автор, какой бы принцип высказывания он не избрал – откровенность, шифровку, дешифровку, полуулыбку, нежность, ярость – как раз и пытается побудить нас выйти из того дома, который он построил. Он настежь открывает окна и двери... И почерневшая редкозубая калитка – последняя, кто знает имя архитектора, и выдаёт его свистящим хрипом.

Настоящая книга начинается за пределами книги, она растёт между строк и расцветает за её синтаксисом. Она несёт своё содержание, как речные воды уносятся дальше, в море.

Река имеет устье (предполагаю, что устье книги – это личность автора). Река имеет притоки (весь жизненный опыт и личная парадигма писателя). Река имеет дельту (то, может быть, культурная парадигма). По берегам реки растут леса, или пасётся на взгорках скот, или торчат на солнышке города. Любая мелочь имеет волшебное значение преображения, если на неё смотрит человек. Для каждого смотрящего любая деталь может сыграть роль флогистона...

И вдруг оказывается, что книга-то совсем не о том, о чём нам думалось вначале... И ты, автор, не смей навязывать нам свою

волю, потому что ты ошибаешься, ты и сам не знаешь о чём написал...

Конечно же, автор не понимает о чём его книга! Ему кажется, что он высказался в ней весь, что часть его души где-то, понимаешь, закралась между строк и канючит оттуда. А то иногда как завоет дурным голосом!..

Спустя время он листает свой томик – и обнаруживает:

- что он совершил ошибку;
- что его герои – вовсе не те, за кого себя выдавали;
- что обстоятельства, которые он принимал как роковые, – всего лишь комическая услада насмешливой природы, всего лишь психологический крючок, на который поймалась блистательная рыбка...

Тогда автор бежит от себя самого – от того, каким он был, когда писал свою книгу, а нынче, при новых обстоятельствах его души, кажущуюся ему провальной...

Вот этим и живёт книга: она всякий раз нова даже для того, кто её создал. Потому что всякий раз её создатель – иной. Вечная молодость произведений искусства в том, что всякий раз на них будет смотреть новый человек... И автор – полноправный владелец иллюзии (вот вам и владение!) – входит в здание.

Он ничего не узнаёт. Он заново исследует его красоту и прочность, темень и прохладную глубину его подвалов, вслушивается в скрипы чердачных досок. Он проходит все комнаты и спускается в кухню. Оттуда выходит под дождь позади дома.

Там мокрые ёлки. Трясут красными головами жизнерадостные астры и киснет в луже детский ботинок. У калитки дремлет велосипед. Желто-лимонная раскисшая тропинка вьётся в тёмном лесном полотне. Почерневшая калитка открыта.

В лесу темно из-за дождя и звучно. Автор выкатывает велосипед за калитку. Лес бубнит навстречу, окрещая желтоватой водой, возносящейся из-под колёс:

«Скажи им, что имя моё – безымянность»...

Декабрь 2013



Handwritten text in Cyrillic script at the top of the page, partially obscured by the watch and other items.



Vertical handwritten text on the left edge of the page.

Vertical handwritten text on the right edge of the page.

Horizontal handwritten text in the lower-left quadrant.

Small handwritten text at the bottom left corner.



Handwritten text in a box at the bottom right corner.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

КОЛОДА

КАЛАНЧА:

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 7

ПЯТЫЙ ТУЗ:

ФАРС-РОМАН 15

Пролог. ПОСОШОК НА ДОРОЖКУ 17

Часть первая. ТРЫН ТРЫНИЛ НА РУСИ...

1. Интересы и интересные 23

2. Дело прошлое. Страсти по убиенному соболю 32

3. «Ивангелие от Ивана», или Один день в канцелярии 34

4. Дело прошлое. Чистые мои голуби! 41

5. «Живём тут как свиньи, ёлки зелёные!» 49

6. Когда мы были пожилыми... 56

7. «Дракончик, ты мне ндрависься!» 60

8. Дело прошлое. Не скоро сказка сказывается... 68

9. Дело прошлое. Укрощение «косой сажени» 71

10. Стол на четыре куверта 77

11. Утро вечера мудренее 86

12. Дело прошлое. Шалун Ея Величества 91

13. Смотрины на скорую руку 105

14. Располагаясь к отдохновению... 111

15. Дело прошлое. Как «Три Ивана» ваньку валял? 114

16. Дело прошлое. Спотыкачка на спотыкачке 128

17. Уроки игры по-крупному 136

18. Дело прошлое. Защемил капкан охотника 149

Часть вторая. ОРЛЫ И РЕШКИ

1. Красная линия, или Медитация на судебные темы 164

2. Большое дело – постучать по дереву! 169

3. Акциденции минувшего дня 179

4. «И в этот день мы больше не читали...» 192

5. «Вывози, Никола-угодник!» 200

6. Мартовские иды 1788 года 215

7. Реквием на два голоса 225

8. Катилось колесо... 228

9. Вокруг да около, или Хроника времён губернского секретаря 232

Ивана Почекушина

10. Бузина нашей жизни 243

11. Мурза уже не сердится, или Черновик одописца 248

12. Этот странный тип без царя в голове	259
13. Прогулки по Большой перспективе	261
14. Коллаж. «На поприще сей жизни склизком...»	271
15. «И оставиша останки детям своим...»	286
16. И никаких гвоздей!	294
17. Последний клопштосс	305
18. Без кавычек, или Балаган венценосцев	317
19. Post scriptum. С точки зрения вечности	322
Вместо эпилога. ТРЕУГОЛЬНИК ПОГРЕШНОСТЕЙ, или ТРИ СЮЖЕТА ИЗ 1826 ГОДА	
Сюжет первый. Когда догорает свеча...	326
Сюжет второй. В доме верёвки	336
Сюжет третий. Требуется английский рожок!	342
POST FACTUM: К ФАРС-РОМАНУ «ПЯТЫЙ ТУЗ»	351
ОТ КАЛАНЧИ ДО КАЛАНЧИ: ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ	395

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ОДЫ И ВОЛЬНОСТИ

ПУЛЯ, ЛЕТИ! ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:	414
КОГДА БОГИ ШУТЯТ...	433
СИНЯЯ ПТИЦА, СИНИЕ ЧУЛКИ...	463
УТРЕННИК С АПЕЛЬСИНОМ	482
ДВЕСТИ ЛЕТ В ОДНОМ ЭКИПАЖЕ	494
ГОРШЕЧНИК И ГЛИНА	541
БАБАНЯ И КАРАВАН	548
ЗАГАДАВШИЙ ЖЕЛАНИЕ	555
ПРО ЛЯГУШКУ ГУЛЯШКУ И ГЕНИЯ ЕВГЕНИЯ	584
НА ТРАВЕ ДРОВА...	590
ГДЕ НАШИ СТЕРВЫ?	595
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕТРАЖИ	602
 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:	
ЭТОТ НЕЖНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОВОД...	635
 Светлана Михеева ДВА ЭССЕ О ПОЭТИКЕ ПРОЗЫ ВИТАЛИЯ ДИКСОНА	648

Литературно-художественное издание

ДИКСОН

Виталий Алексеевич

ДЛИННАЯ ПУЛЬКА

Избранная проза

Ответственный за выпуск:

Юлия Макарова

Художественное оформление:

Вера Дунаева

Андрей Хан

В оформлении титульного листа

использован рисунок Алексея Лаптева

Фото на обороте авантитула:

Сергей Игнатенко

Подписано в печать 07.04.2014

Формат 60x100/16

Бумага офсетная

Печать офсетная

Усл.-печ.л. 41,5

Уч.-изд.л. 36,89

Тираж 70 экз.

Заказ 26204

Изготовлено в ООО «Репроцентр А1»

г. Иркутск, ул.Александра Невского, 99/2

тел. 540-940

